

Библиотека  
этической  
мысли



Томас Карлейль

# ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ

## ГЕРОИ, ПОЧИТАНИЕ ГЕРОЕВ И ГЕРОИЧЕСКОЕ В ИСТОРИИ

Герой как божество.

Один: язычество, скандинавская мифология

Герой как пророк. Магомет: ислам

Герой как поэт. Данте. Шекспир

Герой как пастырь. Лютер: Реформация.

Нокс: пуританизм

Герой как писатель. Джонсон. Руссо. Бёрнс

Герой как вождь. Кромвель.

Наполеон: современный революционаризм

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Вступление

Мидас. Моррисонёвы пилюли.

Аристократия Таланта. Почитание Героев

Старинный монах

Монах Самсон. Избирательная борьба.

Выборы. Аббат Самсон. Св. Эдмунд. Начала

Современный работник

Призраки. Англичане.

Демократия. Снова Моррисон

Гороскоп

Аристократии. Вожди промышленности.

Владеющие землею.

Поучительная глава

## ЭТИКА ЖИЗНИ

Трудиться и не унывать!

Трудиться. Не унывать.

Люди и герои. Ложные пути и цели.

Молчание

Томас Карлейль

# ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ



Москва  
Издательство "Республика"  
1994

ББК 87.7  
К23

Составление, подготовка текста и примечания  
*Р. К. Медведевой*

**Карлейль Т.**

К 23   Теперь и прежде/ Сост., подгот. текста и примеч.  
Р. К. Медведевой. — М.: Республика, 1994. — 415 с.  
— (Б-ка этической мысли).  
ISBN 5—250—02425—4

Книга знакомит со взглядами выдающегося английского мыслителя-моралиста и историка Томаса Карлейля (1795—1881), представленными в его важнейших работах "Герои, почитание героев и героическое в истории" и "Прошлое и настоящее", а также в сборнике афоризмов "Этика жизни" ("Трудиться и не унывать!"). Все эти произведения не переиздавались у нас в течение многих десятилетий и ныне стали библиографической редкостью. В них содержатся парадоксальные по содержанию и яркие по форме размышления автора над вечными проблемами человеческого существования (смысл жизни и ценность личности, смерть и бессмертие, вера и безверие), а также над проблемами, приобретающими особую актуальность в наши дни (труд и приобретательство, безудержное обогащение и обнищание, демократия и подлинная свобода и др.).

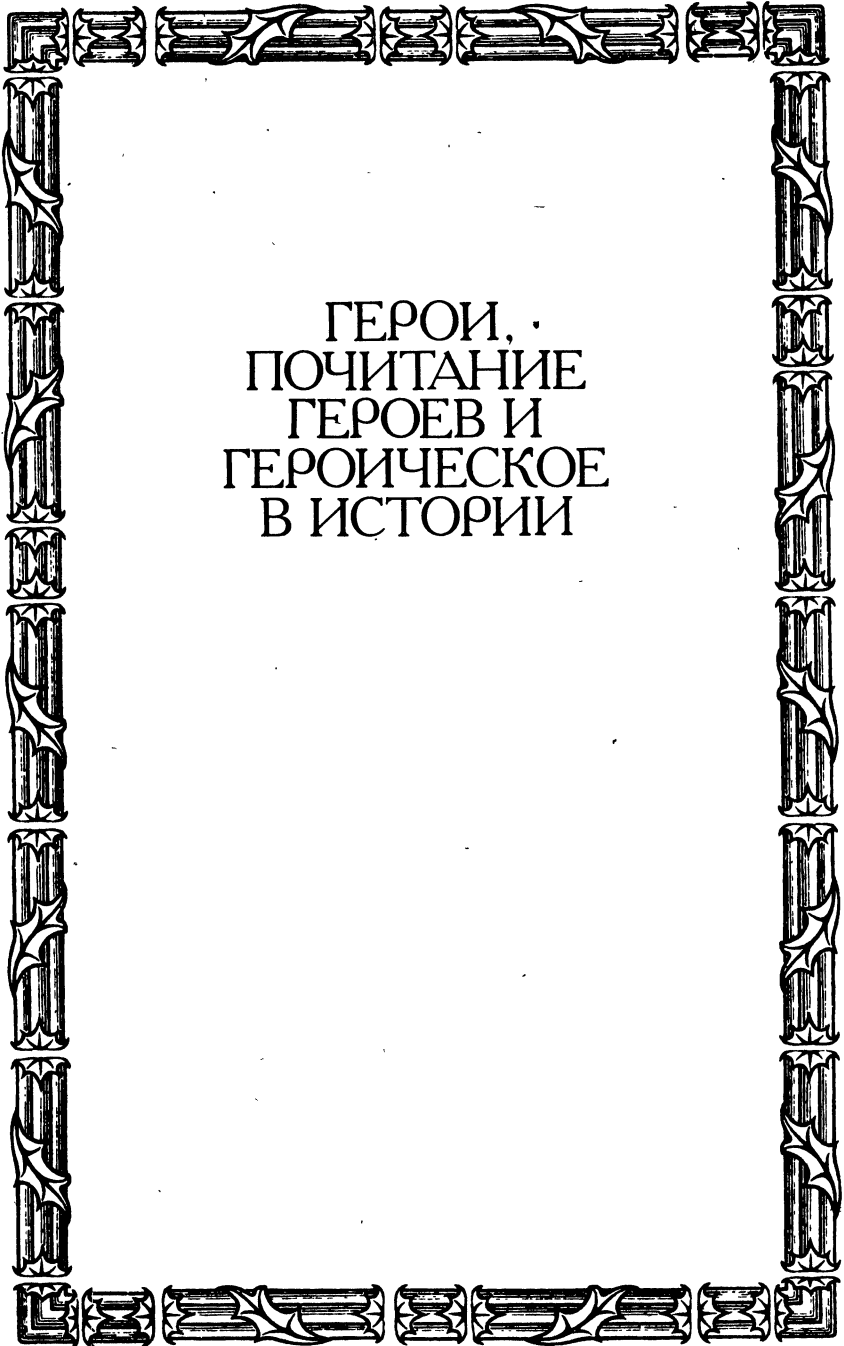
Адресуется широкому кругу читателей.

К 030107000—080 6—95  
079(02)—94

ББК 87.7

ISBN 5—250—02425—4

© Издательство "Республика", 1994



ГЕРОИ,  
ПОЧИТАНИЕ  
ГЕРОЕВ И  
ГЕРОИЧЕСКОЕ  
В ИСТОРИИ

## Беседа первая

### ГЕРОЙ КАК БОЖЕСТВО.

#### ОДИН: ЯЗЫЧЕСТВО, СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ

В настоящих беседах я имею в виду развить несколько мыслей относительно великих людей: каким образом они проявляли себя в делах нашего мира, какие внешние формы принимали в процессе исторического развития, какое представление о них составляли себе люди, какое дело они делали. Я намерен говорить о героях, о том, как относились к ним люди и какую они играли роль; о том, что я называю почитанием героев и героическим в человеческих делах. Бесспорно, это слишком пространная тема; она заслуживает несравненно более обстоятельного рассмотрения, чем то, какое возможно для нас в данном случае. Пространная тема, беспредельная, на самом деле тема столь же обширная, как и сама всемирная история. Ибо всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, были вождями человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле, творцами всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть; все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир. История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории. Поэтому совершенно ясно, что избранная нами тема по своей обширности никоим образом не может быть исчерпана в наших беседах.

Одно, впрочем, утешительно: великие люди, каким бы образом мы о них ни толковали, всегда составляют крайне полезное общество. Даже при самом поверхностном отношении к великому человеку мы все-таки кое-что выигрываем от соприкосновения с ним. Он — источник жизненного света, близость которого всегда действует на человека благотельно и приятно. Это — свет, озаряющий мир, освещающий тьму мира; это — не просто возжженный светильник, а, скорее, природное светило, сияющее, как дар неба; источник природной, оригинальной прозорливости, мужества и героического благородства, распространяющий всюду свои лучи, в сиянии которых всякая душа чувствует себя хорошо. Как бы там ни было, вы не станете роптать на то, что решились поблуждать некоторое время вблизи этого источника. Герои, взятые из

шести различных сфер и притом из весьма отдаленных одна от другой эпох и стран, крайне не похожие друг на друга лишь по своему внешнему облику, несомненно, осветят нам многие вещи, раз мы отнесемся к ним доверчиво. Если бы нам удалось хорошо разглядеть их, то мы проникли бы до известной степени в самую суть мировой истории. Как счастлив буду я, если успею в такое время, как ныне, показать вам, хотя бы в незначительной мере, все значение героизма, выяснить божественное отношение (так должен я назвать его), существующее во все времена между великим человеком и прочими людьми, и, таким образом, не то чтобы исчерпать предмет, а лишь, так сказать, подготовить почву! Во всяком случае, я должен попытаться.

Во всех смыслах хорошо сказано, что религия человека составляет для него самый существенный факт, — религия человека или целого народа. Под религией я разумею здесь не церковное вероисповедание человека, не те догматы веры, признание которых он свидетельствует крестным знамением, словом или другим каким-либо образом; не совсем это, а во многих случаях совсем не это. Мы видим людей всякого рода исповеданий одинаково почтенных или непочтенных, независимо от того, какого именно верования придерживаются они. Такого рода исповедание, такого рода свидетельство, по моему разумению, еще не религия; оно составляет часто одно лишь внешне исповедание человека, свидетельствует об одной лишь логико-теоретической стороне его, если еще имеет даже такую глубину. Но то, во что человек верит на деле (хотя в этом он довольно часто не дает отчета даже самому себе и тем менее другим), то, что человек на деле принимает близко к сердцу, считает достоверным во всем, касающемся его жизненных отношений к таинственной вселенной, его долга, его судьбы; то, что при всяких обстоятельствах составляет главное для него, обуславливает и определяет собой все прочее, — вот это его *религия*, или, быть может, его чистый скептицизм, его *безверие*: религия — это тот образ, каким человек чувствует себя духовно связанным с невидимым миром или с не-миром. И я утверждаю: если вы скажете мне, каково это отношение человека, то вы тем самым с большой степенью достоверности определите мне, каков этот человек и какого рода дела он совершит. Поэтому-то как относительно отдельного человека, так и относительно целого народа мы первым делом спрашиваем, какова его религия? Язычество ли это с его многочисленным сонмом богов — одно лишь чувственное представление тайны жизни, причем за главный элемент признается физическая сила? Христианство ли — вера в невидимое, не только как в нечто реальное, но как в единственную реальность; время, покоящееся в каждое самое ничтожное свое мгновение на вечности; господство языческой силы, замененное более благородным верховенством, верховенством святости? Скептицизм ли, сомневающийся и исследующий, существует ли невидимый мир, существует ли какая-либо тайна жизни, или все это одно лишь безумие; то есть сомнение, а быть может, неверие и полное отрицание всего этого? Ответить на поставленный вопрос — это значит уловить самую суть истории человека или народа. Мысли людей породили дела, которые они делали, а самые их мысли были порождены их чувствами: нечто невидимое и *спиритуальное*, присущее им, определило то, что

выразилось в действии; их религия, говорю я, представляла для них факт громадной важности. Как бы нам ни приходилось ограничивать себя в настоящих беседах, мы думаем, что полезно будет сосредоточить наше внимание на обозрении главным образом этой религиозной фазы. Ознакомившись хорошо с ней, нам нетрудно будет уяснить и все остальное. Из нашей серии героев мы займемся прежде всего одной центральной фигурой скандинавского язычества, представляющей эмблему обширнейшей области фактов. Прежде всего, да позволено нам будет сказать несколько слов вообще о герое, понимаемом как божество, — старейшей, изначальной форме героизма.

Конечно, это язычество представляется нам явлением крайне странным, почти непонятным в настоящее время: какая-то непролазная чаща всевозможных призраков, путаницы, лжи и нелепости, чаща, которой поросло все поле жизни и в которой безнадежно блуждали люди; явление, способное вызвать в нас крайнее удивление, почти недоверие, если бы только можно было не верить в данном случае. Ибо, действительно, нелегко понять, каким образом здравомыслящие люди, глядящие открытыми глазами на мир Божий, могли когда бы то ни было невозмутимо верить в такого рода доктрины и жить по ним. Чтобы люди поклонялись подобному же им ничтожному существу, человеку, как своему богу, и не только ему, но также — пням, камням и вообще всякого рода одушевленным и неодушевленным предметам; чтобы они принимали этот бессвязный хаос галлюцинаций за свои теории вселенной, — все это кажется нам невероятной басней. Тем не менее не подлежит никакому сомнению, что они поступали именно так. Такие же люди, как и мы, они действительно придерживались подобной отвратительной и безысходной путаницы в своих лжепочитаниях и лжеверованиях и жили в соответствии с ними. Это странно. Да, нам остается лишь остановиться в молчании и скорби над глубинами тьмы, таящейся в человеке, подобно тому как мы, с другой стороны, радуемся, достигая вместе с ним высот более ясного созерцания. Все это было и есть в человеке, во всех людях и в нас самих.

Некоторые теоретики недолго задумываются над объяснением языческой религии: все это, говорят они, одно сплошное шарлатанство, плутни жрецов, обман; ни один здравомыслящий человек никогда не верил в этих богов, он лишь притворялся верующим, чтобы убедить других, всех тех, кто недостойн даже называться здравомыслящим человеком! Но мы считаем своею обязанностью протестовать против такого рода объяснений человеческих деяний и человеческой истории, и нам нередко придется повторять это. Здесь, в самой преддверии наших бесед, я протестую против приложения такой гипотезы к паганизму [язычеству] и вообще ко всякого рода другим "измам", которыми люди, совершая свой земной путь, руководствовались в известные эпохи. Они признавали в них известную истину, или иначе они не приняли бы их. Конечно, шарлатанства и обмана существует вдоволь; в особенности они страшно наводняют собою религии на склоне их развития, в эпохи упадка; но никогда шарлатанство не являлось в подобных случаях творческой силой; оно означало не здоровье и жизнь, а разложение и служило верным признаком наступающего конца! Не будем же никог-



да упускать этого из виду. Гипотеза, утверждающая, что шарлатанство может породить верование, о каком бы веровании ни шло дело, распространено хотя бы даже среди диких людей, представляется мне самым плачевным заблуждением. Шарлатанство не создает ничего; оно несет смерть повсюду, где только появляется. Мы никогда не заглянем в действительное сердце какого бы то ни было предмета, пока будем заниматься одними только обманами, наслоившимися на нем, пока не отбросим совершенно эти последние, как болезненные проявления, извращения, по отношению к которым единственный наш долг, долг всякого человека, состоит в том, чтобы покончить с ними, смести их прочь, очистить от них как наши мысли, так и наши дела. Человек является повсюду прирожденным врагом лжи. Я нахожу, что даже великий ламаизм и тот заключает в себе известного рода истину. Прочтите "Отчет о посольстве" в страну ламаизма Тернера\*, человека искреннего, проникательного и даже несколько скептического, и судите тогда. Этот бедный тибетский народ верит в то, что в каждом поколении неизменно существует воплощение провидения, ниспосылаемое этим последним. Ведь это, в сущности, верование в своего рода папу, но более возвышенное, именно верование в то, что в мире существует *величайший* человек, что *его* можно отыскать и что, раз он действительно отыскан, к нему должно относиться с безграничною покорностью! Такова истина, заключающаяся в великом ламаизме; единственное заблуждение представляет здесь самое "отыскивание". Тибетские жрецы практикуют свои собственные методы для открытия величайшего человека, пригодного стать верховным властителем над ними. Низкие методы; но много ли они хуже наших, при которых такая пригодность признается за первенцем в известной генеалогии? Увы, трудно найти надлежащие методы в данном случае!.. Язычество только тогда станет доступно нашему пониманию, когда мы, прежде всего, допустим, что для своих последователей оно некогда составляло действительную истину. Будем считать вполне достоверным, что люди верили в язычество, — люди, смотрящие на мир Божий открытыми глазами, люди со здоровыми чувствами, созданные совершенно так же, как и мы, — и что, живи мы в то время, мы сами также верили бы в него. Теперь спросим лишь, чем могло быть язычество?

Другая теория, несколько более почтенная, объясняет все аллегориями. Язычество, говорят теоретики этого рода, представляет игру поэтического воображения, главное отражение (в виде аллегорической небылицы, олицетворения или осязаемой формы), отбрасываемое от того, что поэтические умы того времени знали о вселенной и что они воспринимали из нее. Такое объяснение, прибавляют они при этом, находится в соответствии с основным законом человеческой природы, который повсюду деятельно проявляет себя и ныне, хотя по отношению к менее важным вещам, а именно: все, что человек сильно чувствует, он старается, так или иначе, высказать, воспроизвести в видимой форме, наделяя известный предмет как бы своего рода жизнью и историческою реальностью. Несомненно, такой закон существует, и притом это один из наиболее глубоко коренящихся в человеческой природе законов; мы не станем также подвергать сомнению, что и в данном случае он оказал

свое глубокое действие. Гипотеза, объясняющая язычество деятельностью этого фактора, представляется мне несколько более почтенной; но я не могу признать ее правильной гипотезой. Подумайте, стали ли бы мы верить в какую-нибудь аллгорию, в игру поэтического воображения и признавать ее за руководящее начало в своей жизни? Конечно, мы потребовали бы от нее не забавы, а серьезности. Жить действительную жизнью — самое серьезное дело в этом мире; смерть также не забава для человека. Жизнь человека никогда не представлялась ему игрой; она всегда была для него суровой действительностью, совершенно серьезным делом!

Таким образом, по моему мнению, хотя эти теоретики-аллгористы находились в данном случае на пути к истине, тем не менее они не достигли ее. Языческая религия представляет действительно аллгорию, символ того, что люди знали и чувствовали относительно вселенной, да и все религии вообще суть такие же символы, изменяющиеся всегда по мере того, как изменяется наше отношение к вселенной; но выставлять аллгорию как первоначальную, производящую причину, тогда как она является скорее следствием и завершением, значит совершенно извращать все дело, даже просто *выворачивать его наизнанку*. Не в прекрасных аллгориях, не в совершенных поэтических символах люди нуждаются; им необходимо знать, во что они должны верить относительно этой вселенной; по какому пути они должны идти в ней; на что они могут рассчитывать и чего должны бояться в этой таинственной жизни; что они должны делать и чего не делать. "Путешествие пилигрима"\* — также аллгория, прекрасная, верная и серьезная аллгория, но подумайте, разве аллгория Беньяна могла *предшествовать* вере, которую она символизировала! Сначала должна существовать вера, признаваемая и утверждаемая всеми; тогда уже может явиться, как тень ее, аллгория; и, при всей ее серьезности, это будет, можно сказать, *забавная тень*, простая игра воображения по сравнению с тем грозным фактом и с той научной достоверностью, которые она пытается воплотить в известные поэтические образы. Аллгория не порождает уверенности, а сама является продуктом последней; такова аллгория Беньяна, таковы и все другие. Поэтому относительно язычества мы должны еще предварительное исследовать, откуда явилась эта научная уверенность, породившая такую беспорядочную кучу аллгорий, ошибок, такую путаницу? Что такое она и каким образом она сложилась?

Конечно, безрассудной попыткой оказалось бы всякое притязание "объяснить" здесь, или в каком угодно другом месте, такое отдаленное, лишенное связности, запутанное явление, как это окутанное густыми облаками язычество, представляющее собою скорее облачное царство, чем отдаленный континент твердой земли и фактов! Оно уже более не реальность, хотя было некогда реальностью. Мы должны понять, что это кажущееся царство облаков действительно было некогда реальностью, не одна только поэтическая аллгория и, во всяком случае, не шарлатанство и обман породили его. Люди, говорю я, никогда не верили в праздные песни, никогда не рисковали жизнью своей души ради простой аллгории; люди во все времена и особенно в серьезную первоначальную эпоху обладали каким-то инстинктом угадывать шарлатанов

и питали к ним отвращение. Оставляя в стороне как теорию шарлатанства, так и теорию аллегории, постараемся прислушаться с вниманием и симпатией к отдаленному, неясному гулу, доходящему к нам от веков язычества; не удастся ли нам убедиться, по крайней мере, в том, что в основе их лежит известного рода факт, что и языческие века не были веками лжи и безумия, но что они на свой собственный, хотя и жалкий, лад отличались также правдивостью и здравомыслием!

Вы помните одну из фантазий Платона о человеке, который дожид до зрелого возраста в темной пещере и которого затем внезапно вывели на открытый воздух посмотреть восход солнца. Каково, надо полагать, было его удивление, его восторженное изумление при виде зрелища, ежедневно созерцаемого нами с полным, равнодушием! С открытым, свободным чувством ребенка и вместе с тем со зрелым умом возмужалого человека глядел он на это зрелище, и оно воспламенило его сердце; он распознал в нем божественную природу, и душа его поверглась перед ним в глубоком почитании. Да, таким именно детским величием отличались первобытные народы. Первый мыслитель-язычник среди диких людей, первый человек, начавший мыслить, представлял собою именно такого возмужалого ребенка Платона: простосердечный и открытый, как дитя, но вместе с тем в нем чувствуется уже сила и глубина зрелого человека. Он не дал еще природе названия, он не объединил еще в одном слове все это бесконечное разнообразие зрительных впечатлений, звуков, форм, движений, что мы теперь называем общим именем — "вселенная", "природа" или как-либо иначе и, таким образом, отделяемся от них одним словом. Для дикого, глубоко чувствовавшего человека все было еще ново, не прикрыто словами и формулами; все стояло перед ним в оголенном виде, ослепляло его своим светом, прекрасное, грозное, невыразимое. Природа была для него тем, чем она остается всегда для мыслителя и пророка, — *сверхъестественной*. Эта скалистая земля, зеленая и цветущая, эти деревья, горы, реки, моря со своим вечным говором; это необозримое, глубокое море лазури, реющее над головой человека; ветер, проносящийся вверху; черные тучи, громоздящиеся одна на другую, постоянно изменяющие свои формы и раздражающиеся то огнем, то градом и дождем, — что такое все это? Да, что? В сущности, мы не знаем этого до сих пор и никогда не в состоянии будем узнать. Мы избегаем затруднительного положения благодаря вовсе не тому, что обладаем большею прозорливостью, а благодаря своему легкому отношению, своему невниманию, *недостатку* глубины в нашем взгляде на природу. Мы перестаем удивляться всему этому только потому, что *перестаем думать* об этом. Вокруг нашего существа образовалась толстая, затвердевшая оболочка традиций, ходячих фраз, одних только *слов*, плотно и со всех сторон обволакивающая всякое понятие, какое бы мы ни составили себе. Мы называем этот огонь, прорезывающий черное, грозное облако, "электричеством", изучаем его научным образом и путем трения шелка и стекла вызываем нечто подобное ему; но что такое оно? Что производит его? Откуда появляется оно? Куда исчезает? Наука много сделала для нас; но жалка та наука, которая захотела бы скрыть от нас всю громаду, глубину, святость нескончаемого незнания, куда мы никогда не можем проникнуть и на поверхности которого все наше знание плавает,

подобно легкому налету. Этот мир, несмотря на все наше знание и все наши науки, остается до сих пор чудом, удивительным, неисповедимым, *волишебным* для всякого, кто *задумается* над ним.

А великая тайна *времени*, не представляет ли она другого чуда: безграничное, молчаливое, никогда не знающее покоя, это так называемое время, катящееся, устремляющееся, быстрое, молчаливое, как все уносящий прилив океана, в котором мы и вся вселенная мелькаем, подобно испарениям, подобно тени, появляясь и затем исчезая, — оно навсегда останется в буквальном смысле чудом: оно поражает нас, и мы умолкаем, так как нам недостает слов, чтобы говорить о нем. Эта вселенная, увы, — что мог знать о ней дикий человек? Что можем знать даже мы? Что она — сила, совокупность сил, сложенных на тысячу ладов; сила, которая *не есть мы*, — вот и все; она не мы, она — нечто совершенно отличное от нас. Сила, сила, повсюду сила; мы сами — таинственная сила в центре всего этого. "Нет на проезжей дороге такого гниющего листа, который не заключал бы в себе силы: иначе как бы он мог гнить?" Да, несомненно, даже для мыслителя-атеиста, если таковой вообще возможен, это должно составлять также чудо, этот громадный, беспредельный вихрь силы, объемлющий нас здесь; вихрь, никогда не стихающий, столь же высоко вздымающийся, как сама необъятность, столь же вековечный, как сама вечность. Что такое он? Творение Бога, отвечают люди религиозные, творение всемогущего Бога! Атеистическое знание, со своим научным перечнем названий, со своими ответами и всякой всячиной, лепечет о нем свои жалкие речи, как если бы дело шло о ничтожном, мертвом веществе, которое можно разлить в лейденские банки и продавать с прилавка. Но природный здравый смысл человека во все времена, если только человек честно обращается к нему, провозглашает, что это — нечто живое, о да, нечто невыразимое, божественное, по отношению к чему, как бы ни было велико наше знание, нам более всего приличествует благоговение, преклонение и смирение, молчаливое поклонение, если нет слов.

Затем я замечу еще: то дело, для которого в такое время, как наше, необходим пророк или поэт, поучающий и освобождающий людей от этого нечестивого прикрытия, от этого перечня названий, этих ходячих научных фраз, в прежние времена совершал сам для себя всякий серьезный ум, не загроможденный еще подобными представлениями. Мир, являющийся теперь божественным только в глазах избранников, был тогда таковым для всякого, кто обращал к нему свой открытый взор. Человек стоял тогда нагой перед ним, лицом к лицу. "Все было божественно или Бог" — Жан Поль находит, что мир таков; гигант Жан Поль, имевший достаточно сил, чтобы не поддаться ходячим фразам; но тогда не было ходячих фраз. Канопус\*, сияющий в высоте над пустыней своим синим алмазным блеском, этим диким синим, как бы одухотворенным, блеском, гораздо более ярким, чем тот, какой мы знаем в наших странах, проникал в самое сердце дикого измаильянина, для которого он служил путеводной звездой в безбрежной пустыне. Его дикому сердцу, вмещавшему в себя все чувства, но не знавшему еще ни одного *слова* для выражения их, этот Канопус должен был казаться маленьким глазом, глядящим на него из глубины самой вечности и открывающим ему

внутренний блеск. Разве мы не можем понять, каким образом эти люди *почитали* Канопус, как они стали так называемыми сабеитами, почитателями звезд? Такова, по моему мнению, тайна всякого рода языческих религий. Поклонение есть высшая степень удивления; удивление, не знающее никаких границ и никакой меры, и есть поклонение. Для первобытных людей все предметы и каждый предмет, существующий рядом с ними, представлялся эмблемой божественного, эмблемой какого-то Бога.

И обратите внимание, какая не прерывающаяся никогда нить истины проходит здесь. Разве божество не говорит также и нашему уму в каждой звезде, в каждой былинке, если только мы откроем свои глаза и свою душу? Наше почитание не имеет теперь такого характера, но не считается разве до сих пор особым даром, признаком того, что мы называем "поэтической натурой", способность видеть в каждом предмете его божественную красоту, видеть, насколько каждый предмет действительно представляет до сих пор "окно, через которое мы можем заглянуть в самую бесконечность"? Человека, способного в каждом предмете подмечать то, что заслуживает любви, мы называем поэтом, художником, гением, человеком одаренным, любвеобильным. Эти бедные сабеиты делали на свой лад то же, что делает и такой великий человек. Каким бы образом они ни делали это, во всяком случае, уже одно то, что они делали, говорит в их пользу: они стояли выше, чем совершенно глупый человек, чем лошадь или верблюд, именно ни о чем подобном не помышляющие!

Но теперь, если все, на что бы мы ни обратили свой взор, является для нас эмблемой Всевышнего Бога, то, прибавлю я, в еще большей мере, чем всякая внешняя вещь, представляет подобную эмблему сам человек. Вы слышали известные слова святого Иоанна Златоуста, сказанные им относительно шекинаха или скинии завета, видимого откровения Бога\*, данного евреям: "Истинный шекинах есть человек!" Да, именно так: это вовсе не пустая фраза, это действительно так. Суть нашего существа, то таинственное, что называет само себя я — увы, какими словами располагаем мы для обозначения всего этого, — есть дыхание неба. Высочайшее существо открывает самого себя в человеке. Это тело, эти способности, эта жизнь наша — разве не составляет все это как бы внешнего покрова сущности, не имеющей имени? "Существует один только храм во вселенной, — с благоговением говорит Новалис, — и этот храм есть тело человека. Нет святыни больше этой возвышенной формы. Наклонять голову перед людьми — значит воздавать должное почтение этому откровению во плоти. Мы касаемся неба, когда возлагаем руку свою на тело человека!" От всего этого сильно отдает как бы пустой риторикой, но в действительности это далеко не риторика. Если хорошо поразмыслить, то окажется, что мы имеем дело с научным фактом, что это — действительная истина, высказанная теми словами, какими мы можем располагать. Мы чудо из чудес, великая, неисповедимая тайна Бога. Мы не можем понять ее, мы не знаем, как говорить о ней, но мы можем чувствовать и знать, если хотите, что это именно так.

Несомненно, что эту истину чувствовали некогда более живо, чем теперь. Ранние поколения человечества, сохранявшие в себе свежесть юноши и отличавшиеся вместе с тем глубиной серьезного человека, не думавшие, что они покончили уже со всем небесным и земным, давши всему научные названия, но глядевшие прямо на мир Божий с благоговением и удивлением, — они чувствовали сильнее, что есть божественного в человеке и природе, они могли, не будучи сумасшедшими, *почитать* природу, человека и последнего более, чем что-либо другое в этой природе. Почитать — это, как я сказал выше, значит безгранично удивляться, и они могли делать это со всею полнотою своих способностей, со всею искренностью своего сердца. Я считаю почитание героев великим отличительным признаком в системах древней мысли. То, что я называю густо переплетшейся чащей язычества, выросло из многих корней; всякое удивление, всякое поклонение какой-либо звезде или какому-либо предмету составляло корень или одну из нитей корня, но почитание героев — самый глубокий корень из всех, главный, стержневой корень, который в значительнейшей мере питает и растит все остальное.

И теперь, если даже почитание звезды имело свое известное значение, то насколько же большее значение могло иметь почитание героя! Почитание героя — это есть трансцендентное удивление перед великим человеком. Я говорю, что великие люди — удивительные люди до сих пор; я говорю, что, в сущности, нет ничего другого удивительного! В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, кто выше его. И в настоящий момент, как и вообще во все моменты, оно производит оживотворяющее влияние на жизнь человека. Религия, утверждаю я, держится на нем; не только языческая, но и гораздо более высокие и более истинные религии, все религии, известные до сих пор. Почитание героя, удивление, исходящее из самого сердца и повергающее человека ниц, горячая, беспредельная покорность перед идеально-благородным, богоподобным человеком, — не таково ли именно зерно самого христианства? Величайший из всех героев есть Тот, Которого мы не станем называть здесь! Размышляйте об этой святине в святом безмолвии; вы найдете, что она есть последнее воплощение принципа, проходящего красною нитью через всю земную историю человека.

Или, обращаясь к низшим, менее невыразимым явлениям, не видим ли мы, что всякая лояльность (верность, преданность) также родственна религиозной вере? Вера есть лояльность по отношению к какому-либо вдохновенному учителю, возвышенному герою. И что такое, следовательно, самая лояльность, это дыхание жизни всякого общества, как не следствие почитания героев, как не покорное удивление перед истинным величием? Общество основано на почитании героев. Всякого рода звания и ранги, на которых покоится человеческое единение, представляют собою то, что мы могли бы назвать *героархией* (правлением героев) или иерархией, так как эта героархия заключает в себе достаточно также и "святого"! Duke (герцог) означает — Dux, предводитель; Könning, Canning — человек, который знает или может\*. Всякое общество есть выражение почитания героев в их постепенной градации, и нельзя ска-

зять, чтобы эта постепенность была совершенно не соответствующей действительности, есть почтение и повиновение, оказываемые людям действительно великим и мудрым. Постепенность, повторяю я, нельзя сказать чтобы совершенно не соответствующая действительности! Все они, эти общественные сановники, точно банковские билеты, все они представляют золото, но, увы, среди них всегда находится немало *поддельных* билетов. Мы можем производить свои операции при некотором количестве поддельных, фальшивых денежных знаков, даже при значительном количестве их; но это становится решительно невозможным, когда они все поддельные или когда большая часть их такова! Нет, тогда должна наступить революция, тогда поднимаются крики демократии, провозглашается свобода и равенство и я не знаю еще что; тогда все билеты считаются фальшивыми; их нельзя обменять на золото, и народ в отчаянии начинает кричать, что золота вовсе нет и никогда не было! "Золото", почитание героев, тем не менее *существует*, как оно существовало всегда и повсюду, и оно не может исчезнуть, пока существует человек.

Я хорошо знаю, что в настоящее время почитание героев признается уже культом отжившим, окончательно прекратившим свое существование. Наш век по причинам, которые составят некогда достойный предмет исследования, есть век отрицающий, так сказать, самое существование великих людей, отрицающий самую желательность их. Покажите нашим критикам великого человека, например Лютера, и они начнут с так называемого ими "объяснения"; они не преклонятся перед ним, а примутся измерять его и найдут, что он принадлежит к людям мелкой породы! Он был "продуктом своего времени", скажут они. Время вызвало его, время сделало все, он же не сделал ничего такого, чего бы мы, маленькие критики, не могли также сделать! Жалкий труд, по моему мнению, представляет такая критика. Время вызвало? Увы, мы знали времена, довольно громко *призывавшие* своего великого человека, но не обретавшие его! Его не оказывалось налицо. Провидение не посылало его. Время, *призывавшее* его изо всех сил, должно было погрузиться в забвение, так как он не пришел, когда его звали.

Ибо если мы хорошенько подумаем, то убедимся, что никакому времени не угрожала бы гибель, если бы оно могло *найти* достаточно великого человека: мудрого, чтобы верно определить потребности времени, отважного, чтобы повести его прямой дорогой к цели; в этом — спасение всякого времени. Но я сравниваю пошлые и безжизненные времена с их безверием, бедствиями, замешательствами, с их сомневающимся и нерешительным характером, с их затруднительными обстоятельствами, времена, беспомощно разменивающиеся на все худшие и худшие бедствия, приводящие их к окончательной гибели, — все это сравниваю я с сухим, мертвым лесом, ожидающим лишь молнии с неба, которая воспламенила бы его. Великий человек, с его свободной силой, исходящей прямо из рук Божьих, есть молния. Его слово — мудрое, спасительное слово; в него могут все поверить. Все воспламеняется тогда вокруг этого человека, раз он ударяет своим словом, и все пылает огнем, подобным его собственному. Думают, что его вызвали к существованию эти сухие, превращающиеся в прах ветви. Конечно, он был для

них крайне необходим, но что касается до того, чтобы они вызвали!.. Критики, кричащие: "Глядите, разве это не дерево производит огонь!" — обнаруживают, думаю я, большую близорукость. Не может человек более печальным образом засвидетельствовать свое собственное ничтожество, как выказывая неверие в великого человека. Нет более печального симптома для людей известного поколения, чем подобная всеобщая слепота к духовной молнии, с одной верой лишь в кучу сухих безжизненных ветвей. Это — последнее слово неверия. Во всякую эпоху мировой истории мы всегда найдем великого человека, являющегося необходимым спасителем своего времени, молниєю, без которой ветви никогда не загорелись бы. История мира, как уже я говорил, это — биография великих людей.

Наши маленькие критики делают все от них зависящее для того, чтобы двигать вперед безверие и парализовать всеобщую духовную деятельность; но, к счастью, они не всегда могут вполне успевать в своем деле. Во всякие времена человек может подняться достаточно высоко, чтобы почувствовать, что они и их доктрины — химеры и паутины. И что особенно замечательно, никогда, ни в какие времена они не могли всецело искоренить из сердец живых людей известного, совершенно исключительного почитания великих людей: неподдельного удивления, обожания, — каким бы затемненным и извращенным оно ни представлялось. Почитание героев будет существовать вечно, пока будет существовать человек. Босуэлл даже в XVIII веке почитает искренне своего Джонсона\*. Неверующие французы верят в своего Вольтера, и почитание героя проявляется у них крайне любопытным образом в последний момент его жизни, когда они "закидали его розами". Этот эпизод в жизни Вольтера всегда казался мне чрезвычайно интересным. Действительно, если христианство являет собою высочайший образец почитания героев, то здесь, в вольтерьянстве, мы находим один из наиболее низких! Тот, чья жизнь была в некотором роде жизнью антихриста, и в этом отношении представляет любопытный контраст. Никакой народ никогда не был так мало склонен удивляться перед чем бы то ни было, как французы времен Вольтера. *Пересмеивание* составляло характерную особенность всего их душевного склада; обожанию не было здесь ни малейшего местечка. Однако посмотрите! Фернейский старец приезжает в Париж, пошатающийся, дряхлый человек восьмидесяти четырех лет. Он чувствует, что он также герой в своем роде, что он всю свою жизнь боролся с заблуждением и несправедливостью, освобождал Каласов\*; разоблачал высокопоставленных лицемеров, что он, короче, тоже боролся (хотя и странным образом), как подобает отважному человеку. Они понимают также, что если *пересмеивание* — великое дело, то никогда не было такого *пересмеивателя*. В нем они видят свой собственный воплощенный идеал; он — то, к чему все они стремятся; типичнейший француз из всех французов. Он, собственно, их бог, тот бог, в какого они могут верить. Разве все они, действительно, не почитают его, начиная с королевы Антуанетты до таможенного досмотрщика в порту Сен-Дени? Благородные особы переодеваются в трактирных слуг. Почтосодержатель с грубой бранью приказывает ямщику: "*Погоняй хорошенько; ты везешь господина Вольтера*". В Париже его карета составляет



”ядро кометы, хвост которой наполняет все улицы”. Дамы выдергивают из его шубы по нескольку волосков, чтобы сохранить их как святые реликвии. Во всей Франции все самое возвышенное, прекрасное, благородное сознавало, что этот человек был еще выше, еще прекраснее, еще благороднее.

Да, от скандинавского Одина\* до английского Сэмюэла Джонсона, от божественного основателя христианства до высохшего первосвященника энциклопедизма во все времена и во всех местах героям всегда поклонялись. И так будет вечно. Мы все любим великих людей: любим, почитаем их и покорно преклоняемся перед ними. И можем ли мы честно преклоняться перед чем-либо другим? О! Разве не чувствует всякий правдивый человек, как он сам становится выше, воздавая должное уважение тому, что действительно выше его? В сердце человека нет чувства более благородного, более благословенного, чем это. Мысль, что никакая разъеденная скептицизмом логика, никакая всеобщая пошлость, неискренность, черствость какого бы то ни было времени с его веяниями не могут разрушить той благородной прирожденной преданности, того почитания, какое присуще человеку, — мысль эта доставляет мне громадное утешение. В эпохи неверия, которые скоро и неизбежно превращаются в эпохи революций, многое, как это всякий легко может заметить, претерпевает крушение, стремится к печальному упадку и разрушению. Что же касается моего мнения относительно переживаемого нами времени, то в этой несокрушимости культа героев я склонен видеть тот вечный алмаз, дальше которого не может пойти беспорядочное разрушение, обнаруживаемое революционным ходом вещей. Беспорядочное разрушение вещей, распадающихся на мелкие части, обрушивающихся с треском и опрокидывающихся вокруг нас в наши революционные годы, будет продолжаться именно до этого момента, но не дольше. Это — вечный краугольный камень, на котором снова будет воздвигнуто здание. В том, что человек так или иначе поклоняется героям, что мы, все мы, почитаем и обязательно будем всегда почитать великих людей, я вижу живую скалу среди всевозможных крушений, единственную устойчивую точку в современной революционной истории, которая иначе представлялась бы бездонной и безбрежной.

Такова истина, которую я нахожу в язычестве древних народов; она только прикрыта старым, поношенным одеянием, но дух ее все же истинен. Природа до сих пор остается божественной, она до сих пор — откровение трудов Божьих; герой до сих пор почитается. Но именно это же самое — правда, в формах еще только зарождающихся, бедных, связанных — стараются, как могут, выдвинуть и все языческие религии. Я думаю, что скандинавское язычество представляет для нас в данном случае больший интерес, чем всякая другая форма язычества. Прежде всего оно принадлежит позднему времени; оно продержалось в северных областях Европы до конца XI столетия; восемьсот лет тому назад норвежцы были еще поклонниками Одина. Затем оно интересно как верование наших отцов, тех, чья кровь течет еще в наших жилах и на кого мы без сомнения еще до сих пор так сильно походим. Странно: они действительно верили в это, тогда как мы верим в нечто совершенно иное. Остановимся же несколько, ввиду многих причин, на бедном древнескандинавском веровании. Мы располагаем достаточными дан-

ными, чтобы сделать это, так как скандинавская мифология сохранилась довольно хорошо, что еще более увеличивает интерес к ней.

На этом удивительном острове Исландия, приподнятом, как говорят геологи, со дна моря благодаря действию огня; в дикой стране бесплодия и лавы, ежегодно поглощаемой в течение многих месяцев грозными бурями, а в летнюю пору блещущей своей дикой красотой; сурово и неприступно поднимающимся здесь, в Северном океане, со своими снежными вершинами, шумящими гейзерами, серными озерами и страшными вулканическими безднами, подобно хаотическому, опустошенному полю битвы между огнем и льдом, — здесь-то, говорю я, где менее, чем во всяком другом месте, стали бы искать литературных или вообще письменных памятников, было записано воспоминание о делах давно минувших. Вдоль морского берега этой дикой страны тянется луговая полоса земли, где может пастись скот, а благодаря ему и добыче, извлекаемой из моря, могут существовать люди; люди эти отличались, по-видимому, поэтическим чувством; им были доступны глубокие мысли, и они умели музыкально выражать их. Многого не существовало, если бы море не выдвинуло из своей глубины этой Исландии, если бы она не была открыта древними скандинавами! Многие из древних скандинавских поэтов были уроженцами Исландии.

Семунд, один из первых христианских священников на этом острове, питавший, быть может, несколько запоздалые симпатии к язычеству, собрал некоторые из местных старинных языческих песен, уже начинавших выходить из употребления в то время, — именно поэмы или песни мифического, пророческого, главным же образом религиозного содержания, называемые древнескандинавскими критиками "Старшей (Песенной) Эддой". Этимология слова "Эдда" неизвестна; думают, что оно означает "предки". Затем Снорри Стурлусон, личность в высшей степени замечательная, исландский дворянин, воспитанный внуком этого самого Семунда, задумал, почти столетие спустя, в числе других своих работ, составить нечто вроде прозаического обзора всей мифологии и осветить ее новыми отрывками из сохранившихся по традиции стихов. Работу эту он выполнил с замечательным умением и прирожденным талантом, с тем, что называют иные бессознательным искусством; получился труд совершенно ясный и понятный, который приятно читать даже в настоящее время; это — "Младшая Эдда" (прозаическая). Благодаря этим произведениям, а также многочисленным *сагам*, в большинстве случаев исландского происхождения, и пользуясь исландскими и неисландскими комментариями, каковыми до сих пор ревностно занимаются на Севере, мы можем даже теперь познакомиться непосредственно с предметом, стать, так сказать, лицом к лицу с системой древнескандинавского верования. Забудем, что это было ошибочное верование; отнесемся к нему как к старинной мысли и посмотрим, нет ли в ней чего-либо такого, чему мы могли бы симпатизировать в настоящее время.

Главную отличительную черту этой древнескандинавской мифологии я вижу в олицетворении видимых явлений природы: серьезное, чистосердечное признание явлений физической природы как дела всецело чудесного, изумительного и божественного. То, что мы изучаем теперь как предмет нашего знания, вызывало у древних скандинавов удивление,

и они, пораженные благоговейным ужасом, повергались перед ним ниц, как перед предметом своей религии. Темные, неприязненные силы природы они представляли себе в образе "ётунов", гигантов, громадных косматых существ с демоническим характером. Мороз, огонь, морская буря — это ётуны. Добрые же силы, как летнее тепло, солнце, это — боги. Власть над вселенной разделяется между теми и другими; они живут отдельно и находятся в вечной смертельной междоусобице. Боги живут вверху, в Асгарде, в саду асов, или божеств; жилищем же ётунов служит Ётунхейм — отдаленная, мрачная страна, где царит хаос\*.

Странно все это, но не бессодержательно, не бессмысленно, если только мы попристальнее всмотримся в самую суть! Сила *огня* или *пламени*, например, которую мы обозначаем каким-нибудь избитым химическим термином, скрывающим от нас самих лишь действительный характер чуда, сказывающегося в этом явлении, как и во всех других, для этих древних скандинавов представляет Локи\*, самого быстрого, самого вкрадчивого *демона* из семьи ётунов. Дикари Марианских островов (рассказывают испанские путешественники) считали огонь, до тех пор ими никогда не виданный, также дьяволом или богом, живущим в сухом дереве и жестоко кусающимся, если прикоснуться к нему. Но никакая химия, если только ее не будет поддерживать тупоумие, не может скрыть и от нас того, что пламя есть чудо. Действительно, что такое пламя?.. *Мороз* древний скандинавский ясновидец считает чудовищным, седовласым ётуном, исполином Трюмом, Хрюмом или Римом; это старинное слово теперь почти совсем вышло из употребления в Англии, но его до сих пор употребляют в Шотландии для обозначения инея\*. Рим был тогда не мертвым химическим соединением, как теперь, а живым ётуном или демоном; чудовищный ётун Рим пригонял своих лошадей на ночь домой и принимался "расчесывать им гривы"; этими лошадьми были *градовые тучи* или быстрые *морозные ветры*. *Ледяные глыбы* — его коровы или быки, нет, не его, а его родственника, исполина Имира; этому Имиру стоило только "взглянуть на скалы" своим дьявольским глазом, и они *раскалывались* от блеска его.

Гром не считали тогда только электричеством, проистекающим из стекла или смолы; это был бог Донар\* (гром) или Тор; он же бог и благодетельного летнего тепла. Гром — это его гнев; нагромождающиеся черные тучи — это нахмуренные грозные брови Тора; огненная стрела, раздирающая небо, — это всеокрушающий молот, опускаемый рукою Тора; он мчит на своей гулкой колеснице по вершинам гор — это раскаты грома; гневно "дует он в свою красную бороду" — это шелест и порывы ветра, перед тем как начинает греметь гром. Напротив, Бальдр\*, белый бог, прекрасный, справедливый и благодетельный (первые христианские миссионеры находили его похожим на Христа), — это солнце, прекраснейшее из всех видимых предметов; оно остается и для нас все так же чудесно, все так же божественно, несмотря на все наши астрономии и календари! Но, быть может, самым замечательным из всех богов, рассказы о которых мы слышали, является тот бог, следы которого открыты были немецким этимологом Гриммом, — бог Wunsch или Wish (желание). Бог Уиш может дать нам все, чего бы только мы ни пожелали (wished)! Не слышится ли в этом крайне искрен-

ний, хотя вместе с тем и крайне грубый еще голос человеческой души; *самый грубый* идеал, какой только человек когда-либо создавал себе; идеал, дающий себя чувствовать еще и в новейших формах нашей духовной культуры? Более возвышенные размышления должны показать нам, что бог Уиш не есть истинный бог.

О других богах или ётунах я упомяну лишь ради их этимологического интереса; морская буря — это ётун Эгир, весьма опасный ётун; и в наше время на реке Трент, как мне пришлось слышать, ноттингемские лодочники называют известный подъем в реке (нечто вроде обратного течения, образующего водовороты, весьма опасные для них) Игером (Eager); они кричат: "Будьте осторожны, Игер идет!" Странно; это сохранившееся до сих пор слово является как бы пиком, подымающимся из некоего потопленного мира! Ноттингемские лодочники *древнейших* времен верили в бога Эгира! И действительно, наша английская кровь в значительной степени та же датская, скандинавская кровь; или, вернее сказать, датчанин, скандинав, саксонец имеют, в сущности, лишь внешние, поверхностные различия: один язычник, другой христианин и т. п. На всем пространстве острова мы перемешаны в особенности сильно с собственно датчанами, что объясняется их беспрестанными набегами, и притом в большой пропорции, естественно, вдоль восточного берега, и больше всего, как я нахожу, на северной окраине. Начиная от реки Хамбер вверх, во всей Шотландии, говор простого народа поразительно напоминает до сих пор исландский говор; его германизм имеет особую скандинавскую окраску. Они также — "норманны", если в этом кто-либо может находить особую прелесть!

О главном божестве, Одине, мы будем говорить дальше; теперь же заметим следующее: главную суть скандинавского и в действительности всякого другого язычества составляет признание сил природы как деятелей олицетворенных, необычайных, божественных, как богов и демонов. Нельзя сказать, чтобы это было непостижимо для нас. Это детская мысль человека, раскрывающаяся сама собой, с удивлением и ужасом, перед вечно изумительной вселенной. В древнескандинавской системе мысли я вижу нечто чрезвычайно искреннее, чрезвычайно большое и мужественное. Совершенная простота, грубость, столь непохожая на легкую грациозность древнегреческого язычества, составляют отличительную особенность этой скандинавской системы. Она — мысль; искренняя мысль глубоких, грубых, серьезных умов, глядящих открыто на окружающие их предметы. Подходить ко всем явлениям лицом к лицу, сердцем к сердцу составляет первую характерную черту всякой хорошей мысли во все времена. Не грациозная легкость, полузабава, как в греческом язычестве, а известная простоватая правдивость, безыскусственная сила, громадная, грубая искренность открываются здесь перед нами. Странное испытываешь чувство, переходя от наших прекрасных статуй Аполлона и веселых, смеющихся мифов к древнескандинавским богам, "варящим пиво", чтобы пировать вместе с Эгиром, ётуном моря, посылающим Тора добыть котелок в стране ётунов; и Тор после многочисленных приключений нахлобучивает котелок себе на голову, наподобие огромной шляпы, и, исчезая в нем совершенно, так что ушки котелка касаются его плеч, возвращается назад! Какая-то пустынная

громадность, широкое, неуклюжее исполиństwo характеризуют эту скандинавскую систему; чрезмерная сила, совершенно еще невежественная, шагающая самостоятельно, без всякой чужой поддержки своими огромными, неверными шагами. Обратите внимание хотя бы только на этот первоначальный миф о творении. Боги, овладев убитым гигантом Имиром, гигантом, родившимся из "теплых ветров" и различных веществ, происшедших от борьбы мороза и огня, решили создать из него мир. Его кровь стала морем, его мясо — землей, кости — скалами; из его бровей они сделали свой Асгард — жилище богов; череп его превратился в голубой свод величественной беспредельности, а мозг — в облака. Какое гипербробдиньягское\* дело! Мысль необузданная, громадная, исполинская, чудовищная; в свое время она будет укрощена и превратится в сосредоточенное величие, не исполиноподобное, но богоподобное, более могучее, чем исполиństwo, в величие Шекспиров и Гёте! Эти люди такие же наши прародители в духовном отношении, как и в телесном.

Мне нравится также их представление о дереве Иггдрасиль\*. Всю совокупность жизни они представляли себе в виде дерева. Иггдрасиль, ясень, древо жизни, глубоко прорастает своими корнями в царство Хели или смерти\*; вершина его ствола достигает высокого неба; его ветви распространяются над всей вселенной; таково древо жизни. У корней его, в царстве смерти, восседают три *норны*, судьбы, — прошедшее, настоящее и будущее, — они орошают корни дерева водою из священного источника. Его "ветви" с распускающимися почками и опадающими листьями — события, дела выстраданные, дела содеянные, катастрофы — распространяются над всеми странами и на все времена. Не представляет ли каждый листик его отдельной биографии, каждое волоконец — поступка или слова? Его ветви — это история народов. Шелест, производимый листьями, — это шум человеческого существования, все более возрастающий, начиная с древних времен. Оно растет; дыхание человеческой страсти слышится в его шелесте; или же бурный ветер, потрясая его, завывает, подобно голосу всех богов. Таков Иггдрасиль, древо жизни. Оно — прошедшее, настоящее и будущее; то, что сделано, что делается, что будет делаться — "бесконечное спряжение глагола *делать*". Вдумываясь в то, какой круговорот совершают человеческие дела, как безысходно перепутывается каждое из них со всеми другими, — как слово, сказанное мною сегодня вам, вы можете встретить не только у Ульфилы Готского, но в речах всех людей, с тех пор как заговорил первый человек, — я не нахожу сравнения более подходящего для данного случая, чем это дерево. Прекрасная аналогия; прекрасная и величественная. "*Механизм вселенной*" — увы, думайте о нем лишь контраста ради!

Итак, довольно странным кажется это древнескандинавское воззрение на природу; довольно значительно отличается оно от того, какого придерживаемся мы. Каким же образом оно сложилось? На это не любят отвечать особенно точно! Одно мы можем сказать: оно возникло в головах скандинавов; в голове прежде всего *первого* скандинава, который отличался оригинальной силой мышления; первого скандинавского "гениального человека", как нам следует его называть! Бесчисленное множество людей прошло, совершая свой путь во вселенной со смут-

ным, немым удивлением, какое могут испытывать даже животные, или же с мучительным, бесплодно вопрошающим удивлением, какое чувствуют только люди, пока не появился великий мыслитель, *самобытный* человек, прорицатель, — оформленная и высказанная мысль пробудила дремавшие способности всех людей и вызвала у них также мысль. Таков всегда образ воздействия мыслителя, духовного героя. Все люди были недалеко от того, чтобы сказать то, что сказал он; все желали сказать это. У всякого пробуждается мысль как бы от мучительного заколдованного сна и стремится к его мысли и отвечает ей: да, именно так! Великая радость для людей, точно наступление дня после ночи. Не *есть* ли это для них действительно пробуждение от небытия к бытию, от смерти к жизни? Такого человека мы до сих пор чтим, называем его поэтом, гением и т. п.; но для диких людей он был настоящим магом, творцом неслыханного, чудесного блага, пророком, богом! Раз пробудившись, мысль уже не засыпает более, она развивается в известную систему мыслей, растет от человека к человеку, от поколения к поколению, пока не достигает своего полного развития, после чего *эта* система мысли не может уже более расти и должна уступить место другой.

Для древнескандинавского народа таким человеком, как мы представляем это себе, был человек, называемый теперь Одином, главный скандинавский бог; учитель и вождь души и тела; герой с заслугами неизмеримыми, удивление перед которым, перейдя все известные границы, превратилось в обожание. Разве он не обладает способностью отчеканивать свою мысль и многими другими, до сих пор еще вызывающими удивление способностями? Так именно, с беспредельною благодарностью должно было чувствовать грубое скандинавское сердце. Разве не разрешает он для них загадку сфинкса этой вселенной, не внушает им уверенности в их собственную судьбу здесь, на земле? Благодаря ему они знают теперь, что должны делать здесь и чего должны ожидать впоследствии. Благодаря ему существование их стало явственным, мелодичным, он первый сделал их жизнь живою! Мы можем называть этого Одина, прародителя скандинавской мифологии, Одином или каким-либо другим именем, которое носил первый скандинавский мыслитель, пока он был человеком среди людей. Высказывая свое воззрение на вселенную, он тем самым вызывает подобное же воззрение в умах всех; оно растет, постоянно развиваясь, и его придерживаются до тех пор, пока считают достойным веры. Оно начертано в умах всех, но невидимо, как бы симпатическими чернилами, и при его слове проявляется с полной ясностью. Не составляет ли во всякую мировую эпоху пришествие в мир мыслителя великого события, порождающего все прочее?

Мы не должны забывать еще одного обстоятельства, объясняющего отчасти путаницу скандинавских "Эдд". Они составляют, собственно, не одну связную систему мысли, а *наслоение* нескольких последовательных систем. Все это древнескандинавское верование, по времени своего происхождения, представляется нам в "Эдде" как бы картиной, нарисованной на одном и том же полотнище; но в действительности это вовсе не так. Здесь мы имеем дело скорее с целым рядом картин, находящихся на всевозможных расстояниях, помещенных во всевозможных глубинах, соответственно последовательному ряду поколений, пришедших с тех

пор, как верование впервые было возведено. Каждый скандинавский мыслитель, начиная с первого, внес свою долю в эту скандинавскую систему мысли; постоянно перерабатываемая и осложняемая новыми прибавлениями, она представляет в настоящее время соединенный труд всех их. Никто и никогда не узнает теперь, какова была ее история, какие изменения претерпевала она, переходя от одной формы к другой, благодаря вкладам разных мыслителей, следовавших один за другим, пока не достигла своей окончательной полной формы, какую мы видим в "Эдде": эти соборы в Трапезунде, соборы в Триенте, эти Афанасии, Данте, Лютеры, все они погрузились в непробудный мрак ночи, не оставив по себе никакого следа! И все знание наше в данном случае должно ограничиться только тем, что система эта имела подобную историю. Всякий мыслитель, где бы и когда бы он ни появился, вносит в сферу, куда направляется его мысль, известный вклад, новое приобретение, производит перемену, революцию. Увы, не погибла ли для нас и эта величайшая из всех революций, "революция", произведенная самим Одним, как погибло все остальное! Какова история Одина? Как-то странно даже говорить, что он *имел* историю; что этот Один в своем диком скандинавском одеянии, со своими дикими глазами и бородой, грубою скандинавскою речью и обращением, был такой же человек, как и мы; что у него были те же печали и радости, что и у нас; те же члены, те же черты лица, — одним словом, что, в сущности, это был абсолютно такой же человек, как и мы; и он совершил такое громадное дело! Но дело, большая часть дела, погибло, а от самого творца осталось только имя. "Wednesday" (среда), скажут люди потом, то есть день Одина! Об Одине история не знает ничего. Относительно его *не сохранилось* ни одного документа, ни малейшего намека, стоящего того, чтобы о нем говорить.

Положим, Снорри самым невозмутимым, почти деловым тоном рассказывает в своем "Хеймскрингле"\* как Один, героический князь, княживший в местности близ Черного моря, с двенадцатью витязями и многочисленным народом был стеснен в своих границах; как он вывел этих асов (азиатов) из Азии и после доблестной победы остался жить в северной части Европы; как он изобрел письмена, поэзию и т. п. и мало-помалу стал почитаться скандинавами как главное божество, а двенадцать витязей превратились в двенадцать его сыновей, таких же богов, как и он сам. Снорри нисколько не сомневается во всем этом. Саксон Грамматик, весьма замечательный норманн того же века, обнаруживает еще меньше сомнений: он не колеблясь признает во всяком отдельном мифе исторический факт и передает его как земное происшествие, имевшее место в Дании или где-либо в другом месте. Торфеус, осторожный ученый, живший несколько столетий спустя, вычисляет даже соответствующие *даты*. Один, говорит он, пришел в Европу около 70 года до Р. Х. Но обо всех подобных утверждениях я не стану ничего говорить здесь: они построены на одних только недостоверностях, и потому их невозможно поддерживать в настоящее время. Раньше, много раньше, чем в 70 году! Появление Одина, его отважные похождения, вся его земная история, вообще его личность и среда, окружавшая его, поглощены навеки для нас неведомыми тысячелетиями.

Мало того, немецкий археолог Гримм\* отрицает даже, чтобы существовал когда бы то ни было какой-то человек Один. Свое мнение он доказывает этимологически. Слово "Вотан", представляющее первоначальную форму слова "Один", встречается часто у всех народов тевтонского племени как название главного божества. Оно имеет, по Гримму, общее происхождение с латинским словом "vadere", английским "wade" и т. п., означает первоначально movement (движение), источник движения, силу и является вполне подходящим словом для наименования величайшего бога, а не человека. Слово это, говорит он, означает божество у саксов, германцев и всех тевтонских народов; все прилагательные, произведенные от него, означают *божественный, верховный* или вообще нечто, свойственное главному божеству. Довольно правдоподобно! Мы должны преклониться перед авторитетом Гримма, перед его этимологическими познаниями. Будем считать вполне решенным, что Вотан означает силу *движения*. Но затем спросим, почему же это слово не может служить также названием героического человека и *двигателя*, как оно служит названием божества? Что же касается прилагательных и слов, произведенных от него, то возьмем, например, испанцев: разве они, под влиянием своего всеобщего удивления перед Лопе, не выражались так: "Лопе-цветок", "Лопе-дама", в тех случаях, когда цветок или женщина поражали их своею необычайной красотой? Затем, если бы подобная привычка просуществовала долгое время, то слово "Лопе" превратилось бы в Испании в прилагательное, означающее также *божественный*. Действительно, Адам Смит в своем "Опыте о языке"\* высказывает предположение, что все прилагательные произошли именно таким образом: какой-либо предмет, ярко выделяющийся своей зеленой окраской, получает значение нарицательного имени "*зеленое*" и тогда уже всякий предмет, отличающийся таким же признаком, например дерево, называется "*зеленым деревом*", подобно тому как мы до сих пор еще говорим: "the steam coach" (паровоз; букв. карета, движимая паром), как и "four-horse coach" (карета, запряженная четверкой) и т. д. Все коренные прилагательные, по Смиту, образовались именно таким образом: сначала они были существительными и служили наименованием предметов. Но не можем же мы позабыть человека из-за подобных этимологических выкладок. Конечно, существовал первый учитель и вождь; конечно, должен был существовать в известную эпоху Один, осязаемый, доступный человеческим чувствам, не как прилагательное, а как реальный герой с плотью и кровью! Голос всякой традиции, история или эхо истории, подтверждая все то, к чему приходим мы теоретически, убеждают нас окончательно в справедливости этого.

Каким образом человека Одина стали считать *богом*, главным божеством, это, конечно, вопрос, о котором никто не взялся бы говорить в догматическом тоне. Его народ, как я сказал, не знал никаких *границ* в своем удивлении перед ним; он не знал в ту пору еще никакого мерила, чтобы измерить свое удивление. Представьте себе, ваша собственная благородная, сердечная любовь к кому-либо из величайших людей настолько разрастается, что *переходит* всякие границы, наполняет и затопляет все поле вашей мысли! Или, вообразите, этот самый человек Один, так как всякая великая, глубокая душа с ее вдохновением, с ее



таинственными приливами и отливами предвидения и внушений, нисходящих на нее неизвестно откуда, представляет всегда загадку, в некотором роде ужас и изумление для самой себя, почувствовал, быть может, что *он* носит в себе божество, что он — некоторая эманация Вотана, "движения", высшей силы и божества, прообразом которого выступала для его восхищенного воображения вся природа, почувствовал, что некоторая эманация Вотана живет здесь, в нем! И нельзя сказать, чтобы ему неизбежно приходилось при этом лгать; он просто лишь заблуждался, высказывая самое достоверное, что только было ему известно. Всякая великая душа, всякая искренняя душа не знает, что она такое, и то возносится на высочайшую высоту, то ниспровергается в глубочайшую бездну; менее всего другого человек может измерить самого себя! То, за что принимают его другие, и то, чем он кажется самому себе, по собственным догадкам, эти два заключения странным образом воздействуют одно на другое, определяются одно через другое. Все люди благоговейно удивляются ему; его собственная дикая душа преисполнена благородного пыла и благородных стремлений, хаотического бурного мрака и славного нового света; чудная вселенная блещет вокруг него во всей своей божественной красоте, и нет человека, с которым когда-либо происходило бы что-нибудь подобное, — что же он мог думать после всего этого о самом себе, кто он? Вотан? Все люди отвечали: "Вотан!"

А затем подумайте, что делает одно только время в подобных случаях: как человек, если он был велик при жизни, становится еще в десять раз более великим после своей смерти. Какую безмерно увеличивающую *камеру-обскуру* представляет традиция! Как всякая вещь увеличивается в человеческой памяти, в человеческом воображении, когда любовь, поклонение и все, чем дарит человеческое сердце, оказывают тому свое содействие. И притом во тьме, при полном невежестве, без всякой хронологии и документов, при совершенном отсутствии книги и мраморных надписей: лишь то там, то здесь несколько немых, надгробных памятников. Но ведь там, где вовсе нет книг, великий человек лет через тридцать—сорок становится *мифическим*, так как все современники, знавшие его, вымирают. А через триста, а через три тысячи лет!.. Всякая попытка *теоретизировать* о подобных вопросах принесет мало пользы; эти вопросы не укладываются в *теоремы* и *диаграммы*; логика должна знать, что она *не может* решить их. Удовлетворимся тем, если мы можем разглядеть в отдалении, в самой крайней дали, некоторое мерцание как бы некоего незначительного реального светила, находящегося в центре этого громадного изображения камеры-обскуры; если мы разглядим, что центр всей картины составляет вовсе не безумие или ничто, но здравый смысл и нечто.

Этот свет, возженный в громадной, погруженной во тьму пучине скандинавской души, но в пучине живой, ожидающей только света, — этот свет, по моему мнению, представляет центр всего. Как затем он будет гореть и распространяться, какие примет формы и цвета, рассеиваясь удивительным образом на тысячу ладов, — это зависит не столько от *него* самого, сколько от народного духа, его воспринимающего. Цвет и форма света изменяются в зависимости от *призмы*, через которую он

проходит. Странно подумать, как самый достоверный факт в глазах разных людей принимает самые разнообразные формы сообразно природе человека! Я сказал: серьезный человек, обращаясь к своим братьям-людям, неизбежно всегда утверждает то, что кажется ему *фактом*, реальным явлением природы. Но то, каким образом он понимает это явление или факт, то, какого именно рода *фактом* становится он для него, — изменилось и изменяется согласно его собственным законам мышления, глубоким, трудноуловимым, но вместе с тем всеобщим, вечно деятельным законам. Мир природы для всякого человека является фантазией о самом себе; мир этот представляет многосложный "образ его собственной мечты". Кто скажет, благодаря каким невыразимым тонкостям спиритуального закона все эти языческие басни получают ту или иную форму! Число *двенадцать*, наиболее делимое, — его можно делить пополам, на четыре части, на три, на шесть, — самое замечательное число; этого было достаточно, чтобы установить двенадцать *знаков Зодиака*, двенадцать *сыновей* Одина и бесчисленное множество других "двенадцать". Всякое неопределенное представление о числе имеет какую-то тенденцию к двенадцати. То же следует сказать относительно всякого другого предмета. И притом все это делается совершенно бессознательно, без малейшей мысли о каких бы то ни было "аллегориях"! Бодрый и ясный взгляд этих первых веков, должно быть, быстро проникал в тайну отношений вещей и вполне свободно подчинялся их власти. Шиллер находит в "поясе Венеры"\* возвышенную эстетическую правду относительно природы всего прекрасного; при этом интересно: он не старается дать понять, что древнегреческие мифологи имели какой-то умысел прочесть лекцию по "критической философии"!.. В конце концов мы должны покинуть эти беспредельные сферы. Неужели же мы не можем представить себе, что Один существовал в действительности? Правда, заблуждение было, не малое заблуждение, но настоящий обман, пустые басни, предумышленные аллегории, — нет, мы не поверим, чтобы наши отцы верили в них.

*Руны* Одина имеют большое значение для характеристики его личности. Руны и "магические" чудеса, которые он делал при помощи их, занимают выдающееся место в традиционном рассказе об Одине. Руны — это скандинавский алфавит; предполагают, что Один был изобретателем письмен, равно как и магии для своего народа! Выразить незримую мысль, существующую в человеке, посредством написанных букв, — это величайшее изобретение, какое только сделал когда-либо человек. Это в некотором роде вторая речь, почти такое же чудо, как и первая. Вспомните удивление и недоверие перуанского царя Атагуальпы\*, когда он заставил караулившего его испанского солдата нацарапать на ногте своего большого пальца слово *Dios*\*, чтобы он мог затем, показав эту надпись следующему солдату, убедиться, действительно ли возможно подобное чудо. Если Один ввел среди своего народа письмена, то он способен был совершить волшебство.

Рунические письмена представляли, по-видимому, самобытное явление среди древних скандинавов. Это не финикийский алфавит, а оригинальный скандинавский. Снорри рассказывает далее, что Один создал также и поэзию, музыку человеческой речи, как он создал это удивитель-

ное руническое написание последней. Перенеситесь мысленно в далекую, детскую эпоху жизни народов. Первое прекрасное солнечное утро нашей Европы, когда все еще покоится в свежем, раннем сиянии величественного рассвета, и Европа впервые начинает мыслить, существовать! Изумление, упование; бесконечное сияние упования и изумления, словно сияние мыслей юного ребенка, в сердцах этих мужественных людей! Мужественные сыны природы, — и среди них появляется человек, он не просто дикий вождь и борец, видящий своими дико сверкающими глазами, что надлежит делать, и своим диким, львиным сердцем держащий и делающий должное, но и поэт; он воплощает в себе все, что мы понимаем под поэтом, пророком, великим искренним мыслителем и изобретателем, и кем всегда бывает всякий истинно великий человек. Герой является героем во всех отношениях — в своей душе и в своей мысли прежде всего. Этот Один знал, по-своему, грубо, полуотчетливо, что ему сказать. Великое сердце раскрылось, чтобы воспринять в себя великую вселенную и жизнь человеческую и сказать великое слово по этому поводу. Это — герой, говорю я, на свой собственный грубый образец, человек мудрый, одаренный, с благородным сердцем. И теперь, если мы до сих пор удивляемся подобному человеку преимущественно перед всеми другими, то как же должны были относиться к нему дикие скандинавские умы, у которых впервые пробудилась мысль! Для них (дотоле они не имели соответствующего слова) он был благородный и благороднейший; герой, пророк, бог; *Вотан*, величайший из всех. Мысль остается мыслью, все равно, выговаривают ли ее по складам или связной речью. По существу, я допускаю, что этот Один, вероятно, был создан из той же материи, как и громадное большинство людей. В его диком, глубоком сердце — великая мысль! Не составляют ли грубые слова, членораздельно произнесенные им, первоначальных корней тех английских слов, которые мы употребляем до сих пор? Он работал, таким образом, в этой темной стихии. Но он являл собою *свет*, зажженный в ней; свет разума, грубое благородство сердца, единственный род света, какой мы знаем поныне; он герой, как я представляю: он должен был светить здесь и хоть как-то освещать свою темную стихию, что и до сих пор составляет нашу всеобщую задачу.

Мы представляем его себе в виде типичного скандинава, самого настоящего тевтона, какого только эта раса производила до сих пор. Грубые скандинавские сердца пылали к нему *безграничным* удивлением, обожанием. Он составляет как бы корень многочисленных великих деяний; плоды, принесенные им, произрастают из глубины прошедших тысячелетий на всем поле тевтонской мысли. Наше слово "среда" (*Wednesday*), не означает ли оно до сих пор, как я уже заметил, дня Одина? *Wednesbury*, *Wansborough*, *Wanstead*, *Wandsworth*, — Один, разрастаясь, проник также и в Англию, — все это лишь листья от того же корня! Он был главным божеством для всех тевтонских народов, их идеалом древнескандинавского мужа; таким образом *они* действительно выражали удивление перед своим скандинавским идеалом; такова была его судьба в этом мире.

Итак, если Один-человек исчез совершенно, то осталась его громадная тень, до сих пор лежащая на всей истории его народа. Ибо раз этот

Один был признан богом, то легко понять, что вся скандинавская система воззрений на природу или их туманная бессистемность, какова бы она ни была до тех пор, должна была начать развиваться с этого момента совершенно иначе и расти, следуя иным, новым путям. То, что узнал Один и чему он поучал своими рунами и рифмами, весь тевтонский народ принял к сердцу и продолжал двигать вперед. Его образ мыслей стал их образом мыслей. Такова и до сих пор, лишь складывающаяся при иных условиях, история всякого великого мыслителя. Самая эта скандинавская мифология, в своих неясных гигантских очертаниях похожая на громадное отражение камеры-обскуры, которое падает из мертвенных глубин прошедшего и покрывает собою всю северную часть небосклона, — не есть ли она в некотором роде отражение этого человека Одина? Гигантское отражение *его* настоящего облика, отчетливо или неотчетливо обрисованное здесь, но слишком расширенное и поэтому неясное! Да, мысль, говорю я, всегда остается мыслью. Нет великого человека, который жил бы напрасно. История мира есть лишь биография великих людей.

Я нахожу что-то весьма трогательное в этом первобытном образе героизма, в этой безыскусственности, беспомощности и вместе с тем глубочайшей сердечности, с какими люди относились тогда к герою. Никогда почитание не имело такого беспомощного, по внешнему виду, характера, но вместе с тем это было самое благородное чувство, в той или другой форме столь же неизменно существующее, как неизменно существует и сам человек. Если бы я мог показать в какой бы то ни было мере то, что я глубоко ощущаю уже с давних пор, а именно, что чувство это есть жизненный элемент человечества, душа человеческой истории в нашем мире, то я достиг бы главной цели своих настоящих бесед. Мы не называем теперь богами наших великих людей, мы не удивляемся перед ними *безгранично*; о нет, довольно-таки *ограниченно*! Но если бы мы не имели вовсе великих людей, если бы мы совершенно не удивлялись им, то было бы еще гораздо хуже.

Этот бедный скандинавский культ героев, все это древнескандинавское воззрение на природу, приспособление к ней имеют для нас непреходящую ценность. Детски-грубое понимание божественности природы, божественности человека; крайне грубое, но вместе с тем глубоко прочувствованное, мужественное, исполненное, предвещающее уже, в какого гиганта-человека вырастет это дитя! Понимание это было истиной, но теперь оно уже более не истина. Не представляется ли оно вам как бы сдавленным, едва слышным голосом давно погребенных поколений наших собственных отцов, вызванных из вековых глубин пред лицо наше, пред лицо тех, в чьих жилах все еще течет их кровь. "Вот, — говорят они, — то, что *мы* думали о мире; вот то представление, то понятие, какое только мы могли составить себе об этой великой тайне жизни мира. Не относитесь презрительно к ним. Вы ушли далеко вперед от такого понимания, перед вами расстилаются более широкие и свободные горизонты, но вы также не достигли еще вершины. Да, ваше понимание, каким бы широким оно ни казалось, все еще частичное, несовершенное понимание; дело идет о предмете, которого ни один человек никогда, ни во времени, ни вне времени, не поймет; будет

проходить все новые и новые тысячелетия, а человек будет снова и снова бороться за понимание лишь какой-либо новой частности; этот предмет больше человека, он не может быть понят им, это — бесконечный предмет!”

Сущность скандинавской мифологии, как и всякой языческой мифологии вообще, заключается в признании божественности природы и в искреннем общении человека с таинственными, невидимыми силами, обнаруживающимися в мировой работе, совершающейся вокруг него. И эта сторона, сказал бы я, в скандинавской мифологии выражается более искренне, чем во всякой другой из известных мне; искренность представляет ее великое характерное отличие. Более глубокая (значительно более глубокая) искренность примиряет нас с полным отсутствием в ней древнегреческой грации. Искренность, я думаю, лучше, чем грация. Я чувствую, что эти древние скандинавы смотрели на природу открытыми глазами и открытой душой; крайне серьезные, честные; словно дети, но вместе с тем и словно мужи; с великой сердечной простотой, глубиной и свежестью, правдиво, любовно, бесстрашно восхищаясь. Поистине, доблестная, правдивая раса людей древних времен. Всякий согласится, что подобное отношение к природе составляет главный элемент язычества; отношение же к человеку, моральный долг человека, хотя и он не отсутствует вполне в язычестве, является главным элементом уже более чистых форм религии. Это действительно великое различие, составляющее эпоху в человеческих верованиях; здесь проходит великая демаркационная линия, разделяющая разные эпохи в религиозном развитии человечества. Человек прежде всего устанавливает свои отношения к природе и ее силам, удивляется им и преклоняется перед ними; а затем уже, в более позднюю эпоху, он узнает, что всякая сила представляет моральное явление, что главной задачей для него является различение добра от зла, того, что *”ты должен”*, от того, чего *”ты не должен”*.

Относительно всех этих баснословных описаний, встречающихся в ”Эддах”, как было уже сказано, вероятнее всего будет допустить, что они позднейшего происхождения; вероятнее всего, что они с самого же начала не имели особенно важного значения для древних скандинавов, представляя нечто вроде игры поэтического воображения. Аллегория и поэтические описания, как я сказал выше, не могут составлять религиозного верования, сначала должна быть вера сама по себе, и тогда уже вокруг нее нарастает аллегория, как надлежащее тело нарастает вокруг своей души. Древнескандинавское верование, я весьма склонен допустить, подобно другим верованиям, было наиболее действенным главным образом в период своего безмолвного состояния, когда о нем еще не толковали много и вовсе не слагали песен.

Сущность практического верования, какое человек в ту пору мог иметь и которое можно открыть в этих, подернутых туманом материалах, представляемых ”Эддами”, в фантастически нагроможденной здесь массе всяческих утверждений и традиций, в их музыкальных мифах, сводилось, по всей вероятности, лишь к следующему: к вере в *валькирий* и в *чертог Одина (вальхаллу)*, в непреложный рок и в то, что человеку необходимо *быть храбрым*. *Валькирии* — избранные девы

убитых. Неумолимая судьба, которую бесполезно было бы пытаться преклонить или смягчить, решала, кто должен быть убит; это составляло основной пункт для верующего скандинава, как и для всякого серьезного человека повсюду, для Магомета, Лютера, Наполеона. Для всякого такого человека верование в судьбу лежит у самого основания жизни; это ткань, из которой вырабатывается вся система его мысли. Возвращаясь к валькириям; эти *избранные девы* ведут храбреца в надзвездный *чертог Одина*; только подлые и раболепствующие погружаются в царство Хели, богини смерти. Таков, по моему мнению, дух всего древнескандинавского верования. Скандинавы в глубине своего сердца понимали, что необходимо быть храбрым, что Один не обнаружит к ним ни малейшей благосклонности, что, напротив, он будет их презирать и отвергнет, если они не будут храбры. Подумайте также, не заключают ли эти мысли в себе чего-либо ценного? Это — вечная обязанность, имеющая силу в наши дни, как и в те времена, обязанность быть храбрым. *Храбрость* все еще имеет свою *ценность*. Первая обязанность человека до сих пор все еще заключается в подавлении *страха*. Мы должны освободиться от страха; мы не можем вообще действовать, пока не достигнем этого. До тех пор, пока человек не придавит страха ногами, поступки его будут носить рабский характер, они будут не правдивы, а лишь правдоподобны: сами его мысли будут ложны, он станет мыслить целиком, как раб и трус. Религия Одина, если мы возьмем ее подлинное зерно, остается истинной и по сей час. Человеку необходимо быть и он должен быть храбрым; он должен идти вперед и оправдать себя как человека, вверяясь непоколебимо указанию и *выбору* высших сил, и прежде всего совершенно не бояться. Теперь, как и всегда, он лишь настолько человек, насколько побеждает свой страх\*.

Несомненно, отвага древних скандинавов носила крайне дикий характер. Снорри говорит, что они считали позором и несчастьем умереть не на поле битвы, и, когда приближалась естественная смерть, они вскрывали свои раны, дабы Один мог признать в них воинов, павших в борьбе с врагом. Скандинавский князь при наступлении смерти приказывал перенести себя на корабль; затем на корабле раскладывали медленный огонь и пускали его в море с распущенными парусами; когда он выплывал на открытый простор, то пламя охватывало его и высоко вздымалось к небу; таким образом достойно хоронили себя древние герои, одновременно на небе и на океане! Дикая, кровавая отвага; но тем не менее отвага своего рода; смелость же во всяком случае лучше, чем отсутствие всякой отваги. А в древних морских князьях какая неукротимая суровая энергия! Они, как я представляю их себе, молчаливы; губы их сжаты; сами не сознавая своей беззаветной храбрости, эти люди не страшатся бурного океана с его чудовищами, не боятся ни людей, ни вещей; прародители наших Блейков и Нельсонов! У скандинавских морских князей не было своего Гомера, который бы воспел их, а между тем отвага Агамемнона представляется незначительной, и плоды, принесенные ею, ничтожными по сравнению с отвагою некоторых из них, например Рольфа. Рольф или Роллон, герцог нормандский, дикий морской князь, до сих пор принимает известное участие в управлении Англией\*.

Даже эти дикие морские скитания и битвы, длившиеся в течение стольких поколений, имели свой смысл. Необходимо было удостовериться, какая группа людей обладала *наибольшей силой*, кто над кем должен был господствовать. Между повелителями Севера я нахожу также князей, носивших титул "лесовалителей", лесных князей-рубщиков. В этом титуле кроется большой смысл. Я предполагаю, что многие из них, в сущности, были такие же хорошие лесные рубщики, как и воины, хотя скальды говорят преимущественно о последнем и тем вводят в немалое заблуждение некоторых критиков; ибо ни один народ не мог бы никогда прожить одной только войной, так как подобное занятие не представляется достаточно производительным! Я предполагаю, что истинно хороший воин был чаще всего также и истинно хорошим дровосеком, истинно хорошим изобретателем, знатоком, деятелем и работником на всяческом поприще, так как истинная отвага, вовсе не похожая на жестокость, составляет основу всего. Это было самое законное проявление отваги; она ополчалась против непроходимых девственных лесов, против жестоких темных сил природы, чтобы победить природу. Не продолжаем ли и мы, их потомки, идти с тех пор все дальше и дальше в том же направлении? Если бы такая отвага могла вечно воодушевлять нас!

Человек Один, обладавший словом и сердцем героя и силой производить впечатление, ниспосланной ему с неба, раскрыл своему народу бесконечное значение отваги, указал, как благодаря ей человек становится богом, и народ его, чувствуя в сердце своем отклик на эту проповедь, поверил в его миссию и признал ее тем, что послано небом, а его самого, принесшего им эту весть, божеством. Вот что, по моему мнению, составляет первоначальный зародыш древнескандинавской религии, из которого естественным порядком выросли всякого рода мифы, символические обряды, умозрения, аллегории, песни и саги. Выросли, — как странно! Я назвал Одина маленьким светилом, горящим и распространяющим свой преобразующий свет в громадном водовороте скандинавских потемок. Однако это были, заметьте, потемки *живые*. Это был дух всего скандинавского народа, пылкий, не получивший еще вполне определенного выражения, не культивированный, но жаждущий всего лишь найти себе членораздельное выражение и вечно двигаться все вперед и вперед по этому пути! Живое учение растет и растет; первоначальное зерно — существенное дело: каждая ветвь, склоняясь вниз, врастает в землю и становится новым корнем; таким образом, при бесконечных повторениях мы получаем целый лес, целую заросль, порожденную всего лишь одним зернышком. Не была ли поэтому вся древнескандинавская религия до известной степени тем, что мы назвали "непомерно громадным отражением этого человека"? Критики находят в некоторых скандинавских мифах, как, например, рассказе о творении и т. п., сходство с индусскими мифами. Корова Аудумла, "слизывающая иней со скал"\* , напоминает им что-то индусское. Индусская корова, перенесенная в страну морозов! Довольно правдоподобно; действительно, мы можем не колеблясь допустить, что подобные представления, взятые из самых отдаленных стран и из самых ранних эпох, окажутся родственными. Мысль не умирает, а только изменяется. Первый человек, начавший мыслить на этой нашей планете, был первоначальным творцом-

всего. И затем также второй человек, третий человек; — нет, всякий истинный мыслитель до настоящих дней является в некотором роде Одином, он научает людей *своему* образу мышления, бросает отражение своего собственного лика на целые периоды мировой истории.

Я не располагаю достаточным временем, чтобы говорить здесь о характерных особенностях поэзии и отличительных достоинствах древнескандинавской мифологии, что к тому же и мало касается интересующего нас предмета. Некоторые дикие пророчества, встречаемые нами здесь, как, например, "Прорицание вёльвы"\* в "Старшей Эдде", имеют иноказательный, страстный, сибиллистический характер. Но это — сравнительно праздные добавления к главному содержанию, добавления позднейших скальдов, людей, так сказать, развлекавшихся тем, что представляет главное содержание, а между тем *их*-то песни преимущественно и сохранились. В позднейшие века, я полагаю, они пели свои песни, создавали поэтические символы, как рисуют теперь наши современные художники-живописцы то, что не исходит уже более из самой глубины их сердца, что вовсе даже не лежит в их сердце. Этого обстоятельства никогда не следует упускать из виду.

Грей в своих заметках относительно древнескандинавских легенд не дает нам, собственно, никакого понятия о них; не больше, чем Поп о Гомере. Это вовсе не мрачный квадратный дворец из необтесанного черного мрамора, объятый ужасом и страхом, как представляет себе Грей; нет, древнескандинавское мировоззрение дико и неоводеланно, как северные скалы и пустыни Исландии; но среди всех ужасов — сердечность, простота, даже следы доброго юмора и здоровой веселости. Мужественное сердце скандинавов не отзывалось на театральную выпренность, они не имели времени для того, чтобы предаваться трепету. Мне очень нравится их здоровая простота, их правдивость, прямота их понимания. Тор "хмурит брови"; охваченный истинно скандинавским гневом, "сжимает в руке своей молот с такой силой, что *суставы пальцев побелели*". Прекрасно обрисовывается также чувство жалости, чистосердечной жалости. Бальдр, "белый бог", умирает, прекрасный, благодетельный бог-солнце. Все в природе было испытано, но действительного лекарства не нашлось, и он умер. Фригга, мать его, посылает Хермода разыскать и повидать его; девять дней и девять ночей он ездит по темным, глубоким долинам, в лабиринте мрака; приезжает к мосту с золотой кровлей; сторож говорит: "Да, Бальдр проходил тут, но царство смерти там, внизу, далеко на север". Хермод едет дальше, проскакивает за ворота преисподней, ворота Хели; видит действительно Бальдра, говорит с ним; Бальдр не может быть освобожден. Неумолимая Хель не отдает его ни Одину, ни другому богу. Прекрасный, благородный должен остаться здесь. Его жена изъявляет добровольное согласие идти и умереть вместе с ним. Они навсегда останутся там. Он посылает свое кольцо Одину, а Нанна, его жена, посылает свой *наперсток* Фригге на память. О горе!..

В самом деле, отвага всегда бывает также источником настоящей жалости, истины и всего великого и доброго, что есть в человеке. В этих фигурах нас сильно привлекает здоровая, безыскусная мощь древнескандинавского сердца. Разве не служит признаком правдивой честной мо-



щи, говорит Уланд, написавший прекрасный "Опыт" о Торе, что древнескандинавское сердце находит себе друга в боге-Громе; что оно не страшится его грома и не бежит в страхе от него, но знает, что зной лета, прекрасного славного лета, должен неизбежно сопровождаться и будет сопровождаться громом? Древнескандинавское сердце *любит* Тора и его молот-молнию, играет с ним. Тор, летний зной, бог мирной деятельности, так же как и грома. Он — друг крестьянина. Его верный слуга и спутник — Тьяльви, *ручной труд*. Тор сам занимается всякого рода грубой ручной работой, он не гнушается никаким плебейским занятием; время от времени он делает набеги в страну ётунов, тревожит этих хаотических чудовищ мороза, покоряет их или, по крайней мере, ставит в затруднительное положение и наносит им урон. В некоторых из этих рассказов слышится сильный и глубокий юмор.

Тор, как мы видели, отправляется в страну ётунов, чтобы отыскать котелок Имира, необходимый богам, пожелавшим варить пиво. Выходит Имир, огромный исполин, с седой бородой, запорошенной инеем и снегом; от одного взгляда его глаз столбы превращаются в щепы; Тор, после долгих усилий и возни, схватывает котелок и нахлобучивает его себе на голову; "ушки котелка доходили ему до плеч". Скандинавский скальд не прочь любовно пошутить над Тором. Это тот самый Имир, коровы и быки которого, как открыли критики, представляют ледяные глыбы. Огромный, неотесанный гений-бробдиньяг, которому недостает только дисциплины, чтобы стать Шекспиром, Данте, Гёте! Все эти деяния древнескандинавских героев давно уже отошли в область проплого: Тор, бог грома, превратился в Джека-победоносца, поражавшего исполинов\*; но дух, наполнявший их, все еще сохраняется. Как странно все растет, и умирает, и не умирает! За некоторыми побегами этого великого мирового дерева скандинавского верования возможно проследить до сих пор. Этот бедный Джек, *вскормленник*, в своих чудодейственных башмаках-сорокоодах, платье, сотканном из тьмы, со шпагой, пронзающей все преграды, — один из таких отпрысков. Этин-деревенщина и тем более *красный* Этин из Ирландии\* в шотландских балладах, оба они пришли из скандинавских стран; Этин, очевидно, это тот же ётун. Шекспировский Гамлет — также отпрыск того же мирового дерева, в чем, по-видимому, не может быть никакого сомнения. Гамлет, Амлет, я нахожу, есть в действительности мифическое лицо; его трагедия, отравление отца, отравление во сне посредством нескольких капель яда, влитых в ухо, и все остальное — это также скандинавский миф! Старик Саксон превратил его, как он имел обыкновение, в датскую историю, а Шекспир, позаимствовав рассказ у Саксона, сделал из него то, что мы видим теперь. Это отпрыск мирового дерева, который *разросся*, разросся благодаря природе или случаю!

Действительно, древнескандинавские песни заключают в себе *истину*, сущую, вечную истину и величие, как неизбежно должно заключать их в себе все то, что может сохраняться в течение целого ряда веков благодаря одной лишь традиции. И это не только величие физического тела, гигантской массивности, но и грубое величие души. В сердцах древних скандинавов можно подметить возвышенную грусть без всякой слезливости; смелый, свободный взгляд, обращенный в самые глубины

мысли. Они, эти отважные древние люди Севера, казалось, понимали то, к чему размышление приводит всех людей во все века, а именно, что наш мир есть только внешность, феномен или явление, а отнюдь не действительность. Все глубокие умы признают это, — индусский мифолог, германский философ, Шекспир и всякий серьезный мыслитель, кто бы он ни был:

”Мы из той же материи, из которой созданы и мечты!”\*

Один из походов Тора, поход в Утгард (*Outer Garden* — внешний сад, — центральное место в стране ётунов) представляет особенный интерес в этом отношении. С ним были Тьяльви и Локи. После разных приключений они вступили в страну исполинов; блуждали по равнинам, местам диким и пустынным, среди скал и лесов. С наступлением ночи они заметили дом, и так как дверь, которая в действительности занимала целую стену дома, оказалась открытой, то они вошли. Это было простое жилище, одна обширная зала, почти совершенно пустая. Они остались в ней. Как вдруг в самую глубокую полночь их встревожил сильный шум. Тор схватил свой молот, стал у двери и приготовился к борьбе. Его спутники бегали в страхе взад и вперед, отыскивая какой-нибудь выход из этой пустынной залы; наконец они нашли маленький закоулок и притаились там. Но и Тору не пришлось сражаться, так как с наступлением утра оказалось, что шум был не что иное, как храп громадного, но миролюбивого исполина Скрюмира, мирно почивавшего вблизи; а то, что они приняли за дом, была всего лишь его *перчатка*, лежавшая в стороне; дверь представляла собою запястье перчатки, а небольшой закоулок, где они укрылись, — большой палец. Вот так перчатка! Я замечу еще, что она не имела отдельных пальцев, как наши перчатки, кроме одного только большого; все остальные были соединены вместе: очень старинная, мужицкая рукавица!

Теперь они путешествовали постоянно вместе с Скрюмиром; однако Тор продолжал питать подозрения, ему не нравилось обращение Скрюмира, и он решил убить его ночью, когда тот будет спать. Подняв свой молот, он нанес прямо в лицо исполину поистине громовой удар, достаточно сильный, чтобы расщепить скалы. Но исполин только проснулся, отер щеку и сказал: должно быть, упал лист? Как только Скрюмир опять заснул, Тор снова ударил его; удар вышел еще почище, чем первый; но исполин лишь проворчал: песчинка, что ли? Тор в третий раз нанес удар обеими руками (вероятно, так, что ”суставы пальцев побелели”), и ему казалось, что он оставил глубокий след на лице Скрюмира; но тот только перестал храпеть и заметил: должно быть, воробы вьют себе гнезда на этом дереве, что же это падает оттуда? Скрюмир шел своею дорогою и прибыл к воротам Утгарда, расположенного на таком высоком месте, что вам пришлось бы ”вытянуть шею и откинуть голову назад, чтобы увидеть их вершину”. Тора и его спутников впустили и пригласили принять участие в наступающих играх. При этом Тору вручили чашу из рога; ее нужно было осушить до дна, что, по словам великанов, составляло самое пустяшное дело; делая страшные усилия, трижды принимаясь за нее, Тор пытался осушить ее,

по почти без всякого сколько-нибудь заметного результата. Он — слабое дитя, сказали они ему. Может ли он поднять эту кошку? Как ни ничтожно казалось это дело, но Тор, при всей своей божественной силе, не мог справиться с ним: спина животного изгибалась, а лапы не отрывались от земли; все, что он мог сделать, это приподнять одну только лапу. Да ты вовсе не мужчина, говорили жители Утгарда, — вот старая женщина, которая поборет тебя! Тор, уязвленный до глубины души, схватил эту старую женщину-фурию, однако не мог повалить ее на землю.

Но вот когда они покинули Утгард, главный ётун, вежливо провожая их, сказал Тору: "Ты потерпел тогда поражение, однако не стыдись особенно этого; тут скрывается обман, иллюзия. Тот рог, который ты пытался выпить, было *море*; ты произвел в нем некоторую убыль воды, но кто же может выпить его, беспредельное море! Кошка, которую ты пытался поднять, да это ведь была *змея* Мидгарда\*, великая мировая змея, у нее — хвост во рту, она опоясывает весь сотворенный мир и поддерживает его; если бы ты оторвал ее от земли, весь мир неизбежно обрушился бы и погиб в развалинах. Что же касается старой женщины, то это было *время*, старость, долговечность; кто может вступить с нею в ратоборство? Нет такого человека, и нет такого бога; боги и люди, оно над всеми берет верх! А затем эти три удара, нанесенные тобою, — взгляни на эти *три долины*: они образовались от твоих трех ударов!" Тор взглянул на своего спутника ётуна; это был Скрюмир; это было, говорят скандинавские критики, олицетворение старой, хаотической, скалистой *земли*, а рукавица-дом представляла пещеру в ней! Но Скрюмир исчез; Утгард со своими высокими, как само небо, воротами рассеялся в воздухе, когда Тор замахнулся молотом, чтобы ударить по ним; и только слышался насмешливый голос исполина: "Лучше никогда более не приходи в царство ётунов".

Этот рассказ, как мы видим, относится к периоду аллегорий, полушуток, а не к периоду пророчеств и полного благоговения; но, как миф, не заключает ли он в себе настоящего старинного скандинавского золота? Металл необработанный, в том грубом виде, как он выходит из мифического горна, но более высокой пробы, чем во многих прославленных греческих мифах, *сложенных* гораздо лучше! Неудержимый, громкий смех бробдиньяга, истинный юмор чувствуется в этом Скрюмире; веселость, покоящаяся на серьезности и грусти, как радуга на черной буре; только истинно мужественное сердце способно смеяться подобным образом. Это мрачный юмор нашего Бена Джонсона, несравненного старого Бена; он течет в крови нашей, думаю я, ибо отголоски его, хотя уже в другой форме, можно слышать и у американских обитателей лесов.

Крайне поразительную концепцию представляет также *Рагнарёк\**, конец или *сумерки богов*, в песне "Пророчание вёльвы"; по-видимому, мы имеем здесь дело с весьма древней пророческой мыслью. Боги и ётуны, божественные силы и силы хаотические, животные, после продолжительной борьбы и частичной победы первых, вступают наконец во всеобщий бой, в охватывающее весь мир состязание; мировая змея против Тора, сила против силы, до взаимного истребления; "сумер-

ки” превращаются в тьму, и гибель поглощает сотворенный мир. Погиб древний мир, погиб со своими богами; но это не окончательная гибель: должны возникнуть новые небеса и новая земля; божество более возвышенное и справедливое должно воцариться между людьми. Любопытно, что закон изменений, закон, запечатленный в самой глубине человеческого сознания, был доступен пониманию, конечно, своеобразному, также и этих древних серьезных мыслителей; и что хотя все умирает, даже боги умирают, однако эта всеобщая смерть является лишь погасшим пламенем Феникса и возрождением к более величественному и лучшему существованию! Таков основной закон бытия для существа, созданного во времени, живущего в мире упований. Все серьезные люди понимали это и могут еще понимать до сих пор.

А теперь, в связи со сказанным, бросим беглый взгляд на *последний* миф о появлении Тора и закончим на этом. Я думаю, что миф этот — самого позднего происхождения из всех скандинавских легенд; скорбный протест против надвигавшегося христианства, укоризненно высказанный каким-нибудь консервативным язычником. Короля Олафа жестоко порицали за его чрезмерную ревность в насаждении христианства; конечно, я гораздо скорее стал бы порицать его за недостаток ревности! Он заплатил довольно дорого за свое дело; он погиб во время восстания подвластных ему язычников, в 1033 году, в сражении при Стиклстаде близ Дронгтейма, где стоит теперь в течение уже многих веков главный на всем Севере кафедральный собор, посвященный в знак признательности его памяти как *святому* Олафу. Миф о Торе и касается этого события. Король Олаф, христианский король, реформатор, плывет с надежным эскортом вдоль берегов Норвегии, из гавани в гавань, отправляет правосудие и исполняет всякие другие королевские обязанности. Оставляя одну из гаваней, плывущие заметили, как на корабль вошел какой-то прохожий с суровым выражением глаз и лица, красной бородой, вообще величественная, мощная фигура. Придворные обращаются к нему с вопросами; его ответы удивляют их своей тактичностью и глубиной; в конце концов его приводят к королю. Путник и с ним ведет не менее замечательную беседу, по мере того как они продвигаются вдоль прекрасных берегов; но вдруг он обращается к королю Олафу со следующими словами: ”Да, король Олаф, все это прекрасно вместе с солнцем, сияющим вверху; ярко зеленеющее, плодородное, поистине прекрасное жилище для вас; и много тяжелых дней провел Тор, много свирепых битв выдержал он со скалистыми ётунами, прежде чем достиг всего этого. А теперь вы, кажется, задумали отвергнуть Тора. Король Олаф, будь осторожен!” — воскликнул путник, сдвинув свои брови; и когда окружавшие короля оглянулись, то нигде не могли уже отыскать его. Таково последнее появление Тора в этом мире!

Не представляет ли данный случай довольно убедительного примера, как вымысел может возникнуть, помимо всякого желания сказать непременно неправду? Таким именно образом объясняется появление громадного большинства богов среди людей; так, если во времена Пиндара ”Нептун был видим однажды во время Немейских игр”, то этот Нептун был также ”странником благородным, суровым на вид”, созданным таким образом, чтобы его могли ”видеть”. В этом последнем слове

язычества мне слышится что-то патетическое, трагическое. Тор исчезает; весь скандинавский мир исчез и никогда уже более не возвратится. Подобным же образом проходят самые возвышенные вещи. Все, что было в этом мире, все, что есть, что будет, все должно исчезнуть, и нам приходится сказать всему свое печальное прощание.

Эта скандинавская религия, это грубое, но серьезное, резко выраженное *освящение отваги* (так мы можем определить ее) удовлетворяло старых отважных норманнов. Освящение отваги — это не что-либо низменное! Мы будем постоянно считать отвагу добром. Небесполезно было бы также для нас *знать* кое-что относительно древнего язычества наших отцов. Хотя мы и не сознаем этого, но старое верование, в соединении с другими, более высокими истинами, живет в нас до сих пор! Если мы познаем его сознательно, то это лишь сделает возможным для нас более тесные и ясные отношения к прошлому, к нашему собственному достоянию в прошлом, ибо все прошлое, я настаиваю на том, есть достояние настоящего; прошлое имело всегда что-либо *истинное* и представляет драгоценное достояние. В различные времена, в различных странах всякий раз развивается какая-либо особенная *сторона* нашей общечеловеческой природы. Действительную истину представляет *сумма* всех их, но ни одна сторона сама по себе не выражает всего того, что развила до тех пор из себя человеческая природа. Лучше знать все их, чем ошибочно истолковывать. "К какой из трех религий вы питаете особенную приверженность?" — спросил Мейстер своего учителя. "Ко всем трем! — отвечал тот. — Ко всем трем, так как благодаря их соединению впервые возникает истинная религия"\*.

## Беседа вторая

### ГЕРОЙ КАК ПРОРОК. МАГОМЕТ: ИСЛАМ

От первых грубых времен язычества скандинавов на Севере мы перейдем теперь к совершенно иной религиозной эпохе, к совершенно иному народу — к мусульманству арабов. Громадный переворот: какая перемена, какой прогресс обнаруживается здесь в общем положении и в мыслях людей!

К герою теперь уже не относятся как к богу среди подобных ему людей, но как к Богом вдохновленному человеку, как к пророку. Это вторая фаза культа героев; первая и древнейшая, мы можем сказать, прошла безвозвратно: в истории мира не будет никогда более человека, которого, как бы велик он ни был, остальные люди признавали бы за бога. Мало того, мы имеем даже полное основание спросить: действительно ли считала когда-либо известная группа человеческих существ богом, творцом мира, человека, существовавшего бок о бок с ними, всеми *видимого*? Вероятно, нет: обыкновенно это был человек, о котором они вспоминали, которого они *некогда видели*. Но и этого никогда более не повторится: в великом человеке никогда уже более не будут видеть бога.

Грубой и большой ошибкой было считать великого человека богом. Но да позволено будет нам сказать вместе с тем, что вообще трудно бывает узнать, *что* он такое, кем следует считать его и как относиться к нему! В истории всякой великой эпохи самый важный факт представляет то, каким образом люди относятся к появлению среди них великого человека. Инстинкт всегда подсказывал, что в нем есть что-то божественное. Но должно ли считать его богом или пророком или кем вообще должно считать его? Это всегда вопрос громадной важности; ответ, какой люди дают на него, является как бы маленьким окном, позволяющим нам заглянуть в самую суть умственного состояния данных людей. Ибо, в сущности, все великие люди, как они выходят из рук природы, представляют всегда одно и то же: Один, Лютер, Джонсон, Бёрнс; я надеюсь показать, что, по существу, все они вылеплены из одной и той же глины; что благодаря лишь отношению, встречаемому ими со стороны людей, и формам, принимаемым ими, они оказываются столь неизмеримо различными. Нас поражает поклонение Одину: повергаться и распространяться перед великим человеком в *изнеможении* от любви и удивления и чувствовать в своем сердце, что он — сын неба,

бог!.. Это, конечно, довольно-таки несовершенно. Ну а такую встречу, например, какую мы оказали Бёрнсу, можем ли мы признать совершенной? Драгоценнейший дар, каким только небо могло одарить землю, человека-”гения”, как выражаемся мы, душу человека, действительно посланного к нам небом с божественной миссией, — вот что расточали мы, как пустой фейерверк, пущенный для минутной забавы и затем превращенный нами в пепел, мусор и пустышку; *такое* отношение к великому человеку я также не могу признать слишком совершенным! Тот же, кто вникнет поглубже в суть дела, быть может, даже скажет, что случай с Бёрнсом представляет еще более безобразное явление, свидетельствует о еще более печальных несовершенствах в путях человечества, чем скандинавский способ почитания героев! Беспомощное *изнеможение*, вызываемое любовью и удивлением, не представляло ничего хорошего; но такое нерассуждающее, нет, неразумное, надменное отсутствие всякой любви, быть может, еще хуже! Почитание героев представляет явление, постоянно изменяющее свою форму; в разные эпохи оно выражается различно, и во всякую данную эпоху нелегко бывает найти для него надлежащую форму. Действительно, суть всего дела известной эпохи, можно сказать, заключается в том, чтобы найти эту надлежащую форму.

Мы останавливаем свой выбор на Магомете не потому, что он был самым знаменитым пророком, а потому, что о нем мы можем говорить свободнее, чем о других. Его никоим образом нельзя считать самым истинным из пророков; но, конечно, я признаю его за истинного пророка. И поскольку к тому же никому из нас не угрожает опасность увлечься исламом, то я намерен сказать о нем все хорошее, что только могу сказать по справедливости. Для того чтобы проникнуть в его тайну, мы должны постараться узнать, что *он* думал о мире, и затем уже нам легче будет ответить на вопрос, как мир думал и думает о нем. Действительно, наши ходячие гипотезы о Магомете, что будто бы он был хитрый обманщик, воплощенная ложь, что его религия представляет лишь одно шарлатанство и бестолковщину, в настоящее время начинают терять кредит в глазах всех людей. Вся ложь, которую благонамеренное рвение нагромоздило вокруг этого имени, позорит лишь нас самих. Когда Пококк спросил Гроциуса, где доказательства справедливости известной истории о голубе, выдрессированном будто бы таким образом, что он прилетал клевать горох из уха Магомета, и сходявшем за ангела, диктовавшего ему веление свыше, — тот ответил, что никаких доказательств нет! Настало действительно время отбросить все это. Слово, сказанное Магометом, служило путеводной звездой для ста восьмидесяти миллионов людей в течение двенадцати веков. Эти сто восемьдесят миллионов созданы Богом так же, как и мы. Число созданий Божьих, исповедующих по настоящее время слово Магомета, больше, чем число верующих в какое бы ни было другое слово. Можем ли мы согласиться, чтобы то, во имя чего жила такая масса людей, с чем они все умирали, было лишь жалкой проделкой религиозного фокусника? Я, со своей стороны, не могу допустить ничего подобного. Я скорее поверю во многое другое, чем соглашусь с этим. Всякий чувствовал бы себя совершенно потеряннным и не знал бы, что подумать ему об этом мире, если

бы шарлатанство действительно приняло такие грандиозные размеры и получило такую санкцию.

Увы, подобные теории весьма прискорбны! Если мы хотим понять что-либо в истинном творении Бога, мы должны отнестись к ним безусловно отрицательно! Они продукт скептического века; они свидетельствуют о самом печальном расслаблении мысли, о пустой, помертвевшей жизни человеческого духа: более безбожной теории, я думаю, никогда не слышала наша земля. Фальшивый человек создает религию? Как? Но ведь фальшивый человек не может построить даже простого дома из кирпича! Если он не знает свойств известкового раствора, обожженной глины и вообще всего, с чем ему приходится иметь дело, и если он не следит за тем, чтобы все было сделано *правильно*, то он воздвигает вовсе не дом, а груды мусора. Такое здание не простоит двенадцати столетий, вмещая в себе сто восемьдесят миллионов жильцов; оно развалится тотчас же. Необходимо, чтобы человек находился в согласии с природой, чтобы он действительно *был* в общении с природой, следовал законам ее, — в противном случае природа ответит ему: нет, вовсе нет! Правдоподобности правдоподобны, о, конечно! Калиостро, многочисленные Калиостро, знаменитые руководители мира сего, действительно благоденствуют, благодаря своему шарлатанству, в течение одного дня. Они располагают как бы поддельным банковским билетом; они успевают спустить его со своих недостойных рук, но не им, а другим приходится затем расплачиваться. Природа разражается огненным пламенем, наступают французские и иные революции и возвещают со страшной правдивостью, что поддельные билеты — поддельны.

Но относительно великого человека, о нем в особенности, я берусь утверждать, что невозможно поверить, чтобы он мог быть неправдивым человеком. В этом, мне кажется, кроется главная основа его собственного существования и всего того, что он несет с собою в мир. Мирабо, Наполеон, Бёрнс, Кромвель, как и вообще всякий человек, способный сделать что-либо, были бы невозможны, если бы они прежде всего не относились вполне искренне к своему делу, если бы они не были, как я говорю, искренними людьми. Я сказал бы: *Искренность*, глубокая, великая, подлинная искренность составляет первую характерную черту великого человека, проявляющего тем или иным образом свой героизм. Не та искренность, которая называет сама себя искреннею; о нет, это в действительности очень жалкое дело: пустая, тщеславная сознательная искренность, чаще всего вполне самодовольная. Искренность великого человека — другого рода: он не может говорить о ней, он не знает ее: мало того, я допускаю даже, что он склонен обвинять себя в *неискренности*, ибо какой человек может прожить день изо дня, строго следуя закону истины? Нет, великий человек не хвастает тем, что он искренен, далеко нет; быть может, он даже не спрашивает себя, искренен ли он; я сказал бы охотнее всего, его искренность не зависит от него самого, он не может помешать себе быть искренним! Великий факт существования велик для него. Куда бы он ни укрылся, он не может избавиться от страшного присутствия самой действительности. Его ум так создан; в этом прежде всего и заключается его величие. Вселенная представляет



ся ему страшной и удивительной, действительной, как жизнь, действительной, как смерть. Если бы даже все люди забыли об ее истинной сущности и жили пустыми призраками, он не мог бы сделать этого. Огненный образ сияет вечно над ним своим ослепительным блеском; он там, там, над ним: его невозможно отвергнуть! Таково, примите к сведению, мое первое определение великого человека. Маленький человек может также чувствовать то же самое, это достояние всех людей, созданных Богом; но великий человек не может жить без этого.

Такого человека мы называем *оригинальным* человеком; он приходит к нам из первых рук. Это вестник, посланный к нам с вестями из глубины неведомой бесконечности. Мы можем называть его поэтом, пророком, богом; так или иначе, но все мы чувствуем, что речи его не похожи на речи всякого другого человека. Непосредственное порождение внутреннего факта вещей, он живет и должен жить в ежедневном общении с ним; ходячие фразы не могут скрыть от него этого факта; следуя ходячим фразам, он становится слепцом, чувствует себя бездомным, несчастным; *факт* глядит на него пристально. Действительно, разве его речи не являются известного рода "откровением" — мы должны употребить это слово, за неимением другого, более подходящего. Ведь он приходит к нам из самого сердца мира; ведь он представляет частицу первоначальной действительности вещей! Бог дал людям многочисленные откровения. Но разве не Бог также создал и этого человека? Не являет ли он нам собою позднейшее и новейшее из всех откровений? "Дыхание Всемогущего дает ему разумение"\*: мы должны прежде всего слушать его.

Итак, мы никоим образом не станем смотреть на Магомета как на что-то пустое и неестественное, как на жалкого честолюбца и сознательного обманщика; мы не можем представить его себе таким. Суровая весть, возвещенная им миру, была также действительной вестью, серьезным, глухо звучавшим голосом, исходившим из неведомой глубины. Речи этого человека не были лживы; не был лжив также и труд, совершенный им здесь, на земле; в нем не было ни малейшей суетности и призрачности; он — огненная масса жизни, выброшенная из великих недр самой природы, чтобы *зажечь* мир. Творец мира так повелел. И ошибки, недостатки, даже неискренние поступки Магомета, если бы существование таковых было когда-либо достаточно основательно доказано, не поколеблют этого основного для него факта.

Вообще мы придаем слишком большое значение заблуждениям; частности дела закрывают от нас действительную сущность. Заблуждения? В величайшее из них, сказал бы я, впадает тот, кто думает, что он вовсе не заблуждается. Читатели Библии в особенности, всякий согласится с нами, должны бы хорошо это знать. Кто назван здесь "человеком по сердцу самому Богу"? Древнееврейский царь Давид, совершивший немало прегрешений, самых темных преступлений; у него не было недостатка в грехах. Поэтому неверующие насмешливо спрашивают: так вот ваш человек, приходящийся по сердцу самому Богу? Такая насмешка, должен заметить, кажется мне совершенно призрачной. Что заблуждения, что несущественные частности жизни, если внутренняя тайна ее, угрызения, искушения, действительная борьба, часто обманчивая, никогда не прекращающаяся, если все это предается забвению?

”Не во власти идущего определить, куда направляет он свой шаг”. Разве не *раскаяние* составляет самый божественный акт для человека? Самый большой смертный грех, говорю я, именно такая надменная мысль о полной безгрешности: это — смерть; сердце, питающее подобную мысль, порывает всякие связи с искренностью, скромностью и действительностью; оно мертво; оно ”чисто”, как чист безжизненный сухой песок. Жизнь и история Давида, как описаны они в его псалмах, по моему разумению, рисуют самым точным образом нравственное развитие человека и его борьбу на этой земле. Всякое искреннее сердце всегда отзовется на изображаемую здесь неустанную борьбу искренней человеческой души, стремящейся к тому, что хорошо, к тому, что есть наилучшего; борьбу, часто обманчивую, жестоко обманчивую, приводящую к полному поражению, но никогда не прекращающуюся; человек вечно возобновляет ее, стремясь со слезами, с раскаянием к поистине недостижимой цели. Бедная человеческая природа! Когда человек идет, не совершает ли он действительно ”ряда последовательных падений”? И человек ничто не может делать иначе. В этой дикой стихии жизни он должен бороться, чтобы двигаться вперед, и падать, глубоко падать; и постоянно со слезами, с раскаянием, с истекающим кровью сердцем подниматься, чтобы снова бороться и продвигаться все вперед и вперед. Весь вопрос в том, чтобы борьба его *была* заслуживающей доверия, неукротимой. Мы примиримся со многими печальными частностями, если только сущность дела представляет действительную истину. Частности сами по себе никогда не дадут нам возможности узнать, какова эта сущность. Я думаю, что мы неправильно будем оценивать заблуждения Магомета, даже как заблуждения, а тайны его никогда не познаем, пока будем иметь дело только с этими заблуждениями. Мы оставим все это в стороне и, признав, что он имел в виду нечто истинное, чистосердечно спросим себя, в чем состояло это истинное, в чем оно могло состоять.

Арабы, среди которых родился Магомет, были поистине замечательным народом. Их родина сама по себе также не менее замечательна: это страна, вполне достойная такого народа. Непрístupные, дикие скалы и горы, громадные суровые пустыни, прерываемые полосами прелестной зелени; там, где вода, там — зелень, красота: благоухающие бальзаминные кусты, финиковые пальмы, ладанники. Подумайте только об этих обширных, захватывающих весь горизонт, пустынных пространствах, покрытых песком, голых, молчаливых, напоминающих море пространствах, отделяющих одно обитаемое место от другого. Вы стоите здесь одни перед лицом вселенной; днем солнце нещадно палит своим нестерпимым жаром; ночью над вами разверзается величественная глубина небес, усеянная звездами. Такая именно страна вполне соответствует народу решительному в своих действиях, с глубоким сердцем. Араб отличается чрезвычайной подвижностью, деятельным характером, но вместе с тем и крайней созерцательностью, восторженностью. Персов называют французами Востока, а арабов мы назовем итальянцами Востока; богато одаренный, благородный народ; народ с сильными, дикими чувствами и железной волею, достаточно могучей, чтобы сдерживать эти дикие чувства: характерная особенность людей с благород-

ными задатками, людей гениальных. Дикий бедуин принимает путника в своем шатре и предлагает к услугам все находящееся там; будь то даже его заклятый враг, он все-таки убьет своего жеребенка, чтобы накормить его, будет служить ему и оказывать святое гостеприимство в течение трех дней и проводит его благосклонно в путь; а затем в силу другого обычая, столь же священного, убьет его при первой возможности. Речь арабов отличается теми же особенностями, как и поступки. Они не болтливы, скорее даже молчаливы; но они становятся красноречивыми, вдохновенными, когда считают нужным говорить. Серьезный, правдивый народ. Как известно, арабы родственны евреям; но с неумолимой, ужасающей серьезностью евреев они соединяют приветливость и блеск, которых нет у последних. Во времена, предшествовавшие Магомету, у них существовали "поэтические состязания". Сэл рассказывает, что в Окадхе, в Южной Аравии, где происходили ежегодные торжища, по окончании торговых дел выступали поэты, и между ними начиналось публичное состязание в пении: дикий народ собирался, чтобы послушать их.

Этим арабам присуща одна еврейская черта, представляющая совокупность многих или даже всех высших достоинств человеческого духа, то, что мы можем назвать религиозностью. С древнейших времен они проявляли ревность в почитании богов, сообразно, конечно, своему пониманию. Как сабеиты, они поклонялись звездам: поклонялись, кроме того, и многим другим предметам природы, признавая в них символы, непосредственные проявления Творца природы. Они заблуждались, но это не было одно сплошное заблуждение. Всякое творение Божье остается до сих пор в известном смысле символом Бога. Не считаем ли мы, как я говорил выше, особым достоинством способность видеть в любых предметах природы известный неисчерпаемый смысл, "поэтическую красоту", как мы выражаемся? Человек-поэт устаивается за то, что он говорит или поет, в своем роде почитания, хотя и слабо выраженного. Они, эти арабы, имели многих пророков, учителей; каждый из них учительствовал в своем колене, каждый по силе своего разума. Но разве действительно не сохранилось от древних времен благороднейшего памятника, еще до сих пор доступного каждому из нас, памятника преданности и благородной возвышенности духа, какие были присущи этому простому глубокомысленному народу? Библейские критики, повидимому, единогласно признают, что Книга Иова была написана именно здесь, в этой части земного шара. Помимо всяких предположений относительно ее происхождения, я считаю эту книгу величайшим из произведений, когда-либо написанных. Читая ее, действительно чувствуешь, что эта книга не еврейская; в ней господствует дух благородного универсализма, отличный от духа благородного патриотизма и сектанства. Благородная книга, общечеловеческая книга! Она представляет первое по времени, древнейшее изложение вечной проблемы судеб человеческих и путей Господних, руководящих человеком здесь, на земле; и все это в таких свободных, плавных очертаниях; книга великая в своей искренности, в своей простоте, в своей эпической мелодии и в своем спокойствии примирения. Здесь чувствуется прозревающий глаз и кроткое, понимающее сердце. Книга вполне *правдивая* во всех отношениях:

правдивый взгляд на все и правдивое понимание всего, материальных предметов точно так же, как и духовных; вот — лошадь: "обвил ли ты ее шею *громом-молнией?*" — она "*смеется*, когда потрясают копьём"\* . Таких живых образов никогда с тех пор не рисовали. Возвышенная скорбь, возвышенное примирение; древнейшая хоровая мелодия, исходящая из самого сердца человечества, столь преисполненная неги и величия, как летняя полночь, как мир с его морями и звездами! Ни в Библии, ни вне ее, по моему мнению, нельзя найти ничего равного этой книге в литературном отношении.

Один из самых древних предметов всеобщего поклонения среди идолопоклонствовавших арабов представлял Черный камень, до сих пор хранящийся в храме, называемом Каабой\*, в Мекке. Диодор Сицилийский, упоминая о Каабе, не оставляет никакого сомнения относительно того, что храм этот в его время, то есть за полстолетия до нашей эры, был самым древним и самым почитаемым; по мнению Сильвестра де Саси, можно с некоторой вероятностью допустить, что этот Черный камень был аэролит. В таком случае кто-нибудь из людей мог *видеть*, как он падал с неба! Он лежит теперь у источника Земзем; Кааба построен над камнем и источником. Источник в любом месте представляет прекрасное, умирительное зрелище, как бы напоминая собою жизнь, выбивающуюся из-под земной тяжести; тем сильнее производит он впечатление в этих знойных, сухих странах, где вода является первым условием всякой жизни. Источник Земзем получил название от журчания своих вод, *зем-зем*: думают, что это именно тот источник, который нашла Агарь, блуждая по пустыне вместе со своим маленьким Измаилом; а теперь аэролит и источник стали священными предметами, и над ними вознесся Кааба на тысячи лет. Странное зрелище представляет этот храм Кааба! Он стоит и по сей час, облеченный в черное покрывало, которое султан ежегодно присылает для него; "двадцать семь локтей высоты", опоясанный колоннами, двойным рядом колонн, с гирляндами ламп и причудливых орнаментов: лампы будут возжены и в *эту* наступающую ночь, чтобы снова сверкать под звездами. Доподлинный обломок давно прошедших веков. Это — Кебла для всех мусульман; от Дели до Марокко глаза бесчисленного множества молящихся пять раз в день обращаются к нему, сегодня так же, как и во все дни: это один из самых достопримечательных центров в человеческой истории.

Благодаря святости, приписываемой храму Каабе и источнику Агари, благодаря паломничеству к ним арабов всех племен Мекка стала расти и превратилась в город. Некогда это был большой город; теперь он в значительной мере пришел в упадок. Окружающие природные условия не представляют никаких удобств для существования города; Мекка стоит в песчаной ложбине, вдали от моря, окруженная обнаженными, бесплодными холмами; предметы потребления, даже хлеб, доставляются сюда из других местностей. Но масса скоплавшихся здесь пилигримов требовала помещений, и затем всякое место, куда стекается народ на богомолье, становится также местом торговли. Раз собрались в известном пункте богомольцы, торговцы не замедлят собраться там же; повсюду, куда люди сходятся, имея в виду одну определенную цель, оказывается возможным заняться и другими делами, требующими од-

новременного присутствия многих. Мекка стала ярмаркой на всю Аравию и, следовательно, главным рынком и складским пунктом для всей торговли, происходившей тогда между Индией и западными странами, Сирией, Египтом и даже Италией. Одно время население ее достигало 100 000; все это — скупщики, люди, занимавшиеся вывозом произведений Востока и Запада, а также поставщики зерна и провизии для местного населения. В отношении управления Мекка представляла собой нечто вроде аристократической республики, не без теократического оттенка. Десять человек из главного колена, избираемые примитивным образом, управляли Меккой и были хранителями Каабы. Курейшиты считались во времена Магомета главным коленом; к нему принадлежала и семья Магомета. Весь остальной народ, разбитый на группы и разбросанный по пустыне, жил под управлением подобного же первобытного патриархального правительства, состоявшего из одного или нескольких лиц; все это были пастухи, перевозчики, торговцы, занимавшиеся также и грабежом, находившиеся чаще всего в состоянии войны с другими и между собою; они были бы лишены всякой видимой связи, если бы не эти встречи у Каабы, на всеобщем обожании которой сходились все формы арабского идолопоклонства; но внутреннее, нерушимое единство их вытекало главным образом из общности крови и языка. Таким образом, арабы жили в течение многих веков, неведомые миру; народ с великими достоинствами, бессознательно выжидавший того дня, когда он мог бы стать известным всему миру. Их идолопоклонство, по-видимому, клонилось уже к упадку; во многом уже замечалось разложение и брожение. Темные слухи о событии величайшей важности, какое только когда-либо имело место в этом мире, о жизни и смерти божественного человека в Иудее, события, составляющем одновременно и признак, и причину неизмеримо глубокого переворота в жизни всех народов мира, достигли с течением веков также и Аравии и не могли сами по себе не вызвать здесь брожения.

При таких-то обстоятельствах среди арабского народа в 570 году нашей эры родился Магомет. Он происходил из семьи Хашемитов, из колена курейшитов, как мы сказали; несмотря на бедность, семья эта была связана узами родства с выдающимися людьми своей страны. Почти сразу после своего рождения Магомет лишился отца, а шести лет также и матери, женщины замечательной по своей красоте, благородству и здравому смыслу; его взял на попечение дед, старик, которому было уже сто лет. Хороший старик! Отец Магомета, Абдаллах, был его самым младшим и самым любимым сыном. Его старые, утомленные жизнью очи, столетние очи, видели в Магомете потерянного и как бы возвратившегося назад Абдаллаха; это было все, что осталось у него от Абдаллаха. Он сильно любил маленького мальчика-сироту и обыкновенно говаривал, что они должны позаботиться об этом прелестном ребенке, так как в их роде нет большей драгоценности. Умирая — Магомету было тогда всего лишь два года, — он оставил его на попечение Абу-Талеба, старшего дяди, ставшего теперь главой семьи. Этот дядя, человек, по всему видно, справедливый и разумный, дал Магомету прекрасное воспитание по арабским нравам того времени.

Когда Магомет подрос, он стал сопутствовать своему дяде в его торговых и иного рода поездках. Восемнадцати лет мы видим его уже

в качестве ратника, сопровождающего на войну своего дядю. Несколько годами раньше имела место, быть может, самая замечательная из всех его поездок, поездка на ярмарки в Сирию. Молодой человек в первый раз пришел здесь в соприкосновение с совершенно чуждым ему миром, имевшим для него бесконечную важность: с христианской религией. Я не знаю, что следует нам думать об этом "Сергии, несторианском монахе", у которого, как рассказывают, остановился он и Абу-Талеп, и насколько какой бы то ни было монах мог просветить еще столь юного человека. Весьма вероятно, что вся эта история относительно несторианского монаха крайне преувеличена. Магомету было тогда всего лишь четырнадцать лет; он мог объясняться только на своем родном языке; и многое из того, что он встретил в Сирии, должно было пронестись в его голове странным и непонятным вихрем. Но глаза отрока были открыты; в его душу запало, несомненно, немало впечатлений, которые сохраняли пока крайне загадочный вид, чтобы потом, когда настанет время, вырасти какими-то неведомыми путями в воззрения, верования, интуиции. Эта поездка в Сирию послужила, вероятно, толчком, имевшим громадные последствия для Магомета.

Мы не должны упускать из виду еще одного обстоятельства, а именно что он не получил никакого школьного образования, что он совсем не имел того, что мы называем школьным образованием. С искусством писать только что ознакомились в ту пору в Аравии; по-видимому, следует считать доказанным, что Магомет не умел вовсе писать! Жизнь в пустыне со всеми ее испытаниями составляла все его воспитание. Все его познания относительно этой бесконечной вселенной неизбежно должны были ограничиваться лишь тем, что он мог видеть из своего темного угла собственными глазами и что он мог уразуметь собственным умом, отнюдь не больше. Немалый интерес представляет, если только мы вдумаемся, этот факт полного отсутствия книг. Магомет мог знать только то, что мог видеть сам или слышать из случайного людского говора в сумрачной аравийской пустыне. Мудрость, выработанная раньше или на известном расстоянии от его местопребывания, была как бы сокровищем, не существовавшим вовсе для него. Из великих родственных душ, этих маяков, пылающих на таких громадных друг от друга расстояниях пространства и времени, ни одна непосредственно не сообщалась с этой великой душой. Он был одинок, затерянный далеко, в самых недрах пустыни. Так ему приходилось расти — наедине с природой и со своими собственными мыслями.

Но уже с раннего возраста в нем замечалась особая сосредоточенность. Сотоварищи называли его *Аль-Амином*, "правоверным", человеком правды и верности, правдивым в том, что он делал, о чем говорил и думал. Они замечали, что он никогда не говорил попусту. Человек скорее скупой на слово, он молчал, когда нечего было говорить; но когда он находил, что должно говорить, он выступал со своим словом кстати, мудро, искренне и всегда проливал свет на вопрос. Так только и *стоит* говорить! В течение всей его жизни к нему относились как к человеку вполне положительному, по-братски любящему, чистосердечному. Серьезный, искренний человек и вместе с тем любящий, сердечный, общительный, даже веселый; он смеялся хорошим, добрым смехом; суще-

ствуют люди, смех которых отмечен такою же неискренностью, как и все, что они делают, люди, которые не умеют смеяться. Всякий слышал рассказы о красоте Магомета, о его красивом, умном, честном лице, смуглом и цветущем, о его черных сверкающих глазах; мне также нравится эта вена на лбу, которая раздувалась и чернела, когда он приходил в гнев: точно "подковообразная вена" в "Красной перчатке" Вальтера Скотта. Она, эта черная, раздувающаяся вена на лбу, составляла семейную черту в роде Хашемитов; у Магомета она была развита, по-видимому, особенно сильно. Самобытный, пламенный и, однако, справедливый, истинно благонамеренный человек! Полный дикой силы, огня, света, дикого достоинства, совсем не культурный, совершающий свое жизненное дело там, в глубинах пустыни.

Как он попал к Хадидже, богатой вдове, в качестве управляющего и снова ездил по ее делам в Сирию на ярмарки, как умело и с какой преданностью он устраивал все ее дела (с чем всякий легко согласится); как ее признательность, ее уважение к нему росли, — одним словом, вся эта история относительно их любви, рассказанная нам арабскими авторами, — вполне возможная, прелестная история. Ему было двадцать пять лет, ей — сорок; но она все еще была красавицей! Женившись на своей благодетельнице, он, по-видимому, прожил с нею вполне мирно, чисто, любовно; он действительно любил ее, и только ее одну, что сильно ударит по мнению, считающему его обманщиком. Это факт, что он прожил такой вполне обыденной, вполне спокойной, ничем не выдающейся жизнью до тех пор, пока не спал горячий пыл его годов. Ему исполнилось сорок лет, прежде чем он начал говорить о какой бы то ни было божественной миссии. Вся беспорядочность в его поведении, действительная или воображаемая, относится к тому времени, когда ему было уже за пятьдесят лет, когда не стало уже доброй Хадиджи. Все его "притязания" ограничивались до тех пор, по-видимому, лишь желанием жить честною жизнью, он удовлетворялся своею "репутацией", то есть всего лишь добрым мнением соседей, знавших его. И только в старости, когда беспокойный жар его жизни уже весь перегорел и *покой*, который мир мог дать ему, получил для него главное значение, только тогда он вступил на "путь честолюбия" и, изменив своему характеру, всему своему прошлому, превратился в жалкого, пустого шарлатана, чтобы завоевать себе то, что не могло уже более радовать его! Что касается меня, то я никоим образом не могу поверить этому.

О нет! Этот сын дикой пустыни, с глубоким сердцем, со сверкающими черными глазами, с открытой, общительной и глубокой душой, питал в себе совсем другие мысли; он был далек от честолюбия. Великая молчаливая душа, он был одним из тех, кто не может *не* быть серьезным, кто по самой природе своей принужден быть искренним. В то время как другие совершают свой жизненный путь, следуя формулам и избитым шаблонам, и находят достаточное удовлетворение в такой жизни, этот человек не мог прикрываться формулами; он общался только со своею собственной душою и с действительностью вещей. Великая тайна существования, как я уже сказал, со своими ужасами, со своим блеском упорно глядела на него; никакие ходячие фразы не могли скрыть от него этого невыразимого факта: "Вот — я!" Такая *искрен-*

ность, как мы называем ее, поистине заключает в себе нечто божественное. Слово такого человека является голосом, исходящим из самого сердца природы. Люди внимают, и должны, конечно, внимать, этому голосу больше, чем чему бы то ни было другому: все другое по сравнению с ним — ветер. С давнего времени уже тысячи мыслей преследовали этого человека в его странствованиях и хождениях на богомолье: что такое я? Что такое эта бесконечная материя, среди которой я живу и которую люди называют вселенной? Что такое жизнь; что такое смерть? Чему я должен верить? Что я должен делать? Сумрачные скалы горы Харам, горы Синай, суровые песчаные пустыни не давали ответа на эти вопросы. Необъятное небо, молчаливо распростершееся над его головой, со звездами, мерцавшими синим блеском, также не давало ответа. Никакого ответа не находил он здесь. Собственная душа человека и та частица божественного вдохновения, которая живет в ней, вот кто должен был ответить.

Таковы вопросы, которые всем людям приходится задавать себе, и нам также, и искать ответа на них. Этот дикий человек чувствовал всю *бесконечную* важность мучивших его вопросов, по сравнению с которыми *все* остальное не имеет никакого значения. Диалектический жаргон греческих сект, смутные предания евреев, бестолковая рутина арабского идолопоклонства — все это не давало никакого ответа на означенные вопросы. Герой, повторяю, отличается прежде всего тем, — и это мы действительно можем признать его первой и последней отличительной чертой, альфой и омегой всего его героизма, — что он сквозь *внешнюю видимость* вещей проникает в самую *суть* их. Традиция и обычай, почтенные ходячие истины, почтенные формулы — все они могут быть хорошими и плохими. Но за ними, выше их, стоит нечто другое, с чем все они должны сообразоваться, отражением чего все они должны быть, иначе они превращаются в *идолов*, в "куски черного дерева, претендующие на божественность"; для серьезного ума — посмешище и омерзение. Идолы, как они ни были раззолочены и несмотря на то, что им прислуживали главные жрецы из племени курейшитов, не могли иметь никакого значения для такого человека. Хотя все люди живут, поклоняясь им, но что из этого? Великая действительность все стоит и упорно глядит на *него*. Он должен найти ответ, в противном же случае погибнуть злополучным образом. Теперь, немедленно, иначе ты никогда не будешь иметь более возможности найти его в течение всей вечности! Ответ на вопрос; *ты* должен найти ответ. Честолюбие? Что могла значить для этого человека вся Аравия, вместе с короною грека Ираклия, короною перса Хосрова и со всеми земными коронами, что все они могли значить для него? Совсем не о земном шло дело и не о земле он хотел слышать, а о небе, которое вверху, и преисподней, которая внизу. Все короны и державы, каковы бы они ни были, что станется с ними через несколько быстротекущих лет? Быть шейхом Мекки или Аравии и держать в руках своих кусок позолоченного дерева — разве в этом спасение человека? Нет, не то, я решительно думаю, не то. Мы совершенно оставим ее, эту гипотезу об обмане, как не заслуживающую никакого доверия; к ней нельзя относиться даже терпимо; напротив, она заслуживает нашего полного отрицания.



Ежегодно с наступлением месяца рамазана Магомет удалялся в пустынное место и проводил все это время в уединении и молчании; таков действительно был обычай у арабов; обычай, достойный похвалы, вполне естественный и полезный, в особенности в глазах такого человека, как Магомет. Углубиться в самого себя среди молчаливых гор, сохранять молчание, чутко прислушиваться к "малейшим тихим голосам" — это в самом деле естественный обычай! Магомету шел сороковой год, когда он, удалившись в пещеру на горе Харам, близ Мекки, с наступлением рамазана, чтобы провести этот месяц в молитве и размышлениях о великих вопросах, сказал однажды своей жене Хадидже, которая со всем домохозяйством была на этот раз вместе с ним или неподалеку от него, что, благодаря несказанной, особенной милости к нему неба, он теперь все понял; что он не испытывает более сомнений, не блуждает в потемках, но все видит ясно. Все эти идолы и обычаи, говорил он, не что иное, как жалкие куски дерева; во всем и над всеми существует единый Бог, и люди должны бросить всех своих идолов и обратить свой взор к Нему. Бог — велик, и нет ничего величественнее Его! Он — сама действительность. Деревянные идолы не являются ею. Он действительно существует; Он нас создал изначала веков; Он поддерживает нас и теперь; мы и все сущее — только тени Его; преходящая оболочка прикрывает вечный блеск. *Allah akbar* — Бог велик; а затем также *Islam* — мы должны подчиняться Богу. Вся наша сила заключается в покорном подчинении Ему, во всем, что Он ниспослал бы нам как в этом, так и в другом мире! Все, что Он посылает нам, будь это смерть или что-либо еще хуже смерти, все мы должны принимать за добро, за наилучшее; мы предаем себя на волю Божию. "Если это ислам, — говорит Гёте, — не живем ли мы все в исламе?" Да, все те из нас, кто ведет хоть сколько-нибудь нравственную жизнь, все мы живем так. Всегда признавалось за величайшую мудрость, чтобы человек не только покорялся необходимости, — необходимость заставит его подчиниться, — но знал и верил, что предписания необходимости — самые мудрые, самые лучшие, что они именно то, чего недоставало ему; что необходимо оставить безумную претензию исчерпать этот великий Божий мир ничтожной крупницей своего мозга и признать, что он, этот мир, *имеет* действительно, хотя и на глубине, далеко не досягаемой лотом, опускаемым человеком, справедливый закон, что душу мира составляет добро, что роль человека — приводить в соответствие свои поступки с законом целого и следовать ему в благоговейном молчании, не оспаривая, а повинуюсь как беспорному.

Такова, говорю я, до сих пор единственная, известная людям, достоверная мораль. Человек поступает правильно, он непреодолим, добродетелен, он находится на пути к верной победе, когда связывает самого себя с великим, глубоко сокрытым мировым законом, невзирая на всяческие внешние законы, временные видимости, разные выкладки барышей и потерь; он побеждает, когда работает рука об руку с великим основным законом, и не побеждает ни в каком другом случае; а первым условием для такой совместной работы, первым условием, чтобы попасть в течение великого закона, является, конечно, утверждение от всей полноты души, что закон этот *существует*, что он — благо, единствен-

ное благо! Таков дух ислама; таков, собственно, и дух христианства, ибо ислам можно определить как затемненную форму христианства: если бы не было христианства, не было бы и его. Христианство также предписывает нам прежде всего полную покорность Богу. Мы отнюдь не должны прислушиваться к голосу плоти и крови, принимать во внимание пустые измышления, пустые скорби и желания; мы должны знать, что ничего не знаем; что самое скверное и самое жестокое вовсе не то, что кажется таким для наших глаз; что ко всему, выпадающему на нашу долю, мы должны относиться как к непосылаемому нам свыше Богом и говорить: все это добро, все это благо, Бог велик! "Даже если Он убьет меня, я все-таки буду верить в Него". Ислам на свой лад проповедует отрицание своего *я*, уничтожение своего *я*. А это до сих пор остается высочайшею мудростью, какую только небо открыло нашей земле.

Таков был свет, возможный при данных условиях, свет, снизошедший, чтобы осветить мрак души этого дикого араба; поразительный, ослепляющий блеск, как бы исходящий от жизни и неба среди великого мрака, угрожавшего все превратить в смерть; он называл его откровением и ангелом Джебраилом; но кто же из нас может сказать, как действительно следует назвать его? "Дыхание Всемогущего" — вот что "дает нам разумение". *Знать*, проникать в истину чего-либо — это всегда таинственный акт, о котором самые лучшие логики могут только лепетать, скользя по поверхности. "Не представляет ли вера, — говорит Новалис, — истинного Бога, возвещающего чудо?" То, что переполненная душа Магомета, воспламененная великой истиной, открытой ей, чувствовала всю важность, всю исключительную важность ее, весьма естественно. Провидение оказало ему несказанную милость, открыв великую истину, спасло его таким образом от смерти и мрака, и он был обязан, следовательно, возвестить ее всем людям; вот что следует понимать под словами "Магомет — пророк Бога" и что также не лишено своего действительного значения.

Добрая Хадиджа, как мы легко можем представить себе, слушала его с удивлением и сомнением. Наконец она сказала: да, это все *верно*, что он говорит. Всякий легко поймет, какую безграничную благодарность к ней почувствовал в сердце своем Магомет. Она сделала много добра ему, но величайшим добром для него было именно то, что она уверовала в горячее слово, высказанное им после упорной борьбы. "Несомненно, — говорит Новалис, — мое убеждение становится бесконечно сильнее с того момента, когда другой человек признает его". Это была беспредельная милость. Он никогда не забывал своей доброй Хадиджи. Много времени спустя Айша, его молодая любимая жена, женщина, действительно выделявшаяся среди мусульман своими достоинствами всякого рода и сохранявшая эти достоинства в течение всей своей долгой жизни, эта молодая, блестящая Айша однажды спросила его: "Ну, а теперь, кто лучше: я или Хадиджа? Она была вдова, старая, утратившая уже все свои прелести; ты любишь меня больше, чем любил ее?" — "Нет, клянусь Аллахом! — отвечал Магомет, — нет, клянусь Аллахом! Она уверовала в меня, когда никто другой не хотел верить. Она была единственным другом, который у меня был в этом мире!" Сеид, его раб, также уверовал в него; эти двое вместе с его юным двоюродным братом Али, сыном Абу-Талеба, составляли первых его прозелитов.

Он проповедовал свое учение то одному, то другому человеку; но большинство относилось к нему с насмешкой, равнодушно; в течение первых трех лет, я думаю, он приобрел не больше тридцати последователей. Таким образом, он продвигался медленно вперед. Идти же вперед его побуждало то же, что в подобных обстоятельствах обычно побуждает таких людей. После трех лет незначительного успеха он собрал сорок человек из своих ближайших родственников и тут объявил им, в чем заключалось его намерение; он сказал, что должен распространить свое учение среди всех людей; что это — величайшее дело, единственное дело, и спросил, кто из них согласен последовать за ним? Среди наступившего затем всеобщего молчания и сомнения молодой Али, тогда еще шестнадцатилетний юноша, не будучи в состоянии сдерживать себя, вскочил и страстно, неистово закричал, что он согласен! Собрание, в котором находился Абу-Талеп, отец Али, не могло питать неприязненных чувств к Магомету; однако всем им казалось смешным это зрелище, когда пожилой, невежественный человек с шестнадцатилетним юношей решались на предприятие, касающееся всего человечества, и они разошлись, смеясь. Тем не менее предприятие оказалось вовсе не смешным; это было весьма серьезное дело! Что же касается молодого Али, то его все любили; это был юноша с благородными задатками, которые он проявил в описанном эпизоде и продолжал проявлять в дальнейшей жизни; юноша, полный страсти и пылкой отваги. Что-то рыцарское было в нем; храбрый, как лев, он отличался также состраданием, правдивостью, привязанностью, достойными христианского рыцаря. Его умертвили в багдадской мечети; он принял смерть из-за своего открытого благородства и доверия к благородству других; раненный, он говорил, что если его рана окажется не смертельной, то убийцу следует простить; но если он умрет, то его должны убить тотчас же, чтобы они оба в одно время могли предстать перед Богом и удостовериться, кто из них был прав в этой распри!

Магомет, само собою разумеется, своим учением задевал за живое всех курейшитов, хранителей Каабы, служителей идолов. Один или двое из влиятельных людей присоединились к нему. Его учение распространялось медленно, но все-таки распространялось. Естественно, он задевал и оскорблял каждого. Кто этот, дерзающий быть умнее всех нас, поносить всех нас, как безумных поклонников дерева? Абу-Талеп, его добрый дядя, уговаривал его, не может ли он хранить молчание, верить про себя, не беспокоить других, не возбуждать гнева старейших людей, не подвергать опасности себя и всех их, громогласно проповедуя свое учение? Магомет отвечал: если бы солнце встало по правую его руку, а луна по левую и повелели ему молчать, то и тогда он не мог бы повиноваться! Нет, в той истине, которую он обрел, было нечто от самой природы, равное по своему значению и солнцу, и луне, и всему другому, что создала природа. Она сама собой будет возвещаться до тех пор, пока дозволит Всемогущий, несмотря на солнце, луну, несмотря на всех курейшитов, на всех людей, несмотря на все. Так должно быть, и иначе не может быть. Так отвечал Магомет и, говорят, "залился слезами". Залился слезами; он чувствовал, что Абу-Талеп относился тепло к нему, что задача, за которую он взялся, была не из легких, что это была суровая, великая задача.

Он продолжал проповедовать тем, кто хотел слушать его, продолжал распространять свое учение среди пилигримов, приходивших в Мекку, приобретать то там, то здесь последователей. Беспрестанные споры, ненависть, явная и скрытая опасность сопровождали его повсюду. Сам Магомет находил защиту у своих могущественных родственников; но все его последователи, по мере успехов пропаганды, должны были один за другим покинуть Мекку и искать себе убежища за морем, в Абиссинии. Курейшитами овладевал все больший гнев; они составляли заговоры, давали друг другу клятвенные обещания умертвить Магомета своими собственными руками. Абу-Тaleb умер. Добрая Хадиджа также умерла. Магомету не нужно, конечно, наше сочувствие, но его положение в то время было поистине одно из самых ужасных. Он принужден был скрываться в пещерах, переодеваться, чтобы избегать опасностей, скитаться из одного места в другое; бездомный, он постоянно опасался за свою жизнь. Не раз все, казалось, погибло для него, не раз все дело висело на волоске, и от того, испугается ли лошадь всадника и т. п., зависело, останется ли Магомет и его учение, или же все кончится тотчас и о нем уже никогда более не будет слышно. Но не так должно было все кончиться.

На тринадцатом году своей пропаганды Магомет, убедившись, что все его недруги соединились против него, что сорок человек, по одному от каждого колена, связанные клятвой, только выжидали случая, чтобы лишить его жизни, и что всякое дальнейшее его пребывание в Мекке невозможно, бежал в город, называвшийся тогда Ятриб, где он имел нескольких последователей; в настоящее время город этот, в силу указанного события, называется Мединой или Мединатан-наби — городом пророка. Он лежит в двухстах милях от Мекки по скалистой и пустынной дороге; немало труда стоило Магомету, находившемуся в крайне тяжелом настроении, что мы легко можем представить себе, добраться до этого города, где он встретил радушный прием. Весь Восток ведет начало своего летосчисления от этого бегства, хиджры, как называют его мусульмане. Первый год этой хиджры соответствует 622 году нашего летосчисления; Магомету было тогда уже 53 года. Он вступал уже в старческий возраст; его друзья, один за другим, отпадали от него; его одинокий путь усеян был опасностями; внешние условия, одним словом, складывались для него совершенно безнадежно, и все погибло бы, если бы он не нашел опоры в собственном своем сердце. Так бывает со всеми людьми в подобных случаях. До сих пор Магомет распространял свою религию единственно путем проповеди и убеждения. Но теперь, вероломно изгнанный из своей родной страны, так как несправедливые люди не только не хотели внимать великой вести, возвещенной им именем неба, крику, исходившему из глубины его сердца, но даже не соглашались оставить его в живых, если он будет продолжать свое дело, — теперь дикий сын пустыни решился защищаться, как человек, как араб. Если курейшиты желали этого, то пусть будет так. Они не хотели внимать словам, имевшим бесконечную важность для них и для всех людей. Они решили попать ногами его дело и хотели пустить в ход открытое насилие, меч и смертоубийство. Хорошо, пусть же меч в таком случае решает дело! Еще десять лет жизни было в распоряжении Маго-

мета; он провел их в беспрестанных сражениях, отдавшись всецело кипучей работе и борьбе. Какой получился результат, мы знаем.

Много говорилось о распространении Магометом своей религии с мечом в руке. Без всякого сомнения, распространение христианства шло более благородным путем, путем проповеди и убеждения, чем мы по справедливости можем гордиться. Но вместе с тем мы сделаем грубую ошибку, если признаем подобное соображение за аргумент в пользу истинности или ложности известной религии. Действительно, меч; но при каких обстоятельствах обнажаете вы свой меч! Всякое новое мнение, при своем возникновении, представляет собственно *меньшинство одного*. В голове одного только человека — вот где оно зарождается вначале. Лишь один человек во всем мире исповедует его; таким образом, один человек выступает против всех людей. Если он возьмет меч и станет с мечом в руке проповедовать свою мысль, то это мало поможет ему. Вы должны сначала обрести себе меч! Вообще всякое мнение стремится распространяться всеми путями, какими только может. Из того, что мы знаем о христианской религии, я не усматриваю, чтобы она всегда отвергала меч, даже и тогда, когда она уже обрела его. Обращение Карла Великого с саксами нельзя назвать мирной проповедью. Я не придаю особенного значения мечу; но, по моему мнению, всякому делу должно быть предоставлено отстаивать себя в этом мире мечом, словом, вообще всякими средствами, какими оно располагает или какие оно может заставить служить себе. Пусть оно распространяется путем проповеди, памфлетов, отстаивает себя, бросается в самую отчаянную борьбу и действует клювом, когтями, всем, чем только может; не подлежит сомнению, что оно не одолеет того, что не должно быть побежденным в общем ходе развития. То, что лучше его, оно не может смести прочь; оно может подавить только то, что хуже. В этой великой дуэли сама природа является третейским судьей, и она не может быть несправедливой; то, что коренится глубже всего в природе, что мы называем *самым истинным*, именно это, а не что-нибудь другое в конце концов и окажется в выигрыше.

Магомет и его успех представляют, однако, весьма подходящий случай, чтобы остановиться и показать, каким справедливым третейским судьей бывает природа, какое величие, какую глубину и терпимость являет она собою. Вы бросаете зерно пшеницы в лоно матери-земли; ваши зерна нечисты, вместе с ними попадается мякина, обрезки соломы, сор с гумна, пыль и всякий мусор; неважно, вы бросаете их в справедливую землю; она выращивает пшеницу и молчаливо поглощает весь этот мусор, таит его в себе; она ничего не говорит о мусоре. Вырастает золотистая пшеница; добрая земля сохраняет молчание обо всем остальном; она молча обращает и это все остальное на пользу и ни на что не жалуется! Так совершается все в природе! Она правдива, она не умеет лгать и вместе с тем какое величие, какая справедливость, какая материнская доброта в этой правдивости. Она требует только одного, чтобы все жаждущее жить *было искренне* в своем сердце; она будет покровительствовать всякому начинанию, если оно искренне, и нет, если оно неискренне. Во всем, чему она оказывала когда бы то ни было покровительство, вы чувствуете дыхание истины. Увы, не такова ли история

всякой истины, даже самой величайшей, какая только когда-либо появлялась в этом мире? *Тело* у всякой из них несовершенно; она — свет в потемках; к нам она принуждена являться воплощенной в голую логическую формулу, в виде некоторой лишь *научной* теоремы о вселенной; такая теорема *не может быть* полной; она неизбежно в один прекрасный день окажется *неполной*, ошибочной и, как таковая, должна будет погибнуть и исчезнуть. Тело всякой истины умирает, и, однако, в каждой истине, считаю я, существует душа, которая никогда не умирает, которая, воплощаясь в новые, постоянно совершенствующиеся формы, живет вечно, как и сам человек. Таковы пути природы! Подлинная суть истины никогда не умирает. Перед трибуналом природы главное значение имеет именно то, чтобы она была подлинной, чтобы она была голосом, исходящим из великой глубины природы. Для природы не играет решающей роли то, что *мы* называем чистым или нечистым. Дело не в том, много ли, мало ли мякины, а в том, есть ли пшеница. Чистый? Я мог бы сказать многим людям: да, вы чисты; вы достаточно чисты, но вы — мякина, неискренняя гипотеза, ходячая фраза, пустая формула; вы никогда не прислушивались к биению великого сердца вселенной, вы, собственно, ни чисты, ни нечисты; вы — ничто, природе нечего делать с вами\*.

Религия Магомета, как мы сказали, представляет некоторую форму христианства; действительно, если обратить внимание на ту дикую восхищенную пылкость, с какою она принималась к сердцу, с какою веровали в нее, то я должен буду сказать, что это во всяком случае более высокая форма, чем жалкие сирийские секты, с их пустыми препирательствами относительно *Номоiousion* и *Номоousion*\*, наполнявшими голову ничего не стоящей трескотней, а сердце пустотой и холодом! Истина в учении Магомета перепутывается с чудовищными заблуждениями и ложью; но не ложь, а истина, заключающаяся в нем, заставила людей верить в него; оно получило успех благодаря своей истине. Побочная, так сказать, ветвь христианства, но жизненная, в учении этом вы чувствуете биение сердца; это — не мертвенная крошка одной только бесплодной логики! Сквозь всю эту мусорную кучу арабских идолов, схоластической теологии, традиций, тонкостей, общих слов и гипотез греческих и еврейских с их пустой логической процедурой, напоминающей вытягивание проволоки, дикий сын пустыни, серьезный, как сама смерть и жизнь, своим величественным, сверкающим взглядом проникал непосредственно в самую суть дела. Идолопоклонство — ничто; эти ваши деревянные идолы — ”вы смазываете их маслом и натираете воском, и мухи липнут к ним”, они — дерево, говорю я вам! Они ничего не могут сделать для вас; они богохульное, бессильное притязание. Они внушат вам ужас и омерзение, раз вы узнаете, что такое они в действительности. Бог — один; один только Бог имеет силу; он сотворил нас; он может погубить нас, он может даровать нам жизнь: *Allah akbar* — Бог велик. Поймите, что его воля — наилучшая воля для вас; что, как бы ни казалась она прискорбной для вашей плоти и крови, вы в конце концов признаете ее самой лучшей, самой мудрой; что вы принуждены так поступать, что как в этой жизни, так и в будущей вы не можете сделать иначе!

И затем если дикие идолопоклонники уверовали в такое учение и приняли его со всем пылом своего горячего сердца, приняли с тем, чтобы осуществлять в той форме, в какой оно дошло до них, — то я утверждаю, что оно стоило того, чтобы в него уверовать. В той или другой форме, утверждаю я, это до сих пор единственное учение, достойное того, чтобы в него верили все люди. Благодаря ему человек действительно становится первосвященником этого храма вселенной. Между ним и предписаниями Творца мира устанавливается гармония; он работает, следуя высшим указаниям, а не противодействуя им понапрасну: я не знаю по настоящее время лучшего (после христианского) определения долга, чем это. Всякая *правда* обуславливается именно такой совместной работой с действительной мировой тенденцией; вы преуспеете благодаря такой работе (мировая тенденция преуспеть); вы хороши, вы на правильной дороге. Homoiousion, Homoousion — пустое логическое препирательство, тогда и раньше, и во всякое время можно препираться с собою сколько угодно и идти куда и как угодно: существует нечто, и это нечто всякое подобное препирательство стремится выразить, если только оно может выражать что-нибудь. Если оно не успевает в этом, то не выражает ровно ничего. Дело не в том, правильно или неправильно сформулированы отвлеченные понятия, логические предложения, а в том, чтобы живые, реальные сыны Адама принимали все это к своему сердцу. Ислам поглотил все препиравшиеся из-за подобных пустяков секты; и я думаю, он имел право поступить таким образом. Он был сама действительность, непосредственно вылившаяся еще раз из великого сердца природы. Идолопоклонство арабов, сирийские формулы, все, не представлявшее в равной мере действительности, должно было погибнуть в пламени, — все это послужило, в разных смыслах, горючим материалом для того, что было *огнем*.

Во время свирепых войн и борьбы, наступивших после бегства Магомета из Мекки, он диктовал с перерывами свою священную книгу, так называемый *Коран*, или *Чтение*, "то, что предназначается для чтения". Этому произведению он и его ученики придавали громадное значение, вопрошая весь мир, разве оно не чудо? Мусульмане относятся к своему Корану с таким благоговением, какое немногие из христиан питают даже к Библии. Коран повсюду признается за образец, с которым должен соотнобразоваться всякий закон, всякое практическое дело; это — книга, которой надлежит руководствоваться в размышлении и в жизни; это — вещь, возвещенная самим небом земле, чтобы она соотнобразовалась с нею и жила согласно ей; книга, которая предназначается для того, чтобы ее читали. Мусульманские судьи решают дела по Корану; всякий мусульманин обязан изучать его и искать в нем ответов на вопросы своей жизни. У них есть мечети, где Коран прочитывают ежедневно весь целиком; тридцать мулл попеременно принимают участие в этом чтении и прочитывают книгу от начала до конца в продолжение одного дня. Таким образом, голос этой книги в течение двенадцати столетий не перестает звучать ни на одну минуту в ушах и сердцах громадной массы людей. Говорят, что некоторые мусульманские ученые перечитывали ее по семьдесят тысяч раз!..

Всякий, кто интересуется "различиями в национальных вкусах", остановится на Коране как на весьма поучительном примере. Мы также можем читать его; наш перевод, сделанный Сэлом, считается одним из самых точных. Но я должен сказать, никогда мне не приходилось читать такой утомительной книги. Скудная, беспорядочная путаница, непереваренная, необработанная: бесконечные повторения, нескончаемые длинноты, запутанности; совсем непереваренные, крайне необработанные вещи; невыносимая бестолковщина, одним словом! Одно только побуждение долга может заставить европейца читать эту книгу. Мы читаем ее с таким же чувством, с каким перебираем в государственном архиве массу всякого неудобочитаемого хлама в надежде найти какие-нибудь данные, проливающие свет на замечательного человека. Правда, нам приходится считаться с особенным неудобством: арабы находят в нем больше порядка, чем мы. Последователи Магомета получили не целое произведение, а отдельные отрывки, как они были записаны при первом своем появлении, — многое, говорят они, на бараньих лопатках, брошенных без всякого разбора в ящик; и они опубликовали его, не позаботившись привести все это в хронологический или какой-либо иной порядок и стараясь лишь, по-видимому, да и то не всегда, поместить наиболее длинные главы в самом начале. Таким образом, настоящее начало следует искать в самом конце, так как ранее написанные отрывки были вместе с тем и наиболее короткими. Если бы читать Коран в исторической последовательности, то, быть может, он не был бы так плох. Многое, говорят также они, написано в оригинале рифмой, — нечто вроде дикой певучей мелодии, что составляет весьма важное обстоятельство, и перевод, быть может, много теряет в этом отношении. Однако, приняв во внимание даже все эти оговорки, мы с трудом поймем, каким образом люди могли считать когда бы то ни было этот Коран книгой, написанной на небе и слишком возвышенной для земли; хорошо написанной книгой, или даже *книгой* вообще, а не просто беспорядочной рапсодией, *написанной*, насколько дело касается именно этой стороны, невозможно скверно, так скверно, как едва ли была написана когда-либо другая книга! Это относительно национальных различий и особенностей вкуса.

Однако, сказал бы я, вовсе уж не так трудно понять, каким образом арабы могли так сильно полюбить свою книгу. Когда вы выходите наконец из этого беспорядочного шума и гама Корана и оставляете его позади себя на некотором расстоянии, то истинный смысл книги начинает сам собою выясняться и при этом раскрываются совершенно иные, не внешне литературные ее достоинства. Если книга исходит из самого сердца человека, она найдет себе доступ к сердцам других людей; искусство и мастерство автора, как бы велики они ни были, в таком случае значат мало. Всякий согласится, что характерная особенность Корана — это его *неподдельность*, это — то, что он представляет собственно книгу *bona fide*\*. Придо и другие, я знаю, видели в нем только собранное в один узел фиглярство; глава за главой, говорят они, были написаны лишь для того, чтобы оправдать и обелить автора в длинном ряде прегрешений, поддержать его честлюбивые помыслы, прикрыть шарлатанство. Но поистине настало уже время бросить подо-



бные рассуждения. Я не настаиваю на постоянной искренности Магомета: кто постоянно искренен? Но, признаюсь, мне нечего делать с критиком, который в настоящее время стал бы обвинять его в *предумышленном* обмане, или в сознательном обмане, или даже в каком бы то ни было обмане вообще; и затем обвинять еще в том, что он жил исключительно в атмосфере сознательного обмана и написал этот Коран как выдумщик и фигляр! Всякий искренний глаз, я думаю, будет читать Коран с совершенно иным чувством. В нем вылилось беспорядочное брожение великой, но грубой еще души человека, невежественного, непросвещенного, не умеющего даже читать, но вместе с тем пламенного, серьезного, страстно стремящегося высказать свои мысли. С какою-то захватывающею дух напряженностью он пытается высказаться; мысли теснятся в его голове беспорядочною толпою; желая высказать многое, он ничего не успевает сказать. Возникающие в его уме мысли не находят подходящих форм и выступают без всякой последовательности, порядка и связи; они, эти мысли Магомета, вовсе не *отливаются в формы*; они вырываются неоформленные, в том виде, как борются и падают, в своем хаотическом, бессвязном состоянии. Мы сказали "бестолковая"; однако природная бестолковость вовсе не составляет характерной особенности книги Магомета; это скорее природная некультуриванность. Человек не научился говорить; вечно спеша и под давлением неустанной борьбы, он не имеет времени вынашивать в себе свои мысли и находить им соответствующие формы. Порывистая, задыхающаяся поспешность и запальчивость человека, сражающегося за жизнь и спасение в самом пылу битвы, — вот настроение, в котором он находится! Поспешность до самозабвения. Кроме того, сама необъятность мысли является помехой, и он не может отчеканить и выразить свою мысль. Ряд попыток ума, испытывающего подобное состояние, высказаться, попыток, окрашенных разными превратностями двадцатитрехлетней борьбы, то удачных, то неудачных, — вот что такое Коран!

Действительно, мы должны считать Магомета в эти двадцать три года центральной фигурой огромного мира, взволнованного всеобщей борьбой. Битвы с курейшитами и язычниками, распри среди приверженцев, измены собственного дикого сердца — все это точно кружило его в каком-то вечном водовороте; его душа не знала ни минуты покоя. В бессонные ночи, как легко мы можем представить себе, дикая душа этого человека, потрясенная подобными вихрями, приветствовала всякий просвет к выходу из окружавших его затруднительных обстоятельств, как истинный свет, ниспосланный небом; *всякое* решение, столь благословенное, столь необходимое для него в данный момент, представлялось ему внушением Джебрайла. Обманщик и фигляр? Нет, нет! Это — великое огненное сердце, клочущее и шипящее, подобно громадному горнилу мыслей, не было сердцем фигляра. Его жизнь была фактом для него; эта Божья вселенная — грозным фактом и действительностью. Он заблуждался. Но ведь это был человек некультурный, полуварвар, сын природы, это был все еще, собственно, бедуин; таким и мы должны считать его. Но мы не станем и не можем видеть в нем жалкий призрак голодного обманщика, человека без глаз и сердца, решающегося на поносящее Бога мошенничество, на подделку небесных

документов, беспрестанно изменяющего своему Творцу и самому себе ради тарелки супа.

Искренность во всех отношениях, по моему мнению, составляет действительное достоинство Корана; она-то и сделала его драгоценным в глазах диких арабов. Искренность в конце концов составляет первое и последнее достоинство всякой книги; она порождает достоинства всякого иного рода; в сущности, только она одна и может породить достоинство какого бы то ни было рода. Любопытно, как среди всей этой бесформенной массы традиций, гнева, жалоб, душевных порывов в Коране проходит пульсирующая струя истинного непосредственного прозрения, которое мы можем признать почти за поэзию. Содержание этой книги составляют голые пересказы традиций и, так сказать, импровизированная, пылкая, восторженная проповедь. Магомет постоянно возвращается к древним рассказам о пророках, насколько они сохранились в памяти арабов: как пророк за пророком, как пророк Авраам, пророк Гад\*, пророк Моисей, христианские и другие пророки появлялись среди то одного, то другого племени и предостерегали людей от грехов; а их встречали точь-в-точь так же, как его, Магомета, что служило ему великой утехой. Все это он повторяет десять, быть может, двадцать раз, снова и снова, постоянно и надоедливо пересказывая, таким образом, одно и то же; кажется, что повторениям этим никогда не будет конца. Мужественный Сэмюэл Джонсон, сидя на своем заброшенном чердаке, мог таким же образом выучить наизусть биографии разных писателей! Вот в чем заключается главное содержание Корана. Но любопытно — всю эту грудю время от времени как бы пронизывают лучи света, исходящие от настоящего мыслителя и ясновидца. Он, этот Магомет, имеет верный глаз, способный действительно видеть мир; с уверенной прямою и грубой силой он умеет затронуть и наше сердце тем, что открылось его собственному сердцу. Я мало придаю значения этим восхвалениям Аллаха, восхвалениям, которые многие так ценят; Магомет позаимствовал их, я думаю, главным образом у евреев; по крайней мере, они значительно уступают восхвалениям этих последних. Но глаз, который проникает прямо в сердце вещей и *видит* истинную сущность их, — это представляет для меня в высокой степени интересный факт; дар, получаемый непосредственно из рук великой природы; она награждает им всякого, но только один из тысячи не отворачивается от него прискорбным образом; это — искренность зрения, как я выражаюсь, пробный камень искреннего сердца.

Магомет не мог творить никаких чудес. Он часто нетерпеливо отвечал: я не могу сотворить никакого чуда. Я? "Я — народный проповедник", которому указано проповедовать это учение всем. Однако мир, как мы сказали, с давних уже пор представлялся ему как великое чудо. Охватите одним взглядом мир, говорит он, не чудо ли он, это творение Аллаха; поистине, "знамение для вас", если только вы взглянете открытыми глазами! Эта земля, Бог ее создал для вас; "он указал вам пути"; вы можете жить на ней, ходить в ту и другую сторону. Облака в знойной Аравии, — для Магомета они были также настоящим чудом. Великие облака, говорит он, порожденные в глубоких недрах высшей необъятности, откуда приходят они? Они висят там, громадные, черные чудови-

ща; изливают свои дождевые потоки, "чтобы оживить мертвую землю"; и трава зеленеет, и "высокие лиственные пальмы свешивают во все стороны пучки своих фиников; разве это не знамение?" Ваш скот — его тоже создал Аллах; безгласные, работающие твари, они превращают траву в молоко; они снабжают вас одеждой; поистине удивительные создания; с наступлением вечера они возвращаются рядами домой "и, — прибавляет он, — делают вам честь!". Вот корабли, он говорит часто о кораблях, громадные движущиеся горы, они распускают свои полотняные крылья и рассекают, покачиваясь, воды, а ветер небесный гонит их все вперед и вперед; но вдруг они останавливаются и лежат недвижимы: Бог отозвал ветер; они лежат как мертвые и не могут двинуться! Вам нужны чудеса? — вскрикивает он. Какое же чудо хотели бы вы видеть? Взгляните на себя, разве вы сами не представляете чуда? Бог создал вас, "сотворил из небольшого комочка глины". Несколько лет тому назад вы были ребенком, но пройдет еще несколько лет, и вас не будет вовсе. Вы красивы, вы сильны, вы умны, "вы чувствуете сострадание друг к другу". Но наступает старость, ваши волосы седеют, ваша сила слабеет, вы разрушаетесь, и вот вас снова нет. "Вы чувствуете сострадание друг к другу" — эта мысль сильно поражает меня. Аллах мог создать нас и так, что мы не питали бы сострадания друг к другу; что было бы тогда! Это — великая открытая мысль, непосредственное проникновение в самую суть вещей. В этом человеке явно обнаруживаются резко обозначенные черты поэтического гения, черты всего, что есть самого лучшего и самого истинного. Сильный необразованный ум; прозревающий, сердечный, сильный, дикий человек, — он мог бы быть и поэтом, и царем, и пастырем, и всякого другого рода героем.

Мир в его целом всегда представлялся его глазам чудом. Он видел то, что, как мы сказали выше, все великие мыслители, в том числе и грубые скандинавы, так или иначе умели видеть, а именно: что этот, столь величественный на вид материальный мир, в сущности, на самом деле — ничто; видимое и осязаемое проявление божественной силы, ее присутствия, — тень, отбрасываемая Богом вовне, на грудь пустой бесконечности, и больше ничего. Горы, говорит он, эти громадные скалистые горы, они рассеются "подобно облакам"; они расплывутся, как облака в голубом небе, они перестанут существовать! Землю, говорит Сэл, он представлял себе, как все арабы, в виде необъятной равнины или гладкой плоскости, на которой приподняты горы для того, чтобы придать ей *устойчивость*. Когда настанет последний день, они рассеются "подобно облакам"; земля станет кружиться, увлекаемая собственным вихрем, устремится к гибели и, как прах или пар, исчезнет в пустоте; Аллах отдернет свою руку, и она перестанет существовать. Мировое могущество Аллаха, присутствие несказанной силы, невыразимого сияния и ужаса, составляющих истинную мощь, сущность и действительность всякой вещи, какова бы она ни была, — вот что всегда, ясно и повсюду видел этот человек. Это — то же, что понимает и современный человек под именем сил или законов природы, но чего он не представляет уже себе в виде божественного или даже вообще единого факта, а лишь в виде ряда фактов, достаточно заурядных, имеющих хороший сбыт на рынке, любопытных, пригодных на то, чтобы приво-

дить в движение пароход! В своих лабораториях, за своими знаниями и энциклопедиями мы готовы позабыть *божественное*. Но мы не должны забывать его! Раз оно будет действительно позабыто, я не знаю, о чем же останется нам помнить тогда. Большая часть знаний, мне кажется, превратилась бы тогда в сущую мертвечину, представляла бы сушь и пустоту, занятую мелочными препирательствами, чертополох в позднюю осень. Самое совершенное знание без этого есть лишь срубленный *строевой лес*; это уже не живое растущее в лесу дерево, не целый лес деревьев, который доставляет, в числе других продуктов, все новый и новый строительный материал! Человек не может вообще *знать*, если он не *поклоняется* чему-либо в той или иной форме. Иначе его знание — пустое педанство, сухой чертополох.

Много говорилось и писалось по поводу чувственности религии Магомета — больше, чем можно было бы сказать по справедливости. Он допустил преступные, на наш взгляд, послабления, но не он их придумал; они существовали до него, и ими пользовались, не подвергая их ни малейшему сомнению, с незапамятных уже времен в Аравии; он, напротив, урезал, ограничил их, и не с одной только стороны, а со многих. Его религия —, вовсе не из легких: суровые посты, омовения, строгие многосложные обряды, моления по пяти раз в день, воздержание от вина — все это не выжется с тем, что она "имела успех потому, что была легкой религией". Как будто действительное распространение религии может зависеть от этого! Как будто действительная причина, побуждающая человека придерживаться известной религии, может состоять в этом! Тот клеветает на людей, кто говорит, что их подвигает на героические поступки легкость, ожидание получить удовольствие или вознаграждение, своего рода засахаренную сливу, в этом или загробном мире! В самом последнем смертном найдется кое-что поблагороднее таких побуждений. Бедный солдат, нанятый на убой и присягнувший установленным порядкам, имеет свою "солдатскую честь", отличную от правил строевой службы и шиллинга в день. Не отведать какой-либо сладости, а совершить благородное и высокое дело, оправдать себя перед небом, как человека, созданного по подобию Божьему, — вот чего действительно желает самый последний из сынов Адама. Покажите ему путь к этому, и сердце самого забитого раба загорится героическим огнем. Тот сильно оскорбляет человека, кто говорит, что его привлекает легкость. Трудность, самоотвержение, мученичество, смерть — вот *приманки*, действующие на человеческое сердце. Пробудите в нем внутреннюю, действенную жизнь, и вы получите пламя, которое пожрет всякие соображения более низменного характера. Нет, не счастье, а нечто более высокое манит к себе человека, что вы можете наблюдать даже на людях, принадлежащих к суетной толпе: и у них есть своя честь и тому подобное. Религия может приобретать себе последователей, не потворствуя нашим аппетитам, а лишь возбуждая тот героизм, который дремлет в сердце каждого из нас.

Лично Магомет, несмотря на все то, что о нем говорилось, не был человеком чувственным. Мы сделаем большую ошибку, если станем рассматривать этого человека как обыкновенного сластолюбца, стремящегося к низким наслаждениям, даже вообще к наслаждениям какого бы

то ни было рода. Его домашний обиход отличался крайней простотой; ячменный хлеб и вода составляли его обычную пищу; случалось, что по целым месяцам на его очаге вовсе не разводился огонь. Правверные последователи его справедливо гордятся тем, что он сам мог починить свою обувь, положить заплату на плащ. Человек бедный, упорно трудящийся, нимало не заботящийся о том, на что обыкновенные люди полагают столько труда. Нет, это вовсе не низкий человек, сказал бы я; в нем было нечто поблагодороднее, чем *алчность* какого бы то ни было рода, или иначе эти дикие арабы, толпившиеся вокруг него и сражавшиеся под его предводительством в течение двадцати трех лет, находившиеся постоянно в тесном общении с ним, не могли бы так благоговеть перед ним! Люди дикие, они то и дело вступали в распри между собою и обнаруживали во всех делах свирепую искренность; не мог человек, лишенный истинного достоинства и мужества, повелевать такими людьми. Они называли его пророком, говорите вы? Так, а между тем он стоял лицом к лицу к ним, ничем не прикрываясь, не окружая себя таинственностью; на виду у всех он клал заплату на свой плащ, чинил свою обувь, сражался, давал советы, приказывал; они, конечно, видели, что это *был* за человек, как бы вы его ни *называли!* Ни одному императору с тиарой на голове не подчинялись так слепо, как этому человеку в плаще, зачиненном его собственными руками. И это суровое испытание длилось в течение двадцати трех лет. Я полагаю, что нужно обладать в некоторой мере истинным героизмом, чтобы выдержать такое испытание; само собою разумеется, что это так.

Последними словами Магомета была молитва, бессвязное излияние сердца, рвущегося с трепетной надеждой к своему Создателю. Мы не можем сказать, что его религия сделала его *хуже*; она сделала его лучше; она сделала его хорошим, а не низким. Существуют рассказы о его благородном поведении. Когда его известили о смерти дочери, он сказал совершенно искренне, выражаясь лишь по-своему, буквально то же, что говорили в подобных случаях христиане: "Господь дал, Господь взял; да будет благословенно имя Господне". Подобным же образом он ответил и на весть о смерти Сеида, его возлюбленного освобожденного раба, второго человека, уверовавшего в него. Сеид был убит в Табукской войне\*, в первом сражении Магомета с греками. Магомет сказал, что это было хорошо: Сеид совершил дело своего Господина; Сеид отправился тедерь к своему Господину; все хорошо было для Сеида. Однако дочь Сеида застала его рыдающим над трупом: старец, убеленный сединами, заливался слезами. "Что вижу я?" — воскликнула она. "Ты видишь человека, оплакивающего своего друга". За два дня до смерти он вышел из дому в последний раз и, придя в мечеть, спросил всенародно, не обидел ли он кого-нибудь? Пусть в таком случае отстегают его по спине бичом. Не должен ли он кому-нибудь? Тут послышался голос: "Да, мне три драхмы", взятые при таких-то обстоятельствах. Магомет приказал заплатить. "Лучше быть опозоренным теперь, — сказал он, — чем в день всеобщего суда". Вы помните Хадиджу и это "нет, клянусь Аллахом!". Все эти эпизоды рисуют нам человека искреннего, нашего общего брата, которого мы понимаем по простовиин двенадцати столетий, — истинного сына нашей общей матери.

Кроме того, я люблю Магомета за то, что в нем не было ни малейшего ханжества. Он, неотесанный сын пустыни, полагался только на самого себя; он не претендовал на то, чем не был на самом деле. В нем вы не замечаете ни малейшего следа тщеславной гордыни; но вместе с тем он и не заходит слишком далеко в своей покорности, он всегда таков, какой есть на самом деле, в плаще и обуви, зачиненных собственными руками; он высказывает откровенно всяким персидским царям, греческим императорам то, что они обязаны делать; относительно же самого себя — он знает достаточно хорошо "цену самому себе". Война не на жизнь, а на смерть с бедуинами не могла обойтись без жестокостей, но не было также недостатка и в актах милосердия, в благородной неподдельной жалости, в великодушии. Магомет не прибегал к апологии одних, не хвастался другими. И те и другие вытекали из свободного внушения его сердца; и те и другие вызывались, смотря по обстоятельствам места и времени. Это отнюдь не сладкоречивый человек! Он поступает с открытою жестокостью, когда обстоятельства требуют того; он не смягчает красок, не замазывает глаз! Он часто возвращается к Табукской войне; его приверженцы, по крайней мере многие из них, отказались следовать за ним; они указывали на зной, паливший в ту пору, на подоспевшую жатву и т. д.; он никогда не мог простить им этого. Ваша жатва? Она продолжается всего лишь один день. Что станет с вашей жатвою через целую вечность? Знойная пора? Да, был зной; "но в аду будет еще жарче!" Иногда в словах его слышится грубый сарказм. Обращаясь к неверным, он говорит: в тот великий день ваши деяния будут вымерены, конечно, справедливой мерой; они не будут взвешены в ущерб вам; вы не будете иметь малого веса. Повсюду он устремляет свой взгляд на суть вещей, он *видит* ее; временами пораженное сердце его как бы замирает в виду величия открывающейся перед ним картины. "Воистину", — говорит он; это слово само по себе означает иногда в Коране целую мысль. "Воистину".

В Магомете нет и следа *дилетантизма*; он занят делом ниспровержения и спасения, делом времени и вечности, и он исполняет его со смертельною серьезностью. Дилетантизм, предположительность, спекулирование и всякого рода любительское искательство истины, игра и кокетничанье с истиной — это самый тяжкий грех, мать всевозможных других грехов. Он заключается в том, что сердце и душа человека никогда не бывают *открыты* для истины. Человек "живет в суетной внешности". Такой человек не только сочиняет и утверждает ложь, но сам по себе *есть* ложь. Разумное нравственное начало, божественная искра, уходит глубоко внутрь и повергается в состояние полного паралича, превращаясь в живую смерть. В самой последней лжи Магомета больше истины, чем в истине подобного человека. Это — неискренний человек; это — гладко отшлифованный человек, уважаемый при известных условиях времени и места; безобидный, он никому не говорит жестоких слов; совершенно *чистый*, как углекислота, которая вместе с тем — яд и смерть.

Мы не станем восхвалять нравственных предписаний Магомета и выставлять их лишь как самые возвышенные; однако можно сказать, что им всегда присуща хорошая тенденция, что они действительно

представляют предписания сердца, стремящегося к справедливому и истинному. Вы не найдете здесь возвышенного христианского всепрощения, предписывающего подставлять правую щеку, когда вас ударят по левой; вы *должны* отомстить за себя, но вы должны делать это в меру, без излишней жестокости, не переходя за пределы справедливости. С другой стороны, ислам, как всякая великая религия, как всякое проникновение в сущность человеческой природы, ставит действительно на одну доску всех людей: душа одного верующего значит более, чем все земное величие царей; все люди, по исламу, равны. Магомет настаивает не на благопристойности подавать милостыню, а на необходимости поступать так; он устанавливает особым законом, сколько именно вы должны подавать из своих достатков, и вы действуете на свой страх, если пренебрегаете этой обязанностью. Десятая часть ежегодного дохода всякого человека, как бы ни был велик этот доход, составляет *собственность* бедных, немощных и вообще тех, кто нуждается в поддержке. Прекрасно все это: *так* говорит неподдельный голос человечности, жалости и равенства, исходящий из сердца дикого сына природы.

Рай Магомета исполнен чувственности, ад также — это правда; и в том, и в другом немало такого, что неприятно действует на нашу религиозную нравственность. Но мы должны напомнить, что все эти представления о рае и аде существовали среди арабов до Магомета, что последний только смягчил и ослабил их, насколько то было возможно. Чувственность в ее самом худшем виде была также делом не его лично, а его учеников, последующих ученых. Действительно, в Коране говорится очень немного относительно радостей, ожидающих человека в раю; здесь скорее только намекается на них, чем определенно указывается. Коран не забывает, что величайшие радости и в раю также будут иметь духовный характер: простое лицемерие Высочайшего — вот радость, которая будет бесконечно превосходить всякие другие. Магомет говорит: "Вашим приветствием пусть будет мир!" Salam — мир вам! Все разумные души жаждут и ищут его как благословения, хотя поиски их оказываются тщетными здесь, на земле. "Вы будете сидеть на седалищах, с обращенными друг к другу лицами; всякая злоба будет изгнана из ваших сердец". Всякая злоба!.. Вы будете любить друг друга свободно, без принуждения; для каждого из вас, в глазах ваших братьев, достаточно будет места там, на небе!

Относительно вопроса о чувственном рае и о чувственности Магомета, представляющего самый затруднительный пункт для нас, следовало бы сказать многое, в обсуждение чего мы не можем, однако, войти в настоящее время. Я сделаю лишь два замечания и затем предоставлю все дело вашему собственному беспристрастию. Для первого я воспользуюсь Гёте, одним его случайным намеком, который заслуживает серьезнейшего внимания. В "*Странствиях Мейстера*" герой наталкивается на сообщество людей с крайне странными правилами жизни, состоявшими между прочим в следующем: "Мы требуем, — рассказывает учитель, — чтобы каждый из принадлежащих к нам ограничивал сам себя в каком-либо отношении", шел бы решительно против своих желаний в известной мере и *заставлял бы* себя делать то, чего он не желает, — если он хочет, "чтобы мы разрешили ему большую свободу во всех других

отношениях”\*. Мне кажется, что это правило в высшей степени справедливо. Наслаждаться тем, что приятно, — в этом нет ничего преступного; скверно, если мы даем наслаждениям поработить наше моральное я. Пусть человек покажет вместе с тем, что он господин над своими привычками, что он может и хочет быть выше их, всякий раз как это потребуется. Это — превосходное правило. Месяц рамазан, как в религии Магомета, так и в его личной жизни, носит именно такой характер если не по глубоко продуманной и ясно сознанный цели морального самоусовершенствования, то по известному здоровому, мужественному инстинкту, представляющему также не последнее дело.

Но относительно магометанского неба и ада следует сказать еще вот что. Как бы грубы и материалистичны ни казались эти представления, они служат эмблемой возвышенной истины, которую не многие другие книги так хорошо напоминают людям, как Коран. Этот грубый чувственный рай, этот страшный пылающий ад, великий чудовищный день судилища, на котором он постоянно так настаивает, — что все это, как не грубое отражение в воображении грубого бедуина духовного факта громадной важности, изначального факта, именно: бесконечной природы долга? Что деяния человека здесь, на земле, имеют *бесконечно* важное значение для него, что они никогда не умирают и не исчезают, что человек в своей короткой жизни то подымается вверх до самых небес, то опускается вниз в самый ад и в своих шестидесяти годах жизни держит страшным и удивительным образом сокрытую вечность — все это как бы огненными буквами выжжено в душе дикого араба. Все это начертано там как бы пламенем и молнией — страшное, невыразимое, вечно предстоящее перед ним. С бурной страстностью, с дикой непреклонной искренностью, полутчеканивая свои мысли, не будучи в состоянии отчеканить их вполне, он пытается высказать, воплотить их в этом небе, в этом аде. Воплощенные в любой форме, они говорят нам о главнейшей из всех истин; они заслуживают уважения под всевозможными оболочками. Что составляет главную цель человека здесь, на земле? Ответ Магомета на этот вопрос может пристыдить многих из нас! Он не берет, подобно Бентаму, справедливое и несправедливое, не высчитывает барышей и потерь, наибольшего удовольствия, доставляемого тем или другим, и, приведя все это путем сложения и вычитания к окончательному результату, не спрашивает вас, — не перевешивает ли значительно в общем итоге справедливое? Нет, дело вовсе не в том, что *лучше* делать одно, чем делать другое: одно по отношению к другому все равно что жизнь по отношению к смерти, что небо по отношению к аду. Одно никоим образом не следует делать, другое никоим образом не следует оставлять несделанным. Вы не должны измерять правды и неправды: они несоизмеримы; одно — вечная жизнь для человека; другое — вечная смерть. Бентамовская польза, добродетель сообразно выгоде и потере\* низводит этот Божий мир к мертвенной, бесчувственной паровой машине, необъятную небесную душу человека — к своего рода весам для взвешивания сена и чертополоха, удовольствий и страданий. Если вы спросите меня, кто из них, Магомет или указанные философы, проповедуют более жалкий и более лживый взгляд на человека и его назначение в этом мире, то я отвечу: во всяком случае, не Магомет!..



В заключение повторяем: религия Магомета представляет собой своеобразную побочную ветвь христианства; ей присущ элемент подлинного; несмотря на все ее недостатки, в ней просвечивается наивысшая и глубочайшая истина. Скандинавский бог Уиш, бог всех первобытных людей, разросся у Магомета в целое небо, но в небо, символизирующее собою священный долг и доступное лишь для тех, кто заслуживает его верою и добрыми делами, мужественною жизнью и божественным терпением, которое свидетельствует, в сущности, лишь о еще большем мужестве. Эта религия — то же скандинавское язычество с прибавлением истинно небесного элемента. Не называйте ее ложной, не выискивайте в ней лжи, а останавливайте ваше внимание на том, что есть в ней истинного. В течение истекших двенадцати столетий она была религией и руководила жизнью пятой части всего человечества. Но что важнее всего, она была религией, действительно *исповедуемой* людьми в глубине сердца. Эти арабы верили в свою религию и стремились жить по ней! После первых веков мы не встречаем на протяжении всей истории, исключая разве английских пуритан в новейшие времена, таких христиан, которые стояли бы так же непоколебимо за свою веру, как мусульмане, так же всецело веровали бы и, вдохновляясь ею, бесстрашно становились бы лицом к лицу со временем и вечностью. И в эту ночь дозорный на улицах Каира на свой окрик: "Кто идет?" — услышит от прохожего слова: "Нет Бога, кроме Бога [Аллаха]". Allah akbar, Islam — слова эти находят отзвук в душах миллионов этих смуглых людей, в каждую минуту их повседневного существования. Ревностные миссионеры проповедуют их среди малайцев, черных папуасов, звериных идолопоклонников, заменяя, таким образом, худшее, можно сказать, полную пустоту, лучшим, хорошим.

Для арабского народа эта религия была как бы возрождением от тьмы к свету; благодаря ей Аравия впервые начала жить. Бедный пастушеский народ, никому не ведомый, скитался в своей пустыне с самого сотворения мира; герой-пророк был ниспослан к нему со словом, в которое он мог уверовать. Смотрите: неведомое приобретает мировую известность; малое становится всесветно великим; менее чем через столетие Аравия достигает уже Гранады с одной стороны и Дели — с другой; сияя доблестью, блеском и светом гения, Аравия светит в течение долгих веков на громадном пространстве земного шара. Вера — великое дело: она дает жизнь. История всякого народа становится богатой событиями, великой, она приподымает душу, как только народ уверует. Эти арабы, этот Магомет-человек, это одно столетие, — не является ли все это как бы искрой, одной искрой, упавшей на черный, не заслуживавший, как казалось, до тех пор никакого внимания песок; но смотрите, песок оказывается взрывчатым веществом, порохом, и он воспламеняется, и пламя вздымается к небу от Дели до Гранады! Я сказал: великий человек является всегда точно молния с неба; остальные люди ожидают его, подобно горючему веществу, и затем также воспламеняются.

## Беседа третья

### ГЕРОЙ КАК ПОЭТ. ДАНТЕ. ШЕКСПИР

Герои-боги, герои-пророки суть продукты древних веков; эти формы героизма не могут более иметь места в последующие времена. Они существуют при известной примитивности человеческого понимания, но прогресс чистого научного знания делает их невозможными. Необходим мир, так сказать, свободный или почти свободный от всяких научных форм; для того чтобы люди в своем восхищенном удивлении могли представить подобного себе человека в виде бога или в виде человека, устами которого говорит сам Бог. Бог и пророк — это достояние прошлого. Теперь герои являются перед нами в менее притязательной, но вместе с тем и менее спорной, непреходящей форме: в виде поэта. Поэт как героическая фигура принадлежит всем векам; все века владеют им, раз он появится. Новейшее время может породить своего героя, подобно древнейшему, и порождает всякий раз, когда то угодно природе. Пусть только природа пошлет героическую душу, и она может воплотиться в образе поэта ныне, как и во всякое другое время.

Герой, пророк, поэт и многие другие названия даем мы в разные времена и при разных обстоятельствах великим людям, смотря по отличительным особенностям, подмечаемым нами у них, смотря по сфере, в которой они проявляют себя! Руководствуясь одним этим обстоятельством, мы могли бы дать им еще гораздо больше разных названий. Но я снова повторяю, поскольку это факт, заслуживающий внимания, что подобное разнообразие порождается разнообразием *сфер*, что герой может быть поэтом, пророком, королем, пастырем или чем вам угодно, в зависимости от того, в каких условиях он рождается. Скажу прямо, я не могу вовсе представить себе, чтобы истинно великий человек в одном отношении не мог быть таким же великим и во *всяком* другом. Поэт, который может только сидеть в кресле и слагать стансы, никогда не создаст ни одной ценной строфы. Поэт не может воспевать героя-воина, если он сам, по меньшей мере, также не воин-герой. Мне представляется, что поэт в то же время и политик, и мыслитель, и законодатель, и философ, что он в той или иной степени может быть всем этим, что он в действительности есть все это! Точно так же я не допускаю, чтобы Мирабо, это великое пылкое сердце, таившее в себе огонь и неукротимые рыдания, — чтобы он не мог писать стихов, трагедий, поэм и трогать своими произведениями сердца людей, если бы

обстоятельства жизни и воспитание привели его к тому. Главная, основная особенность всякого великого человека в том, что он велик. Наполеон знал слова, которые можно приравнять к Аустерлицким битвам. Маршалы Людовика XIV были до известной степени также и поэтами; речи Тюрена полны мудрости и жизненной силы, подобно изречениям Сэмюэла Джонсона. Великое сердце, ясный, глубоко проникающий глаз: все в этом, без них человек, работая в какой угодно сфере, не может *достигнуть* ни малейшего успеха. Говорят, что Петрарка и Боккаччо исполняли вполне успешно возлагаемые на них дипломатические поручения; всякий легко может поверить этому: они ведь совершали дела и немного потяжелее дипломатических!.. Бёрнс, богато одаренный певец, мог бы явить нам собою даже лучшего Мирабо; Шекспир — никто не скажет, чего бы *он* не мог сделать и сделать притом самым наилучшим образом.

Конечно, существуют также и природные наклонности. Природа не создает всех великих людей, как вообще всех людей, по одному и тому же шаблону. Разнообразие наклонностей — несомненно; но бесконечно больше еще разнообразие обстоятельств, и гораздо чаще нам приходится иметь дело именно с этим *последним* разнообразием. Здесь повторяется то же, что и с обыкновенным человеком при обучении его ремеслу. Вы берете человека, у которого способности не обнаружались еще резким и определенным образом и который может обучаться с одинаковым успехом тому или другому ремеслу, и делаете из него кузнеца, столяра, каменщика; с этих пор он становится уже тем или другим, и никем более. И если вы, как замечает Аддисон с чувством сожаления, поставите рядом уличного носильщика, пошатывающегося на тонких ногах под тяжестью своей ноши, с портным, по своему телосложению напоминающим Самсона, знающего лишь кусок сукна и маленькую уайтчепельскую\* иглу, то вам не придется долго размышлять о том, действовали ли в данном случае одни только природные наклонности! С великим человеком происходит то же. Вопрос в том, в какого рода науку будет отдан он? Герой дан, — должен ли он стать завоевателем, королем, философом, поэтом? Это явится результатом невыразимо сложных и спорных расчетов между миром и героем. Он станет читать мир и его законы; мир со своими законами будет перед ним, чтобы быть прочитанным. То, чему мир в *этом* деле даст совершиться, что он признает, составляет, как мы сказали, самый важный по отношению к миру факт.

Поэт и пророк, при нашем современном опошленном понимании их, представляются весьма различными. Но в некоторых древних языках эти два титула составляют синонимы: *vates\** означает и пророка и поэта. И действительно, во все времена пророк и поэт, надлежащим образом понимаемые, имеют много родственного по своему значению. В основе они действительно и до сих пор одно и то же: оба они проникают в священную тайну природы, проникают в то, что Гёте называет "*открыто лежащим на виду у всех секретом*", а это и есть самое главное. В чем же, спросят, состоит этот великий секрет? Это — "*лежащий на виду у всех секрет*" — открыто лежащий для всех, но почти никем не видимый, — божественная тайна, которою проникнуто все, все существа, "божественная идея мира, лежащая в основе всей видимости", как

выражается Фихте; идея, для которой всякого рода внешние проявления, начиная от звездного неба и до полевой былинки, и в особенности человек и его работа, составляют только *обличие*, воплощение, делающее ее видимой. Эта божественная тайна *существует* во все времена и во всяком месте. Конечно, существует! Но чаще всего ее грубым образом не замечают, и мир, определяемый всегда в тех или иных выражениях, как реализованная мысль Господа, принимается за какую-то банальную, плоскую, инертную материю, все равно как если бы, говорит сатирик, он был мертвою вещью, которую обладал какой-то меблировщик! В настоящее время, быть может, неуместно было бы *говорить* слишком много по этому поводу; но достоин жалости тот, кто не понимает этого, кто не живет постоянно мыслью об этом. Достоин, повторяю, самой прискорбной жалости: ведь, если мы живем иначе, так это — прямое свидетельство полного отсутствия в нас всякой жизни вообще!

Пусть другие забывают эту божественную тайну, но vates, говорю я, в виде ли пророка или поэта, проникает в нее. Он является человеком, ниспосылаемым на землю, чтобы сделать истину более понятной для нас. Такова всегда его миссия; он должен открыть нам ее, эту священную тайну, присутствие которой он ощущает сильнее, чем всякий другой. В то время как другие не думают о ней, он знает ее; я мог бы сказать: он вынужден знать; для этого не требуется никакого согласия с *его* стороны: он находит, что живет ею, принужден жить ею. Еще раз нам приходится иметь дело не с какими-нибудь ходячими фразами, а с непосредственным прозрением и верованием. Подобный человек также не может заставить себя быть неискренним! Всякий другой может жить среди призраков, но для него по самой силе вещей необходимо жить в самой действительности. Еще раз мы имеем дело с человеком, серьезно относящимся к миру, тогда как все другие лишь забавляются им. Он — vates, прежде всего в силу того, что он — искренний человек. В этом отношении поэт и пророк, которым одинаково доступна "открыто лежащая тайна", представляют собою одно и то же.

Что же касается их различия, то мы можем сказать: vates-пророк схватывает священную тайну скорее с ее моральной стороны, как добро и зло, долг и запрет; vates-поэт — с ее эстетической стороны, выражаясь языком немцев, как красоту и т. п. Один раскрывает нам то, что мы должны делать, другой то, что мы должны любить. Но в действительности эти две сферы входят одна в другую и не могут быть разъединены. Пророк также устремляет свой взор на то, что мы должны любить; иначе как бы он мог знать то, что мы должны делать? Возвышеннейший голос, какой только люди когда-либо слышали на этой земле, сказал: "Посмотрите на полевые лилии... они не трудятся и не прядут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них"\*". Это — луч, брошенный в самую глубину глубин красоты. "Полевые лилии" одеты прекраснее, чем земные повелители: они произрастают там, в неведомой полевой борозде — прекрасный *глаз*, глядящий на вас из глубины необъятного моря красоты! Разве могла бы грубая земля произвести их, если бы сущность ее при всей своей видимой внешней грубости не представляла внутренней красоты? С этой точки зрения

следующие слова Гёте, поражающие многих, могут иметь также свое значение. "Прекрасное, — говорит он, — выше, чем доброе; прекрасное включает в себе доброе". *Истинное* прекрасное, которое, однако, как я сказал в одном месте, "отличается от *фальшивого*, как небо от свода, возведенного руками человеческими". Сказанным я и ограничусь относительно различия и сходства между поэтом и пророком.

В древние времена, равно как и в новые, мы находим немногих поэтов, которых люди признавали бы за вполне совершенные образцы, отыскивать ошибки у которых считалось бы своего рода изменой, — обстоятельство, заслуживающее внимания; это — хорошо; однако, строго говоря, это — одна лишь иллюзия. В действительности, что достаточно ясно для каждого, не существует абсолютно совершенного поэта. Поэтическую жилку можно отыскать в сердце каждого человека, но нет ни одного человека, созданного исключительно из поэзии. Мы все поэты, когда *читаем* хорошо какую-либо поэму. Разве "воображение, содрогающееся от Дантова ада" не представляет такой же способности, лишь в более слабой степени, как и воображение самого Данте? Никто не в состоянии из рассказа Саксона Грамматика создать *Гамлета*, как это сделал Шекспир; но каждый может составить себе по этому рассказу известное представление; каждый, худо ли, хорошо ли, воплощает это представление в известном образе. Мы не станем терять времени на разные определения. Там, где нет никакого специфического различия, как между круглым и четырехугольным, всякие определения неизбежно будут носить более или менее произвольный характер. Человек с поэтическим дарованием, настолько развитым, чтобы стать заметным для других, будет считаться окружающими людьми поэтом. Таким же образом устанавливается критиками и известность мировых поэтов, которых мы должны считать совершенными поэтами. Всякий, подымающийся *на столько-то* выше общего уровня поэтов, будет казаться таким-то и таким-то критикам универсальным поэтом, как он и должен казаться. И однако, это произвольное различие, и таким оно неизбежно должно быть. Все поэты, все люди причастны до известной степени началу универсальности, но нет ни одного человека, всецело сотканного из этого начала. Большинство поэтов погибает очень скоро в забвении, но и самый знаменитый из них, Шекспир или Гомер, не будет *вечно* памятен: настанет день, когда и он также перестанет жить в памяти людей!

Тем не менее, скажете вы, должно же быть различие между истинной поэзией и истинной непоэтической речью; в чем же состоит оно? По этому поводу было высказано много разных мыслей, в особенности позднейшими немецкими критиками, но из этого многого не все, однако, достаточно понятно с первого взгляда. Они говорят, например, что поэт носит в себе *бесконечность*, что он сообщает Unendlichkeit, известный оттенок "бесконечности" всему, что пишет. Хотя эта мысль и недостаточно ясна, однако она заслуживает нашего внимания в вопросе вообще столь темном; если мы вдумаемся хорошенько, то нам постепенно станет раскрываться некоторый смысл, заключающийся в ней. Я, со своей стороны, нахожу большой смысл в старинном вульгарном определении, что поэтическое произведение это — *метрическое* произведение, что поэзия включает в себе музыку, что она есть пение. В самом деле,

всякий, пытающийся дать определение поэзии, может остановиться на указываемом нами с таким же правом, как и на всяком другом; если произведение подлинно *музыкально*, музыкально не только по сочетанию слов, но и в самом сердце, в самой сущности своей, во всех мыслях и выражениях, вообще по всей своей концепции, — в таком случае оно будет поэтическим произведением; если нет, то оно не будет таковым. "Музыкально" — как много заключает в себе это слово! *Музыкальная мысль* — это мысль, высказанная умом, проникающим в самую-суть вещей, вскрывающим самую затаенную тайну их, именно — *мелодию*, которая лежит сокрытая в них, улавливающим внутреннюю гармонию единства, что составляет душу всего сущего, — составляет то, чем всякая вещь живет и благодаря чему она имеет право существовать здесь, в этом мире. Все исходящее из глубины души мы можем считать, мелодичным, и все это естественно выливается в пение. Пение имеет глубокий смысл. Кто сумеет выразить логическим образом действие, производимое на нас музыкой? Лишенная членораздельных звуков, из какой-то бездонной глубины исходящая речь, которая увлекает нас на край бесконечности и держит здесь несколько мгновений, чтобы мы заглянули в нее!

Мало того, всякой речи, даже самой шаблонной речи, свойствен до некоторой степени характер пения: нет в мире такого прихода, жители которого не имели бы своего особенного приходского происхождения — ритма или *тона*, которым они *поют* то, что хотят сказать! Выговор есть своего рода пение; выговор всякого человека представляет известную особенность, хотя человек *замечает* обыкновенно только выговор других людей. Обратите внимание также, как всякая страстная речь становится сама собой музыкальной, превращается в уточненную музыку в сравнении с простой разговорной речью; даже речь человека, находящегося в страшном гневе, становится пением, песнью. Все глубокое представляет, в сущности, пение. Оно, пение, составляет, по-видимому, самую сконцентрированную эссенцию нашего существа, а все остальное как бы, одну лишь оберточную бумагу и шелуху! Оно — первоначальный элемент нашего существования и всего прочего. Греки сочинили фантазию о гармонии сфер; фантазия эта выражает чувство, которое испытывали они, заглядывая во внутреннее строение природы; она показывает, что душу всех их голосов, всех их способов выражения составляла музыка. Итак, под поэзией мы будем понимать *музыкальную мысль*. Поэт тот, кто *думает* музыкальным образом. В сущности, все зависит опять-таки от силы интеллекта; искренность и глубина прозревания делают человека поэтом. Проникайте в вещи достаточно глубоко, и перед вами откроются музыкальные сочетания; сердце природы *окажется* во всех отношениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до него.

Vates-поэт, со своим мелодическим откровением природы, пользуется, по-видимому, не особенно завидным положением среди нас в сравнении с vates-пророком; дело, которое он делает, и тот почет, который мы воздаем ему за его дело, представляются также, по-видимому, незначительными. Некогда героя считали богом; позже героя стали считать пророком; затем героя начинают считать всего лишь поэтом, — не

следует ли отсюда, что великий человек в нашей оценке как бы постепенно, эпоха за эпохой, убывает? Мы принимаем его сначала за Бога, затем за человека, Богом вдохновенного; а затем в последующую фазу самое дивное его слово вызывает с нашей стороны лишь признание, что он — поэт, прекрасный мастер стиха, гениальный человек и т. п.! В таком виде представляется вообще наше отношение к герою, но мне кажется, что в действительности это не так. Если мы всмотримся попристальнее, то, быть может, убедимся, что человек и в настоящее время относится с *таким же* совершенно особенным удивлением к героическому дарованию, как бы мы его ни называли, с каким он относился и во всякое другое время.

Если мы не считаем великого человека буквально божеством, то это потому, что наши понятия о Боге, как высшем недостижимом первоисточнике света, мудрости, героизма, становятся все *возвышеннее*, а вовсе не потому, что наша признательность за подобного рода дарование, обнаруживающееся у людей, падает все ниже и ниже. Об этом стоит подумать. Скептический дилетантизм, это проклятие настоящей эпохи, — проклятие, которое не будет же тяготеть вечно над нами, действительно неуклонно совершает свое печальное дело и в этой высочайшей сфере человеческого существования, и наше почитание великих людей, совершенно искаженное, затемненное, парализованное, представляется нам жалким, едва узнаваемым. Люди поклоняются внешнему в великих людях, большинство не верит, чтобы в них было на самом деле нечто такое, перед чем следовало бы преклониться. Самое ужасающее, фатальнейшее верование! Каждый, исповедующий его, должен дойти буквально до полного разочарования в человечестве. И однако, вспомните, например, Наполеона! Корсиканский лейтенант артиллерии — таково внешнее его обличье; тем не менее не повиновались ли ему, не *поклонялись ли* ему на особый, конечно, лад? Все тиары и диадемы мира, взятые вместе, не могли добиться такого почитания! Благородные герцогини и конюхи с постоянных дворов собираются вокруг шотландского крестьянина Бёрнса; какое-то странное чувство подсказывает каждому из них, что они никогда не слышали человека, подобного ему, что это вообще — *человек*! В глубине сердца все эти люди чувствуют, хотя и смутным образом, так как в настоящее время не существует общепризнанного пути для выражения подобного состояния, чувствуют, говорю я, помимо даже воли, что этот крестьянин со своими черными бровями и сияющими, подобно солнцу, глазами, говорящий удивительнейшие речи, вызывающий смех и слезы, стоит по своему достоинству выше всех других, что его нельзя сравнивать ни с кем другим. Не чувствуем ли и мы того же? А если бы теперь дилетантизм, скептицизм, пошлость и все это жалкое исчадие было отброшено прочь — что и случится в один прекрасный день при помощи Божьей, — если бы вера во все кажущееся была отброшена совершенно и заменена светлой верой в *действительность*, так что человек действовал бы только по одному импульсу такой веры и считал бы все прочее несуществующим, — какое бы тогда новое и более жизненное чувство пробудилось у нас к этому самому Бёрнсу!..

Однако разве мы не можем даже и в эпохи, подобные нашей, указать на двух истинных поэтов, если не обоготворяемых, то, во всяком случае,

причисляемых к лику святых? Шекспир и Данте — это святые поэзии, поистине *канонизированные*, так что считается даже нечестным прикасаться к ним. Всеобщий инстинкт, никем не руководимый, идущий своим путем, несмотря на всяческие помехи и препятствия, привел к этому. Данте и Шекспир составляют исключительную пару. Они стоят отдельно, в своего рода царском уединении; нет никого равного им, нет преемника им: известный трансцендентализм, слава, венчающая полное совершенство, осеняет их в общем сознании всего мира. Они канонизированы, хотя ни папа, ни кардиналы не принимали в том никакого участия! Такова еще до сих пор, несмотря на все противодействующие влияния, несмотря на это отнюдь не героическое время, нерушимая сила нашего поклонения героизму. Я остановлю несколько ваше внимание на этой паре, поэте Данте и поэте Шекспире, и, таким образом, то небольшое, что я могу сказать здесь о герое как поэте, найдет для себя самое подходящее истолкование.

Немало томов было написано по поводу жизни Данте и его книги; но в общем результаты получились не особенно значительные. Биография Данте остается, так сказать, безвозвратно потерянной для нас. Человек невидный, скитающийся с места на место, удрученный скорбью, он за время своей жизни не обращал на себя особенного внимания, да и из того, что знали о нем, большая часть растеряна в этот длинный промежуток времени, отделяющий его от нас. Прошло уже пять столетий с тех пор, как он перестал писать, как он умер. Все комментаторы соглашаются, что книга его сама по себе составляет самое существенное, что мы знаем о нем самом; книга и, можно прибавить еще, портрет, приписываемый обыкновенно Джотто; кто бы ни писал его, но достаточно взглянуть, чтобы тотчас же сказать, что это, должно быть, подлинно верный портрет\*. Лицо, нарисованное на этом портрете, производит на меня крайне сильное впечатление; это, быть может, самое трогательное из всех лиц, какие я только знаю. Уединенное, нарисованное как бы в безвоздушном пространстве, с простым лавром вокруг головы; бессмертная скорбь и страдание; изведенная победа, которая также бессмертна; вся жизнь Данте отражается здесь! Я думаю, что это самое грустное лицо, какое только когда-либо было срисовано с живого человека; в полном смысле слова трагическое, трогательное сердце лицо. Мягкость, нежность, кроткая привязанность ребенка составляют как бы его фон; но все это застывает в противоречии, в отрицании, в отчужденности, в гордом безысходном страдании. Кроткая, эфирная душа смотрит на вас так сурово, непримиримо, резко, нелюдимо, точно заточенная в толстую глыбу льда! Вместе с тем это страдание молчаливое, молчаливое и презрительное: изгиб губ говорит о божественном равнодушии к тому, что грызет сердце, как к чему-то ничтожному, не стоящему внимания, и указывает, что тот, кого оно имеет силу мучить и душить, выше страдания. Это — лицо человека, протестующего до конца, борющегося всю свою жизнь против целого мира и не сдающегося. Любовь превращается в негодование, в негодование непримиримое — спокойное, неизменное, молчаливое, подобное негодованию Бога! Глаз — он также смотрит с некоторого рода *недоумением*, вопросительно: почему мир таков? Это — Данте. Так он глядит, этот "голос десяти молчаливых веков", и так он поет "свою мистическую неисповедимую песнь".



Немногие известные нам данные о жизни Данте подтверждают вполне то, о чем говорят этот его портрет и его книга. Он родился во Флоренции в 1265 году и по рождению своему принадлежал к высшему классу общества. Образование, полученное им, было самое лучшее по тогдашним временам; теология, аристотелевская логика, некоторые латинские классики проходились тогда в большом объеме, — все это давало немалый запас знания в известных областях мысли; и Данте, при его способностях и серьезности, мы не можем в этом сомневаться, усвоил себе, конечно, лучше, чем большинство, все то, что надлежало усвоить в означенных предметах. Он отличался ясным и развитым пониманием и большой проницательностью; таков был наилучший результат, который он сумел извлечь из изучения схоластиков. Он знал хорошо и обстоятельно все, что окружало его; но в то время, в которое ему пришлось жить, когда не было книгопечатания и свободных сношений, он не мог знать хорошо того, что находилось от него на известном расстоянии: маленький ясный светоч, превосходно освещавший окружающие предметы, тускнел и превращался в особого рода *chiagoscuro\**, когда ему приходилось бросать свои лучи на отдаленные пространства. Таковы были познания, вынесенные Данте из школы. В жизни поэт прошел обычные ступени: он участвовал, как солдат, в двух военных кампаниях и защищал флорентийское государство, принимал участие в посольстве и на тридцать пятом году, благодаря своим талантам и службе, достиг видного положения в городском управлении Флоренции. Еще в детстве он встретился с некоею Беатриче Портинали, прелестной маленькой девочкой, одних с ним лет, принадлежавшей к одному с ним общественному классу; с этих пор он рос, питая к ней особенное расположение и встречаясь с нею время от времени. Всякому читателю известен его прекрасный, исполненный любви рассказ об этой истории, и как их затем разлучили, как она была выдана замуж за другого, и как вскоре затем умерла. В Дантовой поэме она занимает видное место; по-видимому, она играла видную роль и в его жизни. По-видимому, ее одну из всех существ, несмотря на то, что они были разлучены, несмотря на то, что она исчезла для него в непроглядной вечности, он любил всею силою своей страстной любви. Она умерла; Данте женился; но нельзя сказать чтобы счастливо, далеко не так. Совсем нелегко было, как представляется мне, сделать счастливым этого строгого, серьезного человека с крайне впечатлительной натурой.

Мы не станем соболезновать о несчастьях, выпавших на долю Данте; если бы в жизни все шло так хорошо для него, как он желал, то, быть может, он был бы приором или подеста во Флоренции или кем-либо в этом роде и пользовался бы симпатиями своих сограждан, но мир не услышал бы замечательнейшего слова, какое только когда-либо было сказано или пропето. Флоренция имела бы еще одного городского голову-благодетеля; десять же безгласных веков так и остались бы в своей немоте, а десять следующих немлющих веков (так как их будет десять и более) не услышали бы *"Божественной комедии"*! Мы не станем ни о чем сожалеть. Данте ожидала более благородная участь; и он, борясь, как человек, которого ведут на распятие и смерть, не мог не исполнить своего предназначения. Предоставим ему выбор своего сча-

стья! Да, он знал не больше нас, что такое действительное счастье и что такое действительное несчастье.

Во время приорства\* Данте раздор между гвельфами и гибеллинами, между черными и белыми или, быть может, какие-либо другие волнения разыгрались с такою силою, что Данте, партия которого, казалось, до сих пор была сильнее других, попал неожиданно вместе с своими друзьями в изгнание и с этих пор осужден был на скитальческую, исполненную горя жизнь. Все имущество его подверглось конфискации. Он был возмущен до крайней степени, сознавая всю несправедливость такого обхождения с ним; всю гнусность его перед лицом Бога и людей. Он испробовал все, что только мог, чтобы добиться восстановления своих прав; пытался достигнуть этого даже с оружием в руках, но безуспешно: положение его лишь ухудшилось. Во флорентийских архивах сохранился, я думаю, до сих пор еще приговор, осуждающий Данте, где бы он ни был схвачен, на сожжение живьем. Сожжение живьем — так там, говорят, и написано. Весьма любопытный исторический документ. Другой интересный документ, относящийся к более позднему времени, представляет письмо Данте к флорентийским городским властям, написанное в ответ на их уже более мягкое предложение, а именно: возвратиться на условиях раскаяния и уплаты штрафа. Он отвечал им с неизменной и непреклонной гордостью: "Если мне нельзя возвратиться иначе, как признав самого себя преступным, то я никогда не возвращусь — *nunquam revertar*".

Таким образом, Данте лишился вовсе своего крова. Он скитался от патрона к патрону, из одного места в другое, показывая на собственном примере, "до какой степени труден путь — *come è duro calle*", как он сам с горечью выражается. С несчастными невесело водить компанию. Обнищавший и изгнанный Данте, гордый и серьезный по природе, находившийся в гневном настроении, представлял собою человека, который вообще плохо ладит с людьми. Петрарка рассказывает, как, будучи однажды при дворе Кан делла Скала\*, он ответил совсем не по-придворному, когда его стали порицать за молчание и угрюмый вид. Делла Скала находился в кругу своих придворных; шуты и гаеры заставляли его беззаботно веселиться; обратившись к Данте, он сказал: "Не правда ли, странно, что эти жалкие глупцы могут так веселиться, тогда как вы, человек умный, проводите здесь день за днем и ничем не можете развлечь нас?" Данте резко ответил: "Нет, не странно; пусть ваша светлость вспомнит только поговорку: *подобное тянется к подобному*; раз есть забавник, забавам не будет конца". Такой человек со своими горделивыми, молчаливыми манерами, со своим сарказмом и скорбью не был создан для того, чтобы преуспевать при дворах. Мало-помалу он ясно понял, что ему нигде не сыскать на этой земле покойного угла, что для него нет более надежды на благополучие. Земной мир выбросил его из своей среды и обрек на скитание; ничье живое сердце не полюбит его теперь; ничто не может теперь смягчить его тяжкие страдания здесь, на земле.

Тем глубже, естественно, залегало в его душе представление о вечном мире, о той внушающей благоговейный ужас действительности, на поверхности которой весь этот временный мир, с его Флоренциями

и изгнаниями, мелькает лишь как легкий призрак. Флоренции ты больше не увидишь; но ад, и чистилище, и небеса, их ты, конечно, узришь! Что Флоренция, Кан делла Скала, и мир, и жизнь, все вместе? *Вечность* — именно с нею, а не с чем другим связан ты и все сущее! Великая душа Данте, не находившая себе пристанища на земле, уходила все более и более в этот страшный другой мир. Естественно, что все его мысли устремились к этому миру, как к единственному, что было важно для него. Этот факт, воплощенный или невоплощенный, остается единственно верным фактом для всех людей; но для Данте в то время он представлялся с научной достоверностью воплощенным в известном образе. Данте так же мало сомневался в существовании омута Злых Щелей\*, в том, что он лежит именно там, со своими мрачными кругами, со своими *alti buai\**, и что он сам мог бы все это видеть, как мы в том, что увидели бы Константинополь, если бы отправились туда. Долго Данте, преисполненный этой мыслью в своем сердце, питал ее в безмолвии и благоговейном страхе, пока наконец она, переполнив его сердце, не вырвалась и не вылилась в "мистической неисповедимой песне"; таким образом появилась эта его "Божественная комедия", самая замечательная из всех современных книг.

Для Данте мысль, что он, изгнанник, мог создать такое произведение, что ни один флорентиец, вообще ни один человек, никакие люди не могли ни помешать ему, ни даже сколько-нибудь заметно облегчить его труд, — должна была представлять большое утешение, и он действительно по временам гордился им, как в том мы можем убедиться. Он отчасти понимал также, что это было великое произведение, величайшее, какое только человек мог создать. "Если ты следуешь за своей звездой — *Se tu segui tua stella*" — так мог еще говорить самому себе этот герой в своей крайней нужде, забытый всеми. "Следуй своей звезде, ты не минуешь славной пристани!" Ему было, как оказывается и как мы можем легко себе представить, крайне трудно и мучительно писать свою книгу; эта книга, говорит он, "отняла у меня силу многих годов". О да, она далась, всякое слово в ней далось страданием и тяжким трудом, — он трудился с суровой серьезностью, он не забавлялся. Его книга, как действительно большая часть хороших книг, была написана во многих смыслах кровью его сердца. Она, эта книга, представляет полную историю его собственной жизни; окончив ее, он умер. Он не был еще слишком стар: ему было всего 56 лет; он умер от разрыва сердца, как говорят. Прах его покоится в том городе, где он умер, в Равенне, с надписью на гробнице: "*Nic claudor Dantes patriis extorris ab oīs*". Сто лет тому назад флорентийцы просили возвратить им этот прах, но Равенна не согласилась. "Здесь покоюсь я, Данте, изгнанный с моих родных берегов".

Поэма Данте, как я сказал, это — песнь. Тик называет ее "мистической неисповедимой песнью", и таков в буквальном смысле характер ее. Колридж весьма дельно замечает в одном месте, что во всякой мысли, музыкально выраженной, с надлежащей рифмой и мелодией, вы найдете известную глубину и смысл. Ибо тело и душа, слово и мысль — здесь, как и повсюду, — связаны между собою каким-то странным образом. Песнь! Мы сказали выше, что песнь представляет героическое в речи. Все

*древние* поэмы, Гомера и другие, суть доподлинные песни. Строго говоря, я сказал бы, что таковы все истинные поэмы; что всякое произведение, которое *не поется*, собственно, не поэма, а лишь отрывок прозы, втиснутый в звучные стихи, к великому поношению грамматика и к великой досаде читателя в большинстве случаев! Все, что мы извлекаем из подобного произведения, это *мысль*, которую человек имел, если только он ее имел еще; зачем же в таком случае он подымал звон, раз он *мог* высказать свою мысль просто? Мы можем дать ему право рифмовать и петь лишь тогда, когда сердце его охвачено истинной страстью к мелодии и когда самые звуки его голоса, по замечанию Колриджа, становятся музыкальными, благодаря величю, глубине и музыке его мыслей. Только тогда мы называем его поэтом и внимаем ему как герою-оратору, речь которого *есть* песнь. Многие домогаются этого; но для серьезного читателя чтение подобной песни, я не сомневаюсь, составляет прескучное занятие, чтобы не сказать несносное! Для подобной песни не существует никакой внутренней необходимости быть рифмованной: человеку следовало бы сказать нам просто, без всякого звону, в чем дело. Я советовал бы всем людям, которые *могут* просто высказать свою мысль, не петь ее; я советовал бы им понять, что в серьезное время среди серьезных людей никто не нуждается в том, чтобы они пели ее. Действительно, насколько мы любим истинное пение, насколько нас чаруют его божественные звуки, настолько же нам ненавистно всякое фальшивое пение, и это последнее мы всегда будем принимать за пустой деревянный звук, за нечто глухое, поверхностное, совершенно неискреннее и оскорбительное.

Я воздаю Данте свою величайшую похвалу, когда говорю, что его "Божественная комедия" представляет во всех смыслах неподдельную песнь. В самом тоне ее чувствуется *santo fermo\**, звуки льются точно в песне. Самая простая Дантова *terza rima\**, конечно, только помогает ему достигать такого эффекта. Естественно, что "Божественную комедию" читают от начала до конца *нараспев*. Но, замечу я, иначе и быть не может, так как сущность самого произведения и материал, из которого оно сложено, сами по себе ритмические. Глубина, восхищенная страстность и искренность делают его музыкальным; всматривайтесь в вещи достаточно *глубоко*, и вы повсюду найдете музыку. Действительная внутренняя симметрия, то, что называют архитектурной гармонией, царит в нем и приводит все к должной пропорциональности; архитектурная гармония — это то, чему также присуща музыкальность. Три царства, *Ад*, *Чистилище* и *Рай*, глядят одно на другое, подобно трем частям одного величественного здания; это великий мировой собор, воздвигнутый там, в сверхчувственных сферах; собор суровый, торжественный, грозный; таков Дантов мир душ! По существу, это *самая искренняя* из всех поэм; а искренность мы считаем и в данном случае мерилom достоинства. Она вышла из самой глубины сердца ее творца и проникает глубоко в наши сердца и в сердца длинного ряда поколений. Жители Вероны, встречая Данте на улице, обыкновенно говорили: "Eccovi l'uom ch'è stato all' Inferno — Глядите, вот человек, побывавший в Аду!" О да, он был в Аду, в настоящем Аду; он в течение долгого времени выносил жестокую скорбь и боролся; и всякий человек, подо-

бный ему, также бывал, конечно, там, в Аду. Комедии, которые становятся *божественными*, иначе не пишутся. Разве мысль, истинный труд, самая высочайшая добродетель — не порождение страдания? Истинная мысль возникает как бы из черного вихря. Действительное *усилие*, усилие пленника, борющегося за свое освобождение, — вот что такое мысль. Повсюду нам приходится достигать совершенства путем страдания. Но, говорю я, ни одно из произведений, известных мне, не отделано так тщательно, как эта поэма Данте. Она вся как бы вылилась из раскаленного добела горнила его души. Она "отнимала силы" у него в течение многих лет. И не только общие очертания поэмы таковы; нет, всякая частность в ней исполнена с величайшей старательностью, доведена до полной правдивости, до совершенной ясности. Все здесь находится в строгом соответствии: каждая черточка на своем месте; точно мраморный камень, аккуратно высеченный и отполированный. Здесь, в этой поэме, в ее рифмах, для всех воочию запечатлелся навеки дух Данте, а вместе с тем и дух средних веков. Нелегкая задача, требующая поистине чрезмерного напряжения, но задача уже *исполненная!*..

Можно сказать, что *напряженность* со всеми ее атрибутами составляет характерную черту Дантова гения. Данте выступает перед нами не как обширный всеобъемлющий ум, а скорее как узкий, однонаправленный ум, что обуславливается отчасти современной ему эпохой и его положением, отчасти же его собственным характером. Вся мощь его духа сконцентрировалась в огненную напряженность и ушла вглубь. Он велик, как мир, не потому, что он обширен, как мир, а потому, что он проникает все предметы, так сказать, до самого их существа. Я не знаю ничего, в чем бы обнаружилась такая напряженность, какой отличался Данте. Посмотрите, например (я начинаю с внешнего развития его напряженности), посмотрите на то, как он рисует. Он обладает громадной пронизательной силой; он схватывает истинный образ всякого предмета, представляет его вашим взорам, и больше ничего. Вы помните это первое описание, которое он дает гробницам Дита\*: *красная* вершина, докрасна накаленный конус железа, пылающий среди невообразимого мрака, — как все это ярко, как отчетливо, как ясно; один взмах — и картина запечатлевается навсегда. Приведенное описание может служить как бы эмблемой всего гения Данте. Он отличается краткостью и точностью в своих отрывочных описаниях. Тацит не превосходит его краткостью и сжатостью, и притом сжатость у Данте является природной, самопроизвольной. Одно поразительное слово, и затем молчание, — говорить более нечего. Его молчание красноречивее слов. Удивительно, с какой пронизательностью, грацией, решительностью он всюду схватывает истинный образ вещей, он точно рассекает их своим огненным пером. Плутус, бахвалящийся гигант, съезживается оти укура Вергилия, "как спадают паруса, когда разбита мачта". Или этот несчастный Брунетто Латини с *cotto aspetto*, "обожженным лицом", высохший, почерневший и истощенный; "дождь пламени", падающий на них, "как снег в безветрии", падающий медленно, беспрепятственно, без конца! Или крышки у этих гробов, четырехугольные саркофаги в молчаливой полуосвещенной зале и в каждом — своя мучающаяся душа; крышки

пока сняты, они будут заколочены навеки в день Страшного суда. И как подымается Фарината и как падает Кавальканте, услышав имя своего сына, сопровождаемое прошедшим временем — "fue"!\* Самые движения у Данте отличаются быстротой: скорые, решительные, почти военные. Такая особенность в обрисовке обуславливается внутренним существом его гения. Во всем этом чувствуется сама огненная, подвижная натура итальянца, столь молчаливая, столь страшная, с ее быстрыми и внезапными движениями, с ее молчаливым "бледным бешенством".

Хотя искусство изображать, рисовать принадлежит к внешним проявлениям человека, однако оно, как и все остальное, находится в самой тесной связи с его существеннейшими дарованиями; оно представляет как бы физиономию всего человека. Найдите человека, слова которого рисуют вам образы, — вы обретете человека, заслуживающего кое-чего. Обратите внимание на его манеру изображать, — она весьма характерна для него. Прежде всего он не мог бы совершенно распознать предмета, схватить его типичных особенностей, если бы не питал к нему, так сказать, *симпатии*, если бы не переносил своих симпатий на предметы. Необходимо также, чтоб он был искренен; искренность и симпатия: ничего не стоящий человек не может вовсе обрисовать предмета; он живет по отношению ко всем предметам в каком-то опустошенном пространстве, ограничивается лживыми избитыми фразами. В самом деле, разве мы не можем сказать, что ум человека обнаруживается вполне в этом умении распознавать, что такое предмет? Все способности человеческого духа выступают в данном случае на сцену. Все равно, даже если это касается поступков, того, что должно быть сделано. Одаренным человеком считается тот, кто *видит* самое существенное и оставляет все остальное в стороне как малозначительное; такова также и отличительная способность человека дела, благодаря которой он распознает истинные *очертания* от ложных, поверхностных в том предмете, которым он занят. И как много *нравственного элемента* вносим мы в наши воззрения и отношения к внешнему миру: "глаз видит во всех вещах то, что внушает ему способность видеть!" Для низкого глаза все представляется пошлым, совершенно так же как для большого желтухой все окрашивается в желтый цвет. Рафаэль, говорят нам живописцы, остается до сих пор самым лучшим портретистом. Да, но никакой глаз, какими бы высокими достоинствами он ни отличался, не может исчерпать всего содержания, таящегося в данном предмете. В самом заурядном человеческом лице остается кое-что такое, чего сам Рафаэль не может выявить у него.

Искусство Данте отличается не только выразительностью, сжатостью, правдивостью, живительностью, подобно огню в темную ночь; если мы подойдем к нему и с более широким масштабом, то убедимся также, что оно благородно во всех отношениях, что оно — продукт великой души. Франческа и ее возлюбленный, — как много возвышенного в их любви! Этот образ словно соткан из цветов радуги на фоне вечной ночи. Точно слабый звук флейты слышится вам бесконечно жалобный звук и проникает в самые тайники вашего сердца. Вы чувствуете в нем также дыхание истинной женственности: *della bella persona, che mi fu tolta\**; и какое это утешение даже в пучине горя, что *он* никогда не расстанется с нею! Печальнейшая трагедия этих *alti guai!* И бурные

вихри, в этом аэге *bruno*\*, снова уносят их прочь, и так они вечно стонут! Странно, когда подумаешь: Данте был другом отца этой бедной Франчески; сама Франческа, невинный прелестный ребенок, сидела, быть может, не раз на коленях у поэта. Бесконечное сострадание и вместе с тем столь же бесконечная суровость закона: так создана природа, такой она представлялась духовному взору Данте. Какое пошлое ничтожество обнаруживают те, кто считает его "Божественную комедию" жалким, желчным, бессильным пасквилом на дела мира сего, пасквилом, в котором Данте будто бы посылает в преисподнюю тех, кому он не мог отомстить здесь, на земле! Я думаю, что если сердце мужчины питало в себе когда-либо жалость столь нежную, как жалость матери, так это было именно сердце Данте. Но человек, не знающий суровости, не может знать также, что такое жалость. Жалость такого человека всегда будет трусливой, эгоистической, сентиментальной или ненамного лучше. Я не знаю в мире любви, равной той, какую питал Данте. Это была сама нежность, сама трепещущая, страстно желающая, сострадающая любовь, подобная жалобному плачу золотых арф; мягкая, мягкая, подобно юному сердцу ребенка; и вместе с тем это суровое, горем удрученное сердце! Его страстное стремление к своей Беатриче; их встреча в *Раю*; его пристальный взор, устремленный в ее чистые, просветленные глаза, глаза просиявшие, не видавшие уже его так долго, — все это можно сравнить с пением ангелов; из всех чистейших выражений любви это, быть может, самое чистое, какое только когда-либо выливалось из сердца человеческого.

*Напряженный* Данте обнаруживает напряженность во всем; он всюду проникает в самую суть вещей. Его интеллектуальная прозорливость как художника, а при случае и как мыслителя есть лишь проявление его силы во всех других отношениях. Прежде всего мы должны признать его великим в нравственном отношении, что составляет основу всего. Его презрение, его скорбь столь же возвышенны, как и его любовь. Действительно, что такое это презрение, эта скорбь, как не *оборотная сторона* его любви, как не *вывороченная низнанку* та же его любовь? "A Dio spriscenti ed a'nemici sui — ненавистный Богу и врагам Бога"; вы слышите гордое презрение, неумолимое, спокойное осуждение и отвращение; "non ragionam di lor — мы не станем говорить о них, мы лишь взглянем и пройдем". Или вдумайтесь в это: "они не питали надежды на смерть — non han speranza di morte". Настал день, когда для истерзанного сердца Данте представилась истинным, хотя и суровым благодеянием мысль о том, что он, несчастный, истомленный скиталец, неизбежно должен умереть; что "даже сама судьба не могла бы осудить его на то, чтобы он продолжал существовать вечно, не умирая". Вот какие слова вырываются у этого человека. По строгости, серьезности, глубинѣ нет никого равного ему в новейшей эпохе, и только в еврейской Библии, среди ветхозаветных пророков, мы можем найти фигуры, могущие выдержать сравнение с ним.

Я не согласен со многими современными критиками, ставящими "Ад" значительно выше двух других частей "Божественной комедии". Такое предпочтение, мне кажется, обуславливается нашей всеобщей склонностью к байронизму и представляет собою, по-видимому, прехо-

дящее явление. "Чистилище" и "Рай", в особенности первое, по моему мнению, стоят выше "Ада". Прекрасная вещь — это *Чистилище*, "гора очищения", эмблема возвышеннейшей мысли того времени. Если грех так фатален, если Ад так суров, так страшен, если он таким и должен быть, то только в покаянии человеку остается еще возможность очиститься. Покаяние есть великий христианский акт. Как прекрасно Данте изображает его! *Tremolar dell'onde\**, это "трепетание" морской волны при первом пробуждении дня, бросающего свои чистые косые лучи на двух скитальцев, представляет как бы прообраз изменившегося настроения духа. Заря надежды уже взошла, надежды, никогда не умирающей, хотя и сопровождаемой еще тяжелой скорбью. Мрачная обитель демонов и отверженных уже пройдена; тихое дыхание раскаяния подымается все выше и выше, к трону самого Милосердия. "Молись за меня", — говорят ему все обитатели горы страдания. "Скажи моей Джованне, пусть она молит обо мне, моей дочери Джованне"; "я думаю, мать ее уж не любит меня более!" С большим трудом подымаются кающиеся по этой крутизне, идущей спиралью, согбенные, как кариатиды здания, иные почти придавленные грехом гордости; тем не менее пройдут многие годы, пройдут века и зоны, и они обязательно достигнут вершины, которая представляет врата неба, и благодаря Милосердию будут допущены туда. Все радуются, когда кто-либо достигает своей цели; вся гора сотрясается от восторга, и раздается хвалебное псалмопение, когда душа совершит свой путь покаяния и оставит позади себя свой грех и свое страдание! Я называю все это благородным воплощением истинно благородной мысли.

Но в действительности все три части "Божественной комедии" взаимно поддерживают одна другую и немислимы одна без другой. "Рай", эта своего рода невыразимая музыка, по моему мнению, является необходимым дополнением к "Аду": без него последнему недоставало бы правдивости. Все три части вместе образуют настоящий невидимый мир, как его рисовали христиане средних веков; мир, вечно памятный, навеки истинный в своей сущности для всех людей. Ни в чьей, быть может, иной человеческой душе он не был запечатлен так глубоко, с такой правдивостью, как в душе Данте, *посланного* воспеть его и сделать его надолго памятным людям. Замечательна в высшей степени та естественность, с какой Данте переходит от повседневной реальности к невидимой действительности: уже со второй или третьей строфы он переносит вас в мир духов, где вы чувствуете себя, однако, как среди осязаемых, несомненных предметов. Для Данте они *были* действительно осязаемы; так называемый же реальный мир с своими явлениями составлял лишь преддверье другого мира, с другими явлениями, бесконечно более возвышенного. В сущности, и тот и другой были одинаково *сверхъестественными* мирами. Разве не всякий человек имеет душу? Человек не только станет духом, но он есть дух. Для серьезного Данте это единственный видимый несомненный факт; он верит в него, он видит его, поэтому-то он и является его поэтом. Искренность, повторяю я, — благороднейшее достоинство, теперь и всегда.

Дантов Ад, Чистилище и Рай суть вместе с тем символы, эмблемы его верований относительно вселенной. Какой-нибудь критик будущего



века, подобно современным критикам скандинавских саг, мыслящий уже совершенно иначе, чем мыслил Данте, примет также, быть может, все это за аллегорию, даже за пустую аллегорию! А между тем "Божественная комедия" — возвышенное или возвышеннейшее воплощение христианского духа. В необъятных, так сказать, мирообъемлющих архитектурных очертаниях она рисует нам, каким образом христианин Данте представлял себе добро и зло как два полярных элемента этого мира, вокруг которых все вращается, каким образом он представлял себе, что эти два элемента различаются не по *предпочтительности* одного из них перед другим, а по своей абсолютной и бесконечной несовместимости; что одно прекрасно и высоко, как свет и небо, а другое — отвратительно и черно, как геенна и пучина Ада! Вечное правосудие! Да, но есть место также покаянию, вечному милосердию; все христианство, как исповедовали его Данте и средние века, воплощено здесь в образах. И однако, как я уже указывал выше, воплощено с глубочайшей верой в действительность, без малейшего помышления о каком бы то ни было символизировании. Ад, Чистилище, Рай — все это было создано вовсе не как эмблемы: разве возможна была в ту пору хотя бы малейшая мысль о том, что все это эмблемы! Не представляли ли Ад, Чистилище, Рай несомненных, поражающих ужасом явлений; не признавал ли их тогда человек всем своим сердцем действительной истиной, не находилась ли сама природа повсюду в полном согласии с ними? Так всегда бывает в подобных делах. Люди не верят в аллегорию. Будущий критик, каково бы ни было его новое мирозерцание, сделает прискорбную ошибку, если станет рассматривать это произведение Данте как всего лишь аллегорию. Мы уже признали, что язычество представляло правдивое выражение действительного чувства человека, пораженного ужасом при созерцании природы, — правдивое, некогда истинное и до сих пор не утерявшее еще для нас всего своего значения. Но обратите теперь внимание на различие между язычеством и христианством: оно немалое. Язычество символизировало главным образом деятельные силы природы — судьбы, усилия, соединения и превратности людей и вещей в этом мире; христианство символизировало закон человеческого долга, нравственный закон человека. Одно имело отношение к чувственной природе — грубое, беспомощное выражение *первой* мысли человека, когда главной добродетелью признавалась отвага, господство над страхом. Другое же было связано не с чувственной природой, а с нравственной. Какой громадный прогресс обнаруживается в этой разнице, если взглянуть на дело хотя бы только с одной указываемой мною стороны!

Итак, в Данте, как мы сказали, десять пребывавших в немоте веков чудным образом нашли себе выражение. "Божественная комедия" написана Данте, но в действительности она — достойная десяти христианских веков. Ему принадлежит лишь окончательная отделка ее. Так всегда бывает. Возьмите ремесленника — кузнеца с его железом, с его орудиями, с его навыками и искусством, — как мало во всем том, что он делает, принадлежит собственно ему, его личному труду! Все изобретательные люди прошлых времен работают тут же, вместе с ним, как работают они в действительности вместе со всеми нами во всяких наших делах. Данте — это человек, говорящий от лица средних веков; и мысль,

которой он жил, звучит и льется из его уст бессмертной музыкой. Все эти возвышенные идеи Данте, ужасные и прекрасные, суть плоды размышлений в духе христианства всех добропорядочных людей, живших до него. Дороги они для человечества, но разве и он также не дорог? Не будь его, многое из того, что он сказал, так и осталось бы невысказанным, конечно, не мертвым, но пребывающим в немоте.

В конце концов, разве эта мистическая песнь не служит одновременно выражением и одного из величайших человеческих умов, какой только существовал когда-либо, и одного из величайших деяний, какое только Европа совершила сама по себе до сих пор? Христианство, как его воспевает Данте, это уже нечто совершенно иное, чем язычество грубых скандинавов; иное, чем ислам — “побочная ветвь христианства”, — полуотчетливо провозглашенный в Аравийской пустыне семь веков тому назад! Самая благородная идея, какая только до сих пор была осуществлена среди людей, воспетая и воплощенная в непреходящие образы одним из благороднейших людей, — вот что такое произведение Данте. Разве мы не имеем права действительно гордиться тем, что обладаем им, гордиться воспеваемым деянием и воспевающим поэтом? Я думаю, что произведение это будет жить еще в течение долгих тысячелетий. Ибо то, что выливается из глубочайших тайников человеческой души, не имеет ничего общего с тем, что утверждается внешним образом, от легкого сердца. Внешнее принадлежит минуте, находится во власти моды; внешнее проходит в быстрых и бесконечных видоизменениях; внутреннее же всегда остается одним и тем же — вчера, сегодня и вечно. Правдивые души всех поколений мира, глядя на Данте, найдут в нем нечто братски-родственное себе; глубокая искренность его мыслей, его страдания и надежды найдут себе отклик в их искренности; они почувствуют, что этот Данте — также и им родной брат. Наполеон на острове Святой Елены восхищался жизненной правдивостью старого Гомера. Самый древний еврейский пророк, несмотря на внешние формы своей речи, столь отличные от нашей, проникает, однако, неизменно до сих пор в сердца всех людей, так как он говорит действительно от полноты своего человеческого сердца. Таков один-единственный секрет остаться надолго памятным людям. Данте по глубине своей искренности похож именно на такого древнего пророка; его речь, так же как и речь ветхозаветного пророка, льется из самой глубины сердца. Не было бы ничего удивительного, если бы кто-нибудь стал утверждать, что его поэма окажется самым прочным делом, какое только Европа совершила до сих пор; ибо ничто не обладает такой долговечностью, как правдиво сказанное слово. Все соборы, величественные сооружения, медь и камень, всякое внешнее строительство, как бы прочно оно ни было, недолговечно по сравнению с такой недосыгаемо-глубокой, сердечной песнью, как эта Дантова песнь: каждый человек как бы чутьем понимает, что она переживет многие и многие поколения и сохранит свое значение для людей даже в то время, когда все другое расплывется в новых неведомых комбинациях и индивидуально перестанет существовать. Многие создала Европа: многолюдные города, обширные государства, энциклопедии, верования, теоретические и практические кодексы; но много ли она создала произведений в том роде, к которому

относится мысль Данте? Гомер *существует* до сих пор; он действительно становится лицом к лицу с каждым из нас, с каждым, у кого только может раскрыться душа; а Греция — где *она*? Подвергаясь в продолжение тысячелетий опустошениям, она прошла, исчезла; она превратилась в беспорядочную груду камней и мусора; ее жизнь и ее существование навсегда улетели от нас, как мечта, как прах царя Агамемнона. Греция была; Греции нет более: она осталась только в *словах*, сказанных ею.

Какая польза от Данте? Мы не станем распространяться слишком много о его "полезности". Человеческая душа, которая хотя бы один раз погружалась в первоначальные недра песни и воспевала вынесенное ею оттуда надлежащим образом, проникает уже тем самым в *глубины* нашего существования; она питает в продолжение долгого времени жизненные *корни* всех возвышеннейших свойств человеческих; питает таким образом, что всякие "пользы" со своими выкладками совершенно бессильны помочь нам разобратся в этом. Мы не измеряем значения солнца тем количеством светильного газа, какое сберегается благодаря ниспосылаемому им свету; Данте должно считать или неопределимым, или же не имеющим никакой цены. Одно замечание я хочу еще сделать по поводу контраста в этом отношении между героем-поэтом и героем-пророком. Арабы Магомета в какие-нибудь сто лет прошли от Гранады до Дели; итальянцы же Данте до сих пор, по-видимому, остаются на том же самом месте, где и были. Можем ли мы сказать, однако, что воздействие Данте на мир было сравнительно ничтожно? Конечно нет: арена его деятельности значительно ограниченнее, но в то же время она несравненно благороднее, чище; и не только не менее, но, быть может, значительно более важна. Магомет обращается к громадным массам людей с грубой речью, приноровленной к его аудитории, речью, наполненной несообразностями, дикостями и глупостями: он может действовать только на большие массы и подвигает их на доброе и злое, странным образом взаимно перепутанное. Данте же обращается к тому, что есть благородного, чистого, великого во все времена и во всех местах. И он не может устареть так, как устарел Магомет. Данте горит, как чистая звезда, утвержденная там, на тверди небесной, от которой воспламеняется все великое и возвышенное всех веков; он будет достоинством всех избранников мира на бесконечно долгое время. Данте, всякий согласится, надолго переживет Магомета. Таким образом, равновесие восстанавливается.

Но во всяком случае человек и его дело измеряются не тем, что называется их влиянием на мир, не тем, как *мы* судим об этом влиянии. Влияние? Воздействие? Польза? Пусть человек *делает* свое дело; результат же составляет предмет заботы иного деятеля. Последствия наступят; а как скажут они — в виде ли тронов халифов, арабских завоеваний, которыми "заполняются все утренние и вечерние газеты" и все истории, представляющие, в сущности, те же дистиллированные газеты, или же вовсе не в таком виде, — что в том? Не это составляет действительные последствия того или иного дела! Арабский халиф если и значил что-либо, то лишь постольку, поскольку он сделал что-нибудь. Если великое дело человечества и работа человека здесь, на земле, ничего не выиграли от арабского халифа, в таком случае совершенно неважно, как часто он

обнажал свои сабли и какую захватывал добычу, насколько основательно набил свои карманы золотыми монетами, какое смятение и шум произвел в этом мире, — он был всего лишь медь звенящая, пустота и ничтожество; в сущности, его даже вовсе не было. Воздадим же еще раз хвалу великому царству молчания, этому беспредельному богатству, которым мы не можем позвякивать в своих карманах, которого мы не высчитываем перед людьми и не выставяем напоказ! Молчание, быть может, самое полезное из всего, что каждому из нас остается делать в эти чересчур звонкие времена\*.

Как Данте был послан в наш мир, чтобы воплотить в музыкальной форме религию средних веков, религию нашей современной Европы, ее внутреннюю жизнь, так Шекспир явился для того, чтобы воплотить внешнюю жизнь Европы того времени с ее рыцарством, утонченностями, с ее весельем, честолюбием, воплотить, одним словом, то, как люди практически тогда думали и действовали, как практически они относились тогда к миру. И если мы, руководствуясь Гомером, можем в настоящее время воспроизвести себе Древнюю Грецию, то наши потомки, руководствуясь Шекспиром и Данте, по прошествии целых тысячелетий все еще в состоянии будут отчетливо представить себе, какова была наша современная Европа по своим верованиям и в своей действительной жизни. Данте нам дал веру или душу; Шекспир не менее величественным образом дал нам практику или тело. Это последнее нам также необходимо иметь; с этой-то целью и был послан человек — человек Шекспир. Когда рыцарский склад жизни достиг своего крайнего предела, когда наступил уже перелом и за ним должно было последовать более или менее быстрое разрушение (как мы и теперь повсюду видим), тогда, и только тогда послан был этот другой властный поэт с своим пронизательным взором, с своим неизменным певучим голосом, чтобы воспринять в себя эту жизнь и запечатлеть ее в неизгладимых, надолго неизгладимых образах. Перед нами два необычайно одаренных человека: Данте — глубокий, пламенный, как огонь в центре мира, и Шекспир — всеобъемлющий, спокойный, всепроникающий, как солнце, как вышний свет мира. Италия произвела один мировой голос, а Англии выпала честь произвести другой.

Довольно странно, как благодаря одной лишь случайности этот человек появился среди нас. Шекспир обладал таким величием, спокойствием, цельностью и уравновешенностью, что мы, быть может, никогда не услышали бы о нем как о поэте, если бы варвикский сквайр не вздумал преследовать его за охоту на своей земле! Лес и небо, деревенская жизнь в Стратфорде удовлетворили бы его. Но разве весь этот странный расцвет нашего английского существа, который мы называем эпохой Елизаветы, не явился в действительности тоже, так сказать, сам собою? "Дерево Игдрасиль" пускает ростки, усыхает, следуя своим собственным законам, глубоким и потому недоступным нашим исследованиям. Однако оно неизбежно пускает ростки и усыхает по определенным, вечным законам; таким же законам существования подчиняется и всякая веточка, всякий листик; нет такого сэра Томаса Льюси\*, который не пришел бы в час, предназначенный для него. Странно, говорю я, и недостаточно принимается обыкновенно во внимание, в ка-

кой мере всякая самая ничтожная вещь обязательно действует в одном направлении с целым; нет такого листа, валяющегося на большой дороге, который не составлял бы неотъемлемой части солнечной и звездных систем; нет такой мысли, такого слова, поступка человеческого, которых в зародыше нельзя было бы сыскать у всякого человека и которые не действовали бы, раньше или позже, заметно или незаметно, на всех людей! Да, все это представляет собою дерево — циркуляцию соков и воздействий, взаимное соотношение между самым ничтожным листом и глубоко сидящим волокном корня и вообще между величайшей и малейшей частью целого, — дерево Игдрасиль, корни которого уходят глубоко в царство Хели и смерти, а ветви простираются под высочайшим небом.

В известном смысле можно сказать, что славная елизаветинская эра со своим Шекспиром, как продукт и расцвет всего предшествовавшего ей, обязана своим существованием католицизму средних веков. Христианская вера, составлявшая тему Дантовой песни, породила ту практическую жизнь, которую должен был воспеть Шекспир. Ибо тогда, как и теперь, как и всегда, религия составляла душу практики, первоначальный жизненный факт в жизни людей. Заметьте при этом следующее, довольно любопытное явление: средневековый католицизм был упразднен, насколько он мог быть упразднен парламентскими актами, прежде чем появился Шекспир, его благороднейший продукт. И Шекспир появился вопреки всему этому. В свое время, в связи с католицизмом или с чем-либо другим, необходимым в ту пору, природа выдвинула его, не заботясь особенно о парламентских актах. Короли Генрихи, королевы Елизаветы идут своим путем, а природа — своим. В общем, парламентские акты значат немного, несмотря на шум, который они производят. Скажите, какой это парламентский акт, какие это дебаты в палате, на избирательных собраниях и т. п. вызвали к существованию нашего Шекспира? Нет, появление его не сопровождалось обедами в масонских тавернах, при этом не было никаких подписных листов, продажи голосов, бесконечных шумных возгласов и всяких иных истинных или ложных усилий! Эта елизаветинская эра и все благородное, дорогое, связанное с ней, пришло помимо всяких провозглашений и приготовлений с нашей стороны. Бесценный Шекспир был свободным даром природы, совершенно молча принесенным нам, совершенно молча принятым, как если бы дело шло о малозначительной вещи. И однако, это в доподлинном, буквальном смысле слова — бесценный дар. Не следовало бы также и этого упускать из виду.

Господствующее мнение относительно Шекспира, высказываемое иногда, быть может, несколько идолопоклонническим образом, представляет в действительности вполне верную его оценку. Насколько я могу судить, общий голос не только нашей страны, но и всей Европы постепенно приходит к заключению, что Шекспир — глава всех поэтов, существовавших до сих пор, что это — величайший ум, какой только в нашем пишущем мире появлялся когда-либо на литературном поприще. Вообще, я не знаю другого человека с такой необычайной пронизательностью, с такой силой мысли во всех ее характернейших проявлениях. Какая невозмутимая глубина! Какая спокойная жизнерадостная сила!

Да, в этой великой душе все отражается так верно, так ясно, как в спокойном бездонном море! Говорят, что в построении шекспировских драм обнаруживается, кроме всяких других так называемых "способностей", также и ум, равный тому, какой мы признаем в "Новом Органоне" Бэкона. Это верно, но истина не бросается вообще в глаза всякому с первого взгляда. Мы пойдем ее в данном случае скорее, если спросим себя, каким бы образом *мы*, помимо материалов, представляемых драмами Шекспира, могли достигнуть такого же результата? Дом построен, и все в нем кажется надлежащим образом прилаженным, — все, с какой бы стороны мы ни взглянули, на своем месте, все представляется нам в нем как бы возникшим согласно собственному закону и природе вещей, так что совершенно забываешь о той дикой, неразработанной каменоломне, из которой все это вышло. Самое совершенство постройки, как бы вышедшей из рук природы, скрывает от нас заслуги строителя. Мы вправе назвать Шекспира совершенным в данном отношении, более совершенным, чем всякий другой человек: он распознает, угадывает инстинктом условия, при которых работает, материалы, с которыми имеет дело, знает, какова его собственная сила и каковы ее отношения к тем и другим. Тут недостаточно одного беглого взгляда, одного порыва вдохновения; тут необходимо обдуманное освещение всего предмета; необходим спокойно созерцающий глаз, необходим, одним словом, великий ум. Самым лучшим мерилom для ума человека может служить то, каким образом человек рассказывает о скольконибудь сложном происшествии, очевидцем которого он был, какую картину, какие образы он рисует при этом: что жизненно и останется вечно, что не имеет существенного значения и, следовательно, должно быть отброшено, где истинное начало, истинное следствие и конец? Чтобы обнять все это, человек должен пустить в ход всю силу своей прозорливости. Он должен *понимать* вещи; достоинство его рассказа будет находиться в соответствии с глубиной его понимания. Таким образом следует испытывать человека. Умеет ли он схватить сходство, действует ли его жидкий дух успешно в этом хаосе, превращает ли он беспорядок в порядок? Может ли человек сказать: Fiat lux (Да будет свет)! — и из хаоса действительно создать мир? Да, он совершит все это именно в меру того *света*, который носит в себе.

Итак, мы можем действительно снова повторить: в портретном искусстве, как я называю его, в обрисовке людей — вот в чем Шекспир велик. Но в этом именно искусстве и сказывается решительным образом все величие человека. Спокойная творческая пронизательность Шекспира не имеет ничего подобного себе. Предмет, на который он обращает свой взор, раскрывает перед ним не ту или другую свою сторону, но самое сердце, тайну своего происхождения: он раскрывает перед ним, как бы пронизанный светом, так что великий поэт вполне различает всю его внутреннюю структуру. Мы сказали, что Шекспир обладает творческой пронизательностью. Действительно, что такое поэтическое творчество, как не *проникновение* в самую суть вещей? Слово, долженствующее описать предмет, приходит само собою при таком ясном напряженном созерцании. И не обнаруживается ли при этом также вся нравственная сторона Шекспира, его смелость, его прямота, терпимость,

правдивость, вся его победоносная сила и величие, которые торжествуют, несмотря на массу затруднений? Он велик, как мир! Это не *кривое*, жалкое, выпуклое или вогнутое зеркало, наделяющее все отражаемые предметы своими собственными выпуклостями и вогнутостями; нет, это — совершенно *ровное* зеркало, то есть, если вы правильно поймете мою мысль, это человек, правдиво относящийся ко всем вещам, ко всем людям, — добрый человек. Поистине величественно зрелище того, как эта великая душа умеет понять всякого рода людей, всякого рода предметы, — Фальстафа, Отелло, Юлия, Кориолана и с какой закругленной полнотой рисует он их нам; это действительно душа любящая, правдивая, одинаково братская всем. "Новый Органон" и весь ум, какой вы находите у Бэкона, — совершенно второстепенного достоинства; каким-то земным, материальным, бедным представляется он в сравнении с умом Шекспира. Находят, что, строго говоря, среди людей современной эпохи никто не обладает умом подобного рода. Один только Гёте за все послешекспировское время напоминает мне его. Он также, можно сказать, *видел* предметы; к нему вы можете применить то, что он говорит относительно Шекспира: "Его действующие лица подобны часам с крышками из прозрачного кристалла; они показывают вам час, как и другие часы; но вместе с тем в них виден также вполне и внутренний механизм"\*.

Прозревающий глаз! Такой именно глаз раскрывает внутреннюю гармонию вещей: он открывает то, к чему стремилась природа, ту музыкальную идею, которую природа облакает в нередко грубые формы. Должна же была природа иметь что-либо в виду. Прозревающий глаз может распознавать это "что-либо". Неужели все это — лишь низкие, жалкие предметы? Вы можете смеяться над ними, вы можете оплакивать их, вы можете тем или другим образом симпатизировать им, вы можете в худшем случае молчать о них, отворачивать от них свое лицо и лицо других, пока не наступит время для их действительного уничтожения и исчезновения! В сущности, главный дар поэта, как и всякого вообще человека, заключается в сильном уме. Человек будет поэтом, раз он имеет ум, — поэтом-писателем; или же, если он не обладает словом, что, быть может, и к лучшему, то поэтом-деятелем. Будет ли он вообще писать и если будет, то в прозе или стихах, — все это зависит от разных случайностей, и кто знает, от каких иногда чрезвычайно пустых случайностей, от того, быть может, учили ли его в детстве пению! Но способность, благодаря которой он может распознавать внутреннюю суть вещей и гармонию, присущую им (ибо всякий существующий предмет носит внутри гармонию или иначе он не мог бы поддерживать своей связности и своего существования), есть не результат привычек и случайностей, но дар самой природы, главное орудие человека-героя, в каких бы сферах он ни действовал. Поэту, как и всякому другому человеку, мы скажем прежде всего: *смотри*. Если вы не способны к этому, то совершенно бесполезно упорствовать в подыскивании рифм, звонких и чувствительных окончаний, противопоставлять их и *называть* себя поэтом. Это совершенно безнадежное для вас дело. Если же вы можете, тогда вы имеете все шансы стать поэтом, в прозе или стихах, в поступках или размышлениях. Один суровый старик, школь-

ный учитель, имел обыкновение спрашивать, когда к нему приводили нового ученика: "Но уверены ли вы, что он *не олух*?" Да, действительно, отчего бы не ставить подобного вопроса относительно всякого человека, предназначенного для какого бы то ни было дела, и не ограничиться лишь таким единственно необходимым вопросом: "Уверены ли вы, что он не олух?" В этом мире только олухи обречены всецело на фатальную судьбу.

Ибо действительно, утверждаю я, степень прозорливости, присущей человеку, составляет настоящее мерило самого человека. Если бы мне предложили определить дарование Шекспира, я сказал бы, что это высочайшая степень ума, и полагал бы, что этим я сказал все. Что такое действительно способность? Мы говорим о разных способностях, как о различных свойствах, существующих независимо одни от других, как будто бы ум, воображение, фантазия и т. д. все равно что рука, нога, кисть и т. д. Это — величайшее заблуждение. Затем нам говорят также об "умственной природе" человека и его "нравственной природе", как будто это — вещи разделимые, существующие отдельно одна от другой. Конечно, несовершенство языка, быть может, по необходимости заставляет нас прибегать к такого рода выражениям; мы должны так выражаться, если хотим вообще говорить. Но слова во всяком случае не должны превращаться в самые предметы. Мне кажется, что наше понимание вследствие этого сильно извращается. Мы должны знать и никогда не упускать из виду, что такие расчленения, в сущности, одни только *названия*, что духовная природа человека, жизненная сила, пребывающая в нем, по существу, едина и неделима; что так называемые нами воображение, фантазия, понимание и т. п. суть лишь различные проявления одной и той же силы прозрения, что все они неразрывно соединены одна с другой, по своим признакам родственны друг другу, так что, раз нам известна одна из них, мы можем знать и все прочие. Даже самая нравственность, то, что мы называем нравственной стороной человека, разве это не другая лишь *сторона* той же единой жизненной силы, благодаря которой человек существует и действует? Все, что человек делает, представляет выражение его единого внутреннего облика. Вы можете судить о том, как человек станет сражаться, по тому, как он поет; смелость или недостаток смелости обнаруживаются в слове, которое он произносит, в мнении, которого он придерживается, не в меньшей степени, чем в ударе, который он наносит. Они — *единое целое*, — и он осуществляет вовне свое цельное *я* всевозможными путями.

Человек, лишившись рук, продолжает, однако, пользоваться ногами и двигаться; но без нравственности, заметьте, для него ум был бы невозможен: совершенно безнравственный *человек* не может знать решительно ничего! Чтобы знать что-либо в истинном смысле этого слова, человек должен прежде всего *любить* предмет своего знания, симпатизировать ему, то есть он должен быть в *добрых* отношениях с ним. Если в человеке нет достаточно правдивости, чтобы поглядеть свой собственный эгоизм, если в нем нет достаточно мужества, чтобы во всяком данном случае встречать лицом к лицу грозную истину, то как же он может знать что бы то ни было? Его добродетели, все его добродетели, так или иначе запечатлеваются на его знаниях. Для человека низкого, самолюбивого, малодушного природа с ее истиною навсегда останется запечатанной книгой: все, что такой человек может знать о природе,



— пошло, поверхностно, ничтожно; все его знание отвечает лишь потребностям минуты. Но разве лисица, скажут, ровно ничего не знает о природе? Конечно, знает, она знает, где гуси ночуют! Человек-лиса в разных образах весьма часто встречается в нашей жизни, и его знания, в сущности, ничем не отличаются от подобного лисьего знания. Мало того, не следует упускать из виду, что, если бы лиса не имела своего рода лисьей *нравственности*, она не могла бы знать, где водятся гуси и как можно к ним подобраться. Если бы она предавалась сплину и проводила время в ипохондрических размышлениях о своем собственном злополучии, о несправедливом отношении к ней природы, судьбы, других лисиц и т. п. и не обладала бы отвагой, быстротой, практичностью, грацией и другими талантами, свойственными лисицам, то она не поймала бы ни одного гуся. Относительно лисицы мы можем также сказать, что ее нравственность и ее прозорливость — величины совершенно одинаковые, что это — различные стороны одной и той же лисьей жизни! На этих истинах следует почаще останавливаться именно в настоящее время, когда противоположный им взгляд обнаруживает свое печальное развращающее действие самыми различными путями; каких ограничений и изменений требуют они, пусть подскажет вам ваше собственное беспристрастие.

Таким образом, говоря, что Шекспир — величайший из всех умов, я тем самым говорю уже, собственно, все. Однако ум Шекспира отличается еще такой особенностью, какой мы не встречаем ни у кого другого. Это, как я называю, бессознательный ум, не подозревающий даже всей силы, присущей ему. Новалис прекрасно замечает, что драмы Шекспира — настоящие произведения природы, что они глубоки, как сама природа. Я нахожу в этих словах великий смысл. В искусстве Шекспира нет ничего искусственного; высшее достоинство его заключается не в плане, не в предварительно обдуманной концепции; оно выливается из самых глубин природы и разрастается в благородной, искренней душе поэта, являющейся, таким образом, голосом самой природы. Даже в отдаленном будущем люди все-таки будут находить новый смысл и значение в произведениях Шекспира, новое освещение своего собственного человеческого существования, "новые созвучия с бесконечным строением вселенной, соответствие с позднейшими идеями, связь с более возвышенными человеческими стремлениями и чувствами". Обо всем этом очень и очень стоит поразмыслить. Величайший дар, каким природа наделяет всякую истинно великую простую душу, состоит в том, что она делает ее частью *самой себя*. Произведения такого человека, с каким бы, по видимому, напряжением сознания и мысли он ни творил их, вырастают *бессознательно* из неведомых глубин его души, как вырастает дуб из недр земли, как образуются горы и воды; во всем видна симметрия, присущая собственным законам природы, все находится в соответствии с совершенной истиной. Как много нераскрытого еще остается для нас в Шекспире: его скорби, его молчаливая, ему только одному известная борьба; многое, что не было вовсе ведомо, не могло быть даже и высказано; все это — подобно *корням*, подобно сокам и силам, работающим под землею! Слово — великое дело, но молчание — еще более великое.

Замечательно также жизнерадостное спокойствие этого человека. Я не стану осуждать Данте за его злополучную судьбу: жизнь его была

борьбой без победы, но, во всяком случае, истинной борьбой, что самое важное и необходимое. Однако Шекспира я ставлю выше Данте; он также боролся честно — и победил. Несомненно, у него были свои скорби; его сонеты достаточно выразительно говорят, в какие глубокие пучины приходилось бросаться ему и плыть, отстаивая свою жизнь, — и вряд ли кому-либо другому из людей, подобных ему, приходилось испытывать такие положения. Мне кажется бессмысленным наше обычное представление, что он будто бы сидел, подобно птице на ветке, и пел свободно, по минутному вдохновению, не ведая тревог и беспокойств, испытываемых другими людьми. Нет, ни с одним человеком не бывает так. Каким бы образом человек мог выбиться из положения деревенского браконьера и стать писателем, творцом великой трагедии, не испытав на своем пути, что такое скорбь? Или, еще лучше: каким бы образом человек мог создать Гамлета, Кориолана, Макбета, создать такую массу героически страдающих сердец, если бы его собственное героическое сердце никогда не страдало? А теперь обратите внимание на его веселость, на его неподдельную безграничную любовь к смеху! Какая противоположность! Можно, пожалуй, сказать, что если он в чем-либо и хватает через *край*, так это только в смехе. Вы находите у Шекспира также и страстные упреки, слова, которые режут и жгут; но вместе с тем он всегда сохраняет меру в своем гневe; он никогда не увлекается тем, что Джонсон назвал бы специальностью "умелого ненавистника". Смех же, кажется, изливается из него целыми потоками; он осыпает предмет своего издевательства массой всевозможных смешных кличек, вертит и тешится им среди всевозможного рода грубых шуток: он стонет от смеха, сказали бы вы. Правда, его смех не всегда отличается изысканной утонченностью, но зато это всегда самый веселый смех. Он не смеется над слабостью, несчастьем и бедностью. Никогда. Никакой человек, *умеющий* смеяться в действительном смысле этого слова, не станет смеяться над подобными положениями; так поступает лишь жалкая посредственность, которая испытывает один только *зуд к смеху* и которая пользуется репутацией остроумца. Смех предполагает симпатию; добрый смех не похож на "потрескивания валежника под горшком". Даже над глупостью и притязательностью Шекспир смеется своим добродушным, веселым смехом. Догберри и Вержес\* вызывают у нас чистый, сердечный смех, и мы напутствуем их бесконечными взрывами хохота; но этот смех лишь сильнее привязывает нас к бедным молодцам, и мы от всей души желаем, чтоб они преуспевали по-прежнему и оставались начальниками городской стражи. Такой смех, по моему мнению, прекрасное дело, он подобен сиянию солнца на поверхности глубокого моря.

За недостатком места мы не можем войти здесь в рассмотрение каждого отдельного произведения Шекспира, хотя в этом отношении, быть может, далеко еще не все сделано. Имеем ли мы, например, такие разборы разных его драматических произведений, как разбор "Гамлета" в "Вильгельме Мейстере"?\* Когда-нибудь это должно быть сделано. У Августа Вильгельма Шлегеля мы находим одно замечание относительно шекспировских исторических драм, "Генриха V" и других, замечание, заслуживающее того, чтобы его напомнить здесь. Шлегель называет

эти драмы своего рода национальным эпосом. Мальборо, помнится, говорил, что он знает из английской истории только то, чему научился у Шекспира. Действительно, вдумайтесь хорошенько в эти драмы, и вы убедитесь, что это — замечательнейшие истории, каких немного. В них удивительным образом схватываются главные выдающиеся моменты; все окружается само собой в особого рода ритмической связности, принимает, как выражается Шлегель, *этический* характер, каким действительно всегда будет отличаться всякий образ, нарисованный великим мыслителем. Поистине много прекрасного в этих драмах, которые, в сущности, представляют в своей совокупности одно цельное произведение. Битва при Азенкуре\* поражает меня как одна из самых совершенных в своем роде картин, вышедших из-под пера Шекспира. Описание двух враждебных армий: изнуренные, измученные англичане; страшный, чреватый грядущей судьбою час, тот час, когда начинается сражение; и потом — это бессмертное мужество: "Эй, вы, добрые мужички, члены которых сработаны в Англии!" В этих словах чувствуется благородный патриотизм, очень далекий от того "равнодушия", какое, как вам иногда приходится слышать, приписывают Шекспиру. Настоящее английское сердце, спокойное и славное, бьется в каждой его строчке; сердце не бурливое, не порывающееся постоянно вперед, и тем лучше. Точно звук от удара стали о сталь слышится вам здесь. Этот человек сумел бы также нанести и действительный удар, если бы дело дошло до того!

Однако по поводу произведений Шекспира я замечу вообще, что они вовсе не дают нам полного представления о нем самом, даже относительно полного, какое мы имеем о многих людях. Его произведения — это как бы окна, множество окон, через которые мы можем лишь заглянуть в его внутренний мир. Все произведения его кажутся сравнительно поверхностными, несовершенными, написанными при стеснительных обстоятельствах; лишь то там, то здесь вы встречаете кое-какие намеки на то, что человек находит себе полное выражение. Попадают действенно страницы, которые, подобно небесному сиянию, проникают в вашу душу; вас поражает целый сноп лучезарного света, освещающего самую сокровенную суть вещей, и вы говорите: "Это — сама *истина*, сказанная раз навсегда; во всяком месте и во всякое время, пока будет существовать хотя одна искренняя человеческая душа, это будет признаваться за истину!" Такие полосы света дают вместе с тем почувствовать вам, что окружающая атмосфера не лучезарна; что она отчасти преходяща, условна. Увы, Шекспиру приходилось писать для своего театра "Глобус"; его великая душа должна была втискивать себя, как она могла, в такую именно, а не в другую форму. Ему пришлось считаться с тем, с чем считаемся и все мы. Ни один человек не работает вне всяких условий. Скульптор не может выставить одну свою голую мысль; он должен облечь ее, как умеет, в камень, пользуясь при этом данными ему орудиями. *Disjecta membra\** — вот и все, что остается нам от всякого поэта, от всякого человека.

Всякий, кто разумно относится к Шекспиру, поймет, что он был не только поэтом, но и *пророком*, на свой, конечно, лад; что он обладал прозорливостью, подобной пророческой прозорливости, хотя она и об-

наруживалась у него иным образом. И ему природа представлялась также божественной, невыразимой, глубокой, как пропасть Тофет\*, высокой, как небеса: "Мы из той же материи, из которой созданы и мечты!" Эта надпись в Вестминстерском аббатстве, которую немногие понимают надлежащим образом, говорит о глубокой пронизательности ясновидца. Но этот человек, кроме того, пел; его проповедь, следовательно, выливалась в музыкальных образах. Мы назвали Данте сладкозвучным первосвященником средневекового католицизма. Не вправе ли мы назвать Шекспира еще более сладкозвучным первосвященником *истинного* католицизма, "вселенской церкви" будущего и всех времен. В нем нет и тени узкого суеверия, жестокого аскетизма, нетерпимости, фанатической свирепости, извращенности, из его уст исходит одно лишь откровение, а именно что во всей природе живет сокрытая на тысячу ладов красота и божество, которым все люди да поклонятся, как умеют! Не оскорбляя ничьего чувства, мы можем сказать, что весь Шекспир представляет своего рода мировой гимн, достойный раздаваться наряду с еще более святыми гимнами, нисколько не нарушая гармонии этих последних, надлежащим образом понимаемых, конечно! Я не могу, как некоторые это делают, считать Шекспира скептиком; их смущает его равнодушное отношение к верованиям и теологическим спорам того времени. Нет, по отношению к Шекспиру не может быть речи ни об отсутствии патриотизма, ни о скептицизме, хотя он мало говорит о своей вере. Его "равнодушие" было результатом его величия: он уходил всем своим сердцем, целиком, в собственную великую сферу поклонения, и все эти споры, имевшие жизненное значение для других людей, для него были лишены своего живого смысла.

Называйте это поклонением, называйте как хотите. Но разве все то, что Шекспир дал нам, не представляет поистине славного достояния, целой массы достояний? Что касается меня, то я вижу какую-то святость в самом факте появления среди нас подобного человека. Не является ли он для всех нас своего рода глазом; благословенным, ниспосланным самим небом подателем света? И, в сущности, разве не лучше, что Шекспир, во всем бессознательно действовавший человек, не *думал* ни о какой небесной миссии? Он проникал в самую суть этого внутреннего блеска и потому не мог выделить себя, как то делал Магомет, и считать "пророком Господа". Но разве это не свидетельствует лишь о том, что Шекспир величественнее и выше Магомета? Да, выше; и на долю его выпал больший успех, если взглянуть на дело поглубже, как это мы показали на примере Данте. В сущности, идея Магомета о его небесной миссии пророчества была заблуждением и она повлекла за собою такой ворох басней, непристойностей, жестокостей, что для меня представляется даже спорным утверждать в данном месте и в данный момент, как я утверждал раньше, что Магомет был истинным проповедником, а не честолюбивым шарлатаном, пустым призраком и извращенностью; проповедником, а не болтуном! Даже в самой Аравии, думаю я, Магомет выдохнется и будет предан забвению, в то время как Шекспир и Данте все еще будут блистать своею свежестью и юностью; в то время как Шекспир все еще сохранит за собою право на положение первосвященника человечества в Аравии, как и повсюду в других местах. Да, он сохранит их на бесконечно долгие времена!

Действительно, сравнивая Шекспира со всяким другим проповедником, со всяким другим певцом из существовавших когда-либо в мире, даже с Эсхилом или Гомером, почему мы не можем допустить, что он, ввиду его правдивости и универсальности, будет так же долговечен, как и эти последние? Он так же *искренен*, как они; он так же глубоко захватывает вещи, как они, проникая до всеобщего и вечного. Но что касается Магомета, то, я думаю, для него было бы лучше, если бы он *не* был в такой мере сознательным! Увы, бедный Магомет! Все, что было в нем *сознательно* продуманным, оказалось лишь одним заблуждением, пустотой и пошлостью, как это в действительности всегда бывает. А того, что было в нем истинно великим, он также не сознавал; он не сознавал, что он был диким львом Аравийской пустыни и что его речь звучала подобно могучим раскатам грома, благодаря вовсе не тем словам, о которых он *думал*, что они велики, а тем действиям, чувствам, той вообще истории, которые действительно *были* велики! Коран его превратился в нелепую книгу велеречивой благоглупости; мы не верим, подобно ему, что Бог диктовал ее! Великий человек в данном случае, как и всегда, являет собою силу природы: все, что в нем оказывается действительно великим, исходит из *неизъяснимых* глубин ее.

Хорошо. Таков наш бедный варвикский крестьянин, достигший наконец положения директора театра, так что он мог жить, не прибегая к милостыне; на него граф Саутгемптон бросил несколько благосклонных взглядов; а сэр Томас Льюис — превеликое спасибо ему за то — хотел отправить его на галеры! Пока он жил среди нас, мы не считали его богом, как некогда Одина! По этому поводу следовало бы многое сказать. Но я скажу коротко или, вернее, повторю сказанное уже раньше. Несмотря на печальное положение, в каком находится в настоящее время культ героев, посмотрите, чем этот Шекспир стал в действительности для нас. Разве мы не отдали бы охотно любого англичанина, целого миллиона англичан, за нашего стратфордского крестьянина? Соберите целый полк из самых высших наших сановников, и мы согласимся обменять всех их на него одного. Он — величайшее наше достояние, какое только мы приобрели до сих пор. В интересах нашей национальной славы среди иноземных народов, как величайшее украшение всего нашего английского строительства, мы ни в коем случае не отступились бы от него. Подумайте, если бы нас спросили: англичане, от чего вы согласны скорее отказаться — от своих индийских владений или от своего Шекспира; что предпочтете вы, — лишиться навсегда индийских владений или потерять навсегда Шекспира? Это, конечно, был бы очень трудный вопрос. Официальные люди ответили бы, несомненно, в официальном духе; но мы, со своей стороны, разве не чувствовали бы себя вынужденными ответить так: останутся ли у нас индийские владения или не останутся, но мы без Шекспира жить не можем! Индийские владения во всяком случае когда-нибудь отпадут от нас, но этот Шекспир никогда не умрет, он вечно будет жить с нами. Мы не можем отдать нашего Шекспира!

Оставим, наконец, всякие возвышенные соображения и взглянем на Шекспира как на достояние реальное, полезное, взглянем на него с меркантильной точки зрения. Англичане, населяющие ныне этот остров,

собственно Англию, в непродолжительном времени будут представлять лишь незначительную часть всех англичан; скоро настанет время, когда во все стороны — в Америке, в Новой Голландии\*, на восток и запад до самых антиподов будет простираться царство саксов; оно захватит громадные пространства земного шара. Что же в таком случае будет удерживать всех их вместе, объединять всех в действительно единую нацию; что не даст им восстать друг на друга и бороться; что, напротив того, заставит их жить в мире, в братском общении между собою, поддерживая друг друга? Вот поистине величайшая практическая проблема, дело, которое предстоит совершить всякого рода верховным авторитетам и правительствам. Но кто же или что же в действительности совершит его? Парламентские акты, первые министры со своею административною властью бессильны в данном случае. Парламент, насколько мог, содействовал отпадению от нас Америки. Не сочтите за фантазию то, что я сейчас скажу вам, ибо в этих моих словах много реальной правды: есть, скажу я, один английский король, которого ни время, ни случай, ни парламент, ни целая коалиция парламентов не может свести с трона! Король этот — Шекспир. Разве он действительно не сияет над всеми нами в своем венчанном превосходстве, как благороднейший, доблестнейший и вместе с тем могущественнейший лозунг нашего объединения, лозунг *нерушимый* и поистине более важный с этой точки зрения, чем всевозможные другие средства и ресурсы? Пройдут целые тысячелетия, а лучи, как бы нисходящие от него, будут по-прежнему осеять народы, ведущие свое происхождение от нас, англичан. В Калькутте и в Нью-Йорке, повсюду, где только будут жить англичане или англичанки, какого бы рода у них ни были власти предержавшие, они будут говорить друг другу: "Да, Шекспир — наш; мы породили его, мы говорим и думаем заодно с ним, мы одной с ним крови, одной расы". Политику, действительно одаренному здравым смыслом, также следует подумать об этом.

Да, поистине великое дело для народа — обладать явственным голосом, обладать человеком, который мелодичным языком высказывает то, что чувствует народ в своем сердце. Италия, например, бедная Италия лежит раздробленная на части, рассеянная; нет такого документа или договора, в котором она фигурировала бы как нечто целое; и, однако, благородная Италия на самом деле — *единая* Италия: она породила своего Данте, она может говорить! Представьте теперь всероссийского царя. Он силен, располагая множеством штыков, казаков и пушек; он с большим искусством удерживает политическое единство на такой части земного пространства\*; но он еще не умеет говорить. В нем есть нечто великое, но это немое величие. Ему недостает главного — голоса гения, для того чтобы его слышали все люди и во все времена. Он должен научиться говорить; до тех же пор он ни более ни менее как громадное безгласное чудовище. Все его пушки и казаки превратятся в прах, в то время как голос Данте по-прежнему будет слышим в нашем мире. Народ, у которого есть Данте, объединен лучше и крепче, чем это может сделать безгласная Россия\*. На этом мы и покончим с тем, что хотели сказать относительно *героев-поэтов*.

## Беседа четвертая

### ГЕРОЙ КАК ПАСТЫРЬ. ЛЮТЕР: РЕФОРМАЦИЯ. НОКС: ПУРИТАНИЗМ

Нашу настоящую беседу мы посвящаем великим людям как духовным пастырям. Мы уже несколько раз пытались выяснить, что герои всякого рода, по существу, созданы из одной и той же материи; что раз дана великая душа, открытая божественному смыслу жизни, то дан и человек, способный высказать и воспеть это, бороться и работать во имя этого величественным, победоносным, непреходящим образом; дан, следовательно, герой, внешняя форма проявления которого зависит от времени и условий, окружающих его. Пастырь, как я понимаю его, это также до известной степени пророк, он также должен носить в своей груди свет вдохновения. Он руководит культом народа; является звеном, связующим народ с невидимой святыней. Он — духовный вождь народа, как пророк — духовный король его, окруженный многими полководцами: он ведет народ в Царство Небесное, руководя им надлежащим образом в земной жизни и в повседневном труде. Идеал его — также быть голосом, ниспосланным с невидимых небес, голосом, изъясняющим и раскрывающим людям в более доступной форме то же самое, что возвещает и пророк: незримые небеса, "открыто лежащую тайну вселенной", для чего очень немногие имеют достаточно пронизательный глаз! Он тот же пророк; но у него нет блеска, свойственного этому последнему, блеска, поражающего и внушающего благоговейный ужас; он светит своим мягким, ровным сиянием, как светильник повседневной жизни. Таков, говорю я, идеал духовного пастыря. Таков он был в древние времена; таким он остается ныне и таким же останется во все будущие времена. Всякий очень хорошо понимает, что необходимо относиться с большой терпимостью, когда речь идет об идеалах, осуществляемых на деле, — с очень большой терпимостью; но пастырь, совершенно не соответствующий тому, что предписывает ему идеал, не имеющий даже этого идеала в виду и не стремящийся к нему, представляет личность, о которой мы сочтем за лучшее вовсе не говорить здесь ничего.

Лютер и Нокс, по прямому своему призванию, были пастырями и совершали действительно надлежащим образом свое служение в обычном смысле этого слова. Однако мы считаем более уместным рассмотреть их здесь в их историческом значении, то есть скорее как рефор-

маторов, чем как пастырей. Во времена более спокойные были, быть может, и другие пастыри, равным образом замечательные по преданному исполнению своих обязанностей, как руководители в деле народного поклонения; благодаря своему неизменному героизму они вносили небесный свет в повседневную жизнь народа; вели его по надлежащему пути вперед, как бы под верховным руководством Бога. Но когда самый путь оказывается неровен, когда он исполнен борьбы, затруднений и опасностей, то духовный полководец, ведущий народ по такому пути, приобретает преимущественный перед всеми другими интерес для пользующихся плодами его руководства. Это — воинствующий и ратоборствующий пастырь, он ведет свой народ не к мирному и честному труду, как в эпохи спокойной жизни, а к честной и отважной борьбе, как это бывает во времена всеобщего насилия и разъединения, что представляет более опасное и достойное служение, безразлично, будет ли оно в то же время более возвышенным или нет. Лютера и Нокса мы всегда будем считать самыми выдающимися пастырями, насколько они были нашими наиболее выдающимися реформаторами. Мало того, разве не всякий истинный реформатор по натуре своей является прежде всего *пастырем*? Он взывает к незримой справедливости небес против зримого насилия на земле; он знает, что оно, это незримое, сильно и что оно одно только сильно. Он — человек, верующий в божественную истину вещей; человек, *проникающий сквозь наружную оболочку вещей*; поклоняющийся, в той или иной форме, их божественной истине; одним словом, он — пастырь. Если он не будет прежде всего пастырем, он никогда не достигнет действительного успеха как реформатор.

Итак, выше мы видели великих людей в разных положениях: они созидают религии, героические формы человеческого существования; строят теории жизни, достойные того, чтобы их воспевал какой-либо Данте; организуют практику жизни, достойную своего Шекспира; теперь же посмотрим на обратный процесс, который также необходим и также может совершаться героическим образом. Любопытно уже одно то, что подобный процесс может быть необходим, и он действительно необходим. Мягкое сияние света, распространяемое поэтом, должно уступить место порывистому, подобно молнии, сверканию реформатора; к сожалению, реформатор также представляет собою лицо, без которого не может обойтись история! Действительно, что такое поэт с его спокойствием, как не продукт, как не последнее слово реформаторской пророческой деятельности со всей ее жестокой горячностью? Не будь диких святых Домиников и фиваидских отшельников, не было бы и сладкозвучного Данте; грубая практическая борьба скандинавов и других народов, начиная от Одина до Уолтера Рэли, от Ульфила до Кранмера, дала возможность заговорить Шекспиру. Да, появление совершенного поэта, как я говорю это уже не в первый раз, служит признаком того, что эпоха, породившая его, достигла своего полного развития и завершается; что в скором времени наступит новая эпоха, понадобятся новые реформаторы.

Несомненно, было бы много приятнее, если бы человечество могло совершать весь свой жизненный путь под аккомпанемент *музыки*, если бы нас могли обуздывать и просвещать наши поэты, подобно тому, как



в древние времена Орфей укрощал диких зверей. Или, если уж такой ритмический *музыкальный* путь невозможен, то как хорошо было бы, если бы мы могли двигаться, по крайней мере, по *гладкому* пути: я хочу сказать, если бы для постоянного движения человеческой жизни было достаточно одних *мирных* пастырей, действующих в реформаторском духе изо дня в день! Но в действительности жизнь совершается не так: даже последнего рода желание до сих пор еще не находит себе удовлетворения. Увы, воинствующий реформатор также время от времени представляет необходимое и неизбежное явление. В препятствиях никогда не бывает недостатка: даже то, что служило некогда необходимою поддержкою в деле развития, становится со временем помехой; отсюда — настойчивая потребность сбросить с себя все эти путы, высвободиться из них и оставить их далеко позади себя — дело, представляющее часто громадные затруднения. Конечно, весьма *знаменательно*, каким образом известная теорема или, так сказать, религиозное представление, признанное некогда всем миром и вполне удовлетворявшее во всех своих частях в высокой степени логический и проницательный ум Данте, один из величайших умов в мире, — начинает в последующие столетия возбуждать сомнение среди заурядных умов; каким образом оно начинает критиковаться, оспариваться и в настоящее время каждому из нас представляется решительно невероятным, устарелым, подобно древнескандинавскому верованию! Для Данте человеческая жизнь и путь, которым Господь ведет людей, находили себе вполне точное изображение в злых щелях, чистилищах, а для Лютера уже нет. Каким образом произошло это? Почему не мог продолжаться дантовский католицизм и неизбежно должен был наступить лютеровский протестантизм? Увы! Ничто не будет вечно *продолжаться*.

Я не придаю особого значения "развитию видов", как о нем толкуют теперь, в наши времена, и не думаю, чтобы вас особенно интересовали разные толки на этот счет, толки весьма часто самого неопределенного, самого нелепого характера. Однако я должен заметить, что указываемый при этом факт представляется сам по себе довольно достоверным: мы можем даже проследить неизбежную необходимость его, вытекающую из самой природы вещей. Всякий человек, как я уже утверждал в другом месте, не только изучает, но и действует: присущим ему умом он изучает то, что было, и благодаря тому же уму делает дальнейшие открытия, изобретает и выдумывает нечто из самого себя. Нет человека, абсолютно лишённого оригинальности; нет человека, который верил бы или мог бы верить неизменно в то же самое, во что верил его дед. Каждый человек благодаря последующим открытиям приобретает более широкий взгляд на мир, вместе с чем расширяется и его теорема мира. Этот мир — *бесконечный* мир, и потому никакой взгляд, никакая теорема, какой угодно мыслимой широты, не могут всецело и окончательно охватить его: человек несколько расширяет, говорю я, свое мировоззрение, находит кое-что из того, во что верили его деды, невероятным для себя, ложным, несогласным с новыми открытиями и наблюдениями, произведенными им. Такова история каждого отдельного человека; в истории же человечества мы видим, как подобные истории суммируются в великие исторические итоги — революции, новые эпохи. Дантовой

горы Чистилища *нет* уже более ”в океане другого полушария” с тех пор, как Колумбу удалось побывать там. Люди не нашли в этом другом полушарии ничего похожего на такую гору. Ее не оказалось там. Волей-неволей людям приходится оставить свое верование в то, что она там. То же самое происходит и со всеми верованиями, каковы бы они ни были, со всеми системами верований и системами практической деятельности, возникающими из них.

Прибавим еще к этому грустному факту, что раз известная вера теряет свою достоверность, то и поступки, обуславливаемые ею, становятся также лживыми, худосочными, что заблуждения, несправедливости, несчастья начинают тогда повсюду давать себя чувствовать все сильнее и сильнее, и мы получаем достаточный материал для катаклизма. При каких угодно условиях человек для того, чтобы *действовать* с полной уверенностью, должен горячо верить. Если он во всяком отдельном случае испытывает необходимость обращаться к мнению света, если он не может обходиться без этого и, таким образом, порабощает свое собственное мнение, то он — жалкий слуга, работающий из-под палки; труд, порученный ему, будет *скверно* сделан. Такой человек каждым своим шагом приближает наступление неизбежного крушения. Всякое дело, за которое он возьмется и которое он делает бесчестно, со взором, обращенным на внешнюю сторону предмета, является новой неправдой, порождающей новое несчастье для того или другого человека\*. Неправды накапливаются и в конце концов становятся невыносимыми; тогда происходит взрыв, и они насильственным образом ниспровергаются, сметаются прочь. Возвышенный католицизм Данте, подорванный уже в теории и еще более обезображенный сомневающейся лицемерной, бесчестной практикой, разрывается надвое рукою Лютера; а благородный феодализм Шекспира, как прекрасен он ни казался некогда и как прекрасен он ни был в действительности, находит свою неизбежную гибель во Французской революции. Накопившиеся неправды, как мы говорим, буквально *взрываются*, разметываются по сторонам вулканической силой; и наступают долгие, беспокойные периоды, прежде чем в жизни снова установится определенный порядок.

Конечно, довольно плачевную картину представит нам история, если мы обратим внимание исключительно на эту сторону жизни и во всех человеческих мнениях и системах станем усматривать один только тот факт, что они были недостоверны, проходящи, что они подлежали закону смерти! В сущности, это не так: всякая смерть постигает и в данном случае лишь тело, а не самую суть или душу; всякое разрушение, причиняемое насильственной революцией или каким-либо другим способом, есть лишь новое творение в более широком масштабе. Одиночество было воплощением *отваги*, христианство — *смирения*, то есть более благородного рода отваги. Всякая мысль, раз человек искренне признавал ее в своем сердце истинной, всегда *была* честным проникновением со стороны человека в истину Бога, всегда *заключала* в себе настоящую истину, непреходящую, несмотря на всяческие изменения, и составляет вечное достояние для всех нас. А с другой стороны, какое жалкое понимание обнаруживает тот, кто представляет себе, что все люди во всех странах и во все времена, исключая наше, растрачивали свою жизнь

в слепом и презренном заблуждении, что язычники-скандинавы, мусульмане погибали лишь для того, чтобы одни только мы могли достигнуть истинного конечного знания! Целые поколения погибли, все люди заблуждались для того только, чтобы существующая ныне незначительная горсть могла быть спасена, чтобы она могла знать правду! Все они, начиная с сотворения мира, шли в качестве авангарда вперед, подобно тому, как шли русские солдаты в ров Швейднитского форта\*, чтобы заполнить его своими мертвыми телами и доставить, таким образом, нам возможность перейти через ров и занять позицию! Это невероятная гипотеза.

И мы знаем, с какою жестокою энергией люди отстаивали подобную невероятную гипотезу: какой-нибудь жалкий человек с сектой своих приверженцев готов был шагать через мертвые тела всех людей, направляясь будто бы к верной победе; но что сказать о нем, если и он со своей гипотезой и своим конечным непогрешимым сгедо также провалился в ров и стал в свою очередь мертвым телом? Впрочем, человек по самой природе своей — и это составляет весьма важный факт — имеет тенденцию считать собственное воззрение окончательным и держаться за него, как за таковое. Он будет всегда, думаю я, так поступать, всегда так или иначе утверждать то же самое; но необходимо делать это более разумным образом, необходимо обнаруживать более широкое понимание. Разве все люди, живущие и когда-либо жившие, составляют не одну армию, собранную для того, чтобы под началом небес дать битву одному и тому же общему врагу — царству тьмы и неправды? Зачем же нам отказываться друг от друга, зачем сражаться не против врага, а друг против друга из-за пустой разницы в своих мундирах? Всякий мундир будет хорош, если только его носит истинно храбрый человек. Всевозможного рода мундиры и всякого рода оружие — арабский тюрбан и легкая сабля или могучий молот Тора, поражающий ётунов, — все окажется хорошим, все будет желанным оружием. Воинственный призыв Лютера, марш-мелодия Данте, все неподдельное, все это за нас, а не против нас. У всех нас один и тот же вождь; мы солдаты одной и той же армии... Бросим же теперь беглый взгляд на сражение, данное Лютером. В чем состояла битва и как он вел себя в ней? Лютер был также одним из наших героев — пророком своей страны и своего времени.

В качестве вступления ко всему последующему, быть может, уместно будет сделать здесь некоторые замечания относительно идолопоклонства. Одну из характерных особенностей Магомета, особенность, свойственную в действительности всем пророкам, составляет его безграничная, непримиримая ненависть к идолопоклонству. Идолопоклонство, поклонение мертвому идолу как божеству — это неисчерпаемая тема в устах пророков, вопрос, от которого они не могут никуда уйти, предмет, на который они должны постоянно указывать и который должны клеймить с неумолимым осуждением как величайший грех из всех грехов, какие только совершаются на земле. Этот факт, во всяком случае, стоит отметить. Мы не станем касаться здесь теологической стороны в вопросе об идолопоклонстве. Идол есть *eidolon*, что означает вещь видимую, символ. Это — не бог, а — символ бога. Да и существовал ли в самом деле когда-либо такой смертный, объятый самой непроглядной

тмой, который видел бы в идоле нечто большее, чем простой символ? Человек никогда не думал, как я себе представляю, чтобы жалкое изображение, созданное его собственными руками, *было* богом; он полагал лишь, что это изображение служит символом его бога, что бог тем или иным образом присутствует в нем. И в этом смысле можно спросить, не является ли всякое поклонение поклонением через посредство символов, *eidola*, видимых вещей; причем нет существенной разницы в том, доступно ли это *видимое* нашему телесному глазу благодаря изображению или картине, или же оно остается доступным лишь внутреннему глазу, воображению, уму: это различие второстепенного порядка. Нечто видимое, означающее божество, идол, остается в обоих случаях. Самый строгий пуританин имел свое исповедание веры и свое отвлеченное представление о божественном, поклонялся посредством такого представления; благодаря только этому последнему для него вначале становится возможным самое поклонение. Все догматы, ритуалы, обряды, концепции, в которые выливаются религиозные чувства, в этом смысле представляют *eidola*, видимые вещи. Всякое поклонение, каково бы оно ни было, неизбежно совершается при помощи символов, идолов, и мы можем сказать, что идолопоклонство — дело относительное и что худшее идолопоклонство представляет собою только, так сказать, *более* идолопоклонническое идолопоклонство.

В чем же заключается в таком случае зло, проистекающее из идолопоклонства? Известное фатальное зло должно заключаться в нем — это несомненно; иначе серьезные, вдохновленные даром пророчества люди не обрушивались бы на него со всех сторон. Отчего идолопоклонство так ненавистно пророкам? Мне кажется, что главное обстоятельство, возмущавшее пророков в поклонении этим жалким деревянным символам и наполнявшее их душу негодованием и отвращением, было в действительности не то, какое признавали они в сердце своем и на которое указывали, обращаясь к другим людям. Самый последний язычник, поклоняющийся Канопусу или Черному камню Каабы, даже он, как мы видели, стоит выше лошади, не поклоняющейся вовсе ничему. Да, в его жалком поступке сказывается вовсе не случайное благородство. Мы до сих пор считаем благородством аналогичные проявления у поэтов, а именно: признание известной бесконечной *божественной* красоты и значения в звездах и во всех предметах природы, каковы бы они ни были. За что же пророк так беспощадно осуждал этого бедного язычника? Самый последний смертный, раз только он поклоняется своему фетишу от полноты своего сердца, может быть предметом сожаления, презрения, отвращения, если вам угодно, но никоим образом не ненависти. Пусть его сердце действительно будет исполнено искреннего поклонения, — и все тайники его темной и маленькой души осветятся; одним словом, пусть он всецело *верит* в свой фетиш, и тогда, я сказал бы, ему будет, если не совсем хорошо, то так хорошо, как только ему может быть хорошо, и вы оставите его в покое, не станете его тревожить.

Так и было бы на самом деле, если бы не одно фатальное для идолопоклонства обстоятельство, дающее себя чувствовать в такие моменты, именно тот факт, что в эпоху пророков ни одна человеческая душа не верит уже искренне в своего идола или в свой символ. Пророк,

видящий дальше этого идола и знающий, что он только кусок дерева, может появиться, когда темное сомнение закралось уже в души многих людей и сделало свое дело. Заслуживает осуждения лишь *неискреннее* идолопоклонство. Сомнение уничтожает самую сердцевину поклонения, и человеческая душа судорожно хватается за ковчег завета, который, как она это наполовину сознает, превратился уже в фантом. Это — одно из самых грустных зрелищ. Фетиш не *наполняет* уже более людских сердец; у людей остается одно только притязание, что они будто бы верят; они хотели бы убедить себя, что они действительно верят. "Вы не верите, — сказал Колридж, — вы верите только тому, что верите". Таков последний акт всякой символизации и всякого поклонения, верный признак, что смерть не за горами. В наше время подобную роль играет так называемый формализм, поклонение форме. Нет человеческого деяния более безнравственного, чем этот формализм, ибо он — начало всякой безнравственности или, вернее, невозможности с момента его появления какой бы то ни было нравственности: он парализует моральную жизнь духа в самой сокровенной глубине ее, повергает ее в фатальный магнетический сон. Люди перестают быть *искренними* людьми. Я несколько не удивляюсь, что серьезный человек отвергает его всеми силами своей души, клеймит и преследует его с неистощимым отвращением. Он и формализм, все хорошее и формализм находятся в смертельной вражде. Позорным идолопоклонством является *ханжество*, и даже такое ханжество, которое можно назвать искренним. Над этим стоит подумать! Такова, однако, завершающая фаза всякого культа поклонения.

Я нахожу, что Лютер в деле ниспровержения идолов занимает такое же место, как и всякий другой пророк. Деревянные боги курейшитов, сделанные из досок и воска, были в такой же мере ненавистны Магомету, как Лютеру индульгенции Тецеля, сделанные из овечьей кожи и чернил. Характерную особенность всякого героя во всякое время, во всяком месте, во всяком положении и составляет именно то, что он возвращается назад к действительности, что он опирается на самые вещи, а не на их видимость. Поэтому насколько он любит и почитает внушающий благоговейный ужас реальный мир вещей (может ли он при этом отчетливо изложить свое верование, или же оно остается невысказанным в глубине его мысли — все равно), настолько для него несносны и отвратительны пустые призраки, хотя бы они были систематизированы, приведены в приличный вид и удостоверены курейшитами или конклавами. Протестантизм также есть дело рук пророка: пророка XVI столетия. Это первый удар, нанесенный в открытом бою и возвещающий падение древнего верования, ставшего лживым и идолопоклонническим, — подготовка исподволь нового порядка, который будет истинным и подлинно божественным!

С первого взгляда может показаться, будто бы протестантизм оказал крайне губительное влияние на то, что мы называем почитанием героев и что считаем основой всякого возможного блага, социального и религиозного, в интересах человечества. Протестантизм, говорят многие, составляет совершенно новую эру, радикально отличающуюся от всех, пережитых до тех пор миром: эру "личного суждения", как называют ее. Благодаря этому возмущению против папы всякий человек сам

стал себе папой и просветился, между прочим, в том отношении, что он никогда не должен более верить в какого бы то ни было папу или духовного героя-руководителя! Отсюда с этих пор становится невозможным какое бы то ни было духовное единение, иерархия и субординация между людьми. Так утверждают. Я, с своей стороны, не считаю нужным отрицать, что протестантизм действительно был возмущением против духовных авторитетов: папского и многих иных. С еще большей охотой соглашусь я с тем, что английский пуританизм, это восстание против светских авторитетов, представлял второй акт великой общечеловеческой драмы; что сама ужасающая Французская революция была третьим актом, которым, как могло казаться, упразднились всякие вообще авторитеты, светские и духовные: по крайней мере, эти последние были уверены в своем упразднении. Протестантизм — корень огромных размеров; из него растет и ветвится вся наша последующая европейская история. Ибо светская история человечества всегда будет представлять собою воплощение его верований; духовное есть начало светского. И действительно, в настоящее время невозможно отрицать тот факт, что повсюду раздаются крики о свободе, равенстве, независимости и т. д., что повсюду вместо *королей* — баллотировочные ящики и голоса избирателей, и может казаться, что настало время, когда всякий авторитет героя, всякое лояльное подчинение человека человеку в светских или духовных делах исчезли навеки из нашего мира. Я совершенно разубедился бы в мире, если бы это было так. Одно из моих глубочайших убеждений, однако, что это не так. Без авторитетов, истинных авторитетов, светских или духовных, на мой взгляд, возможна одна только анархия, ненавистнее которой нельзя представить себе ничего. Но как бы ни была анархична демократия, породившая протестантизм, я считаю этот последний началом нового истинного верховенства и порядка. Я нахожу, что протестантизм был возмущением против *ложных* авторитетов, первым, предварительным, правда, мучительным, но необходимым шагом к тому, чтобы *истинные* авторитеты заняли наконец свое место среди нас! Поясним несколько нашу мысль.

Прежде всего я замечу, что так называемое "личное суждение" не заключает в себе, в сущности, ничего нового, — оно ново лишь для данной эпохи мировой истории. По существу, вся Реформация не представляет ничего нового и особенного; она была возвращением к истине и действительности в противоположность царившим лжи и видимости, возвращением, каким всегда является всякое прогрессивное движение, всякое истинное учение. Свобода личного суждения, если мы надлежащим образом будем понимать ее, неизбежно должна была существовать во всякую пору в мире. Данте не выкалывал себе глаз, не налагал на себя оков; нет, он чувствовал себя как дома в атмосфере своего католицизма и сохранял при этом свою свободную провидящую душу, хотя многие жалкие Гогстратены, Тецели, доктора Экки стали впоследствии рабами его. Свобода суждения! Никакая железная цепь, никакая внешняя сила никогда не могли принудить человеческую душу верить или не верить: суждение человека есть его собственный неотъемлемый свет; в этой области он будет царить и веровать по милости единого Бога! Ничтожный, жалкий софист Беллармин, проповедующий слепую веру и пассив-

ное повиновение, должен был сначала, путем некоторого рода *убеждения*, отказаться от своего права быть убеждаемым. Его "личное суждение" остановилось на этом, как на наиболее подходящем для него, шаге. Право личного суждения будет существовать в полной силе повсюду, где только будут встречаться истинные люди. Истинный человек *верит* по своему полному разумению, по силе света, который он носит в себе, и способности понимать, присущей ему, и так он всегда верил. Фальшивый человек, который силится только "убедить себя, что он верит", будет поступать, конечно, иначе. Протестантизм сказал этому последнему: *горе тебе!* — а первому: *прекрасно делаешь!* В сущности, в этих словах нет ничего нового; они знаменовали возврат к старым словам, которые искони веков говорились. Будьте непосредственны, будьте искренни: таков, еще раз повторяю, весь смысл протестантизма. Магомет верил по всей силе своего разумения, а Один по всей силе своего разумения, — он и все *истинные* последователи единизма. Они, по своему личному разумению, "рассудили" так.

Теперь я решаюсь утверждать, что личное суждение, законным образом применяемое, отнюдь не ведет неизбежно к эгоистической независимости, отчужденности, но, скорее, приводит в силу самой необходимости как раз к противоположному результату. Анархию порождает вовсе не стремление к открытому исследованию, а заблуждение, неискренность, полуправда и недоверие. Человек, протестующий против заблуждения, находится на правильном пути, который приводит его к единению со всеми людьми, исповедующими истину. Единение между людьми, верующими в одни только ходячие фразы, в сущности, немислимо. Сердце у каждого из них остается мертвым; оно не чувствует никакой симпатии к *вещам*, — иначе человек верил бы в *них*, а не в ходячие фразы. Да, ни малейшей симпатии даже к *вещам*, что же говорить о симпатии к людям, себе подобным! Он вовсе не может находиться в единении с людьми; он анархичный человек. Единение возможно только среди искренних людей, — и здесь оно осуществляется в конце концов *неизбежно*.

Обратите внимание на одно положение, слишком часто игнорируемое или даже совершенно упускаемое из виду в этом споре, а именно, что нет никакой необходимости, чтобы человек сам *открывал* ту истину, в которую он затем верит, и притом как бы *искренне* он ни верил в нее. Великий человек, мы сказали, бывает всегда искренним человеком, и это первое условие его величия. Но чтобы быть искренним, не обязательно вовсе быть великим. Природа и время вообще не знают такой необходимости; она имеет место лишь в известные злополучные эпохи всеобщей развращенности. Человек может усвоить и затем переработать самым искренним образом в свое собственное достояние то, что он получает от другого, и чувствовать при этом беспредельную благодарность к другому! Все достоинство *оригинальности* не в новизне, а в искренности. Верующий человек — оригинальный человек; во что бы он ни верил, он верит в силу собственного разумения, а не в силу разумения другого человека. Каждый сын Адама может быть искренним человеком, оригинальным в этом смысле; и нет такого смертного, который был бы осужден на неизбежную неискренность. Целые эпохи, называ-

емые нами "веками веры", оригинальны; все люди в такие эпохи или большинство их искренни. Это — великие и плодотворные века; всякий работник, во всякой сфере работает тогда на пользу не призрачного, а существенного; всякий труд приводит к известному результату; общий итог таких трудов велик; ибо все в них, как неподдельное, стремится к одной цели; всякий труд дает новое приращение, и ничто не причиняет убытка. Здесь — истинное единение, истинно царская преданность во всем величии, все истинное и блаженное, насколько бедная земля может дать блаженство людям.

Почитание героев? О, конечно, раз человек самостоятелен, оригинален, правдив или как бы там иначе мы ни называли его, значит, он дальше всякого другого в мире от нежелания воздать должную дань уважения и поверить в истину, провозглашаемую другими людьми. Все это располагает, побуждает и непреодолимо заставляет его *не* верить лишь в мертвые формулы других людей, в ходячие фразы и неправду. Человек проникает в истину, если его глаза открыты и благодаря только тому, что его глаза открыты: неужели ему нужно закрывать их для того, чтобы полюбить своего учителя истины? Только он и может, собственно, любить с искренней благодарностью и неподдельной преданностью сердца героя-учителя, освобождающего его из мрака и возвещающего ему свет. Разве, действительно, такой человек не является истинным героем и укротителем змей, достойным глубокого почтения? Черное чудовище, ложь, наш единственный враг в этом мире, лежит поверженное благодаря его доблести. Это именно он завоевал мир для нас! Посмотрите, разве люди не почитали самого Лютера как *настоящего* папу, как своего духовного отца, ибо он в действительности и был таким отцом? Наполеон становится властителем среди перешедшего всякие границы возмущения санкюлотизма\*. Почитание героев никогда не умирает и не может умереть. Преданность и авторитетность вечны в нашем мире; и это происходит оттого, что они опираются не на внешность и прикрасы, а на действительность и искренность. Ведь не с закрытыми же глазами вы вырабатываете свое "личное суждение"; нет, напротив, открыв их как можно пошире и устремив на то, что можно видеть! Миссия Лютера состояла в ниспровержении всяких ложных пап и властелинов, но вместе с тем она возвещала грядущую жизнь и силу, хотя бы и в отдаленном будущем, новых, настоящих авторитетов.

Все эти свободы и равенства, избирательные урны, независимости и так далее мы будем считать, следовательно, явлениями временного характера; это вовсе еще не последнее слово. Хотя таковой порядок продлится, по-видимому, долгое время и он дарит всех нас довольно печальной путаницей, тем не менее мы должны принять его как наказание за наши прегрешения в прошлом, как залог неопенимых благ в будущем. Люди понимают, что они должны на всех путях жизни оставить призраки и возвратиться к факту, должны, чего бы это ни стоило. Что можете вы сделать с подставными папами и с верующими, отказавшимися от личного суждения, с шарлатанами, претендующими повелевать олухами? Одно только горе и злополучие! Вы не можете образовать никакого товарищества из неискренних людей; вы не можете соорудить здания без помощи свинцового отвеса и уровня: под *прямыми*



углом один к другому! Все это революционное движение, начиная с протестантизма, подготавливает, на мой взгляд, один благодетельнейший результат: не уничтожение культа героев, а скорее, сказал бы я, целый мир героев. Если герой означает *искреннего человека*, почему бы каждый из нас не мог стать героем? Да, целый мир, состоящий из дюдей искренних, верующих; так было, так будет снова, иначе не может быть! Это будет мир настоящих поклонников героев: нигде истинное превосходство не встречает такого почитания, как там, где все — истинные и хорошие люди! Но мы должны обратиться к Лютеру и его жизни.

Лютер родился в Эйслебене, в Саксонии; он явился на свет Божий 10 ноября 1483 года. Такая честь выпала на долю Эйслебена благодаря одному случаю. Родители реформатора были бедные рудокопы; они проживали в небольшой деревеньке Мора, близ Эйслебена, и пришли в город на зимнюю ярмарку. Среди ярмарочной толкотни жена Лютера почувствовала приступы родов; ее приютили в одном бедном доме, и здесь она родила мальчика, который и был назван *Мартинусом Лютером*. Обстановка довольно странная, она наводит на многие размышления. Эта бедная фрау Лютер, — она пришла с мужем, руководимая своими мелкими нуждами; пришла, чтобы продать, быть может, моток ниток, высученных ею, и купить какие-либо необходимые по зимнему времени мелочи для своего скудного домашнего обихода; в целом мире в этот день, казалось, не было пары людей более ничтожной, чем наш рудокоп и его жена. И однако, что в сравнении с ними оказались все императоры, папы и властелины? Здесь родился, еще раз, могущественный человек; свету, исходившему из него, предстояло пылать, подобно маяку, в течение долгих веков и эпох; весь мир и его история ожидали этого человека. Странное дело, великое дело. Мне невольно вспоминается другой исторический момент, другое рождение при обстановке еще более убогой, восемнадцать веков тому назад. Но как жалки всякие слова, какие мы можем сказать по поводу этого рождения, и потому нам подобает не *говорить* о нем, а только думать в молчании! Век чудес прошел? Нет, век чудес существует постоянно!

Лютер родился в бедности, рос в бедности и был вообще одним из самых бедных людей; я нахожу, что все это вполне соответствовало его назначению здесь, на земле, и что все это было разумно предусмотрено Провидением, которое руководило им, как оно руководит нами и всем миром. Ему приходилось нищенствовать, ходить от двери к двери и петь ради куска хлеба, как делали школьники в те времена. Тяжелая, суровая необходимость была спутником бедного мальчика; ни люди, ни обстоятельства не считали нужным прикрываться ложной маской, чтобы потворствовать Мартину Лютеру. Он рос, таким образом, не среди призраков, а среди самой действительности жизни. Будучи слабым ребенком, хотя грубая внешность его производила иное впечатление, с душой алчущей и широкообъемлющей, богато одаренной всякими способностями и чувствительностью, он сильно страдал. Но перед ним стояла определенная задача: ознакомиться с *действительностью*, чего бы это ни стоило, и вынесенные таким образом познания сделать своим неотъемлемым достоянием; перед ним стояла задача вернуть весь мир назад к действительности, ибо он слишком уж долго жил призрач-

ностью! Юношу вскормили зимние вьюги; он рос среди безнадежного мрака и лишений, чтобы в конце концов выступить из своей бурной Скандинавии сильным, как истый человек, как христианский Один, настоящий Тор, явившийся еще раз со своим громовым молотом, чтобы паразитировать довольно-таки безобразных *этунгов* и гигантов-монстров.

Поворотным моментом в его жизни, по-видимому, была, как мы можем легко себе представить, смерть друга Алексиса, убитого молнией у ворот Эрфурта. Хорошо ли, худо ли, но все отрочество Лютера протекло в жестокой борьбе; однако, несмотря на всевозможного рода препятствия, его необычайно сильный ум, жаждавший познания, скоро сказался, и отец Мартина, понявший, несомненно, что сын его мог бы проложить себе дорогу в свет, отправил его изучать право. Таким образом, перед Лютером открывалась широкая дорога. Не чувствуя особенного влечения к какой-либо определенной профессии, он согласился на предложение отца; ему было тогда девятнадцать лет от роду. Однажды Мартин вместе с другом Алексисом отправился навестить своих престарелых родителей, живших в Мансфельде; на обратном пути близ Эрфурта их настигла грозная буря; молния ударила в Алексиса, и он упал мертвым к ногам Лютера. Что такое наша жизнь, жизнь, улетающая в один миг, сгорающая, как свиток, уходящая в черную пучину вечности? Что значат все земные отличия, канцлерское и королевское достоинства? Они вдруг никнут и уходят туда! Земля разверзается под ними; один шаг, — их нет, и наступает вечность. Лютер, пораженный до глубины сердца, решил посвятить себя Богу, исключительно служению Богу. Несмотря на все доводы отца и друзей, он поступил в эрфуртский монастырь августинцев.

Это событие представляло, вероятно, первую светлую точку в жизни Лютера; воля его в первый раз выразилась в своем чистом виде, и выразилась решительным образом; но это была пока всего лишь единая светлая точка в атмосфере полного мрака. Он говорит о себе, что был благочестивым монахом: *ich bin ein frommer Mönch gewesen!* — что он честно, не жалея трудов, боролся, стремясь осуществить на самом деле воодушевлявшую его возвышенную идею; но это мало его удовлетворяло. Его страдания не утихли, а скорее возросли до бесконечности. Не тяжелые работы, не подневольный труд всякого рода, который ему приходилось нести на себе, как послушнику монастыря, отягощали его; — нет, глубокоую и пылкую душу этого человека обуревали всевозможного рода мрачные сомнения и колебания; он считал себя, по-видимому, обреченным на скорую смерть и еще на нечто гораздо худшее, чем смерть. Наш интерес к бедному Лютеру усиливается, когда мы узнаем, что в это время он жил в ужасном страхе перед невыразимым бедствием, ожидавшим его: он думал, что осужден на вечное проклятие. Не говорит ли подобное самосознание о кротости и искренности человека? Что такое был он и на каком основании ему можно было рассчитывать на Царство Небесное! Он, который знал одно только горе и унижительное рабство. Весть, возвещенная ему относительно спасения, была слишком благою, чтобы он мог поверить ей. Он не мог понять, каким образом человеческая душа может быть спасена благодаря постам, бдениям, формальностям и мессам? Он испытывал страшную муку и блуждал, теряя равновесие, над краем бездонного отчаяния.

Около этого времени ему попала под руку в эрфуртской библиотеке старая латинская Библия. Конечно, это была для него счастливая находка. Он никогда до тех пор не видел Библии. Она научила его кое-чему другому, чем посты и бдения. Один из братьев-монахов благочестивого поведения также оказал ему поддержку. Теперь Лютер уже знал, что человек был спасен благодаря не мессам, а бесконечной милости Господа: предположение, во всяком случае, более вероятное. Постепенно он окреп в своих мнениях и стал чувствовать себя как бы прочно утвердившимся на скале. Нет ничего удивительного, что он глубоко чтит Библию, принесшую ему такое несказанное счастье. Он ценил ее, как может ценить подобный человек слово Всевышнего, и решил руководствоваться ею во всем, чему неуклонно и следовал в течение всей своей жизни, до самой смерти.

Таким образом, для него рассеялась, наконец, тьма; это было его полное торжество над тьмой, его, как выражаемся мы, обращение; для него же лично — самая важная эпоха в жизни. С этих пор, само собою разумеется, спокойствие и ясность его духа должны были все возрастать; его великие таланты и добродетели — получать все больший вес и значение, сначала в монастыре, а затем во всей стране, и сам он становится все более и более полезным на всяком честном поприще жизни; все это составляло лишь естественный результат совершившегося в нем переворота. И действительно, августинский орден возлагает на него разные поручения как на талантливого и преданного человека, способного успешно работать на пользу общего дела; курфюрст саксонский Фридрих, прозванный Мудрым, и поистине мудрый и справедливый государь, обращает на него свое внимание как на человека выдающегося, делает его профессором в новом Виттенбергском университете, а вместе с тем и проповедником в Виттенберге. Честным исполнением своих обязанностей, как и вообще всякого дела, за которое он брался, Лютер завоевывает себе в спокойной атмосфере общественной жизни все большее и большее уважение со стороны всех честных людей.

Рим Лютер посетил в первый раз, когда ему было двадцать семь лет; он был послан туда, как я сказал, с поручением от своего монастыря. Папа Юлий II и вообще все то, что происходило тогда в Риме, должны были поразить ум Лютера и наполнить душу его изумлением. Он шел сюда, как в святой город, он шел к трону Божьего первосвященника на земле; и он нашел... мы знаем, что он нашел! Массу мыслей, несомненно, породило все виденное в голове этого человека, мыслей, из которых о многих не сохранилось никаких свидетельств, а многие, быть может, он даже сам не знал, как высказать. Этот Рим, эти лицемерные священники, блиставшие не красой святости, а своими пышными одеждами, все это — *фальшь*; но что за дело до этого Лютеру? Разве он, ничтожный человек, может реформировать весь мир? Он был далек от подобных мыслей. Скромный человек, отшельник, с какой стати ему было вмешиваться в дела мира сего? Это — задача людей несравненно более сильных, чем он. Его же дело — мудро направлять свои собственные стопы по пути жизни. Пусть он хорошо исполняет это незаметное дело; все же остальное, как бы ужасно и зловеще ни казалось оно, — в руках Бога, а не его.

Любопытно знать, какие получились бы результаты, если бы римское папство не затронуло Лютера, если бы оно, двигаясь по своей великой разрушительной орбите, не пересекло под прямым углом его маленькой стези и не вынудило его перейти в наступление. С достаточной вероятностью можно допустить, что в таком случае он не вышел бы ввиду злоупотреблений Рима из своего мирного настроения, предоставляя Провидению и Богу на небесах считаться с ними! Да, это был скромный, спокойный человек, нескорый на решение выступить в непочтительную борьбу с авторитетными лицами. Перед ним, говорю я, стояла определенно и ясно его собственная задача: исполнять свой долг, направлять свои собственные шаги по правильному пути в этом мире темного беззакония и сохранить живой свою собственную душу. Но римское первосвященство встало прямо перед ним на пути: даже там, далеко, в Виттенберге, оно не оставляло его, Лютера, в покое. Он делал представления, не уступал, доходил до крайностей; его отлучили, и снова отлучили, и таким образом дело дошло до вызова на борьбу. Этот момент в истории Лютера заслуживает особенного внимания. Не было, быть может, в мире другого человека, столь же кроткого и покойного, который вместе с тем наполнил бы мир такой распрей! Никто не может отрицать, что Лютер любил уединение, тихую, трудовую жизнь, любил оставаться в тени, что в его намерения вовсе не входило сделаться знаменитостью. Знаменитость, — что значила для него знаменитость? Целью, к которой он шел, совершая свой путь в этом мире, были бесконечные небеса, и он шел к этой цели без малейших колебаний и сомнений: в течение нескольких лет он должен или достигнуть ее, или навеки утратить ее из виду! Мы не станем ничего говорить здесь против той плачевнейшей из всех теорий, которая ищет объяснения гнева, впервые охватившего сердце Лютера и породившего в конце концов протестантскую Реформацию, в закоренелой, чисто торгашеской злобе, существовавшей между августинцами и доминиканцами. Тем же, кто придерживается еще и в настоящее время такого мнения, если только подобные люди существуют, мы скажем: подымитесь сначала несколько повыше, подымитесь в сферу мысли, где можно было бы судить о Лютере и вообще о людях, подобных ему, с иной точки зрения, чем безумие, тогда мы станем спорить с вами.

Но вот Виттенберг посетил монах Тецель и стал вести здесь свою скандальную торговлю индульгенциями. Его послал на торговое дело папа Лев X, заботившийся об одном только — как бы собрать хоть немного денег, а во всем остальном представлявший собою, по-видимому, скорее язычника, чем христианина, если только он вообще был чем-либо. Прихожане Лютера также покупали индульгенции и затем заявляли ему в исповедальной комнате, что они уже запаслись прощением грехов. Лютер, если он не хотел оказаться человеком лишним на своем посту, лжецом, тунеядцем и трусом даже в той маленькой среде, центр которой он составлял и которая была подвластна ему, должен был выступить против индульгенций и громко заявить, что *они* — пустяки, прискорбная насмешка, что никакой человек не может получить через *них* прощения грехов. Таково было начало всей Реформации. Мы знаем, как она развивалась, начиная с этого первого публичного вызова, бро-

шенного Тецелю, и до последнего дня в октябре 1517 года, путем увещаний и доводов, распространяясь все шире, подымаясь все выше, пока не хлынула наконец неудержимой волной и не охватила весь мир. Лютер всем сердцем своим желал потушить эту беду, равно как и разные другие беды; он все еще был далек от мысли доводить дело до раскола в церкви, до возмущения против папы, главы христианства. Элегантный папа-язычник, не обращавший особенного внимания на самого Лютера и его доктрину, решил, однако, положить конец шуму, который тот производил; в продолжение трех лет он испытывал разные мягкие средства и в конце концов признал за лучшее прибегнуть к *огню*. Он осудил писания беспокойного монаха на сожжение через палача, а самого его повелел привезти связанного в Рим, намереваясь, вероятно, и с ним поступить подобным же образом. Так именно погибли столетием раньше Гус, Иероним. Огонь — короткий разговор. Бедный Гус: он пришел на Констанцкий собор, заручившись всевозможными обещаниями относительно своей личной безопасности и приняв всевозможные меры предосторожности; он был человек серьезный, непричастный мятежному духу; они же немедленно бросили его в подземную каменную тюрьму, которая имела "три фута в ширину, шесть в высоту и семь в длину", они *сожгли* его, чтобы никто в этом мире не мог слышать его правдивого голоса; они удушили его в дыму и огне. Это было *не* хорошо сделано!

Я, с своей стороны, вполне оправдываю Лютера, что он на этот раз решительно восстал против папы. Элегантный язычник, со своим всеожигающим декретом, воспламенил благородный и справедливый гнев в самом отважном сердце, какое только билось в ту пору в человеческой груди. Да, это было самое отважное и вместе с тем самое кроткое, самое миролюбивое сердце; но теперь оно пылало гневом. Как! Я обратился к вам со словом истины и умеренности, я имел в виду законным образом, насколько человеческая немощ позволяет, содействовать распространению истины Божьей и спасению душ человеческих, а вы, наместники Бога на земле, отвечаете мне палачом и огнем! Вы хотите сжечь меня и слово, возвещенное мною, и таким образом ответить на послание, которое исходит от самого Бога и которое я пытался передать вам? *Вы* — не наместники Бога; вы — наместники кого-то другого! Так я думаю! Я беру вашу буллу: она — опергаментившаяся ложь; я сжигаю *ее*. Таков мой ответ, а вы вольны затем поступить, как признаете нужным. Свой исполненный негодования шаг Лютер совершил 10 декабря 1520 года, то есть три года спустя после возникновения конфликта: в этот именно день он сжег "при громадном стечении народа" декрет, возвещавший огонь, "у Эльстерских ворот Виттенберга". Виттенберг смотрел и издавал "клики". Весь мир смотрел. Папе не следовало вызывать этих "кликеров"! Это были возгласы, знаменовавшие пробуждение народов. Кроткое, невозмутимое сердце германца долго выносило безропотно выпадавшие на его долю невзгоды; но в конце концов их оказалось больше, чем оно могло вынести. Слишком долго властвовал над ним формализм, языческий папизм, всякого рода ложь и призраки: и вот еще раз нашелся человек, который осмелился сказать всем людям, что мир Божий держится не на призраках, а на реальностях, что жизнь — истина, а не ложь!

В сущности, как мы уже заметили выше, нам следует рассматривать Лютера как пророка, ниспровергающего идолов, как человека, возвращающего людей назад, к действительности. Такова вообще роль великих людей и учителей. Магомет говорил, обращаясь к своим соплеменникам: эти ваши идолы — дерево; вы обмазываете их воском и маслом, и мухи липнут к ним; они — не боги, говорю я вам, они — черное дерево! Лютер говорил, обращаясь к папе: то, что вы называете "отпущением грехов", представляет собою лоскут бумаги, сделанной из тряпки и исписанной чернилами, только лоскут, и больше ничего; такой же лоскут представляет и все то, что похоже на ваше "отпущение". Один только Бог может простить грехи. Что такое папство, духовное главенство в церкви Божьей? Разве это один пустой призрак, состоящий лишь из внешнего обличия и пергамента? Нет, это внушающий благоговейный ужас факт. Божья церковь не призрак, небеса и ад — не призрак. Я опираюсь на них; вы привели меня к этому. Опираясь на них, я, бедный монах, сильнее, чем вы. Я один, у меня нет друзей, но я опираюсь на истину самого Бога; вы же, с своими тиарами, тройными шляпами, со всеми своими сокровищами и арсеналами, небесными и земными громами, опираетесь на ложь дьявола! Вы вовсе не так сильны!

Рейхстаг в Вормсе и появление на нем Лютера 17 апреля 1521 года можно рассматривать как величайшее событие в современной европейской истории, как действительную исходную точку всей последующей истории цивилизации. После бесконечных переговоров и диспутов дело подходило, наконец, к развязке. В рейхстаге собрались: юный император Карл V, все немецкие принцы, папские нунции, духовные и светские власти; явился и Лютер, который должен был ответить самолично — отрекается он или нет от своих слов. По одну сторону восседали блеск и сила мира сего, по другую — стоял один только человек, вставший на защиту истины Божией, сын бедного рудокопа Ганса Лютера. Люди близкие уговаривали его не идти на заседание рейхстага, напоминали ему судьбу, постигшую Гуса, но он не внимал их словам. Наконец, когда он въезжал уже в город, к нему вышли навстречу его многочисленные друзья и еще раз предостерегали и горячо убеждали его отказаться от своего намерения. Но он ответил им: "Если бы в Вормсе было столько же чертей, сколько черепиц на кровлях, то и тогда я поехал бы". Поутру, когда Лютер шел на заседание рейхстага, окна и крыши домов были усеяны массой народа; некоторые обращались к нему и торжественно убеждали не отречься: "кто отринет меня перед людьми!" — кричали ему как бы в виде торжественного заклинания и просьбы. Не такова ли также была в действительности и наша мольба, мольба всего мира, томившегося в духовном рабстве, парализованного черным призраком кошмара, химерой в тройной шляпе, называющей себя отцом в Боге, и не молили мы также в то время: "Освободи нас; это зависит от тебя; не покидай нас!"

Лютер не покинул нас. Его речь, длившаяся два часа, отличалась искренностью и была исполнена благоразумия и почтительности; он не выходил из рамок подчинения всему тому, что законным образом могло требовать себе повиновения; но во всем остальном он не признавал

никакого подчинения. Все написанное им, сказал он, принадлежит отчасти лично ему, а отчасти позаимствовано им из Слова Божьего. Все, что принадлежит ему, несвободно от человеческих недостатков; тут, без сомнения, сказался и несдержанный гнев, и ослепление, и многое другое; и он почел бы для себя великим блаженством, если бы мог вполне освободиться от всего этого. Но что касается мыслей, опирающихся на действительную истину и Слово Божье, то от них отказаться он не может. И как бы он мог это сделать? "Опровергните меня, — заключил он свою речь, — доводами из Священного писания или какими-либо иными ясными и истинными аргументами; иначе я не могу отказаться от своих слов. Ибо небезопасно и неблагоприятно поступать против своей совести, в чем бы то ни было. Я стою здесь, перед вами. Говорю вам, я не могу поступать иначе; Бог да поможет мне!" Это был, сказали мы, величайший момент в современной истории человечества. Английский пуританизм, Англия и ее парламенты, Америка и вся громадная работа, совершенная человечеством в эти два столетия, Французская революция, Европа и все ее дальнейшее развитие до настоящего времени — зародыши всего этого лежат там: если бы Лютер в тот момент поступил иначе, все приняло бы другой оборот! Европейский мир требовал от него, так сказать, ответа на вопрос: суждено ли ему погрязать вечно, все глубже и глубже, во лжи, зловонном гниении, в ненавистной проклятой мертвечине, или же он должен, какого бы напряжения это ни стоило ему, отбросить от себя ложь, излечиться и жить?

Как известно, вслед за Реформацией наступили великие войны, распри, наступило всеобщее разъединение, и все это длилось до наших дней и в настоящее время далеко еще не завершилось вполне. По этому поводу было высказано великое множество разных суждений и обвинений. Несомненно, все эти распри представляют печальное зрелище; но, в конце концов, какое отношение имеют они к Лютеру и его делу? Странно возлагать ответственность за все на Реформацию. Когда Геркулес направил реку в конюшни царя Авгия, чтобы очистить их, то, я не сомневаюсь, всеобщее замешательство, вызванное таким необычайным обстоятельством, было немалое, но я думаю, что в этом повинен был не Геркулес, а кое-кто другой! С какими бы тяжелыми последствиями ни была сопряжена Реформация, она должна была совершиться, она просто-напросто не могла не совершиться. Всем папам и защитникам пап, укоряющим, сетующим и обвиняющим, целый мир отвечает так: раз навсегда — ваше папство стало ложью. Нам нет дела до того, как прекрасно оно было некогда, как прекрасно оно, по вашим словам, и в настоящее время, мы не можем верить в него; всю силу нашего разума, данного нам всевышним небом для руководства в жизни, мы убеждаемся, что с этих пор оно потеряло свою достоверность. Мы не должны верить в него, мы не будем стараться верить в него, — мы не смеем. Оно *ложно*. Мы оказались бы изменниками против подателя всякой истины, если бы осмелились признавать его за истину. Пусть же оно, это папство, исчезнет, пусть что-либо другое займет его место; с *ним* мы не можем более иметь никакого дела. Ни Лютер, ни его протестантизм не повинны в войнах; за них ответственны те лживые кумиры, которые принудили его протестовать. Лютер поступил, как

всякий человек, созданный Богом, не только имеет право поступать, но и обязан в силу священного долга: он ответил лжи, когда она спросила его: веришь ли в меня? — Нет! Так следовало поступить во всяком случае, даже не входя в рассмотрение, чего это будет стоить. Я несколько не сомневаюсь, что наш мир находится на пути к единению, на пути к умственной и материальной солидарности гораздо более возвышенной, чем всякое папство и феодализм в их лучшую пору, что такое единение неизбежно наступит. Но оно может наступить и осуществиться лишь в том случае, если будет опираться на факт, а не на призыв и видимость. До единения же, основанного на лжи и предписывающего людям творить ложь словом или делом, нам, во всяком случае, не должно быть никакого дела. Мир? Но ведь животная спячка — также мир; в зловонной могиле — также мир. Мы жаждем не мертвенного, а жизненного мира.

Отдавая, однако, должное несомненным благам, которые несет с собою новое, не будем несправедливы к старому. Старое также *было* некогда истинным. Во времена Данте незачем было прибегать к софизмам, самоослепленнию и всякого рода другим бесчестным ухищрениям, чтобы считать его истинным. Оно было тогда благом; нет, мало того, мы можем сказать, что сущность его заключает в себе непреходящее благо. Возглас "Долой папство!" был бы безумием в ту пору. Говорят, что папство продолжает развиваться, и указывают при этом на увеличивающееся число церквей и т. д. Однако подобного рода аргументы следует считать самыми пустыми, какие только когда-либо приводились. Крайне любопытный способ доказательства: сосчитать немногие папские капеллы, прислушаться к некоторым протестантским словопрениям — к этой глухо жужжащей, снотворной глупости, которая до сих пор величает себя протестантской, — и сказать: смотрите, протестантизм *мертв*, папизм проявляет большую жизнедеятельность, папизм переживает его! Снотворные глупости, и их немало, именующие себя протестантскими, действительно мертвы; но *протестантизм* не умер еще, насколько мне известно! Протестантизм произвел за это время своего Гёте, своего Наполеона, германскую литературу и Французскую революцию; все это — довольно заметные признаки жизненности для всякого, кто не станет с умыслом закрывать себе глаза! Да, в сущности говоря, что же еще проявляет в настоящее время жизнь, кроме протестантизма? Почти все остальное живет, можно сказать, исключительно гальванической, искусственной, а вовсе не долговечной и непосредственной жизнью.

Папство может возводить новые капеллы; и благо ему, — пусть оно так и поступает до конца. Но папство не может возродиться, как не может возродиться язычество, в *котором* также коснеют до сих пор некоторые страны. В самом деле, в данном случае происходит то же самое, что и во время морского отлива: вы видите, как волны колеблются здесь и там на отлогом берегу; проходит несколько *минут*, вы не можете сказать, как идет отлив; но посмотрите через полчаса — где вода, посмотрите через столетия — где ваше папство! Увы, если бы нашей Европе не угрожала иная, более серьезная опасность, чем возрождение бедного, древнего папства! И Тор также может делать усилия,



чтобы ожить. Самые эти колебания взад и вперед имеют, впрочем, известное значение. Бедное, старое папство не погигло еще окончательно, как погиг Тор; оно будет еще жить в течение некоторого времени; оно должно жить: старое, скажем мы, никогда не погигает, пока все существенно хорошее, заключающееся в нем, не перейдет в практику нового. Пока еще можно делать хорошее дело, придерживаясь римско-католического исповедания, или, что то же, пока можно вести *честную жизнь*, следуя ему, до тех пор отдельные люди будут исповедовать его и следовать ему, свидетельствуя тем о его жизнениости. И оно будет до тех пор мозолить глаза нам, отвергающим его, пока мы также не усвоим и не осуществим в своей жизни всей истины, заключающейся в нем. Тогда и только тогда оно потеряет всякую прелесть для людей. Оно имеет известный смысл и потому продолжает существовать; пусть же оно существует так долго, как только может.

Мы заговорили о войнах и кровопролитиях, наступивших вслед за Реформацией. В каком отношении к ним находится Лютер? Отмечу прежде всего тот замечательный факт, что все эти войны имели место после его смерти. Вызванная им распря не переходила в борьбу с оружием в руках, пока он был жив. По моему мнению, этот факт свидетельствует о его величии во всех отношениях. Крайне редко встречаются люди, которые, вызвав громадное общественное движение, не погигали бы сами, подхваченные его волной! Такова обычная судьба революционеров. Лютер же оставался в значительной степени полновластным господином вызванной им величайшей революции: протестанты всякого положения и всяких профессий обращались постоянно к нему за советами; и он провел эту революцию мирным путем, оставаясь неизменно в центре ее. Чтобы достигнуть такого результата, человек должен обладать способностями настоящего вождя; он должен уметь проникать в истинную суть дела при каких бы то ни было обстоятельствах и отважно, как подобает истинно сильному человеку, держаться за нее, чтоб и другие истинные люди могли сгруппироваться вокруг него. Иначе он не сохранит за собою руководящей роли. Необычайные способности Лютера, сказывавшиеся в его всегда ясных и глубоких суждениях, в его, между прочим, *молчании*, терпимости, умеренности, представляют весьма замечательный факт ввиду тех обстоятельств, при которых ему приходилось действовать.

Я упомянул о терпимости Лютера. Это была настоящая, неподдельная терпимость; он различал, что существенно и что несущественно; несущественное он оставлял без внимания. Однажды к нему обратились с жалобой, что какой-то реформатский проповедник "не хочет проповедовать без рясы". Хорошо, ответил Лютер, какой же вред причиняет ряса человеку? "Пусть он облачается в рясу и проповедует; пусть облачается, если он находит это удобным для себя!" Его поведение во время дикого разгрома икон в Карлштадте, в деле анабаптистов, в Крестьянской войне свидетельствует о благородной силе, не имеющей ничего общего с жестокостью. Благодаря своему верному взгляду он всегда быстро угадывал, в чем дело, и, как человек сильный и правдивый, указывал благоразумный выход, и все люди следовали за ним. Литературные произведения Лютера характеризуют его с такой же стороны.

Правда, диалектика его рассуждений устарела для нашего времени; но читатель до сих пор находит в них какую-то особенную прелесть. И действительно, благодаря грамматически правильному слогу, они довольно удобочитаемы до сих пор. Заслуга Лютера в истории литературы громадная, — его язык стал всеобщим литературным языком. Хотя нельзя сказать, что его двадцать четыре фолианта *in quarto*\* написаны хорошо, но они ведь писались спешно, с целями совершенно не литературными. Во всяком случае, я не читал других книг, в которых чувствовалась бы подобная же могучая, неподдельная, скажу я, благородная сила. Лютер поражает вас своей грубой правдивостью, неотесанностью, простотою, своим грубым, без всякой примеси чувством и силой. Он брызжет во все стороны светом; его бьющие по сердцу идиоматические фразы, кажется, проникают в самую сокровенную тайну вопроса. И вместе с тем — мягкий юмор, даже нежная любовь, благородство, глубина... Этот человек, несомненно, мог бы быть также и поэтом! Но ему предстояло не писать, а *делать* эпическую поэму. Я считаю его великим мыслителем, на что действительно указывает уже величие его сердца.

Рихтер говорит о языке Лютера, что "слова его — полусражения". В самом деле это так. Характерная особенность Лютера заключается в том, что он мог сражаться и побеждать, что он представлял истинный образец человеческой доблести. Тевтонская раса отличается вообще доблестью, это — ее характерная черта; но из всех тевтонцев, о которых имеются письменные свидетельства, не было человека более отважного, чем Лютер, не было смертного сердца действительно более *храброго*, чем сердце великого реформатора. Вызов на поединок "чертей" в Вормсе не был пустым бахвальством с его стороны, как это могло бы показаться в настоящее время. Лютер верил, что существуют черти, духи, обитающие в преисподней и постоянно подкарауливающие человека. В своих сочинениях он часто возвращается к этому предмету, что вызывает у некоторых жалкое зубоскальство. В Вартбурге, в комнате, где Лютер занимался переводом Библии, показывают до сих пор черное пятно на стене, необычайное свидетельство необычайного поединка. Лютер переводил один из псалмов; долгая работа и воздержание от пищи истощили его; он чувствовал общее расслабление. Как вдруг перед ним является какой-то гнусный призрак с неопределенными очертаниями; Лютер принял его за дьявола, пришедшего помешать ему работать: он вскочил и бросил вызов сатанинскому исчадию, пустив в него чернильницу, и призрак рассеялся! Пятно, любопытная память многозначительного события, сохранилось до сих пор. В настоящее время любой аптекарский ученик может сказать нам, что следует думать об этом привидении в научном смысле; но сердце человеческое не может доказать более убедительным образом своего бесстрашия, как бросив подобный дерзкий вызов в лицо самому аду: ни на земле, ни под землей нет такого страшилища, перед которым оно сробело бы. Довольно-таки бесстрашное сердце! "Дьявол знал, — пишет Лютер по поводу одного случая, — что причиной в данном случае является вовсе не страх, испытываемый мною. Я видел и вызывал на борьбу бесчисленное множество дьяволов". Герцог Георг, его большой лейпцигский недруг, "герцог Георг не сравня-

ется с дьяволом” — далеко ему до дьявола! ”Если бы у меня было какое-либо дело в Лейпциге, я поехал бы туда верхом, хотя бы на меня устремились целые потоки герцогов Георгов, потоки в виде девятидневного непрекращающегося ливня”. Немалая уйма герцогов, и он не страшится пуститься верхом навстречу им!

Сильно заблуждаются те, кто думают, что отвага Лютера вытекала из жестокости, что это было одно только грубое, непокорное упрямство и дикость. Многие думают так, но это далеко не верно. Действительно, бывает бесстрашие, происходящее от отсутствия мысли или привязанностей, когда человеком овладевает ненависть и глупое неистовство. Мы не ценим особенно высоко отваги тигра! Другое дело Лютер. Нельзя придумать более несправедливого обвинения против него, чем подобное обвинение в одном лишь свирепом насилии; ибо это было самое благородное сердце, полное жалости и любви, каким в действительности бывает всегда всякое истинно отважное сердце. Тигр бежит от *более сильного* врага; тигра мы не можем считать храбрым в том смысле, какой дается нами этому слову; он только свиреп и жесток. Тогда как великому, дикому сердцу Лютера было знакомо трогательное, нежное дыхание любви, нежное, как любовь ребенка или матери; дыхание честное и свободное от всякого ханжества, простое и безыскусственное в своем выражении, чистое, как вода, просачивающаяся из скалы. А это угнетенное настроение духа, отчаяние и самоотчуждение, которое испытывал он в дни юности, разве все это не было следствием того же необычайного, глубокомысленного благородства, следствием привязанностей, слишком жгучих, слишком возвышенных? Такова судьба, постигающая всех людей, подобных поэту Кауперу\*. Для поверхностного исследователя Лютер может казаться человеком боязливым, слабым; скромность, привязчивая, трепещущая нежность составляли его главные отличительные черты. Такое сердце воодушевляется обыкновенно благородно отвагой, раз оно, пылая небесным огнем, принимает вызов.

В ”Застольных беседах” Лютера, посмертной книге анекдотов и афоризмов, собранных его друзьями, книге наиболее интересной в настоящее время из всех оставленных им, заключено немало ценных данных, так сказать, из первых рук, характеризующих его как человека. Поведение его у смертного одра младшей дочери, необычайно спокойное, величественное и любящее, производит самое трогательное впечатление. Он покоряется тому, что его маленькая Магдалина должна умереть, но вместе с тем он невыразимо страстно желает, чтобы она жила; пораженный благоговейным ужасом, он следит в своих мыслях за полетом ее маленькой души через неведомые царства. Да, он был поражен благоговейным ужасом и вместе с тем глубоко чувствовал свое несчастье (мы это ясно видим) и был искренен, ибо, несмотря на все догматические исповедания веры и символы, чувствовал, что все наше знание, все вообще возможное человеческое знание есть собственно ничто. Его маленькая Магдалина будет с Богом; так Бог хочет; для Лютера, как и для других великих людей, в этой мысли также заключалось все; *ислам* (покорность Богу) — все.

Однажды в полночь он глядел на небо из своего уединенного Патмоса\*, кобургского замка, и видел необъятно громадный свод, по кото-

рому плыли длинные полосы облаков — безмолвные, вытянутые, громадные. Кто поддерживает все это? "Никто из людей никогда не видел колонн, и, однако, небесный свод держится". Бог поддерживает его. Мы должны знать, что Бог велик, что Бог благ, и верить в тех случаях, когда мы не можем видеть. Возвращаясь однажды из Лейпцига домой, он был поражен видом созревшей жатвы: каким образом вырос здесь этот золотисто-желтый злак на прекрасном, тонком стебле, свесив свою золотистую голову и волнуясь в таком изобилии? Разрыхленная земля, по милостивому соизволению Господа, произвела его еще раз, произвела насущный хлеб человека! Однажды вечером при закате солнца Лютер видел, как какая-то маленькая птичка примостилась на ночь в Виттенбергском саду. Выше этой маленькой птички, говорит Лютер, — звезды и глубокое небо целых миров; однако она сложила свои маленькие крылышки и спит; она с полным доверием прилетела сюда на покой, как в свой собственный дом. Создатель и для нее также устроил дом! И подобных жизнерадостных проявлений вы встречаете немало у Лютера: у него было поистине великое, свободное, человеческое сердце. Обычная речь его отличается безыскусственным благородством, идиоматичностью, выразительностью, неподдельностью. То там, то здесь она блещет удивительными поэтическими красотами. Всякий чувствует, что это говорит его великий брат — человек. Лютер любил музыку, и в этой привязанности сказались все его глубокие чувства и стремления. Он изливал в звуках своей флейты то, чего его глубоко, дикое сердце не могло выразить словами. Черты, говорит он, бежали, заслышав его флейту. С одной стороны, вызов на смертный бой, а с другой — необыкновенная любовь к музыке: таковы, я могу сказать, два противоположных полюса великой души; между ними помещается все великое.

По выражению лица Лютера, мне кажется, мы можем уже судить, что это был за человек. Лучшие портреты Кранаха изображают действительно настоящего Лютера. У него грубое простонародное лицо с огромными надглазными дугами и бровями, подобными выступающим скалам, что служит обыкновенно выражением суровой энергии; лицо, с первого взгляда производящее даже отталкивающее впечатление. Однако на всех чертах его лежит печать какой-то дикой безмолвной скорби; в особенности в глазах светится эта не поддающаяся описанию меланхолия, обычная спутница всякого благородного, возвышенного душевного движения, налагающая и на все остальное печать истинного благородства. Лютер, как мы говорили, умел смеяться; но он умел и плакать. Слезы также были его уделом, слезы и тяжелый труд. Основу его жизни составляла грусть, серьезность. В последние дни своей жизни, после всех триумфов и побед, он говорит о себе из глубины сердца, что устал жить; он замечает, что один только Бог может и хочет управлять ходом вещей и что, быть может, день Страшного суда недалек. Для самого же себя он желал только одного, чтобы Бог избавил его от выпавшего на его долю труда и послал бы ему смерть и покой. Плохо понимают Лютера те, кто ссылается на вышеприведенные слова с целью дискредитировать его. Лютер, скажу я, истинно великий человек; великий по уму, по отваге, по любви и правдивости своей; я считаю его

одним из наиболее достойных любви и наиболее дорогих нам людей. Он величествен не как высеченный из камня обелиск, а как альпийская скала! Простой, честный, самобытный, он поднялся вовсе не для того, чтобы быть великим, совсем не для того, совершенно с иной целью! О да, этот неукротимый гранит подымает высоко и мощно свою вершину к небесам; но в расщелинах его — ключи, прекрасные зеленые долины, усеянные цветами! Настоящий духовный герой и пророк, появившийся еще раз среди нас! Истинный сын природы и действительности, которому будут признательны до небес прошедшие, настоящие и многие последующие века!

Наиболее интересную фазу протестантского движения для нас, англичан, представляет пуританизм. На родине Лютера протестантизм скоро выродился в бесплодное дело; теперь он уже не религия, собственно, не верование, а скорее пустое бряцанье теологической аргументации; он не коренится уже более в сердце человеческом. Сущность его составляет теперь скептицизм и словопрение, начиная с распри, поднятой Густавом Адольфом до вольтерианства, до самой Французской революции! Но на нашем острове возник пуританизм, который с течением времени окреп и, приняв форму пресвитерианства, стал национальной церковью Шотландии. Он был действительным делом сердца и породил весьма крупные в общей жизни человечества результаты. В известном смысле можно сказать, что он представляет единственную форму протестантизма, ставшую настоящей верой, действительным общением сердца с небом и запечатлевшую себя, как таковую, в истории. Мы должны сказать несколько слов о Ноксе. Он был и сам по себе замечательным и отважным человеком; но еще большее значение он имеет как главный иерей и основатель новой веры, ставшей религией Шотландии, Новой Англии, религией Оливера Кромвеля. Она еще не умерла, истории еще придется говорить о ней в течение некоторого времени!

Мы можем критиковать пуританизм, как нам угодно; и, я думаю, все мы найдем его крайне грубым и уродливым, но нам и всем людям вместе с нами нетрудно понять, что это было великое естественное движение: природа усыновила его и оно росло и теперь еще растет. Все совершается в этом мире, как я выразился однажды, путем поединков и борьбы; *сила*, при правильном понимании, есть мерило всякого достоинства. Дайте всякому делу время, и, если оно может преуспеть, значит, оно — правое дело. Взгляните теперь на господство англосаксов в Америке и сопоставьте этот факт с таким малозначащим, по-видимому, событием, как отплытие "Мейфлауэра"\* два века тому назад из Дельфта, гавани в Голландии! Если бы мы непосредственностью своих чувств походили на греков, то несомненно увидели бы во всем этом целую поэму, одну из тех громадных поэм самой природы, какие она пишет широкими штрихами на полотне великих континентов. Ибо указанный нами факт был, собственно, началом новой жизни для Америки, где до тех пор скитались рассеянные поселенцы, представлявшие, так сказать, тело, лишенное еще своего творческого духа. Но вот бедные люди; изгнанные из своей родной страны и не сумевшие хорошо устроиться в Голландии, решаются переселиться в Новый Свет. Неведомый материк покрывали тогда темные, непроходимые леса, населенные дикими,

лютými зверями, но все же эти звери не были так люты, как палачи судебной палаты. Земля, думали они, доставит им средства пропитания, если они будут честно трудиться на ней; вечное небо будет простираться над их головою так же, как и здесь; они будут предоставлены самим себе, чтобы доброю жизнью в этом временном мире приготовиться к вечности и поклоняться своему Богу не идолопоклонническим образом, а так, как они считают сообразным с истиной. Они соединили вместе свои ничтожные средства, наняли маленький корабль "Мейфлауэр" и приготовились к отплытию.

В "Истории пуритан" Нила\* рассказано подробно об их отплытии, это была скорее торжественная церемония, походившая на настоящий религиозный акт. Отплывающие вместе со своим пастором сошли на берег, где ожидали их братья, которых они должны были покинуть теперь. Все они соединились в одной общей молитве, чтобы Бог сжалился над своими бедными детьми и не покидал бы их в этой пустынной дикой стране, ибо он также создал и ее, ибо он был там так же, как и здесь. О! Эти люди, думаю я, потрудились немало! Маленькое дело, маленькое, как крошечный ребенок, становится со временем громадным, если только оно было настоящим делом. К пуританизму относились тогда презрительно, его обсмеивали; но теперь никто уже не может относиться к нему таким образом. У пуританизма есть мускулы и органы для защиты; он располагает огнестрельными орудиями, морскими кораблями; его десять пальцев отличаются проворством, а правая рука — силой; он может управлять кораблями, валить лес, двигать горы; он в настоящее время одна из самых могучих сил, какие только существуют под нашим солнцем!

В истории Шотландии, по моему мнению, всеобщий интерес имеет одна только эта эпоха реформационного движения, вызванного Ноксом. Печальное зрелище представляет действительно история Шотландии. Эта бедная, бесплодная страна была вечно охвачена внутренними раздорами, распрями, кровопролитиями; народ находился на самой крайней ступени огуриелости и нищеты, в положении, быть может, мало чем отличающемся от положения ирландского народа в настоящее время. Ненасытные и жестокие бароны не могли прийти к соглашению между собою даже относительно того, как им делить добычу, награбленную у этих несчастных рабов, и они всякий раз при переходе власти из рук в руки делали революцию, как в настоящее время колумбийские республики\*; перемена в министерстве влекла за собою обыкновенно повешение прежних министров!.. "Отваги" во всем этом было довольно, я не сомневаюсь; лютых битв — и того больше; но шотландские бароны были во всяком случае не отважнее, не лютее своих древних предков, скандинавских морских королей, на подвигах которых мы не сочли нужным останавливаться. Таким образом, Шотландия представляла как бы страну, все еще не одухотворенную внутреннюю жизнь; в ней развивалось все только грубое, внешнее, полуживотное. Но вот наступает Реформация — и внутренняя жизнь загорается, так сказать, под ребрами этой внешней материальной мертвечины. Возникает само собою дело, благороднейшее из всех дел, и пылает, подобно маяку, поставленному на вершине; пламя вздымается высоко, уходит в небеса,

но вместе с тем оно доступно всем живущим на земле; благодаря этому самый последний смертный может стать не только гражданином, но и членом видимой Христовой церкви, действительным героем, если только он оказывается истинным человеком!

Хорошо, таким образом складывается, как я выражаюсь, целая "нация героев", *верующая* нация, среди которой героем становится не только великая душа, но всякий человек, если он остается верным своему природному назначению, так как он будет тогда и великой душой! Мы видим, что подобное состояние человечество уже переживало под формой пресвитерианства и оно *снова* будет переживать его под иными, более возвышенными формами; до тех же пор никакое прочное благое дело не может иметь места. Это невозможно! — скажут нам. Вы сомневаетесь, возможно ли? Не *существовало* ли, однако, нечто подобное в нашем мире, как факт действительный? Разве поклонение герою отсутствовало в деле Нокса? Или вы думаете, что мы созданы теперь из иной глины? Разве "Вестминстерское вероисповедание"\* прибавило что-нибудь новое к душе человеческой? Бог создал душу человека. Он не осудил ни одной человеческой души на жалкую жизнь по гипотезам, ходячим фразам, в мире, наполненном такими же гипотезами, ходячими фразами и всем прочим, к чему приводит их фатальное развитие!..

Но возвратимся к Шотландии. Нокс, говорю я, сделал великое дело для своего народа, он действительно воскресил его из мертвых. Правда, произведенный им переворот нельзя назвать гладко исполненным делом; но это было, конечно, желанное дело, и если бы оно было проведено даже еще с гораздо меньшим совершенством, то все-таки мы сказали бы, что оно обошлось недорого народу. Вообще, подобные дела нельзя считать дорогими при каких угодно жертвах, как самую жизнь. Народ начал *жить*: для него необходимо было сделать прежде всего именно этот шаг, чего бы он ни стоил. Шотландская литература и шотландская мысль, шотландская промышленность, Джеймс Уатт, Дэвид Юм, Вальтер Скотт, Роберт Бёрнс — во всем этом, в самой глубине сердец этих людей и этих явлений я вижу Нокса и его Реформацию. Я думаю, что, не будь Реформации, не существовало бы и их. Но что говорить о Шотландии? Из Шотландии пуританизм перешел в Англию, а затем в Новую Англию. Движение среди приверженцев англиканской церкви в Эдинбурге превратилось во всеобщее столкновение, борьбу на пространстве всех этих стран; и после пятидесятилетней борьбы из него же возникла так называемая наша "*славная революция*": Habeas Corpus\*, свободные парламенты и многое еще другое! Увы, не оправдываются ли вполне сказанные нами выше слова, что масса людей, составляющих авангард, должна постоянно, подобно русским солдатам, наполнять Швейднитский ров своими мертвыми телами, чтоб арьергард мог пройти по ним и добыть себе славу? Какая масса серьезных, суровых Кромвелей, Ноксов, бедных крестьян ковенантеров (пресвитериан)\*, сражавшихся за самую жизнь и отстаивавших ее в недоступных, топких местах, должны были бороться, страдать и погибнуть, жестоко осужденные, *забрызганные грязью*, — прежде чем прекрасная революция "восемьдесят восьмого"\* могла официально пройти по трупам их в башмаках и шелковых чулках при всеобщих криках одобрения!

И вот теперь, триста лет спустя, наш великий шотландец нуждается, подобно обвиняемому, в защите перед лицом всего мира. Печальный факт! Все дело в том, что он был самым отважным из всех шотландцев и что отвага его вылилась в такую форму, какая была возможна по тогдашнему времени! Если бы он был заурядным человеком, он мог бы забиться куда-нибудь в угол, подобно многим другим, Шотландия оставалась бы в рабстве, а Нокс не поплатился бы жестоким осуждением. Из всех шотландцев он — единственный, по отношению к которому его родина и весь мир находятся в долгу. И теперь приходится точно выпрашивать, чтобы Шотландия простила ему, что он имел для нее значение и цену целых миллионов "безупречных" шотландцев, не нуждающихся ни в каком прощении! Он с обнаженной грудью бросался в бой; греб на французских галерах, скитался в изгнании, покинутый всеми, среди бурь и непогоды; был осужден; ранен в своем доме; он вел тяжелую жизнь настоящего воина. Да, если этот мир был для него местом воздаяния, то сделанное им выглядело авантюрой! Я не стану выступать с апологией Нокса. Для него совершенно безразлично, что говорят о нем люди теперь, спустя двести пятьдесят или даже более лет. Но мы, стоящие теперь выше всех частных его борьбы, живущие при свете его победы и пользующиеся плодами ее, мы, ради самих себя, должны поглубже заглянуть в душу этого человека и, несмотря на шум и распри, опутывающие его, убедиться, кем он был на самом деле.

Прежде всего я отмечу здесь, что Нокс вовсе не добивался положения пророка среди своего народа, он прожил сорок лет спокойной жизнью в полной безвестности, прежде чем обратил на себя внимание. Он происходил из бедного класса, получил образование в одном из колледжей; затем был священником, принял Реформацию и, по-видимому, вполне удовлетворялся тем, что сам руководился светом ее в своей собственной жизни, никому не навязывая ее насильственно. Он жил в качестве наставника в разных дворянских семьях и проповедовал, если находилась кучка людей, желавших познакомиться с его доктриной. Он решил во всем придерживаться истины и говорить правду, когда его вызывали на беседу; на большую роль он не претендовал и не воображал себя способным. Таким образом в полной неизвестности Нокс прожил до сорока лет. Однажды, когда он вместе с другими реформатами выдерживал осаду в замке святого Андрея, все они собрались на общую молитву; проповедник, окончив свое напутственное слово к присутствовавшим там передовым борцам за дело Реформации, вдруг сказал, что среди них также, вероятно, найдутся люди, способные проповедовать, что всякий человек с сердцем и дарованиями священника должен в настоящее время проповедовать и что один из них — имя его Джон Нокс — имеет именно такие дарования и такое сердце. "Разве не так? — спросил проповедник, обращаясь ко всем. — В чем же заключается в таком случае *его* долг?" Присутствовавшие ответили утвердительно: если бы такой человек продолжал хранить молчание, то это было бы так же преступно, как покинуть свой пост. Бедному Ноксу пришлось встать со своего места и отвечать; но он не мог произнести ни одного слова — слезы хлынули у него ручьем, и он бросился вон из капеллы. Эту сцену следует почаще вспоминать. В продолжение нескольких дней Нокс



испытывал крайне тяжелое состояние. Он чувствовал, как ничтожны были его способности по сравнению с величием новой обязанности. Он чувствовал, какое крещение он должен был проповедовать теперь. И он "заливался слезами".

Наша общая характеристика героя как человека прежде всего искреннего вполне приложима и к Ноксу. Никто не может отрицать, что, каковы бы ни были вообще его достоинства и недостатки, он принадлежит к числу самых правдивых людей. Благодаря какому-то особенному инстинкту он всегда тяготеет к истине и факту; одна только истина существует для него в этом мире, а все остальное — призрак и обманчивое ничто. Какой бы жалкой и всеми позабытой ни казалась действительность, в ней и только в ней он мог найти для себя точку опоры. После взятия замка святого Андрея Нокс вместе с другими был сослан, как каторжник, на галеры, плававшие по реке Луаре. И вот здесь однажды какой-то офицер или священник, поставив перед галерниками образ Богородицы, потребовал, чтобы они, богохульники-еретики, преклонились перед ним. Мать, Матерь Божия, говорите вы? — сказал Нокс, когда очередь дошла до него. Нет, вовсе не Матерь Божия: это — *pented bredd*; это — кусок раскрашенного дерева, говорю я вам! Он приспособлен скорее для того, чтобы плавать, по моему мнению, чем для того, чтобы ему поклонялись, прибавил Нокс и бросил икону в реку. Такое издевательство не могло, конечно, обойтись без самых суровых последствий; но, каковы бы ни были последствия, Нокс не мог изменить своему убеждению: икона, перед которой его заставляли преклониться, для него была и должна была оставаться действительно *pented bredd*, — поклоняться же куску раскрашенного дерева он был не в силах.

В самые трудные минуты подневольной жизни он ободрял и увещивал своих товарищей не падать духом; он говорил, что дело, за которое они борются, — справедливое дело, что оно обязательно должно восторжествовать и восторжествует; что целый мир не мог бы затушить его теперь. Действительность есть дело рук Божьих; она одна только всемогуща. Немало найдется всяких *pented bredds*, предъявляющих свои притязания на реальность, тогда как они приспособлены скорее для плавания, чем для почитания! Этот Нокс поистине мог жить только фактом: он цепляется за действительность, как моряк, потерпевший кораблекрушение, за скалу. Он представляет прекрасный пример того, как человек благодаря именно искренности становится героем. Да, Нокс обладал великим даром. У него был хороший, честный ум, но не трансцендентного склада. В этом отношении он представляется довольно-таки узким, незначительным человеком по сравнению с Лютером; но по глубоко прочувствованной, инстинктивной приверженности к истине, по *искренности*, как мы говорим, нет никого выше его; мало того, можно даже спросить, есть ли кто равный ему? В нем билось настоящее пророческое сердце. "Здесь покоится, — сказал граф Мортон на его могиле, — тот, кто никогда не боялся лица человеческого". Он более чем кто-либо другой из передовых деятелей нового времени напоминает древнееврейского пророка. Та же непреклонность, нетерпимость, суровая приверженность истине Господа, производящая впечатление некоторой узости, тот же беспощадный гнев, обрушивающийся во имя Господа на голову всех,

покидающих истину; одним словом, перед нами древнееврейский пророк в облики эдинбургского министра XVI века. Мы должны брать его таким, как он есть, и не требовать, чтобы он был иным.

Поведение Нокса с королевою Мариною, его суровые визиты, его упреки и выговоры служат предметом многочисленных комментариев. Чрезмерная жестокость и грубость Нокса вызывают в нас чувство негодования. Но когда мы прочтем подлинный рассказ о всем происходившем между ними, когда мы услышим, что он действительно говорил и чего действительно добивался, то, я должен сказать, сочувствие к трагическому положению королевы быстро пропадает. Его речи не были уж на самом деле так грубы; они кажутся мне даже утонченными, насколько, конечно, позволяли обстоятельства! Нокс приходил к ней не для того, чтобы говорить любезности, — он имел иную миссию. Жестко заблуждается тот, кто видит в его беседах с королевою наглые, площадные речи плебейского священника, обращенные к высокородной, изысканной леди; думать так, значит не понимать цели и сущности этих речей. С королевою Шотландии, к несчастью, невозможно было быть вежливым и в то же время оставаться верным другом народа и поборником шотландских интересов. Всякий человек, не желавший, чтобы его родная страна была превращена в охотничье поле для честолюбивых интриганов Гизов и чтобы дело истинного Бога попиралось и повергалось под ноги лжи, формализма и дьявола, — не имел никакой возможности сделать себя приятным собеседником королевы! "Лучше пусть плачут женщины, — говорил Мортон, — чем бородастые мужчины". Нокс представлял собою партию конституционной оппозиции. Поместной знати, которая, в силу собственного своего положения, должна была бы играть подобную роль, не оказалось налицо в Шотландии. Нокс принужден был выступить, так как не выступал никто другой. Несчастливая королева! Но еще более была бы несчастна страна, если бы этой королеве улыбнулось счастье! Сама Мария, между прочим, не была лишена некоторой язвительности. "Кто вы, — сказала она однажды, — что беретесь поучать дворян и государыню нашего королевства?" — "Сударыня, — отвечал Нокс, — я — подданный, рожденный в том же королевстве". Разумный ответ! Если "подданный" знает правду и хочет высказать ее, то, конечно, не положение "подданного" мешает ему сделать это.

Мы порицаем Нокса за его нетерпимость. Да, конечно, лучше, чтобы каждый из нас был по возможности более терпим. Однако несмотря на все толки, которые велись и ведутся по этому поводу, что такое, в сущности, терпимость? Терпимость побуждает человека относиться снисходительно к несущественному и всякий раз внимательно различать то, что существенно и что несущественно. Терпимость должна быть благородной, соразмерной, справедливой даже в том случае, когда человек под влиянием гнева не может больше терпеть. Но, в конце концов, мы живем вовсе не для того, чтобы терпеть. Мы живем также для того, чтобы противостоять, обуздывать, побеждать. Мы не должны "терпеть" лжи, воровства, неправды, когда они наступают на нас. Мы должны совладать с ложью и покончить так или иначе с нею благо-разумным, конечно, образом! Я не стану здесь спорить о том, каким

именно образом; наша главная забота, чтобы дело было сделано. В этом смысле Нокс, совершенно верно, был нетерпимым человеком.

И разве может человек, которого отправляют на французские галеры и заставляют там грести и т. п. за то, что он поучал народ в своей родной стране, разве может такой человек, говорю я, постоянно находиться в невозмутимо-кротком расположении духа! Я не решусь в настоящую минуту утверждать, что Нокс отличался мягким характером; но я не могу также сказать, что у него был, как мы выражаемся, злой нрав. Он решительно не был злым человеком. Он боролся, страдал много и тяжело; его, несомненно, воодушевляли добрые и честные чувства. Совершенно верно, он *мог* укорять королей и пользовался громадным влиянием среди гордой, беспокойной местной знати, да, гордой, какова бы она ни была во всех других отношениях; не гоняясь за внешними атрибутами, он сохранял до самого конца свой верховный авторитет и руководство в этом диком королевстве, он, который был всего лишь "подданным, рожденным в том же королевстве"; но все это само по себе только доказывает, что люди, близко стоявшие подле него, вовсе не видели в нем человека низкого и язвительного; напротив, они считали его человеком в глубине сердца здоровым, сильным, рассудительным. Только такой человек и мог вынести все тяготы правления при существовавших тогда обстоятельствах. Его осуждают за то, что он разрушал соборы и т. д., как будто он был мятежником, бунтовщиком, демагогом. Но познакомьтесь поближе с делом, и вы убедитесь, что в действительности имел место как раз обратный факт! Ноксу вовсе незачем было разрушать каменные здания, — он стремился к тому, чтобы изгнать проказу и тьму из жизни человеческой. Мятеж не был его стихией, и то, что ему пришлось так много поработать в этом отношении, представляет трагическую особенность его жизни. Такой человек, как Нокс, всегда является прирожденным врагом беспорядка, относится с омерзением к мысли жить в беспорядке. Но что же из этого? Замаскированная, приглаженная лож не есть ведь порядок; она лишь общий итог *беспорядка*. Порядок есть истина, и все держится только истиною; поэтому порядок и лож не могут существовать вместе.

Нокс, как это ни странно после всего того, что мы говорили о нем, не прочь был иногда и пошутить. Эта черта в нем мне очень нравится. Он действительно умел подметить все смешное, благодаря чему и его "История"\* книга, написанная с суровою серьезностью, проникнута любопытным оживлением. Вот два прелата входят в кафедральный собор в Глазго; они ведут меж собою оживленный спор о старшинстве; они быстро шагают вперед, толкают друг друга, дергают за стихарь и под конец начинают размахивать своими посохами, как дубинами. Подобная сцена представляет для Нокса многозначительное зрелище во всех отношениях. Не одно только издевательство, презрение, горечь слышите вы из уст его, хотя, правда, всего этого сыплется вдоволь. Но вы видите также, как по его серьезному лицу пробегают истинный, любящий, озаряющий смех; смех негромкий, — вы сказали бы, что он смеется больше всего своими *глазами*. У Нокса было прямое братское сердце; в нем всякий, знатный и незнатный, находит себе брата, и он искренен в своих симпатиях к обоим. В старом эдинбургском доме у него

была также и бочка из Бордо. Веселый, общительный человек, он окружал себя людьми, которые любили его! Жестоко ошибается тот, кто видит в Ноксе угрюмого, раздражительного, крикливого фанатика. Со всем неверно. Нокс был одним из солиднейших людей. Практичный, терпеливый, он умел примирять горячие надежды с осторожностью; человек чрезвычайно пронизательный, наблюдательный, он спокойно разбирался во всем. Действительно, он обладал почти всеми особенностями, типичными для современного шотландца: склонностью к некоторого рода сардоническому молчанию, внутренней глубиной, сердцем более мужественным, чем ему самому представлялось. Он обладал способностью ладить со всем тем, что не задевает его за живое: "подобные вещи, — что они такое?" Но о том, что задевает его за живое, будет он говорить, и говорить так, что весь мир станет его слушать: тем энергичнее, чем дольше приходилось ему молчать.

Наш шотландский пророк вовсе не кажется мне ненавистным человеком. Ему выпала на долю тяжелая борьба: он боролся с папами и верховными властями; он терпел поражения, напрягался, вел неустанную борьбу в течение всей жизни; он работал веслами, как галерный раб, скитался в изгнании. Да, это была поистине тяжелая борьба; но он выдержал ее. "Надеетесь ли вы?" — спросили его в последнюю минуту жизни, когда он не мог уже говорить. Он поднял палец, "указал вверх своим пальцем"; так и скончался. Честь и хвала ему! Его труд никогда не умрет. "Буква" в его труде умрет, как умирает всякое произведение рук человеческих, но дух не умрет никогда.

Еще одно слово относительно этой "буквы" в труде Нокса. Он хотел поставить священника выше короля, — вот в чем, говорят, заключается его вина, которая не может быть ему прощена. Другими словами, он стремился создать в Шотландии *теократическое* правительство. Такова в действительности сущность всех его прегрешений, его главный грех. Что можно сказать в оправдание его? Совершенно верно, Нокс сознательно или бессознательно хотел, в сущности, теократии, правления, освященного Богом. Он хотел, чтобы короли, первые министры и всякого рода лица, власть имущие, поступали в общественных и частных делах согласно Евангелию Христа и признавали его за закон, стоящий выше всех других законов. Он надеялся, что такой порядок вещей осуществится когда-нибудь на деле и что молитва — *да придет Царствие Твое* — не будет более пустым звуком. Он был глубоко огорчен, когда увидел, как жадные светские бароны загребали своими презренными руками имущество, принадлежащее церкви; и когда он упрекал их, говоря, что это не мирское, а духовное имущество и что оно должно быть обращено на *действительные* церковные нужды, на образование, школы, религиозные потребности, то регент Мёррей ответил ему, пожимая плечами: "Все это благочестивые фантазии!" Таков идеал Нокса относительно справедливого и истинного, и он ревностно стремился осуществить его. Если мы находим этот идеал слишком узким и неправильным, то мы должны радоваться, что он не осуществил его, что идеал этот остался неосуществленным, несмотря на разные попытки в течение двух веков, и остается до сих пор "благочестивой фантазией". Но каким образом мы можем осуждать его за стремление осуществить

свой идеал? Теократия, правление, освященное Богом, — это именно и есть то дело, за которое следует бороться. Все пророки, ревностные священники имели в виду эту же самую цель. Гильдебранд желал теократии; Кромвель желал ее и боролся за нее; Магомет достиг ее. Но мало того, разве не ее именно желают и должны, в сущности, желать все ревностные люди, называются ли они священниками, пророками или как-либо иначе? Царство справедливости и истины или Закон Божий среди людей — вот в чем состоит небесный идеал (прекрасно называвшийся во времена Нокса и вообще во все времена откровением "воли Божьей"), и всякий реформатор всегда будет настаивать на все большем и большем приближении к нему. Все истинные реформаторы, как я сказал, по своей природе — священники и борются за осуществление теократии.

В какой мере подобные идеалы могут быть осуществлены на деле и когда должен наступить конец нашему терпению, ввиду долгого их неосуществления, — это стоит всегда под вопросом. Я думаю, что мы можем сказать вполне свободно: пусть эти идеалы осуществляются сами собой, насколько они могут преуспеть в том. Если они составляют истинную веру людей, то все люди, долго не видя их осуществленными, неизбежно будут испытывать в большей или меньшей мере нетерпение. А что касается регентов Мёрреев, пожимающих плечами и отвечающих словами: "Благочестивые фантазии!" — то в них недостатка никогда не будет. Мы же, со своей стороны, воздадим хвалу герою-священнику, который делает все зависящее от него, чтобы осуществить эти идеалы, который проводит свою жизнь в благородном труде, борется среди противоречий, терпит злословие, чтобы осуществить Царство Божье на земле. Ведь земля не станет от этого уж слишком божественной!

## Беседа пятая

### ГЕРОЙ КАК ПИСАТЕЛЬ. ДЖОНСОН. РУССО. БЁРНС

Герои как боги, пророки, пастыри — все это формы героизма, принадлежащие древним векам, существовавшие в отдаленнейшие времена; некоторые из них давно уже с тех пор стали невозможными и никогда более не появятся вновь в нашем мире. Герой как *писатель* — категория героизма, о которой мы намерены говорить сегодня, — напротив, является всецело продуктом новых веков, и до тех пор, пока будет существовать удивительное искусство *письма* или скорописи, называемое нами *печатанием*, можно думать, будет существовать и он, как одна из главных форм героизма во все грядущие века. Герой-писатель с разных точек зрения представляет весьма своеобразное явление.

Он — новый человек, говорю я; он существует едва ли более одного столетия. Никогда прежде не было подобной фигуры, не было того, чтобы великая душа жила изолированно столь необычным образом; жила, стремясь передать вдохновение, наполняющее ее, в печатных книгах, найти себе место, обрести средства существования в зависимости от того, сколько люди пожелают дать ей за работу. Немало разных предметов выносилось раньше на рынок, где они продавались и покупались по ценам, которые устанавливались сами собой; но никогда еще не было ничего подобного, в столь оголенной форме, с вдохновенной мудростью героической души. Этот человек, со своими авторскими правами и авторским бесправием, на своем грязном чердаке, в своем покрытом плесенью платье, человек, управляющий после смерти из своей могилы целыми нациями и поколениями, безразлично, хотели или не хотели они дать ему кусок хлеба при жизни, — представляет поистине необычайное зрелище! Трудно указать более поразительную по своей неожиданности форму героизма.

Увы, уже с древних времен герою приходится втискивать себя в разные странные формы: люди никогда не знают хорошо, что делать с ним, так чужд бывает им его внешний вид! Нам кажется абсурдом, что люди в своем грубом восхищении принимали некоего мудрого и великого Одина за бога и поклонялись ему, как таковому; некоего мудрого и великого Магомета за боговдохновенного человека и с религиозным рвением следуют его учению вот уже в продолжение двенадцати столетий. Так, но, быть может, настанет время, как я о том

уже говорил, когда людям будет казаться еще более абсурдным, что к мудрому и великому Джонсону, Бёрнсу, Руссо их современники относились как я не знаю к каким бездельникам, существовавшим в мире лишь для того, чтобы забавлять праздность, и награжденным ничтожными аплодисментами и несколькими монетами, выброшенными им, чтоб только они могли жить! А между тем так как духовное всегда определяет собою материальное, то именно такого писателя-героя мы должны считать самой важной личностью среди наших современников. Он, каков бы он ни был, есть душа всего. То, чему он поучает, весь мир станет делать и осуществлять. Обращение мира с ним служит самым многозначительным показанием общего настроения мира. Всматриваясь внимательно в его жизнь, мы можем проникнуть настолько глубоко, насколько это возможно для нас при беглом обзоре, в жизнь и тех своеобразных столетий, которые породили его и в которых мы сами живем и трудимся.

Существуют писатели искренние и неискренние, — как и во всяких вещах и делах бывает настоящее, бывает и поддельное. Если под *героем* следует понимать человека искреннего, в таком случае, говорю я, функция, выполняемая героем как писателем, всегда будет самой почтенной и самой возвышенной функцией; и некогда хорошо понимали, что это была действительно самая возвышенная функция. Писатель-герой высказывает, как умеет, свою вдохновенную душу, что может вообще делать всякий человек при каких угодно обстоятельствах. Я говорю *вдохновенную*, ибо то, что мы называем "оригинальностью", "искренностью", "гением", одним словом, дарованием героя, для которого мы не имеем надлежащего названия, означает именно вдохновенность. Герой — тот, кто живет во внутренней сфере вещей, в истинном, божественном, вечном, существующем всегда, хотя и незримо для большинства, под оболочкой временного и пошлого: его существо там; высказываясь, он возвещает вовне этот внутренний мир поступком или словом, как придется. Его жизнь, как мы сказали выше, есть частица жизни вечного сердца самой природы; такова жизнь и всех вообще людей, но многие слабые не знают действительности и не остаются верными ей; немногие же сильные — сильны, героичны, вечны, так как ничто не может скрыть ее от них. Писатель, как и всякий герой, является именно для того, чтобы провозгласить, как умеет, эту действительность. В сущности, он выполняет ту же самую функцию, за исполнение которой люди древних времен называли человека пророком, священником, божеством; для исполнения которой, словом или делом, и посылаются в мир всякого рода герои.

Немецкий философ Фихте когда-то прочёл в Эрлангене в высшей степени замечательный курс лекций по этому предмету: "Über das Wesen des Gelehrten", то есть *о существе писателя*\*. Фихте, согласно трансцендентальной философии, знаменитым представителем которой он является, устанавливает прежде всего, что весь видимый, вещественный мир, в котором мы совершаем свое жизненное дело на этой земле (в особенности мы сами и все люди), представляет как бы известного рода одеяние, чувственную внешность; что под всем этим, как сущность всего, лежит то, что он называет "божественной идеей мира". Такова действительность, "лежащая в основе всей видимости". Для массы людей не

существует вовсе никакой божественной идеи в мире; они живут, как выражается Фихте, среди одних лишь видимостей, практичностей и призраков, не помышляя даже о том, чтобы под покровом всего этого существовало нечто божественное. Но писатель и является среди нас именно для того, чтобы понять и затем открыть глаза всем людям на эту божественную идею, которая с каждым новым поколением раскрывается всякий раз иным, новым образом. Так выражается Фихте, и мы не станем вступать с ним в спор по поводу его способа выражения. Он на свой лад обозначает то, что я пытаюсь обозначить здесь другими словами, что в настоящее время не имеет никакого названия, а именно: несказанный божественный смысл, полный блеска, удивления и ужаса, который лежит в существе каждого человека, присутствие Бога, сотворившего человека и все сущее. Магомет поучал тому же, говорил о том же своим языком. Один — своим; это — то, что все мыслящие сердца тем или другим способом должны здесь проповедовать.

Итак, Фихте считает писателя пророком или, как он предпочитает выражаться, священником, раскрывающим во все века людям смысл божественного: писатели — это непрекращающееся жречество, из века в век поучающее всех людей, что Бог неизменно присутствует в их жизни; что все "внешнее", все, что мы можем видеть в мире, представляет лишь обличие "божественной идеи мира", одеяние того, что "лежит в основе всей видимости". Истинному писателю, таким образом, всегда присуща известная, признаваемая или не признаваемая миром святость: он — свет мира, мировой пастырь; он руководит людьми, подобно священному огненному столбу, в их объятom мраком странствия по пустыне времени. Фихте с неукоснительной настойчивостью различает *истинного* писателя, называемого нами здесь писателем-героем, от многочисленной толпы фальшивых, лишенных героизма писателей. Всякий, кто не живет всецело божественной идеей, воплощенной в мире, или, проникаясь только отчасти, не стремится, как к единственному благу, проникнуться ею всецело, всякий такой человек, — пусть он живет чем угодно другим, в величайшем блеске и благополучии, — не писатель; это, как выражается Фихте, — жалкий кропатель (Stümper), или, в лучшем случае, если он принадлежит к классу писателей, занимающихся прозаическими предметами, его можно признать за чернорабочего, подающего известку каменщику. Фихте такого писателя называет иногда даже "небытием" и вообще относится к нему без всякого снисхождения, не выражает ни малейшего желания, чтобы он продолжал благоденствовать среди нас. Так Фихте понимал писателя (ученого), и он в иной лишь форме высказывает совершенно то же, что и мы понимаем здесь под писателем.

С этой точки зрения я нахожу, что из всех писателей за последние сто лет резко выделяется соотечественник Фихте — Гёте. Этому человеку дано было странным образом то, что мы можем назвать жизнью в соответствии с божественной идеей мира, — проникновение во внутреннюю божественную тайну; и странно, в его книгах мир еще раз является изображенным как божественный мир, как создание и храм Бога, весь озаренный не резким и нечистым огненным полымем, как у Магомета, а мягким небесным сиянием. Это было действительно



пророчество в наши вовсе не пророческие времена; для моего ума — величайшее явление, хотя вместе с тем и одно из самых безмятежных, самых бесшумных, явление, далеко превосходящее все, что происходило в наши времена. Поэтому Гёте должен был служить для нас наилучшим образом героя как писателя. И мне было бы весьма приятно побеседовать здесь о его героизме, так как я считаю, что он — истинный герой; герой в том, что он говорил и делал, и, быть может, еще больше герой в том, чего он не говорил и чего не делал; на мой взгляд, величественное зрелище представляет этот великий, героический, в смысле древних времен, человек, говорящий и сохраняющий молчание, как древний герой под оболочкой самого новейшего, высокообразованного, высоко развитого писателя! Мы не видывали другого подобного зрелища; мы не знаем ни одного человека за последние полтора столетия, могущего представить подобное зрелище.

Но в настоящее время, ввиду нашего вообще недостаточного знания жизни Гёте, было бы более чем бесполезно пытаться говорить о нем в интересующем нас смысле. При всем моем старании, Гёте для громадного большинства из вас остался бы проблематичной, неопределенной фигурой, и получилось бы одно лишь фальшивое представление. Поэтому мы вынуждены представить его будущим временам и заняться тремя другими величественными фигурами, более доступными для нас в настоящее время, принадлежащими более ранней эпохе и действовавшими при условиях значительно более простых, а именно: Джонсоном, Бёрнсом и Руссо. Все эти три личности мы берем из XVIII столетия; условия их жизни значительно ближе к условиям нашей современной жизни в Англии, чем условия жизни Гёте в Германии. Увы, Джонсон, Бёрнс и Руссо не вышли, подобно Гёте, победителями из жизненной борьбы; они храбро сражались и пали. Они — не герои — носители света, а лишь герои — искатели света. Они жили при тяжелых условиях; они боролись под давлением целой массы всяческих помех и не могли развернуться в полном блеске, не могли дать победоносного истолкования "божественной идеи". То, что я хочу вам показать, представляет скорее *могилы* трех героев-писателей. Это — монументальные курганы, под которыми покоятся три умственных гиганта; курганы в высшей степени печальные, но вместе с тем величественные и полные глубокого интереса для нас. Взгляните же на них!

В настоящее время нередко можно услышать жалобы по поводу так называемого дезорганизованного состояния общества; указывают на то, что многие упорядоченные общественные силы исполняют свое назначение скверно и масса могущественных сил действует прямо опустошительным образом, находится точно в каком-то хаосе, лишена всякой организации. Подобные жалобы, как нам всем хорошо известно, вполне справедливы. Но если вы присмотритесь к книжному делу и к положению писателей, то, быть может, здесь-то именно перед вами и вскрыется вся эта дезорганизация, в ее, так сказать, сконцентрированном виде, быть может, здесь-то мы и найдем своего рода *сердце*, из которого и к которому направляются все прочие замешательства в мире! Присматриваясь к тому, что писатели делают в мире и как мир относится к ним, я должен сказать: здесь именно раскрывается перед нами самое ненор-

мальное зрелище, какое только мир может вообще представить в настоящее время. К сожалению, нам приходится пуститься по морю, далеко не обследованному, если мы хотим составить себе какое-либо представление на этот счет; но мы должны ввиду интересующего нас предмета бросить хотя бы беглый взгляд в эту сторону. Самым тяжелым обстоятельством в жизни указанных мною трех героев-писателей было то, что они нашли свое дело и свое положение в состоянии полного хаоса. По проторенной дороге идти нетрудно; но тяжкий труд, на котором погибают многие, выпадает на долю тех, кому приходится пролагать тропинки по непроходимым местам!

Наши благочестивые отцы хорошо понимали, какое громадное значение имеет слово, обращаемое человеком к людям, и они основывали церкви, делали вклады, вводили уставы; повсюду в цивилизованном мире существует кафедра, обставленная надлежащим образом, дабы человек, владеющий словом, мог обращаться с вящим успехом к людям, подобным себе. Они понимали, что это самое важное дело, что без этого не может быть вообще никакого хорошего дела. И они поступали вполне благочестиво, делали прекрасное дело, на которое приятно взглянуть даже и теперь. Но в настоящее время благодаря искусству письма и печати в этой сфере произошел полный переворот. Действительно, разве автор книги не является, в сущности, проповедником, произносящим свою проповедь не перед тем или другим приходом, не сегодня или завтра, а перед всеми людьми, на все времена, во всех местах? Конечно, в высшей степени важно, чтобы он делал свое дело надлежащим образом, не обращая внимания на тех, кто делает его скверно; чтобы *глаз* не фальшивил, так как в противном случае все остальные члены будут сбиты с правильного пути! И, однако, в настоящее время нет ни одного человека в мире, который стал бы утруждать себя мыслью о том, может ли писатель исполнять свое дело, делает ли он его правильно или неправильно и даже делает ли он его вообще. Для лавочника, преследующего свои эгоистические цели и наживающегося на книгах, писатель, если ему везет, представляет еще некоторый интерес, для других же людей — никакого. Никто не спрашивает, откуда он пришел, какую цель имеет в виду, какими путями идет, чем можно было бы облегчить ему путь. Он есть порождение случая и предоставляется случаю. Он скитается в мире, подобно дикому измайльтянину, и он же, как духовный светоч, ведет этот мир по правильному или ложному пути.

Искусство писать является, без всякого сомнения, самым удивительным делом, до какого только дошел человек. *Руны* Одина представляли первоначальную форму труда героя; *книги*, написанные слова, еще более удивительные *руны*, представляют позднейшую форму! Книга запечатлевает в себе *душу* всех прошедших веков; она — голос из глубины прошлого, отчетливо звучащий в наших ушах, когда тело и материальная субстанция минувших времен уже бесследно рассеялись, подобно мечте. Могущественные флоты и армии, порты и арсеналы, обширные города с громадными зданиями и массой машин — все имеет свою цену и свое значение, но что станет со всем этим? Агамемнон, целая масса Агамемнонов, Периклы и их Греция — все это превратилось теперь

в груди развалин! Молчаливые, печальные руины и обломки! А книги Греции? В них еще до сих пор Греция живет в буквальном смысле для каждого мыслителя; благодаря книгам она может быть снова вызвана к жизни. Какие магические *руны* могут сравняться с книгой! Все, что человечество делало, о чем мыслило, к чему стремилось и чем оно было, все это покоится, как бы объятые магическим сном, там, на страницах книг. Книга — величайшее сокровище человека!

Разве книга не совершает до сих пор чудес, подобно тому как, согласно баснословным рассказам, совершали их некогда *руны*? Они формируют убеждения людей. Самый последний из библиотечных романов засаливается глупыми девицами, возбуждается в глухих деревнях и, таким образом, оказывает действительное, практическое влияние на браки и домашний быт. Так чувствовала "Целия"; так действовал "Клиффорд": глупое решение вопросов жизни, запечатленное в юных мозгах, порождает, когда настанет время, определенные, решительные поступки. Подумайте, разве *руны* даже в самом необузданном воображении мифолога производили когда-либо такие чудеса, какие производили некоторые книги в нашей земной, действительной жизни! Кто воздвиг собор святого Петра? Загляните поглубже в сущность дела, и вы убедитесь, что это была божественная *еврейская книга*, — отчасти слово Моисея, изгнанника, который, четыре тысячи лет тому назад, вел свои мадианитские орды\* по пустыням Синая! Удивительное, непостижимое дело, однако вполне достоверное: с искусством писания, по отношению к которому печатание представляет простое, неизбежное, сравнительно незначительное следствие, открывается для человечества настоящая эра чудес. Искусство это сближает прошлое и отдаленное с настоящим во времени и пространстве, устанавливая нового рода удивительную смежность и непрерывающуюся близость; сближает все времена и все места с нашим настоящим здесь и теперь. Все существенные отрасли человеческой деятельности: обучение, проповедь, управление и т. д., одним словом, все изменилось для людей со времени изобретения этого искусства.

Посмотрите на обучение, например. Университеты представляют замечательный продукт средних веков. Но их значение изменилось также в самом корне благодаря существованию книги. Университеты возникли еще в те времена, когда книга добывалась с большим трудом, когда за одну книгу приходилось отдавать целые поместья. При таких условиях человек, обладавший знаниями и желавший передать их другим, мог достигнуть этого, только собрав вокруг себя слушателей, ставши к ним, так сказать, лицом к лицу. Если вы хотели знать то, что знал Абеляр, вы должны были идти и слушать Абеяра. Тысячи, тридцать тысяч слушателей приходили слушать Абеяра и его метафизическую теологию. Для следующего затем учителя, желавшего также передать другим то, что он знал, условия складывались уже гораздо благоприятнее: масса людей, жаждавших учиться, была уже собрана в одно место; естественно, что из всех мест наиболее подходящим для его проповеди было то место, где проповедовал первый. Для третьего учителя условия складывались еще благоприятнее, и они становились все благоприятнее и благоприятнее, по мере того как здесь, в одном месте, скоплялось все большее и боль-

шее число учителей. Затем оставалось только, чтобы король обратил свое внимание на это новое явление, собрал и соединил разнородные школы в одну школу, построил для нее здания, наделил ее привилегиями и поощрениями и назвал *университетом* — школою всех наук. Таким образом возник — я отмечаю существеннейшие черты — Парижский университет; он послужил прототипом для всех последующих университетов, какие только основывались с тех пор в течение шести столетий. Таково, как я представляю себе, было происхождение университетов.

Очевидно, однако, что такое простое обстоятельство, как легкость, с какою возможно стало приобретать книги, должно было изменить все дело в корне, сверху донизу. Раз люди изобрели книгопечатание, то тем самым они преобразовали все университеты или, собственно говоря, сделали их даже лишними! Учителю незачем теперь обязательно соби- рать вокруг себя слушателей и становиться к ним лицом к лицу для того, чтобы *изложить* перед ними то, что он знает: пусть он напечатает книгу и все ученики приобретут ее и, сидя с нею у своего домашнего очага, изучат ее гораздо основательнее, чем слушая изложение тех же мыслей в университете. Несомненно, живой речи присуща особая сила; и писа- тели до сих пор находят для себя в некоторых случаях более удобным говорить перед аудиторией — примером чему может служить хотя бы и наше настоящее собрание здесь. Существует и, всякий согласится, должна навсегда сохраниться, пока человек будет говорить, особая сфера для речи, как существует своя сфера для письма и печати. Она должна сохраниться для всякого рода случаев, между прочим, и по отношению к университетам. Но границы этих двух сфер не были еще до сих пор нигде указаны, установлены с достаточной определенностью и того менее проведены на деле: до сих пор еще не существует универси- тета, который бы вполне принял в расчет этот первостепенной важности новый факт, существование печатных книг, и был бы организован согласно требованиям XIX столетия, как это было с Парижским универси- тетом по отношению к XIII столетию. Подумайте, и вы согласитесь, все, что может дать нам университет или заключительная школа, ограничи- вается собственно дальнейшим развитием начал, заложенных первоначальной школой, именно наукой *читать*. Мы научаемся *читать* на разных языках, по разного рода наукам, мы выучиваем азбуку и письмо всевозможного рода книг. Но знания, даже теоретические знания, мы должны черпать из самих книг! Наши знания зависят от того, что мы читаем после того, как всевозможного рода профессора сделали по отношению к нам свое дело. Истинный университет нашего времени — это собрание книг.

Даже для церкви, как я заметил выше, все изменилось со времени появления книги в деле ее проповеди и вообще во всей ее деятельности. Церковь представляет собою деятельный, признанный союз священ- ников или проповедников — словом, тех, кто своим мудрым поучением руководит душами людей. Пока не существовало письма, вернее, скоро- писи, или *печатания*, означенной цели можно было достигать единствен- но только при помощи словесной проповеди. Но вот появляется книга! И что же, разве тот, кто может написать настоящую книгу и убедить Англию, не будет, в сущности, епископом и архиепископом или прима-

сом всей Англии? Но что я говорю, не только проповедь, но даже наше поклонение, разве оно также не совершается при помощи печатных книг? Разве не истинное поклонение (при надлежащем понимании с нашей стороны) выражается в том благородном чувстве, которое богато одаренный ум воплощает в мелодичных словах и которое вызывает подобную же мелодию и в наших сердцах? В наше темное время во всякой стране существует немало людей, не признающих никакого иного способа поклонения. Разве тот, кто в состоянии каким бы то ни было образом показать нам лучше, чем мы видели прежде, что полевая лилия прекрасна, не указывает нам на эту последнюю как на проявление совершенной красоты, как на *слова, написанные* рукой великого Творца вселенной и ставшие понятными для всех? Он поет и заставляет нас петь вместе с собою небольшой стих из святого псалма. Несомненно, так. Но насколько же дальше идет тот, кто песнью, словом или каким-либо другим образом заставляет наше сердце отозваться на благородные дела и чувства, на отважные помыслы и страдания брата-человека! Он поистине прикасается к нашим сердцам живым углем, взятым с *алтаря*. Подобное поклонение исходит, быть может, даже из большей глубины сердца, чем всякое иное.

Литература постольку, поскольку она литература, есть "откровения природы", раскрытие "открыто лежащей тайны". Ее довольно верно можно назвать, как выражается Фихте, "непрерывным откровением" божественного в земном и человеческом. Божественное, по самой истине, должно вечно существовать здесь, на земле; оно раскрывается разными путями, говорит разными языками, с различной степенью ясности, и этому делу раскрытия служат сознательно или бессознательно все истинно одаренные песнопевцы и проповедники. Даже в мрачном и бурном негодовании Байрона, несмотря на всю его своенравность и искаженность, можно отыскать следы подобного служения. Даже в сухой насмешке французского скептика, в его смехе над ложью чувствуется любовь и поклонение истине. Что же сказать о гармонии сфер Шекспира, Гёте, о кафедральной музыке Мильтона! Звучит также что-то особенное и в простых, неподдельных песнях Бёрнса, песнях лугового жаворонка, подымающегося из низкой бороздки в голубую высь неба высоко над нашими головами и поющего там для нас так неподдельно искренне. Да, и в этих песнях звучит также что-то особенное! Ибо всякое истинное пение есть, по своей природе, поклонение; то же следует сказать и о всяком истинном *труде: пение* лишь воспроизводит его и воплощает в надлежащую мелодичную форму. Отрывки настоящих "служб" и "собрания поучений", игнорируемые непростительным образом нашим обычным пониманием, утопают в этом безбрежном пеннистом океане печати, который мы небрежно называем литературой. Там их следует искать! Книги — это наша церковь.

Обратимся теперь к правительству. Уитенагемот\*, старинный парламент, был великим учреждением. На нем обсуждались и решались дела целого народа, решалось то, что мы должны были *делать*, как народ. Но разве в настоящее время разные парламентские дебаты, хотя название парламента сохраняется по-прежнему за известным учреждением, не ведутся повсюду и во всякое время, и притом гораздо более

энергичным образом, совершенно *вне* парламента? Бёрк говорил, что в парламенте заседают три сословия; но там в галерее репортеров заседает *четвертое сословие*, гораздо более сильное, чем все они. И это не фигуральное выражение, не остроумная фраза, а подлинно верный факт, факт весьма многозначительный для нашего времени. Литература — наш парламент. Печать, будучи необходимым результатом письма, тождественна, как я не раз говорил, демократии: с изобретением письма демократия становится неизбежной\*. Письмо приводит к печати, к всемирной, ежедневной, импровизированной печати, что мы и видим в настоящее время. Всякий, кто может говорить, обращается теперь к целому народу и становится силой, получает несомненный вес и значение в деле выработки новых законов. При этом неважно, какое положение он занимает, какие имеет доходы и отличия; от него лишь требуется, чтобы он владел словом, и его станут слушать. Нация управляется всеми, кто обладает в ней даром речи: *на этом*, собственно, и основана демократия. Примите еще только во внимание, что всякая существующая власть со временем становится организованной силой; под покровом секретности, в темноте, при наличии всякого рода оков и препятствий она никогда не добьется результата, пока ей не удастся действовать свободно, без помех, на виду у всех. Демократия, если она на самом деле существует, призвана позаботиться о том, чтобы ее существование стало ощутимым\*.

Итак, из всего, что человек может сделать или осуществить здесь, на земле, самым важным, удивительным и ценным во всех отношениях и далеко превосходящим все остальное делом мы должны признать названные нами книги! Эти ничтожные лоскуты бумаги, сделанные из всякого тряпья, с черными чернилами на них, начиная с ежедневной газеты до священной еврейской книги, — чего только они не совершили и чего только они не совершают. Ибо какова бы ни была внешняя форма (лоскут бумаги, как мы говорим, и черные чернила), разве книга не представляет, в сущности, действительно высочайшего проявления человеческих способностей? Она есть *мысль* человека — истинно чудодейственная сила, посредством которой человек создает все прочее. Все, что человек делает, все, что он решает, представляет внешнее обличие мысли. Этот лондонский Сити, со всеми его домами, дворцами, паровыми машинами, соборами, со своею необъятно громадною торговлей и своим шумом, что он такое, как не мысль, как не миллион мыслей, превращенных в одну, — безмерно громадная душа мысли, воплощенной в кирпич, железо, дым, пыль, дворцы, парламенты, фиакры, доки и пр. Человек не может сделать кирпича прежде, чем не *подумает* о том, как сделать его. Так называемые лоскуты бумаги с черточками черных чернил представляют собою *чистейшее* воплощение, какое только мысль человеческая может получить. Нет ничего удивительного, что это воплощение оказывается во всех отношениях самым действительным и самым благородным.

Уже много времени тому назад указывалось на все, сказанное мною теперь, относительно первенствующего значения писателей в современном обществе и постепенного вытеснения прессою всякого рода кафедр, академий и пр. и многого другого, а в последние времена подобные рассуждения повторяются даже довольно часто с некоторого рода сен-

timentальным ликованием и удивлением. Мне думается, что сентиментальное должно мало-помалу уступить место практическому. Если писатели имеют действительно такое неизмеримо громадное влияние, если они действительно совершают для нас такой громадный труд из века в век и даже изо дня в день, — в таком случае, я думаю, мы вправе заключить, что не вечно же они будут скитаться среди нас, подобно непризнанным, дезорганизованным измайльтянам! Для общества нет никакой выгоды, если человек носит одежду, соответствующую известным функциям, и получает вознаграждение за исполнение дела, которое было сделано совсем другим человеком: это несправедливо, это грозит гибелью обществу. И однако, увы, *достигнуть* в данном случае справедливого — какая это громадная работа, сколько времени потребует она! Не спорю, так называемая организация литературной корпорации все еще весьма далека от нас из-за всевозможного рода многочисленных обстоятельств, тормозящих ее. Если бы вы спросили меня, какая из возможных организаций была бы наилучшей для писателей нашего времени, представляла бы упорядоченную систему прогресса, основанную самым точным образом на действительных фактах, касающихся взаимного положения литературы и общества, то я должен был бы ответить, что такая проблема далеко превосходит мои силы! И не силам одного человека разрешить ее вполне; даже приблизительно верное решение может быть найдено только усилиями целого ряда людей, горячо принявшихся за ее решение. Никто из нас не мог бы сказать, какая организация была бы самой лучшей. Но если вы спросите, какая самая худшая, то я отвечу: та, которую мы имеем теперь, когда хаос восседает в качестве третьейского судьи; вот эта поистине самая худшая. Да, длинный путь предстоит нам еще впереди, прежде чем мы достигнем самой лучшей или вообще сносной организации.

Пользуюсь случаем, чтобы сделать одно нелишнее, по моему мнению, замечание, а именно, что денежные дары со стороны королей или парламентов никоим образом не составляют главной меры, необходимой в данном случае! Стипендии и вклады в пользу литераторов, всякого рода кассы — все это мало поможет делу. Вообще скучно слушать подобные рассуждения о всемогуществе денег. Я склонен скорее думать, что для искреннего человека бедность не составляет зла, что должны быть бедные писатели, чтобы было видно, искренни они или нет! Христианство создало свои нищенствующие ордена, корпорации отважных людей, решавшихся жить *милостыней*; корпорации эти представляли совершенно естественное и даже неизбежное учреждение, развившееся на основе христианского учения. Само христианство было основано на бедности, скорби, на всевозможного рода земных бедствиях и унижениях. Мы смело можем сказать, что тот, кто не испытал подобных положений и не вынес из них неоцененного опыта, каким они наделяют нас, упустил прекрасный случай поучиться. Просить милостыню и ходить босиком, в платье из грубой шерсти, с веревкой вокруг пояса, встречать презрение со сторонних всех — такое занятие не представляло ничего привлекательного, ничего, заслуживающего уважения в глазах вообще людей, пока благородство тех, кто поступал так, не заставило некоторых относиться к ним с уважением.

Нищенство — не в нравах настоящего времени, это правда; но во всем остальном кто скажет, что бедность Джонсона не послужила для него, быть может, к лучшему? Ему необходимо было, чего бы это ни стоило, убедиться, что материальная выгода, успех всяческого рода не составляет цели, к которой он должен стремиться. Надменность, тщеславие, низменно мотивированный эгоизм всякого рода гнездились в его сердце, как и в сердце всякого человека; необходимо было прежде всего искоренить его из своего сердца, исторгнуть, какой бы мукой это ни сопровождалось, и отбросить от себя, как нечто недостойное. Байрон, рожденный в богатстве и знатности, не обладает такой глубиной понимания, как плебей Бёрнс. Кто знает, быть может, в этой, "возможно, наилучшей организации", еще столь отдаленной от нас, бедность снова будет составлять важное условие? Что, если наши писатели, выдающиеся люди, духовные герои будут и *тогда*, как и в настоящее время, составлять своего рода "невольный монашеский орден"; будут связаны все с тою же безобразной бедностью, пока не испытают на себе, что она такое, пока не научатся быть выше ее! Деньги действительно могут сделать многое, но они не могут сделать всего. Мы должны знать сферу влияния, принадлежащую им, и удерживать их в этой сфере; и даже отбрасывать прочь, когда они обнаруживают тенденцию выйти из нее.

Кроме того, если бы денежные выдачи, время, когда именно их следует выдавать, компетентный судья, определяющий, кому их следует выдавать, — если бы все это было установлено, то каким бы образом Бёрнс мог быть признан заслуживающим подобного вознаграждения? Он должен был бы пройти через испытание и оправдать себя. Да, через известное испытание; но ведь это яростное бурление хаоса, которое называется литературной жизнью, оно ведь также в своем роде испытание! Утверждают, что борьба людей, стремящихся из низших классов общества проникнуть в высшие круги и добиться высшего общественного положения, должна вечно продолжаться; в этой мысли заключается несомненная истина. И в общественных низах рождаются сильные люди, которые должны находиться в другом месте. Многообразная, многосложная и запутанная до невозможности борьба этих людей составляет и должна составлять так называемый общественный прогресс. Писатели причастны ей, как и всякого другого рода люди. Каким образом урегулировать эту борьбу? Вот в чем весь вопрос. Предоставить все самому себе, на усмотрение слепого случая? Пусть мириады рассеянных атомов поглощают друг друга в пучине водоворота! Пусть один только из тысячи достигает благополучно цели, а девятьсот девяносто девять погибают на пути! Царственный Джонсон томится в бездействии на чердаке или попадает в кабалу к какому-нибудь пещерному издателю; Бёрнс умирает с разбитым сердцем, как простой мерщик\*; Руссо, доведенный до ожесточения и безумия, зажигает своими парадоксами Французскую революцию: такое положение, как мы сказали, несомненно, *самая худшая* из возможных организаций. А *самая лучшая*, увы, она еще далеко от нас!

И однако, не может быть никакого сомнения, что мы на пути к такой организации: она сокрыта в недрах грядущих веков, но время ее приближается; мы можем, не рискуя особенно, высказать подобное пророчест-



во. Ибо коль скоро люди признали важность известного дела, они неустанно работают над упорядочением его, они облегчают его дальнейшее развитие, содействуют ему и не успокаиваются, пока не достигнут, хотя бы и не вполне, своей цели. Я говорю, что из всех существующих в настоящее время общественных слоев — духовенства, аристократии, правящих классов — ничто не может идти в сравнение по своему значению с корпорацией писателей. Это факт, всякому бросающийся в глаза и всякого наталкивающий на выводы. "Литература позаботится сама о себе", — ответил Питт, когда к нему обратились с просьбой оказать поддержку Бёрнсу. "Да, — прибавил Саути, — она позаботится сама о себе, и о вас также, если вы не обратите на нее должного внимания!"

Речь идет, конечно, не об отдельных писателях: они — всего лишь отдельные индивиды, бесконечно малая частица одного громадного тела; они могут продолжать бороться, жить и умирать сообразно своим привычкам и вкусам. Но интересы всего общества глубоко затрагиваются тем обстоятельством, поставит ли оно свой *светильник* на высоком месте, чтобы он светил всем, или же бросит его под ноги и рассеет свет, исходящий из него, во все стороны по дикой пустыне (не без пожара), как это бывало уже не раз! Свет — единственная вещь, необходимая для мира. Поставьте мудрость во главу угла, и мир будет победоносно сражаться, будет наилучшим миром, какой только человек может создать. Я полагаю, что эти скитания, что этот дезорганизованный класс писателей есть средоточие всех прочих наших бед, одинаково и следствие, и причина их; известное упорядочение в этом деле должно быть как бы *punctum saliens\** новой жизнедеятельности, справедливости и порядка во всем остальном. В некоторых государствах Европы, во Франции, в Пруссии например, делаются уже кое-какие робкие шаги в деле организации класса писателей, указывающие на возможность постепенно достигнуть желаемой цели. Я верю, что такая организация возможна, что она должна стать возможной.

Из всего, что я слышал о Китае, наибольший интерес для меня представляет один факт, относительно которого мы не можем, к сожалению, дать себе достаточно ясного отчета, но который при всей своей неопределенности возбуждает величайшее любопытство, а именно, что китайцы *de facto\** стремятся сделать своих писателей своими правителями! Было бы опрометчиво с нашей стороны утверждать, что кто-либо отдавал себе сознательный отчет, каким образом это делалось или насколько успешно делалось. Все подобные дела должны оканчиваться крайне безуспешно; но малейший успех ценен; даже попытка и та ценна! Во всем Китае, по-видимому, действительно повсюду ведутся более или менее деятельные розыски талантливых людей, принадлежащих к молодому поколению; там школа открыта для каждого; и хотя в ней получается дурацкое образование, но все-таки известного рода образование. Молодые люди, обратившие на себя внимание в низшей школе, переводятся в высшую и ставятся в надлежащие условия, чтобы они могли еще более усовершенствоваться, и так все дальше и дальше: из них-то, по-видимому, и вербуются должностные лица и начинающие правители. Их сначала *испытывают*, годятся они в правители или нет. И конечно,

с наилучшими результатами, так как это все люди, доказавшие уже, что они обладают умом. Испытайте их: они еще не были ни правителями, ни администраторами; быть может, они и не могут быть ни теми, ни другими, но, несомненно, они *обладают* известным пониманием, без которого ни один человек не может быть правителем! И это понимание не есть *орудие*, как мы слишком склонны представлять его, а *"рука"*, которая может действовать каким угодно орудием". Испытайте этих людей: из всех людей они заслуживают больше, чем другие, того, чтобы их испытывали. Конечно, в этом мире не существует, насколько мне известно, другого подобного правительства, которое воздавало бы такую же дань научной любознательности. Человек с умом — на вершине всех дел: такова должна быть цель всех общественных укладов и организаций. Ибо человек с истинным умом, как я утверждаю постоянно и верю неизменно, есть вместе с тем и человек с благородным сердцем, человек истинный, правдивый, человечный, отважный. Добудьте себе такого человека в правители, и вы добудете все; если же вам не удастся привлечь его, то хотя бы вы имели конституции столь плодovитые, как ежевика, и парламент в каждой деревне, вы ничего не достигнете!

Все сказанное мною может показаться странным, это правда, все это несколько не похоже на то, что мы привыкли обыкновенно думать. Но мы переживаем странные времена, когда о подобных предметах необходимо побольше думать, когда подобные мысли необходимо делать осуществимыми, необходимо, наконец, каким-либо образом осуществлять их на деле, их и многое другое. Со всех сторон вокруг нас слышится довольно явственно, что старинному владычеству рутины настал конец, что долговечное существование известного порядка не есть еще основание для его дальнейшего существования. Все, что приходит в состояние упадка, теряет свою компетентность. Громадные массы человеческого рода в каждом государстве современной Европы не могут дольше жить при подобных условиях. Когда миллионы людей не в состоянии уже более при крайнем напряжении сил добыть себе пропитание и "третья часть людей испытывает недостаток в картофеле последнего сорта в течение тридцати шести недель в году", то, значит, условия, при которых они живут, решительно незрели и должны быть изменены! На этом я и покончу теперь с вопросом об организации класса писателей.

Но злополучие, жестоко угнетавшее указанных мною трех героев-писателей, заключалось главным образом, увы, не в недостатке организации класса писателей! Оно лежит гораздо глубже; из него, как из своего природного источника, вытекает в действительности и это последнее зло, и много других бед как для писателей, так и вообще для всех людей. То, что нашему герою как писателю приходилось совершать свой путь не по большой дороге, идти без сотоварищей, среди окружающего хаоса и нести сюда свою жизнь и свои способности, чтобы вложить их, как частичный вклад, в дело *проведения* большой дороги через хаос, — все это он мог бы терпеливо снести и считать лишь обычным уделом героев, если бы при этом самые его способности не подвергались такому беспощадному извращению и не были бы так страшно парализованы! Его фатальное несчастье составлял, так сказать, *духовный паралич* того века, когда ему пришлось жить, паралич, из-за

которого его жизнь, несмотря на все усилия, также оказывалась полупарализованной! XVIII век — век *скептицизма*. В этом маленьком слове заключается бедствий целый ящик Пандоры. Скептицизм означает не только умственное сомнение, но и нравственное; он означает всякого рода неверие, неискренность, духовный паралич. Начиная с самого сотворения мира немного, вероятно, найдется подобных веков, когда бы жизнь в героизме представляла для человека больше затруднений, чем в ту пору. Это не был век веры, век героев! Самая возможность героизма отрицалась тогда, так сказать, формально в сознании всех людей. Героизм прошел навсегда; наступили тривиальность, формализм, общие места, наступили, чтобы остаться навсегда. Мир опорожненный, где удивлению, величию, божеству не было уже более места; одним словом, безбожный мир!

Как ничтожен и невзрачен кажется весь склад мышления людей этой эпохи в сравнении не говорю уже с воззрениями христиан Шекспиров и Мильтонов, но даже древних язычников-скальдов и вообще всякого рода верующих людей! Живое *дерево* Иггдрасиль, ветви которого, широкие, как мир, шумели своим мелодичным пророческим шелестом, а корни уходили глубоко в самую преисподнюю, погибло в грохоте *мировой машины*. "Дерево" и "машина" — сопоставьте эти два понятия! Я, с своей стороны, провозглашаю, что мир — отнюдь не машина! Я утверждаю, что он движется *не* благодаря механическим "двигателям", колёсам и шестерням — личным интересам, чекам и балансам; что в нем существует нечто совершенно иное, чем грохот прядильных машин и парламентское большинство, и что вообще он — вовсе не машина! Древнескандинавские язычники имели более правильное представление о Божьем мире, чем жалкие машинные скептики: древнескандинавские язычники были *искренние* люди. Но для жалких скептиков XVIII века не существовало ни искренности, ни истины. Полуистина и ходячая фраза сходили за истину. Истина для большинства людей означала правдоподобие, нечто такое, что можно измерять числом полученных в ее пользу голосов. Люди перестали вовсе понимать, что искренность была некогда возможной и что такое была эта искренность. Перед вами выступает несчастная масса ходячих правдоподобностей, вопрошающих с видом неподдельного изумления и оскорбленной добродетели: что, разве мы не искренни? Духовный паралич, говорю я, не пощадивший ничего, кроме механической жизни, представляет характерную черту XVIII века. Средний человек не мог быть тогда человеком верующим, героем, разве только в том случае, когда он, к своему счастью, стоял *ниже* своего века, принадлежал к другой, предыдущей эпохе; одним словом, человек лежал как бы в гробу, потеряв сознание под влиянием злополучных веяний. Тот же, кто стоял целой головой выше других, только путем бесконечной борьбы и страшных противоречий мог отстоять для себя полусвободу и прожить свою духовную жизнь, полную трагизма и похожую, собственно, на смерть, точно в заколдованном состоянии и быть полугероем!

Все это, вместе взятое, мы называем скептицизмом; он является главным стимулом, главным началом, порождающим все остальное. По этому поводу следовало бы, собственно, поговорить пообстоятельнее, но в таком случае изложению того, что я чувствую относительно XVIII

столетия и его понятий, пришлось бы посвятить не несколько слов и не одну беседу, а целый ряд их. Ибо, действительно, то, что мы называем здесь скептицизмом, и все подобное ему есть черная немочь и губительный недуг жизни, против которого направлены все поучения и все собеседования, с тех пор как зародилась человеческая жизнь. Борьба веры с неверием — это никогда нескончаемая борьба! Дело не в порицаниях и обвинениях, конечно. Скептицизм XVIII века мы должны рассматривать как упадок древних верований, как медленное подготовление новых, более широких верований. Он был неизбежным явлением. Мы не должны порицать людей за него. Мы должны оплакивать их тяжелую участь. Мы должны понять, что разрушение старых *форм* не есть разрушение вечных *сущностей*; что скептицизм, прискорбный и ненавистный скептицизм, каким мы знаем его, есть не конец, а начало.

Говоря в одной из предыдущих бесед без всякой задней мысли о теории Бентама относительно человека и человеческой жизни, я случайно сказал, что его мировоззрение кажется мне жалким по сравнению с мировоззрением Магомета. Чтоб устранить всякие недоразумения, я считаю себя обязанным сказать здесь, что именно таково мое вполне обдуманное мнение. Говорю это не с тем, чтоб оскорблять лично Иеремию Бентама и тех, кто верит ему и уважает его. Бентам сам по себе и даже убеждения Бентама кажутся мне сравнительно достойными похвалы. Все стремились к определенному *бытию*, стремились нерешительным образом, представляя собою ни мясо ни рыбу. Пусть же лучше будет кризис: за ним наступит или смерть, или излечение. Этот грубый машинообразный утилитаризм, по моему мнению, указывал на приближение новой веры. Он означал ниспровержение лицемерия; он говорил каждому: "Итак, этот мир есть мертвая железная машина; влечение и самодовлеющий голод — его божество; посмотрим, что можно сделать из него при помощи пружин и рычагов, зубцов и шестерней, тщательно отшлифованных!" Бентамизм заключал в себе нечто полное, мужественное; он бесстрашно отдавался тому, что признавал за истину; он также не лишен геройства, хотя это было геройство с выколотыми *глазами*! Он — кульминационная точка, бесстрашный ультиматум, на какой только мог отважиться человек XVIII века, всецело погрязший в нерешительной половинчатой жизни, представлявший собою, как я говорю, ни рыбу ни мясо. Я думаю, что все те, кто отрицает божество, и все те, кто исповедует его только своими устами, должны быть бентамистами, если они люди отважные и честные. Бентамизм это — *безглазый* героизм. Род человеческий, подобно несчастному ослепленному Самсону, ворочавшему жернова на мельнице у филистимлян, конвульсивно обхватывает столбы мельницы и потрясает ими; наступает всеобщая гибель, но вместе с тем, в конце концов, и освобождение. О Бентаме я не стану говорить ничего дурного.

Но вот что я должен сказать и желал бы, чтобы все люди услышали это и приняли к сердцу, а именно, что тот, кто видит во вселенной всего лишь механизм, фатальным образом упускает совершенно из виду тайну вселенной. Изгнание всякого божества из человеческого представления о мире, в моих глазах, — жесточайшее животное заблуждение; я не

говору — языческое, чтобы не оскорблять язычество, каково бы оно ни было вообще. Это неправда; это — в самом существе своем ложь. Человек, думающий так, будет думать *неправильно* и обо всем остальном: первородный безбожный грех извратит в корне все его суждения. Это заблуждение мы должны считать самым плачевным из всех заблуждений, плачевнее даже колдовства. Впадая в колдовство, человек поклоняется по крайней мере живому дьяволу, а здесь он поклоняется мертвому железному дьяволу; ни Бога, ни даже дьявола! Все благородное, святое, всякое вдохновение исчезает вследствие этого заблуждения, и повсюду в жизни остается одно презренное *sarut mortuum\** — механически связанная оболочка, из которой дух живой исчезает совершенно. Разве может человек поступать при таких условиях героически? "Учение о двигателях" внушает ему, в более или менее замаскированном виде, что не существует ничего, кроме жалкой страсти к наслаждению и страха перед страданием; что голод, жажда рукоплесканий, денег и всякого рода пожива представляет последнее слово в человеческой жизни. Короче говоря, полный атеизм, который неизбежным и ужасающим образом карает в конце концов сам себя. Человек, говорю я, становится тогда параликом в духовном отношении; божественная вселенная — мертвой, механически слаженной паровой машиной, работающей благодаря только двигателям, нажимам, рычагам и я не знаю еще чему; а в ней, как в злополучном чреве отвратительного быка Фалариса\*, находится он, сам изобретатель, бедный Фаларис, и ожидает своей жалкой смерти.

Вера, как я понимаю ее, есть здоровый акт человеческого духа. Каким образом человек находит свою веру — это таинственный, не поддающийся описанию процесс, как и всякий вообще жизненный процесс. Ум дан нам вовсе не для того, чтобы мы препирались и умствовали; но для того, чтобы мы могли проникать в окружающие нас предметы, создавать себе ясное представление, понимать их, веровать и на основании всего этого затем действовать. Правда, сомнение само по себе не есть преступление. Конечно, мы не должны накидываться на все сразу, подхватывать первую попавшуюся нам мысль и верить в нее тотчас же! Всякого рода сомнение, пытливость, скепсис, как называют ее, относительно каких бы то ни было фактов, присуща уму каждого разумного человека. Сомнение представляет мистическую работу ума над фактами, находящимися на *пути* к тому, чтобы человек понял и уверовал в них. Вера вырастает из всего этого, как вырастает дерево над почвой из своих скрытых *корней*. Но затем, если мы требуем даже в обыденных делах, чтобы человек держал *при себе* свои сомнения и не болтал о них, пока они не переработаются до некоторой степени в утверждения или отрицания, то тем с большим правом мы можем требовать того же, когда дело идет о предметах величайшей важности, о предметах, которых даже невозможно высказать словами! Когда человек выставляет напоказ свое сомнение и воображает, что споры и логика (говорящая в лучшем случае лишь о том, насколько человек умеет выразить свою мысль, свою веру или безверие относительно известного факта) составляют истинное торжество и работу его интеллекта, то, увы, он делает то же, что и неразумный садовник, *выворачивающий* дерево и показывающий нам вместо зеленых ветвей, листьев

и плодов безобразные обнаженные корни. Никакого роста в будущем, одна только смерть и несчастье!

Скептицизм, как я сказал, охватывает не только интеллект, но и нравственное чувство. Это — хроническое разрушение и атрофия всей души. Человек живет только верой, а не спорами и умствованиями. Горе ему, если все, с чем он совладал и во что поверил, сводится к тому, что он может засунуть в карман или обратить на удовлетворение своих грубых appetитов. Ниже этого он уже не может пасть! Века, когда человек падает так низко, мы считаем самыми плачевными, самыми жалкими и ничтожными. Сердце мира страдает, оно парализовано; разве могут члены его чувствовать себя при этом здоровыми? Во всех отраслях мировой работы прекращается искренняя деятельность и начинается ловкая фальсификация. Заработная плата, выдаваемая миром, спокойно кладется в карман, а работа мира не делается. Герои ушли. Настало время шарлатанов. Действительно, какое другое столетие, начиная с падения римского мира — это была также эпоха скептицизма, прозрачности, всеобщего разложения, — какое другое столетие изобиловало такой массой шарлатанов, как XVIII век? Присмотритесь к ним, к их напыщенному, сентиментальному хвастовству добродетелью и милосердием, к этому жалкому эскадрону шарлатанов с Калиостро во главе. Немногие устояли тогда и остались незапятнанными. Шарлатанство признавалось в ту пору необходимым ингредиентом и амальгамой истины. Чатам, наш храбрый Чатам, он пришел в палату весь в повязках и перевязях; он "приполз сюда, несмотря на страшное физическое страдание", но *забыл* разыгрываемую им роль больного человека: в пылу спора срывает свою руку с перевязи и по-ораторски размахивает и жестикулирует ею! Сам Чатам ведет какую-то крайне странную, раздражительную жизнь: полугерой, полшарлатан в течение всей жизни. Ибо, действительно, мир изобилует олухами, а вы добились *всеобщего* голосования! Нам незачем входить здесь в рассмотрение, каким образом при таких условиях выполняются всеобщие обязанности, какое количество ошибок постепенно накапливается во всех областях человеческой деятельности, ошибок, указывающих на несостоятельность, и ошибок, указывающих на бедствие и несчастье многих или немногих людей.

Я думаю, что мы влагаем свои персты в самую гнойную язву мира, когда говорим о скептицизме. Скептический мир — неискренний мир; скептицизм — безбожная неправда мира! Из него зародилось целое племя социальных язв — французские революции, чартизм и все что угодно; он составлял главную основу их неизбежного существования. Все это должно измениться, а до тех пор невозможны никакие действительные улучшения. Моя единственная надежда относительно человечества, мое постоянное утешение при виде бедствий мира — в том, что такой порядок вещей изменяется. То там, то здесь в настоящее время встречаются уже люди, которые признают, как в старые времена, что мир представляет собою истину, а не одну только вероятность, не ложь; что сами они — люди живые, а не мертвые или паралитики и что мир — жив и движим божеством, что он прекрасен и грозен, как в первый день творения! Раз один человек признает это, то и многие, то и все люди должны постепенно прийти к тому же. Дело ясное для всякого,

кто, желая знать истину, снимет очки и взглянет открыто на мир Божий! Для такого человека век неверия, со всеми его проклятыми последствиями, уже дело прошлого; для него уже наступает заря нового столетия. Старое проклятое наследие, прежние деяния, как бы долговечны они ни казались, суть фантомы, готовые скоро исчезнуть. И этому шумливому, величественно выглядывающему призраку с целым сонмом людей, выкрикивающих вслед за ним ура, равно как и другим призракам, он может сказать, спокойно отступая в сторону: "Ты — не истина; ты не существуешь; ты — одна только видимость; иди своим путем!" Да, пустой формализм, грубый бентамизм и всякого другого рода негероическая атеистическая неискренность, видимо и быстро клонится к упадку. Неверующий XVIII век представляет, в конце концов, исключительное явление, какое бывает вообще время от времени в истории. Я предсказываю, что мир еще раз станет искренним, верующим миром, что в нем будет много героев, что он будет героическим миром! Тогда он станет победоносным миром; только тогда и только при таких условиях.

Но, в самом деле, что я говорю о мире и о его победах? Люди слишком много говорят о мире. Не обязан ли каждый из нас — пусть мир идет, как он хочет, преуспевает или не преуспевает — направлять свою собственную жизнь в ту или другую сторону? Жизнь человеку дается только один раз; только один раз промелькнет для него этот маленький проблеск времени между двумя вечностями; вторично жить нам никогда более не придется! И благо было бы нам жить не как глупцам и призракам, а как мудрецам и действительным людям. Спасение мира не спасает еще нас, так же как заблуждение мира не губит еще нас. Мы должны сами позаботиться о себе: великое дело представляет эта "обязанность оставаться дома"! И вообще, говоря по правде, я никогда не слышал о "мирах", "спасенных" каким-либо другим образом. Мания спасать миры составляет особенность XVIII века с его пустым сентиментализмом. Не будем же подражать ему слишком старательно. Ибо спасение *мира* я должен с полным упованием предоставить Творцу мира и позаботиться немного о своем собственном спасении, в чем я могу быть гораздо более компетентен!\* Короче, мы должны в интересах мира и в своих собственных интересах радоваться, что скептицизм, неискренность, механический атеизм, со всеми своими ядовитыми росами, проходят, почти уже прошли.

Таковы были условия, при которых во времена Джонсона приходилось жить нашим писателям. Тщетно вы стали бы искать тогда какой-либо истины в жизни. Старые истины лежали поверженные, почти безмолвные; новые оставались еще сокрытыми, их никто не пытался высказать. В этих сумерках мира не видно было еще ни малейшего проблеска, ни малейшего намека, что человеческая жизнь здесь, на земле, была некогда искренней, представляла собою действительный факт и что такую она должна быть всегда. Ни малейшего намека, ни даже чего-либо вроде Французской революции, которую мы понимаем, во всяком случае, как новое проявление истины, хотя и вырвавшейся, подобно огню, из самой преисподней! Какая громадная разница между паломничеством Лютера, имевшего перед собою достоверную цель, и паломничеством Джонсона, окруженного одними только традициями,

гипотезами, ставшими в то время уже невыносимыми, невероятными! Формулы, с которыми приходилось считаться Магомету, можно выразить следующим образом: "дерево, смазанное маслом и натертое воском". Таких идолов можно было *сжечь* и сбросить с пути; но гораздо труднее было *сжечь* формулы, стоявшие перед бедным Джонсоном. Сильный человек всегда найдет себе *труд* (что означает преодоление трудностей, страдание) в полную меру своей силы\*. Но выйти победителем из обстоятельств, при которых работал наш герой-писатель, было труднее, чем из каких угодно других. Дело не в помехах, не в дезорганизации, не в книгопродавце Осборне и четырех с половиной пенсах в день; дело, я хочу сказать, не только в этом, а в том, главным образом, что у писателя-героя похитили свет его собственной души. На его пути не было воткнуто ни одной вехи в землю; но, увы, что значит это по сравнению с тем, что он в то же время не видел никакой Полярной звезды на небе! Нечего поэтому удивляться, если три означенных писателя не вышли победителями из жизненной борьбы. Величайшей похвалы заслуживают они уже за то, что честно сражались, и мы со скорбной симпатией созерцаем теперь если не трех живых победителей-героев, то, как я сказал, гробницы трех павших героев! Они пали, сражаясь также и за нас, пролагая путь также и для нас. Вот горы, которыми они ворочали среди потемок в своей борьбе с гигантами; а теперь они покоятся под ними, растратив свои силы и свою жизнь.

Я писал уже об этих трех писателях-героях и потому не стану говорить здесь вторично об одном и том же. В настоящем случае они интересуют нас как единственные *пророки* этого единственного в своем роде века; ибо они действительно были пророками; и зрелище, какое представляют они и их мир с такой точки зрения, может навести нас на многие размышления. Я считаю их всех троих, в большей или меньшей степени, искренними, честно, хотя в большинстве случаев и бессознательно, стремившимися быть искренними и утвердиться на вечной истине вещей. Таково в высшей степени важное отличие этих людей от жалкой массы их искусственных современников. Они высоко стоят над толпой, и мы можем считать их до известной степени проповедниками вечной истины, пророками своего века. Сама природа возложила на них благородную необходимость быть проповедниками. Они были слишком великими людьми, чтобы жить нереальностями; заволакивающие облака, пена и всякая суэта исчезали перед ними; для них не существовало другой точки опоры, кроме твердой земли; они не могли рассчитывать ни на покой, ни на правильное движение до тех пор, пока не станут прочной ногой на эту землю. До известной степени они представляют собой также сынов природы в этот век всего искусственного и, таким образом, являются еще раз людьми оригинальными.

Что касается Джонсона, то я всегда относился к нему как к одному из наших великих английских умов. Сильный и благородный человек; какая масса дарований так и осталась в нем до конца под спудом; чего бы только он ни сделал при обстановке более благоприятной: он мог бы быть поэтом, священником, верховным правителем! Но вообще человек не должен сетовать на свою "среду", на свое "время"; это — бесплодный труд; если человеку приходится жить в скверные времена, то он должен



стремиться к тому — и в этом смысл его жизни, — чтобы сделать их хорошими!\* Юность Джонсона протекла в бедности, одиночестве, среди безысходной нужды, без всяких надежд впереди. Однако мы не имеем, в сущности, никакого основания утверждать, что при более благоприятных внешних условиях жизнь Джонсона могла бы быть иной, могла не быть столь мучительной. Мир мог получить от него большее или меньшее количество полезной работы; но его *усилие*, направленное против работы, продельваемой миром, ни в каком случае не могло быть для него легким. Природа, в ответ на его благородство, сказала ему: живи в атмосфере болезненной скорби. Нет, быть может, скорбь и благородство были тесно и даже неразрывно связаны одна с другим. Во всяком случае, бедный Джонсон должен был идти своим путем, охваченный вечной ипохондрией, физическими и душевными муками. Он точно Геркулес в раскаленной рубашке Несса\*. Рубашка причиняет ему тупую нестерпимую боль, но он не может сорвать ее, так как она — его собственная кожа! Так приходилось *ему* жить. Перед вами человек, страдающий золотухой, с великим жаждущим сердцем и невыразимым хаосом мыслей, печально шагающий, подобно какому-то чужеземцу, на нашей земле, жадно пожирающий всякую умственную пищу, какую только он может раздобыть: языки, обыкновенно изучаемые школьниками, и другие чисто грамматические материи, за неимением лучшего! Величайший ум во всей Англии, — и на удовлетворение его потребностей — всего "четыре с половиной пенса в день". Однако это — гигантский, непобедимый ум, ум истинного человека. Навеки будет памятна известная история с башмаками в Оксфорде: как неотесанный, сухопарый, с узловатым лицом студент-стипендиат ходил в зимнюю пору в изорванных башмаках; как один мягкосердый студент-джентльмен тайком поставил у его дверей новую пару башмаков и как сухопарый стипендиат взял их, посмотрел пристально своими близорукими глазами и — с какими мыслями — выбросил вон за окно! Промоченные ноги, грязь, мороз, голод, все, что вам угодно, только не нищенство: нищенствовать мы не можем. Суровая и непреклонная независимость заговорила в нем; тут перед вами целый мир грязи, грубости, непроглядной бедности и нужды и вместе с тем благородства и мужества. Эта история с выброшенными за окно башмаками крайне типична для Джонсона. Он вполне оригинальный человек, человек, живущий не чужим умом из вторых рук, не заимствующий, не выпрашивающий. Будем стоять на нашем собственном основании, чего бы это нам ни стоило! Будем ходить в таких башмаках, какие мы можем сами добыть себе, в мороз и по грязи, если вам угодно, но только не стыдясь, открыто для всех; будем опираться на реальность и сущность, которые открывает *нам* природа, а не на видимость, не на то, что она открывает другим, не нам!

И однако, при всем его суровом мужестве, при всей его гордой независимости разве существовала когда-либо душа более нежно любящая, более чистосердечно подчиняющаяся всему, что стояло действительно выше ее? Великие души всегда лояльно-покорны, почтительны к стоящим выше их; только ничтожные, низкие души поступают иначе. Я не мог бы найти лучшей иллюстрации, чем личность Джонсона, к мысли, высказанной мной в одной из предыдущих бесед, а именно, что

искренний человек по природе своей — покорный человек; что только в мире героев существует законное повиновение героическому. Суть *оригинальности* не в *новизне*: Джонсон всецело верил в старину, он относился уважительно к древним учениям и верил в них, он находил их годными для себя и следовал им настоящим героическим образом. В этом отношении он заслуживает самого серьезного изучения. Ибо мы должны сказать, что Джонсон не был человеком одних только слов и формул; нет, он был человеком истины и фактов. Он опирался на старые формулы; тем лучше для него, что он мог так поступать; но все формулы, которые он мог признать, необходимо должны были заключать в себе самое подлинное, настоящее содержание. Крайне любопытно, что в этот жалкий бумажный век, столь скудный, искусственный, наполненный доверху педантизмом всякого рода, ходячими фразами, что в этот век великий факт, вселенная навеки чудесная, несомненная, невыразимая, божественно-адская — все-таки сверкала своим ярким блеском для Джонсона! Любопытно, как он приводил свои формулы в гармонию с нею, как он справлялся со всеми затруднениями. Это — картина, заслуживающая серьезного внимания, картина, на которую "следует глядеть с почтением, состраданием и благоговением". Церковь святого Клемента, где Джонсон *поклонялся* своему Богу в эпоху Вольтера, вызывает во мне чувство благоговения.

Джонсон по силе своей *искренности*, по силе своего слова, исходящего до известной степени все еще из самого сердца природы, хотя и облекавшегося в формы ходячего, искусственного диалекта, был пророком. Но разве не все диалекты "искусственны"? Не все искусственные вещи фальшивы. Напротив, всякое истинное творение природы неизбежно принимает известную *форму*; мы можем сказать, что все искусственное в первоначальной точке своего отправления *истинно*. Так называемые нами "формулы" не заключали в себе вначале ничего низменного; они были необходимым благом. Формула есть *метод*, обычай; она существует повсюду, где существует человек. Формулы складываются так же, как пролагаются тропинки, проезжие большие дороги, ведущие к святыне, на поклонение которой стекается масса народу. В самом деле, представьте: человек под влиянием горячего сердечного импульса находит средство осуществить известную мысль, например выразить благоговение, какое его душа питает к Всевышнему, или же просто приветствовать надлежащим образом человека, подобного себе. Для того чтобы сделать это, необходимо быть изобретателем, *поэтом*; он высказывает во всеуслышание, отчеканивает мысль, существовавшую и смутно борющуюся в его сердце и в сердцах многих других людей. Это — его образ действия; это — его следы, начало "тропинки". А теперь смотрите: второй человек идет, само собою разумеется, по следам своего предшественника: ведь это — *самый легкий* способ продвигаться вперед. Да, по следам своего предшественника, не отказываясь, однако, от изменений, улучшений, где это оказывается удобным, но, во всяком случае, протаптывая тропинку; таким образом, она становится *все шире и шире* по мере того, как все больше и больше народу ходит по ней, пока наконец не превращается в широкую, большую дорогу, так что весь мир может ходить и ездить по ней. Пока на другом конце находится город

или святыня или вообще что-либо реальное, к чему стремится народ, до тех пор большая дорога должна по справедливости считаться благом. Но раз город исчезает, мы неизбежно забрасываем и свою большую дорогу. Таким именно образом возникают всякие учреждения, обычаи, все то, что укладывается в те или иные рамки, и таким же образом они прекращают свое существование. Все формулы вначале *полны* сущности; вы можете назвать их *кожею*: они представляют собою отчеканенное воплощение, в форме, в членах, той сущности, которая уже существует помимо их; если бы это было не так, то и *формул* не существовало бы вовсе. Существование идолов, как мы сказали, не означает еще идолопоклонства до тех пор, пока они не вызывают сомнения, не становятся пустыми для сердца человека, поклоняющегося им. Хотя мы много говорили против формул, однако я надеюсь, никто из вас не станет отрицать великого значения *истинных* формул, того, что они были и всегда будут неотъемлемою принадлежностью нашего существования в этом мире.

Заметьте еще, как мало Джонсон хвалится своею "искренностью". Он вовсе и не подозревает даже, что он особенно искренен, что он особенно представляет собою нечто! Он — человек, ведущий тяжелую борьбу, человек с измученным сердцем, "школяр", как он называет сам себя, работающий без усталости над тем, чтобы добыть себе честным образом жалкие средства существования в этом мире, чтобы не умереть с голоду и жить, не воруя. В нем есть благородная бессознательность. Он не "вырезает слово *"истина"* на своих брелоках"; нет, но он опирается на истину, говорит и работает во имя ее, живет ею. Так всегда бывает. Подумайте об этом еще раз. Человек, предназначенный природою для свершения великих дел, бывает одарен прежде всего чуткостью по отношению к природе, которая делает его неспособным быть неискренним! Для его широкого, открытого, глубоко чувствующего сердца природа есть факт; всякая ходячая фраза есть фраза; несказанное величие тайны нашей жизни, сознает ли он это или нет, даже более, хотя бы ему казалось, что он позабыл об этой тайне и отрицает ее, всегда стоит перед *ним*, стоит удивительное и страшное по одну и по другую руку его. У него есть известная основа искренности, несознаваемая, так как она никогда не подвергалась сомнению и не может подвергаться ему. Мирабо, Магомет, Кромвель, Наполеон, все вообще великие люди, о которых я только слышал когда-либо, отличались такою же искренностью, составлявшей первородную материю их бытия. Бесчисленное множество обыденных людей спорят и толкуют повсюду о своих пошлых доктринах, усвоенных ими логическим, рутинным путем, из вторых рук. Но для такого человека все эти споры не имеют еще ровно никакого значения. Он должен обладать истиной, истиной, относительно которой *он* чувствует, что она действительно истинна. Иначе он не будет чувствовать под собою прочной почвы. Его дух всем своим существом, всякий миг, всевозможными путями внушает ему, что в подобных спорах и толках нет ничего устойчивого. Он испытывает благородную необходимость быть истинным. Я не разделяю образа мыслей Джонсона относительно всего существующего, как я не разделял и образа мыслей Магомета; но я признаю непреходящий элемент сердечной ис-

*кренности* и в том и в другом и с радостью вижу, что и тот и другой образ мыслей оставили после себя известные результаты. Ни один из них не представляет собою посеянной *мякины*; в обоих есть нечто такое, что *будет расти* на обсемененном ими поле.

Джонсон был пророком для своего народа; он проповедовал народу слово Божье, что всегда делают все люди, подобные ему, и это его возвышеннейшее слово мы можем определить как своего рода нравственное благоразумие: "в мире, где приходится много делать и мало знать", будьте внимательны к тому, каким образом вы станете *делать!* Мысль, весьма и весьма заслуживающая самой горячей проповеди. "Мир, где приходится много делать и мало знать": не позволяйте же себе погрязать в беспредельных и бездонных пучинах сомнения, жалкого неверия, забывающего о Боге; в противном случае вы будете несчастны, бессильны, безумны; как вы будете *делать*, как вы будете работать? Такое именно божественное слово проповедовал Джонсон, и ему он обучал людей, — слово, связанное теоретически и практически с другим его великим словом: "Очистите душу вашу от лицемерия!" Не имейте никакого дела с лицемерием: не бойтесь холодной грязи, морозной погоды, лишь бы только вы были в своих *действительных* рваных башмаках. "Так будет лучше для вас!" — говорит Магомет. Я называю это, я называю эти два положения, *соединенные вместе*, великим евангелием, величайшим, быть может, какое только было возможно в то время.

Сочинения Джонсона, некогда весьма распространённые и пользовавшиеся громадной известностью, теперь не удостоиваются внимания молодого поколения. И это совершенно понятно: мысли, высказываемые Джонсоном, отжили или отживают свой век; но общий тон его мыслей и его жизни, мы можем надеяться, никогда не устареет. В книгах Джонсона я нахожу бесспорнейшие следы великого ума и великого сердца, и эти следы будут навеки дороги нам, с какими бы промахами и извращениями они ни были связаны. Слова его — *искренние* слова; ими он обозначает действительные предметы. Удивительный слог, точно прокляенный холст, был лучшим, какой только он мог выработать в то время; размеренная высокопарность, шагающая или скорее гордо выступающая вперед крайне торжественным аллюром, устарела для настоящего времени; местами вы наталкиваетесь на фразеологию, своим напыщенным *размахом* не соответствующую содержанию; но со всем этим вы примиряетесь. Ибо фразеология, напыщенная или нет, всегда заключает в себе кое-что. А какая масса прекрасных стилей и прекрасных книг *ничего* не содержат в себе; человек, пишущий подобные книги, — настоящий общественный *злодей*. Вот *какого* рода книг должен избегать каждый человек. Если бы Джонсон не оставил ничего, кроме своего "Словаря", то и этого было бы достаточно, чтобы признать в нем великий ум искреннего человека. Обратите внимание на ясность определений, верность, глубину, на солидность во всех отношениях, на удачный метод, и вы согласитесь, это этот словарь можно считать одним из лучших словарей. В нем чувствуется своего рода архитектурное благородство; он подымается подобно громадному, массивному, вполне законченному и симметричному четырехугольному зданию. Да, это действительно дело рук настоящего мастера.

Несмотря на недостаток места, мы должны посвятить несколько слов бедному Боззи (Босуэллу). Его обыкновенно считают низким, надменным, жадным созданием; и во многих отношениях он вполне заслужил такую репутацию. Однако его отношение к Джонсону навсегда останется фактом, говорящим в его пользу. Глупый, тщеславный шотландский лорд, тщеславнейший человек своего времени, приближается с чувством глубокого почтения к великому раздражительному педагогу, загнанному на низкий чердак и покрытому толстым слоем пыли: это было с его стороны неподдельное уважение к превосходству, *поклонение* герою в эпоху, когда не подозревали даже, что существуют герои и что следует поклоняться. Итак, герои существуют, очевидно, всегда, а вместе с тем существует и известного рода поклонение им! Я решительно протестую против известного изречения остроумного француза, что будто бы нет человека, который был бы героем в глазах своего камердинера\*. А если бы это и было действительно так, то дело тут не в герое, а в камердинере; дело в том, что душа у этого последнего низменная, *холопская* душа! Он думает, что герой должен выступать в театральном нарядном царском костюме, размеренным шагом, с длинным хвостом позади себя и звучащими трубами впереди. Я скорее сказал бы, что ни один человек не может быть *великим монархом* в глазах своего камердинера. Совлеките с вашего Людовика XIV королевский убор, и от его величия не останется ничего, кроме ничтожной вилообразной редьки с причудливо вырезанной головой. Что же удивительного может находить для себя камердинер в подобной редьке!.. Камердинер, говорю я, не узнает истинного героя, хотя и смотрит на него. Увы, это так; только тот может узнать героя, кто до известной степени сам *герой*; и одна из бед мира как в *этом*, так и в других отношениях заключается именно в недостатке подобных людей.

В заключение не должны ли мы сказать, что удивление Босуэлла было вполне законно, что в целой Англии в то время нельзя было найти человека, заслуживавшего в такой же мере, как Джонсон, удивления и преклонения? Не согласимся ли мы также, что этот великий, мрачный Джонсон мудро прожил свою жизнь, исполненную труда и борьбы среди мрака, что он прожил ее *хорошо*, как подобает истинно мужественному человеку? Примите во внимание губительный хаос коммерческого писательства, губительный хаос скептицизма в религии и политике, в жизненной теории и жизненной практике; со всем этим он сумел справиться как отважный человек, несмотря на бедность, пыль и темноту, на болезненное тело и покрытое плесенью платье. Нельзя сказать, чтобы Полярная звезда вовсе не светила для него в бесконечном пространстве; нет, для него существовала еще Полярная звезда, как она необходимо должна существовать для всякого отважного человека; с глазами, устремленными на нее, он неуклонно держался своего курса в этих мутных водоворотах спавшего моря Времени. "Перед духом лжи, несущим смерть и алкание, он ни за что не спустил бы своего флага". Храбрый старый Сэмюэл — *ultimus Romanorum!*\*

О Руссо и его героизме я не стану распространяться так много. Руссо не был сильным человеком в том смысле, как я понимаю. Болезненный, легко возбудимый, раздражительный человек — в лучшем смысле за

ним можно признать скорее известную напряженность, чем силу. Он не обладал "талантом молчания", этим неоценимым талантом, которым могли похвастаться немногие французы, да вообще и всякой иной национальности люди тех времен. Действительно, страдающий человек должен сам "глотать свой собственный дым"; нет ничего хорошего в том, если вы напустите дыму, не позаботившись предварительно превратить его в огонь, так как — в переносном, конечно, смысле — всякий дым может быть превращен в огонь. Руссо недостает глубины и широты, недостает силы и спокойствия, чтобы встретить надлежащим образом всякое затруднение; недостает, следовательно, первой характерной черты истинного величия. Существенную ошибку делает тот, кто принимает горячность и упрямство за силу. Вы не назовете человека, одержимого конвульсивными припадками, сильным, хотя в такую минуту его не могут удержать шестеро человек. Истинно сильный человек тот, кто может идти не шатаясь, несмотря на самое тяжелое бремя. Мы всегда должны освежать эту истину в своей памяти, в особенности в наши громко кричащие о себе дни. Человека, который не может *оставаться спокойным*, пока не настанет время говорить и действовать, нельзя считать настоящим человеком\*.

Взгляните на лицо бедного Руссо; по моему мнению, на нем вполне отражается, что он был за человек. Вы замечаете большую напряженность, но ограниченную, съезжившуюся; костлявые надбровья, глубоко сидящие и близко расположенные глаза, в которых светится что-то блуждающее и пронизывающее, подобно острому взгляду рыси. На лице его вы видите печать горя, даже низменного горя, но вместе с тем и следы борьбы, — что-то такое низкое, плебейское, искупаемое лишь *напряженностью*. Это лицо человека-фанатика. Печальным образом *съезжившийся* герой! Мы упоминаем здесь о нем, так как, несмотря на все его недостатки, а их было немало, он говорил *серьезно*, из глубины своего сердца, что составляет главную, основную особенность всякого героя. Да, он серьезен, насколько только мог быть тогда серьезен человек: серьезен, как никто из этих французских философов. Он был, можно сказать, серьезен для своей вообще чувственной и скорее слабой натуры, что и довело его в конце концов до крайне странной непоследовательности, почти до сумасшествия. Под конец жизни с ним случилось несчастье, нечто вроде помешательства: его идеи *овладели* им и, подобно демонам, носили его туда-сюда и толкали в пропасть.

Существеннейший недостаток Руссо и все злополучие, проистекшее из него, мы можем назвать одним словом: *эгоизм*, который действительно есть источник и общий итог всяких иных недостатков и злополучий. Стремясь к самоусовершенствованию, он в то же время не мог овладеть самым простым своим желанием; низменный голод в многообразных формах служил главным двигателем его жизни. Я боюсь, не был ли он крайне тщеславным человеком, жадным на людские похвалы. Вспомните случай с Жанлис. Она пригласила Жан-Жака в театр; он поставил условием строгое инкогнито: "Он хотел, чтобы его никто не заметил!" Случилось, однако, так, что инкогнито было раскрыто: партер узнал Жан-Жака, но не обратил на него особенного внимания. Он пришел в страшное негодование и присидел весь вечер насупившись, отделява-

ясь от разговора отрывочными фразами. Развязная графиня была вполне убеждена, что он разгневался не за то, что его узнали, а за то, что ему не аплодировали, когда узнали. Так пропитывается отравой вся природа человека; остается одна только подозрительность, самоизолированность, свирепое, нелюдимое настроение! Он не мог ни с кем ужиться. Однажды навестил его один знакомый из провинции, пользовавшийся известным положением в обществе, бывавший часто у Жан-Жака и относившийся к нему всегда с глубоким уважением и любовью; он застал Жан-Жака в крайне дурном и тяжелом, без видимой, однако, причины, настроении. "Милостивый государь, — сказал Жан-Жак, со сверкающими глазами, — я знаю, зачем вы пришли сюда. Вы пришли, чтобы посмотреть, какую низменную жизнь влачу я, как ничтожно содержимое моего жалкого котелка, который кипятится вот там. Хорошо, загляните в него! Там — полфунта мяса, одна морковь и три головки лука; вот и все! Идите и расскажите об этом всему свету, если вам угодно, сударь!" Подобные слова показывают, что человек зашел уже слишком далеко. Эти превратности и кривляния бедного Жан-Жака давали материал для анекдотов, которыми забавлялся весь мир ради пустого смеха и некоторого театрального интереса. Увы, для него они не были смешны и театральны; для него они были слишком реальны! Это — судороги умирающего гладиатора; переполненный амфитеатр смотрит как на веселую забаву, но гладиатор в агонии, он умирает.

И однако, Руссо, с его страстными обращениями к матерям, с его *общественным договором*, с его прославлениями природы, даже дикой жизни в природе, еще раз говорим мы, прикоснулся к действительному миру, снова и снова боролся, чтобы достигнуть действительности, — одним словом, исполнял функцию пророка для своего времени. Исполнял, как *он* мог и как могло время... Странно, но сквозь все это уродство, всю эту искаженность и почти безумие в самой глубине сердца бедного Руссо светит луч настоящего небесного пламени. Еще раз, вне атмосферы сухого, насмешливого философизма, скептицизма, зубоскальства, возникает в душе этого человека неискоренимое чувство и сознание, что жизнь наша *истинна*, что она не скептицизм, теорема или насмешка, а факт, действительность, внушающая благоговение. Природа ниспослала ему такое откровение и повелела поведать о нем миру. Он поведал если не хорошо и ясно, то скверно и темно; во всяком случае, настолько ясно, насколько он мог. Что означают все эти его заблуждения и извращения, даже это воровство лент, бесцельные и непонятные скитания и бедствия, что означает все это, спрашиваю я, при надлежащем понимании с нашей стороны, как не мигающее потухание огня, как не колебания то в одну, то в другую сторону человека, посланного с миссией, для которой он оказывается слишком слабым и потому никак не может отыскать настоящей тропинки? Странными путями ведет Провидение людей. Необходимо относиться терпимо к человеку, надеяться на него, давать ему возможность еще и еще испытывать, на что он способен. Пока существует жизнь, существует и надежда у всякого человека.

Что касается литературного таланта Руссо, ревностно прославляемого еще до сих пор среди его соотечественников, то я не могу сказать ничего особенного в его пользу. Его книги, подобно ему самому, запе-

чатлены, как я выражаюсь, чем-то нездоровым, это нехорошего разбора книги. В Руссо есть чувственность. В соединении с его необычайными умственными дарованиями она создает роскошные, до известной степени привлекательные картины, но это не настоящие поэтические картины, не белый солнечный свет, а что-то *оперное*, румяна своего рода, поддельный убор. Такая искусственность стала после Руссо явлением обыденным или, вернее, даже всеобщим среди французов. Сталь, Сен-Пьер страдают также ею до известной степени, но в особенности вся современная поразительно испуганная "литература отчаяния". Эти *румяна* ничего, однако, не говорят о настоящем цвете лица. Посмотрите на Шекспира, Гёте, даже на Вальтера Скотта. Тот, кто хотя бы раз заглядывал в них, знает разницу между истиной и подделкой под истину и сумеет всегда отличить одно от другого.

На примере Джонсона мы видели, как много доброго может сделать для людей пророк, несмотря на всякого рода неблагоприятные условия и дезорганизацию. На примере же Руссо мы можем наблюдать, наоборот, какой страшной массой зла при такой дезорганизации может сопровождаться добро. В историческом отношении Руссо представляет собою самое поучительное зрелище. Загнанный на чердаки Парижа и предоставленный там своим угрюмым спутникам, собственным мыслям и нуждам, кидаемый из стороны в сторону, разбитый, ожесточенный до полного испуга, он глубоко почувствовал, что ни мир, ни закон мира не друзья ему. *He* следовало, если только это было возможно, ставить его в открыто враждебные отношения с миром. Его могли забросить на чердак, могли смеяться над ним, как над маньяком, предоставить его там голодной смерти, точно дикого зверя в клетке, но ему не могли помешать воспламенить весь мир: Французская революция нашла в Руссо своего евангелиста. Его полубезумные рассуждения относительно бедствий цивилизованной жизни и прелестей дикой жизни сравнительно с цивилизованной и т. п. много содействовали возникновению всеобщего безумия, охватившего всю Францию. Конечно, вы совершенно вправе спросить, что же мог мир, правители мира сделать с таким человеком? Трудно сказать, что могли правители мира сделать с ним. Но что он мог сделать с ними, это, к несчастью, показала сама действительность: *гильотинировать* громадное множество их! Но о Руссо на этот раз довольно.

Странное зрелище представляет появление героя в образе Роберта Бёрнса среди искусственных картонных фигур и лиц поблекшего, неверующего, не живущего непосредственной жизнью XVIII века. Он прожурчал, точно небольшой родник в скалистых, пустынных местах, промелькнул, точно внезапное сияние неба под искусственным куполом! Люди не знали, что думать о нем. Они приняли его за увеселительный фейерверк: увы, он сам *допустил* подобное отношение к себе, хотя и боролся полусознательно, как бы в ужасе смерти! Быть может, никто другой в мире не встречал со стороны людей такого лживого приема. Еще раз разыгралась под солнцем в высшей степени гибельная драма жизни.

Вам всем известна поистине трагическая жизнь Бёрнса. С полным правом мы можем сказать, что если несоответствие между занимаемым



человеком местом и тем, какого он, достоин, является превратностью судьбы, то не могло быть судьбы более превратной, чем судьба Бёрнса. Еще раз среди этих второстепенных фигурантов XVIII века, *гаеров* в большинстве случаев, появляется исполинский оригинальный человек, один из тех, кто проникает в вечные глубины, кто занимает место в ряду героических людей. И такой-то человек был рожден в бедной эйрширской лагуге. Эта широкообъемлющая душа, величайший человек из всех своих современников-британцев явился среди нас в образе шотландского крестьянина с мозолистыми руками.

Его отец, бедный работающий человек, принимался за разные дела, но ни в чем не имел успеха и вечно находился в затруднительных обстоятельствах. Управляющий имением или, как говорят в Шотландии, "фактор" имел обыкновение посылать письма своим арендаторам с угрозами, "которые, — рассказывает Бёрнс, — доводили всех нас до слез". Честный отец, много работающий, много страдающий отец; честная героиня — жена его, и эти дети, из которых один был Роберт! У них не было своего уголка на этой земле, столь обширной для других. Письма управляющего "доводят их до слез". Представьте себе только эту картину! Да, честный отец; я всегда говорю о нем: герой и поэт — в своем *молчании*, без которого сын никогда не стал бы поэтом и героем говорящим! Школьный учитель Бёрнса, побывавший впоследствии в Лондоне и узнавший, что такое хорошее общество, говорил, что ему никогда ни в каком другом обществе не приходилось наслаждаться такой прекрасной беседой, как у очага этого крестьянина. Но ни его злосчастные "семь акров питомника", ни жалкий клочок глинистой фермы, ни все другое, за что он брался, чтобы добыть необходимые средства существования, ничто не давалось ему в течение всей его жизни, и он должен был постоянно вести жестокую неравную борьбу. И он мужественно упорствовал, как мудрый, преданный, непобедимый человек; он молчаливо переносил изо дня в день массу тяжелых страданий, вел борьбу, как незримый герой; никто не писал в газетах о его благородстве, никто не жертвовал ему серебряных подносов. И, однако, он не погиб бесследно: ничто не погибает. Существует Роберт, отпрыск его и в действительности многих поколений таких же людей, как он.

Таким образом, для Роберта все условия сложились крайне неблагоприятно: он был лишен образования, беден и самим рождением своим обречен на тяжелый физический труд; он даже писал, когда пришло время, на местном крестьянском наречии, известном только среди незначительной группы населения той местности, где он жил. Если бы он написал даже только то, что он написал на общелитературном английском языке, то, янисколько не сомневаюсь, он был бы признан уже всем светом за одного из наших величайших людей или, по крайней мере, за человека, который носил в себе все задатки истинного величия. Уже одно то, что он заставил массу читающего люда освоиться с грубыми формами своего языка, говорит в его пользу: значит, в его речах заключается нечто, далеко выходящее из ряда обыкновенного. Он завоевал себе уже некоторую известность и продолжает все больше и больше завоевывать ее во всех частях обширного англосаксонского мира: повсюду, где раздается английская речь, начинают понимать, что одним из

замечательнейших саксонцев в XVIII веке был эйрширский крестьянин по имени Роберт Бёрнс. Да, скажу я, он также высечен из настоящего саксонского камня: крепкий, как скала Гарца, он прочно сидит своими корнями в глубинах мира, — как скала, и, однако, он таит в себе источники жизненной мягкости! Дикая и бурная вихрь страсти и силы дремлет спокойно в его сердце, и в нем раздается такая чудная небесная мелодия. Перед вами благородная, грубая неподдельность, простая, крестьянская, открытая; простота настоящей силы, с ее огнем-молнией, с мягкой, росистой жалостью, точно древнескандинавский Тор, этот крестьянин-бог!

Брат Бёрнса Гильберт, человек, обладавший недюжинным здравым смыслом и большими достоинствами, рассказывал мне, что Роберт в дни своей юности, как тяжелы они ни были, отличался крайне веселым нравом: он был товарищем в бесконечных проказах, любил посмеяться и притом смеялся всегда умно и сердечно; в особенности прелестны были его разговоры между делом, когда он, раздевшись, резал торф в болоте и т. п.; впоследствии он был уже не тот. Я вполне верю словам Гильберта. Эта веселость, лежащая в основании всего (*fond gaillard\**, как выражался старый маркиз Мирабо), этот основной элемент солнца и жизни, в соединении с другими глубокими и серьезными достоинствами Бёрнса, представляет одну из самых привлекательных характерных его черт. В нем таился громадный запас надежды; несмотря на свою трагическую жизнь, он вовсе не был мрачным человеком. Он мужественно отряхивает с себя свои печали и победоносно шагает через них. Он точно лев, "стряхивающий капли росы со своей гривы"; точно быстро скачущая лошадь, которая смеется, когда потрясают копьём. Но разве подобного рода надежда, веселость не проистекает на самом деле из теплой, благородной любви, из любви, которая есть первоисточник всего остального по отношению ко всякому человеку?

Вам покажется, быть может, странным, что я назвал Бёрнса самым одаренным британцем XVIII века; однако я верю, что настает уже время, когда подобное утверждение можно высказать, не рискуя особенно сильно. Его произведения, все, что он *сделал* при указанных мною тяжелых условиях, представляет лишь ничтожную долю его самого. Профессор Стюарт заметил весьма справедливо, и это замечание остается верным относительно всякого заслуживающего внимания поэта, что его поэзия есть проявление не какой-либо частной способности, а вообще оригинального, сильного от природы ума, вылившегося в такой именно форме. О таланте Бёрнса, насколько он обнаруживался в беседе, рассказывают все, кому только приходилось слышать его хотя бы раз. Это был в высшей степени разносторонний талант, начиная с самых изящных выражений благовоспитанности до самого пламенного огня страстной речи; шумные потоки веселья, нежные вздохи страсти, лаконичная выразительность, ясный проникающий взгляд — все было в нем. Остроумные леди восхваляют его как человека, от речей которого "они не чувствовали под собою ног". Все это прекрасно; но еще прекраснее то, что рассказывает Локхарт и на что я указывал уже не один раз, а именно, как слуги и конюхи на постоянных дворах подымались с постелей и сходились толпами, чтобы также послушать его. Слуги и конюхи: они тоже

были люди, и он ведь был человек! Я много слышал рассказов относительно неотразимой увлекательности его бесед; но самое лучшее, что мне когда-либо приходилось слышать на этот счет, я узнал в прошедшем году от одного почтенного человека, находившегося в течение долгого времени в близких отношениях с Бёрнсом, а именно, что речь Бёрнса была всегда содержательна: она всегда *заключала в себе что-нибудь!* "Он говорил скорее мало, чем много, — рассказывал мне почтенный старый человек, — он больше молчал в раннюю пору своей жизни, как бы чувствуя, что он находится в обществе лиц, которые выше его, и если он начинал говорить, то всегда только для того, чтобы пролить новый свет на вопрос". Я не знаю, почему это люди говорят обыкновенно совершенно по иным побуждениям. Но обратите внимание на его могучую и сильную во всех отношениях душу, на его здоровую *крепость*, на его грубую прямоту, пронизательность, благородную отвагу и мужество, и вы согласитесь, что вряд ли мы можем указать на другого, более одаренного человека.

Мне иногда кажется, что из всех великих людей XVIII века Бёрнс, по-видимому, более всего походит на Мирабо. Конечно, они сильно отличаются друг от друга по своему внешнему облику, но загляните к каждому из них в душу: здесь одна и та же дюжая, толстовынная сила как души, так и тела; сила, покоящаяся в обоих случаях на том, что старый маркиз называл "*fond gaillard*". По своему воспитанию, натуре, а также и национальности Мирабо отличается гораздо большею шумливостью; это — бурливый, беспрестанно стремящийся вперед, спокойный человек. Но характернейшую черту Мирабо составляет, в сущности, та же правдивость и то же горячее чувство, та же сила истинной *проницательности*, то же превосходство умственного зрения. То, что он скажет, стоит всегда запомнить: это — луч, бросаемый из глубины внутреннего созерцания на тот или другой предмет. Так именно говорили оба они — и Бёрнс, и Мирабо; у обоих — одни и те же бешеные страсти; но в том и другом они могут проявляться и как самые нежные, благородные чувства. Остроумие, неудержимый смех, энергия, прямота, искренность — все это мы находим как в одном, так и в другом. Нельзя также сказать, чтобы они были несходны как известные типы. Бёрнс так же мог бы управлять, дебатировать в национальных собраниях, заниматься политикою, как могли бы это сделать далеко не многие другие. Увы, мужество, которое по необходимости должно было проявляться во взятии с боя занимавшихся контрабандою шхун в Сольвейском заливе, в *молчании* перед массой тяжелых явлений, когда человеком овладевала одна невыразимая ярость и доброе слово было вовсе немислимо, — это мужество могло бы также громко реветь против таких людей, как обер-церемониймейстер де Брезе\* и подобные ему, и дать себя почувствовать ощутимым для всех образом, управляя королевствами, руководя направлением целых навеки памятных эпох! Но они сказали ему укоризненно, они, его власти предержавшие, сказали и написали ему: "Вы рождены для черного труда, а не для мысли". Нам нет никакого дела до вашей *мыслительной* способности, величайшей в нашей стране; ваше дело — вымеривать бочки пива; для этого только *вы* нам и нужны. Весьма характерные слова; они заслуживают упоминания, хотя мы

знаем, как и что следует ответить на них. Как будто мысль, сила мышления, не представляет во все времена, во всех местах и положениях именно то, что нужно миру! Фатальный человек не является ли всегда немыслящим человеком, человеком, который не может мыслить и *видеть*, а может только идти ощупью, галлюцинировать и видеть природу вещей, над которыми он трудится, в *ложном* свете? Он видит ее в ложном свете, он не понимает ее, как мы говорим; он принимает ее за одно, тогда как она — другое, и она оставляет его стоять, подобно сущей пустоте! Таков фатальный человек, несказанно фатальный, раз судьба ставит его в первые ряды человечества. "Зачем сожалеть об этом? — говорят некоторые. — Сила плачевным образом не находит себе приложения в своей сфере; истари это оказывалось так". Несомненно, и тем хуже для *сферы*, отвечу я. *Сожаления* мало помогут делу; установление истины — вот что только может помочь. Над Европой только что разразилась Французская революция, и, несмотря на это, она не испытывала никакой нужды в Бёрнсе; он нужен был ей разве только для вымеривания бочек — это факт, которому я, со своей стороны, не могу *радоваться*.

Отличительную особенность Бёрнса как великого человека, повторяем еще раз, составляет его *искренность*, искренность как в поэзии, так и в жизни. В песне, которую он поет, нет фантастических вымыслов; она касается всеми осязаемых, реальных предметов; главное достоинство этой песни, как и всех его произведений, как и его жизни вообще, — истина. Жизнь Бёрнса мы можем характеризовать как воплощение великой трагической искренности. Это в своем роде дикая искренность, но не жестокая, далеко нет, искренность необузданная, вступающая без всякого прикрытия в рукопашный бой с сущностью вещей. В этом смысле все великие люди отличаются некоторого рода дикостью.

Поклонение героям: сопоставьте Одина и Бёрнса! Положим, относительно писателей также нельзя сказать, что они не составляли известного рода культа героев, но какой странный характер принял теперь этот культ! Слуги и конюхи с постоянных дворов, которые протискивались поближе к двери и жадно подхватывали всякое слово Бёрнса, бессознательно воздавали должную дань поклонению героическому. Джонсон имел своего Босуэлла в качестве поклонника. У Руссо было довольно много поклонников; принцы приходили посмотреть на него, посмотреть, как жил он на низком чердаке; вельможи и красавицы отдавали должную дань уважения бедному лунатику. Лично для него создавалось, таким образом, самое чудовищное противоречие: две стороны его жизни никак не могли быть приведены в гармонию. С одной стороны, он сидит за столом у вельмож, обедает с ними, а с другой — принужден заниматься перепиской нот, чтобы заработать необходимые средства существования. Он не мог даже добыть себе достаточно нот для переписки. "Благодаря только обедам на стороне, — говорил он, — я избегаю риска умереть дома от голодной смерти". Положение, бросающее также в высшей степени подозрительный свет и на его почитателей! Если по поклонению героям, смотря по тому, какими достоинствами и недостатками отличается оно, мы должны судить вообще о жизни целого поколения, то можем ли мы поставить особенно

высоко *такого рода* поклонение? И однако наши герои-писатели поучают, управляют, являются вождями, пастырями, являются тем, что предоставляю вам самим называть как угодно. И этому нельзя никоим образом помешать: нет такого средства. Мир *должен* повиноваться тому, кто мыслит и обладает достаточно пронизательным зрением. Мир может изменять форму своего поклонения, он может сделать из героя или благословенное непреходящее сияние летнего солнца, или неблагословенный мрачный ураган и гром — с неизмеримо громадной разницей для самого себя в смысле последствий в том и другом случае. Форма, правда, крайне изменчива; но сущности, самого факта не может изменить никакая земная сила. Сияние света или молния во мраке — мир может выбирать то или другое. И дело не в том, называем ли мы какого-нибудь Одина богом, пророком, пастырем или как-либо иначе, а в том, верим ли мы слову, которое он возвещает нам; в этом все. Если слово его истинное слово, мы должны поверить ему, а уверовав, должны осуществить его. Какое *имя* мы дадим при этом или какую встречу уготовим человеку и его слову, это касается главным образом нас самих. *Оно*, это слово, эта новая истина, новое, более глубокое раскрытие тайны вселенной представляет по своей сущности воистину весть, ниспосылаемую нам свыше; она должна привести мир в повиновение себе, и она приведет.

В заключение скажу несколько слов о замечательнейшем в жизни Бёрнса эпизоде: о его поездке в Эдинбург. Я думаю, что его поведение в Эдинбурге представляет лучшее оставленное им свидетельство достоинства и неподдельного мужества, какие были ему присущи. Едва ли более тяжкие испытания (если мы вникнем в дело) могли выпасть на долю одного человека. Все это случилось так внезапно. Весь великосветский *львизм*, который губит бесчисленное множество людей, ничто по сравнению с необычайным успехом Бёрнса. Представьте себе, что Наполеон сразу, минуя всякие градации, из артиллерийского лейтенанта стал бы императором; таков именно был успех Бёрнса в великосветском обществе. Ему минуло всего лишь 27 лет, когда он принужден был бросить свое пахарство и искать спасения в Вест-Индии, чтобы избежать позора тюрьмы. Вы видите перед собою разоренного крестьянина, потерявшего даже свои семь фунтов заработной платы в год; но через месяц он уже среди блестящего, изящного высшего общества, водит под руку к обеденному столу усыпанных бриллиантами герцогинь; на него устремлены глаза всех! Невзгоды жизни с трудом переносятся людьми; но на одного человека, способного противостоять счастью, приходится целая сотня способных противостоять несчастью. Меня крайне поражает, как Бёрнс отнесся к своему необычайному успеху; едва ли можно указать другого человека, который подвергался бы когда-либо таким беспощадным испытаниям и при этом забывался бы так мало. Он сохраняет все свое спокойствие, нисколько не поражается, не смущается, не становится напыщенным; он не испытывает ни неловкости, ни аффектации; он чувствует, что *он* и здесь человек, все тот же Роберт Бёрнс, что "ранг — это только штемпель гиней", что известность — всего лишь свет от свечи, показывающий, *каков* человек. Тогда как обыкновенно подобная известность быстро портит человека, превращает его в злопо-

лучный надутый ветром мех, который в конце концов *лопается*, — человек превращается в "*мертвого льва*", — в нечто худшее, чем "*живой пес*", и уже для него, как некто сказал, "не существует воскресения тела"! Бёрнс поистине удивителен в этом случае.

Но, к сожалению, как я заметил в другом месте, эти охотники на львов стали гибелью и смертью для Бёрнса: они отравили ему жизнь и сделали ее несносной. Они собирались толпами на его ферме, постоянно отвлекали его, мешали ему заниматься делом; для них не существовало пространства, и они везде находили его. Ему не давали позабыть об успехе в великосветском обществе, хотя он искренне желал этого. Бёрнс испытывает досаду, чувствует себя несчастным, делает ошибки; мир становится для него все более и более пустынным; здоровье, характер, душевный покой — все изнашивается, и затем он остается в одиночестве. Грустно подумать обо всем этом! Эти люди приходили, только чтобы *посмотреть* на него; они не питали к нему ни симпатии, ни ненависти. Они приходили, чтоб доставить себе маленькое развлечение; и жизнь героя разменивалась на их удовольствия!

Рихтер рассказывает, что на острове Суматра существует особая порода жуков-светляков: их насаживают на острие, и они освещают путь в ночную пору. Лица, пользующиеся известным положением, могут путешествовать таким образом при достаточно приятном мерцании света, что немало веселит их сердца. Великая честь светлякам! Но — !

## Беседа шестая

### ГЕРОЙ КАК ВОЖДЬ. КРОМВЕЛЬ. НАПОЛЕОН: СОВРЕМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНАРИЗМ

Теперь мы переходим к последней форме героизма: к герою в образе вождя. Человек, который становится повелителем других людей, воле которого все другие воли покорно предоставляют себя, подчиняются и находят в этом свое благополучие, такого человека мы можем считать по сущей истине величайшим из великих. Он практически, на деле воплощает в себе *все* разнообразные формы героизма: пастыря, учителя, вообще всякого рода земные и духовные достоинства, какие только мы можем себе вообразить в человеке; воплощает, чтобы таким образом *повелевать* людьми, давать им постоянные практические наставления, указывать ежедневно и ежечасно, что они должны *делать*. Такого человека называют Rex, правитель, Roi; английское слово еще лучше выражает значение, присущее ему: King, Könning, что означает Canning, Ableman, способный человек.

Вопрос о правителе неизбежно вызывает массу связанных с ним мыслей, затрагивает вопросы глубокие, спорные и действительно неисчерпаемые; но мы в настоящую минуту безусловно принуждены воздержаться от какого бы то ни было обсуждения большинства их. Бёрк говорит, что гласное *разбирательство посредством суда присяжных* составляет, быть может, душу правительства; что законодательство, администрация, парламентские дебаты и все прочее направляется, в сущности, к тому, "чтобы посадить на скамью присяжных двенадцать беспристрастных судей". Я же, опираясь на еще более солидное основание, скажу, что все социальные процессы, какие только вы можете наблюдать в человечестве, ведут к одной цели — достигают ли они ее или нет, это другой вопрос, — а именно: открыть своего Ableman'a и облечь его *символами способности*: величием, почитанием как достойнейшего<sup>1</sup>, саном короля, властелина или чем вам угодно, лишь бы он

---

<sup>1</sup> В подлиннике стоит: worship (*worth-ship*); это место весьма характерно для карлейлевского почитания героев, но, к сожалению, его нельзя передать так же наглядно по-русски. В корне английского слова worship (поклонение, почитание) заключается уже прямое указание, что человек поклоняется тому, что он считает достойным, что он *избирает* как предмет своего поклонения; тогда как в русском языке слово "поклонение" ассоциируется скорее с предствлением о пресмыкающемся положении человека. Французский переводчик перевел worship (*worth-ship*) прямо — election (*élite*) — *избрание* (избранный). Но таким образом, теряется связь данного выражения с основным понятием всей книги о "почитании" героев и пропадает, так сказать, вся сила карлейлевского выражения: обнажая корень слова, Карлейль раскрывает перед нами сразу и всю сущность предмета, о котором говорит. — *Прим. перев.*

имел действительную возможность руководить людьми соответственно своей способности. Избирательные речи, парламентские предложения, билли о реформах, французские революции — все стремится, в сущности, к указанной мною цели или в противном случае представляется совершенно бессмысленным. Отыщите человека самого способного в данной стране, поставьте *его* так высоко, как только можете, неизменно чтите его, и вы получите вполне совершенное правительство, и никакая избирательная урна, парламентское красноречие, голосование, конституционное учреждение, никакая вообще механика не может уже улучшить положение такой страны ни на йоту. Она находится в совершенном состоянии; она представляет собою идеальную страну. Способнейший человек — это означает также самый искренний, справедливый, самый благородный человек; то, что он *указывает нам делать*, является всегда самым мудрым, самым надлежащим делом, до какого только мы можем додуматься каким бы то ни было образом и где бы то ни было, — обязательным делом, которое мы должны делать, пуская в ход все зависящие от нас средства, с открытой доверчивостью и признательностью к своему руководителю, нисколько не сомневаясь в нем! Наши *дела* и наша жизнь, насколько вообще правительство может регулировать их, оказались бы тогда вполне упорядоченными; это был бы идеал конституций.

Но, увы, мы очень хорошо знаем, что идеалы никогда в полной мере не осуществляются в действительности. Идеалы всегда должны оставаться на некотором довольно значительном расстоянии, и нам приходится довольствоваться известным приближением к ним и быть признательными за то! Пусть человек, как выражается Шиллер, не измеряет старательно в соответствии с масштабом совершенства жалкого мира реальности. Мы не признаем такого человека мудрым, мы считаем его болезненным, вечно брюзжащим, глупым человеком. Но, с другой стороны, не следует никогда забывать, что идеалы должны существовать; что если мы вовсе не будем к ним приближаться, то все погибнет! Несомненно так! Самый искусный каменщик не может вывести стены *совершенно* вертикально, это математически невозможно; он удовлетворяется известною степенью приближения к вертикали и, как хороший каменщик, понимающий, что он должен же когда-нибудь покончить со своею работою, оставляет ее в таком виде. Но что выйдет, если он позволит себе *слишком* отклониться от вертикального направления; в особенности если он забросит совсем свой отвес и ватерпас и станет беззаботно класть кирпич на кирпич, как они подвергываются ему под руку! Подобный каменщик, я полагаю, становится на опасный путь. Он забылся; но закон тяготения не забывает действовать, — и вот работник и стена, возводимая им, превращаются в беспорядочную кучу развалин!\*

Такова, в сущности, история всех восстаний, французских революций, социальных взрывов в древние и новые времена. Во главе дела оказывается слишком *неспособный* человек, слишком лишенный благородства, мужества, слишком бестолковый человек. Люди как будто забывают, что существует известное правило или своего рода естественная необходимость, чтобы место это занимал способный человек. Кирпич должен лежать на кирпиче, насколько это возможно и необходимо. Неумелая подделка способности соединяется неизбежно с шарлатан-



ством во всякого рода делах управления, дела остаются неупорядоченными, и общество приходит в брожение от бесчисленных упущений, нужд и бедствий; миллионы несчастных протягивают руки, чтобы получить должную поддержку как в материальной, так и в духовной жизни, а ее нет. Закон тяготения действует; действуют все законы природы; несчастные миллионы разражаются санкюлотизмом или каким-либо другим безумием: кирпичи рассыпаются, камешки ниспровергаются и лежат поверженные в фатальном хаосе!

Целые груды злополучных фолиантов были исписаны сто лет и больше тому назад относительно незыблемости известных государственных форм; никто теперь не читает их, и они превращаются в прах в наших публичных библиотеках. Мы далеки от мысли нарушить мирный процесс их исчезновения с лица земли, совершающийся там, в этих книгохранилищах, безобидно для всех! Но в то же время, дабы весь этот непомерный мусор не исчез, не оставив по себе даже следа, я должен сказать, что он заключает в себе, если только мы заглянем в самую суть дела, действительно нечто истинное, нечто ценное, и для нас, как и для всех вообще людей, важно сохранить это истинное навсегда. Что делать нам с заключающимися в них рассуждениями о властителях и присущей им непогрешимости, — что делать нам с подобными рассуждениями, как не оставить их гнить в безмолвии публичных книгохранилищ? Но вместе с тем я утверждаю — и так именно, думается мне, эти люди понимали свое "божественное право", — что они, как и все человеческие авторитеты и вообще всякие отношения, какие люди, Богом сотворенные, устанавливают между собою, отмечаются действительно печатью или божественного права, или дьявольского бесправия. То или другое! Ибо это совершенная ложь, будто бы, как поучал предыдущий скептический век, наш мир есть паровая машина. Существует Бог в мире, и божественная санкция должна таиться в недрах всякого управления и повиновения, лежать в основе всех моральных дел людских. Нет дела, связанного более тесно с нравственностью, чем дело управления и повиновения. Горе тому, кто требует повиновения, когда не следует; горе тому, кто не повинуется, когда следует! Таков божественный закон, говорю я, каковы бы ни были законы, писанные на пергаменте: в основе всякого требования, обращенного человеком к человеку, лежит божественное право или, иначе, дьявольское бесправие.

Каждому из нас следовало бы посерьезнее подумать об этом; повсюду в жизни нам приходится иметь дело с указываемым мною фактом, который в искренней преданности и истинном величии находит себе высочайшее выражение. Наше время глубоко заблуждается, полагая, будто бы все движется эгоистическими интересами, при помощи пружин и рычагов алчущего плутовства, короче сказать, будто бы в союзе людей нет ровно ничего божественного; я нахожу, что подобное заблуждение заслуживает большего презрения, как бы оно ни было естественно для века неверия, чем признание "непогрешимости" за людьми, *именующими себя* высшими авторитетами. Я утверждаю: укажите мне истинного Кёппинг'а, или способного человека, и окажется, что он *имеет* божественное право надо мною. Исцеление, которого так жадно ищет наш болезненный век, зависит именно от того, знаем ли мы сколько-нибудь

удовлетворительно, как найти такого человека, и склонны ли будут все люди признать его божественное право, раз он будет найден! Истинный K nning, как руководитель практической жизни, всегда представляет собою до известной степени также и первосвященника, руководителя духовной жизни, которая определяет собою в действительности все практические дела. Поэтому справедлива также мысль, что *король* есть глава *церкви*. Но мы не станем перебирать всю эту полемическую материю, ставшую уже достоянием минувших веков; пусть она спокойно поживает в своих переплетах!

Конечно, поистине ужасное положение — стоять перед необходимостью *отыскать* своего способного человека и не знать, как это сделать! В таком именно печальном положении находится наш мир в настоящее время. Мы переживаем, собственно, критический период, который затянулся уж слишком надолго. Каменщик, переставший сообразовываться с показаниями отвеса и законом тяготения, упал, а вместе с ним рухнула стена, рассыпались кирпичи, и все это представляет теперь, как видим, груды развалин! Но не Французская революция ознаменовала начало всеобщего разрушения; она, мы можем надеяться, представляет скорее *конец* его. *Начало* же следует искать за три века ранее, в Реформации Лютера. Католическая церковь, продолжавшая все еще именовать себя христианскою, стала ложью и в своих наглых притязаниях дошла до того, что прощала людям грехи за металл, перечеканенный в деньги, и совершала много еще других злополучных деяний, которых по вечной истине природы она *не* должна была допускать тогда. Вот в чем кроется органический недуг. Раз была нарушена внутренняя правда, все внешнее стало все больше и больше проникаться неправдою. Вера замерла и исчезла; повсюду воцарилось сомнение и безверие. Каменщик *швырнул прочь* свой свинцовый отвес. Он сказал себе: "Что такое тяготение? Ведь вот кирпич лежит на кирпиче!" Увы, разве не звучит до сих пор для многих из нас как-то странно всякое утверждение, что делам людей, созданных Богом, присуща правда Божья, что человеческая деятельность вовсе не какое-то кривляние, "средство"; дипломатия и, право, не знаю еще что!

Между словами Лютера: "Вы самозваные *папы*, вы вовсе не представляете собою отца в Боге; вы — химера, которую я не знаю, как назвать благопристойным образом", — словами, произнесенными в начале движения в силу роковой необходимости, и восклицаниями "Aux armes!"\*, поднявшимися вокруг Камиля Демулена в Пале-рояле, когда народ восстал против *всевозможного* рода химер, — я нахожу прямую историческую преемственность. Этот ужасный полуадский возглас "Aux armes!" был *тем же* историческим делом. Еще раз раздался голос, дававший знать, что жизнь — не призрак, а действительность, что Божий мир — не "средство" и дипломатия! Адский возглас; да, потому что иного не хотели слышать; ни небесный, ни земной, и потому — адский! Пустота, неискренность *должны* сгннуть; должна наступить, наконец, хоть какая-нибудь искренность. Мы должны возвратиться к истине, чего бы это ни стоило — наводящего страх правления, ужасов Французской революции или чего-то еще. Да, в этом есть истина, как я сказал, истина, объятая огнем преисподней, так как иначе ее не желали получить.

Среди солидных кругов в Англии и других местах бытует мнение, что французский народ в те дни словно бы впал в *безумие*, что Французская революция явилась актом всеобщего сумасшествия, превратив на время Францию и значительную часть мира в разновидность Бедлама. Это событие свершилось, отбушевало, а теперь, полагают они, безумие, абсурд благополучно отбыли в царство снов и фантазии. Для таких уютно себя чувствующих философов события трех дней июля 1830 года должны были стать неожиданностью. Они показали, что французский народ снова поднялся на смертельную борьбу, чтобы в огне ружейных залпов, стреляя друг в друга, совершить ту же безумную революцию! Сыновья и внуки тех людей, кажется, намерены были упорно продолжать свое дело и не скрывали этого. Они стремились осуществить его и готовы были дать себя застрелить, если бы оно не осуществилось! Для философов, основывающих свою систему на "теории безумия", не могло быть ничего ужаснее этого. Говорят, что бедный Нибур, прусский профессор и ученый-историк, так сильно переживал, что, если этому можно верить, заболел и умер в те три дня! Это была бы не очень героическая смерть, не лучше, чем смерть Расина, вызванная тем, что Людовик XIV однажды мрачно взглянул на него. Мир за время своего существования выдержал столько сильных ударов, и мы можем ожидать, что он сможет пережить и эти три дня, а после снова вращаться вокруг своей оси! Три дня возвестили всем смертным, что пражняя Французская революция, какой бы безумной она ни выглядела, есть подлинный продукт той земли, где мы все живем, что это было действительное событие и что миру в общем и целом следовало бы ее так и воспринимать\*.

В самом деле, без Французской революции мы вряд ли знали, что вообще надлежало делать с таким временем, как наше. Мы предпочли бы отнестись к Французской революции, как потерпевшие крушение мореплаватели к суровой скале, возвышающейся среди бездонного моря и бескрайних волн. Это настоящий, хотя и ужасный, апокалипсис (откровение) для этого изолгавшегося, поблекшего, искусственного времени; апокалипсис, свидетельствующий еще раз, что природа — *сверхъестественна*; что если она не божественная, то дьявольская; что кажущееся не есть действительное; что кажущееся обязательно должно уступить место действительному, или иначе мир подложит под него огонь, сожжет и превратит его в то, что оно есть на самом деле, — в ничто! Всяким правдоподобностям настал конец, пустой рутине настал конец; многому настал конец. И вот все это было возведено людям во всеуслышание, подобно трубному звуку в день Страшного суда. Изучите же по возможности скорее этот апокалипсис, и вы станете мудрейшими людьми. Пройдут многочисленные поколения с омраченным сознанием, прежде чем он будет понят надлежащим образом, однако мирная жизнь невозможна, пока это не свершится! Серьезный человек, окруженный, как всегда, массой противоречий, может теперь терпеливо ожидать, терпеливо делать *свое* дело. Смертный приговор всему недействительному всегда и прежде был написан на небесах; но теперь этот смертный приговор объявлен на земле: вот что он может видеть в настоящее время своими глазами. И конечно, сказал бы я,

обращаясь к другой стороне вопроса, такой человек, убеждаясь, с какими трудностями приходится иметь дело в данном случае и как быстро, страшно быстро во всех странах дает себя знать неумолимое требование разрешить их, — легко может найти себе иной, более подходящий труд, чем работа в настоящий момент в сфере санкулотизма!

На мой взгляд, "поклонение героям" при таких обстоятельствах является фактом несказанно ценным, фактом самым утешительным, на какой только можно указать в настоящее время. Он поддерживает и укрепляет вечную надежду человечества на упорядочение дел мира сего. Если бы погибли все традиции, все организации, веры, общества, какие только человек создавал когда-либо, почитание героев все-таки осталось бы. Уверенность в том, что существуют герои, ниспосылаемые в наш мир, наша способность почитать их, необходимость, которую мы испытываем в этом отношении, — все это сияет, подобно Полярной звезде, сквозь густые облака дыма, пыли, всевозможного разрушения и пламени.

Почитание героев, — как странно звучали бы эти слова для деятелей и борцов Французской революции! Они, по-видимому, отрицали всякое уважение к великим людям, всякую надежду, веру, даже желание, чтобы великие люди появились снова в нашем мире. Природа, обращенная в "машину", казалась как бы истощенной; она отказывалась производить великих людей. Если так, то я ей сказал бы: пусть она в таком случае откажется вовсе от дела, ибо мы не можем жить без великих людей. Но я вовсе не намерен входить здесь в разбирательство и споры по поводу известного девиза "свобода и равенство", по поводу веры, что, раз великих и мудрых людей не существует, следует удовлетвориться шаблонной несметной толпой глупых маленьких людей. Такова была естественная вера в ту пору и при тех обстоятельствах. "Свобода и равенство, — прочь всякие авторитеты! Раз почитание героев, признание *подобных* авторитетов оказалось ложным, — поклонение вообще есть ложь; не надо никакого поклонения более! Мы извели такие *подделки*; мы не хотим теперь ничему верить. На рынке обращалось слишком много низкопробной монеты, и все убедились теперь, что золота не существует более и что даже мы можем обойтись совершенно свободно без всякого золота!" Подобные мысли я нахожу, между прочим, в раздававшихся тогда повсеместно криках о свободе и равенстве и считаю их весьма естественными, при существовавших в ту пору условиях.

И однако, все это движение представляет, конечно, всего лишь *переход* от лжи к истине. Если мы вздумаем рассматривать его как полную истину, то оно превратится в совершенную ложь; будучи продуктом полного скептического ослепления, оно является всего лишь простым *усилием* проникнуть в действительность. Почитание героев существует всегда и повсюду: не в одной только лояльности выражается оно; оно сказывается как в преклонении перед божеством, так и в самых мелочных фактах практической жизни. Простой "поклон", если только он не пустая гримаса, которую лучше в таком случае не проделывать вовсе, есть также поклонение герою — признание, что здесь в лице

нашего брата мы приветствуем нечто божественное, что всякий сотворенный человек, как говорит Новалис, есть "откровение во плоти". Люди, придумавшие все эти изящные реверансы, делающие жизнь благородной, были, несомненно, также поэтами. Учтивость — вовсе не ложь и не гримаса, и нет никакой надобности, чтобы она становилась тем или другим. И лояльность, даже религиозное поклонение до сих пор еще возможны; нет, скажу больше, они до сих пор еще неизбежны.

Далее, не вправе ли мы утверждать, что, хотя многие из наших позднейших героев действовали собственно как революционеры, тем не менее всякий человек, всякий неподдельно искренний человек по своей натуре — сын порядка, а не беспорядка? Работать на пользу революции для искреннего человека составляет поистине трагическое положение. Он становится как бы анархистом; и действительно прискорбная атмосфера анархии окутывает каждый его шаг, между тем как он относится к анархии безусловно неприязненно и ненавидит ее от всей души. Его миссия, как миссия всякого человека, — порядок. Человек существует для того, чтобы превратить все беспорядочное, хаотическое в упорядоченное, урегулированное. Он — миссионер порядка. Действительно, разве человеческий труд в этом мире служит *не созиданию порядка*? Плотник берет обрубок дерева: он придает ему форму, обтесывает его с четырех сторон, приспособляет к известной цели и для известного употребления. Мы все — врожденные враги беспорядка; для всех нас тяжело вмешиваться в дело ниспровержения установленных порядков, в дело разрушения; для великого же человека, который еще *более* человек, чем мы, и вдвое тяжелее того.

Итак, всякое человеческое дело, в том числе и *безумнейший* французский санкюлотизм, служит в действительности и должен служить на пользу порядка. Между этими санкюлотами, говорю я, не найдется человека, который в самом пылу неистового безумия не преследовал бы неотступно все-таки идеи порядка. Самым фактом своей жизни он подтверждает это; ведь беспорядок есть разложение, смерть. Всякий хаос неизбежно ищет свой *центр*, вокруг которого он мог бы вращаться. Пока человек будет человеком, Кромвели или Наполеоны всегда будут неизбежным завершением санкюлотизма. Любопытный факт: в то время как почитание героев представляется каждому делом, не внушающим к себе никакого доверия, оно все-таки возникает и принимает именно такие формы, которые могут завоевать доверие всех. Божественное *право* (сопоставляйте только исторические факты за большие периоды) означает, как оказывается, также и божественную *силу*! В то время как древние ложные формулы повсюду ниспровергаются и попираются, неожиданно развиваются новые, настоящие, несокрушимые сущности. В мятежные годы, когда, по-видимому, никнет и гибнет даже самый королевский сан, Кромвель, Наполеон выступают снова как верховные вожди людей. Историю их мы и намерены рассмотреть теперь как нашу последнюю фазу героизма. Мы как бы возвращаемся снова к древним временам: действительно, на истории этих двух лиц мы можем проследить, каким образом появлялись некогда короли и возникали королевства.

Немало разных гражданских войн пережила в свое время Англия — войны Алой и Белой розы, восстание Симона де Монфора; да, достаточно-таки разных войн, ничем, впрочем, особенно не замечательных. Но борьба пуритан получила особенное значение, какого ни одна из прочих войн не имеет. Полагаясь на ваше беспристрастие, которое подскажет вам то, чего я, за недостатком места, не могу здесь высказать, я назову ее новым эпизодом великой универсальной борьбы, представляющей собою, в сущности, всю действительную историю мира; — борьбы веры с безверием, борьбы людей, признающих реальную сущность вещей, с людьми, признающими лишь формы и видимость. Многие представляют себе пуритан какими-то дикими иконоборцами, свирепыми отрицателями всяких форм; но справедливее было бы считать их ненавистниками *неистинных* форм. Мы сумеем, я надеюсь, отнестись с одинаковым уважением как к Лоду и его королю, так и к ним. Бедный Лод представляется мне человеком слабым, рожденным не в добрый час, но не бесчестным; скорее всего, он был просто несчастным педантом, не хуже. Его "грезы" и его суеверия, над чем так много потешаются, заключают в себе что-то в своем роде нежное, любящее. Он напоминает мне директора колледжа, для которого все в мире исчерпывается формальной стороной, правилами колледжа и который думает, что в них именно жизнь и спасение мира. С такими-то застывшими, злополучными взглядами он оказывается неожиданно во главе не какого-нибудь колледжа, а целой нации, и ему приходится примирять и регулировать самые запутанные, самые жгучие человеческие интересы! Он думает, что люди должны жить в соответствии со старинными благопристойными регламентами, мало того, он думает, что все спасение их — в дальнейшем развитии и усовершенствовании этих регламентов. Как человек слабый, он, стремясь к своей цели, делает страшные усилия, судорожно цепляется за нее, не внимая ни голосу благоразумия, ни крику сожаления. Он должен добиться своего — его школьники будут повиноваться установленным правилам колледжа, это главное, и, пока он не достигнет этого, нечего думать о другом. Он педант, родившийся не в добрый час, как я сказал. Он хотел бы, чтобы мир был колледжем, устроенным на известный лад; но мир *не был* колледжем. Увы, не слишком ли жестоко покарала его судьба? Не получил ли он страшного возмездия за все зло, какое он причинил людям?

Настаивать на формах — дело похвальное; религия и все прочее всегда облекается в известные формы. Повсюду лишь *оформленный* мир является обитаемым миром. В пуританизме я ценю вовсе не его обнаженную бесформенность; напротив, я о ней сожалею и воздаю должное лишь духу, который сделал и самую эту обнаженность неизбежной! Всякая сущность облекается в форму; но бывают формы, соответствующие сущности, истинные, и формы, не соответствующие ей, неистинные. В виде самого краткого определения я скажу: формы, которые *нарастают* вокруг субстанции (поймите только меня надлежащим образом), будут соответствовать действительной природе и назначению субстанции, будут истинные, хорошие; формы же, которыми сознательно *окружается* субстанция, будут негодными формами. Я предлагаю вам подумать об этом. Указанное определение дает возможность различать

истинное от ложного в обрядовых формах, серьезную торжественность от показной пустоты во всех вообще человеческих делах.

Формы также должны отличаться известной правдивостью, определенной естественной самопроизвольностью. Если человек в самом заурядном, обыденном собрании людей станет вдруг произносить так называемые "заранее приготовленные речи", то они, понятно, вызовут у всех крайне досадливое чувство. Даже в гостиной вы обыкновенно избегаете любезности, раз видите, что они не вытекают из непосредственного чувства, из действительного внутреннего движения, а являются лишь пустым гримасничеством. Но предположите теперь, что речь идет о важном жизненном деле, о каком-нибудь трансцендентном предмете, о богопочитании например, относительно которого ваша душа, поверженная в полное безмолвие от избытка чувства, не знает, как ей найти *форму*, могущую вместить всю полноту чувства, и потому предпочитает лишенное формы молчание всякому возможному выражению, — что бы сказали вы о человеке, выступающем вперед, чтобы изобразить или выразить это нечто невыразимое для вас, с актерским видом мебельного обойщика? Такой человек... да пусть он поскорее удалится с ваших глаз, если только ему дорога жизнь! Вы потеряли единственного сына; пораженные, стоите вы в немом безмолвии; вы не можете даже плакать, а вам настойчиво жужжат в уши о необходимости проделать какие-то церемонии по обрядам англиканской церкви! С такого рода актерством невозможно примириться; оно несносно, ненавистно. Древние пророки называли его "идолопоклонством", поклонением пустой внешности, а подобное поклонение всякий серьезный человек обязательно отвергает и будет всегда отвергать. Мы можем отчасти понять, чего, собственно, добивались наши бедные пуритане. Взгляните на Лода, освящающего церковь святой Екатерины: беспрестанные торжественные коленопреклонения, жестикуляции — все совершается именно так, как мы указали выше. Конечно, он скорее суровый формалист, *педант*, ушедший всецело в свои "школьные правила", чем серьезный проводник, устремляющий свой взор в сущность вещей!

Пуританизм нашел, что *такие* формы несносны, и он поправил их. Мы можем только оправдать его, так как лучше не знать никаких форм, чем удовлетворяться подобными. Тот, кто проповедовал, стоял на пустой церковной кафедре, и в его руке не было ничего, кроме Библии. Более того, человек, проповедующий из глубины своей искренней души искренним *душам* других людей: разве в этом, собственно, не заключается сущность всякой церкви? Лишенная всякого прикрытия, самая дикая действительность, говорю я, предпочтительнее формальной видимости, хотя бы даже и прославляемой на все лады. Притом же действительность, если только она действительность, облечется со временем в *надлежащую* видимость. На этот счет опасаться положительно нечего. Раз существует живой человек, одежда будет изобретена; он сам найдет себе одежду. Но что сказать о полной паре платья, которая стала бы вдруг обнаруживать притязание, что она не только пара платья, но и целый живой человек! Мы не можем "поразить француза" даже тремястами тысяч мундиров; необходимо, чтобы в них были *люди!* Видимость, утверждаю я, не должна порывать связи с действительностью. Если же

она порывает, в таком случае, понятно, должны быть люди, которые восстают против видимости, так как она с течением времени неизбежно становится ложью! Воинствующий антагонизм между Лодом и пуританами не представляет, в сущности, ничего нового; он почти так же стар, как и сам мир. В ту пору между противниками шла ожесточенная борьба на территории всей Англии и они с оружием в руках порешили до известной степени свой темный спор, что имело для всех нас важные последствия.

Эпоха, следовавшая непосредственно за пуританизмом, не особенно, по-видимому, благоприятствовала справедливой оценке дела, во имя которого пуритане боролись, а равно и действовавших лиц. Карл II и его Рочестеры, как бы вы ни относились к их заслугам и деятельности, не такие были люди, чтобы на их суд и оценку можно было положиться в данном случае. Эти жалкие Рочестеры, равно как и вся вообще эпоха, ознаменованная их существованием, позабыли, что вера и истина, каковы бы они ни были, могут наполнять человеческую жизнь. Самый пуританизм, подобно костям пуритан, стоявших во главе движения, был вздернут на виселице. Тем не менее дело их продолжало развиваться своим чередом. Всякое истинное дело, повесьте вы творца его на какой угодно виселице, должно развиваться и будет развиваться само по себе. Наш *Nabeas Cognus*, наше свободное представительство народа, убеждение, что все люди должны быть, будут и хотят быть или даже и суть уже в действительности то, что мы называем *свободными* людьми, то есть людьми, жизнь которых основывается на реальности и правде, а не на традиции, превратившейся в неправду, в пустую химеру, — все это и еще многое другое обязано своим существованием, отчасти пуританам.

И действительно, по мере того как начали постепенно обнаруживаться все эти результаты, стал проясняться и настоящий облик пуритан. Один за другим они были *сняты*, благодаря разным воспоминаниям, с позорной виселицы; а некоторые из них в наше время даже, так сказать, канонизированы. Элиот, Гемпден, Пим, а затем Лодло, Хатчинсон, даже Вэн стали в своем роде героями, политическими "отцами отечества", которым мы в значительной степени обязаны своей славой свободной нации; поэтому неблагоразумно было бы в настоящее время представлять этих людей в виде злодеев. Почти все выдающиеся пуритане нашли себе защитников, и почти ко всем им серьезные люди относятся теперь уже с известным почтением. Лишь один пуританин, наш бедный Кромвель, и, кажется, один только он, висит до сих пор еще на виселице и не находит своего преданного, любящего защитника!.. Ни святитель, ни грешник не возьмется отпустить ему великие злодеяния. Да, говорит всякий, он — человек громадных способностей, необычайного таланта, отваги и тому подобное, но он изменил своему делу. Личное честолюбие, бесчестность, двоедушие взяли верх; он — свирепый, грубый, лицемерный *Тартюф*, обративший всю эту благородную борьбу за конституционную свободу в жалкий фарс и разыгравший его в свою личную пользу. Так или еще и того хуже характеризуют обыкновенно Кромвеля. А затем в противоположность ему указывают на Вашингтона и других, в особенности же на этих благородных Пимов



и Гемпденов, которых он якобы обворовал, воспользовавшись их честным трудом в своих корыстных целях и самое дело которых погубил, обратив его в ничтожество и безобразие.

Нельзя сказать, чтобы подобный взгляд на Кромвеля не соответствовал вообще духу XVIII века. Слова наши относительно слуги, не признающего героя, применимы также и к скептику: скептик не узнает героя, хотя и смотрит на него. Слуга ожидает пурпуровых мантий, золотых скипетров, телохранителей и трубных фиоритур; скептик XVIII века ищет повсюду правильных, почтенных формул, "принципов", как бы там он их ни называл; ищет, одним словом, известного стиля в речи и поведении, который считался тогда "почтенным", обладал прекрасными, отчеканенными формами и мог постоять за себя, мог приобрести в свою пользу большинство голосов просвещенного скептического XVIII века. В сущности, и слуга, и скептик обращают внимание на одно и то же. Им нужен известный *наряд*, составляющий *общепризнанную* принадлежность королевского сана; *тогда* они признают и самого короля. Короля же, приходящего к ним в неоформленном грубом виде, они не признают за короля.

Я со своей стороны слишком далек от мысли унижить словом или намеком таких личностей, как Гемпден, Элиот, Пим, которые действительно были достойные и полезные люди. Я внимательно прочел все книги и документы, какие только мог достать относительно их, и читал с чистосердечнейшим намерением полюбить и преклониться перед ними как перед героями; но, не желая утаивать действительной истины, должен с прискорбием сказать теперь, что предположения мои не оправдались. Я нашел, что мои ожидания в данном случае были, в сущности, совершенно неуместны. Действительно, это все люди весьма благородные; они выступают перед вами своею величественною походкою, с философиею, с парламентским красноречием, своими корабельными пошлинами, "Монархиями человека"\*; да, это — безукоризненная, достойная группа людей, неизменно преданная конституции. Но ваше сердце остается холодно к ним, и вы стараетесь только в своем воображении поднять их на высоту поклонения. В самом деле, какое же человеческое сердце может вспылать огнем братской любви к подобным людям? В конце концов они смертельно надоедают вам! Уж слишком часто приходится окунаться в волны конституционного красноречия удивительного Пима с его "в седьмых и наконец". Вы находите, что его речи, может быть, удивительнейшие в мире, но что они тяжелы, как свинец, и бесплодны, как глина; что, одним словом, в них теперь слишком мало жизни или даже и вовсе нет никакой! Вы предоставляете всем этим знаменитостям безмятежно стоять в своих почетных нишах и обращаете свой взор на свирепого, отверженного Кромвеля: вот единственный человек из всех их, в котором вы до сих пор чувствуете настоящего человека. Великий, дикий, неистовый человек, он не мог написать благожелательной "Монархии человека", не мог говорить, не мог действовать с размеренной регулярностью; он никогда не имел наготове рассказа, который мог бы привести в свое оправдание. Он не облакался в кольчугу кротости; он выступал, ничем не прикрываясь, он схватывался, как гигант, лицом к лицу, сердцем к сердцу с обнаженной

истиной всего сущего. Таковы, в конце концов, все люди, стоящие чего-нибудь. Приношу повинную в том, что я ценю такого человека выше всякого иного рода людей. Многие, я думаю, согласятся со мной, что гладко выбритые достопочтенные мужи не стоят, собственно, ничего. Человек, сохраняющий чистоту своих рук, благодаря тому, что он прикасается к труду не иначе как в перчатках, заслуживает самой жалкой благодарности!

Вообще конституционная терпимость XVIII века ко всем другим более счастливым пуританам не представляется мне особенно важным обстоятельством. Можно сказать, что она есть проявление того же формализма и скептицизма, как и все прочее. Нам говорят: прискорбно думать, что основание нашей английской свободы было заложено "суеверием". Эти пуритане выступили со своими невероятными кальвинистскими верованиями, антилодизмами, "Вестминстерскими вероисповеданиями"; они требовали главнейшим образом, чтобы им была предоставлена свобода *поклоняться* согласно своему собственному верованию. Свобода *самообложения* — вот право, которого они должны были требовать! Наставать же на всем другом могло одно только суеверие, фанатизм и постыдное невежество по части конституционной философии. Что такое свобода *самообложения*? Право вынимать деньги из своего кармана лишь в том случае, когда вам представят достаточные основания. Только крайне убогий век, думается мне, мог выставить подобное положение как основное право человека! Я, напротив, сказал бы: всякий дельный человек опирается на более солидное основание, чем *деньги* в какой бы то ни было форме, раз он решается восстать против известного режима. Мы переживаем теперь крайне смутные времена, когда всякий честный человек будет признательно относиться к любому режиму, лишь бы блюстители его для поддержания себя не прибегали к невыносимым средствам; и даже в настоящее время, я думаю, плохо зарекомендует себя в Англии тот, кто станет отказываться от уплаты превеликого множества налогов, разумного основания для которых *он* не находит. Человек должен подняться в иные сферы, обратить свое внимание на другие вопросы. Что сборщик податей, деньги? Человек должен ответить: "Берите мои деньги, потому что вы *можете* взять их и притом так сильно желаете этого; берите их и убирайтесь сами прочь вместе с деньгами, только оставьте меня здесь в покое и не покушайтесь на мою работу. Я существую еще; я могу еще работать, несмотря на то что вы отобрали у меня все деньги!" Но если придут к человеку и скажут: "Признайте лож; говорите, что вы поклоняетесь Богу, хотя вы в действительности не поклоняетесь; верьте не тому, что *вы* находите истинным, а тому, что мы признаем или делаем вид, что признаем истинным!" Он должен ответить: "Нет, Бог да поможет мне, нет! Вы можете отнять у меня кошелек; но я не могу отказаться от своего нравственного я. Кошельком может овладеть любой разбойник с большой дороги, который нападет на меня с оружием в руках; но мое я принадлежит мне и Богу, моему Создателю; оно не принадлежит вам; я стану бороться с вами до последнего издыхания и, в конце концов, готов претерпеть всевозможного рода лишения, обвинения, даже гибель, отстаивая свое достоиние, это свое я!"

Действительно, из такой именно мысли исходили пуритане и таково, мне кажется, единственное основание, в силу которого можно оправдать всякий протестантизм. Мысль эта составляет душу всех справедливых движений в человеческой истории. Не один только *голод* породил даже Французскую революцию; нет, но также и сознание невыносимой, всепроникающей *лжи*, которая сказала тогда между прочим и в голоде, всеобщей материальной недостаточности и ничтожестве и в силу этого стала *бесспорно* ложной в глазах всех! Мы оставим в покое этот XVIII век с его "свободой самообложения". Мы не станем удивляться, что для него значение таких людей, как пуритане, было темно и непонятно. В самом деле, как может быть понята *реальная* человеческая душа, напряженнейшая реальность из всех реальностей, так сказать, голос самого Творца мира, говорящий еще до сих пор *нам*; как может быть она понята людьми, которые не верят вовсе ни в какую реальность? В эпохи, подобные XVIII веку, люди неизбежно сваливают все в одну бесформенную кучу мусора, все, чего они не могут привести в согласие со своими конституционными доктринами относительно "обложения" или других подобных же материальных, грубых, осязаемых для ума интересов. Гемпдены, Пимы, корабельные пошрины становятся излюбленной темой для конституционного красноречия, сияющего казаться пылким; и это красноречие, пожалуй, будет блистать и сверкать если не как огонь, то как *лед*. Кромвель же, которого нельзя подвести ни под какую формулу, будет казаться хаотической грудой "безумия", "лицемерия" и всякой всячины.

Давно уже эта теория о лживости Кромвеля казалась мне не заслуживающей доверия. Да, я не могу верить подобным утверждениям, когда они относятся вообще к великим людям. Множество великих людей фигурирует в истории как лживые, эгоистические люди; но если мы поглубже вдумаемся, то окажется, что они ведь ни больше ни меньше как *фигуры*, непонятные тени; мы не смотрим на них как на людей, которые могли бы даже некогда существовать. Только поверхностное, неверующее поколение, устремляющее свой взор лишь на поверхностную, внешнюю сторону вещей, могло создать подобное себе представление о великих людях. Возможно ли, чтобы великая душа не имела *совести*, самого существа всех *действительных* душ, великих и малых: Нет, мы не можем представить себе Кромвеля как воплощение лжи и безрассудства; чем больше я изучаю его и его историю, тем меньше я верю этому. Действительно, на основании чего мы должны верить? Это вовсе не очевидно само по себе. Не странно ли, что после целых потоков клеветы, направленной против этого человека, после того, как его представляли в виде короля лгунов, который никогда или почти никогда не говорил правды, а всегда отделялся хитростной подделкой под правду, он не был до сих пор уличен воочию для всех ни в одной лжи? Король лгунов, а лжи, сказанной им, хотя бы в одном случае, никто не может указать, — лжи, в действительности которой мы могли бы убедиться еще теперь. Это напоминает мне Пококка, спрашивающего у Гроциуса: где же ваше *доказательство* относительно известной истории о голубе и Магомете? Доказательства никакого нет! Отвергните же все эти клеветнические химеры, так как химеры всегда следует

оставлять без всякого внимания. Они не могут нарисовать нам портрета человека. Они — бессвязные фантомы, продукт соединенных в одно ненависти и помрачения.

Когда станешь всматриваться своими собственными глазами в жизнь Кромвеля, то, мне кажется, сама собою напрашивается гипотеза совершенно иного рода. Несмотря на всю искаженность дошедших до нас сведений, разве немногое, известное нам о его ранних, темных годах, не свидетельствует вполне убедительно, что это был человек серьезный, любящий, искренний? Его нервный, меланхолический темперамент указывает скорее на серьезность, *слишком* глубокую для него. Что же касается всяких рассказов о "привидениях", о белом привидении среди дня, предсказавшем, что он будет королем Англии, то мы не обязаны особенно верить всему этому — не больше, конечно, чем другому верному привидению или дьяволу в образе человеческого, которому, как это самолично *видел* один офицер, он продавал себя перед Вустерской битвой\*! Но, с другой стороны, бесспорно установлено, что Оливер в дни своей юности отличался утрюмым, чувствительным до чрезмерности, ипохондрическим нравом. Хантингдонский доктор рассказывал самому сэру Филипу Уорвику, что его, доктора, часто требовали по ночам, что Кромвель находился тогда в состоянии глубокой ипохондрии, думал, что он скоро умрет, и т. д. Все это весьма важно. Такая легко возбуждающаяся, глубоко чувствующая натура, при необычайно суровой, непреклонной силе, какой отличался Кромвель, не может служить благодатной почвой для лжи; она служит почвой и предвестником чего-то совершенно иного, чем ложь!

Молодого Оливера отправили изучать право; в течение некоторого времени он, говорят, вел разгульную жизнь, свойственную вообще юношам; но если было даже и так, то он скоро раскаялся, отстал от разгула. Ему было двадцать с лишком лет, когда он женился, стал человеком вполне серьезным и спокойным. "Он возвращает выигранные в карты деньги", — рассказывает о нем одно предание; он не думает, чтобы выигрыш подобного рода мог действительно принадлежать ему. Далее весьма интересно и совершенно естественно это его превращение, это пробуждение великой мировой души, выбравшейся из житейской трясины, чтобы заглянуть в страшную *истину* всего сущего, убедиться, что время и все его видимости покоятся на вечности и что бедная наша земля есть преддверие или неба, или ада! А жизнь Оливера в Сент-Айвсе и Или в качестве скромного трудолюбивого фермера, — разве она не напоминает нам жизни вполне истинного и благочестивого человека? Он отказался от мира и его путей; разные успехи в *мире* были вовсе не то, что могло бы действительно обогатить его. Он обрабатывает землю, читает свою Библию, ежедневно собирает вокруг себя своих слуг и молится вместе с ними. Он укрывает и ободряет преследуемых священников, любит проповедников; мало того, он сам умеет говорить проповеди; увещевает своих соседей быть мудрыми, работать над искуплением своего времени. Какое же можно видеть во всем этом "лицемерие", "тщеславие", "ханжество" или вообще фальшь? Надежды этого человека

были устремлены; несомненно, в иной, высший мир; он преследовал одну цель: добраться благополучно *туда* путем скромной и добропорядочной жизни здесь, в *этом* мире. Он не домогается никакой известности: к чему она ему здесь, эта известность? Он "всегда на виду у своего великого Наблюдателя".

Незаурядным характером отличается также и его участие в одном общественном деле, когда он в первый раз выступает на виду у всех. Кромвель взял на себя защиту общественных интересов, так как никто другой не решался сделать этого. Я говорю об известном деле по поводу Бедфоровых болот\*. Никто другой не решался потребовать власть к ответу в суд, вот почему он и взялся за это дело. Покончив с ним, он возвратился назад к своей безызвестности, к своей Библии и своему плугу. "Добиваться влияния?" Его влияние — самое законное влияние; оно было результатом того, что люди лично знали его как человека справедливого, религиозного, разумного и решительного. Так он прожил до сорока лет. Старческая пора была уже не за горами; он приближался уже к главному portalу смерти и вечности. И тут вдруг случилось, что с этого именно момента он становится "честолюбцем"! Я не могу таким образом объяснить его парламентской деятельности!

Его успехи в парламенте и его успехи на войне — все это честные успехи отважного человека, у которого больше решимости в сердце и больше света в голове, чем у других людей. Его мольбы, его благодарения, возносимые за победы Богу, который сохранял его невредимым и неизменно вел все вперед среди неистового столпотворения мира, погруженного во всеобщую распрю, среди отчаянных, по-видимому, затруднений при Данбаре\*, под смертельным градом пуль среди многочисленных битв; его благодарения за непрерывный ряд милостей до "венчающей милости" включительно, до Вустерской победы — все это прекрасно и неподдельно в устах глубокосердечного кальвиниста Кромвеля. Только тщеславным неверующим "кавалерам"\* того времени, поклонявшимся не Богу, а своим собственным "завитушкам", пустякам и формальностям, жившим совершенно не помышляя о Боге, жившим *без* Бога, — только им все это могло казаться пустым лицемерием.

Гибель короля также не послужит в наших глазах поводом к обвинению Кромвеля. Тяжкое это было дело, но раз был брошен вызов на бой, раз возникла война, кто-либо из двух противников должен был погибнуть. Всякое примирение проблематично; быть может, оно и возможно, но гораздо вероятнее, что невозможно. В настоящее время почти все согласны, что парламент, одержавший верх над Карлом I, не имел никакой возможности войти с ним в сколько-нибудь прочное соглашение. Большая пресвитерианская партия, опасавшаяся индипендентов, сильно желала такого соглашения, желала его в интересах своего собственного существования; но оно не могло состояться. При окончательных переговорах в Гемптон-Корте злополучный Карл обнаружил всю свою фатальную неспособность в подобного рода делах. Он вел себя точно человек, который никак не мог и не хотел *понимать*, голова которого совершенно отказывалась правильно представлять действи-

тельное положение дела; нет, даже хуже того, *слово* которого вовсе не соответствовало мысли. Мы говорим все это не по жестокосердию, скорее напротив, с глубоким сожалением; но таков вполне достоверный и неопровержимый факт. Лишившись всякого престижа и сохранив за собой одно только *имя* короля, он видит, что к нему продолжают еще относиться с внешним почтением, какое подобает королю, и все еще воображает, что может играть обеими партиями, вооружая одну против другой и обманывая, таким образом, обе, возратить себе утраченную власть. Но увы, и та и другая партии *видели*, что он обманывает их. С человеком, из *речей* которого вы не можете понять, что он хочет сказать или делать, нельзя вести никакого дела. Вы должны или сами устраниться с пути подобного человека, или его устранить со своего пути! Пресвитериане в отчаянии все еще готовы были верить Карлу, хотя и видели, что он не перестает их обманывать и что ему невозможно доверять. Но не так думал Кромвель. "В результате всей нашей борьбы, — сказал он, — мы должны получить лишь жалкий клочок бумаги?" Нет!\*

В самом деле, во всех поступках этого человека обнаруживается его решительный, опытный *глаз*. Мы видим, как он неуклонно стремится к практичному и возможному, как его природная пронизательность направляется на то, что *представляет* собою действительный факт. Подобным умом, я продолжаю это утверждать, не может обладать фальшивый человек: фальшивый человек видит фальшивую внешность правдоподобности, полезности; даже практическую истину может распознать только истинный человек. Совет Кромвеля относительно парламентской армии, данный еще в начале борьбы и состоявший в том, чтобы распустить городских шинкарей, людей легкомысленных и беспокорных, и вместо них на вербовать армию из солидных йоменов (крестьян), вкладывавших в общее дело всю свою душу, это совет человека, который *видел* действительное положение вещей. Смотрите в глубину действительности, и она даст вам надлежащий ответ! Кромвелевские "железнобокие"\* представляют фактическое осуществление его прозорливой мысли; это — люди, боявшиеся только Бога и не знавшие иного страха. И ни в истории Англии, ни в истории других стран никогда не было борцов, более беззаветно преданных своему делу!..

Мы не можем также слишком осуждать сказанные им слова Кромвеля, которые представлялись столь заслуживающими порицания: "Если бы в сражении мне пришлось столкнуться с королем, я бы убил его". А почему нет? Он говорил эти слова людям, которые перед любым стоящим над ними чувствовали себя как перед королем. Они поставили на карту больше, чем собственную жизнь. Пусть парламент обращается к нам с официальными призывами сражаться "за короля", мы уже не в состоянии понять их. Для нас это не дилетантское дело, не прилизанная канцелярщина, а нечто простое и суровое, как смерть и истина. Поэтому они поднялись на эту *войну*, ужасную, смертоносную войну, человек выступил против человека с обжигающим мужеством — *адский* элемент, заключенный в человека, вырвался наружу, чтобы попытаться сделать это! Итак, дело было сделано; произошло то, что должно было

произойти\*. Успехи Кромвеля, на мой взгляд, являются вполне естественным делом! Он оставался невредим в борьбе, поэтому успехи были неизбежным следствием. То, что подобный человек, с глазом, который провидит, сердцем, которое дерзает, должен был продвигаться все вперед и вперед, от одного поста к другому, от одной победы к другой, пока хантингдонский фермер не стал, — называйте его новое положение каким вам угодно именем, — сильнейшим человеком, признанным всею Англиею, действительным королем Англии, — все это не требует для своего объяснения никакой магии!

Целый народ, как и отдельный человек, представляет поистине печальное зрелище, когда скептицизм, дилетантизм, неискренность разъедают его существование, когда он не узнает искренности, хотя и смотрит на нее. Какое другое проклятие в нашем мире, да и во всяком ином, может сравниться с этим по своей фатальной губительности? Сердце перестает биться, глаз перестает видеть. Весь остающийся еще ум перерождается в *лисий* ум. Если в такую пору среди людей и появится истинный *вождь*, то это принесет мало пользы: люди не узнают его, хотя они и будут смотреть на него. Они спросят презрительно: так вот каков ваш вождь? Герою приходится попусту растрачивать свои героические силы, так как он встречает бессмысленное противодействие со стороны недостойных; и он не может совершить многого. По отношению к себе лично он ведет, конечно, героическую жизнь, что составляет многое, что составляет все; но по отношению к миру он не дает почти ничего. Дикая, грубая искренность, исходящая непосредственно из самой природы, не особенно склонна к разным самооправдательным ответам. На нашем *ярмарочном* судилище, знающем лишь мелкие долги, над ним издеваются как над лицемером. Лисий ум "разоблачает" его. Ибо все, чего ваш Нокс, ваш Кромвель, ваш герой, стоящий тысячи людей, может добиться, это спор, затягивающийся на два столетия, спор о том, был ли он даже человеком. Величайший дар, ниспосланный Богом нашей земле, презрительно отбрасывается прочь. Чудодейственный талисман превращается в негодную, из накладного серебра, монету, которую лавки не хотят принять даже за обыкновенную гиней.

Как плачевно все это! Но подобное положение вещей, говорю я, не может продолжаться вечно и должно измениться к лучшему. Пока же оно не изменится, хотя бы в незначительной степени, ничего не изменится. "Разоблачать шарлатанов"? Конечно, разоблачайте, ради самого неба; но умеете также отличать людей, которым следует верить. Пока вы не умеете узнавать их, что значит все ваше знание? Как станете вы хотя бы только "разоблачать"? Ибо лисья пронизательность, считающая самое себя знанием и принимающаяся затем "разоблачать", сильно заблуждается. Действительно, обманутых людей немало; но из всех *обманутых* тот становится в самое фатальное положение, кто живет под непозволительным страхом быть обманутым. Мир существует, бесспорно; следовательно, мир заключает в себе известную истину или иначе он не существовал бы! Сначала узнайте, в чем состоит эта истина, и *затем* уже разбирайтесь в том, что есть ложного. Да, только узнавши первое, приступайте ко второму.

”Уметь узнавать людей, которым следует верить”, увы, как мы еще далеки от этого. Только искренний человек может распознать действительную искренность. Нужен не только герой, но и мир, достойный его, который не представлял бы одной сплошной массы *слуг*; в противном случае герой пройдет почти бесследно для мира! Да, мы еще очень далеки от подобного состояния; но оно должно настать; благодаря Богу, оно, видимо, уже наступает. Пока же оно не настало, что видим мы? Баллотировочные ящики, голосования, французские революции!.. Что, если мы представляем из себя слуг и не признаем героя, хотя и смотрим на него, к чему тогда все это? Вот героический Кромвель: он в продолжение ста пятидесяти лет не может получить ни одного голоса в свою пользу. Не удивляйтесь: неискренний, неверующий мир представляет *естественное достояние* шарлатана и отца всех шарлатанов и шарлатанства! При таком условии возможны лишь одни бедствия, смуты и всякие неправды. При посредстве баллотировочного ящика мы можем изменить только *внешние формы* нашего шарлатана, но сущность его остается неизменной. Мир, состоящий из слуг, и *должен* быть управляем *призрачным* героем, в котором все величие исчерпывается *нарядом*. Одним словом, одно из двух: или мы должны научиться узнавать истинных героев и вождей, когда смотрим на них; или, в противном случае, нами неизменно навеки будут управлять негероические люди; а будут ли шары ударяться о дно баллотировочных ящиков на каждом перекрестке или нет — это вовсе не поможет делу.

Бедный Кромвель, великий Кромвель! Незаконченный, неотчеканенный, так сказать, пророк; пророк, который не умел *говорить*. Неотесанный, смятенный, пытающийся высказаться всей глубиной своей дикой души, со всей своею дикой искренностью! И как странно он смотрится среди всех этих элегантных, утонченных маленьких Фольклендов, дидактических Чиллингуортсов, дипломатических Кларендонов! Присмотритесь поближе к нему. Снаружи — хаотическая смятенность, призраки, черти, нервные мечтания, почти полубезумие; загляните, однако, в самое сердце: какая светлая, непреклонная энергия работает там! В своем роде хаотический человек; но луч чистого звездного света и огня как бы прорезывает эту атмосферу беспредельной ипохондрии, этот *бесформенный мрак* потемок! И однако, несмотря на всю ипохондрию, разве Кромвель не являет собою истинного человеческого величия? Глубина и нежность его диких привязанностей; *симпатия*, с какой он относился ко всему, прозорливость, с какой он стремился проникнуть в самое сердце вещей, мастерство, с каким он старался управлять ходом вещей, — вот какова была его ипохондрия. Несчастья этого человека, как и всегда бывает, проистекали из его величия. Сэмюэл Джонсон — человек подобного же сорта, человек, пораженный скорбью, полупомешанный; необъятная, как мир, атмосфера печального *мрака* окутывала его со всех сторон. Такова характерная особенность человека-пророка, человека, всеми силами своей души *воззрившегося* и борющегося за то, чтобы видеть действительное положение вещей.

Таким же образом я объясняю себе и общепризнанную неясность речей Кромвеля. Для него самого внутренний смысл его слов был ясен,



как солнце; но ему не доставало материальных ресурсов, слов, чтобы облечь этот смысл в определенные формы. Он *жил* молчаливым; великое несказанное море мысли окружало его во все дни существования; благодаря своему образу жизни он не испытывал сильных побуждений *называть* эти мысли, высказываться. При громадной силе, которую он обнаруживает в своей пронизательности и в своей деятельности, я не сомневаюсь, он мог бы также научиться писать книги и говорить достаточно плавно. Ведь он совершал дела потруднее, чем написание книг. Люди подобного рода способны выполнить мужественно все, за что бы им ни пришлось взяться. Ум человека заклочается не в том, чтобы уметь говорить и делать логические выкладки, а в том, чтобы видеть и убеждаться. *Мужество, героизм* — это вовсе не красиво говорящая, непорочная аккуратность; это, прежде всего, доблесть, отвага и способность *делать*. Такой способностью, составляющей основу всякой деятельности, и был именно одарен Кромвель.

Затем каждый легко поймет, каким образом он мог *проповедовать*, умел говорить свободные по форме проповеди и не умел говорить в парламенте; и в особенности, как он мог достигать истинного величия в импровизированной молитве. Такая молитва представляет свободное излияние того, что лежит у человека; тут требуется не метод, а теплота, глубина, искренность — вот и все. Вообще, обыкновение молиться весьма характерно для Кромвеля. Все его великие предприятия начинались молитвою. В тяжелых, затруднительных обстоятельствах, когда не видно было никакого выхода, он обычно собирал офицеров на молитву, и они молились по целым часам, дням, пока не приходили к какому-либо окончательному решению, пока, как они выражались, "врата надежды" не раскрывались перед ними. Подумайте об этом. В слезах, с горячими мольбами и воплями они обращались к великому Богу и просили, чтобы он сжалился над ними, чтобы он ниспослал на них свой просвещающий свет. Они, вооруженные воины Христа, как сами называли себя, маленькая община братьев во Христе, обнаживших мечи свои против черного, как ночь, всепожирающего мира, не христианского, а маммонского, дьявольского мира, они зывали к Богу в затруднительных случаях и просили его, чтобы он не покидал дела, которое было не только их, но также и его делом. И свет, озарявший их затем... Какими иными средствами человеческая душа могла достигнуть лучшего просветления? Разве дело, таким образом порешенное, не становилось именно самым возвышенным, самым мудрым делом, к осуществлению которого следовало приступать немедленно? Для них всякое такое решение было точно сияние самого небесного света в необъятной пустыне потемок, огненный столб в ночную пору, который должен был вести их по избранному, опасному, пустынному пути. Разве это *было* действительно не так? Разве человеческая душа может в настоящее время отыскать свое руководящее начало каким-либо иным, по существу, путем, иным, помимо искреннего преклонения пылкой, борющейся души перед Высочайшим Существом, перед Подателем всякого света, все равно, будет ли это *мольба*, выраженная словами, отчетливо произнесенная или же безмолвная, невыразимая? Никакого другого пути не суще-

ствует. "Ханжество", — говорят противники Кромвеля. Все это становится, право, утомительно. Твердящие о ханжестве Кромвеля не имеют, собственно, никакого права рассуждать о подобных вопросах. Они никогда не ставили себе в жизни цели, которую можно было бы признать действительной целью. Они живут, балансируя полезностями, вероятностями, собирая голоса, мнения; они никогда не остаются один на один с *истиною* всего сущего, абсолютно никогда. Молитвы Кромвеля отличались, вероятно, "красноречием", и не только красноречием: у него было сердце человека, который *умел* молиться.

Но и его ораторские речи, я думаю, не были уже на самом деле такими нескладными и бессвязными, как то может казаться. Мы находим, что как оратор он производил сильное впечатление и даже в парламенте пользовался авторитетом, то есть достигал всего того, к чему стремится каждый оратор. Всякий раз, когда раздавался его грубый, страстный голос, парламент вообще понимал, что он действительно *хочет* что-то сказать, и каждый из депутатов старался узнать, что именно. Кромвель не обращал никакого внимания на плавность; напротив, он чувствовал к ней даже отвращение, гнушался речи; он никогда не обдумывал заранее слов, которые следовало бы употребить. Да и репортеры в то время также были, по-видимому, не в пример беспристрастнее, чем современные: они отдавали в печать без всяких поправок то, что находили в своих записных книжках. Какое, не правда ли, странное доказательство якобы предумышленного и точно рассчитанного лицемерия со стороны Кромвеля, его игры перед лицом всего мира представляет тот факт, что он до конца своей деятельности нисколько не заботился о своих речах? Как же это он не пришел к мысли хотя бы сколько-нибудь обдумывать предварительно свои слова, прежде чем бросать их в публику? Если слово, сказанное человеком, — истинное слово, то его можно предоставить самому себе пролагать свой путь.

Но относительно "лживости" Кромвеля мы считаем необходимым сделать одно замечание. Такая "лживость" была, я думаю, в порядке вещей. Все партии находили, что он обманывает их; каждая партия понимала его слова *известным* образом, и все приверженцы данной партии слышали даже, как он говорил именно то, что нужно им, и вдруг оказывалось, что его слова означают *то-то и то-то...* Он лжец из лжецов! — кричат все они. Но не такова ли на самом деле неизбежная судьба в подобные времена не лживого, собственно, а всякого, стоящего выше толпы, человека? Такому человеку неизбежно приходится прибегать к *умолчаниям*. Если бы он, выступая среди людей, приколол сердце свое к рукаву платья, так что вороны могли бы клевать его, то путь его был бы недолог! Никто не находит выгодным селиться в доме, построенном из стекла. Каждый человек сам себе судья относительно того, в какой мере он станет обнаруживать перед другими людьми свою мысль; даже перед теми, с кем бы он хотел вместе работать. Вам предлагают нескромные вопросы, — вы следуете своему правилу и *ничего* не отвечаете вопрошающему; вы не вводите его в *заблуждение*, если только вы можете избежать этого, — вы просто оставляете его в таком же неведении, в каком он находился и раньше. Такой именно ответ, если

только окажется возможным подыскать надлежащую фразу, дал бы, вероятно, в подобном случае всякий мудрый и преданный своему делу человек.

Кромвель — в этом не может быть никакого сомнения, — часто говоря в духе той или другой из маленьких зависимых партий, высказывал им только *часть* своей мысли. Каждая же из них думала, что он всецело принадлежит ей. Отсюда их бешенство, каждой в отдельности и всех вместе, как только они убеждались, что он вовсе не принадлежит им, что он принадлежит своей собственной партии! Можно ли, однако, поставить такое поведение ему в вину? Находясь среди подобных людей, он должен был при всяком повороте своей судьбы чувствовать, что если он изложит перед ними всю свою глубоко затаенную мысль, то они или содрогнутся от ужаса, пораженные этой мыслью, или поверят ей, и в таком случае их собственная маленькая компактная гипотеза разлетится в прах. Они не в состоянии будут тогда уже работать в интересах его дела; мало того, они не в состоянии будут тогда, быть может, работать даже в интересах своего собственного дела. Таково неизбежное положение всякого великого человека среди маленьких людей. Повсюду вы видите маленьких людей, крайне деятельных, полезных, вся энергия которых держится на известных убеждениях, на ваш взгляд, несомненно ограниченных, несовершенных, держится на том, что вы называете *заблуждением*. Но верно ли, что долг предписывает человеку постоянно тревожить маленьких людей, их убеждения, если бы это представлялось даже всегда добрым делом? Многие люди совершают громкие дела, опираясь лишь на тощие традиции и условности, для них несомненные, а для вас невероятные; разбейте, отнимите у них точку опоры, и они погрузятся в бездонные глубины! "Если бы я имел полную горсть истины, — сказал Фонтенель, — я раскрыл бы только свой мизинец".

И если такое отношение справедливо в теоретических вопросах, то во сколько раз оно будет справедливее во всякого рода практических делах! Человек, не умеющий *держатъ при себѣ свою мысль*, не может совершить никакого крупного дела. А мы называем все это "притворством"? Что бы вы сказали, если бы генерала, стоящего во главе армии, назвали притворщиком за то, что он не излагает своих мыслей о мирных вопросах всякому капралу или простому солдату, вздумавшему допрашивать его? Я, напротив, готов допустить, что Кромвель справился со своим положением весьма умело, и готов удивляться его умению. Во время всей своей деятельности он беспрестанно вращался в хаотическом беспредельном водовороте подобных вопрошающих капралов и отвечал им. Справиться со всем этим мог только великий, истинно провидящий человек, а вовсе не одна изведенная лживость, как я сказал; вовсе нет! Ни о ком из людей, связавших свое имя с такой массой дела, вы не станете утверждать ничего подобного.

В суждениях о людях, подобных Кромвелю, об их честолюбии, лживости и т. д., делают обыкновенно две ошибки, извращающие весь ход наших мыслей, и, к сожалению, весьма распространенные. Первую из них я мог бы назвать подтасовкой *цели*, преследуемой этими людьми, вследствие чего получается неправильное освещение исходного пункта

и всего развития их деятельности. Шаблонные историки Кромвеля воображают, что он надумал сделаться протектором Англии еще в то время, когда занимался обработкой болотистых полей в Кембриджском графстве. Там он уже предначертал себе весь путь своей деятельности, выработал программу целой драмы, которую затем шаг за шагом и развивал трагически, пользуясь, по мере своего движения вперед, всеми ресурсами ловкого игрока. Таков был, говорят они, этот хитрый, интригующий "лицемер" или актер. Таким образом, все дело возвращается в самом корне и во всех отношениях. Подумайте только одну минуту, как плохо вяжутся подобные соображения с действительными фактами! В самом деле, насколько каждый из нас может предвидеть свою жизнь? Сделайте мысленно несколько шагов вперед, и вы убедитесь, что дальше все покрыто мраком, все представляется в виде неразмотанного клубка возможностей, опасений, попыток, неопределенных, слабо мерцающих надежд. Жизнь Кромвеля не была втиснута в известную программу, которую ему, при его беспредельном лукавстве, оставалось бы только трагически разыгрывать пункт за пунктом! Вовсе нет. Нам кажется, что это было так, но для него самого совсем не так. Какая масса абсурдных утверждений пала бы сама собою, если бы историки неуклонно придерживались одного только этого факта, неопровержимого факта! Историки скажут, пожалуй, вам, что они не упускают его из виду; но посмотрите, так ли бывает на самом деле! Шаблонная история совершенно забывает об этом факте первостепенной важности, даже лучшие истории и те лишь изредка то там, то здесь вспоминают о нем. Действительно, чтобы помнить о нем надлежащим образом и выдерживать его с суровым совершенством, чтобы всегда брать человека таким, каким он *существовал* на самом деле, — требуется редкая способность. Тот был бы равен самому Шекспиру по силе дарования, даже более того, стоял бы выше Шекспира, кто сумел бы *разыграть* биографию своего брата-человека, кто сумел бы глядеть глазами этого брата-человека на все, что видел *тот* при всевозможных превратностях своей судьбы; короче сказать, мог бы *понять* его и весь пройденный им путь, на что немногие из "историков", повидимому, обращают внимание. Добрая половина всех этих извращений, загромождающих и искажающих наше представление о Кромвеле, исчезнет, если мы попытаемся, по силе возможности, искренне стать на указанную мною точку зрения и представить себе, как все обстоятельства жизни Кромвеля *развивались* последовательно одни за другими, а не будем сваливать все их в одну беспорядочную кучу, как это обыкновенно делается.

Вторая ошибка, в которую впадает большинство, относится к "честолюбию". Мы преувеличиваем честолюбие великих людей; мы ошибаемся в понимании его природы. Великие люди не честолюбивы в том смысле, как мы употребляем это слово; таким честолюбцем бывает лишь жалкий маленький человек. Присмотритесь повнимательнее к человеку, который чувствует себя несчастным потому, что он не сияет вверху над другими людьми; который мечется из стороны в сторону, навязывается всем и каждому под влиянием снедающего его беспокойст-

ва относительно своих дарований и своих притязаний; который силится упросить каждого, ради самого Бога, признать его великим человеком и поставить во главе людей! Такое создание представляет одно из самых жалких явлений, какое только людям приходится наблюдать под нашим солнцем. Вы говорите *великий* человек! Нет, это жалкий, пустой человек, страдаемый болезненным зудом; его место скорее на больничной койке, чем на троне посреди людей. Я советую вам держаться подальше от подобного человека. Он не может идти своим путем спокойно; он не может жить, если вы не станете заглядывать ему в глаза, не станете удивляться ему, писать о нем статей. В нем говорит *пустота*, а не истинное величие. По сущей правде, я полагаю, что ни один великий человек, ни один неподдельно искренний, здоровый человек с печатью действительного величия никогда не страдал особенно сильно от подобных терзаний.

Возвращаюсь к Кромвелю. Зачем ему было стараться "обращать на себя внимание" шумной толпы народа? Бог, его Создатель, уже обратил на него внимание. Он, Кромвель, уже сложился к этому времени вполне; никакое внимание не могло уже изменить его. До тех пор, пока его голова не покрылась сединой и жизнь с вершины склона не представилась во всей своей ограниченности, не как нечто бесконечное, а, напротив, как конечное, как вполне измеримое дело (насколько она протекла), до тех пор он пахал землю, читал свою Библию и находил в такой жизни достаточное удовлетворение. В дни же своей старости он, не запродав себя лжи, не мог уже, конечно, выносить езды в золоченых каретах в Уайтхолл\*, не мог выносить, чтобы клерки с кипами бумаг осаждали его заявлениями: "решите это, решите то", чего ни один человек, испытывающий мучительную сердечную скорбь, не может решить в совершенстве! Что могли значить для Кромвеля золоченые кареты? Стремление жить по-человечески ставило его выше всяких желаний позолоты. Смерть, Страшный суд и вечность: вот что просвечивает во всем, что он думал и делал уже с ранних пор. Вся жизнь его была опоясана как бы морем безымянных мыслей, обозначить, назвать которые совершенно бессилен человеческий язык. Слово Божье, как называли его пуританские пророки того времени, было для него действительно велико, все же прочее — незначительно и ничтожно. Считать такого человека "честолюбцем", изображать его в виде описанного выше надутого мешка, испытывающего вечный зуд, по моему мнению, самый жалкий софизм. Такой человек говорит: "Не надо раззолоченных карет, вашей черни, кричащей "ура", не надо мне ваших рутинных клерков, ваших высоких, влиятельных положений, ваших важных дел. Оставьте меня одного; я уже *пожил слишком много!*" Старый Сэмюэл Джонсон, величайший ум своего времени во всей Англии, не был честолюбцем. "Корсиканец Босуэлл" посещает публичные зрелища в шляпе, украшенной разноцветными лентами, а великий старый Сэмюэл сидит дома. Его душа, необъятная, как мир, была поглощена своими мыслями, своими скорбями. Что могли значить для нее всякие наряды, ленты на шляпах?

О да, я еще раз повторю: великие, *сохраняющие молчание* люди! Оглядываясь вокруг и вдумываясь в шумливую суету мира, во все эти

малозначащие слова и малостоящие дела, всякий с любовью остановится в мыслях своих на великом океане *молчания*. Благородные молчащие люди, рассеянные здесь и там, каждый в своей сфере; они молчаливо мыслят, молчаливо работают; о них не упоминают даже утренние газеты! Они — соль земли. Страна, лишенная вовсе подобных людей или насчитывающая их в небольшом количестве, находится на гибельном пути. Она уподобляется лесу, у которого вовсе нет *корней*, лесу, который все переработал в листья и ветви и потому должен скоро засохнуть и погибнуть. Горе нам, если мы не имеем ничего, кроме того, что можем *показать* или сказать. Молчание, великий океан молчания: он подымается выше звезд; он глубже, чем царство смерти! Он один только велик; все же прочее мало и незначительно. Мы, англичане, я надеюсь, сохраним на долгие еще времена наш *великий талант молчания*. Пусть другие, пусть те, кто не может действовать, не взобравшись на подмостки, пусть они изливают неудержимым потоком свои речи, показываются во всех публичных местах, занимаются исключительным культивированием своего слова и превращаются в ярко зеленеющий лес, лишенный, однако, *корней*! Соломон говорит: на все есть свое время — время говорить и время молчать\*. Предположим, что какого-нибудь великого молчаливого Самуила, который не был бы принужден писать *ради денег* и вообще в силу необходимости, как это случилось с нашим старым Сэмюэлом Джонсоном, по его рассказу, спросили бы: "Почему вы не подымаетесь и не говорите; почему не распространяете своих убеждений, не основываете своей секты?" — "Действительно, — ответил бы он, — я до сих пор *воздерживался* высказывать свою мысль; к счастью, я до сих пор еще имел силу удерживать ее при себе, я не испытывал еще такого сильного побуждения, которое заставило бы меня высказать ее. Моя "система" предназначается не для того, чтобы я возвещал ее первым делом ко всеобщему сведению: она должна служить прежде всего мне лично для руководства в жизни. Таково, насколько касается меня, ее великое назначение. А затем вы говорите "слава"? Увы, слава; но Катон еще сказал по поводу своей статуи: "На вашем форуме слишком много статуй, не лучше ли было бы, если бы люди спрашивали: да где же статуя Катона?"

Но теперь, как бы в противовес этой теории молчания, да позволено мне будет сказать, что существует двойного рода честолюбие: одно заслуживает безусловного порицания, другое — похвалы и появляется неизбежно. Природа позаботилась, чтобы великий молчаливый Сэмюэл не оставался слишком долго в молчании. Так пусть себялюбивое желание блистать — жалко и презренно во всех отношениях. "Ты ищешь великих дел, — не ищи их": это — совершенно правильно. Но, скажу я, в каждом человеке заложено неискоренимое стремление высказываться в полную меру сил, данных ему природой; стремление высказываться вовне и осуществлять вовне все, чем наделила его природа. Стремление справедливое, естественное, неизбежное; мало того, это обязанность, даже сущность всех вообще обязанностей человека. Весь смысл человеческой жизни здесь, на земле, можно сказать, состоит в том,

чтобы развивать свое *я*, делать то, к чему человек чувствует себя пригодным. Таков основной закон нашего существования, сама необходимость. Колридж удивительно верно замечает, что ребенок выучивается *говорить* в силу необходимости, испытываемой им. Поэтому мы скажем: чтобы решить вопрос о честолубии, решить, низменное ли честолубие говорит в человеке или нет, необходимо принять в расчет два условия — не только вожделение, подталкивающее человека добиваться известного положения, но также и его способность действительно занимать это положение. В этом весь вопрос. Быть может, положение, которого человек ищет, принадлежит действительно ему; быть может, он не только вправе, но даже обязан искать его. Можем ли мы порицать Мирабо за его притязания на место первого министра, когда он был "единственным человеком на всю Францию, способным сделать что-либо хорошее при тогдашних условиях"? Быть может, преисполненный надежд, он *чувствовал* совершенно ясно, как много добра он мог бы сделать! Но относительно бедного Неккера, который не мог сделать ничего дельного и даже чувствовал, что он вообще не может ничего сделать, и который, однако, с сокрушенным сердцем относился к тому, что его покинули и что он остался не у дел, — относительно его Гиббон совершенно прав, высказывая свои сегования. Природа, говорю я, позаботилась, чтобы великий человек, сохраняющий молчание, испытывал достаточно побуждений говорить; да, даже *слишком* позаботилась!

Представьте себе, например, вы убедили отважного старого Сэмюэла Джонсона, старающегося держаться в тени, что он может совершить великое божественное дело на пользу своей страны и всего мира; что идеальный небесный закон может быть осуществлен на нашей земле; что возносимое им ежедневно моление "да придет Царствие Твое" должно быть наконец осуществлено! Если вы убедите его в этом, если вы убедите его, что все это возможно и осуществимо, что он, скорбящий, молчаливый Сэмюэл, призван принять в этом деле участие, — разве душа его не воспламенится благородным пламенем и разве не осенит ее божественная ясность и благородная решимость действовать? Разве из уст его не польется благородная, пылкая речь; разве он не бросит под ноги все свои печали и опасения, все огорчения и противоречия как нечто пустое и ничтожное, разве вся атмосфера его темного существования не осветится лучезарным блеском света и молнии? Таково истинное честолубие! Посмотрите же теперь, как действительно было в случае с Кромвелем. Он видел, что церковь Божья уже с давних пор подвергалась гонениям; что истинных ревнителей-проповедников бросали в тюрьмы, секли плетью, выставляли к позорным столбам, отрезали им уши, что Слово Божье попиралось ногами недостойных и презренных людей. Все это тяжело запечатлевалось в его душе. Однако долгие годы он сохранял молчание, глядя на бедствия церкви, и молился; он не видел, каким образом можно было бы выйти из этого положения; но он верил, что милосердное небо укажет выход, что такой фальшивый, несправедливый порядок вещей не может оставаться неизменным навеки. И вот

наступает заря освобождения: после двенадцати лет молчаливого выжидания подымается вся Англия. Еще раз собирается парламент. Наконец-то правде будет предоставлена возможность заявить о себе. Невыразимая и вполне основательная надежда еще раз осенила землю. Разве быть членом такого парламента не составляло вполне достойного дела? Кромвель бросил свой плуг и поспешил в парламент.

Вот он говорит: его речи суровы и пылки; они, точно сама истина, вырываются из его души бурными потоками. Кромвель работает не покладая рук; он напрягает все свои силы, как настоящий сильный человек, как гигант, и борется среди свиста пуль, ядер и т. п. Снова и снова кидается он в борьбу, пока наконец дело его не *торжествует*, пока столь грозные некогда враги не сокрушены вконец и заря надежды не сменилась ярким блеском победы и достоверностью. Разве *он* не выдвигается в этот момент как самый могучий ум в Англии, как бесспорный герой всей Англии? Что вы можете возразить против? Евангельский закон Христа должен, наконец, осуществиться на земле! Кромвель, человек дела, изведавший весь хаос жизни, дерзает думать, что теократия возможна и осуществима, о чем Джон Нокс мог говорить со своей проповеднической кафедры только как о "благочестивой фантазии". Управлять народом должны люди, стоящие выше других в церкви Христовой, люди наиболее благочестивые и наиболее мудрые: до известной степени так могло бы быть и так должно бы быть. Разве истина Бога не *истинна*? А если она *истинна*, то в таком случае не ее ли именно человек должен осуществлять в жизни? И самый сильный практический ум в Англии ответил решительно: да, ее! Такую цель я считаю истинной и благородной, благороднейшей, какую только государственный человек или вообще любой человек может лелеять в своем сердце. Нокс, выступающий в защиту подобного дела, представляет удивительное зрелище; но Кромвель, человек с громадным здравым смыслом и прекрасным пониманием, что такое наш мир людской, отстаивающий то же дело, представляет, я думаю, единственное в своем роде зрелище во всей истории. В нем, по моему мнению, развитие протестантизма достигает своей кульминационной точки, наиболее героической фазы, в какой только суждено было "библейской вере" вылиться здесь, на земле. Чтобы оценить надлежащим образом эту эпоху, обратите внимание, что с того именно момента для каждого англичанина становится ясно, каким образом мы можем доставить окончательную победу правде над неправдой, что все, чего мы желали и просили как высочайшего блага для Англии, действительно возможно и достижимо.

Итак, все эти обвинения в *лишьем* уме, хитростях, осторожности и опытности по части "угадывания лицемеров" кажутся мне одним лишь печальным недоразумением. В английской истории мы не встречаем другого государственного человека, подобного Кромвелю; это, я могу сказать, единственный человек, лелеявший в своем сердце мысли о Царстве Божьем на земле, единственный человек на протяжении пятнадцати веков. И мы знаем, как отнеслись к нему. Последователей он считал всего лишь сотнями или даже десятками, а противников — миллионами. Если бы вся Англия собралась тогда вокруг него, то, кто знает, быть



может, она давно была бы уже истинно *христианской* страной! А лисья премудрость до сих пор возится со своею безнадежною проблемою; именно: "дан мир мошенников; требуется привести их совокупную деятельность к честности". Насколько это действительно трудная задача, вы можете убедиться в судебных учреждениях и некоторых иных местах! И так дело идет обыкновенно до тех пор, пока, наконец, все не станет коснеть и разлагаться по справедливому гневу, но вместе с тем и великой милости небес и подобная проблема для всех людей не станет *воочию* безнадежной.

Но возвращаюсь к Кромвеллю и его действительным стремлениям. Юм со своими многочисленными последователями, возражая нам, сказал бы: допустим, что Кромвель *был* искренен вначале, но искренний "фанатик" по мере своего успеха превращался постепенно в "лицемера". Такова теория Юма о фанатике-лицемере, теория, приложение которой с течением времени значительно расширилось: так, она была применена к Магомету и многим другим. Вдумайтесь в нее посерьезнее, и вы найдете в ней кое-что, заслуживающее внимания, правда, немногое, не все, далеко не все. Истинно героические сердца никогда не кончают таким жалким образом. Солнечные лучи, проходя через нечистую среду, преломляются, пятна и грязь отражаются, но тем не менее солнце продолжает светить, оно не перестает быть солнцем, не превращается в тьму! Я осмеливаюсь утверждать, что великий и глубокий Кромвель никогда не переживал подобного превращения; никогда, я в этом убежден. Он был сыном природы, и в его груди билось львиное сердце; подобно Антею, он черпал свою силу от *прикосновения* с матерью-землей. Оторвите его от земли и бросьте в атмосферу лицемерия и ничтожества, он тотчас потеряет свою силу. Мы не утверждаем, что Кромвель был, как говорится, без сучка и задоринки, что он не делал ошибок, никогда не грешил против искренности. Он вовсе не был дилетантом-проповедником всяческого "самоусовершенствования", "безупречного поведения". Это — неотесанный Орсон\*, идущий своим тернистым путем, совершающий действительно, настоящее дело, и, конечно, ему случалось *падать*, и не раз. Неискренности, ошибки, весьма многочисленные ошибки, ошибки ежедневные, ежечасные и т. п. были ему очень хорошо знакомы, но обо всем этом знал Бог да он! Не раз солнце омрачалось, но никогда еще оно само не превращалось во тьму. Кромвель умер, как подобает истинно героическому человеку: последним словом его была молитва, в которой он просил Господа судить его и его дело, так как люди не могут этого сделать, судить по всей справедливости, но не отказать ему в милосердии. Это были в высшей степени трогательные слова. С таким напутствием его великая, дикая душа, покинув навеки свои заботы и прегрешения, предстала перед Творцом мира.

Нет, я, со своей стороны, не назову этого человека лицемером! Говорят, лицемер, перереженный герой, вся жизнь которого — одна сплошная деланность, пустой, жалкий шарлатан, которого пожирала страсть к популярности среди черни. Так ли? Человек спокойно доживает до седых волос и не ищет известности; а затем, благодаря своей безупречной жизни, *становится* действительным королем Англии. Разве

человек не может обойтись без царских карет и одеяний? Такое ли уже на самом деле блаженство, когда вас вечно осаждает масса чиновников с кипами бумаг, перевязанных красным шнуром? Скромный Диоклетиан предпочитает сажать капусту; Георг Вашингтон, который, во всяком случае, не был уже таким недосыгаемо великим человеком, делает то же. Всякий искренний человек, скажете вы, мог бы поступить и поступил бы таким же образом. Да, раз обстоятельства складываются так, что действительная жизнь человека протекает вне государственных дел, — к черту все это!

Обратите, однако, внимание, насколько *вождь* является лицом, необходимым повсюду, во всех человеческих движениях. Наша гражданская война представляет яркую картину того, в какое положение попадают люди, когда они не могут найти себе вождя, а неприятель может. Шотландцы почти все поголовно были воодушевлены пуританизмом, они единодушно относились к своему делу и горячо брались за него, чего далеко нельзя сказать относительно другой оконечности нашего острова. Но среди них не было своего великого Кромвеля; они знали одних только жалких, вечно колеблющихся, вечно трепещущих, пускающихся в дипломатию Аргайлей и тому подобных руководителей, из которых никто не обладал сердцем достаточно истинным, чтобы вместить в себе истину, и никто не дерзнул всецело довериться делу истины. Они не имели вождя, тогда как рассеянная по всей стране партия кавалеров имела своего предводителя в лице Монтроза, самого доблестного кавалера, человека благовоспитанного, блестящего, храброго, в своем роде кавалера-героя. Теперь посмотрите: на одной стороне есть подданные, но нет короля, а на другой — есть король, но нет подданных. Подданные без короля не могут ничего сделать, а король без подданных может сделать кое-что. Монтроз с горстью ирландцев и диких горцев, из которых немногие умели держать ружье в руках, устремляется, подобно бешеному вихрю, на хорошо обученные пуританские отряды, поражает их удар за ударом, пять раз разбивает и гонит перед собою с поля битвы. Одно время, — правда, на короткий миг, — он завладел даже всей Шотландией. Один человек, но это был человек, и перед ним оказался бессильным целый миллион преданных своему делу людей, среди которых не нашлось, однако, такого человека! Из всех людей, принимавших участие в пуританской борьбе с начала до конца, быть может, один только Кромвель был неизбежно необходимым человеком, необходимым, чтобы видеть, дерзать и решать, быть нерушимой скалой среди водоворота разных случайностей, — королем среди борющихся, а как называли его последние, королем или протектором, — это неважно.

Однако в этом именно обстоятельстве и видят самое тяжелое преступление Кромвеля. Все прочие его действия нашли себе защитников и, по общему признанию, так или иначе оправдываются, но роспуск парламента и присвоение протекторской власти — этого никто не может ему простить. Он благополучно достиг уже королевской высоты, он был вождем победоносной партии; но он не мог, по-видимому, сделать своего последнего шага без королевской мантии и, чтобы добыть ее, пошел на верную гибель. Посмотрим, как все это случилось.

Англия, Шотландия, Ирландия лежат побежденные у ног парламента. Что делать дальше — вот практический вопрос, поставленный самою жизнью. Как управлять всеми этими народами, судьбы которых Провидение столь чудесным образом отдало в ваше распоряжение? Ясно, что сто человек, оставшихся от долгого парламента\* и продолжавших заседать в качестве высшего, верховного учреждения, не могли вечно сохранять за собою власть. Как же *следует* поступить? Для конституционалистов-теоретиков подобный вопрос не представлял бы никаких затруднений; но для Кромвеля, прекрасно понимавшего практическую, реальную сторону дела, не могло быть вопроса более сложного. Он обращается с запросом к парламента, предоставляя ему самому ответить, как он думает поступить в данном случае. Однако солдаты, своею кровью купившие победу, находили, вопреки всяким формулам, что и им также должно быть предоставлено право высказать свое мнение! Мы не желаем, чтобы вся наша борьба увенчалась "каким-нибудь жалким клочком бумаги". Мы полагаем, что евангельский закон, которому Господь предоставил теперь через нас возможность торжествовать, должен быть осуществлен на земле или должно, по крайней мере, попытаться осуществить его!

В течение трех лет, говорит Кромвель, этот вопрос неизменно предлагался членам заседавшего парламента. Но они не могли дать никакого ответа; они только говорили и говорили... Быть может, такова уж сущность парламентских учреждений; быть может, всякий парламент в подобном случае оказался бы бессильным и занимался бы только разговорами. Тем не менее на вопрос нужно и должно было ответить. Вас тут заседает шестьдесят мужей; вы стали ненавистны и презренны в глазах народа, обозвавшего вас уже "охвостьем" парламента; вы не можете долее оставаться на ваших местах. Кто же или что же в таком случае заменит вас? "Свободный парламента", избирательное право, какая-либо конституционная формула в таком или ином роде? Но ведь мы имеем дело не с формулами, а с грозным фактом, который пожрет нас всех, если мы не сумеем ответить на него! И кто это вы, болтающие о конституционных формах, парламентских правах? Вы убили своего короля, произвели Прайдову чистку\*, изгнали особым законом более сильных, изгнали тех, кто не хотел содействовать вашему делу, а теперь вас осталось всего пятьдесят или шестьдесят человек и вы продолжаете заниматься дебатами. Скажите нам, что мы должны делать, но говорите не о формулах, а о действительном, живом деле!

Какой ответ, в конце концов, дали они, — остается темным до сих пор. Даже обстоятельный Годвин и тот признается, что он не может этого выяснить себе. Вероятнее всего, наш бедный парламента все еще не хотел, а на самом деле и не мог добровольно закрыть себя и разойтись, а когда настал действительный момент закрытия, он снова в десятый или двенадцатый раз отсрочил его. Кромвель потерял, наконец, терпение. Но остановимся на объяснении самом благоприятном, какое только выдвигалось в защиту этого парламента, даже слишком благоприятном, хотя я не скажу, чтобы оно вместе с тем было и правильным объяснением.

По этой версии дело происходило таким образом. В самый трудный момент кризиса, когда Кромвель со своими офицерами резко обособились в одну группу, а пятьдесят или шестьдесят членов парламентского "охвостья" составляли другую, Кромвель вдруг узнает, что эти последние в отчаянии решаются на весьма рискованный шаг, что под влиянием зависти и мрачного отчаяния они готовы, лишь бы только отстранить армию, провести в палате следующего рода билль о реформе: парламент избирается всею Англиею, страна делится на равные избирательные участки, устанавливается всеобщая подача голосов и т. д. Весьма и весьма спорное решение, для них же, в сущности, вполне бесспорное. Билль о реформе, всеобщая подача голосов? Как, но ведь роялисты только примолкли, они вовсе не уничтожены, они, быть может, даже превосходят нас своей численностью, громадное численное большинство английского народа всегда относилось безучастно к нашему делу, оно ограничивалось лишь ролью зрителя и затем подчинялось общему ходу вещей. Мы составляем большинство не по числу наших голов, а по своей силе и значению. Таким образом, благодаря вашим формулам и биллям, все добытое нами кровавой борьбой, с оружием в руках должно снова погрузиться в пучину забвения, должно из факта снова превратиться в одну лишь надежду, в одну лишь возможность и притом в какую маленькую возможность? Но нет! То, за что мы боролись, не только возможное дело, но и достоверное; эту достоверность мы завоевали милостью Господа и силою своих собственных рук, и держим теперь ее вот здесь. Кромвель отправился в упорствующий парламент; там спешили провести свой билль; он прервал прения, приказал разойтись и не вступать больше ни в какие обсуждения. Верно ли, что мы не можем простить ему этого поступка? Разве мы не можем понять его? Джон Милтон, на глазах которого все это совершалось, нашел возможным даже аплодировать Кромвелю. Действительность смела прочь всякие формулы. Я полагаю, что большинство людей в Англии не могли не признавать всей неизбежности такого исхода.

Так сильный и решительный человек восстановил против себя всех людей, придерживающихся безжизненных формул и пустых логических выкладок. Он имел дерзость обратиться к непосредственному факту, к самой действительности и спросить: будет ли она поддерживать его или нет? Любопытно, как он старался управлять Англиею, не отступая от конституционных обычаев, как он пытался составить парламент, который оказывал бы ему поддержку, но безуспешно. Его первый парламент представлял собою, так сказать, *конвокацию нотаблей*\*. В каждом округе главные должностные лица из пуритан или священники указывали людей наиболее достойных, религиозных, пользовавшихся лучшей репутацией, влиянием и отличавшихся преданностью великому делу, и эти избранники собрались, чтобы начертать общий план действий. Они санкционировали то, что совершилось, и начертали, как умели, план дальнейших действий. Они были презрительно названы Бэрбуонским парламентом ("кости да кожа" парламента) по имени одного из членов; но последнего звали не Бэрбуон (Barebone), а Бэрбон (Barbone), и это, по-видимому, был довольно хороший человек\*? Пуританские

нотабли собрались делать великое серьезное дело — удостовериться, насколько действительно было возможно осуществить в то время евангельский закон в Англии. Среди них были люди умные и выдающиеся; большинство из них, я полагаю, отличалось глубоким благочестием. Но они потерпели, по-видимому, крушение в своих попытках реформировать Канцлерский суд! Они закрыли собрание, как не компетентное в подобных делах, и разошлись, передав свою власть снова в руки главноначальствующего генерала Кромвеля, предоставляя ему поступить, как он хочет и как может.

Что же *станет* делать он, лорд-генерал Кромвель, "главнокомандующий всех восставших и должствующих восстать сил", ввиду такого беспримерного обстоятельства? Он видит, что он — единственный авторитет, имеющий еще силу в Англии, что лишь он один своею личностью удерживает Англию от анархии. Таково было, несомненно, взаимное отношение между ним и Англиею в ту пору и при тех обстоятельствах. Что же он станет делать? После раздумья он решается *принять* созданное положение, решается формально и громогласно с подобающе торжественностью заявить: "Да, таково положение дела; я сделаю все, что могу!" — и поклясться в этом перед Богом и людьми. Протекторат, правительственный регламент — все это внешние формы, формы, какие только могли быть выработаны при данных условиях и которые были санкционированы судьями и администраторами, "советом из администраторов и влиятельных лиц в народе". Принимая во внимание всю безвыходность положения, мы должны сказать, что Англия в ту пору действительно должна была выбрать между анархией и кромвелевским протекторатом, что другого выхода для нее не *было*. Пуританская Англия могла признать и не признать протекторат; но бесспорно, благодаря только ему она была спасена от самоубийства! Я убежден, что пуританское население, ворча, а скорее просто молчаливым образом, вполне одобрило столь несогласное с установленными порядками поведение Оливера; по крайней мере, обе стороны действовали всегда согласно, и согласие их все более и более укреплялось до самого конца; но в парламенте, где им приходилось *сознательно* формулировать свои отношения, так сказать *отчеканить* их, они наталкивались на непреодолимые затруднения и никогда не знали хорошенько, что им говорить!..

Собрался второй парламент Оливера или, собственно, его *первый* очередной парламент, избранный согласно правилам, изложенным в правительственном регламенте, собрался и принялся за работу; но вскоре он запутался в бесконечных вопросах о *праве* протектора, об "узурпации" и т. п. и в первый же законный срок был распущен. Замечательна речь Кромвеля, произнесенная при закрытии этого парламента, равно как и его речь, обращенная при подобных же обстоятельствах к третьему парламенту. И в первом и во втором случае Кромвель жестоко нападает на педантизм и упорство народных представителей. Как грубы и хаотичны все эти его речи, но вместе с тем какой серьезностью дышат они. Вы сказали бы, что это говорит искренний, но беспомощный человек, не умеющий *выразить* словами воодушевляющей его великой, но неорганической мысли, а привыкший скорее

проводить ее на деле. Вас поражает беспомощность в выражениях рядом с глубочайшими мыслями, прорывающимися какими-то взрывами. Он много говорит о "порождениях Провидения": все эти перевороты, многочисленные победы и важные события представляют вовсе не заранее рассчитанные действия, не комедиантские затеи людей — тот, кто думает так, слепец и богохульник! Он настаивает на этом с неистовым, удушливым, точно серный газ, упорством и напряженностью. Он высказывает свои мысли, как умеет. Как будто какой-то Кромвель, очутившись среди мира, поверженного в беспросветный хаос, мог *наперед все предвидеть* в смутной, неимоверно громадной роли, выпавшей на его долю, и разыграть ее, подобно марионетке, которую заставляют проделывать посредством проволоки заранее рассчитанные движения! Нет, говорит он, все пережитые нами события не могли быть предсмотрены ни одним человеком; никто не мог сказать, что принесет завтрашний день; события эти были "порождениями Провидения"; перст Божий указывал нам, мы шли и достигли, наконец, лучезарной вершины победы, и дело Господа восторжествовало среди населяющих наш остров народов. И вот для вас представилась возможность собраться в парламент и сказать, каким образом все это должно быть *организовано*, превращено в разумную практику. Вы должны были своим мудрым советом облегчить дело. "Вы имели такой удобный случай, какого никогда не встречалось в парламентской жизни Англии". Дело шло о том, чтобы сделать закон Христа, правду и истину до известной степени законом нашей страны. А вы вместо этого занялись пустыми педантическими препирательствами о конституции, бесконечными каверзами и запросами относительно писаных законов, давших *мне* право быть здесь, и снова ввергли все дело в прежнее состояние хаоса, так как у меня нет никакого нотариального документа на право быть президентом среди вас, а только благоволение Господа, выведшего меня из водоворота борьбы и сражений! Этот удобный случай упущен теперь вами, и мы не знаем, когда он снова настанет. Вы следовали своей конституционной логике, и не закон Христа, а закон маммоны царит по-прежнему в нашей стране. "Пусть Господь будет судьей между вами и мною". Таковы его последние слова, обращенные к членам парламента: берите свои конституционные формулы, а я — свои неформулируемые сражения, планы, действия и поступки, и "пусть Господь будет судьей нам!".

Мы заметили уже выше, какую бесформенную, хаотическую груду представляют напечатанные речи Кромвеля. Большинство читателей видит в них *преднамеренную* двусмысленность и непонятность и находит, что лицемер с целью говорил темным, иезуитским языком, чтобы таким образом маскировать себя. Я не согласен с этим. Напротив, для меня речи Кромвеля были первым лучом, бросившим надлежащий свет на всю его фигуру, осветившим его внутренний мир. Согласитесь и поверьте, что он действительно хотел что-то сказать, и затем попытайтесь с добрым чувством к нему выяснить, что бы это такое могло быть. Вы найдете тогда действительную, настоящую *речь*, заваленную грудой бессвязных, грубых, неправильных выражений; действительное намерение в великом сердце этого человека, не умевшего отчеканивать своих

мыслей! И вы увидите тогда в первый раз в нем человека, а не какую-то загадочную химеру, невозможный и невероятный для нас фантом. Истории и биографии Кромвеля, написанные поверхностными скептиками последующих поколений, людьми, которые не признавали и вообще не понимали глубоко верующего человека, в сущности, отличаются гораздо большей *неясностью*, чем все эти речи протектора. Они заводят вас прямо в беспросветные дебри мрака и пустой суеты. "Воспаленное воображение и зависть", — говорит сам лорд Кларендон, одни угрюмые причуды, теории и всякая дурь — вот что заставило медлительных, здравомыслящих и хладнокровных англичан бросить свои плуги и свои дела и с диким неистовством ринуться в непонятную борьбу с наилучшим из королей! *Попробуйте*, если можете, признать такое объяснение правильным. Скептик, пишущий о вере, может обладать большими талантами, но он окажется во всяком случае в положении *ultra vires\**, так же как слепец, излагающий законы оптики.

Третий парламент Кромвеля разбился о тот же подводный камень, что и второй. Вечно эта конституционная форма и вопрос: каким образом *вы* пришли сюда? Покажите нам ваш документ! Слепые педанты: "Ведь та же сила, которая привела вас в парламент, та же самая, конечно, сила и даже нечто еще большее сделало меня протектором!" Если мой протекторат — ничто, то что же такое, скажите, пожалуйста, ваш парламент, это отражение и создание моего протекторатства?

Итак, парламенты терпят неудачу. Теперь остается один путь — путь деспотизма. В каждый округ назначается свой военный диктатор, чтобы *держаться в повиновении* роялистов и других противников, чтобы управлять ими если не именем парламентского акта, то силой оружия. Формалистика бессильна, пока действительность за нас! Я буду по-прежнему во внешних делах покровительствовать протестантам, угнетаемым в других государствах, а во внутренних — назначать справедливых судей, мудрых администраторов, содействовать истинным пастырям и проповедникам Слова Божия; я буду делать все зависящее от меня, чтобы Англия стала христианскою Англией, более величественной, чем Древний Рим, чтобы она стала царицею протестантского христианства. Я говорю о себе, так как вы не захотели поддержать меня. Я буду действовать, доколе Господу угодно будет хранить жизнь мою! Почему он не бросил своего дела; почему он не ступевался, после того как закон отказался признать его? — кричат многие. Вот тут-то и обнаруживается все заблуждение обвиняющих. Для Кромвеля не было никакой возможности удалиться от дел! Первые министры, Питт, Помбаль, Шуазель, управляли поочередно страной, и слово каждого из них оставалось законом независимо от происходивших перемен. Но Кромвель был единственным первым министром, который *не мог отказаться от своих обязанностей*. Откажись он, Стюарты и кавалеры не преминули бы тотчас же убить его, не преминули бы погубить все дело и его самого. Раз он вступил в борьбу, для него не было уже ни возврата назад, ни отступления. Этот первый министр не мог никуда *удалиться*, разве только в свою могилу.

Взгляните на Кромвеля в пору его старости, и вы невольно почувствуете к нему скорбную симпатию. Он постоянно жалуется на тяжесть бремени, возложенного на него Провидением; тяжесть, которую он должен нести на себе до могилы. Дряхлый полковник Хатчинсон, его старинный сотоварищ по боям, пришел однажды, как рассказывает жена его, к Кромвелю по какому-то неотложному делу, пришел нехотя, несмотря на крайнее нежелание. Кромвель "провожает его до двери" и обращается с ним самым братским, радушным образом; он просит, чтобы тот примирился с ним, как старинный брат по оружию; говорит, как он опечален, что лучшие сотоварищи-воины, близкие сердцу его по старым делам, покидают его, что они не понимают его. Однако суровый Хатчинсон, замкнувшийся в своей республиканской формуле, остается глух и угрюмо удаляется. Но вот и голова человека седеет, а сильная рука слабеет от слишком долгого труда! Я всегда вспоминаю при этом его бедную мать, глубокую уже старуху в ту пору, жившую вместе с ним во дворце. Прекрасная, отважная женщина! Они вели честный, богобоязненный образ жизни; при всяком выстреле ей казалось, что это убили ее сына. Он наведывался к ней, по крайней мере, раз в день, чтобы она могла видеть его своими собственными глазами и убедиться, что он жив еще. Бедная старуха мать. Что же выиграл этот человек? Что выиграл он, спрашиваю я вас? Его жизнь до последнего дня была наполнена тяжелой борьбой и трудом. Слава, честолбие, почетное место в истории? Его труп был повешен в цепях; его "место в истории" — уж доподлинно место в истории! — заклемено позором, обвинением, бесчестием и гнусностью; и, кто знает, не безрассудно ли с моей стороны выступать сегодня в качестве одного из первых его защитников, дерзнувших отнестись к нему не как к плуту и лжецу, а как к честному и искреннему человеку! Мир праху его! Наперекор всему — разве он мало поработал для нас? Мы осторожно пройдем поверх его великой, суровой героической жизни; мы осторожно перешагнем через труп его, брошенный там, во рву. Мы не *дадим ему пинка!* Пусть герой поживает безмятежно! Не к суду *человеческому* он апеллировал, и нельзя сказать, чтобы люди судили о нем очень хорошо.

Ровно через сто один год после того, как пуританское восстание поулеглось и приняло более покладистые формы (в 1688 г.), разразился новый, еще более могущественный взрыв, который оказалось гораздо труднее потушить и который стал известен всем смертным и, по-видимому, долго еще будет памятен под именем Французской революции. Французская революция составляет третий и вместе с тем последний акт протестантизма, этого смутного и проявившегося рядом взрывов поворота человечества к действительности и факту, после столь губительной жизни призраками и подлогами. Мы считаем английский пуританизм вторым актом. "Итак, в Библии — истина; будем же руководствоваться Библией!" "В церковных делах", — говорил Лютер; "в церковных и государственных делах, — говорил Кромвель, — будем руководствоваться тем, что *есть* действительно истина Господа Бога". Люди должны возвратиться к действительности; они не могут жить призраками. Французскую революцию, этот третий акт, мы с полным правом можем



назвать финалом; ибо пойти дальше дикого *санкюлотизма* люди не могут. Они стоят теперь лицом к лицу с диким в своей полной обнаженности фактом, которого нельзя отринуть и который приходилось признавать во все времена и при всяких обстоятельствах; исходя из него, люди могут и должны снова взяться доверчиво за созидательную работу. Французская революция, подобно английской, нашла своего короля, не обладавшего никакими документами на королевское звание. Мы скажем несколько слов о Наполеоне, нашем втором короле в современном духе.

Я никоим образом не могу считать Наполеона равным по своему величию Кромвелю. Его громкие победы, наполнившие шумом всю Европу (тогда как Кромвель оставался преимущественно дома, в нашей маленькой Англии), поднимают его на слишком высокие *ходули*; но настоящий рост человека от этого ведь несколько не изменяется. Я ни в коем случае не могу признать за ним такой же *искренности*, как за Кромвелем; его искренность значительно более низкого разбора. Наполеон не оставался долгие годы в молчаливом общении со всем грозным и невыразимым, присущим вселенной; он не "оставался с Богом", как выражался Кромвель, а между тем в таком только общении — залог веры и силы: *скрытые* мысль и отвага, безропотно пребывающие в своем скрытом состоянии, когда настанет время, разражаются светом и блеском, подобно небесной молнии! Наполеон жил в эпоху, когда в Бога более уже не верили, когда все значение безмолвности и сокровенности было превращено в пустой звук. Ему приходилось взять за точку отправления не пуританскую Библию, а жалкую, проникнутую скептицизмом, "Энциклопедию". И вот мы видим крайний предел, до которого этот человек доводит ее. Достоин похвалы, что он пошел так далеко. По самому складу своего характера, так сказать, компактного, во всех отношениях законченного, быстрого, он представляется человеком маленьким в сравнении с нашим величественным, хаотическим, не укладывающимся ни в какие определенные рамки Кромвелем. Вместо "*молчаливого* пророка, напрягающего все силы, чтобы высказать свою мысль", мы видим какую-то чудовищную помесь героя с шарлатаном! Юмовская теория о фанатике-лицемере, поскольку она заключает в себе истину, с гораздо большим успехом может быть применена к Наполеону, чем к Кромвелю, Магомету и подобным им людям, по отношению к которым, строго говоря, она оказывается совершенно неправильной. Презренное честолюбие с первых же шагов дает себя чувствовать в Наполеоне; под конец оно одерживает над ним полную победу и приводит как его самого, так и его дело к гибели.

Выражение "лживый, как рапорт" стало общей поговоркой во времена Наполеона. Он старается оправдываться; он говорит, что необходимо вводить в заблуждение неприятеля, поддерживать бодрость духа в рядах своих и т. д. Но в конце концов тут не может быть никакого оправдания. Человек ни в коем случае не располагает правом говорить ложь. И для Наполеона было бы также *лучше*, если бы он только думал не об одном завтрашнем дне, *не* говорить вовсе лжи. Действительно, если человек преследует цель, которая имеет отношение не только к данному часу

и дню, но рассчитана и на *последующие* дни, в таком случае что же хорошего может получиться из распространения лжи? Со временем ложь раскрывается, и гибельная кара ожидает человека; никто уж более не поверит ему, не поверит даже в том случае, когда он говорит правду и когда для него в высшей степени важно, чтобы ему поверили. Повторяется старинный рассказ о волке и пастухе! Ложь есть *ничто*, вы не можете из ничего создать что-нибудь; в конце концов вы получаете тоже *ничто*, да в придачу теряете еще попусту время и труд.

Однако Наполеон *был* искренен. Мы должны различать поверхностное и существенное в искренности. В ворохе всех этих внешних маневрирования и шарлатанских проделок Наполеона, правда, многочисленных и заслуживающих самого горячего порицания, мы не должны проглядеть и того, что этот человек понимал действительность каким-то инстинктивным, непреложным образом и опирался на факт, пока он вообще опирался на что-либо. Его инстинктивное чутье природы было сильнее его образованности. Во время египетской экспедиции, рассказывает Бурьенн, его *ученые* деятельно занялись рассуждениями на тему о невозможности существования Бога и, к своему удовольствию, подтвердили свой тезис всевозможными логическими доводами. Наполеон же, глядя на звезды, сказал им: "Вы рассуждаете, господа, весьма остроумно, но *кто создал* все это?" Всякая атеистическая логика сбегала с него как с гуся вода; величественный факт сиял перед ним в своем блеске. "Кто создал все это?" Точно так же и в практических делах: он, подобно всякому человеку, который может стать великим человеком или одержать победу в этом мире, смотрит, минуя всякого рода внешние запутанности, в самое сердце практического дела и прямо направляется к нему. Когда управляющий Тюильрийским дворцом показывал Наполеону новую обстановку и, расхваливая ее, обращал его внимание на роскошь и вместе с тем дешевизну всего, Наполеон слушал больше молча и, потребовав ножницы, отрезал золотую кисть от оконной гардины, положил ее себе в карман и вышел. Несколько времени спустя, воспользовавшись подходящей минутой, он вынул, к ужасу своего управляющего, эту кисть: она оказалась не золотой, а из фольги! Замечательно, как даже на острове Святой Елены, в последние дни своей жизни, он постоянно обращал внимание на практическую, реальную сторону событий. "К чему разговоры и сетования, а главное, зачем вы пререкаетесь друг с другом. Это не приведет ни к каким *результатам*, ни к какому *делу*. Лучше не говорите ничего, если вы ничего не можете делать". Он часто разговаривает подобным образом со своими злополучными, недовольными сотоварищами; и он выделяется между ними подобно глыбе, таящей в себе действительную силу, среди болезненно раздражительных ворчунов.

И потому не вправе ли мы также сказать, что Наполеон был человеком *верующим*, искренне верующим, насколько о том может быть речь в данном случае. Он был глубоко убежден, что эта новая чудовищная демократия, заявившая о своем существовании Французской революцией, представляет непреодолимый, бесспорный факт, которого не может низложить весь мир со всеми своими древними учреждениями и силою; и это убеждение наполняло энтузиазмом его душу, оно составляло его

веру. И разве он неправильно истолковывал смутную тенденцию всего этого движения? "La carrière ouverte aux talents\*", орудия должны принадлежать тому, кто может владеть ими": это действительно истина, даже полная истина; в ней заключается все, что только может означать Французская и вообще всякая иная революция. В первый период своей деятельности Наполеон был истинным демократом. Но благодаря своему природному чутью, а также военной профессии он понимал, что демократия в истинном смысле этого слова не может быть отождествлена с анархией. Этот человек ненавидел в глубине своего сердца анархию. В знаменитое 20 июня (1792 г.) Бурьенн и он сидели в кофейне, когда чернь волновалась вокруг, причем Наполеон высказывался самым презрительным образом о властях, не сумевших смирить "этой сволочи". 10 августа он удивляется, как это не находится человека, который стал бы во главе бедных швейцарцев: они победили бы, если бы такой человек нашелся. Вера в демократию и ненависть к анархии — вот что воодушевляло Наполеона во всех его великих делах. В период блестящих итальянских кампаний до Леобенского мира\* он, можно сказать, был воодушевлен стремлением добиться торжества Французской революции; защитить и утвердить ее в противоположность австрийским "призракам", которые стараются представить ее, Французскую революцию, в виде "призрака"! Но вместе с тем он понимал, и был прав, что сильная власть необходима, что помимо такой власти невозможно дальнейшее существование и развитие самой революции. И разве он, хотя бы отчасти, не стремился действительно к этому, как к истинной цели своей жизни; нет, более того, разве он не успел на самом деле *укротить* Французскую революцию настолько, что мог обнаружиться ее настоящий внутренний смысл, причем она стала *органической* и получила возможность существовать среди других организмов и *форм* не как одно только опустошительное разорение? Ваграм, Аустерлиц, победа за победой, и он с триумфом достигает этой цели. В нем был провидящий глаз и деятельная, отважная душа. Он естественно выдвинулся, чтобы стать королем. Все люди видели, что это так. Простые солдаты рассуждали в походах: "Уж эти болтливые *адвокаты*, там, в Париже, наверху: им бы все идет так плохо? Нам нужно отправиться туда и посадить на их место нашего *маленького капрала!*" Они пошли и посадили его там: они и Франция с ними. Затем консульство, императорство, победа над Европой, и неведомый лейтенант артиллерии, в силу естественного хода событий, мог действительно смотреть на самого себя как на величайшего человека, какой только появлялся среди людей в последние века.

Но с этого момента, как я думаю, фатальный элемент шарлатанства берет верх. Наполеон становится вероотступником; он отказывается от своей прежней веры в действительность и начинает верить в призраки; старается связать себя с австрийской династией, папством, с отжившим фальшивым феодализмом, со всем, что, как он некогда ясно видел, представляло ложь; думает, что он должен основать свою собственную династию, одним словом, находит, что весь смысл чудовищной Французской революции заключался именно в этом! Таким образом, человек

впал в страшную иллюзию, которую он должен был бы считать ложью; ужасное, но вполне достоверное дело. Он не умеет теперь различить истинное от ложного, когда ему приходится иметь дело с тем и другим, — жесточайшее наказание, какое только постигает человека за то, что он позволяет неправде заполнить свое сердце. Я и ложное честолюбие становится теперь его богом; раз человек дозволил себе впасть в *самообольщение*, все другие обольщения совершенно естественно и все больше и больше завладевают им. В какие жалкие лохмотья актерского бумажного плаща, маскарадного наряда, фольги облекает этот человек свою великую реальность, думая сделать ее, таким образом, еще более реальной! А этот его пресловутый *конкордат* с папой\* с целью якобы восстановления католицизма, который, однако, как он сам видел, вел к уничтожению его, был в своем роде "La vaccine de la religion"\*; эта коронационная церемония, это посвящение в императорский сан древней итальянской химерой в соборе Парижской Богородицы, где, как говорит Ожеро, "все было сделано, чтобы поразить пышностью, — недоставало только пятисот тысяч человек, погибших в борьбе против всего этого!". Иначе происходило дело с Кромвелем: его посвятили шпага и Библия, и это посвящение мы должны признать неподдельно *истинным*. Перед ним несли шпагу и Библию, тут не было никаких химер; и *действительно*, не представляют ли они настоящих эмблем пуританизма, его украшения и знаков отличия? Он вполне реальным образом пользовался ими и во все последующее время старался устоять также при помощи их! Но бедный Наполеон заблуждался: он слишком верил в людскую *глупость*, он не видел в людях ничего более существенного, чем голод и глупость! Он заблуждался. Он походил на человека, который выстроил свой дом на облаке; он сам и его дом погибли в беспорядочной куче развалин и исчезли в беспредельном пространстве мира.

Увы, подобного рода шарлатанство есть в каждом из нас, и оно *может* развиваться, если искушение слишком велико. "Не введи нас во искушение!" Но, говорю я, обстоятельства складываются так фатально, что шарлатанство неизбежно развивается. Всякое дело, в котором оно играет сознательную роль, становится во всех отношениях преходящим, временным, и как бы такое дело ни было *по-видимому* громадно, оно в сущности маленькое дело. И действительно, что такое, собственно, эти подвиги Наполеона с их громким шумом? Вспышка пороха, распространившаяся, так сказать, на большом пространстве; пламя как бы от горящего сухого вереска. Кажется, что дым и огонь охватывают всю вселенную, но это только на один час. Все проходит, и вы снова видите ту же вселенную с ее горами и реками, со звездами в вышине и доброй землей под ногами.

Веймарский герцог обыкновенно говорил своим друзьям, что не следует терять мужества, что весь этот наполеонизм был *несправедлив*, ложен и не мог долго просуществовать. И он правильно рассуждал. Чем беспощаднее Наполеон попирает весь мир, чем больше угнетал его, тем свирепее должно было быть возмущение мира против него, когда настал день. Несправедливости приходится расплачиваться ужасающими процентами на проценты за свои деяния. Я не знаю, право, не лучше ли

было бы для Наполеона потерять свой лучший артиллерийский обоз или целый полк своих лучших солдат в волнах моря, чем расстрелять бедного немецкого книгопродавца Пальма! Это была вопиющая, смертельная несправедливость тирана, несправедливость, которую никто и ничто не в силах смягчить, каким бы толстым слоем румян ни прикрывать ее. Подобно раскаленному железу, она, как и всякая такая несправедливость, глубоко вонзилась в сердца людей и воспламеняла ярким пламенем глаза их всякий раз, когда они возвращались к мысли о ней, выжидая своего дня! И день *настал*: Германия поднялась. Из всего совершенного Наполеоном останется в конце концов только то, что было совершено им *справедливо*, что санкционировала природа своими законами, что исходило из ее реальности; только это, и больше ничего. Все остальное дым и разрушение. "La carrière ouverte aux talents" — таково великое и истинное дело, которое он оставил в крайне несовершенном, незаконченном виде и которому надлежит и в настоящее еще время развиваться и совершенствоваться во всех отношениях. Он представляет собою величественный *абрис*, грубый набросок, никогда не доведенный до конца. Но разве не то же следует сказать, в сущности, о всяком великом человеке? Увы, да, — набросок, оставленный в *слишком* грубых очертаниях!

В мыслях, высказываемых Наполеоном на острове Святой Елены по поводу мировых событий, звучит что-то почти *трагическое*. Он испытывает, по-видимому, вполне неподдельное удивление, что все совершилось таким образом, что он выброшен на эту голую скалу, а мир продолжает вращаться вокруг своей оси. Франция — могущественна и всемогуща, а, в сущности, ведь он есть Франция. Даже Англия, говорит он, составляет, в сущности, всего лишь принадлежность Франции, "другой остров Олерон для Франции". Так выходило по сущности, по наполеоновской сущности, и, однако, что же случилось в действительности: *где я?* Он не мог понять этой метаморфозы; для него было непостижимо, каким образом действительность оказалась не соответствующей его программе: Франция — не всемогущей Францией, а он — не Францией. "Страшная иллюзия": он должен был верить в то, чего, по его мнению, не существует! Его сосредоточенная, пронизательная, решительная натура итальянца, некогда сильная и искренняя, погрузившись, так сказать, полураспустилась в мутной среде французского фанфаронства. Люди оказались вовсе не расположенными к тому, чтобы их попирали ногами, чтобы их связывали вместе и сколачивали, как *он* того хотел, для пьедестала Франции и Наполеона, — люди имели в виду совершенно другие цели! Удивление Наполеона было чрезмерно. Но, увы, как помочь делу? Он шел своим путем, а природа — своим. Отказавшись раз от действительности, он очутился в безнадежной пустоте. Для него не было возврата. Ему оставалось уныло и печально погрузиться в эту пустую пучину, с чем редко примиряется человек, — разбить свое великое сердце и умереть... Бедный Наполеон! Великое орудие, слишком рано заброшенное, раньше, чем оно стало негодным! Наш последний великий человек!

Да, последний в двойном смысле: на нем мы должны также покончить наши скитания по разным отдаленным местам и временам в поис-

ках героев и изучении их. Делаю это с грустью, ибо подобное занятие доставляло мне наслаждение, хотя оно было сопряжено также и с немалым трудом. *Почитание героев* — великий предмет, самый серьезный и самый обширный, какой я только знаю и который я обозначаю этими словами, не желая быть уж слишком серьезным. Почитание героев, по моему мнению, глубоко врезывается в тайну путей, которыми идет человечество в этом мире, и в тайну его самых жизненных интересов; и оно вполне заслуживает в настоящее время обстоятельного изучения и истолкования. Конечно, в шесть месяцев мы сделали бы гораздо больше в этом отношении, чем в шесть дней. Я обещал подготовить эту почву; но не знаю, успел ли я даже в этом. Мне пришлось взрыть землю самым грубым образом, чтобы сделать что-нибудь и проникнуть хотя бы немного в интересующий нас предмет. Признаюсь, я слишком часто испытывал своими отрывочными, несвязными, недостаточно мотивированными выражениями ваше терпение, доверчивость и снисходительность, о которых не стану распространяться в настоящее время. Люди образованные и избранные, мудрые и прекрасные, принадлежащие к лучшей части английского общества, приходили сюда и терпеливо выслушивали мои неотделанные, грубые речи. Преисполненный глубокого чувства, сердечно благодарю вас всех и говорю: благо да будет всем вам!



ПРОШЛОЕ  
И  
НАСТОЯЩЕЕ

## I. ВСТУПЛЕНИЕ

### Мидас

Положение Англии, по поводу коего издается теперь так много брошюр и столько неизданных мыслей возникает в каждой размышляющей голове, — это положение по справедливости признается за одно из наиболее зловещих и вместе с тем за одно из наиболее странных, когда-либо виденных в этом мире. Англия полна богатства, разнообразной продукции, могущей удовлетворять всевозможные человеческие потребности; — и тем не менее Англия умирает от истощения. Земля Англии цветет и растит с неизменной щедростью. Она колышется желтеющими нивами; она густо покрыта мастерскими, орудиями промышленности, на ней пятнадцать миллионов работников, признанных за самых сильных, за самых искусных и усердных, которых когда-либо производила Земля; эти люди все налицо; работа, которую они исполнили, плод, который они из нее извлекли, — все это налицо, вокруг нас, в изобилии, бьющем через край. Но смотрите: пронеслось как по Волшебству некое повеление, возгласившее: "Не прикасайтесь к этому, о вы, Работники, вы, Хозяева-работники, вы, Хозяева-тунеядцы! Никто из вас не прикоснется к этому! Ни одному из вас не должно быть от этого лучше; это — запретный плод!" Это повеление, в его наиболее грубой форме, падает прежде всего на бедных Работников; но оно падает также и на богатых Хозяев-работников, и его не могут избежать и богатые Хозяева-тунеядцы, и ни один самый богатый или высокостоящий человек, все должны быть равно им принижены и сделаны достаточно "бедными", в денежном смысле или в ином, гораздо более роковом.

Из этих, достигающих своей цели, искусных Работников около двух миллионов, как теперь считают, сидят в Работных домах, в Тюрьмах по Закону о бедных\* или имеют "пособие на воле", вышвырнутое им через стену, ибо работная Бастилия переполнена так, что готова лопнуть, и строгий Закон о бедных сокрушен в прах другим, еще более строгим<sup>1</sup>. Они сидят там вот уже много месяцев; их надежда на освобождение все еще ничтожна. Сидят в Работных домах, называемых так в шутку, потому что в них нельзя исполнить никакой работы. Миллион двести тысяч работников в одной Англии; их искусные руки парализованы и праздно покоятся на их скорбной груди; их надежды, планы, их доля

---

<sup>1</sup> Число нищих в Англии и Уэльсе, на Благовещение 1842 года, составляет "в Работных домах 221 687, на воле 1 207 402; итого 1 429 089" (Официальный доклад).



участия в этом прекрасном мире — все это замкнуто тесными стенами. Они сидят там, запертые, как бы под влиянием каких-то страшных чар; они рады быть в тюрьмах и быть заколдованными, чтобы только не умереть с голоду. Живописный Турист, в солнечный осенний день, встречается на своем пути, среди этого благословенного королевства Англии, Объединенный рабочий дом. "Проезжая мимо Работного дома святого Ива в Хантингдоншире, прошлой осенью, в ясный день, — говорит живописный Турист, — я видел, как на деревянных скамьях, перед дверьми своей Бастилии и внутри ее решетчатой ограды сидело около полусотни или более этих людей. Высокие, сильные, по большей части молодые или средних лет, с честными лицами; многие из них выглядели осмысленными и даже умными людьми. Они сидели один около другого, но в некоторого рода оцепенении и, главное, в молчании, которое производило чрезвычайное впечатление. В молчании, — ибо, увы! какое слово могло бы быть ими произнесено? Вся Земля лежит вокруг, взывая: Приходите и обрабатывайте меня, приходите и собирайте мои плоды! — а мы вот сидим здесь, заколдованные! В глазах и на челе этих людей написано было самое мрачное выражение, не гнева, но печали и стыда, и разнообразного невысказанного отчаяния и тоски. Они ответили на мой взгляд взглядом, который, казалось, говорил: "Не смотри на нас. Мы сидим здесь заколдованные, не знаем почему. Солнце улыбается нам, Земля нас манит; но правящими Властями и Бессилием этой Англии нам запрещено повиноваться им. Это невозможно, говорят они нам!" Во всем этом зрелище было что-то, напомнившее мне Дантов Ад, и я поспешил проехать мимо".

Столько сотен тысяч сидят в Работных домах, а другие сотни тысяч не добились даже и Работных домов! И в самой цветущей Шотландии, в Глазго или в Эдинбурге, в их темных переулках, скрытых ото всего, кроме ока Божья и изредка Благотворительности, служительницы Божьей, — и в них встречаются картины горя, нужды и отчаяния, такие, каких, надо надеяться, Солнце еще никогда не видало, даже в самых варварских странах, в которых только живут люди. Компетентные свидетели, среди них достойный и человеколюбивый д-р Элисон, который знает, о чем говорит, в чьих милосердных руках благородное Врачебное Искусство сделалось еще раз истинно священным, сообщают нам эти факты; факты эти не нынешнего года и не прошлого года; они не имеют отношения к нашему теперешнему состоянию торгового застоя, а лишь к общему нашему состоянию. Шотландия больна не острыми лихорадочными пароксизмами, а хронической гангреной. Закон о бедных, любой и каждый Закон о бедных, должно заметить, есть только временная мера, успокаивающее средство, а не лекарство; Богатые и Бедные, раз одни голые факты условий их существования пришли в столкновение, не могут долго существовать вместе на основании только Закона о бедных. Это в высшей степени верно, — и тем не менее человеческие существа не могут же быть брошены на смерть! И Шотландия также, пока не найдется чего-нибудь лучшего, должна иметь свой Закон о бедных, если Шотландия не осуждена быть притчей во языцех. О, сколь многое здесь утрачивается! Утрачиваются высокие и трижды высокие народные доблести; крестьянский Стоицизм, Героизм; достой-

ные, мужественные обычаи, сама душа Народного величия, вернуть которую не хватит всей руды Потоси\*, в сравнении с которой вся руда Потоси и все, что можно было бы на нее купить, — пыль и прах!

Зачем останавливаться на этой стороне дела? Она слишком бесспорна, она ни в ком уже более не вызывает сомнения. Спуститесь, где хотите, в низшие классы, в Городе или в Деревне, каким угодно путем, через Сведения о Фабричном производстве, через сведения о Земледелии, через Поступление Платежей, через Комитет Рудокопов, или же просто открыв глаза и взглядевшись, — везде обнаружится одно и то же скорбное явление: вы должны будете признать, что работающая часть этого богатого Английского Народа опустилась или быстро опускается до состояния, которому, если принять во внимание все его стороны, буквально никогда еще не было подобного. В Стокпортском Суде, — и это также не связано с теперешним состоянием торговли, ибо относится к более раннему времени, — Мать и Отец были обвинены в отравлении трех своих детей, с целью вытянуть с "похоронной кассы" по каких-то 3 фунта и 8 шиллингов, причитавшихся за каждого ребенка; они были признаны виновными, — и официальные власти, как потихоньку говорят, намекают, что этот случай, возможно, не единственный, что, может быть, лучше не углубляться в эту область. Это происходит осенью 1841 года; само преступление относится к предыдущему году или времени года. "Грубые дикари, одичалые Ирландцы!" — ворчит праздный читатель Газет, едва ли останавливаясь на этом событии. А между тем это — событие, достойное того, чтобы на нем остановиться, ибо падение, дикость и одичалое Ирландство никогда еще не были так легко допускаемы. Это совершили в Британской стране Отец и Мать, человеческие существа с белой кожей, исповедующие Христианскую религию! Они своим Ирландством, нуждою и дикостью были доведены до того, что смогли совершить это! Такие примеры — как высокие горные вершины, возвышающиеся у всех на виду, но под ними лежит целая горная область и равнина, еще не видимые. Эти люди, Мать и Отец, сказали друг другу: что нам делать, чтобы избежать голодной смерти? Мы глубоко погрязли здесь, в нашем темном подвале; а помощь далека. — Да, суровые события происходят в Башне Голода Уголино\*! Любимец, маленький Гаддо, падает мертвый на колени своего Отца! — Стокпортские Мать и Отец думают и намекают друг другу: "Наш бедный маленький голодный Том, который плачет целые дни, прося пищи, который будет видеть в этом мире одно только дурное и ничего хорошего, — что, если бы он раз навсегда избавился от горя, он умрет, но зато остальные из нас, может быть, останутся живы!" Такая мысль зародилась, такой намек был сделан, и наконец это было исполнено. И теперь, когда Том убит и все истрачено и съедено, кто должен отправиться, бедный маленький голодный Джек или бедный маленький голодный Билл? — Каково совещание о способах и средствах!

Об умирающих с голоду, осажденных городах, о времени окончательного разрушения осужденного древнего Иерусалима, павшего под ударами Божьего гнева, было предсказано и возвещено: "Руки мягкосердных женщин варили детей своих"\* . Суровое Еврейское воображение не могло создать более мрачной бездны ужаса; это была крайняя степень

падения караемого Богом человека. А мы здесь, в современной Англии, изобилующей богатством всякого рода, не осаждаемые ничем, кроме как разве невидимыми Чарами, неужели мы дошли до этого? — Как происходят такие вещи, почему они происходят, почему они должны происходить?..\*

Хозяин-работник так же заколдован в настоящее время, как и его Работник, посаженный в Работный дом, и взывает, доселе тщетно, о весьма простом роде "Свободы": о *свободе* "купить там, где окажется всего дешевле, и продать там, где окажется всего дороже". С гинейми, звенящими в каждом кармане, он не был ни на йоту богаче; но теперь, когда сами гинейи грозят исчезнуть, он чувствует, что он действительно беден. Бедный Хозяин-работник! А Хозяин-неработник, разве он не в еще более роковом положении? Он стоит среди своих охотничьих парков с испуганным взором — и не без причины! Он приневоливает своих арендаторов по пятидесяти фунтов стерлингов, приневоливает, соблазняет, уговаривает; "он распоряжается своею собственностью, как ему угодно". Его уста полны громкого вздора и доводов для доказательства великих достоинств его Хлебного закона\*, а в его сердце — самые мрачные предчувствия, отчаянное полусознание, что его великолепный Хлебный закон *незащитим*, что его громкие доводы в его защиту такого рода, что могут буквально заставить людей *онеметь*.

Для кого же, в таком случае, это богатство Англии есть действительно богатство? Кто тот, кому оно приносит благословение; кого оно делает счастливее, мудрее, прекраснее, во всех отношениях лучше? Кто вполне овладел им, так, чтобы заставить его работать и служить себе, подобно верному слуге, а не неверному лжеслуге; оказывать какие-нибудь действительные услуги? Пока еще никто. У нас больше богатых, чем когда-нибудь было у какого-нибудь Народа; у нас меньше от них пользы, чем когда-нибудь было у какого-нибудь Народа. Наша успешно развивающаяся промышленность до сих пор безуспешна: странный успех, если мы на этом только и остановимся! Среди полнокровного изобилия народ погибает; среди золотых стен и полных житниц никто не чувствует себя безопасным или удовлетворенным. Работники, Хозяева-работники, Неработники — все пришли к мертвой точке: стоят неподвижно и не могут идти далее. Роковой паралич распространяется внутрь, начиная с конечностей, с Сент-Ивских Работных домов, с Стокпортских подвалов, по всем членам, как бы по направлению к самому сердцу. Так что же, неужели мы действительно заколдованы, прокляты каким-нибудь богом?

Мидас\* жаждал золота и оскорбил Олимпийских богов. Он получил золото, так что все, к чему он ни прикасался, делалось золотом, — но ему, с его длинными ушами, было немногим от того лучше. Мидас неверно оценил звуки небесной музыки; Мидас оскорбил Аполлона и [других] богов; боги дали ему то, чего он хотел, и вдобавок пару длинных ушей, которые были хорошей к тому придачей. Сколько истины в этих старинных Баснях!

## Моррисоновы пилюли

Что же надо делать, что хотите вы, чтобы мы делали? — спросит кто-нибудь, с выражением нетерпения, почти упрека. И затем, если вы назовете какую-нибудь вещь, какие-нибудь две вещи, двадцать вещей, которые могли бы быть сделаны, он отвернется прочь, с сатирической усмешкой: "Так это ваше лекарство?" Состояние ума, выражаемое таким вопросом и таким ответом, достойно того, чтобы над ним поразмыслить.

По-видимому, эти вопрошающие философы принимают за доказанное, что существует какая-то "вещь", или пригоршня "вещей", которая могла бы быть сделана; какой-нибудь Парламентский Акт, какая-нибудь "целительная мера" или что-нибудь подобное, что могло бы быть принято, чем общественная болезнь была бы вполне поражена, побеждена, прекращена; так что, с вашей "целительной мерой" в кармане, вы могли бы спокойно торжествовать и впредь уже ничем не тревожиться. "Ты называешь нам зло, — восклицают такие лица, испытывая праведное огорчение, — и не говоришь, как оно может быть излечено!"

Как оно может быть излечено? Братья, я крайне сожалею, но у меня нет Моррисоновых пилюль\* для излечения болезней Общества. Было бы бесконечно удобнее, если бы у нас были Моррисоновы пилюли, Парламентский Акт или целительная мера, которые люди могли бы проглотить раз навсегда и потом продолжать уже идти по старому пути очищенными от всяких бед и зол! К несчастью, у нас нет ничего такого; к несчастью, сами Небеса не держат ничего такого в своей богатой фармакопее. Нельзя предпринять никакой такой "вещи", которая бы вас исцелила. Должно произойти коренное и всеобщее изменение вашего обихода и строя жизни, должен произойти самый мучительный разрыв между вами и вашими химерами, роскошью и ложью, должно произойти чрезвычайно тягостное, почти "невозможное" возвращение к природе, к ее правде и целостности, для того чтобы внутренние источники жизни могли, подобно вечным Источникам света, снова засиять и очистить ваше надутое, опухшее, постыдное существование, близкое в его теперешнем виде к бесславной смерти! Или смерть, или все это должно произойти. Посудите сами, могут ли при таком диагнозе быть найдены какие-нибудь Моррисоновы пилюли?

Но если Источник жизни внутри вас снова потечет, то какие бесчисленные "вещи", целые ряды, классы и континенты "вещей" год за годом, десятилетия за десятилетиями и век за веком окажутся исполнимыми и будут исполняемы! Не Эмиграция, не Воспитание, не Отмена Хлебных законов, не Санитарные правила, не Поземельный налог, — не одно только это, ни даже в тысячу раз большее, чем все это! Благое Небо, тогда найдется в глубине сердца некоторых отдельных людей свет, чтобы различать, что справедливо, что повелено Всевышним Богом, что должно быть исполнено, как бы это ни было "невозможно". Пустая болтовня в защиту явно несправедливого сократится тогда до узких границ. Пустая болтовня в Избирательных собраниях, в Парламентах и где бы то ни было еще, когда будут люди, имеющие очи, чтобы видеть самую сущность Божественной Правды тех вещей, о которых болтают,

— эта болтовня делается тогда действительно чрезвычайно пустой. Молчание таких людей, — как оно красноречиво в ответ на такую болтовню! Такая болтовня, испуганная своим собственным тощим эхом, невыразимо притихнет; и даже, быть может, она на некоторое время почти совершенно исчезнет, ибо мудрые будут отвечать ей в молчании, и даже простецы научатся от них, как ее осаживать, где бы они ее ни услышали. Это будет благословенное время; и много "вещей" сделаются исполнимыми, а "если нет мозга, то стоит ли говорить о глупости"? Тогда уже какой-нибудь Хлебный закон не потребует для себя целых десяти лет, и нельзя будет постоянно о нем толковать и рассуждать, если беспристрастные лица скажут со вздохом, что они в течение уже такого-то времени не слышали никаких "доводов", приводимых в его пользу, кроме таких, которые могут довести до слез не только ангелов, но даже самих ослов! —

Вполне благословенное время, когда болтовня притихнет и в разных местах станет слышна какая-нибудь настоящая речь; когда все благородные вещи начнут становиться видимыми благородно открытому сердцу, да и вообще они только ему и открываются, и когда разница между справедливым и несправедливым, между истинным и ложным, между работой и лжерботой, между речью и болтовней снова будет (какой она обыкновенно и была для наших более счастливых отцов) — *бесконечна*, как между Божественным и Адским, т. е. тем, чего ты не *должен* делать, чего благоразумие повелевает тебе даже не пытаться делать, из-за чего тебе было бы лучше повесить себе мельничный жернов на шею и быть брошенным в море, чем братья за него! — Братья, все это совершат для нас не Моррисоновы пилюли и не какое-нибудь целительное средство.

И однако, верно до буквальности, что до тех пор, пока в том или другом виде это не будет совершено, мы останемся без исцеления; пока это не начнет совершаться, исцеление не начнется. Ибо Природа и Действительность, а не Канцелярщина и Видимость составляют до настоящего часа основание человеческой жизни; и на них, все равно на каком их слое, человек, и его жизнь, и силы, и все его интересы рано или поздно, но неизбежно должны основаться и быть ими поддержанными или ими поглощенными, смотря по тому, насколько они им соответствуют. Относительно их предлагается не вопрос: насколько соответствуете вы Даунинг-стрит\* и признанной Видимости, а насколько соответствуете вы Божьему миру и действительной Реальности вещей? Эта Вселенная *имеет* свои Законы. Если вы живете с Законом в согласии, то Законодатель будет к вам дружелюбен; если нет — нет. Увы! Никаким Биллем о реформе\*, никаким баллотировочным ящиком, никакой Хартией о пяти пунктах, вообще никакими ящиками или биллями или хартиями вы не произведете следующего алхимического превращения: "Дан мир Рабов. Извлечь Честность из их соединенного действия!" Это перегонка, раз навсегда невозможная. Пропускайте его через реторту за ретортой, получаться будет все-таки Бесчестность в новом наряде, с новыми красками. "Пока мы продолжаем оставаться холопами, каким образом *может* явиться какой-нибудь герой, чтобы нами управлять?" Нами управляет, без всякого сомнения, только "лжегерой", имя которо-

го Шарлатан, дело и приемы управления которого Угодничество, а также Лживость и Самодовольство, которому Природа отвечает, — и должна отвечать, когда он обращается к ней с речью, — вечным Нет! Народы перестают пользоваться дружеским расположением Законодателя, если они ходят путями, несогласными с Законом. Вопрос Сфинкса\* остается неразрешенным ими, становится все более неразрешимым.

И поэтому, если ты снова спросишь, основываясь на гипотезе Моррисоновых пиллоль: "Что же надо делать? — позволь мне ответить тебе: Через тебя в настоящее время почти ничего. Для тебя, каков ты сейчас, то, что ты должен делать, если возможно, — это перестать быть пустым отголоском сплетен, эгоизма, близорукого дилетантизма и сделаться, хотя бы в бесконечно малом масштабе, верной, внимательной душой. Ты должен обратиться к твоему внутреннему человеку и посмотреть, есть ли там какие-нибудь следы души; а до тех пор ничего не может быть сделано! О брат! Мы должны, если возможно, воскресить в себе хоть частицу души и совести, переменить наш дилетантизм на искренность, наши мертвые сердца из камня на живые сердца из плоти. Тогда мы различим не одно, но, в более ясной или более смутной последовательности, целую бесконечность того, что может быть сделано. *Сделайте* первое из этого, сделайте его; второе станет более ясным и более удобоисполнимым; второе, третье, трехтысячное уже начнет быть возможным для нас. Мы будем спрашивать тогда не какие-нибудь Моррисоновы пиллоли, в качестве ли их потребителей, в качестве ли продавцов, а совершенно иной сорт лекарств: Шарлатаны не будут иметь уже власти над нами; ее получат истинные Герои и Целители!"

Не будет ли это делом, достойным "исполнения": освобождать себя от шарлатанов, от лжегероев; все более и более освобождать от них целый мир? Они — единственная отравяющая мира. Раз мир от них свободен, он перестает быть миром Дьявола, во всех своих фибрах презренным, проклятым, — и начинает быть миром Бога, благословенным и ежечасно приближающимся к благословию. Ты, по крайней мере, не будешь снова подавать голоса за разных шарлатанов, оказывать почет разным раззолоченным пустотам в человеческом облике; ты будешь узнавать ханжество по его звуку, ты будешь бегать от ханжества с содроганием, дотоле никогда не испытанным, как от явного служения на Шабашах Колдунов, как от истинного современного поклонения Дьяволу, более ужасного, чем всякое другое богохульство, кощунство или самая настоящая мерзость, о которых когда-либо было слышно между людьми. Ужасно быть всему этому свидетелем в его настоящем пополненном виде! И Шарлатан, и Одураченный, и мы должны всегда держать это в уме, суть лицо и изнанка одной и той же материи: личности, взаимно заменяющиеся; переставьте вашего одураченного в соответствующую питательную среду, и он сам может сделаться шарлатаном: в нем есть потребная гнилостная неискренность, откровенная жадность до выгоды и чувство, закрытое для истины, а из этого-то шарлатаны, во всех их видах, и делаются.

Увы, не герою, нет, а лжегерою по праву необходимости принадлежит мир холопов. "Что же надо делать?" Читатель видит, похоже ли это на то, чтобы искать и глотать какие-нибудь "целительные средства"!

## Аристократия Таланта

Если отдельное лицо несчастно, что надлежит ему прежде всего делать? Жаловаться на того или другого человека, на ту или другую вещь? Наполнять мир и улицу сетованиями, укорами? Совсем не то, совершенно наоборот. Все моралисты советуют ему жаловаться не на то или другое лицо, не на ту или другую вещь, а только на самого себя. Он должен знать как истину, что, будучи несчастным, он сам не был мудр, именно он. Если бы он добросовестно следовал Природе и ее Законам, то Природа, всегда верная своим Законам, послала бы ему и успех, и прибыль, и счастье; но он следовал иным Законам, чем Законы Природы, и теперь Природа, истощив с ним свое терпение, оставляет его с его отчаянием; отвечает ему, с чрезвычайно глубоким смыслом: Нет, не этим путем, сын мой! Иным путем должен был бы ты достигать благополучия: это, ты сам видишь, — есть путь к неблагополучию, именно это! — Так советуют все моралисты, а именно, что человек должен с раскаянием сказать прежде всего самому себе: вот, я не был достаточно мудр; я покинул Законы Действительности, которые называются также Законами Бога, и ошибочно принял за них Законы Лжи и Видимости, которые называются Законами Дьявола; и поэтому-то вот куда я и пришел!

И с Народами, которые сделались несчастными, в основе происходит то же самое. Древние руководители Народов, Пророки и Жрецы, и как они еще там называются, хорошо это знали и вплоть до последнего времени определенно этому учили и внушали это. Современные руководители Народов, которые также являются под множеством различных имен: Журналисты, Политэкономы, Политики, Памфлетисты, совершенно это забыли и готовы даже это отрицать. Но тем не менее это остается навеки неотрицаемым, и нет никакого сомнения, что мы все еще будем этому научены и будем вынуждены вновь это исповедовать: нас до тех пор будут теснить и бить, пока мы этого не выучим, и в конце концов мы или хорошо это узнаем, или будем постепенно стеснены до смерти. Ибо отрицать этого нельзя! Когда Народ несчастен, то древний Пророк был прав и не ошибался, говоря ему: Вы забыли Господа, вы покинули пути Господни, иначе вы не были бы несчастны. Вы жили и вели себя не согласно законам Действительности, но согласно законам Обмана, Лицемерия и вольного и невольного *Заблуждения* относительно Действительности. И смотрите: Неправда истаскалась, долготерпение Природы к вам истощилось, и вот до чего вы дошли!

Несомненно, в этом нет ничего особенно непостижимого, даже для Журналиста, Политэнома, современного Памфлетиста или вообще для всякого двуногого животного без перьев. Если страна находит себя несчастной, то вполне несомненно, что страна эта была *дурно* руководима. С несчастными Двадцатью семью Миллионами, сделавшимися несчастными, — то же, что с Одним, сделавшимся несчастным; они, как и он, покинули путь, предписанный Природою и Высшими Силами, и таким образом впали в нищету, бедствие, несчастье. И остановившись, чтобы посмотреть на себя, они вынуждены плакать и восклицать: "Увы, мы не были достаточно мудры! Мы приняли преходящую поверхностную Видимость за вечную основную Сущность; мы далеко уклонились

от Законов Вселенной, и вот теперь лишенный закона Хаос и пустая Химера готовы пожрать нас!" — "Природа, за последние столетия, — говорит Зауэртейг\*, — повсеместно считалась мертвой, как бы некими старыми недельными часами, сделанными много тысяч лет тому назад и еще тикающими, но все-таки мертвыми, как медь, — причем Мастер, в лучшем случае, сидит и смотрит на них издали, странно и поистине недоверчиво; но теперь я счастлив заметить, что она повсеместно утверждает себя не мертвой и вовсе не медью, но живой и чудодейственной, небесно-адской, и притом с горячностью, которая постепенно проникнет снова сквозь самые толстые головы на этой Планете!"

Для всех смертных теперь вполне бесспорно, что управление нашей страной не было достаточно мудро; руководить и управлять ею были поставлены люди, слишком неразумные, и вот куда они ее привели; мы должны найти более мудрых, или мы погибнем! Этой степени прозрения достигла вся Англия; но пока еще не дальше. Вся Англия стоит, ломая руки и спрашивая себя почти в отчаянии: что же дальше? Билль о реформе оказался несостоятельным; Бентамовский Радикализм, евангелие "просвещенного Эгоизма" — вымирает или вырождается в Хартию о пяти пунктах\*, среди слез и воплей людских; на что же теперь надеяться или что теперь пробовать? Хартия о пяти пунктах, Свободная торговля, Расширение Церкви\*, Подвижной тариф; к чему, ради самого Неба, должны мы теперь приступить, чтобы нам не провалиться в пустую Химеру и не быть пожранными Хаосом? — Положение, не терпящее отлагательства, и одно из самых сложных в мире. Божья Весть никогда не приходила к более толстокожему народу; Божьей Вести никогда не приходилось проникать сквозь более толстые покровы, в более тупые уши. Это — Действительность, говорящая еще раз чудодейственным, громовым голосом, из самого центра мира. Как неведом ее язык глухой и безумной толпе! Как ясен, неопровержим, грозен и в то же время благодетелен он для немногих слышащих: Вот, вы должны сделаться мудрее, или вы должны умереть! Вы должны сделаться более верными Действительности Природы, или пустая Химера вас поглотит. Вы исчезнете в вихрях огня, вы, и ваш Маммонизм, Дилетантизм, ваша философия с Мидасовыми ушами, ваши Аристократы-охотники! — Такова Божья Весть, дошедшая к нам еще раз в наши дни.

Нужно, чтобы нами управляли с большою Мудростью, нужно, чтобы мы были управляемы Мудрейшими, нужно, чтобы мы имели Аристократию Таланта! — восклицают многие. Верно, в высшей степени верно; но как этого достигнуть? Следующее извлечение из статьи нашего молодого друга в "Хаундсич Индикейтер"\* достойно внимания. "В настоящее время, — говорит он, — когда повсюду раздается вопль, — членораздельный и нечленораздельный, — по "Аристократии таланта", т. е. по такому Правящему Классу, который действительно правит, а не берет только жалование за управление и в то же время никакими способами не может быть удержан от дурного управления, от издания Хлебных законов и от того, чтобы всячески нас дурачить, — в такое время не будет совершенно бесполезно напомнить некоторым из наиболее зеленых голов, сколь страшно трудное дело добыть такую Аристократию! Надеетесь ли вы, друзья мои, что необходимая вам Аристок-



ратия Таланта может быть набрана сразу, первым попавшимся способом, из всего населения, расположена в наилучшем военном порядке и поставлена править над нами, что она может быть отсеяна, как зерно от мякины, из Двадцати семи Миллионов Британских подданных, что какой-нибудь баллотировочный ящик, Билль о реформе или какая-нибудь другая Политическая Машина, при помощи какой бы то ни было деятельной Силы Общественного мнения, способны произвести упомянутый процесс отсеивания? О, если бы Небу было угодно, чтобы у нас было сито, чтобы мы могли хотя бы только представить себе какой-нибудь вид сита или ветрогона, или *pes plus ultra\** механизма, доступного человеческому измышлению, который сделал бы это!

И тем не менее несомненно, что это должно быть сделано, что это непременно будет сделано. Мы быстро катимся по пути к разрушению; каждый час подводит нас к нему все ближе, куда оно, в той или другой степени, не наступит. Исполнение не подлежит сомнению; сомнительны лишь метод и затраты! Я даже укажу вам безошибочный способ просеивания, с помощью которого тот, у кого есть способности, может быть отсеян, чтобы править нами, и эта самая благословенная Аристократия Таланта будет нам, в значительной степени, мало-помалу дарована; безошибочный способ просеивания, но в применении которого, однако, ни одна душа не может помочь своему ближнему, а всякий должен, с благоговейной молитвой к Небу, стараться помочь себе сам. Все дело в том, о друзья, чтобы все из нас, чтобы многие из нас получили *способность* правильно узнавать талант, — чего теперь так страшно нам недостает! Способность правильно узнавать талант подразумевает правильное почитание его, подразумевает, — о Небо! подразумевает столь многое!

Например, ты, Бобус Хиггинс, крупный фабрикант колбасы, ты, кто поднимает такой крик из-за этой Аристократии Таланта, что, собственно, главным образом чтить ты в глубине твоего большого сердца? Талант ли, т. е. благородное внутреннее достоинство всякого рода, о, несчастный Бобус? Тот благороднейший человек, которого ты видел в обтрепанном сюртуке, — оказал ли ты ему когда-нибудь почтение? Хотя бы только разобрал ли ты, прежде чем его сюртук сделался лучше, что он вообще благородный человек? Талант! Я признаю, что ты способен почитать славу таланта, силу, богатство, знаменитость или другие успехи таланта; но сам талант — это вещь, которой ты никогда и в глаза не видал. Кроме того, чем более всего гордишься ты в самом себе, что рассматриваешь ты в себе с наибольшим удовольствием твоим умственным взором в часы размышления? Признайся же, чем — только Бобусом в чистом виде, лишенным даже своего имени и рубашки и брошенным в таком виде перед обществом, — им ли ты восхищаешься, за него ли благодаришь Небо? Или же Бобусом с его кассовыми счетами, с его колбасными, в которых жир так и каплет, с его почестями, с его богатой обстановкой, с его запряженным пони шарабаном, до известной степени приводящим в восхищение некоторых лиц из холопской породы? Твоя собственная степень достоинства и таланта, имеет ли она для тебя *бесконечную* цену или только конечную, измеряемую степенью твоего денежного оборота и того, что ты получил похвалами или колбасами?

Бобус, ты находишься в заколдованном кругу, более круглом, чем любая из твоих сосисок, и ты никогда не подашь голос или не будешь сочувствовать никакому таланту, который уже *добился* того, чтобы за него подавали голос!" — Здесь мы ставим точку, ибо все читатели уже замечают, к чему "Индикейтер" теперь клонит.

"Да, больше Мудрости!" Но где найти больше Мудрости? У нас уже есть в некотором роде Коллективная Мудрость, хотя "классовое законодательство" и еще одно или два обстоятельства несколько ее искажают! Но вообще же, подобно тому как говорится: Каков приход, таков и поп, — мы можем сказать: Каков народ, таков и король. Тот человек оказывается поставленным и избранным, который наиболее способен быть поставленным и избранным. Кого могут избрать самые неподкупнейшие *Бобусы*, кроме как какого-нибудь *Бобиссимуса*, если они только такого найдут?

Или же, может быть, во всем Народе нет достаточно Мудрости, как ее ни собирай, чтобы составить нечто подходяще Совокупное! И такой случай также может произойти. Разоренный человек доходит до разорения, потому что в нем не было достаточно мудрости; очевидно, что то же может быть и с Двадцатью семью Миллионами соединенных людей! — Но поистине, один из неизбежнейших плодов Немудрости в Народе есть то, что он не может воспользоваться всей Мудростью, которая в нем действительно заключается; что он управляется не мудрейшим из всех, кого он имеет и кому одному принадлежит божественное право управлять всеми народами, но лжемудрейшим или хотя бы только явно не-столь-мудрым, если только он наиболее ловок в других отношениях! Это неизбежнейшее следствие Немудрости, а также и печальнейшее, неизмеримейшее; не столько то, что мы можем назвать ядовитым плодом, сколько всеобщая смертельная болезнь и отравка всего дерева. Ибо таким образом взращиваются, доводятся до гигантских размеров все сорта Немудростей и ядовитых плодов, до тех пор, пока, так сказать, древо жизни не делается повсюду древом смерти и убийственная немудрость не покроет всего своею тенью. И тогда будет сделано все, что доступно искусству человека, чтобы заглушить повсюду всякую Мудрость при самом ее рождении, чтобы поразить наш бедный мир бесплодием Мудрости, — и сделать неподходяще Совокупным самую высшую Коллективную Мудрость, будь она собрана и избрана хоть самими Радамантом, Эаком и Минсом\*, не говоря уже о пьяных десятифунтовых Избирателях с их баллотировочными ящиками! Теперь нет Мудрости: как же вы ее "соберете"? Это — все равно что промывать улучшенным способом ил Темзы, дабы найти в нем побольше золота.

Поистине, первое необходимое условие — это чтобы Мудрость была налицо. Но и второе, подобное ему, составляет, в сущности, одно с ним; эти два условия действуют друг на друга всеми своими фибрами и существуют постоянно и неразлучно вместе. Если в вашем Народе много Мудрости, то она непременно будет добросовестно собрана; ибо мудрые любят Мудрость и всегда будут стремиться к ней, как к жизни и спасению. Если у вас мало Мудрости, то и эта малая будет дурно собрана, растоптана под ногами, приведена, насколько это возможно, к унич-

тожению; ибо безумные не любят Мудрости; они и безумны прежде всего потому, что никогда не любили Мудрости, а любили свои собственные аппетиты, тщеславие, украшенные гербами экипажи, свои полные кубки. Таким образом, ваша свеча зажжена с обоих концов и быстро подвигается к сгоранию. Так исполняется сказанное в Евангелии: имущему дано будет, а у неимущего отнимется и то, что он имеет. Совершенно буквально, чрезвычайно роковым образом, слова эти здесь исполняются.

Наша "Аристократия Таланта", по-видимому, находится от нас еще на значительном расстоянии; не так ли, о Бобус?

## Почитание Героев

Издателю настоящей книги не менее, чем Бобусу, Правительство Мудрейших, то, что Бобус называет Аристократией Таланта, представляется единственным целительным средством; однако он не так светло, как Бобус, смотрит на способы его осуществления. Он думает, что мы совершенно упустили случай осуществить его, но в то же время пришли к настоятельной в нем потребности благодаря тому, что отклонились от внутренних, вечных Законов и ухватились за временное, внешнее подобие Законов. Он думает, что "просвещенный Эгоизм", как бы он ни был лучезарен, не есть то правило, которым могла бы быть руководима жизнь человека, что "Laissez faire"\*, "Спрос и предложение", "Наличный платеж как единственная связь" и т. д. — никогда не были и никогда не будут целесообразным Законом соединения для человеческого Общества, что Богатый и Бедный, Управляющий и Управляемый не могут жить долго вместе на основании какого-нибудь такого Закона соединения. Увы, он думает, что человек имеет в себе душу, *отличную* от желудка, в каком бы смысле ни брать это слово; что если помянутая душа задыхается и спокойно забыта, то человек и его дела находятся на дурном пути. Он думает, что помянутая душа должна быть возвращена к жизни; что если она окажется неспособной воскреснуть, то человек недолговечен в этом мире. Коротко, что Маммонизм с Мидасовыми ушами, двухствольный\* Дилетантизм и тысячи их свойств и следствий *не суть* Закон, по которому Бог Всемогущий предуказал двигаться своей Вселенной; что решительно все это не Закон и что, далее, мы должны будем вернуться к тому, что *есть* Закон, но, по-видимому, не по мягким цветочным дорожкам и не с исторгаемыми нами "громкими радостными кликами", а по крутым, непротоптаным тропам, через клокочущие пучины, через обширные океаны, на лоне вихрей; благодарение Небу, если еще не через самый Хаос и Бездну! Воскрешение души, которая задохнулась, не есть процесс мгновенный или приятный, но долгий и страшный.

Для Издателя настоящей книги "Почитание Героев", как он это назвал в другой книге, означает гораздо большее, чем избранный Парламент, или установленная Аристократия Мудрейших; ибо на его языке это есть истинное содержание, самая сущность и высшее практическое

исполнение всех возможных "почитаний", всех истинных видов достоинства и благородства. Он ждет именно такого благословенного Парламента и, если бы только она могла вполне осуществиться, — такой благословенной Аристократии Мудрейших, почитаемой Богом и почитаемой людьми, все более и более совершенствуемой, — как высшую, благословенную, практическую вершину целого мира, освобожденного от лжепочитания и вновь наделенного почитанием, истиной и благословением! Он думает, что Почитание Героев, выражаемое различно в различные эпохи мира, есть душа всякой общественной деятельности среди людей; что хорошее осуществление его или дурное его осуществление есть точная мера степени благополучия или неблагополучия в человеческих делах. Он думает, что мы, вообще говоря, осуществляем наше Почитание Героев хуже, чем это когда-либо делал в мире какой-либо Народ; что Бёрнс, как Акцизный Чиновник, и Байрон, как Литературный Лев, суть внутреннее, приняв все во внимание, более низкое и более лживое явление, чем Один, как Бог, и Магомет, как Пророк Бога. Соответственно с этим, Издатель настоящей книги твердо убежден, что мы должны научиться осуществлять наше Почитание Героев лучше; что все лучшее и лучшее осуществление его означает пробуждение души Народа от ее бесчувствия и возвращение к нам благословенной жизни, — благословенной жизни Неба, а не проклятой гальванической жизни Маммоны. Воскресить Задохнувшегося, по-видимому уже умирающего и находящегося в последней агонии, если только не успеют его воскресить, — такова, а не иная должна быть последняя цель.

"Почитание Героев", если вам угодно, — да, друзья; но для этого, прежде всего, надо самим обладать героическим духом. Целый мир Героев; не мир Холопов, в котором *не может* царствовать ни один Герой-король, — вот к чему мы стремимся. Отбросим со своей стороны от себя всякое Холопство, Низость, Неправду; и тогда будем надеяться, что над нами будет властвовать всякое Благородство и всякая Правда, но не ранее. Пусть Бобус и Компания насмеются: "Так это — ваша Реформа!" Да, Бобус, это — наша Реформа; и кроме как в этом и в том, что из этого следует, у нас нет никакой надежды. Реформа, подобно Милосердию, о Бобус, должна начинаться изнутри. И раз она будет вполне достигнута изнутри, — то как воссияет она вовне, непобедимая во всем, чего мы ни коснемся, что ни возьмем в руки, что ни скажем и ни сделаем. Она будет возжигать все новый свет, неуловимым влиянием распространяясь в геометрической прогрессии широко и далеко, творя лишь благо, до каких бы она пределов ни распространилась, а никак не зло.

С помощью Биллей о реформе, Биллей против Хлебного закона и тысячи других биллей и способов, мы потребуем от наших Правителей с горячностью и впервые не без *успеха*, чтобы они перестали быть шарлатанами или, в противном случае, удалились; чтобы они никоим образом не пускали в ход шарлатанства и пошлости для управления нами; чтобы они не проявляли по отношению к нам ханжества, ни в словах, ни в поступках, — лучше, если они этого не будут делать! Ибо мы теперь узнаем шарлатанов, если мы их увидим; ханжество, если мы его услышим, будет ужасно для нас! Мы скажем, вместе с бедным

Французом у решетки Конвента, хотя в более мудрых выражениях, чем он, и "на время" не "часа", но всей жизни: "Je demande l'arrestation des coquins et des lâches". "Заключение под стражу мошенников и трусов!" О, мы знаем, как это трудно, как много пройдет времени, пока *они* будут все, или большинство из них, "заключены под стражу". Но вот, — здесь есть такой; заключите хоть его под стражу, во имя Бога! Все-таки одним меньше! Мы будем, всеми удобоисполнимыми способами, словом и молчанием, действиями и отказом от действий, энергично требовать этого заключения под стражу, — "je demande cette arrestation-là!" — и малопомалу мы его непременно достигнем. Непременно: ибо свет распространяется; все человеческие души, как бы они ни были отуманены, любят свет; свет, однажды возжженный, распространяется, пока все не делается светозарным, пока крик: "*Заключите под стражу* ваших мошенников и трусов" не воспрянет повелительно из миллиона сердец и не прозвучит и не воцарится от моря и до моря. Да и скольких из них не могли бы мы "заключить под стражу" собственными руками, даже теперь мы сами! Вот хотя бы ты, не потакай им! Отвратись от их полированной роскоши, от их хваленых софизмов, от их змеиных любезностей, от ханжества их слов и поступков, отвратись со священным ужасом, с *Apape Satanas\**, — Бобус и Компания, и все люди постепенно к нам присоединятся. Мы требуем заключения под стражу мошенников и трусов и начинаем с того, что уводим собственные наши несчастные *я* из их общества. Другой реформы нельзя себе и представлять. Ты и я, мой друг, мы можем, каждый из нас среди самого холопского мира, сделать по *одному* нехолопу, по одному герою, если мы этого захотим; это будет два героя для начала. Смелее! Ведь и это в конце будет уже целый мир героев, или, по крайней мере, то, что мы, лишь Двое, можем сделать для его возникновения.

Да, друзья: герои-короли и целый мир, не лишенный геройства, — вот где находится та пристань и та счастливая гавань, к которой, через все эти бушующие моря, через Французскую Революцию, Чартизм, Манчестерские восстания\*, сокрушающие сердца в эти тяжелые дни, — ведут нас Высшие Силы. Вообще же, да будут благословенны Высшие Силы, сколь они ни суровы! К этой гавани стремимся мы, о друзья! Пусть каждый истинный человек, по мере своих способностей, мужественно, непрестанно, с тысячами ухищрений, будет стремиться туда, туда! Туда, или же в Бездны Океана, как это совершенно ясно для меня, мы непременно и придем.

Да, правда; это — не ответ на вопрос Сфинкса; по крайней мере — не ответ, на который надеялась отчаявшаяся публика, когда обратилась к Врачебной Управе! Полное изменение всего строя жизни, изменение всего организма и условий существования с самых его основ; создание нового тела с воскресшей душой, — не без судорожных мук родов, ибо всякое рождение и возрождение подразумевает роды! Это — прискорбное сведение для отчаявшейся рассуждающей Публики, надевавшейся получить какие-нибудь Моррисоновы пилюли, какую-нибудь Сент-Джонсовскую едкую микстуру или, может быть, маленькое оттягивающее средство на спину! Мы приготовились расстаться с нашим Хлебным

законом и с различными Законами и Незаконами; но это, что это такое?

Издатель не забыл также, как обстоит дело с разными зловещими Кассандрами во время Троянских Осад. Надвигающаяся гибель обыкновенно не предотвращается словами предостережения. Наставница-судьба имеет другие методы в запасе, иначе эти слова всегда оказывались бы бессильными. Но тем не менее они должны быть произнесены, если они действительно зародились в душе человека. Слова жестоки, докучливы; но насколько жесточе и докучливее события, которые они предызображают. Та или другая человеческая душа, может быть, прислушается к словам, — кто знает, сколько человеческих душ, — и благодаря этому докучливые события, если и не будут совершенно отклонены и предупреждены, то во всяком случае будут сделаны *менее* жестокими. Намерение Издателя настоящей книги представляется ему полным надежды.

Ибо пусть нам предстоят тяжкие труды, пусть перед нами лежат обширные моря и кипящие пучины, — разве ничего не значит, если при этом, среди вечного неба, для нас еще раз откроется Путеводная Звезда — этот вечный свет, сияющий сквозь все бурные тучи и кипящие валы, даже когда мы выбиваемся на поверхность из самой глубины моря; благословенный маяк, там, далеко, на краю далекого горизонта, к которому мы должны непременно направляться для спасения жизни? Разве это ничего не значит? О Небо, разве это не все? Там лежит Героическая Земля Обетованная; под тем Небесным светом, братья, цветут Счастливые Острова. Там, о там! Туда стремимся мы.

Там пребывает великий Ахилл, его же мы знали<sup>1</sup>.

Там пребывают и будут пребывать все Герои; туда, о вы все, люди героического духа! Раз Небесная Путеводная Звезда ясна перед нашими глазами, то как верно будет стоять каждый верный человек у *своего* дела на судне; как противостанет он, с неумирающей надеждой, всем опасностям, как он все их победит! И если нос корабля повернут в этом направлении, то разве уже не все, так сказать, в порядке? Тяжкое, губительное бедствие превратилось в благородное, мужественное усилие, с определенной целью перед нашим взором. "Давящий Кошмар уже не давит нас больше, ибо мы уже выбиваемся из-под него; Кошмар уже исчез".

Конечно, если бы Издатель настоящей книги мог научить людей, как узнавать Мудрость, Героизм, когда они их видят, так чтобы они могли почитать только *их* и преданно подчиняться их руководству, — да, тогда он был бы живым выражением всех Издателей, Учителей, Пророков, которые теперь учат и пророчествуют; он был бы *Аполлоном-Моррисоном*, *Трисмегистом\** и *действенной Кассандрой*. Но пусть ни один Ответственный Издатель не надеется на это. Надо ожидать, что современные законы об авторском праве, размеры полистной платы и иные соображения спасут его от этой опасности. Пусть ни один

---

<sup>1</sup> Поэмы Теннисона ("Улисс").

Издатель не надеется на это; нет! — и пусть все Издатели стремятся к этому, и даже только к этому! Нельзя понять, в чем будет смысл издательства и писательства, если он не будет даже в этом.

Словом, Издателю настоящей книги показалось возможным, что в этих перепутанных кипах бумаги, которые ему теперь поручены, может заключаться для той или другой человеческой души хоть какой-нибудь брезжущийся свет; поэтому он и решается издать их. Он постарается выбрать две или три темы из старых Книг, из новых Писаний и из многих Размышлений не вчерашнего только дня; и с помощью Прошлого он постарается, кружным путем, осветить Настоящее и Будущее. Прошлое есть темный несомненный факт; Будущее также есть факт, только еще более темный, — более того, собственно, оно есть *тот же самый* факт, только в новой одежде и новом развитии. Ибо Настоящее заключает в себе и все Прошлое, и все Будущее подобно тому, как Древо жизни Иггдрасиль, широко раскинувшееся, многотупное, имеет свои корни глубоко внизу, в Царстве мертвых, среди древнейшего мертвого праха людей, а своими ветвями вечно простирается превыше звезд; и во все времена, и во всех местах оно есть одно и то же Древо жизни!

## II. СТАРИННЫЙ МОНАХ

### Монах Самсон

У себя дома, у подножия холма, в нашем Монастыре\*, мы совсем особенный народ, трудно постигаемый в век Аркрайта и Хлебных законов, в век одних только Прядилен и Джо Мантона!

В нас еще нет Методизма\*, и мы много говорим о мирских делах; Методизма нет; наша религия еще не есть ужасное, беспокойное Сомнение; еще в меньшей степени она — гораздо более ужасное, безмятежное Ханжество; но она великая, достигающая неба Бесспорность, охватывающая, проникающая всю Жизнь в ее целом. Как бы мы ни были несовершенны, тем не менее мы, с нашими литаниями, бритыми Макушками, обетами бедности, — мы непрестанно и неоспоримо свидетельствуем каждому сердцу, что эта Земная Жизнь, и ее богатства, и владения, ее удачи и неудачи, — вовсе не реальность как она есть изнутри, но *тьнь* реальностей вечных, бесконечных; что этот Временный мир, как воздушный образ, ужасно *символический*, дрожит и переливается в великом неподвижном зеркале Вечности и что маленькая человеческая Жизнь имеет Обязанности, которые велики, которые единственно велики и простираются вверх, к Небу, и вниз, к Аду. Вот это-то мы и свидетельствуем нашими бедными литаниями и боремся, чтобы свидетельствовать.

Все это, засвидетельствованное или нет, сохраненное в памяти всех людей или забытое всеми людьми, остается подлинным фактом даже в век Аркрайта и Джо Мантона! Но когда литании оказались устаревшими; когда *оброки*, *натуральные повинности* и все взаимные человеческие обязанности окончательно превратились в одну большую обязанность *наличного платежа*; когда долг человека по отношению к человеку сводится к вручению ему некоторого количества металлических монет или условленной денежной платы и затем к выставлению его за дверь, а долг человека по отношению к Богу становится ханжеством, сомнением, туманной пустотой, "удовольствием от добродетели" и т. п.; и единственной вещью, которой человек бесконечно боится (действительным *Адом* для человека), оказывается только то, что он "не наживает денег и не идет вперед", — то нельзя высчитать, какое изменение проникло в таком случае повсюду в человеческие дела, в какой мере человеческие дела совершают теперь свое круговращение, полные не здоровой живой крови, а, так сказать, отвратительных купоросных банкирских чернил, и как все стало едко, разрушительно, как все угрожает разложением, а громадная, шумная Жизнь Общества теперь гальванична, оседлана Дьяволом, слишком по-настоящему одержима Дьяволом! Ибо, коротко



говоря, Маммона *вовсе* не бог, а дьявол, и даже весьма презренный дьявол. Следуйте доверчиво за Дьяволом, и вы можете быть совершенно уверены, что *попадете* к Дьяволу: ибо куда иначе можете вы попасть? — В таких обстоятельствах люди оглядываются назад с некоторого рода грустной признательностью даже на бедные ограниченные фигуры Монахов с их бедными литаниями и размышляют вместе с Беном Джонсоном, что душа необходима, некоторая степень души, хотя бы для того, чтобы сберечь расходы на соль!

Впрочем, надо признаться, что мы, монахи Сент-Эдмундсбери, — только ограниченный род созданий и потому ведем, по-видимому, несколько скучную жизнь. Много времени уходит на праздные сплетни, потому что, по правде сказать, по окончании нашего пения у нас нет другого дела. В большинстве случаев, впрочем, пустые сплетни и умеренное злословие; плод праздности, а не желчности. Мы скучные, пошлые люди, большинство из нас; поверхностные люди, которым молитва и переваривание пищи достаточны для жизни. Мы должны принимать в наш Монастырь всех странников и содержать их даром; такие-то и такие-то разряды их попадают, согласно правилу, к Владыке Аббату и на его личные доходы; такие-то и такие-то к нам и к нашему бедному Келарю, как он ни стеснен. Даже сами Евреи посылают сюда в военное время своих жен и детей, в нашу *Pitanceria*\*, где они и пребывают безопасными, на соответствующих скудных пайках, из-за осторожности. Нам представляют самые удобные случаи, чтобы собирать новости. Некоторые из нас имеют склонность к чтению книг, к размышлению, к безмолвию; по временам мы даже пишем книги. Некоторые из нас могут проповедовать на Англо-Саксонском языке, на Нормано-Французском и даже на Монашеской Латыни; другие не могут ни на одном языке или наречии, будучи глупыми.

Когда нечего говорить о чем-нибудь другом, то сколько сплетен друг о друге! Это — постоянное занятие! Сейчас же какая-нибудь голова в капюшоне наклоняется к уху другой и шепчет — *tacenda*\*. Вильгельм Ризничий, например, что там совершается у него по ночам, наверху, в его Ризнице? Частые попойки, "*frequentes bibationes et quaedam tacenda*"\*, — увы! У нас есть "*tempora minutionis*", определенные сроки для кровопускания, когда мы все вместе пускаем себе кровь, и после того происходит общий свободный разговор, синедрион гвалта. Несмотря на наш обет бедности, мы, по правилу, можем копить в пределах "двух шиллингов", но это должно быть отдаваемо нашим нуждающимся родственникам или как милостыня. Бедные Монахи! Так-то вот один Кентерберийский Монах имел привычку "вытряхивать, *clanculo*, из рукава" пять шиллингов в руку своей матери, когда она приходила повидаться с ним, во время божественных служб, каждые два месяца. Однажды, вытряхивая потихоньку деньги, как раз в то время, как он прощался, он вытряхнул их не ей в руку, а на пол, и кто-то другой подобрал их. Бедный Монах, узнав это, в течение нескольких дней был по этому поводу в совершенном отчаянии, пока, наконец, Ланфранк, благородный Архиепископ, выпытав от него его тайну, великодушно не дал ему *семь* шиллингов и не сказал: "Ну, перестань!"<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Eadmeri Hist.*, p. 8\*.

Один, молчаливый по природе, монах выделяется среди этих болтунов: его имя Самсон; это он ответил Джоселину: "Fili mi\*\*", пуганая ворона куста боится". Его зовут: Норфолькский Barrator, или ссорщик; ибо в самом деле, имея привычки строгие и молчаливые, он не всеобщий любимец; у него не раз бывали неприятности. Читатель благоволит заметить этого Монаха. Он — представительный мужчина сорока семи лет, стройный, держится всегда прямо, как колонна; с густыми бровями, с глазами, которые смотрят на вас поистине необычно; лицо у него крупное, важное, "с очень выдающимся носом"; голова у него почти лысая; остатки его каштановых волос и его большая рыжая борода начали подергиваться сединой. Таков Брат Самсон, человек, на которого стоит посмотреть.

Он из Норфолька, как указывает его прозвище; из Тоттингтона в Норфольке, как мы предполагаем; сын бедных родителей. Он рассказал мне, Джоселину, потому что я очень его любил, — что раз, на девятом году, он видел тревожный сон, — как, по правде сказать, мы все здесь немного склонны видеть сны. Маленькому Самсону, когда он неудобно лежал на своей койке в Тоттингтоне, приснилось, что он видит Врага рода человеческого собственной персоной, когда он только что опустился перед каким-то большим зданием, с распростертыми крыльями, как у летучей мыши; он протягивал свои отвратительные лапы с когтями, чтобы схватить его, маленького Самсона, и улететь с ним, вследствие чего маленький сновидец отчаянно вскрикнул, призывая на помощь св. Эдмунда, вскрикнул и опять вскрикнул, и св. Эдмунд явился в образе почтенного небесного мужа; а в действительности явилась мать маленького бедного Самсона, разбуженная его криком, и Дьявол, и Сон — оба исчезли, ничего не получив. Наутро мать его, обсудив такой ужасный сон, подумала, что было бы хорошо взять его к Раке самого св. Эдмунда и там с ним помолиться. "Посмотри, матушка, — сказал маленький Самсон при виде Ворот Аббатства, — посмотри, матушка, вот здание, которое я видел во сне!" Его бедная мать посвятила его св. Эдмунду, оставила его там с молитвами и слезами: что лучше могла бы она сделать? Объяснение этого сна, говорил обыкновенно Брат Самсон, таково: "Diabolus с распростертыми крыльями, как у летучей мыши, изображал наслаждения мира сего (voluptates hujus saeculi), которые готовы были схватить меня и улететь со мною, если бы св. Эдмунд не обнял меня своими руками, т. е. если бы он не сделал меня своим монахом". Брат Самсон и сделался монахом, и до настоящего дня он там, где его оставила его мать. Он ученый человек, с благочестивым, серьезным настроением. Он учился в Париже; он учил в здешних Городских Школах и делал многое другое; он может проповедовать на трех языках и, подобно Д-ру Каюсу, в свое время "понес потери"\*. Серьезный, твердо стоящий человек; сильно любимый некоторыми, но не всеми любимым. Его ясные глаза пронизывают вас почти неприятным образом!

Аббат Гуго, как мы сказали, имел с ним немало хлопот. Аббат Гуго продержал его раз в темнице, чтобы научить его, что значит власть и как ворона должна на будущее время бояться куста. Ибо Брат Самсон, во время Антипап, был послан в Рим по делу и, хотя и возвратившись с успехом, однако опоздал; дело тем временем совсем расстроилось! Так как поездки в Рим у нас, Англичан, до сих пор еще часты, то, может

быть, читателю не будет неприятно посмотреть, как путешествовали туда в эти отдаленные времена. У нас, к счастью, есть об этом, в кратком виде, подлинный рассказ. Сквозь ясные глаза и память Брата Самсона можно прямо взглянуть в самое сердце этого XII века и найти его довольно любопытным. Настоящий Папа, Отец, или всемирный Председатель Христианства, еще не обратившийся в Химеру, восседал там, подумайте только об этом! Брат Самсон пришел в Рим, как к истинному Источнику Света в этом долнем мире, а мы теперь!.. — Но послушаем Брата Самсона относительно его способа путешествия!

”Ты знаешь, сколько беспокойства у меня было из-за Вульпитской церкви; как я был послан в Рим во время Раскола между Папой Александром и Октавианом и прошел по Италии в ту пору, когда хватали всякое духовное лицо, имевшее письма к Отцу нашему Папе Александру, некоторых сажали в темницу, а некоторых и вешали; а других, с отрезанным носом и губами, отсылали к Отцу нашему Папе, на стыд и позор ему (*in dedecus et confusionem ejus*). Я же между тем, представившись Шотландцем, надев Шотландскую одежду и приняв их ухватки, шел себе, — и когда кто-нибудь надо мной смеялся, то я замалчивался на него моей палкой наподобие того оружия, которое называется у них *гавелок*<sup>1</sup>, бормоча угрозы по обычаю Шотландцев. Тем, кто со мною встречался и спрашивал, кто я такой, я ничего не отвечал, кроме: *Ride, ride Rome; turne Cantwereber*<sup>2</sup>. Все это я делал, чтобы скрыть себя и свое поручение и достигнуть безопаснее Рима под видом Шотландца.

Получив, наконец, Письмо от Отца нашего Папы, согласное с моими желаниями, я направился обратно домой. На пути моем я должен был пройти через некий укрепленный город, и вот тамошние солдаты окружили меня и схватили меня, говоря: ”Этот бродяга (*iste solivagus*), который прикидывается Шотландцем, — или шпион, или несет письма от Лжепапы Александра”. И пока они осматривали на мне каждую складку и каждый лоскут, — мои штиблеты (*caligas*), штаны и даже старые башмаки, которые я нес за плечами по обычаю Шотландцев, — я засунул руку в кожаный мешок, который был у меня и где у меня лежало Письмо Отца нашего Папы вместе с маленькой кружкой (*ciffus*) для питья, и, по милости Господа Бога и св. Эдмунда, я вынул то и другое вместе, и кружку, и письмо, так что, подняв кверху руку, я держал письмо спрятанным между кружкой и ладонью; они увидали кружку, но письма они не увидали. И таким образом, с помощью Божьей, я ускользнул от них. Все деньги, которые со мною были, они отобрали у меня; и поэтому я должен был просить под окнами подаяния и ничего на себя не тратить (*sine omni expensa*), пока не пришел назад в Англию. Но когда я услышал, что Вульпитская церковь уже отдана Джеффри Риделю, душа моя была поражена печалью, потому что я трудился напрасно. И поэтому, когда я пришел домой, я сел тайно под Раккой св. Эдмунда, боясь, как бы Владыка Аббат не схватил меня и не посадил в темницу, хотя я и не сделал ничего дурного. И не было ни одного

<sup>1</sup> Дротик. *Гавелок* до сих пор шотландское название *лома*.

<sup>2</sup> Не значит ли это: ”Рим навсегда, Кентерберн *нет*” (что подразумевает несправедливое верховенство над нами)! М-р Роквуд молчит. Драйасдест\*, может быть, это объяснит, после недели или двух разговора, если только кто-нибудь решится спросить его.

монаха, который бы осмелился заговорить со мной, и ни одного мирянина, который бы осмелился принести мне пищу, кроме как украдкой”<sup>1</sup>.

Такой-то отдых и такой привет нашел брат Самсон своим изношенным подошвам и мужественному сердцу! Он сидит молча, перебирая множество мыслей, у подножия Раки св. Эдмунда. Есть ли у него иной друг, иное прибежище в целом Мире, кроме как св. Эдмунд? Владыка Аббат, услышав о нем, послал приставленного на то брата, чтобы свести его в темницу и ”надеть на него там кандалы”. Другой бедный послушник принес ему украдкой кружку вина и уговаривал его ”утешиться в Господе”. Самсон не произносит жалоб, повинуется в молчании. ”Владыка Аббат, обсудив все, сослал меня в Акру\*, где я и должен был пробыть долгое время”.

Владыка Аббат вслед за тем испытывал Самсона повышениями: он сделал его Подризничим, сделал его Библиотекарем, что было ему всего приятнее, так как он страстно любил книги. Самсон, полный различных мыслей, снова повиновался в молчании, исполнял свои обязанности в совершенстве, но никогда не благодарил Владыку Аббата; казалось скорее, что он как бы смотрит внутрь его своими ясными глазами. Вследствие этого Аббат Гуго сказал: ”*Se nunquam vidisse*”. — Он никогда не видал такого человека, которого никакая строгость не может сломить до жалоб и никакая доброта смягчить до улыбки или благодарности: — непонятный человек!

Таким образом, не без волнений, но всегда прямо и независимо, достиг Брат Самсон своего сорок седьмого года; и его рыжая борода начала слегка седесть. В это время он старается заткнуть разные старые дыры. Может быть, он даже стремится закончить Хоры, потому что он не может выносить ничего разрушенного. Он собрал ”кучи глины и песка”; у него работают каменщики, кровельщики, у него и у Варинуса *monachus noster\**, так как они оба приставлены хранителями Раки. Они платят своевременно деньги, — доставляемые благодетельными гражданами Сент-Эдмундсбери, как они говорят. Благодетельные граждане Сент-Эдмундсбери? Мне, Джоселину, кажется скорее, что Самсон и Варинус, которым он руководит, тайно скопили пожертвования на самую Раку, в эти последние годы небрежного расхищения, пока Аббат Гуго сидел закутанный и недоступный, и теперь умно заботятся о том, как бы защитить ее от дождя!<sup>2</sup> При каких условиях Мудрости приходится иногда бороться с Безумием и хотя бы убедить его только в том, что надо закрыться от дождя! Ибо, по правде, если Ребенок управляет Кормилицей, то к каким только ловким приемам не приходится прибегать Кормилице!

Но вот для нас в этих обстоятельствах новое огорчение: Опекуны, поставленные Королем, нашим Государем, вмешавшись, запретили постройки и починки из каких бы то ни было источников. Хоры не будут закончены, и Дождь, и Время, по крайней мере теперь, возьмут свое. Вильгельм Ризничий с красным носом, ”любитель частых попок и кое-чего другого, о чем нельзя говорить”, — принес, как я думаю, жалобу Опекунам, желая сыграть злую шутку с Самсоном. Самсон, его Подризничий, со своими ясными глазами, не может быть его первым любимцем! Самсон снова повинуется в молчании.

<sup>1</sup> *Jocelini Chronica*, p. 36.

<sup>2</sup> *Ibid.*, p. 7.

## Избирательная борьба

Но вот доходят до Сент-Эдмундсбери важные новости: что должен быть избран Аббат; что междулунная тьма должна прекратиться и Обитель св. Эдмунда не будет более печальной вдовицей, а в радости и снова невестой! Часто во время нашего вдовства молили мы Господа и св. Эдмунда, воспевая еженедельно "на коленях перед Алтарем двадцать один покаянный Псалом", чтобы нам дарован был достойный Пастырь. И, говорит Джоселин, если бы некоторые знали, какого Аббата мы получим, то они не были бы, я полагаю, так усердны в молитве! — Боззи\* Джоселин открывает человечеству шлюзы подлинных Монастырских сплетен; мы слышим, как бы сквозь Дионисово ухо\*, пустейшую болтовню, подобную голосам близ Вергилиевой Роговой Двери Снов\*. Но даже сплетни, если им семь веков, имеют значение. Слушайте, слушайте, как похожи люди друг на друга во все времена:

"Dixit quidam de quodam — Некоторый монах сказал о некотором монахе. "Он, этот Frater\*, — хороший монах, *probabilis persona*; хорошо знает церковные порядки и обычаи; и хотя он не такой совершенный философ, как некоторые другие, он все-таки был бы хорошим Аббатом. Старый Аббат Ординг, до сих пор еще славный между нами, мало знал науки. Кроме того, как мы читаем в Басне, лучше выбрать себе в цари бревно, чем змею, как бы она ни была мудра, — змею, которая будет ядовито шипеть на своих подданных и жалить их". — "Невозможно! — отвечал другой: Как может такой человек говорить проповедь в Капитуле или народу в праздничный день, если он не знает наук? Как будет он способен обязывать и разрешать, если он не понимает Писания? Как?.."

И затем "другой сказал о другом (*alius de alio*): "Этот Frater — *homo literatus\**, красноречивый, прозорливый; сильный в благочинии, много любит Обитель, много пострадал за нее". На это третий отвечает: "Да избавит нас Господь от всех ваших великих ученых, от Норфолькских сварливцев, от мрачных людей, — да будет благоволен: Твое избавить нас, молим Тебя, услыши нас, Боже всеблагий!" Затем иной (*quidam*) сказал об ином (*quodam*): "Этот Frater — хороший хозяин (*husebondus*)"; на что ему в ту же минуту ответили: "Господь да не допустит, чтобы человек, который не может ни читать, ни петь, ни отправлять божественных служб и, кроме того, — несправедливый человек, гонитель бедных, — чтобы такой человек когда-нибудь был Аббатом!" Один человек, по-видимому, роскошествует в пище своей. Другой действительно мудр, но способен презирать нищих и едва ли возьмет на себя труд отвечать им, если они будут рассуждать с ним слишком глупо. И так вот каждый (*aliquis*) о своем (*aliquo*) целые страницы избирательной болтовни. "Ибо, — говорит Джоселин, — сколько голов, столько умов". Так разговаривали наши Монахи, "во время кровопускания — *tempore minutionis*", — заведя свой синедрион гвалта; а Брат Самсон, как я заметил, ни разу ничего не сказал, сидел молча, иногда улыбаясь; но он хорошо примечал, что говорят другие, и уж конечно выведет это наружу при случае, лет двадцать спустя. Что до меня, Джоселина, то я был того мнения, что кто опытен в Диалектике, дабы различать истинное от ложного, тот будет хорош, как Аббат. Я высказал, как горячий в то время Послушник, несколько искренних слов о некотором моем благодетеле; "И что же! один

из этих сынов Велиара\*” поспешил пересказать ему их, так что он никогда уже более не смотрел на меня с тем же лицом!” Бедный Боззи! —

Так жужжит, пенится и кипит в брожении общий ум и не-ум, стремясь, так сказать, “объяснить себя”, определить, *в чем* он действительно нуждается: дело в большинстве случаев нелегкое. Сент-Эдмундсбери, в 1182 году, около Сретения, — полно хлопот и волнения. Даже суконщики задумчиво сидят над своими станками, спрашивая: Кто будет Аббатом? Sochemanni\* говорят об этом, гоня своих упряжных волов в поле; старухи со своими прылками: но никто еще пока не знает, что покажет время.

Между тем Приор, как наш временный начальник, должен приступить к делу, собрать “Двенадцать Монахов” и отправиться с ними к Его Величеству в Вальтхэм; там должны произойти выборы. Выборы, происходят ли они прямо баллотировочными ящиками в общественных собраниях, или косвенно, силою общественного мнения, или даже хотя бы путем открытия кабаков, давления со стороны землевладельцев, народного кулачного права или какими бы то ни было избирательными приемами, — выборы всегда интересное явление. Здесь всегда видишь гору, мучающуюся родами, извергающую облака пыли и бессмысленный шум, — и не знаешь, какую мышь или чудовище она родит.

Кроме того, это — в высшей степени важный общественный акт и даже, в сущности, единственный важный общественный акт. Если известны люди, которых выбрал Народ, то тем самым известен и самый Народ, в его настоящей цене или ничтожности. Героический народ избирает героев и счастлив; холопский или подлый народ избирает лжегероев, то, что называется шарлатанами, принимая их за героев, и несчастлив. Окончательный вывод из духовного состояния человека, то, что выясняет все его геройство и вдумчивость или всю его подлость, всю слепоту его помутнелых глаз, заключается в следующем вопросе, предложенном ему: Какого человека ты считаешь? Каков твой идеал человека или близкий к тому? Также и относительно Народа: ибо и Народ, каждый Народ, *выражает* свой выбор, — хотя бы только путем молчаливого повиновения и невосстания в течение века или около того. Нельзя также считать неважными избирательные приемы, Билли о реформах и т. п. Избирательные приемы Народа, в конце концов, суть точный образ его избирательного таланта; они стремятся и направляются постоянно, неудержимо к соответствию с ним и поэтому на всех ступенях весьма многозначительны для Народа. Рассудительные Читатели нашего времени не будут против того, чтобы видеть, как Монахи выбирают своего Аббата в XII столетии; как гора Сент-Эдмундсбери справляется с своими родами и какая мышь или какой человек является ее плодом.

## Выборы

В Согласии с этим, наш Приор собирает нас в Капитул; мы закликаем его перед Господом поступать справедливо, и он назначает, не по нашему выбору, но все-таки с нашего согласия, Двенадцать Монахов,

довольно подходящих. В их числе находятся: Гуго, Третий Приор, Брат Дионисий, почтенный муж, Вальтер Врач, Самсон Подризничий и другие уважаемые мужи, — хотя Вильгельм Ризничий с красным носом также между ними. Они должны отправиться прямо в Вальтхэм и там выбрать Аббата, как могут и умеют. Монахи несут обет повиновения; они не должны говорить слишком громко, под страхом кандалов, темницы и хлеба и воды; — но и монахи хотели бы знать, кому им придется повиноваться. У Общины Сент-Эдмундсбери нет общественных собраний, баллотировочного ящика, вообще открытых выборов; но тем не менее, различными неопределенными приемами, щупаньем пульса, мы стараемся удостовериться, каково ее действительное желание, и достигаем этого в большей или меньшей степени.

Но вот возникает вопрос; увы, совершенно предварительный вопрос: дозволит ли нам Dominus Rex\* выбирать свободно? Надо надеяться! Хорошо! Если так, то мы уговариваемся выбрать кого-нибудь из нашего собственного Монастыря. А иначе если Dominus Rex захочет навязать нам чужого, мы решаем затягивать, Приор со своими Двенадцатью будет затягивать; мы можем приносить жалобы, ходатайствовать, возражать; мы можем принести жалобу даже Папе, но надеемся, что это не окажется необходимым. Но тут является еще другой вопрос, поднятый Братом Самсоном: "Что, если сами Тринадцать не будут в состоянии прийти к соглашению?" Брат Самсон Подризничий, как замечают, чаще всех других готов с каким-нибудь вопросом, с каким-нибудь указанием, содержащим мудрую мысль. Хотя он и слуга слуг и говорит мало, слова его все говорят, все заключают в себе смысл. Кажется, что благодаря больше всего его свету мы и пробираемся среди этой великой тьмы.

Что, если сами Тринадцать не будут в состоянии прийти к соглашению? Говори, Самсон, и посоветуй. — Нельзя ли, предлагает Самсон, выбрать нам Шестерых из наших самых почтенных старцев, род избирательного совета, выбрать их здесь же и теперь? Мы потребуем от них, чтобы они, "положа руку на Евангелие и возведя очи на Sacrosancta\*", дали нам клятвенное обещание, что они будут поступать добросовестно; и пусть они тайно и как бы перед Господом согласятся на Трех, которых они признают достойнейшими; пусть они напишут имена их на Бумаге и передадут ее, запечатанной, немедленно же Тринадцати: одного из этих Трех Тринадцать, если будет дозволено, и назначат. Если же это не будет дозволено, т. е. если Dominus Rex принудит нас затягивать, то Бумага будет принесена назад нераспечатанной и сожжена перед всеми, так чтобы никто не испытал неприятностей за свою тайну.

Так советует Самсон, так мы и поступаем; весьма мудро, как в этом, так и в других положениях дела. Наш избирательный совет, с очами, возведенными на Sacrosancta, немедленно был избран и немедленно принес клятвенное обещание, а мы, воспев Пятый Псалом, "Verba mea":

Услышь, Господи, слова мои,  
Уразумей помышления мои! —

удаляемся с пением и оставляем Шестерых в Капитуле за их делом. Через малое время они возвещают, что дело их окончено; что они, возведя очи на Sacrosancta, умоляя Господа уразуметь и засвидетельствовать помышления их, утвердились мыслию на Трех Именах и написали их на этой Запечатанной Бумаге. Пусть Самсон Подризничий, общий слуга отправляющихся, хранит ее. На другой день утром наш Приор и его Двенадцать будут готовы отправиться в путь.

Так вот, значит, какой у них в Сент-Эдмундсбери баллотировочный ящик, или избирательная веялка: ум, устремленный к Трисвятому, призыв к Богу в Вышних засвидетельствовать помышления их; без сравнения наилучшая и, собственно, даже единственно хорошая избирательная веялка, — если только у людей есть души. Но, правда, совершенно ничего не стоящая, и даже отвратительная и ядовитая, если у людей нет душ. Но, увы, без души, какая вообще веялка может быть полезна при человеческих выборах? Мы не можем двигаться вперед без души, мы увязаем, — печальнейшее зрелище! И сама соль не спасет нас!

Согласно этому, на другой день утром наши Тринадцать отправляются; или, скорее, наш Приор и Одиннадцать, ибо Самсон, как общий слуга отправляющихся, должен еще остаться, чтобы привести кое-какие дела в порядок. Наконец, и он пускается в путь и, "неся запечатанную Бумагу в кожаной сумке, надетой на шею, и frossum bajulans in ulnis (благодарим тебя, Боззи-Джоселин) — с полами сутаны, закинутыми на руку", — что указывало на тяжелые и большие труды его, — бодро шагает вперед. Вперед через Степь, на которой еще нет ни Ньюмаркета, ни конских скачек; через Флимскую и Чертову плотину, которая уже более не служит границей и защитным валом для Мерсийских Восточных Англов; не останавливаясь, все к Вальтхэму и к тамошнему Дворцу епископа Винчестерского, ибо в нем теперь находится Его Величество. Брат Самсон, как хранитель кошелька, должен платить по счетам везде, где только таковые оказываются. "Задержки многочисленны", и путешествие вовсе не из самых быстрых.

Но, в то время как Судьба таким образом чревата и мучится родами, — какие сплетни в уединении Монастыря, какая болтовня, какие мечтательные мечтания! Тайну Трех знают только наши старцы-избиратели. Какого-нибудь Аббата, чтобы управлять нами, мы получим; но какого Аббата, о, какого? Одному Монаху среди ночного бодрствования открыто в видении, что мы получим Аббата из нашей собственной среды и не будет нужды затягивать: ему явился пророк, одетый весь в белое, и сказал: "У вас будет один из ваших, и он будет свирепствовать между вами, как волк — saeviet ut lupus". Правда? — тогда кто же из наших? Тогда видит сон другой Монах: он хорошо видел, кто именно: Некто выше на целую голову и шире в плечах, чем два остальных, одетый в стихарь и шерстяной плащ, и с видом человека, готового в бой; — мудрый Издатель лучше не назовет этого высокого Некто в настоящем положении дела! Достаточно, что видение верно; что сам св. Эдмунд, бледный и страшный, казалось, восстал из своей Раки босыми ногами и внятно сказал: "Он (ille) покроет мои ноги", — каковая часть видения также оказывается справедливой. Таковы догадки, видения,



смутные испытания ближайшего будущего; даже суконщики, старухи, весь городской народ говорит об этом, "и не один раз в Сент-Эдмундс-бери сообщают: вот Этот выбран; и затем: вот Этот и вон Тот". Кто знает?

Но вот теперь уже, наверное, в Вальтхэме, "во второе Воскресение Четырдесятницы", что по объяснению Драйасдэста означает 22 февраля 1182 г., было видно, как Тринадцать Сент-Эдмундсберийских Монахов подходят, наконец, в процессии к Винчестерскому Замку и в каком-то высоком Приемном Покое и Государственном Зале, получают доступ к Генриху II, во всей его славе. Что за зало, — нисколько не воображаемое, но совершенно действительное и бесспорное, хотя для нас до последней степени туманное, погрузившееся в глубокую даль Ночи! Винчестерский Замок исчез с лица земли, подобно Сну протекшей Ночи; сам Драйасдэст не может показать ни одного камня от него. Здание и люди, королевские и епископские, лорды и слуги, где они? Да там, говорю я, за семью Веками; хотя и погружившиеся так далеко в ночь, они все-таки там *существуют*. Посмотри сквозь завесы древней ночи, и ты увидишь. Там виден сам король Генрих: живой, благородно-смотрящий муж, с поседевшей бородой, в блестящем неопределенном одеянии; окруженный графами, и епископами, и сановниками в таковых же. Зало обширно, и рядом с ним, прежде всего, алтарь, — ибо к нему примыкает капелла с алтарем; но что за золоченые сиденья, резные столы, мягкие ковры, что за ткани на стенах, как ярко горят толстые поленья! Увы, и среди всего этого — Человеческая Жизнь; и не она ли есть величайшее чудо, какие бы ткани и одежды ни покрывали ее?

Dominus Rex, приняв благосклонно наших Тринадцать с их почти-тельными поклонами и милостиво объявив, что он будет стараться поступать во славу Божью и на благо Церкви, повелевает, "через епископа Винчестерского и Джеффри, Канцлера", — Galfridus Cancellarius, присутствующего здесь подлинного Сына Генриха и Прекрасной Розамунды, — повелевает, "чтобы они, помянутые Тринадцать, удалились теперь и назначили Трех из своего собственного Монастыря". За этим дело не стало; ибо Три уже висели готовые на шее Самсона, в его кожаной сумке. Сломав печать, мы находим имена; — что подумаете вы об этом, вы, высшие сановники, ты, нерадивый Приор, ты, Вильгельм Ризничий с красным бутылочным носом? — имена, в следующем порядке: Самсона Подризничего, Рожера, злосчастного Келаря, и Гуго, Третьего Приора.

Высшие сановники, все здесь пропущенные, "становятся вдруг очень красны в лице", но не могут ничего сказать. Но тут есть одно несомненно любопытное обстоятельство и вопрос: как Гуго, Третий Приор, бывший в составе избирательного совета, ухитрился назвать *самого себя*, как одного из Трех? Обстоятельство любопытное и которое Гуго, Третий Приор, никогда не мог вполне разъяснить, насколько я знаю! — Тем не менее мы возвращаемся и докладываем Королю наши Три имени, изменив только порядок и поставив Самсона последним, как низшего из всех. Король, по прочтении наших Трех, спрашивает нас: "Кто они такие? Родились ли они в моих владениях? Совершенно мне неизвестны! Вы должны назвать еще троих". На это Вильгельм Ризничий

говорит: "Наш Приор должен быть назван, *quia caput nostrum est*, — так как он уже наш глава". А Приор отвечает: "Вильгельм Ризничий — достойный муж (*bonus vir est*)", — несмотря на весь его красный нос. Долг платежом красен. Почтенный Дионисий также назван; никто по совести своей не может сказать: нет. Итак, в нашем Списке теперь уже Шестеро. "Хорошо! — сказал Король. — Скоро же они это обделали! *Deus est cum eis*"\*. Монахи снова удаляются, а Его Величество со своими *Pages* и *Episcopi*, Лордами, или "Law-wards", и Блюстителями Душ обдумывает, коротенько, все дело в своем королевском уме. Монахи, молча, ждут в передней комнате.

Через малое время они получают дальнейшее повеление, прибавить еще троих, но не из своего собственного Монастыря; из других Монастырей, "для славы моего королевства". Тут, — что тут делать? Мы будем затягивать, если понадобится! Мы называем, однако, с этой целью трех: Приора от св. Файта, одного доброго Монаха от св. Неота, одного доброго Монаха от св. Альбана; все мужи добрые; все они с тех пор были сделаны аббатами и сановниками. Теперь в нашем Списке Девять. Каковы будут дальше мысли *Dominus Rex*? *Dominus Rex*, милостиво поблагодарив, высылает сказать, что мы теперь должны вычеркнуть троих. Трое чужих немедленно вычеркнуты. Вильгельм Ризничий прибавляет, что он отказывается по собственному побуждению, — прикосновение благодати и почтение перед *Sacrosancta* даже в Вильгельме! Затем Король повелевает нам вычеркнуть еще пару; затем — еще одного. Отходят Гуго, Третий Приор, Рожер Келарь и почтенный Монах Дионисий; — и теперь в нашем Списке останутся только двое — Самсон Подризничий и Приор.

Который из этих двух? Это было трудно сказать — Монахам, которые за разговоры могут быть закованы в кандалы и брошены в тюрьму! Мы смиренно просим, чтобы Епископ Винчестерский и Джеффри, Канцлер, снова вошли и помогли нам решить. "Кого хотите вы?" — спрашивает Епископ. Почтенный Дионисий произнес речь, "восхваляя достоинства Приора и Самсона; но постоянно, в каждый уголок своей речи — *in angulo sui sermonis*, — вставлял Самсона". "Вижу! — сказал Епископ. — Вы хотите дать нам понять, что ваш Приор немного нерадив, что вы хотите иметь Аббатом того, кого вы называете Самсоном". "Каждый из них хорош! — сказал почтенный Дионисий, почти дрожа. — Но нам хотелось бы иметь лучшего, если Богу угодно". "Которого из двух *хотите* вы?" — спрашивает настойчиво Епископ. "Самсона!" — ответил Дионисий. "Самсона!" — повторили все те из остальных, кто еще смел говорить или повторять что-нибудь; и, в согласии с этим, о Самсоне доложено Королю. Его Величество, поразмыслив об этом одно мгновение, повелевает, чтобы Самсон был введен вместе с остальными Двенадцатью.

Его Королевское Величество, глядя на нас несколько сурово, говорит тогда: "Вы представляете мне Самсона; я его не знаю. Если бы это был ваш Приор, которого я знаю, я бы его утвердил. Но тем не менее я сделаю, как вы желаете. Но берегитесь! Клянусь истинными очами Господа (*per veros oculos Dei*), — если вы плохо распорядились, я вам покажу!" После этого Самсон выступает вперед и целует ноги Короля; но затем он быстро поднимается во весь рост, быстро обращается

к Алтарю и начинает, вместе с остальными Двенадцатью, чистым тенором, Псалом Пятидесятый, "Miserere mei Deus":

Помилуй *меня*, Боже,  
По великой милости Твоей;

его голос тверд, его походка тверда, голова высоко поднята, в лице его — никакой перемены. "Клянусь очами Господа, — сказал Король, — этот, я уверен, хорошо будет управлять Аббатством". Клянусь той же клятвой (ответственность за которую на Вашем Величестве), и я также совершенно того же мнения! Вот уже сколько времени я не встречал более подходящего для чего бы то ни было человека, чем этот новый Аббат Самсон. Многая лета ему, и *да будет* милость Господня над ним, как над Аббатом!

Таким образом, наконец, Монахи Сент-Эдмундсбери, без особого баллотировочного ящика или иных хороших веялок, сумели исполнить наиболее важное общественное действие, которое только может совершить собрание людей, а именно: отсеять себе человека, который бы ими управлял; и поистине, нельзя себе и представить, чтобы с помощью какой бы то ни было веялки они могли сделать это лучше. О, благие Небеса! В каждом Народе и в каждой Общине есть *способнейший*, мудрейший, мужественнейший, лучший; если бы мы могли разыскать его и сделать его Королем над нами, то все было бы в самой сущности своей хорошо; — это было бы наилучшее, что только Бог и Природа могут позволить *нам* совершить! Но с помощью какого искусства открыть его? Не научат ли нас Небеса в своей благодати такому искусству? Ибо потребность наша в нем велика!

Баллотировочные ящики, Билли о реформе, веялки — все это хорошо или не так хорошо; — но, увь, братья, как *может* все это, говорю я, не быть несоответственным, не быть неудачным, печальным для взора? Если все души людские затуманены для божественного, для высокого и страшного размышления о человеческом достоинстве и правде, — то мы никогда, никакими Бирмингемскими машинами, не откроем Истинного и Достойного. Написано: "Если мы сами холопы, для нас не будет существовать героев"; мы не узнаем героя, даже когда увидим его; мы примем шарлатана за героя и будем громко кричать ему, с помощью всяческих баллотировочных ящиков и всяких устройств: Это Ты! Будь королем над нами!

Что же из этого следует? Ищите только обманчивую Внешность, деньги с раззолоченными каретами, "славу" с газетными статьями и какое имя она там еще ни носит, — вы и найдете только обманчивую Внешность; божественная Действительность будет всегда далека от вас. Шарлатан будет вашим законным, неизбежным Королем; никакой земной механизм не способен устранить Шарлатана. Вы будете прирожденными рабами Шарлатана и будете страдать под его властью, пока сердца ваши не будут готовы разорваться; и никакая Французская Революция или Манчестерское Восстание, никакие частные или всеобщие вулканические пожары и извержения, сколь бы много их ни было, не могут сделать ничего более, как только "изменить *вид* вашего Шарлатана"; суть же его останется на все времена. — "А как долго, о Пророк?" — скажут иные, с довольно меланхоличной усмешкой. — Горе вам, вы *не* пророки! Так долго, пока не случится

следующее: пока великое бедствие, — если только это не произойдет от более мягких причин, — не переведет вас из Внешности в Искренность и пока вы не поймете, что или есть в мире Божественное, или же вы — необъяснимое безумие; что есть Бог, точно так же как есть Маммона, и Дьявол, и Гений Слостолюбия, и лицемерный Дилетантизм, и Пустое Хвастовство! Рассчитайте же сами, как долго это будет. Несчастные братья мои!

### Аббат Самсон

Итак, колокола Сент-Эдмундсбери гудят все и каждый, а в церкви и в капелле играют органы: Монастырь и Город, и вся восточная сторона Суффолка в великом торжестве: рыцари, шерифы, прядильщики, ткачи, все население мужское и женское, молодое и старое, даже свободные крестьяне с толстощеками ребятишками, — все высыпало наружу, чтобы праздновать и видеть прибытие Владыки Аббата! И затем происходит "разувание" Владыки Аббата при Вратах и торжественное подведение его к Главному Алтарю и Раке, "при внезапном молчании всех колоколов и органов", пока мы стоим коленапреклоненные, в глубокой молитве; и затем новый звон всех колоколов и звук всех органов и громкий *Te Deum*\* из гортаней всех присутствующих; и речи подводящего шерифа, и братское лобзание. Все завершается народными играми и обедом внутри ограды более чем на тысячу человек — *plus quam mille comedentibus in gaudio magno*.

Таким образом, тот же самый Самсон снова возвращается к нам, но вот при каких обстоятельствах он на *этот* раз нами приветствуется. Он, который ушел с полами сутаны, закинутыми на руку, величаво возвращается назад верхом на коне; внезапно он сделался одним из сановников мира. Вдумчивые читатели признают, что здесь было испытание для человека. Вчера нищий бедняк, которому было дозволено иметь не более двух шиллингов деньгами, который не имел настолько власти, чтобы погнать впереди себя собаку, — этот человек видит себя сегодня *Dominus Abbas*\*, украшенным митрой Пером Парламента, Лордом замков, ферм, поместий и обширных земель; человеком, под "властью которого находится Пятьдесят Рыцарей" и множество людей, вполне от него зависящих и немедленно ему повинующихся. Перемена, большая, чем Наполеонова, — так она внезапна! Как если бы один из поденщиков Чандоса\*, проснувшись как-нибудь утром, открыл, что он за ночь сделался Герцогом. Пусть Самсон взглянет в это своими ясными светящимися глазами и разберется здесь, если может. Мы будем теперь измерять его новой меркой, значительно более строгой, чем прежняя\*...

Но то, что достойного Правителя могли разыскать под такой личиной, могли узнать его под нею и извлечь из-под нее; — не представляет ли это, во всяком случае, удивительного доказательства того, какие политические и общественные способности, даже, скажем, больше: какая глубина и богатство истинной общественной жизненности жили в эти отдаленные варварские времена? Вот он найден, с двумя шиллингами,

самое большое, в кармане и с кожаной сумкой на шее; бредущий по большой дороге с перекинутыми через руку полами рясы. Они думают, что он тем не менее истинный Правитель, и он доказывает, что это так и есть. Братья, не нуждаемся ли и мы в нахождении истинных Правителей, или с нас будет всегда довольно лжеправителей? То были глупые, суеверные тупицы, — эти Монахи; мы же — просвещенные, Десятифунтовые Избиратели без налога на знание. Где, говорю я, наши находки, превосходящие те, подобные им, или хотя бы только с ними сравнимые? У нас тоже есть глаза, по крайней мере, мы должны их иметь; у нас есть общественные собрания, телескопы; у нас есть свет, свет факелов или свет ночников просвещенной свободной Прессы, горящий и прыгающий повсюду, как бы во всеобщей пляске факелов, — опаляющий вам усы в то время, как вы проходите по общественным дорогам, в городе и в деревне. Великие души, истинные Правители скрываются и теперь, как и тогда, под всевозможными личинами. Такие телескопы, такое освещение и — такое открытие! Отчего это происходит, говорю я, отчего это происходит? Разве это не плачевно, разве это даже, в некотором смысле, не поразительно?

Увы, недостаток этот, как нам постоянно приходится снова и снова утверждать, — есть менее недостаток в телескопах, чем недостаток в некотором зрении. У этих суеверных тупиц XII века не было телескопов; но у них были еще глаза; у них не было баллотировочных ящиков, а одно только почитание Достойного, отвращение от Недостойного. Это бывает у всех варваров. Так, г. Сэл сообщает мне, что старинные Арабские Племена имели обыкновение собираться в самое веселое *gaudeamus\**, и петь, и жечь потешные огни, и плести венки, и торжественно благодарить богов, когда и среди их племени также появлялся Поэт. И поистине, они имели к тому основания; ибо что более полезное, я уже не говорю — более благородное и более небесное, могут ниспослать боги, оказывая свою высшую милость какому-нибудь Племеню и Народу во всякие времена и при всяких обстоятельствах? Я объявляю тебе, мой огорченный, оседланный Шарлатаном, брат, вопреки всякому твоему удивлению, — что это весьма плачевно. Мы, Англичане, находим Поэта, мужа наиболее благородного, какой только появлялся где бы то ни было под Солнцем, за последние сто лет, если не больше, — а зажигаем ли мы потешные огни, благодарим ли мы богов? Нисколько. Обдумав хорошенько, мы посылаем этого мужа мерить пивные бочки в городе Дёмфрисе, а сами мы хвастаемся "покровительством гению".

Гений, Поэт; знаем ли мы, что означают эти слова? Вдохновенная душа, еще раз дарованная нам, прямо из великого огненного центра Природы, дабы видеть Истину, высказывать ее и творить ее; священный голос самой Природы, еще раз услышанный сквозь мрачную, безграничную стихию слухов и ханжества, болтовни и трусости, среди которых одичалая Земля, почти гибнущая, *сбилась с пути*. Послушайте еще раз, вы, одичалые, отуманенные смертные! Прислушайтесь еще раз к голосу из внутреннего Моря света и Моря пламени, из самого сердца Природы и Истины; познайте Факт вашего существования, то, что оно есть, отвергните личину его, то, что оно *не есть*, и, познав, творите, и да благо вам будет! —

Георг III есть защитник чего-то, что мы, в настоящее время называем "Верой". Георг III есть главный возничий Судеб Англии, дабы провести их сквозь пучину Французских Революций, Американских войн за Независимость; а Роберт Бёрнс — меряльщик пива в Дёмфрисе. Это — Илиада в ореховой скорлупе. Облик мира, склоняющегося ныне к разрушению, доведенного ныне до судорог и предсмертных мук, весь обрисован одним этим фактом, — и не он вызывает удивление, а лишь я — тем, что удивлен им. Плод долгих веков узаконенного Холопства, узаконенного вполне, как бы до степени Закона Природы; поклонение одежде и поклонение шарлатанству; вполне *узаконенное* Холопство, которому придется снова *раззакониваться*, — и знает Бог, со сколь большими затруднениями! —

Аббат Самсон нашел Монастырь весь в разгроме; ибо дождь хлестал в него, материальный дождь и метафорический, со всех стран света. Вильгельм Ризничий проводит ночи в пьянстве и занимается только *tasenda*. Наши кладовые дошли до полной скудости; Еврей-гарпии и разные бесчестные твари — наши поставщики; в нашей корзине нет хлеба. Старухи с своими веретенами набрасываются на удрученного Келаря с пронзительным Чартизмом. "Вы не можете сделать шага из-за ограды без того, чтобы Евреи и Христиане не бросались на вас с неоплаченными векселями", ибо долги, по-видимому, так же безграничны, как Национальный Долг Англии. В продолжение четырех лет наш новый Владыка Аббат ни разу не выходил за ограду без того, чтобы кредиторы Евреи и Христиане и всякого рода кредиторы не окружили его, доводя его до полного отчаяния. Наш Приор небрежен; наши Келари, должностные лица небрежны; наши монахи небрежны; кто не небрежен? Противостань этому, Самсон; ты один здесь, чтобы противостать этому; твоя задача — противостать этому и бороться с этим и умереть или убить это. Да будет милость Господня над тобою!

К нашему антикварному интересу к бедному Джоселину и его Монастырю, весь облик существования которых, весь строй мыслей, речи, деятельности так забыт, странен, так давно исчез, присоединяется теперь мягкое сияние человеческого интереса к Аббату Самсону; истинное удовольствие, как при виде человеческой работы, особенно работы управления, которая есть высшая доступная человеку работа, исполненной *хорошо*. Аббат Самсон не имеет опыта в управлении; он не прошел ученичества в ремесле управления, — увы! лишь самое трудное ученичество в ремесле повиновения. Он никогда не налагал ни в каком суде *vadium* или *plegium\**, говорит Джоселин; едва ли он даже видел какой-нибудь суд, прежде чем был призван председательствовать в нем. Но удивительно, продолжает Джоселин, как скоро он научился деловым приемам и сделался во всякого рода делах опытнее других. Из многих лиц, предлагавших ему свою службу, он удержал одного Рыцаря, искусного во взимании *vadia* и *plegia*, и через год был сам уже в этом очень искусен. А там, мало-помалу, Папа назначает его в некоторых случаях Третьим судьей, а Король — одним из своих новых Окружных Судей. Слышали, как раз сановник Осберт говорил про него: "Этот Аббат — один из наиболее проницательных у вас, *disputator est\**; если он

пойдет дальше, как начинает, то он заткнет у нас за пояс любого законника!<sup>1</sup>”

Почему же нет? Что может устранить этого Самсона от управления? В нем есть нечто, что далеко превосходит всякое ученичество; в самом человеке существует образец управления, нечто, чем можно управлять! В нем существует сердечное отвращение от всего, что бессвязно, малодушно, неправдиво, т. е. хаотично, *неуправлено*, что Дьяволово, а не Божье. Человек такого рода не может не управлять! Он носит в себе живой идеал правителя и непрестанную потребность борьбы, чтобы раскрыть его в себе. Ни Дьяволу, ни Хаосу не будет он служить ни за какое вознаграждение; нет, этот человек есть прирожденный слуга Иного, чем они. Увы, как мало значит всякое ученичество, если в самом вашем правителе имеется то, что можно назвать *бессилием* в управлении; бессилие — общие серые сумерки, освещаемые образами условности, парламентских традиций, подсчета голосов, избирательных фондов, руководящих статей; все это, несмотря ни на какую лисью быстроту и ловкость, — очень немного!

Но, в самом деле, что говорим мы: ученичество? Разве этот Самсон не прошел по-своему очень хорошего ученичества управления, а именно — труднейшего рабского ученичества повиновения? Странствуйте в этом мире без других друзей в нем, кроме Бога и св. Эдмунда, и вы или свалитесь в канаву или же научитесь очень многому. Научиться повиновению — есть основание искусства управления. Сколь многому научилось бы Светлейшее Высочество, если бы оно постранствовало по свету с кружкой для воды и с пустым мешком (*sine omni expensa*) и, после своего победоносного возвращения, село бы не за газетные статьи, не перед иллюминацией города, а у подножия Раки св. Эдмунда, в кандалах, на хлеб и на воду! Кто не может быть слугою многих, тот никогда не будет господином, истинным руководителем и освободителем многих; — вот в чем смысл истинного господства. Не было ли в Монашеской жизни необыкновенных ”политических способностей”, если и недоступных нам для подражания, то, во всяком случае, завидных? О Небо! Если бы Герцогу Логвуду\*, роскошно катящемуся теперь к своему месту среди Коллективной Мудрости, пришлось хоть когда-нибудь самому ежедневно пахнуть за семь с половиной шиллингов в неделю, и ”без пособия на воле”, — какой свет, не исчерпываемый ни логикой, ни статистикой, ни арифметикой, бросило бы это для него на многие вещи!\*

...Бессспорно, справедливый гражданин *имеет* указания от Бога и от собственной Души, от всех молчаливых и членораздельных голосов мира, делать все, что зависит от *него*, для помощи бедному тупице-шарлатану и миру, который стонет под ним. Спешите скорее, помогайте ему хотя бы тем, чтобы удалить его! Ибо все уже стало так ветхо, так сухо, так легко воспламеняемо; а он более разрушителен, чем пожар. Направьте его по крайней мере *вниз*, строго ограничьте его очагом; тогда он перестанет быть пожаром; он сделается более или менее полезным, как кухонный огонь. Огонь — лучший из слуг; но что за господин! Эта бедная

<sup>1</sup> *Jocelini Chronica*, p. 25.

тупица также рождена для какого-нибудь употребления: зачем же, возвышая ее до господства, хотите вы сделать из нее пожар, бедствие для прихода или бедствие для мира?

## Св. Эдмунд

Аббат Самсон выстроил много полезных, много благочестивых зданий: жилища, церкви, церковные колокольни, житницы; все это теперь разрушилось и исчезло, но, пока стояло, приносило пользу. Он выстроил и обеспечил "Бэвельскую Больницу"; выстроил "удобные дома для Сент-Эдмундсберийских школ". Много крыш, некогда "покрытых тростником", помог он "покрыть черепицей"; или если это были церкви, то, может быть, и "свинцом". Ибо все разрушенное или неполное, здание или что-нибудь другое, было бельмом на глазу для этого мужа. Мы видели, как его "большая башня св. Эдмунда" или, по крайней мере, ее стропила и балки лежали срезанные и помеченные в Эльмсетском Лесу. Заменять стораемую, разрушающуюся тростниковую крышу черепицей или свинцом и обращать вещественный, а еще более — нравственный хлам в нечто стройное, непроницаемое для дождя, — какое наслаждение для Самсона!

Если уж чего он никоим образом не мог не восстановить, то это — главный Алтарь, на коем, высоко воздвигнутая, помещалась сама Рака; главный Алтарь, который был поврежден огнем по вине двух беспечных дрянных сонных монахов, беспечно обращавшихся однажды ночью со Свечой, причем Рака уцелела, почти как бы чудом. Аббат Самсон прочитал своим монахам строгое нравоучение: "Одному из нас приснился Сон, что он видит св. Эдмунда нагим и в печальном состоянии. Знаете ли вы объяснение этого Сна? Св. Эдмунд являет себя нагим, потому что вы лишаете нагих Бедняков ваших старых одежд и лишь против воли даете им ту пищу и питье, которые вы обязаны им давать; сверх того, лень и небрежность Ризничего и его помощников слишком очевидны из последнего несчастья с огнем. И конечно, наш святой Мученик мог явиться извергнутым из своей Раки и говорящим со стоном, что он лишен своих одеяний и истомлен голодом и жаждой!"

Таково объяснение Сна Аббатом Самсоном, — диаметрально противоположное данному самими Монахами, которые не стеснялись говорить между собою: "Это *мы* — нагие и голодные члены Мученика; мы, которых Аббат лишает всех наших прав, ставя своего собственного служащего, чтобы проверять даже нашего Келаря!" Аббат Самсон прибавляет, что этот суд огнем ниспал на них за их ропот по поводу пищи и питья.

Между тем совершенно ясно, что Алтарь, что бы ни означал и ни предназначеновал его пожар, должен быть вновь воздвигнут. Аббат Самсон вновь воздвигает его целиком из полированного мрамора; с величайшим искусством и роскошью вновь украшает Раку, для которой он должен служить подножием. И затем, как он всегда о том молил, он имеет радость, он, грешник, узреет само преславное Тело Мученика во время этой работы, — ибо он торжественно открыл с этой целью



Loculus, Домовину или Священный Гроб. Это — высочайший момент в жизни Аббата Самсона. Сам Боззи-Джоселин поднимается по этому поводу до торжественности как бы Псалмопевца; самый нерадивый монах плачет горячими слезами, когда поют *Te Deum*.

Чрезвычайно странно; — и как далеко все это скрылось от нас, в наши времена, лишенные почитания! Патриот Гемпден, человек, который признан за наиболее святого, какого мы только имеем, лежал таким же образом около двух веков в своем маленьком доме, когда, наконец, некоторые наши сановники "и двенадцать могильщиков с блоками" также подняли его кверху под мраком ночи, отрезали ему руку перочинными ножами, сняли скальп с его головы — и выразили почитание нашему святому Герою еще иными удивительными способами! Пусть современный взор взглянет серьезно на этот давний полуночный час в Сент-Эдмундсберийской Церкви, который светит на нас ярким светом сквозь глубины семи веков; и потом осмыслим печально, чем было некогда наше Почитание Героев и чем оно теперь стало. Мы переводим со всею доступною нам точностью.

"С приближением Праздника св. Эдмунда мраморные глыбы были отполированы, и все было приготовлено для того, чтобы поднять Раку на ее новое место. На всех был наложен трехдневный пост, причина и значение коего были изъяснены для всеобщего сведения. Аббат возвещает братии Монастыря, что все должны приготовиться к перенесению Раки, и указывает время и порядок исполнения этого. Когда затем в эту ночь мы собрались к заутрене, то увидели, что большая Рака (*feretrum magnum*) воздвигнута на Алтаре, но пуста; поверху она была покрыта белой оленьей шкурой, прикрепленной к дереву серебряными гвоздями; но одна доска Раки была оставлена отдельно внизу, а Loculus с Священным Телом еще стоял на ней, на обычном своем месте, возле старой Церковной Колонны. Воспев хвалу Святому, каждый из нас приступил к исполнению своего послушания (*ad disciplinas suscipiendas*). По совершении этого, Аббат и некоторые с ним облачились в стихари и, благоговейно приблизившись, приступили к открытию Loculus'a. Весь Loculus был обвит наружной полотняной пеленой; она оказалась завязанной в верхней своей части особыми тесьмами; под ней была другая пелена, шелковая, затем еще другая полотняная пелена, а затем — еще третья. И таким образом наконец Loculus был открыт, и мы увидели, что он утвержден на небольшой деревянной подставке, для того, чтобы дно его не испортилось от камня. Над грудью Мученика находился, прикрепленный к поверхности Loculus'a, золотой Ангел, длиною приблизительно с человеческую ногу; в одной руке он держал золотой меч, а в другой — хоругвь; под ним в крышке Loculus'a было отверстие, куда древние служители Мученика обыкновенно клали руку, дабы коснуться Священного Тела. А над изображением Ангела был написан следующий стих:

"*Martiris ecce zoma servat Michaelis agalma*"<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Annual Register* (1828 year, Chronicle, p. 93), *Gentleman's Magazine*, etc. etc.\*

<sup>2</sup> "Вот одеяние Мученика, которое охраняет образ Михаила".

В головах и в ногах *Loculus*'а были железные кольца, с помощью которых его можно было поднимать.

Подняв затем *Loculus* и Тело, они понесли его к Алтарю, и я тоже протянул мою грешную руку, чтобы помочь нести, хотя Аббат приказал, чтобы никто не смел приближаться, кроме вызванных им. И *Loculus* был помещен в Раку, и доска, на которой он стоял, была помещена на свое место, и Рака таким образом была в то время закрыта. Мы все думали, что Аббат покажет *Loculus* народу и будет снова выносить Священное Тело в известные минуты Праздника. Но в этом мы горестно ошиблись, как показывает нижеследующее.

Ибо на четвертый день Праздника, когда весь Монастырь пел *Completorium*\*, Владыка Аббат переговорил наедине с Ризничим и Вальтером Врачом; и они постановили назначить к полуночи двенадцать человек из Братии, достаточно сильных, чтобы нести боковые доски Раки, и достаточно искусных, чтобы разобрать и снова собрать их. Тогда Аббат сказал, что его всегдашняя молитва была о том, чтобы взглянуть когда-нибудь на Тело своего Покровителя, и что он желает, чтобы Ризничий и Вальтер Врач были с ним. Двенадцать назначенных Братий были следующие: два Аббатовых Капеллана, два Хранителя Раки, два Брата при Облачении и, кроме того, еще шестеро, именно: Гуго Ризничий, Вальтер Врач, Августин, Вильям из Дайса, Роберт и Ричард. Я же, увы, не был в том числе.

Когда затем все в Монастыре уснули, эти Двенадцать, облаченные в стихари, вместе с Аббатом собрались у Алтаря, и, отняв одну доску у Раки, они вынули *Loculus*; они поставили его на стол, близ которого Рака обыкновенно находилась, и приготовились отнять крышку, которая была прикреплена к *Loculus*'у шестнадцатью очень длинными гвоздями. Когда они с великим трудом исполнили это, все, кроме двух вышеназванных избранников, получили приказание отступить назад. Только Аббат и эти двое удостоились взглянуть. Святое Тело так наполняло собою *Loculus*, что с трудом можно было бы пропустить даже иглу между главою и деревом или между стопами и деревом; глава была присоединена к телу и немного приподнята на небольшой подушке. Но Аббат, близко всмотревшись, увидел сперва шелковую пелену, покрывавшую все тело, и затем — полотняную пелену чудной белизны; — а над главой был распростерт небольшой полотняный плат и затем другой — небольшой и тончайший шелковый плат, как если бы то было покрывало инокини. Сняв эти покровы, они увидели, что Святое Тело все обито полотном, и таким образом, наконец, обозначились его очертания. Но тут Аббат остановился, говоря, что не дерзает продолжать дальше и узреть святую плоть нагою. Взяв главу обеими руками, он, со многими вздохами, сказал так: "Преславный Мученик, святой Эдмунд, да будет благословен час, когда ты был рожден! Преславный Мученик, не обрати мне на погибель, что я дерзнул прикоснуться к тебе, я, несчастный грешник; ты знаешь благоговейную любовь мою и намерения ума моего". И, продолжая, он прикоснулся к очам и к носу, который был весьма крупен и выдавался вперед (*valde grossum et valde eminentem*); и затем он прикоснулся к груди и к рукам; и, подняв левую руку, прикоснулся к перстам и поместил свои пальцы между священными перстами. И, продолжая, он увидел, что

стопы держатся твердо, подобно ногам человека, умершего вчера; и он прикоснулся к пальцам ног и сосчитал их (*tangendo numeravit*).

И затем было решено, что и другие Братия должны быть позваны вперед, дабы увидеть сие чудо; вследствие чего эти десять приблизились, а вместе с ними — шесть других, которые проникли тайно, без согласия Аббата, именно: Вальтер от св. Альбана, Хью Больничник, Джилльберт, брат Приора, Ричард из Хенхэма, Джоселлус, наш Келарь, и Тёрстан Малый; — и все они видели Святое Тело, но один только Тёрстан протянул руку и коснулся колен Святого и стоп его. И, дабы было обилие свидетелей, один из наших Братий, Джон из Дайса, сидел на кровле Храма с служителями Ризницы и, наблюдая сверху, ясно видел все это”.

Какое зрелище! Оно светит, ярко блестя, как лампы св. Эдмунда, сквозь темную Ночь; Джон из Дайса, с служителями Ризницы, взбирается на кровлю, чтобы наблюдать сверху, — и весь Монастырь спит, и вся Земля спит, — а с тех пор еще Семь Веков Времени по большей части отошли ко сну! Да, вполне несомненно, это — пострадавшее в мучениях Тело Эдмунда, лэндлора Восточных Графств, который, поступая со всем, ему принадлежащим, благородно и так, как он считал лучшим, был убит три века тому назад; и благородный трепет окружает память его, символ и начало многого другого, истинно благородного.

Но не дошли ли мы теперь до очень странных новых степеней Почитания Героев, здесь, в маленькой Церкви Гемпдена, с вынутыми перочинными ножами и двенадцатью могильщиками с блоками? Приемы людей в Почитании Героев — это подлинно самый внутренний факт их существования, и он определяет все остальное, — в общественных избирательных собраниях, в частных гостиных, в церкви, на рынке, — вообще где бы то ни было. Если вы имеете истинное почитание и, что, в сущности, нераздельно, почитаете настоящего человека, то все хорошо; имеете лжепочитание и, что также отсюда следует, поклоняетесь ненастоящему человеку, и тогда все дурно, и ни в чем нет ничего хорошего. Увы, когда Почитание Героев обращается в Дилетантизм, и все, кроме Маммонизма, делается пустой гримасой, то сколь многое в таком случае на этой в высшей степени суровой Земле приходит в разрушение и неудержимо идет к роковой гибели, и ни один человек уже не бросает взгляда на эти запустелые, празднолежащие развалины! И наконец, так как уже ни один небесный *Изм* не нисходит более на нас, *Измы* с противоположного конца поневоле поднимаются кверху. Ибо Земля, говорю я, есть суровое место; Жизнь — не гримаса, но в высшей степени серьезный факт. И поэтому, так как под влиянием всемирного Дилетантизма, уже многое оказалось обнаженным, т. е. оказались обнаженными не только души людей, но самые их тела и кладовые, и жизнь сделалась уже более невозможной, — то все доведено до отчаяния, снова подпало под железный закон Необходимости и голого Факта; и чтобы усмирить Дилетантизм и поразить его и сжечь его преисподним огнем, возникает Чартизм, *Голо-спин-изм*, так называемый Санкюлотизм! Да отвратят боги и те непочитаемые герои, которые еще остаются среди нас, — да отвратят они печальное предзнаменование!

Но как бы то ни было, мы видим, что *Loculus* св. Эдмунда снова благоговейно покрыт шелковыми и полотняными пеленами; крышка

снова прикреплена своими шестнадцатью старинными гвоздями, и все обито новым драгоценным шелковым покровом, — даром Губерта, Архиепископа Кентерберийского; и сквозь слуховое окно Джон из Дайса видит, что *Loculus* поставлен на свое место в Раку, и доски этой последней снова должным образом прикреплены, причем туда помещены соответствующие пергаментные документы; и теперь Джон с своими служителями Ризницы может спуститься с крыши, ибо все окончено, и весь Монастырь пробуждается к утрени. "Когда мы собрались к утренней службе, — говорит Джоселин, — и узнали, что было сделано, нас всех обуяла грусть, что мы не видали всего этого, и каждый говорил сам в себе: "Увы, я был обманут". По окончании утрени, Аббат призвал всю Братию к большому Алтарю и, кратко рассказав о происшедшем, объяснил, что было не в его власти и не было позволительно или прилично пригласить нас всех к созерцанию такового. Услыхав об этом, мы все возрыдали и со слезами воспели *Te Deum laudamus*, — и поспешили звонить в колокола на Хорax".

Глупые тупицы: почитать таким образом мертвое Тело св. Эдмунда? Да, брат мой; — и однако, в конце концов, кто знает, как надо почитать Тело Человека? Оно — явление, наиболее достойное почитания в этом подлунном мире. Ибо Сам Господь Всевышний живет видимо в этой мистической непостигаемой Видимости, которая называет себя на земле я. "Преклонение перед людьми, — говорит Новалис, — есть почитание, оказанное этому Откровению во Плоти. Мы осязаем Небо, когда кладем нашу руку на человеческое Тело". А Тело Умершего — храм, где некогда была Душа Героя и где теперь ее уже нет! О, все тайны, вся жалость, весь немой *трепет* и изумление, *Супернатурализм*, открытый для самых тупых; обнаруженная Вечность и адская Тьма, и Царство Высшего Света — все это соединилось здесь, или это нигде не существует! Зауэртейг говаривал мне своим особенным тоном: "Канцелярская судебная волокита; правосудие, даже правосудие только в денежных делах, — в котором человеку отказывают, несмотря на все его жалобы, пока в поисках за ним не пройдет двадцать, не пройдет сорок лет его Жизни; — и Похороны перед толпой Зевак, Смерть, почтенная гербами, конскими хвостами, полированной медью и безучастными двуногими, несущими длинные шесты и черные шелковые лоскуты; — не суть ли эти два вида почитания, это почитание Смерти и то почитание Жизни, — удивительная пара видов почитания у вас, Англичан?"

Можно и даже следует дать Аббату Самсону, в эту высшую минуту его существования, скрыться со всей его жизненной обстановкой от взоров современных нам людей. Ему пришлось еще отправиться во Францию, чтобы условиться с королем Ричардом относительно тамошней военной службы его Сент-Эдмундсберийских Рыцарей, и исполнить это дело с большим трудом. Ему пришлось решать дело о разогнанных Ковентрийских Монахах и, с большим трудом, после многих хлопот и поездок, добиться их обратного водворения; он обедал вместе со всеми ними и с "наставниками Оксфордских Школ"; — истинный Оксфордский *Sarut*\*, сидящий за обедом, туманным, но неоспоримым образом, в городе Подглядывающего Тома\*! Ему пришлось, не без труда, бороться с докучным Епископом Илийским, с докучным Клонийским Аббатом.

Самсон с великой душой, его жизнь — только труд и разезды; волнения и столкновения, пока не наступила вечная Ночь. Он снова послан за море, чтобы сообщить Королю Ричарду о некоторых Пэрах Англии, которые приняли Крест, но не последовали за ним в Палестину и о которых справляется Папа. Аббат с великой душой делает приготовления, чтобы отправиться, отправляется и — и Босуэлловский рассказ Джоселина, внезапно отрезанный ножницами Судьбы, *оканчивается*. Ни слова больше; только черная черта и листы чистой бумаги. Непоправимо: чудесная рука, которая направляла все эти театральные приспособления, внезапно останавливается; непроницаемая Завеса Времени падает; перед умственным взором снова все темно, пусто; с оглушающим шумом для умственного слуха наша реальная фантазмагория Сент-Эдмундсбери снова погружается в Лоно Двенадцатого Века, и все кончено. Монахи, Аббат, Почитание Героев, Управление, Повиновение, Львиное Сердце и Рака св. Эдмунда — все исчезает, подобно Видению Мирзы; и перед нами одни только обветшалые темные Развалины среди зеленых ботанических пространств да быки, овцы и дилетанты, пасущиеся на месте всего этого.

## Начала

Какой странный образец Человека, образец Времени представляет нам Аббат Самсон и его история; как странно моды, верования, формулы и время и место рождения человека изменяют облик человека!

И Формулы также, как мы их называем, обладают *реальностью* в человеческой Жизни. Они реальные, как подлинная *кожа* и *мышечная ткань* человеческой жизни; они нечто в высшей степени благодетельное и необходимое, пока вообще обладают *жизненностью* и являются для человека *живой* кожей и тканью! Ни один человек, или жизнь человека, не может выступить в мир и делать в нем свое дело без кожи и тканей. Нет; прежде всего они должны принять определенную форму, что они в действительности самопроизвольно и неизбежно и делают. Сама пена, — и об этом стоит поразмыслить, — может отвердеть в устричную раковину; все живые предметы неизбежно образуют для себя кожу.

Но, однако, ведь могут же Формулы человека сделаться *мертвыми*, ибо все Формулы неизбежно должны сделаться таковыми в процессе жизненного роста! Да, конечно. Но если это случится, если покровы бедного человека, не питаемые более изнутри, сделаются мертвой, чисто внешней кожей и мозолем, становясь все толще и толще, гаже и гаже; пока наконец сквозь них уже не будет слышно более биения *сердца*: такими они стали толстыми, мозолистыми, известковыми; и все на нем делается только известковой устричной раковиной или хотя бы полированным перламутром, внутрь, почти до самого сердца бедного человека; — да, тогда можно сказать, что их полезность снова совершенно заглохла; снова не может он выйти в мир и делать в нем свое дело; для *него* наступило время лечь в постель и готовиться к отходу, который теперь уже не может быть далеким.

Ubi Nomines sunt modi sunt\*. Привычка есть глубочайший закон человеческой природы. Она есть наша высшая сила, но также, при

известных условиях, наша презреннейшая слабость. — От Стока до Стоу пока еще только поле без следов, ненаезженное; от Стока, где я живу, до Стоу, где я должен продавать мои товары, делать мои дела, советоваться с моими небесными оракулами, — еще нет ни тропинки, ни человеческого следа; а я, принуждаемый упомянутыми потребностями, должен тем не менее предпринять туда мой путь. Но если я пройду раз, тщательно рассматривая дорогу, и успешно дойду, — то мои следы будут для меня приглашением идти второй раз по той же дороге. Она для меня легче, чем всякая другая дорога; труд "рассматривания" уже вложен в нее для меня; на этот раз я могу идти с меньшим рассматриванием или даже без всякого рассматривания, и самый вид моих следов, — какое это удобство для меня и до некоторой степени для всех моих братьев-людей! Следы топтаны и перетоптаны; тропинка становится все шире, все глаже, делается широким большаком, по которому могут даже катиться колеса, и многие идут по ней, — пока — пока Город Стоу не исчезнет из этой местности (мы знаем, что с городами это бывало) или пока в нем уже не будет ни для кого ни торговли, ни небесного оракула, ни настоящего дела; и тогда зачем кому-нибудь ходить по этой дороге? — Привычка есть наш первоначальный, основной закон; Привычка и Подражание, — у нас нет ничего более постоянного, чем эти два свойства. Они в этом мире — источник всякой Работы и всякого Ученичества, всякой Практики и всякой Учености.

Да, и мудрый человек также говорит и действует Формулами; все так делают. И вообще, чем полнее человек запряган в Формулы, тем это для него безопаснее, счастливее. Ты, который думаешь, что стоишь среди Мира гнилых Формул почти голым, с негодованием свергнув с себя обветшалые лохмотья и нездоровые наросты Формул, посмотри, насколько ты еще одет! Эта Английская Национальность, все, что накопилось в твоём Народе с незапамятных времен подлинного и действительного в его словах и приемах: все это не составило ли для тебя кожу, или вторую кожу, которая пристала к тебе так же по-настоящему, как твоя естественная кожа? Ее ты не сбросил, ее ты никогда не сбросишь: характер, который дала тебе твоя мать, должен выказываться с помощью ее. Ты — обыкновенный или, может быть, необыкновенный Англичанин: но, благие Небеса, каким Арабом, Китайцем, Евреем-Старьевщиком, Турком, Индусом, Африканским Мандинго был бы ты, *ты*, с этими твоими материнскими качествами!

Я немею, когда гляжу на длинный ряд лиц, как это можно видеть в наполненной Церкви, в Суде, среди посетителей Лондонских Трактиров или вообще во всякой толпе людей. Десятка два-три лет тому назад все они были маленькими, красными, пухлыми ребятишками; каждый из них мог быть вылеплен, испечен в любую общественную форму, по вашему выбору; но посмотрите теперь, как они определены и отвердели, — в ремесленников, художников, духовных лиц, помещиков, ученых адвокатов, неученых денди, — и теперь уже более не могут быть и не будут ничем другим.

Заметь на этом носу краску, оставленную слишком обильным употреблением говядины и портвейна, и ей соответствует огромный галстук с чрезмерной булавкой, неподвижный, выпученный и как бы угрожа-

ющий взгляд. Это — ”Деловой человек”; процветающий фабрикант, домовладелец, инженер, адвокат; его глаза, нос, галстук получили, при таких-то его занятиях и средствах, такой-то характер; не откажи ему в твоей похвале, в твоём сожалении! Пожалей также и того, с грубыми руками, с топорным лицом, с плохо приглаженными волосами, с глазами, выражающими как бы напряжение, затруднение и неуверенность; грубый рот; губы толстые, отвислые, как бы привыкшие отвисать от тяжёлого труда и усталости целой жизни: — видел ли ты что-нибудь более трогательное, чем грубый ум, столь стиснутый и все же энергичный, непокоряющийся, верный, глядящий из этого искаженного лица? Увы, а его бедная жена, — она своими собственными руками вымыла для него этот бумажный шейный платок, застегнула эту грубую рубашку и отпустила его настолько прилично одетым, насколько могла. В таких-то узах живет он, со своей стороны; ни один человек не может освободить его: *так* был испечен и отделан красный пухленький ребенок.

Или, каким образом пекли этого другого брата-смертного, что из него выпеклось существо из рода Денди? Элегантная Пустота, безмятежно смотрящая вниз на все Полное и Цельное, как на слишком низменное и бедное в сравнении с ее безмятежным Химерством и *Нецельностью*, с таким трудом достигнутыми! Героическая Пустота; неодолимая, пока кошелек и современные условия общества ее выдерживают; не исцелимая никакой чемерицей. Приговор Судьбы был таков: Будь Денди! Имей лорнеты, бинокли, Лонгакрские кэбы\* с белощтанными грумами, имей зевающую безучастность, нечувствительность; *определись* как Денди, безвозвратно; таков тебе приговор.

И все они, говорим мы, были краснощежими ребятишками; из одного и того же теста и вещества, всего немного лет тому назад; — а теперь непоправимо отделанные, вылепленные, какими мы их видим! Формулы? Не существует смертного, кроме как в глубинах Бедлама, который не жил бы весь обтянутый, как кожей, покрытый, окутанный Формулами и который, так сказать, не был бы удерживаем Формулами от Безумства и Пустоты! Они одновременно самые благодетельные и самые необходимые из человеческих экипировок: благословен тот, кто имеет кожу и ткани, если только они живы и сквозь них можно различать биение сердца. Монашество, феодализм с подлинным Королем Плантагенетом, с подлинными Аббатами Самсонами и с их прочими живыми реальностями, — сколь благословенны! —

Не без грустного участия наблюдали мы этот подлинный образец Времени, ныне совершенно поглощенного. Грустные размышления теснились в нас — и в то же время утешительные. Сколь много достойных мужей жило ранее Агамемнона! А вот — достойный правитель Самсон, муж, боящийся Бога и не боящийся ничего иного, которого мы были бы столь счастливы и горды иметь Первым Лордом Казначейства, иметь Королем, Главным Редактором, Первосвященником, — и о котором, тем не менее, Слава почти забыла упомянуть! Его бледный облик, оживший для нас в настоящую минуту, был найден среди болтовни бедного Монаха и нигде более в Природе. Забвение почти совершенно поглотило его, почти поглотило самый отзыв о том, что он когда-нибудь существо-

вал. Сколько полков, и армий, и поколений, подобных ему, уже поглотило Забвение! Их истлевший прах образует почву, на которой вырастает плод нашей жизни. Не говорил ли я, как меня тому учили мои Северные Предки, что Древо Жизни Иггдрасиль, которое шелестит вокруг тебя в эту минуту, часть которого ты в эту минуту составляешь, — что оно пустило свои корни глубоко вниз в самое древнее Царство Смерти; оно растет, и Три Норны, или *Времени*, Прошедшее, Настоящее, Будущее, поливают его из Священного Источника!

Например, кто научил тебя *говорить*?..\* Самое холодное слово было некогда пламенной новой метафорой и отважной рискованной оригинальностью. "Самое твое внимание, разве оно не значит принятие?" Представь себе этот умственный акт, который все сознавали, но которого еще никто не назвал, — когда этот новый "поэт" впервые почувствовал, что он вынужден и доведен до того, чтобы назвать его! Его рискованная оригинальность и новая пламенная метафора была признана удобоприемлемой, понятной и остается нашим названием для этого акта до сего дня.

Литература; — а посмотри на собор святого Павла и на Каменную кладку и на Почитание и Квази-Почитание, которые в нем заключаются; не говоря уже о Вестминстер-Холле и его париках\*! У людей не было ни молотка, чтобы начать работать, ни членораздельных выражений; они должны были все это сделать, и они это сделали. Какие тысячи тысяч членораздельных, получленораздельных, усердных, но по-детски произносимых *молитв* вознеслись к Небу из хижин и келий, в разных странах, в разные века, из пылких, горячих душ неисчислимого множества людей, и каждая из них стремилась высказаться, как только могла, хотя бы неполно, прежде чем могла быть составлена самая неполная *Литургия*! Литургия или удобоприемлемый и всеми принятый Ряд Молитв и Способов Молитвы — это было то, что мы можем назвать Выбором Удобоприемлемостей, хорошо изданным (Вселенскими Соборами и другими Обществами Полезных Знаний). "Выбором Красот" из огромного обширного смещения Молитв, уже существующих и накопленных, хороших и дурных. Хорошие были признаны удобоприемлемыми для людей, постепенно были собраны, хорошо изданы, одобрены; дурные, признанные неподходящими, неудобоприемлемыми, были постепенно забыты, исключены из употребления и сожжены. Это — путь всего человеческого. Первый человек, который, взирая открытой душой на это величественное Небо и Землю, на то Прекрасное и Страшное, что мы называем Природой, Вселенной и так далее, сущность чего остается всегда Неизреченной; он, который впервые, взирая на все это, пал на колена, пораженный трепетом, в молчании, как это более всего и подобало; он, побуждаемый внутренней необходимостью, он, этот "отважный оригинал", — сделал нечто, всеми мыслящими сердцами сразу признанное за нечто выразительное, вполне удобоприемлемое! Преклонять колена с тех пор всегда было положением мольбы. Оно возникло ранее, чем какие бы то ни было высказанные Молитвы, *Литании* или *Литургии*; оно было началом всякого Почитания, — которое нуждалось только в начале, столь разумно оно было само по себе. Какой поэт!\* Да, но его отважная оригинальность была вместе с тем и очень успешна. Это — родник, скрытый в первоначальной тьме и отдалении, из которого, как из Истоков Нила,



текут все *Виды Почитания*: — такая-то река Нил (ныне несколько мутная и малярийная!) Видов Почитания и началась там, и потекла, и течет вплоть до Пюезизма\*, Вертящихся Калабашей\*, Архиепископа Лода с Исповеданием св. Екатерины\* и, может быть, еще ниже!

Все, говорю я, возникает этим путем. Поэма "*Илиада*" и в действительности большинство других поэтических и, в частности, эпических созданий возникло так же, как и Литургия. Великая "*Илиада*" в Греции и маленькая "*Антология о Робин Гуде*" в Англии — оба эти произведения, как я понимаю, суть хорошо изданный "Выбор Красот" из неизмеримо обширного смещения "Героических Баллад" в соответствующих веках и странах. Подумайте, сколько колотили по семиструнной героической лире, сколько терзали менее героические жильные скрипичные струны в Греческих Царских Дворцах и Английских Придорожных Кабаках; сколько было бито в прилежные Поэтические лбы; сколько при этом было выпущено получленораздельных вздохов из дыхательного горла Поэтических людей, прежде чем мог быть достойно воспет Гнев какого-нибудь Божественного Ахиллеса, молодечество какого-нибудь Уилла Скарлета или Вэкфильдского Пиндара\*! Честь вам и слава, вы, неназванные, вы, великие и величайшие, хотя давно забытые, достойные мужи!

Равным образом и Статут "De Tallagio non concedendo"\* и вообще всякий Статут, Вид Закона, парик Законника, а тем более — Книги Статутов и Четыре Суда, вместе с "Коком о Литльтоне"\* и с Тремя Парламентскими Сословиями\* в их арьергарде, — все это возникло не без человеческой работы, по большей части ныне забытой. Между тем временем, когда Каин убил Авеля, разбив ему голову сразу, и настоящим временем, когда человека убивают в Канцеляриях по дюймам и медленно разбивают ему сердце в течение сорока лет, — заключен также большой промежуток! Само достопочтенное Правосудие началось с Правосудия Дикарей; всякий Закон есть как бы поднятое поле, постепенно разработанное и сделанное годным к пахоте из обширных зарослей Кулачного Права. Доблестная Мудрость обрабатывала и осушала его, сопровождаемая совиноглазым Педантством, совиной, ястребиной и иными формами Безумия; — доблестный земледелец усердно работал, а слепой, жадный враг *также* усердно сеял плевелы! Только потому, что до сих пор в почтенном Правосудии в париках сохранилось немного мудрости среди таких гор париковства и безумия, — только потому люди еще не выбросили его в реку; только потому оно еще и заседает у нас, подобно Драйденовой голове в "Битве книг"\*; взор сперва поражают огромный шлем, огромная гора замащенного пергамента, грязных конских волос; — а там, в самом дальнем углу, заметная лишь под конец, объемом с ореховое зернышко, скрывается подлинная частица Божественного Правосудия, может быть, еще не недостижимая для некоторых, бесспорно, все еще необходимая для всех, — и люди не знают, что с ней делать! Законники не все были Педантами, объемистыми прожорливыми особами; Законники также бывали Поэтами, бывали Героями, — или иначе их Закон уже задолго до наших дней перешел бы за Нору\*. Мы надеемся, что их Совинство, их Ястребинство постепенно исчезнут до неожиданно малых размеров и останется только их Героизм, а шлем будет уменьшен приблизительно до размеров головы! —

Все это — плод труда, и забытого труда, весь этот населенный, одетый, членораздельно говорящий, покрытый высокими башнями и широкими полями Мир. Руки забытых достойных мужей сделали его Миром для нас; они — честь им и слава! — они, *вопреки* ленивцам и трусам. Эта Английская Земля, какова она теперь, есть вывод из всего, что нашлось мудрого, и благородного, и согласного с Божественной Истиной во всех понятиях Английских Людей. Мы можем говорить на нашем Английском языке потому, что существовали Герои-Поэты от нашей плоти и крови, и мы можем говорить на нем только соответственно их числу. Наша Английская Земля имеет своих Завоевателей, Властителей, которые меняются от эпохи к эпохе, ото дня ко дню; но ее истинные Завоеватели, созидатели и вечные обладатели суть нижеследующие, и их представители, если вы можете их найти: Все Героические Души, которые когда-либо были в Англии, каждая в своем ранге; все мужи, которые когда-либо срезали хоть один куст чертополоха, осушили в Англии хоть одно болото, задумали в Англии мудрый план, сделали или сказали в Англии истинное и доблестное. Я говорю тебе: у них не было молотка, чтобы начать работать, и тем не менее Рен выстроил собор святого Павла; у них не было и одного членораздельного слога, и тем не менее появилась Английская Литература, Литература времен Елизаветы, Сатаническая Школа, Кокнийская\* Школа и другие Литературы; — словом, вновь, как в старинные времена *Литургии*, обширнейшее смещение и огромные, как мир, чащи и дебри, страстно ждущие, чтобы их "хорошо издали" и "хорошо сожгли"! Арахна\* начала с указательного и большого пальца; у нее не было даже веретена; а теперь ты видишь Манчестер и хлопковые ткани, которые могут прикрывать голые спины, по два пенса за аршин.

Труд? Количество исполненного и забытого труда, который безмолвно покоится под моими ногами в этом мире и сопровождает и помогает мне, поддерживает меня и охраняет мою жизнь, где бы я ни шел и ни стоял, что бы я ни думал и ни делал, дает повод к большим размышлениям! Не достаточно ли его во всяком случае, чтобы повергнуть для мудрого человека вещь, называемую "Слава", в полное безмолвие? Для глупцов и неразмышляющих людей она есть и всегда будет очень шумлива, эта "Слава", и громко толкует о своих "бессмертных" и т. д.; но если вы размыслите, что она такое? Аббат Самсон не был "ничто" оттого, что никто о нем ничего не *говорил*. Или ты думаешь, что достопочтенный сэръ Джабеш Виндбэг\* может быть сделан "чем-нибудь" с помощью Парламентского Большинства и Руководящих Статей? Ее "бессмертные"! Едва ли на двести лет назад Слава может вообще отчетливо помнить; да и тут она только бормочет и лепечет. Она принимается вспоминать какого-нибудь Шекспира и т. п. и болтает о нем, весьма уподобляясь гусю; — а затем далее, вплоть до рождения Тейта\*, до нашествия Хенгста\* и до лона Вечности, все было пусто; а драгоценные Тевтонские языки, Тевтонские обычаи, события — все возникло само собой, как всходит трава, как растут деревья; для этого не было нужды ни в Поэте, ни в труде из вдохновенного сердца Мужа; и у Славы нет ни одного членораздельного слова, чтобы сказать обо

всем этом! Или спроси ее, что удерживает она в своей голове при помощи каких бы то ни было средств или мнемонических уловок, включая сюда апофеозы и человеческие жертвы, относительно Водана, даже Моисея или иных, им подобных? Она впадает в сомнение даже относительно того, что они были: духи ли или люди из плоти и крови — боги, обманщики; начинает по временам опасаться, что это были просто символы, отвлеченные идеи; может быть, даже нечто несуществующее и буквы Алфавита! Она — самая шутливая, нечленораздельно болтающая, свистящая, кричащая, самая нелепая, самая немзыкальная из всех птиц летающих; ей, думаю я, не нужно никакой "трубы", а достаточно ее собственного громадного гусяного горла, длинной, так сказать, в несколько градусов небесной широты. Ее "крылья" сделались в наши дни гораздо быстрее, чем когда-либо; но ее гусяное горло кажется от этого только шире, громче, нелепее, чем когда-либо. Она — нечто преходящее, ничтожное: гусяная богиня; если бы она не была преходящею, — что случилось бы с нами! Чрезвычайно удобно, что она забывает всех нас; всех, даже самих Воданов; и мало-помалу начинает, наконец, считать нас чем-то, вероятно, несуществующим, буквами Алфавита.

Да, благородный Аббат Самсон также подчиняется забвению; принимает *его* не в тягость, а в утешение; считает *его* тихую пристанью от болезненной суеты, и волнений, и глупости, которые в часы ночного бдения много и часто заставляли вздыхать его сильное сердце. Ваши сладчайшие голоса, образующие один огромный гусяный голос, о Бобус и компания, — как могут они быть руководством для какого-нибудь Сына Адама? Когда вы и подобные вам *замолчите*, тогда "маленькие тихие голоса" будут лучше говорить ему, а в них-то и заключается руководство.

Мой друг, всякая речь и всякая молва недолговечна, безумна, неистинна. Лишь подлинный труд, который ты добросовестно выполняешь, лишь он — вечен, как Сам Всемогущий Основатель и Зодчий Мира. Крепко держись этого, — и пусть себе "Слава" и все остальное болтают сколько угодно.

Но Голос здесь слышен,  
То Мудрости Голос,  
Миров и Столетий:  
"Блюдите! Ваш выбор  
И краток, и — вечен!

Здесь, В вечном Покое,  
Где все — совершенство,  
Вас видят, вам, верным,  
Награду готовят.  
Трудитесь, надейтесь!"

Гёте\*

### III. СОВРЕМЕННЫЙ РАБОТНИК

#### Призраки

Но, говорят, у нас нет более веры: мы не верим более в святого Эдмунда, не видим более, "на краю небосклона", его образа угрожающего или подкрепляющего! Безусловные Законы Бога, подтверждаемые вечным Небом и вечным Адам, сделались системами Нравственной Философии, подтверждаемыми ловкими расчетами Прибыли и Убытка, бессильными соображениями об Удовольствии от Добродетели и Нравственно-Возвышенного\*...

Для нас нет более Бога! Законы Бога сделались Принципом наибольшего счастья, Парламентскими приемами; Небо простирается над нами только как Астрономический Хронометр, как цель для Гершелевых телескопов, чтобы стрелять по науке, чтобы стрелять по сентиментальностям. Говоря нашим языком и языком старого Джонсона, человек потерял свою *душу* и теперь после соответствующего промежутка времени начинает чувствовать потребность в ней! Здесь-то и есть самое настоящее место болезни, центр всемирной, общественной Гангрены, угрожающей всему современному ужасной смертью. Для того, кто об этом поразмыслит, здесь ствол с его корнями и корневищем, с его обширными, как мир, ветвями анчарного дерева и проклятыми ядовитыми выделениями, под которыми мир лежит, корчась в атрофии и агонии. Вы касаетесь самого фокуса всего нашего болезненного расстройства, всего нашего ужасного учения о болезнях, когда прикасаетесь к этому. Нет веры, нет Бога; человек потерял свою душу и тщетно ищет противогнилостной соли. Тщетно: в убийствах Королей, в проведении Биллей о реформе, во Французских Революциях, в Манчестерских Восстаниях не найти лекарства. Отвратительная проказа слоновости, облегченная на один час, в следующий час вновь появляется с новой силой и в еще более отчаянной форме.

Ибо на самом деле это *не есть* подлинная реальность мира; мир сделан не так, а иначе! — Поистине, всякое Общество, отправляющееся от этой гипотезы не-Бога, должно прийти к странным результатам. Неискренности, каждая из которых сопровождается своим Бедствием и Наказанием. Призраки и Обманы, десятилетние Дебаты о Хлебном законе, бродящие по Земле среди бела дня, все это не может не быть в таком случае чрезмерным! Если Вселенная внутренне *есть* "Может быть" и даже, весьма вероятно, лишь один "бесконечный Обман", то почему нас в состоянии удивить какой-нибудь меньший Обман? Все это соответствует порядку Природы, и Призраки, которые мчатся со страш-

ным шумом вдоль наших улиц, от начала до конца нашего существования никого не удивляют. Зачарованные Сент-Ивские Работные дома и Джо-Мантоновские Аристократии, гигантский Работающий Маммонизм, почти задушенный в силках Праздного Дилетантизма, кажущегося гигантским, — все это, со всеми своими разветвлениями, со своими тысячами тысяч видов и образов, — зрелище, привычное для нас.

Религия Папства, говорят, необыкновенно процветает за последние годы и является религией, имеющей вид наиболее жизненный, какой только можно встретить в настоящее время. "Elle a trois cents ans dans le ventre, — высчитывает г. Жоффруа; "c'est pourquoi je la respecte"\* — Старый Папа Римский, находя слишком трудным стоять на коленях все время, пока его возят по улицам, чтобы благословлять народ в день Corpus Christi\*, жалуется на ревматизм; вследствие этого его Кардиналы совещаются; они устраивают для него, после некоторых опытов, одетую фигуру из железа и дерева, набитую шерстью или проваренным волосом, и устанавливают ее в коленопреклоненной позе. Набитую фигуру, вернее, часть фигуры! К этой набитой части он, расположившись удобно на более низком сиденье, присоединяет, с помощью одежд и драпировок, свою голову и распростертые руки; набитая часть, в своих одеждах, преклоняет колена; Папа смотрит и держит руки простертыми. Таким образом, оба совместно благословляют население Рима в день Corpus Christi, настолько хорошо, насколько только возможно.

Я размышлял об этом Папе-амфибии, с частью тела из железа и шерсти, с головою и руками из плоти, и попытался составить его гороскоп. Я считаю его самым замечательным Первосвященником, который когда-либо затемнял Божий свет или отражался в человеческой сетчатке, за несколько последних тысячелетий. И даже с тех пор, как Хаос впервые потрясся и, как говорят Арабы, "чихнул", когда его пронзил первый луч солнечного света, какой более странный продукт произвели совместными трудами Природа и Искусство? Вот Верховный Священник, который думает, что Бог есть, — что ж во имя Бога *думает* он, что Бог есть, и полагает, что все почитание Бога есть театральная фантазмагория восковых свечей, органной музыки, Григорианского пения, чтения во время служб, пурпурных монсиньоров, артистически распростертых частей тела из шерсти и железа, дабы простецы были спасены от худшего?

О, читатель! я не говорю, кто избранники Велиара. Этот бедный Папа-амфибия тоже дает подаяние Бедным и скрыто хранит в себе больше доброго, чем сам сознает. Его бедные Иезуиты были во время последней холеры в Италии, вместе с несколькими Немецкими Докторами, единственными существами, которых низкий страх не свел с ума; они безбоязненно спускались во все трущобы и притоны безумия; бодрствовали у изголовья умирающих, принося помощь, принося совет и надежду; они светили, как яркие неподвижные звезды, когда все остальное скрылось в хаотическую ночь. Честь им и слава! Этот бедный Папа, — кто знает, сколько хорошего в нем скрыто? В Эпоху, вообще слишком склонную к забвению, он хранит, хотя и очень печальное, прозрачное, воспоминание о самом Высоком, о самом Благословенном,

что когда-либо существовало и что, соответственно в новых формах, вновь будет отчасти существовать. Не есть ли он как бы вечная мертвая голова со скрещенными костями\*, возрождающаяся на могиле Всемирного Героизма — на могиле Христианства? Такие Благородные приобретения, купленные кровью лучших людей мира, не должны быть утрачены; мы не можем допустить, чтобы их утратили, несмотря ни на какие смуты. Для всех нас настанет день, для немногих из нас он уже настал, — когда ни один смертный, чье сердце тоскует по "Божественному Смирению" или по иным "Высшим формам Мужества", ни один смертный не будет искать их в мертвых головах, но найдет их вокруг себя, здесь и там, в прекрасных живых головах. Сверх того в этом бедном Папе и в его Сценической Теории Почитания видна откровенность, которую я готов даже уважать. Не частью, а всем сердцем приступает он к своему почитанию с помощью театральных машин, как будто в природе теперь нет и никогда уже опять не будет другого способа почитания. Он готов спросить вас: какого другого? Под этим моим Григорианским Пением и под великолепной Фантасмагорией, освещаемой восковыми свечами, находится предусмотрительно скрытая от вас Бездна Черного Сомнения, Скептицизма, даже Якобинского Санкюлотизма, — Оркус\*, который не имеет дна. Подумайте об этом. "Пруд Гробы покрыть блинами", — как похвалялся это сделать Трактирщик, у которого остановилась Джини Динс!\* Бездна Скептицизма, Атеизма, Якобинизма, — посмотрите, она покрыта, она спрятана от вашего отчаяния сценическими приспособлениями, обдуманно устроенными. Эта набитая часть моей фигуры спасает не только меня от ревматизма, но также и вас от многих других *измов!* В этом вашем Жизненном Странствовании неизвестно куда вас сопровождает прекрасный марш Скваллачи и Григорианское пение, а пустая Ночь Оркуса тщательно от вас скрыта!

Да, поистине, немного людей, которые почитают с помощью вертящихся Калмыцких Калабашей, делает это наполовину против того, что делается столь полным, откровенным и действенным образом! Друри-Лейн\*, говорят, — и это много значит, — охотно поучился бы у него, как одевать своих актеров, как располагать свет и тени. Он — величайший актер, который получает в настоящее время в этом мире жалованье. Бедный Папа! И я к тому же слышал, что он быстро идет к банкротству и что через измеримый ряд лет (гораздо *меньший*, чем "триста лет") у него не будет и полушки, чтобы сварить себе похлебку! Его старая ревматическая спина тогда отдохнет, а сам он и его театральные способности навеки крепко уснут в Хаосе.

Увы, зачем же ходить в Рим за Призраками, странствующими по улицам? Призраки, духи справляют в этот полуночный час свой юбилей, и кричат, и бормочут, и, пожалуй, надо скорее спросить, какая возвышенная реальность еще бодрствует где-нибудь? Аристократия стала Аристократией-Призраком, неспособной более *делать* свое дело и ни малейшим образом не сознающей, что у нее есть какое-нибудь дело, которое еще надо делать. Она неспособна, и совершенно не заботится об этом, делать свое дело; она заботится только о том, чтобы требовать

плату за исполнение своего дела, — более того, требовать все более высокую и очевидно незаслуженную плату, и Хлебных законов, и *увеличения* ренты, ибо старый размер платы, по ее словам, уже более не соответствует ее потребностям! Гигант, так называемая "*Машинократия*", действительный гигант, хотя пока еще слепой и лишь наполовину проснувшийся, борется борьбой гидры и корчится в страшном кошмаре, "словно он должен быть задушен в силках Аристократии-Призрака", которая, как мы сказали, все еще воображает, что она — тоже гигант. Он борется как бы в кошмаре, пока не будет разбужен; он задыхается и напрягается, так сказать, на тысячи ладов, истинно мучительным образом, через все фибры нашего Английского Существования, в настоящие часы и годы! Неужели наше бедное Английское Существование вполне превратилось в Кошмар, полный одних только Призраков? —

Поборник Англии, запряганный в железо или цинк, въезжает в Вестминстер-холл, "будучи посажен на седло лишь с небольшой помощью", и спрашивает там, есть ли в четырех странах света, под сводом Небесным, какой-нибудь человек или демон, который осмелится сомневаться в правах этого Короля? Ни один человек под сводом Небес не дает ему ясного ответа, — который, собственно, некоторые люди могли бы дать. Разве этот Поборник не знает о мире, что он есть огромный Обман и бездонная Пустота, покрытая поверху ярким холстом и другими остроумными тканями? Оставим его в покое, и пусть он себе спрашивает всех людей и демонов.

Его мы предоставили его судьбе; но нашли ли мы кого другого? От этой высочайшей вершины вещей вниз сквозь все слои и широты встретили ли мы сколько-нибудь вполне пробужденных Реальностей? Увы, напротив, целые полчища и целые поселения Привидений, не Божьих Истин, но Дьявольских Лжей, вплоть до самого нижнего слоя, который лежит теперь заколдованный под этой навалившейся на него тяжестью неправд в Сент-Ивских Работных домах, столь обширный и столь беспомощный!..\*

Мне этот всеоглушающий звук Надувательства, несчастной Лжи, ставшей необходимой, несчастного Неверия Сердца, попавшего в заколдованные Работные дома, — мне этот звук представляется совершенно подобным звуку Трубы в день Страшного суда! И я говорю себе по-старинному: "Надо всем этим не написано благословение Бога. Надо всем этим написано Его проклятие!" Или, может быть, Вселенная только *химера*, — так сказать, совершенно испорченные часы, мертвые, как медь, которыми Мастер, если только был когда-нибудь какой-нибудь Мастер, давно уже перестал заниматься? — Моему другу Зауэртейгу этот несчастный семифутовый Шляпник\*, как вершина Английского Надувательства, казался чрезвычайно замечательным.

Увы, то, что мы, здешние уроженцы, так мало его замечаем; что мы смотрим на него как на вещь саму собою понятную — в этом главная тяжесть нашего несчастного положения\*...

Законы Природы, должен я повторить, вечны: ее тихий, спокойный голос, говорящий из глубины нашего сердца, не должен быть, под страхом ужасных кар, оставляем без внимания. Ни один человек не может отклоняться от истины без вреда для себя; ни один миллион

людей; ни Двадцать семь Миллионов людей. Покажите мне Народ, ставший где бы то ни было на этот путь, так что все полагают, признают, считают его дозволенным себе и другим, — и я покажу вам Народ, идущий с общего согласия широким путем. Широким путем, сколько бы ни было у него Английских Банков, Бумагопрядилен и Герцогских Дворцов. Не к счастливым Елисейским полям придет этот Народ; не к вечным победным венцам, заслуженным молчаливой Доблестью; но к пропастям, к пожирающим пучинам, — если только он не остановится. Природа предназначила счастливые поля, победные лавровые венцы, — но лишь мужественным и верным: *Неприрода*, то, что мы называем Хаосом, заklючает в себе только пустоты, пожирающие пучины. Что такое Двадцать семь Миллионов и их единомыслие? *Не* верьте им: Миры и Столетия, Бог и Природа и Все Люди говорят иное.

“Все это — риторика?” Нет, брат мой, как это ни странно сказать, все это Факт. Арифметика Коккера не более верна. Забытое в наши дни, все это столь же древне, как основание Вселенной, и будет длиться, пока не окончится Вселенная. Это теперь забыто, и одно напоминание об этом искажает твое приятное лицо насмешливой гримасой, но это будет снова достоянием памяти, если только Закон тяготения не вздумает прекратиться и люди не найдут, что они *могут* ходить по пустоте. Единомыслие Двадцати семи Миллионов ничего не сделает. Не ходи с ними; беги от них, как от смертельной опасности. Двадцать семь Миллионов, идущих этим путем, с золотом, звенящим в каждом кармане, с торжественными кликами, возносящимися до неба, непрестанно приближаются, — *дозволь мне снова тебе это напомнить, к концу твердой земли*, — к концу и уничтожению всякой Верности, Правдивости, истинного Достоинства, которые только были на их жизненном пути. Их благородные предки проложили для них “жизненный путь”; в сколь многих тысячах смыслов! На их языке нет ни одной старой, мудрой Пословицы, ни одного честного Принципа, выработавшегося в их сердцах и выразившегося вовне; ни одного верного, мудрого приема делания или исполнения какого-нибудь труда или сношения с людьми, которые не помогали бы им двигаться вперед. Жизнь еще возможна для них; не все еще — Бахвальство, Ложь, Поклонение Маммоне и *Неприрода*; потому что кое-что еще — Верность, Правдивость и Доблесть. С некоторым хотя бы и очень значительным, но конечным количеством Неправдивости и Фантазмов общественная жизнь еще возможна; но не с бесконечным количеством! Превзойдите это некоторое количество, семифутовую Шляпу — и все, вплоть до самого заделанного в цинк Поборника, начинает колебаться и распадаться, в Манчестерских Восстаниях, Чартизмах, Подвижном тарифе; ибо Закон Тяготения не перестает действовать. Вы непрестанно подвигаетесь к концу земли; вы, в буквальном смысле слова, “завершаете путь”. Шаг за шагом, Двадцать семь Миллионов бессознательных, Людей; пока, наконец, вы не очутитесь на краю земли; пока среди вас уже не будет более никакой Верности; пока вы не сделаете последнего шага уже *не* над землею, но в воздухе, над глубинами океана и клокочущими пучинами; — или, может быть, Закон Тяготения перестал действовать?



О, это ужасно, когда целый Народ, как обыкновенно выражались наши Предки, — "забывает Бога" и начинает помнить только Маммону и то, к чему Маммона ведет; когда этот самопровозглашающий Шляпник становится более или менее эмблемой всех делателей, и работников, и людей, которые только что-нибудь делают, — от руководства душами, руководства телами, эпических поэм, парламентских актов вплоть до шляп и чистки сапогов! Нет ни одного лживого человека, который бы не делал неисчислимого зла; сколько же зла могут накопить, за одно или два поколения, Двадцать семь Миллионов в высшей степени лживых? Сумма его, видимая на каждой улице, на каждой базарной площади, в каждом сенате, публичной библиотеке, соборе, бумагопрядильне и объединенном рабочем доме, наполняет нас чувством, далеко не веселым!

### Англичане

И тем не менее, при всех твоих теоретических пошлостях, какая глубина практического смысла в тебе, великая Англия! Глубина смысла, справедливости и мужества, в которой, несмотря на все затруднения и заблуждения мира и на эту величайшую путаницу затруднений, среди которых мы живем, все-таки еще есть надежда, еще есть уверенность!

Англичане — немой народ. Они могут совершать великие дела, но не могут описывать их. Подобно древним Римлянам и еще немногим другим, их Эпическая Поэма написана на земной поверхности; ее подпись — Англия. Жалуются, что у них нет художников; в самом деле, — лишь один Шекспир, а вместо Рафаэля — только Рейнольдс; вместо Моцарта — ничего, кроме мистера Бишопа; ни одной картины, ни одной песни. И тем не менее они произвели Шекспира; посмотрите, как элемент Шекспировой мелодии заключен в их природе; принужден раскрываться в одних только Бумагопрядильнях, Конституционном Правительстве и т. п.; — и как он особенно интересен, когда становится видим, что ему удается даже в таких неожиданных формах! Гёте говорил по поводу Лошади: какое впечатление, почти трогательное, производит то, что животное с такими свойствами так стеснено: его речь — не что иное, как нечленораздельное ржание; его ловкость — только ловкость *копыта*; пальцы все соединены, связаны вместе; почти слиты в одно копыто, подкованы железом. По его мнению, в высшей степени выразителен этот блеск глаз великодушного благородного четвероногого; это гарцевание, эти изгибы шеи, несущей грома.

Щенок Знания имеет возможность свободно высказываться; но Боевой конь почти нем, и ему очень далеко до свободы! Так всегда. Поистине, наиболее свободно вами высказанное никоим образом не есть всегда наилучшее: это скорее наихудшее, наиболее слабое, наиболее пошрое; смысл быстр, но узок, эфемерен. Мой привет молчаливой Англии, молчаливым Римлянам. Да, я думаю также, что и молчаливые Русские чего-нибудь да стоят: разве они даже и теперь не воспитывают, несмотря на всяческое порицание, огромную полуварварскую половину мира, от Финляндии до Камчатки, приучая их к порядку, к подчинению,

к цивилизации поистине древнеримским способом: не говоря обо всем этом ни слова; спокойно слушая всякого рода порицания, высказываемые разными Ответственными Издателями! Между тем, например, Французы, вечно говорящие, вечно жёстиколирующие, — кого они в этот момент воспитывают? — Да и из всех животных наиболее свободно высказывающийся, есть, полагаю я, род *Simia*: пойдите в Индейские леса, говорят все путешественники, и посмотрите, как быстро, ловко, неумоимо это Обезьянье население!..\*

...Как приятно видеть его коренастую фигуру, этого толстокожего Человека Практики, по-видимому, бесчувственного, может быть, сурового, почти тупого, — когда сопоставишь его с каким-нибудь легким, ловким Человеком Теории, который весь вооружен ясной логикой и всегда способен на ваше "Почему?" ответить: "Потому!" Не правда ли, ловкий Человек Теории, такой легкий в движениях, ясный в речах, с хорошо натянутым луком и с колчаном, полным стрел-аргументов, — ведь он наверное всегда подстрелит дичь, всегда пронзит вопросом самое сердце, — всегда будет торжествовать, согласно тому, как он это обещает? К вашему удивлению, чаще всего оказывается, что Нет. Бесчувственная Практичность с нахмуренными бровями, с толстыми подошвами, без логических речей, преимущественно молчащая, лишь иногда только тихо ворчащая или хрюкающая, она имеет в себе то, что превосходит все логические речи: Совпадение с Невысказанным. То, что может быть высказано, что лежит поверх ее, как наружная пленка или внешняя кожа, может быть ее и не ее; но то, что может быть сделано, что проникает внутрь, до центра Вселенной, — здесь-то вы ее и найдете!

Грубый Бриндлей мало говорит от себя; грубый Бриндлей, когда перед ним накапливаются затруднения, "обыкновенно" удаляется молча "в свою постель"; удаляется "иногда на три дня подряд в свою постель, чтобы иметь возможность быть там в совершенном уединении", и обсудить в своей грубой голове, каким образом затруднения могут быть побеждены. Некрасноречивый Бриндлей, — посмотрите: он соединил моря; суда его видимо плавают над долинами, невидимо — сквозь сердце гор. Мерси и Темза, Хамбер и Северн подали друг другу руки; Природа в высшей степени явственно отвечает: Да! Человек Теории спускает свой туго натянутый лук; Факт Природы должен был бы пасть пораженный, но он этого не делает: логическая стрела отскакивает от него, как от чешуйчатого дракона, и упрямый Факт продолжает свой путь. Как странно! В конце концов вам придется схватиться с драконом ближе, поразить его с помощью действительной, а не кажущейся способности; испытать, сильнее вы или он. Схватитесь с ним, боритесь с ним; выкажите упорную твердость мускулов, а еще более — то, что мы называем твердостью сердца, которая подразумевает настойчивость, полную надежды или даже отчаянную, непокоримое терпение, спокойную, чистую открытость, ясность ума; все это будет "силой" в борьбе с драконом; вся истинная сила человека заключается в его труде, и здесь найдем мы его мерило.

Из всех Народов мира в настоящее время Англичане — самые глупые в разговоре, самые мудрые в действии. Они, говорю я, точно немой Народ, который не умеет разговаривать и никогда не разговари-

вал, несмотря на Шекспира и Мильтона, которые показывают, какая в нем, все-таки, скрывается возможность! — О мистер Буль!\* Я смотрю на твое угрюмое лицо со смесью жалости и смеха, но также с удивлением и уважением. Ты не жалуешься, мой достославный друг; и все-таки я думаю, что сердце твое полно печали, невысказанной грусти, серьезности — глубокая меланхолия (как некоторые утверждают) есть основание твоего существа. Бессознательно, ибо ты ни о чем не разговариваешь, эта великая Вселенная в твоих глазах велика. Не отдаваясь спокойно течению, а плывя с настойчивым усилием, прокладываясь ты свой путь. Богини судьбы поют про тебя, что тебя неоднократно будут признавать ослом и глупым волом и что ты с божественным равнодушием поверишь в это. Мой друг, все это неправда, и ничто никогда не было более ложно в смысле факта! Ты из тех великих, величие которых маленький прохожий не замечает. Самая твоя глупость мудрее, чем их мудрость. Великая *vis inertiae*\* скрывается в тебе; сколь много великих качеств, неизвестных мелким людям. Одна Природа знает тебя и признает твое величие и силу: твой Эпос, не выраженный словами, написан огромными буквами на поверхности нашей Планеты, — молы, торговля хлопком, железные дороги, флоты и города, Индийские Империи, Америки, Новые Голландии — все это может быть прочтено сквозь всю Солнечную Систему!

Но также и молчаливые Русские, как я сказал, они, выравнивающие всю дикую Азию и дикую Европу в военный строй и ряд, — страшное, но до сих пор удающееся предприятие, — они еще более немые. Древние Римляне также не умели *говорить* в течение многих столетий, — пока мир не стал их собственностью; а столь много говорившие Греки, когда истратили все стрелы своей логики, были поглощены и уничтожены. Стрелы логики, какими ничтожными отскакивали они от несокрушимых толстокожих фактов; фактов, которые могли быть сокрушены только действительной силой Римских мышц! — Что до меня, то, в наши громкоболтающие дни, я тем глубже уважаю все Молчаливое. Великое Молчание Римлян! — да, оно величайшее из всех, ибо разве оно не подобно молчанию богов! Даже Пошлость, Глупость, которые могут молчать, — даже и они сравнительно почтенны! "Талант молчания" — наш основной талант. Великая честь тому, чей Эпос есть мелодичная Илиада в гекзаметрах; не пустозвонная Лже-Илиада, в которой нет ничего истинного, кроме одних гекзаметров и форм. Но еще большая честь тому, чей Эпос есть могучая Держава, постепенно созданная, могучие ряды героических Дел, — могучая Победа над Хаосом; *такому* Эпосу, в то время как он сам себя пел, придали форму и должны были придать ее, вселясь в него, "Вечные Мелодии". Относительно этого Эпоса нельзя ошибиться. Дела больше Слов. В Делах есть жизнь, немая, но несомненная, и они растут, как живые деревья, как плодовые деревья; они населяют пустоту Времени, делают его зеленым и придают ему цену. Зачем дуб стал бы логически доказывать, что он может расти и будет расти? Посадите его; испробуйте его; дары прилежного, рассудительного уподобления и выделения, развития и сопротивления, *сила* роста, — эти дары тогда сами выкажут себя. Мой глубокоуважаемый, достославный, крайне нечленораздельный мистер Буль! —

Попросите Булля высказать о чем-нибудь его мнение, очень часто сила тупости не может идти дальше. Вы умолкнете, не Веря себе, как перед пошлостью, граничащей с бесконечностью. Его Церковность, Диссентерство\*, Пюзеизм, Бентамизм, Школьная Философия, Модная Литература не имеют себе подобных в этом мире. Предсказание богинь судьбы исполнилось: вы называете его волком и ослом. Но приставьте его к делу: почтенный человек! Мысль, им высказанная, почти равняется нулю; девять десятых ее — очевидная бессмыслица; но мысль, им не высказанная, его внутреннее молчаливое чувство того, что истинно, что соответствует факту, что может быть сделано и что не может быть сделано, — все это поищет равного себе в мире. Необыкновенный работник! Неодолимый в борьбе против болот, гор, препятствий, беспорядка, нецивилизации, всюду побеждающий беспорядок, оставляющий его за собой, как систему и порядок. Он "удаляется в постель на три дня" и сообщает!

Но вместе с тем, как он ни глуп, наш дорогой Джон, — он все-таки, после бесконечных спотыканий и неисчислимых пошлостей, сказанных с пустых бочонков и парламентских скамей, — он все-таки непременно придет в конце концов к чему-то вроде верного заключения. Вы можете быть уверены, что его уклонения или спотыкания, через года или века, окончатся устойчивым равновесием. Устойчивым равновесием, говорю я, с самым низким центром тяжести — неустойчивым, с центром тяжести очень высоким, я видел, как это делали более проворные люди! Ибо в самом деле, попробуй только побольше уклоняться и спотыкаться, и ты избежишь этой наихудшей ошибки, то есть поместить твой центр тяжести как можно выше; твой центр тяжести непременно опустится как можно ниже и там и останется. Если медленность, то, что мы, в нашем нетерпении, называем "глупостью", есть цена превосходства устойчивого равновесия над неустойчивым, — будем ли мы ворчать на некоторую медленность? Не менее великолепным свойством Булля является, в конце концов, и то, что он остается нечувствительным к логике и не уступает в течение долгого времени, в течение десяти лет и более, как то было в случае Хлебных законов, после того, как уже все доказательства и тени доказательств исчезнут перед ним, и пока, наконец, даже уличные мальчишки не начнут издеваться над аргументами, которые он приводит. Логика, — Λογική, "Искусство Речи", — говорит то-то и то-то достаточно ясно; тем не менее Булль все еще покачивает головой; рассматривает, не заключается ли в этом деле еще чего-нибудь *нелогического*; чего-нибудь "невывказанного", еще "не способного быть высказанным", как это столь часто бывает! Мое твердое убеждение таково, что, видя себя заколдованным, связанным по рукам, связанным по ногам, в Бастилиях по Закону о бедных и еще в разных местах, — он на три дня удалится в постель и *придет* к какому-нибудь заключению! Его трехлетний "полный застой в торговле", увы, не есть ли это довольно тягостное "лежание в постели для соображения". Бедный Булль!

Булль — прирожденный Консерватор. И за это также я невыразимо уважаю его. Все великие Народы консервативны; туго верят новшествам, терпеливо переносят многие временные заблуждения; глубоко и навсегда уверены в величии, которое есть в Законе и в Обычаях, некогда

торжественно установленных и издавна признанных за справедливые и окончательные. Верно, о Радикальный Реформатор, — нет Обычая, который, собственно говоря, был бы окончательным, — ни одного. И тем не менее ты видишь *Обычаи*, которые во всех цивилизованных странах считаются окончательными; и даже, под Древнеримским названием *Mores*, считаются *Моралью*, Добродетелью, Законами Самого Бога. Таково, уверяю тебя, немалое число из *них*, таковыми были они некогда почти все. И я чрезвычайно уважаю этого положительного человека, — тупицу, ты скажешь; да, но тупицу из хорошего материала, которая считает, что все "Обычаи, некогда торжественно признанные", суть окончательные, божественные и представляют собой правило, по которому человек может идти, ни в чем не сомневаясь и дальше не расспрашивая. Каковы были бы наши времена, если бы жизнь и торговля всех людей, во всех их частях, была бы еще проблемой, гипотетической задачей, имеющей быть разрешенной с помощью тяжеловесной Логики и Бэконовской Индукции\*! Конторщик в Истчипе не может тратить времени на проверку своих Таблиц Готовых Расчетов; он должен признать их за проверенные, точные и бесспорные; или ведение им книг по Двойной Бухгалтерии остановится. "Где законченная Главная Книга?" — спрашивает Хозяин вечером. "Сэр, — отвечает тот, — я проверил Таблицы Готовых Расчетов и нашел кое-какие ошибки. Главная [Кассовая] Книга —!" — Представьте себе что-нибудь подобное!

Правда, все основано на том, что ваши Таблицы Готовых Расчетов довольно правильны, что они — *не* невыносимо неправильны! Но положим, что Таблицы Готовых Расчетов привели к записям в вашей Кассовой Книге, вроде следующих: "*Кредит*: Английский Народ с пятнадцатью веками полезного Труда. *Дебет*: помещение в заколдованных Бастилиях по Закону о бедных. *Кредит*: завоевание самой обширной Империи, которую Солнце когда-либо видело. *Дебет*: Ничегонеделание и "Невозможно", написанное на всех отраслях ее управления. *Кредит*: горы собранных золотых слитков. *Дебет*: невозможность купить на них Хлеба". Такие Таблицы Готовых Расчетов, думается мне, становились сомнительными, ныне они даже перестают и уже перестали быть сомнительными! Такие Таблицы Готовых Расчетов являются Солецизмом\* в Истчипе и должны быть, как бы дела ни были спешны, и будут, и непременно будут несколько исправлены. Дела не могут идти далее с *ними*. Английский Народ, наиболее Консервативный, самый толстокожий, наиболее терпеливый из Народов, вынужден, одинаково, как своей Логикой, так и своей Не-логикой, вещами "высказанными" и вещами еще не высказанными или не очень высказываемыми, а лишь чувствуемыми и весьма невыносимыми, — вынужден сделаться вполне Народом-Реформатором. Его Жизнь, какова она есть, перестала быть для него более возможной.

Не торопите этот благородный, молчаливый Народ; не возбуждайте Берсеркерского иступления\*, которое в нем живет! Знаете ли вы его Кромвелей, Гемпденов, его Пимов и Брэдшо? Все это люди очень мирные, но они могут сделаться весьма страшными! Люди, обладающие, подобно своим древним Германским Предкам времен Агриппы, душой, "которая презирает смерть"; для которых смерть в сравнении

с ложью и несправедливостью есть свет; ”в которых есть исступление, непобедимое бессмертными богами”! Уже было, что Английский Народ схватил за бороду Привидение, казавшееся весьма сверхъестественным, и сказал приблизительно так: ”Что же, даже если бы ты был действительно ”сверхъестественным”? Ты, с твоими ”божественными правами”, ставшими дьявольской ложью? Ты — даже не ”естественный”; могущий быть обезглавленным, совершенно уничтоженным!” — Да, именно настолько, насколько было божественно терпение этого народа, настолько божественно должно быть и будет его нетерпение. Прочь, вы, позорные Практические Солецизмы, истинные порождения Князя Тьмы! Вы почти разбили наши сердца, мы не можем и не будем выносить вас долее. Прочь, говорим мы, уходите подобру-поздорову! Клянемся Богом Всевышним, чьи сыны и прирожденные провозвестники — верные мужи, вы здесь больше не останетесь! Вы и мы сделались несовместимыми: мы не можем жить долее в одном доме. Или вы должны удалиться, или мы. Есть ли у вас охота попробовать, *что* из этого выйдет?

О мои Консервативные друзья, вы, которые до сих пор специально называетесь и боретесь, чтобы вас признавали ”Охранителями”, — о, если бы Небу было угодно, чтобы я мог убедить вас в том Факте, древнем, как мир, вернее которого не может быть сама Судьба, — Что только Истина и Справедливость *способны* быть ”сохраненными” и сбереженными. То, что несправедливо, что *не* согласуется с Законами Бога, хотите ли *вы* попытаться сохранить это в Божьем Мире? Но это так старо, говорите вы? Да, и тем более должны торопиться *вы*, более всех других, не дать ему сделаться еще старше! Если хотя бы легчайший шепот в вашем сердце внушает вам, что это нехорошо, — спешите, ради спасения самого Консерватизма, строго испытать это, низвергнуть это раз навсегда, если оно негодно. Почему хотите вы или как можете вы сохранить то именно, что нехорошо? ”Невозможность” тысячекратно отмечена на нем. А вы называете себя Консерваторами, Аристократами — разве честь и благородство ума, если уж они исчезли повсюду на земле, не должны были бы найти последнего убежища у вас? О несчастные!

Ветвь, которая умерла, должна быть отрезана для блага самого дерева. Она стара? Да, она слишком стара. Много томительных зим качалась она и скрипела, истощала и разъедала своей мертвой древесной органическую субстанцию и все еще живые ткани здорового дерева; много длинных летних дней ее безобразная голая коричневая кора оскверняла прекрасную зелень листвы; каждый день причиняла она зло, и только зло: вон ее, для блага дерева, если не из-за чего другого. Пусть Консерватизм, который хочет охранять, отрежет *ее* прочь. Разве лесничий не объяснил вам, что мертвая ветвь, с ее мертвым корнем, оставленная на дереве, чужда ему, ядовита; она подобна мертвому железному гвоздю, какому-нибудь ужасному заржавленному сошнику, вонзенному в живое вещество, — нет, она даже гораздо хуже, ибо в каждую бурю (”торговый кризис” или тому подобное) она качается и скрипит, бросается направо и налево и не может оставаться спокойной, каким оставался бы мертвый железный гвоздь.

Если бы я был Консервативной Партией в Англии (вот еще другой смелый оборот речи), я бы и за сто тысяч фунтов не позволил этим

Хлебным законам ни единого часа продолжать свое существование! Потоси и Голконда\*, соединенные вместе, не могли бы купить моего согласия на них. Сочли ли вы, какие запасы горького негодования собирают они против вас в каждом справедливом Английском сердце? Знаете ли вы, какие вопросы, касающиеся не только Цен на хлеб и Подвижного тарифа, *заставляют* они ставить перед собой каждого размышляющего Англичанина? Вопросы неразрешимые или, по крайней мере, до сих пор неразрешенные; более глубокие, чем какие до сих пор исследовал какой бы то ни было из наших Логических лотов; вопросы, чрезвычайно глубокие, которые нам лучше было бы не ставить, даже и в мыслях! Вы принуждаете нас думать о них, начинать высказывать их. Высказывание их началось, и где, думаете вы, оно кончится? Если два миллиона людей-братьев сидит в Работных домах и пять миллионов, как было нагло заявлено, "наслаждается картофелем", есть много, что должно быть начато, хотя бы оно и кончилось, где и как может.

### Демократия

Если Высочества и Величества не обращают на это внимания, то, предвижу я, *это* само обратит на себя внимание! Время легкомыслия, неискренности и праздно болтовни и всякого рода лицедейства — прошло; настоящее время серьезно, важно. Старые, давно уже обсуждаемые вопросы, еще не разрешенные логическими рассуждениями и парламентскими законами, быстро разрешаются фактами, созерцать которые довольно жутко! И самый великий из вопросов, вопрос о Труде и Плате, который, если бы мы внимали голосу Неба, должен был бы быть поставлен поколения два или более тому назад, — не может быть отсрочен далее без того, чтобы мы не услышали голоса Земли. "Труд" действительно должен быть несколько, как говорится, "организован", — Богу известно, с какими трудностями. В настоящее время необходимо, чтобы все должное и заработанное выплачивалось человеком человеку несколько лучше; будут ли Парламенты об этом говорить или молчать, — требовать этого от другого человека есть его вечное право и его нельзя отнять у него без наказания и, в конце концов, даже без наказания смертью. Сколь многое должно у нас немедленно окончиться; сколь многое должно у нас немедленно начаться, пока еще есть время!

Поистине странны результаты, к которым привело нас в наши дни это предоставление всего "Платежу", быстрое закрытие Храма Бога и постепенное открытие настешь Храма Маммоны с "Laissez faire" и "Всякий сам за себя"! У нас есть Высшие, говорящие классы, которые "говорят" поистине так, как ранее не говорил еще ни один человек; иссохшая пустота, безбожная низость и бесплодность их Речи могли бы сами по себе показать, какого рода Делание и практическое Управление скрываются за ней. Ибо Речь есть тот газообразный элемент, из которого сгущаются и получают образ большинство видов Практики и Деятельности, особенно все виды моральной Деятельности; какова одна, таковы будут и другие. Спускаясь затем до Немых Классов в Стокпортских подвалах и в Бастилиях по Закону о бедных, не должны ли мы

признать, что и они также до сих пор беспримерны в Истории Адамова Потомства?

Жизнь никогда не была для людей Майским праздником: во все времена участь немых миллионов, рожденных для труда, была обезображена многочисленными страданиями, несправедливостями, тяжелым бременем, отвратимым или неотвратимым; вовсе не игра, а тяжелый труд, который заставляет болеть мускулы, заставляет болеть сердца. Люди, — и не только рабы, *villani, bordarii, sochemanni*, но даже и герцоги, графы, короли, — часто изнемогали под тяжестью жизни и говорили, в поте лица своего и души своей: Смотрите, это не игра, это — суровая действительность, и спины наши уже не могут более выносить ее! Кто не знает, какие происходили иногда избиения и терзания; какая подавляющая, долго длящаяся, невыносимая совершалась несправедливость, пока сердце, наконец, не восставало в безумии и не говорило: "Eu Sachsen, nimith euer sachsens! — Саксонцы! Хватайтесь же за ножи!"\* О вы, Саксонцы! Уже стало необходимым "заключить кое-кого под стражу", "заключить под стражу кое-каких Холопов и Трусов!" — страницы Драйасдеста полны таких подробностей.

И все-таки я позволяю себе думать, что никогда, с самого возникновения Общества, участь этих немых миллионов работников не была до того невыносима, как в дни, проходящие ныне перед нами. Не смерть, даже не голодная смерть делает человека несчастным; много людей умерло; все люди должны умереть, — последний уход каждого из нас совершается на Огненной Колеснице Страдания. Но жить несчастным неизвестно почему, тяжело трудиться и ничего не получать; быть одиноким, без друзей, с разбитым сердцем, опутанным всеобщим холодным *Laissez faire* — это значит медленно умирать в течение всей жизни, в оковах глухой, мертвой, Бесконечной Несправедливости, как бы в проклятом железном чреве Фаларисова быка! Вот что является невыносимым и всегда будет невыносимо для всех людей, которых создал Господь. Удивляться ли нам Французским Революциям, Чартизму, Трехдневным восстаниям\*? Наше время, если мы внимательно обсудим его, совершенно беспримерно.

Никогда раньше не слышал я об Ирландской Вдове, вынужденной "доказывать свое родство смертью от тифа и заражением семнадцати человек", — чтобы говорить столь неопровержимым образом: "Вы видите! Я была ваша сестра!" Родственные отношения часто забывались, но никогда, вплоть до появления этих новейших евангелий Маммоны и Патронташа, не видел я, чтобы они отрицались столь определенно. Если о них не помнил какой-нибудь благочестивый Лорд или *Lawward*, — то всегда находилась какая-нибудь благочестивая Леди (они называли ее *Hlaf-dig* — Благодетельница, *Loaf-giveress*, — да будет благословенно ее прекрасное сердце!) с нежным материнским голосом и рукой, чтобы помнить о них; всегда находился какой-нибудь благочестивый, мудрый *Elder*, то, что мы называем теперь *Prester, Presbyter*, или *Priest* — Священник, чтобы напоминать об этом всем людям во имя Господа, который все создал.

Я думаю, что даже в Черной Дагмее не было это никогда забыто до пределов тифа. Мунго Парк беспомощно упал под деревом, среди



Негритянской деревни, чтобы умереть, — ужасное Белое существо в глазах всех. Но у бедной Черной Женщины и ее дочери, которые в ужасе стояли над ним, все земное достояние и скопленный капитал которых заключался в одной маленькой тыквенной бутылке риса, — было сердце более богатое, чем *Laissez faire*; они, с царственной щедростью, сварили для него свой рис; они пели ему всю ночь, усердно прядя на прялках своих хлопчатные нитки, пока он спал. "Пожалеем несчастного белого человека; у него нет матери, чтобы принести ему молока; нет сестры, чтобы смолоть ему зерна!" Бедная Благородная Черная Женщина! И ты также — Леди: разве и тебя не создал также Бог! Разве и в тебе не было также чего-то Божественного! —

Гурт, прирожденный раб Седрика Саксонского\*, возбуждает большое сострадание у Драйасдэста и других. Гурт, с медным ожерельем на шее, пасущий Седриковых свиней на лесных полянах, — не есть то, что я называю образцом человеческого счастья; но Гурт, с небесным шатром над головой, со свежим воздухом, с зеленой листвой и тенью вокруг себя и с уверенностью, по крайней мере, в ужине и в общем помещении, когда он придет домой, — Гурт кажется мне счастливым в сравнении со многими современными нам жителями Ланкашира и Бёкингемшира, которые, однако, не рождены ничьими рабами! Гуртово медное ожерелье не натирало ему шеи: Седрик *был достоин* быть его господином. Свиньи были Седриковы; но и Гурт также получал от них свою долю. Гурт имел невыразимое удовлетворение чувствовать себя неразрывно связанным, хотя бы посредством грубого медного ожерелья, со своими смертными братьями на этой Земле. Он имел высших себя, низших, равных. — Гурт теперь давно уже "освобожден"; он обладает тем, что называется "Свободой". Свобода, как меня уверяют, есть нечто божественное. Свобода, если она делается "Свободой умереть с голода", — не очень-то божественна!..\*

Сознательное отвращение и нетерпимость к Сумасбродству, к Низости, Глупости, Трусости и ко всему этому сорту вещей глубоко живет в некоторых людях; еще глубже в других живет *бессознательное* отвращение и нетерпимость, причем благодетельные Высшие Силы надеются на эти мужественные стремлениями, энергией, тем так называемым эгоизмом, которые им соответствуют: таковы все Победители, Римляне, Норманны, Русские, Индо-Англичане; Основатели того, что мы называем Аристократиями. И разве, по правде, они не имеют наиболее "божественного права" основывать их, будучи сами истинно Аристои, Достойнейшими, Лучшими и вообще побеждая смутную толпу худших или, по крайней мере, очевидно дурных? Я думаю, что их божественное право, которое обсуждалось и было признано в наивысшем, известном мне Судилище, законно! Класс людей, против которых часто ужасно вопит Драйасдэст, в котором тем не менее благодетельная Природа часто нуждалась и будет — увы — опять нуждаться.

Если сквозь стократ жалкий скептицизм, тривиализм и конституционную паутину Драйасдэста ты бросишь взгляд на Вильгельма Завоевателя, на Танкреда д'Отвилля и т. п., — разве ты не увидишь ясно некоторых грубых очертаний истинного, Богом поставленного Короля, которого призвал на престол не Поборник Англии, запятанный в цинк,

а вся Природа и Вселенная? Совершенно необходимо, чтобы он взошел на него. Природа не желает, чтобы ее бедные Саксонские дети погибали от столбняка, ожирения и других болезней, как теперь; и поэтому она приглашает сурового Правителя и целый ряд Правителей, — сама Природа приглашает сурового, но в высшей степени благодетельного *постоянного Домашнего Врача* и заботится для него даже о соответствующем *вознаграждении*! Драйасдест жалобно разглагольствует о Гируорде и Болотистых графствах; судьба графа Вальтефа, Йоркшир и Север, обращенные в пепел\*, — все это несомненно достойно оплакивания. Но даже Драйасдест сообщает мне один факт: "И ребенок мог бы пронести, в царствование Вильгельма, из конца в конец Англии кошелек с золотом". Мой ученый друг, это — факт, который перевешивает тысячу других! Сбрось твою конституционную, сентиментальную и другие паутины, посмотри глаза в глаза, если у тебя есть еще глаза, этому громадному, тяжеловесному Вильгельму Незаконнорожденному; и ты увидишь человека самой огненной пронизательности, самого твердого львиного сердца, в которого боги вложили, так сказать, в рамке из дуба и железа, душу "гениального человека"! Ты принимаешь это за ничто! Я принимаю это за нечто громадное! Бешенства было достаточно у этого Вильгельма Завоевателя, достаточно бешенства в нужных случаях, — и тем не менее главным элементом в нем, как и во всех подобных людях, был не пылающий *огонь*, а ясный освещающий *свет*. Огонь и Свет перемешиваются странным образом; и в конечном счете я нахожу даже, что они — различные формы помянутой, в высокой степени божественной "элементарной субстанции" в нашем мире; и это стоит отметить в наши дни. Существенным элементом этого Завоевателя было прежде всего ясное, как солнце, различие того, что действительно есть "нечто" в Божьем мире, а это, в конце концов, означает, как должно признать, немалый запас "Справедливости" и "Добродетелей"; *Соответствие* тому, что Творец признал благом для творения, ведь это, полагаю я, и означает именно Справедливость и еще кое-какие Добродетели!

Думаешь ли ты, что Вильгельм Завоеватель стал бы терпеть разглагольствования в течение десяти лет, разглагольствования в течение часа о допустимости убивать Хлопчатобумажных фабрикантов куропачьими Хлебными законами? Я думаю, он не был человеком, которого можно было бы разбудить ночью одними только сумасшедшими причитаниями! "Помоги нам разводить еще успешнее куропаток! Придуши Плэгсона, который ткет рубашки!" — "Par la Splendeur de Dieu!"\* — Думаешь ли ты, что Вильгельм Завоеватель, в наше время, имея по одну руку Вождей Промышленности, вооруженных Паровыми машинами, а по другую — Вождей Праздности, вооруженных Джо-Мантоновскими ружьями, — усомнился бы, которые из них действительно лучше, которые заслуживают, чтобы их придушили, и которые нет?

Я питаю некоторое непоколебимое уважение к Вильгельму Завоевателю. Постоянный Домашний Врач, приготовленный Природой для ее любимого Английского Народа и даже получающий от нее соответствующее вознаграждение, как я сказал; ибо он никоим образом не сознавал себя исполняющим работу Природы, этот Вильгельм, но исключи-

тельно свою собственную работу! И это вместе с тем и была его собственная работа, освещенная "par la Splendeur de Dieu!" — я говорю: необходимо добиваться от таких людей их работы, как бы трудно это ни было! Когда мир, еще не осужденный на смерть, погружается во все более глубокую Низость и Неустройство, то для Природы наступает настоящая необходимость ввести в него свою Аристократию, своих Лучших, даже насильственным способом. Но затем, если их потомки или представители окончательно перестают быть лучшими, то бедный мир Природы снова быстро погружается в Низость, и для Природы возникает настоящая необходимость извергнуть их из него. Отсюда Французские Революции, Хартии о пяти пунктах, Демократии и печальный список разных Etcetera\* в наши угнетенные времена.

Какого распространения теперь достигла Демократия, как она теперь продвигается, несокрушимая, со зловещей, все возрастающей быстротой, — это легко усмотрит тот, кто откроет глаза на любую область человеческих дел. Демократия повсюду — неумолимое требование нашего времени, быстро осуществляемое. От грома Наполеоновских битв до болтовни на публичных собраниях прихожан прихода святой Марии Экс, все возвещает Демократию. Замечательный муж, которого некоторые из моих читателей с удовольствием снова услышат, пишет мне следующее относительно того, что он заметил за последнее время с Вангассе в Вейснихтвo\*, где наши Лондонские моды, по-видимому, чрезвычайно распространены. Итак, послушаем снова герра Тейфельсд-река\*, хотя бы это было всего несколько слов!

"Демократия — что означает, что люди отчаиваются найти Героев, которые бы управляли ими, и спокойно приноравливаются к отсутствию их, — увы! и ты также, mein Lieber\*, ясно видишь, в каком она близком родстве с *Атеизмом* и другими печальными *измами*: тот, кто не усматривает никакого Бога, как усмотрит он Героев, эти видимые Храмы Бога? — Вместе с тем весьма странно наблюдать, с каким легкомыслием здесь, в нашей строго Консервативной Стране, люди с громкими возгласами стремятся в Демократию. Вне всякого сомнения, его Превосходительство почетный рыцарь герр Каудервельш фон Пфердефус-Квакзальбер\*, сам наш досточтимый Консервативный Премьер, и все, кроме самых толстолобых из его Партии, видят, что Демократия неизбежна, как смерть, и даже приходят в отчаяние от того, что она так долго задерживается!

Нельзя пройти по улицам без того, чтобы не увидеть, как Демократия возвещает о себе: сам Портной сделался если не совсем Санкюлотичным, что было бы для него разорительно, то во всяком случае Портным, бессознательно символизирующим и предсказывающим своими ножницами царство Равенства. Каков теперь наш модный кафтан? Вещь из тончайшей ткани глубоко обдуманного покроя, с обшлагами из Мехеленских кружев, разукрашенная золотом, так что человек может, без труда, носить целое имение на своей спине? Keineswegs — никоим образом! Законы Роскоши вышли из употребления, до степени, которая никогда раньше не была видана. Наш модный кафтан есть помесь хлебного мешка с курткой ломового. Его сукно преднамеренно грубо; его цвет или пятнисто-черный, как сажа, или серо-ржаво-коричневый;

точнейшее приближение к Крестьянскому. А что до покроя, — если бы ты его видел! Последняя новость года, ныне истекающего, может быть определена как три мешка: большой мешок для туловища, два маленьких мешка для рук, а в качестве воротника — рубец! Первый Древний Херуск, который принялся делать себе костюною или металлическою иглою кафтан из войлока или из медвежьей шкуры, еще раньше, чем Портные возникли из Небытия, — разве он не делал того же самого? Просторный, широкий мешок для туловища, с двумя дырами, чтобы пропускать руки, — таков был его первоначальный кафтан; скоро стало ясно, что два небольших широких мешка, или рукава, легко присоединяемые к этим дырам, были бы усовершенствованием.

Таким образом Портняжное искусство, так сказать, опрокинулось, подобно большинству других вещей, переменяло свой центр тяжести; внезапно перекувырнулось от зенита к надиру. Сам Стельц, огромным прыжком, перелетает со своего высокого пьедестала вниз, в глубины первоначальной дикости, увлекая за собой столь многое! Ибо я приглашаю тебя поразмыслить о том, что Портной, как верхняя крайняя пена Человеческого Общества, поистине скоро преходит, исчезает, ускользает от разбора; но в то же время он знаменует собой многое, даже все. Верхняя исчезающая пена, он взбит с самых подонков и ото всех промежуточных слоев жидкости. Он главный, видимый для глаза вывод из того, что люди стремились делать, были обязаны и способны делать в этой области общественной жизни, то есть в символизировании себя друг другу путем покрывания своих кож. Вся соль Человеческой Жизни заключается в Портном: вся ее дикая борьба в стремлении к красоте, достоинству, свободе, победе. И вдруг, остановленная Седаном и Геддерсфильдом\*, Невежеством, Глупостью, Непреодолимым Желанием и другими печальными необходимостями и законами Природы, — она приходит вот к чему: к Серой дикости Трех Мешков с рубцом!

Если сам Портной склоняется к санкилотизму, то разве это не зловеще? Последнее божество бедного человечества само низводит себя с престола; оно само опускает *свой* факел пламенем вниз, подобно Гению Сна или Смерти; оно напоминает, что Время Портных уже прошло! — Ибо сколь ни мало рекомендуются в настоящую эпоху Законы Роскоши, тем не менее ничто не может быть яснее того, что, где в действительности существуют чины, там необходимо строгое разграничение костюмов; что если когда-нибудь мы будем иметь новую Иерархию и Аристократию, действительно признанные за таковые, о чем я ежедневно молню Небеса, — то Портной снова оживет и станет, добровольно и по назначению, сознательно и бессознательно, их охраной". — Некоторые дальнейшие наблюдения того же неопценного пера относительно наших никогда не прекращающихся изменений в модах, нашей "постоянной кочевой и даже обезьяноподобной жажде перемен и одних только перемен" во всем устройстве нашего существования и "рокового, революционного характера", при этом выражаемого, — все это мы в настоящее время опускаем. Должно только признать, что Демократия, во всех значениях этого слова, находится в полном наступлении; что она несокрушима, по теперешним временам, никаким сэром Каудервельшем или другим Сыном Адама. "Свобода" есть вещь, которую люди решили добыть себе.

Но в действительности, как я уже имел случай заметить, "свобода не быть притесняемым братом-человеком" есть необходимая, однако, одна из наиболее незначительных дробных частей Человеческой Свободы. Ни один человек тебя не притесняет, не может принудить тебя сделать что-нибудь или принести что-нибудь, пойти или прийти без очевидной причины. Верно; ты освобожден от всех людей; но от Себя самого и от Дьявола — ? Ни один человек, более мудрый, менее мудрый, не может заставить тебя прийти или уйти; ну а твоя собственная пустота, твои заблуждения, твоя ложная жажда Денег, Наград и т. п.? Ни один человек не притесняет тебя, о свободный, независимый Плательщик налогов, но не притесняет ли тебя эта глупая кружка Портера? Ни один Сын Адама не может заставить тебя прийти или уйти; но эта бессмысленная кружка пива, она может заставить и заставляет! Ты раб — не Седрика Саксонского, но твоих собственных грубых желаний и этой вычищенной кружки питья. И ты хвастаешься своей свободой? О круглый дурак!

Пиво и джин: увы, это не единственный род рабства. Ты, разгуливающий с тщеславным видом, посматривая с изящным фырканьем дилетанта и безмятежным превосходством на всякую Жизнь и на всякую Смерть; ты мило семенишь ногами, жеманно болтая всякие жалкие глупости, и ведешь себя как бы в жалком надменном сомнамбулизме; — и являешься "заколдованной Обезьяной" в этом Божьем мире, где ты мог бы быть человеком, если бы только тебе были дарованы соответствующие Учителя и Укротители и Полицейские с девятихвостой кошкой; — называешь ли ты это "свободой"? Или вот этот не дающий себе отдыха поклонник Маммоны, подгоняемый как бы Гальванизмом, Дьяволами и Навязчивыми Идеями, который рано встает и поздно ложится, гоняясь за невозможным, напрягая для этого все свои способности, — как благодетельно было бы, если бы можно было путем кроткого убеждения или так называемой самой суровой тирании остановить его на его безумном пути и направить его на более разумный! Всякая мучительная тирания и в этом случае была бы лишь кротким "врачеванием"; страдания от нее обошлись бы дешево, ибо здоровье и жизнь при всякой цене будут дешевы, если заменять собою гальанизм и навязчивую идею.

Несомненно, между всеми путями, на которые человек может вступить, имеется, в каждый данный момент для каждого человека, один *лучший путь*, одно дело, сделать которое, преимущественно перед всеми другими делами, для него было бы, в эту минуту и на этом месте, *наиболее мудро*, — так что, если бы его можно было убедить или заставить поступить таким образом, то он поступил бы, как мы это называем, "подобно мужу"; и все люди и боги согласились бы с ним, вся Вселенная внутренне воскликнула бы ему: Хорошо! Его успех в таком случае был бы полным, его счастье достигло бы максимума. Этот путь, иначе говоря, найти этот путь и идти по нему, есть единственно необходимое для него. Все, что двигает его здесь вперед, хотя бы это проявлялось даже в виде толчков и пинков, есть свобода; все, что его задерживает, хотя бы это были местные выборы, собрания по частям города, собрания по приходам, избирательные бараки, громовые одобрения, реки пива, есть рабство.

Мысль, что свобода человека состоит в том, чтобы подавать голос на выборах и говорить: "Смотрите, вот теперь и у меня тоже есть одна двадцатитысячная часть Оратора в нашей Национальной Говорильне; не будут ли ко мне благосклонны все боги?" — эта мысль есть одна из наиболее забавных! Природа тем не менее добра в настоящее время и вкладывает ее в головы многих, почти всех. В особенности же свобода, которая достигается общественным одиночеством, тем, что каждый человек стоит отдельно от другого и не имеет с ним "никакого дела", кроме наличного платежа, — это такая свобода, какую Земля редко видала, — с которой Земля не будет долго возиться, как бы ты ее ни рекомендовал. Эта свобода, прежде чем она успеет долго пробыть в действии, и пока еще все вокруг нее бросают кверху шапки, оказывается для Работавших Миллионов свободой умереть от недостатка питания; для Праздных Тысяч и Единиц — увы! — еще более роковой свободой жить с недостатком труда; не иметь более серьезных обязанностей, чтобы исполнять их в этом Божьем Мире. Что должно сделаться с человеком в таком положении? Законы Земли молчат, и Законы Неба говорят голосом, который не слышен. Отсутствие труда и неискоренимая потребность в труде порождает новые, чрезвычайно странные философии жизни, новую, чрезвычайно странную практику жизни! Развивается Дилетантизм, Легкомыслие, Бобрумелизм\*, с прибавлением, иногда, случайных, полусумасшедших, протестующих взрывов Байронизма, а если через несколько времени ты вернешься к "Мертвому Морю", там совершается, как говорят наши Мусульманские друзья, весьма странный "Шабаш"!\* — Братья, после столетий Конституционного Правления, мы все еще не вполне знаем, что такое Свобода и Рабство.

Демократия, погоня за Свободой в этом направлении, будет идти своим полным ходом, и ее не задержать Пфердефусу-Квакзальберу или кому-нибудь из *его* присных. Трудящиеся Миллионы Человечества, в жизненной потребности и страстном инстинктивном желании Руководства, отбросят прочь Лжеруководство, в надежде, на один час, что Не-руководство удовлетворит их; но это может быть только на один час. Притеснение человека его Мнимо-Высшими есть наименьшая часть человеческого рабства; наиболее осязаемая, но, говорю я, в конце концов наименьшая. Пусть он свергнет такое притеснение, с ненавистью растопчет его ногами; я его не порицаю; я жалею и хвалю его. Но раз притеснение Мнимо-Высшими окончательно свергнуто, все-таки остается для решения великая проблема: Найти правительство Истинно-Высших! Увы, как найдем мы когда-нибудь решение ее, мы, несчастные, отуманенные, ошалелые, хряпящие, фыркающие, забывшие Бога? Это задача на целые столетия; мы научимся ей в волнениях, смутах, восстаниях, препятствиях; кто знает, не в пожарах ли и в отчаянии! Этот урок заключает в себе все другие уроки; изо всех уроков самый трудный, чтобы его выучить.

Одно я знаю: Обезьяны, болтающие на ветвях около Мертвого Моря, не выучили его, а болтают там и до сего дня. Нечего приходить к ним во второй раз какому-нибудь Моисею; тысячи Моисеев были бы лишь раскрашенными Призраками, интересными Сообезьянами нового странного вида, которых они "пригласили бы на обед", с которыми были бы рады встретиться на светских вечерах. Для них голос пророче-

ства, небесного убеждения, совершенно исчез. Они болтают себе, и Небо совершенно закрыто для них до окончания мира. Несчастные! О, что значит в сравнении с этим умереть от голода, с честными орудиями в руках, с мужественными намерениями в сердце, со многим действительно исполненным тобою трудом? Ты честно покидаешь твои орудия; покидаешь грязный, смутный хаос тяжелого труда, скудной пищи, забот, уныния и препятствий, ибо ты теперь честно покончил со всем этим; и ожидаешь, не совершенно безнадежно, что скажут тебе Высшие Силы, и Молчание, и Вечность.

Я знаю и другое: Этот урок должен быть выучен, — под страхом наказания! Или Англия выучит его, или Англия также перестанет существовать в числе Народов. Или Англия научится почитать своих Героев и отличать их от своих Лжегероев, и Холопов, и освещенных газом Гистрионов, — и ценить их, как внятный голос Бога, среди всей пустой болтовни и кратковременных рыночных криков, говоря им с преданным сердцем: "Будьте Королями, и Священниками, и Евангелием, и Руководством для нас"; или Англия будет по-прежнему поклоняться новым и все новым формам Шарлатанства, — и так, все равно с какими прыжками и скачками, пойдет вниз, к Отцу всех Шарлатанов. Должен ли я опасаться этого от Англии? Несчастные, близорукие, бесчужденные смертные, зачем хотите вы поклоняться лжи и "Набитым Костюмам, созданным девятою частью человека"\*! Ведь здесь страдают не ваши кошельки, не ваша арендная плата, не ваша торговля, не ваши доходы с фабрик, как бы громко вы над ними ни плакали; — нет, не только это, но нечто гораздо более глубокое, чем это: ваши души лежат здесь мертвые, сокрушенные под презренными Кошмарами, Атеизмами, Галлюцинациями; и они вовсе не души, а только суррогаты соли, чтобы предохранять ваши тела и их аппетиты от разложения! Ваши бумагопрядильные и трижды чудесные машины, — что такое они сами по себе, как не более обширный вид Анимализма\*? Пауки могут прясть, Бобры могут строить и выказывать сообразительность, Муравей накапливает капитал и имеет, насколько я знаю, Муравьиный банк. Если у человека нет души более высокой, чем все это, то хотя бы она добилась того, чтобы плавать по облачным путям и прясть морской песок, — то, говорю я, человек есть лишь животное, более хитрый род зверя: у него нет души, а только суррогат соли. Вследствие этого, видя себя на самом деле в числе зверей, которые погибают, он, я думаю, должен признать это, — и, следовательно, прямо и повсеместно убивать себя и, таким образом, по крайней мере, мужественно покончить и со своей стороны достойным образом распрощаться с этим звериным миром!

## Снова Моррисон

Тем не менее, о Передовой Либерал, я не могу еще на некоторое время обещать тебе никакой "Новой Религии"; правду сказать, я не думаю, чтобы на нее была хоть малейшая надежда! Не выслушает ли искренный читатель, в виде заключения этой части книги, несколько беглых замечаний по этому поводу?

Искренние читатели не могли встретить за последнее время человека, который был бы менее склонен вмешиваться в их Тридцать Девять\* или иные Церковные Пужкты, с помощью коих они, как кажется, весьма беспомощно стараются создать для себя какую-нибудь не очень непонятную гипотезу об этой Вселенной и об их собственном Существовании в нем. Суеверие, мой друг, далеко от меня; Фанатизм, по отношению к какому бы то ни было Фапу\*<sup>1</sup>, которое могло бы появиться в ближайшем будущем на нашей Земле, далек от меня. Церковные Пункты, несомненно, суть ценные пункты для того, кто их принимает; и в наши времена надо быть терпимым ко многим странным "Пунктам" и ко многим, еще более странным, "Не-пунктам", которые рекламируют себя повсюду весьма нелепым образом, — так что многочисленные высокие столбы для реклам и сомнительные разбитые горшки с клейстером мешают подчас мирным прогулкам!

Представьте себе, однако, человека, который советует своим собратьям-людям верить в Бога для того, чтобы ослабел Чартизм и чтобы Манчестерские Рабочие могли приняться мирно ткать! Такая мысль еще более нелепа, чем какой бы то ни было столб для реклам, когда-либо виденный на общественном гулянье! Мой друг! Если ты когда-нибудь придешь к тому, чтобы верить в Бога, ты найдешь, что в сравнении с этим совершенно ничтожны всякий Чартизм, всякое Манчестерское восстание, Парламентское бессилие, Министерство Виндбэга\*<sup>2</sup>, и самые дикие Общественные Смуты, и гибель от огня всей нашей Планеты. Братья, эта Планета, думается мне, лишь незаметная песчинка на материке Бытия; жалкие временные интересы этой Планеты, твои интересы здесь и мои интересы, — когда я пристально смотрю на это вечное Море Света и Море Пламени с *его* вечными интересами, — уменьшаются буквально до Ничто; моя речь об этом есть на некоторое время — молчание. Я столь же мало могу думать, будто Млечный путь и Звездные системы были созданы для того, чтобы направлять маленькие рыбачьи лодки, — сколь думать, будто Религия проповедуется для того, чтобы сохранить возможность существования Полицейских. О мой передовой Либеральный Друг, этот новый второй прогресс, старание "выдумать Бога", — чрезвычайно странен! Якобинизм, развернувшийся в Сен-Симонизм, обещает бесчисленные благодеяния; но сам он может вызвать слезы даже у Стоика! — Что до меня, то так как за последние шесть месяцев сюда прибыло, из различных частей света, около двенадцати или тринадцати Новых религий, в тяжелых Пакетах, по большей части нефранкированных, то я предписал моему нецененному другу Почталюну больше мне их не доставлять, если плата превосходит пени.

Генрих Эссекский, сражаясь в единоборстве на острове посреди Темзы, "близ Ридинского Аббатства", имел религию. Но было ли это в силу того, что он видел вооруженный Призрак святого Эдмунда "на краю небосколона", грозно на него взирающий? Имело ли это внутренне вообще какое-нибудь отношение к его религии? Религией Генриха Эссекского был Внутренний Свет или Нравственное Сознание его собственной души, как это и доселе даруется душам всех людей, и этот Внутренний Свет сиял здесь "сквозь умственную и иные среды", производя



"Призраки", Кирхеровские зрительные Образы\* и т. д., смотря по обстоятельствам! И так бывает со всеми людьми. Чем яснее светит мой Внутренний Свет, чем *менее* мутна среда, чем *менее* он производит Призраков, — тем, конечно, я буду радостнее, а не печальнее! Размышлял ли ты, о серьезный читатель, будь ты Передовой Либерал или кто иной, о том, что единственная цель, сущность и польза всякой религии, прошедшей, настоящей и будущей, состоит только в следующем: Сделай это самое Нравственное Сознание или Внутренний Свет наш живым и сияющим, — для чего, конечно, "Призраки" и "мутная среда" несущественны! Все религии возникали здесь для того, чтобы напоминать нам, лучше или хуже, о том, что мы уже лучше или хуже знали, о совершенно *бесконечной* разнице, которая существует между Хорошим человеком и Дурным; чтобы заставлять нас бесконечно любить одного, бесконечно презирать и избегать другого; бесконечно стараться *быть* одним и не *быть* другим. "Всякая религия выражается в должном Практическом Почитании Героев". Тот, у кого душа не обмерла, никогда не останется без религии; тот, у кого душа обмерла, свелась к суррогату соли, никогда не найдет никакой религии, хотя бы ты восстал из мертвых, чтобы проповедовать ее ему.

Но поистине, если люди и реформаторы ищут "религии", то это подобно тому, как если бы они искали ответа на вопрос: "Что нам делать, по-вашему?" и т. п. Они воображают, что эта религия будет также вроде Моррисоновых пилюль, которые им надо только раз проглотить, и все будет отлично. Раз вы смело проглотили Религию, Моррисоновы пилюли, то перед вами открыты все пути; вы можете заниматься вашими делами, вашими не-делами, гоняться за деньгами, гоняться за удовольствиями, дилетантствовать, качаться, гримасничать и болтать, подобно Обезьянам Мертвого Моря: Моррисоновы пилюли сделают за вас все, что нужно. Человеческие понятия очень странны! — Брат, я говорю: нет, не было и никогда не будет, на всем обширном пространстве Природы, никаких Пилюль или Религии подобного рода. Ни один человек не может добыть тебе их; для самих богов это невозможно. Советую тебе отказаться от Моррисона; раз навсегда оставь надежду на Универсальные Пилюли. Ни для тела, ни для души, ни для отдельных лиц, ни для общества такого товара никогда не было сделано. Non exstat. В сотворенной Природе его нет, не было, не будет. Лишь в пустой путанице Хаоса и в царстве Бедлама мелькает какая-то тень его, чтобы смущать и смеяться над бедными *тамошними* обитателями.

Обряды, Литургии, Символы, Иерархии — все это не религия; все это, будь оно мертво, как Одиночество, как Фетишизм, вовсе не может убить религии! Одна только Глупость, со сколькими бы она ни была соединена обрядами, убивает религию. Разве это все еще не Мир?..\*

Законы Творца, были ли они возвещены в Громе Синая слуху или воображению, были ли они возвещены каким-нибудь совершенно иным путем, суть Законы Бога; трансцендентные, вечные, повелительно требующие повиновения ото всех людей. Это, без всякого грома или с каким угодно громом, ты, если в тебе осталась еще какая-нибудь душа, должен знать, как истину. Вселенная, говорю я, создана по Закону; великая Душа Мира справедлива, а не несправедлива...\* Все делание [знающего

это] на земле есть символически высказанная или исполненная молитва: Да будет на Земле воля Господа, — не воля Дьявола или воля какого-нибудь из слуг Дьявола! У него есть вера, у этого человека: вечная Путеводная звезда, которая сияет на Небе тем ярче, чем темнее становится здесь, на Земле, ночь вокруг него. Ты, если ты этого не знаешь, — что тогда все обряды, литургии, мифологии, пение месс, поворачивание вертящихся калабашей? Они как бы ничто; во многих отношениях они как бы *менее* чем ничто. Отрешенные от этого знания, даже наполовину от него отрешенные, они способны наполнить человека своего рода ужасом, священной невыразимой жалостью и страхом. Наиболее трагичное, что может видеть человеческое око. Пророку было сказано: "И вот, я покажу тебе еще большие мерзости: там сидят женщины, плачущие по Фаммузе"\* . Это было крайнее в видении пророка, — тогда, как и теперь.

Обряды, Литургии, Исповедания, Синайский Гром; я более или менее знаю их историю: их возникновение, развитие, упадок и конец. Может ли гром со всех тридцати двух азимутов, повторяемый ежедневно в течение сотен лет, сделать Законы Бога для меня более божественными? Брат, — нет. Может быть, я уже сделался теперь мужем и не нуждаюсь более в громе и ужасе! Может быть, я выше того, чтобы пугаться; может быть, не Страх, а уже одно только Благоговение руководит теперь мною! — Откровение, Вдохновение? Да; а твоя собственная, Богом созданная Душа, — разве ты не называешь ее "откровением"? Кто создал Тебя? Откуда Ты пришел? Голос Вечности, если ты не кощунствуешь или если ты не несчастный задушенный немой, — говорит этим твоим языком! Ты — самое последнее Порождение Природы; "Вдохновение Всемогущего" — вот что дает тебе понимание! Брат мой, брат мой! —

Под мрачным Атеизмом, Маммонизмом, Джо-Мантоновским Дилетантизмом, с соответствующими им Ханжеством и Идолизмом, — под всяким грязным мусором, который наполняет и почти подавляет человеческую душу, — вот где теперь религия; вот где ее Законы, написанные если не на каменных скрижалях, то на Лазури Бесконечности, в глубине сердца Божьего Творения, верные, как Жизнь, верные, как Смерть! Я говорю: эти Законы существуют и ты не должен слушиваться их. Для тебя было бы лучше, если бы ты их не ослушивался. Лучше сто смертей, чем это. И к тому же за послушание — страшные "кары", если ты еще нуждаешься в "карах". Наблюдал ли ты, о бумажный Политик, то огненное, адское явление, которое люди называют Французской Революцией, мчащееся непредусмотренным, непрошеным, сквозь твои пустые Области Протоколов; видное издали, в блеске, но не Небесном? Десять столетий будут видеть его. Тогда были в Медоне Кожевни для человеческой кожи. И Ад, самый подлинный Ад, получил на время власть над Божьей Землею. Это самое жестокое Знамение, которое когда-либо поднималось в сотворенном Мире за последние десять столетий: преклонимся пред ним с сердцем, пораженным ужасом и раскаянием, как пред новым гласом Бога, хотя и гневного. Да будет благословен Божий глас, ибо он *истинен*, и Ложь должна исчезнуть перед ним! Если бы не это сверхприродное, почти адское Знамение, — никто бы и не знал, что

делать с этим злосчастливым миром в наши дни. Эта достойнейшая жалости, подавленная шарлатанством, а теперь подавленная голодом поверженная Презренность и *FleBILE LUDIBRIUM\** Входящих и Исходящих, Вращающихся Калабашей, Бастилий по Закону о бедных, — кто бы мог думать, что *им* предназначено продолжать свое существование? —

Сколько кар, брат мой! И та кара, которая заключает в себе все другие: Вечная Смерть для твоей несчастной Души, если ты уже не обращаешь внимания на другие. Вечная Смерть, говорю я, во многих смыслах, древних и новых, из которых удовольствуемся здесь одним только следующим: вечная невозможность для тебя быть чем-нибудь иным, кроме как Химерой и быстро исчезающим, обманчивым Призраком в Божьем Творении; исчезающим быстро, чтобы никогда уже снова не появляться; зачем *ему* снова появляться? Тебе представлялась одна возможность, тебе никогда не представится другой. Бесконечные века будут мчаться, и ни одного тебе не будет вновь дано. Даже самая безумная, членораздельно говорящая душа, ныне существующая, не должна ли и она сказать себе: "Целую Вечность ждала я, чтобы родиться, и вот теперь целая Вечность ожидает, чтобы видеть, что я сделаю, родившись!" Это не Теология, это Арифметика. И ты понимаешь это лишь наполовину, лишь наполовину веришь в это? Увы, на берегах Мертвого моря, по Субботам, разыгрывается Трагедия! —

Но оставим "Религию"; о ней, говоря по правде, гораздо выгоднее, в наши неопишуемые дни, хранить молчание. Тебе не нужна "Новая Религия", и непохоже, чтобы ты мог ее себе добыть. У тебя "религии" уже сейчас больше, чем ты прилагаешь ее к делу. Ты уже сейчас знаешь десять предписанных тебе обязанностей, видишь в уме своем десять вещей, которые должны были бы быть сделаны, против одной, которую ты делаешь. *Сделай* одну из них; это само собой покажет тебе десять других, которые могут и должны быть сделаны. "Но моя будущая судьба?" Да, в самом деле, твоя будущая судьба! Твоя будущая судьба; в то время, как ты делаешь ее главным вопросом, представляется мне в высшей степени подлежащей вопросу. Я не думаю, чтобы она могла быть хороша. Северный Один, незапамятные века тому назад, хотя он и был жалким Язычником, на рассвете Времен, не учил ли он нас, что для Трусов нет и не может быть хорошей судьбы; что для них не может быть никакого убежища, кроме как внизу, с Хелью, в бездне Ночи! Трусые, Холопы — те, кто жаждет Удовольствий, дрожат перед Страданием. Для этого мира и для будущего Трусые — род творений, созданных, чтобы "быть заключенными под стражу"; они ни на что другое не годны, ни на что другое не могут надеяться. Большой, чем Один, был здесь; большой, чем Один, учил нас, — не большей трусости, я надеюсь! Брат мой, ты должен молить о *душе*; бороться с энергией не на живот, а на смерть, чтобы снова приобрести душу! Знай, что "религия" не Моррисоновы пилюли, извне получаемые, но пробуждение твоего собственного *я* изнутри; и прежде всего, избавь меня от твоих "религий" и "новых религий", раз навсегда!\* Я устал от этого большого карканья по религии Моррисоновых пилюль; по любой и каждой такой религии. Мне такой не нужно, и я знаю, что все подобные ей невозможны. Воскрешение старых литургий, уже умерших; еще более, создание новых

литургий, которые никогда не будут живы: как безнадежно! Столпничество, отшельнический фанатизм и факиризм; спазматическая, беспокойная рисовка и узкая, судорожная, болезненная, хотя всегда и благородная борьба — все это для меня нежелательные вещи. Все это мир некогда *проделал*, — когда его борода еще не отросла, как теперь!

И тем не менее существует, на худой конец, хоть одна Литургия, которая навеки остается неприкосновенной: именно (по примеру древних Монахов), — *Молитва в Труде*. И поистине Молитва, которая совершается в специальных капеллах, в установленные часы, а не живет всегда с человеком, возносясь от всякого его Труда и действия, во все моменты освящая их, — чему она когда-нибудь служила? "Труд есть Поклонение"; да и притом в высшем смысле, в таком, что, при настоящем положении всякого "поклонения", едва ли кто может вполне раскрыть его. Кто хорошо постигнет его, тот постигнет Пророчество всех Будущих Времен; последнее Евангелие, которое заключает все остальные. *Его* собор — Собор Необъятности; видел ли ты его? его купол — из звезд Млечного пути; он выслан зеленой мозаикой суши и океана, а вместо алтаря у него поистине Звездный престол Вечного. Его литания и псалмопение — благородные поступки, героический труд и страдание и истинные излияния сердец всех Доблестных между Сынами Человеческими. Его церковная музыка — древние Ветры и Океаны и глубоко звучащие нечленораздельные, но в высшей степени выразительные голоса Судьбы и Истории, — всегда небесные, как и в древности. Среди двух великих Безмолвий:

... Безмолвны  
Над нами — созвездья,  
Под нами — могилы!

Между этими двумя великими Безмолвиями разве не раздаются и не несутся, как мы сказали, в самое естественное время, но самым *сверхъестественным* образом все Шумы человеческие? —

Я хочу поместить здесь также отрывок, в более низком стиле, из "Aesthetische Springwurzeln"\* Зауэртейга. "Поклонение? — говорит он. — Прежде чем весь этот пустой шум Болтовни наполнил человеческие головы и мир лежал еще в молчании, а сердце было искренне и открыто, — многое было Поклонением! Для первобытного человека все доброе, что бы ни случилось, нисходило к нему (как это в действительности всегда и бывает) прямо от Бога; какая бы обязанность ни выяснялась для него, ее предписывал Всевышний Бог. И в настоящий час я спрашиваю тебя: Кто же иначе? Для первобытного человека, в котором обитала Мысль, эта Вселенная была вся — Храм; Жизнь — вся Поклонение.

Например: разве не заключается Поклонение в простом Мытье? Это, может быть, одна из наиболее нравственных вещей, делать которые, при обыкновенных обстоятельствах, во власти человека. Разденься, сядь в ванну, или хотя бы только в чистый колодезь или в проточный ручей, — и вымойся там, и будь чист! Ты выйдешь оттуда более чистым и более хорошим человеком. Это сознание полной внешней чистоты, того, что

к твоей коже больше не пристает никакое постороннее пятно несовершенства, — какими лучами оно тебя освещает в ясном, символическом влиянии, до глубины твоей души! В тебе усилилось стремление ко всевозможным хорошим вещам. Древнейшие Восточные Мудрецы, с радостью и священной благодарностью, так это и чувствовали, — равно как и то, что это было даром и волею Творца. Чьей же иначе? С древнейших времен на Востоке это — религиозная обязанность. И герр профессор Штраусс\*, когда я предложил ему этот вопрос, не мог отрицать, что это так еще теперь и для нас, на Западе! Когда этот темный закопченный Рабочий выходит из своей дымной фабрики, — какова первая обязанность, которую я предписал бы ему и для исполнения которой предложил бы мою помощь? Чтобы он очистил свою кожу. *Может* ли он молиться каким-нибудь установленным образом? Этого нельзя знать вполне, но с помощью мыла и достаточного количества воды он может вымыться. Даже тупые Англичане чувствуют что-то в этом роде; у них есть поговорка: "Кто чист, тот Богу мил"; а между тем никогда, ни в одной стране не видел я хуже вымытых рабочих людей и в климате, пропитанном самой мягкой дождевой водой, такого скудного количества бани!" Увы, Зауэртейг, — у наших, "рабочих людей" теперь не хватает даже картофеля; какие же "обязанности" можешь ты им предписывать?

Или бросим взгляд на Китай. Наш новый друг, тамошний Император, — это Первосвященник трехсот миллионов людей, которые все живут и работают вот уже много столетий: настолько подлинно покровительствует им Небо, и потому они должны иметь какую-нибудь "религию". Этот Император-Первосвященник действительно имеет религиозную веру в некоторые Законы Неба; соблюдает, с религиозной ревностью, "три тысячи церемоний", данные мудрыми людьми около шестидесяти поколений тому назад, как четкий список помянутых законов, — и Небо, по-видимому, заявляет, что этот список не совершенно неточен. У него немного обрядов, у этого Первосвященника-Императора; вероятнее всего, он думает вместе с древними Монахами, что "Труд есть Поклонение". Наиболее публичный Акт Поклонения, им совершаемый, есть, по-видимому, торжественное проведение Плугом в известный день по зеленому лону нашей Матери-Земли, когда Небеса, после мертвой, черной зимы, снова пробудят ее своими весенними лучами, отчетливой красной Борозды — знак, что все плуги Китая должны начинать пахоту и поклонение! Это весьма замечательно. Он, на виду у Видимых и Невидимых Сил, проводит свою отчетливую красную Борозду, говоря и молясь, в немом символизме, о столь многом, в высшей степени красноречивом!

Если спросить этого Первосвященника: "Кто сотворил его? Что станет с ним и с нами?" — то он сохранит полную достоинства сдержанность; сделает движение рукой и первосвященническими глазами по неисследимой глубине Неба, "Цзинь", лазурного царства Бесконечности, как бы спрашивая: "Разве можно сомневаться, что мы сотворены вполне хорошо? Разве может что-нибудь, что дурно, случиться с нами?" — Он и его триста миллионов (это их главная "церемония") ежегодно посещают Могилы своих Отцов; каждый — Могилу своего Отца и своей

Матери; и там, одинокий, в молчании, с каким только может "поклонением" или иною мыслью, — стоит торжественно каждый. Над ним божественные Небеса в полном молчании; божественные Могилы, и эта божественнейшая Могила, в полном молчании — под ним; биение его собственной души, если у него есть какая-нибудь душа, лишь оно одно слышно. Поистине, это может быть своего рода поклонением! Поистине, если человек не может бросить взгляда в Вечность, смотря сквозь этот портал, — сквозь какой иной стоит ему пытаться смотреть?

Наш друг Первосвященник-Император милостиво, хотя и с презрением, разрешает *всяким* Буддистам, Бонзам, Талапойнам\* и прочим строить кирпичные Храмы на свободных основаниях; поклоняться с каким угодно пением, бумажными фонарями, шумным гвалтом и делать ночь отвратительной, раз они находят в этом какое-нибудь утешение. Милостиво, хотя и с презрением. Он — Первосвященник более мудрый, чем думают многие! До сих пор он — единственный верховный Властитель или Священник на этой Земле, который сделал определенную систематическую попытку подойти к тому, что мы называем последним выводом из всякой религии: к "*Практическому* Поклонению Героям"; он непрестанно, с истинной заботливостью, любым возможным путем, пересматривает и просеивает (можно сказать) все свое громадное население в поисках Мудрейших, рожденных в нем; каковыми Мудрейшими, как природными королями, эти триста миллионов людей и управляют. Небеса, по-видимому, поддерживают его до некоторой степени. Эти триста миллионов в настоящую минуту производят фарфор, кантонский чай, с неисчислимым количеством других вещей, — и борются, под знаменем Неба, против Нужды, — и у них было меньше Семилетних войн, Тридцатилетних войн, Войн Французской Революции и адских битв друг с другом, чем у некоторых иных миллионов!

Даже в самой нашей несчастной, безумной Европе, разве не раздавались, в эти последние времена, религиозные голоса, — с религией новой и в то же время древнейшей; совершенно неоспоримой для сердец всех людей? Я знаю тех, которые не называли и не считали себя "Пророками", совсем напротив; но которые в действительности могли бы быть новыми мелодическими Голосами из вечного Сердца Природы, душами, навеки почтенными для всех, кто имеет душу. Французская Революция есть одно явление; поэт Гёте и Германская Литература, как дополнение и духовный показатель ее, есть для меня другое. Так как прежний Светский или Практический Мир, так сказать, погиб в огне, то не видно ли пророчества и зари нового, Духовного Мира, родственного более благородным, более обширным, новым Практическим Мирам? Жизнь Античной набожности, Античной правдивости и героизма стала снова возможной, снова действительно *видна* для большинства современных людей. Явление, которое, как оно ни бесшумно, по своему величию не может быть сравнено ни с каким другим. "Великое событие для мира, теперь, как и всегда, состоит в появлении в нем нового Мудрого Человека". Слышатся звуки, — да будет вечная благодарность

Небесам, — новой мелодии Сфер; они снова слышны среди бесконечных вздорных ссор и жалкого, грубого карканья того, что именуют Литературой; они бесценны, как голос новых Божественных Псалмов! Литература, подобно старинным Собраниям Молитв первых веков, если она только "хорошо выбрана, а остальное сожжено", содержит драгоценные вещи. Ибо Литература, несмотря на все ее печатные станки, приспособления для реклам и безбрежную оглушающую пошлость, *есть* все-таки "Мысль Мыслящих Душ". Священная "религия", если вам нравится это слово, живет в сердце этого странного океана пены, не совсем, впрочем, пены, который мы называем Литературой, и она будет все более и более выделяться из него, — но теперь уже не как опаляющий Огонь: красный, дымящийся, опаляющий огонь очистил себя, превратившись в белый солнечный Свет. Разве Свет не выше Огня? Это тот же самый элемент, только в состоянии чистоты.

Мои разумные читатели, мы удалимся из этой части книги с размеренным словом Гёте на устах; со словом, которое, быть может, было уже воспето, в мрачные часы и в светлые, многими сердцами. Для меня, который находит его набожным, но совершенно правдоподобным и достоверным; полным благоговения, но свободным от ханжества; для меня, который с радостью находит в нем многое и с радостью столь многого в нем не встречает, этот маленький музыкальный отрывок величайшего Мужа Германии звучит, как строфа великой *Путевой Песни* или *Походной Песни* наших великих Тевтонских Родичей, которые шествуют, шествуют, мужественные и победоносные, сквозь нераскрытые Глубины Времени! Он называет ее *Масонской Ложей*, — не Псалмом или Гимном:

В труде Камнетеса —  
Подобие Жизни;  
Его постоянство —  
Как дней человека  
Течение земное.

И Радость, и Горе  
В Грядущем таятся;  
И люди стремятся  
Вперед, не бояся  
Того, что в нем скрыто.

Торжествен, завешан  
У цели всех смертных  
Портал, и безмолвны  
Над нами — созвездья.  
Под нами — могилы.

В его созерцанье —  
Предчувствие страха  
И ужаса трепет:  
Боязнь и сомненье  
Смущают Храбрейших.

Но, Голос здесь слышен;  
То Мудрости Голос,  
Миров и Столетий:  
"Блюдите! Ваш выбор  
И краток, и — вечен!

Здесь, в Вечном Покое,  
Где все — совершенство,  
Вас видят, вам, верным,  
Награду готовят.  
Трудитесь, надейтесь!"



## IV. ГОРОСКОП

### Аристократии

Предсказывать Будущее, управлять Настоящим не было бы так невозможно, если бы с Прошлым не обращались столь святотатственно-дурно, если бы его так не отвергали и, что еще хуже, не искажали! Прошлое не может быть видимо; Прошлое, когда на него в наше время смотрят сквозь "Философскую Историю", даже не может быть *невидимо*: оно ложно видимо; про него утверждают, что оно существовало и — что оно было безбожной Невозможностью. Эти ваши Нормандские Завоеватели, истинно царственные души, короли, коронованные, как таковые, были хищные, безумные тираны; этот ваш Бекет был шумливый эгоист и лицемер; он разбрызгал свой мозг по полу Кентерберийского Собора, чтобы добиться собственной выгоды, — несколько неясно, как именно! "Политика, Фанатизм" или, скажем, "Энтузиазм", даже "добросовестный Энтузиазм", — о да, конечно:

Пес, выгоды свои преследуя, *взбесился*  
И человека укусил!\*

Ибо, по правде, глаз видит во всем то, "видеть что он наделен средством". Безбожный век, смотря назад, на века, которые были божественными, создает образы, самые удивительные, какие только возможно. В Прошлом все было бессмысленным раздором; грубая Сила правила повсюду; Глупость, дикое Неразумие, более годное для Бедлама, чем для человеческого Мира! Благодаря этому, конечно, совершенно естественно, что подобные же качества, в новых, более блестящих одеждах, могут продолжать править и в наше время. Миллионы, зачарованные в Бастилиях Работных домов; Ирландские Вдовы, доказывающие свое родство тифом: чего вы хотите? Так было всегда, и даже еще хуже. История человечества, не состояла ли она всегда в следующем: в поджаривании и съедании глупого Простофильства удачливым Шарлатанством; в борьбе различными оружиями хищного Шарлатана и Тирана против хищного Тирана и Шарлатана? Бога в Прошлом не было; ничего, кроме Механики и Хаотических Животно-богов: — как может бедный "Историк-философ", для которого его собственный век совершенно безбожен, усмотреть какого-нибудь Бога в другие века?

Люди верят в Библии и не верят в них; но изо всех Библий ужаснее всего не верить в "Библию Всеобщей Истории". Это — вечная Библия и Божья Книга, и каждый смертный, пока душа и зрение его не потухли, "может и должен собственными глазами видеть, как Перст Божий пишет в ней!" Сомневаться в этом есть *неверие*, которому нет подобного. Такое

неверие следует наказывать если не огнем и костром, применять которые в наше время трудно, — то, во всяком случае, самым категорическим приказанием молчать, пока оно не сумеет сказать чего-нибудь более умного. К чему нарушать криками благословенное Молчание, если они могут возвещать только что-нибудь подобное? Если в Прошлом нет Божественного Разума, ничего, кроме Дьявольского Неразумия, — то пусть Прошлое будет навеки забыто; не упоминайте о нем более; — все наши предки были повешены; зачем нам говорить о веревках?

Коротко сказать: неверно, будто люди, с тех самых пор как стали обитать на нашей Планете, жили всегда Бредом, Лицемерием, Несправедливостью или иными формами Неразумия. Неверно, будто они когда-нибудь жили или могут жить чем-нибудь иным, кроме как противоположностью всего этого. Люди должны будут снова научиться этому. Их живая История будет тогда опять Героизмом; их писаная История — тем, чем она некогда была: Эпосом. Да, она всегда будет таковой, или же она в существе своем есть Ничто. Будь оно написано в тысяче томов, Негероическое этих томов непрестанно спешит навстречу забвению; действительное содержание Александрийской Библиотеки\* Негероического остается, и в конце концов всегда выкажет себя нулем. У какого человека может быть интерес помнить *это*? Нет ли у всех людей, во все времена, самого живого интереса забыть это? — "Откровения", если не небесные, то адские, научат нас, что Бог есть; и тогда, если понадобится, мы без труда усмотрим, что Он всегда был! Драйдэстовское Философствование и просвещенный Скептицизм XVIII столетия, исторический и иной, проживут еще некоторое время у Физиологов как достопамятный *Кошмар*. Вся эта безумная эпоха с ее призрачными учениями и мертвоголовыми Философиями, "учащими на примерах" или еще как-нибудь, — сделается со временем тем, чем являются для наших Мусульманских друзей их века безбожия: "Периодом Невежества".

Если судорожная борьба последнего Полустолетия научила бедную, борющуюся в судорогах Европу какой-нибудь истине, то только, может быть, следующей, как выводу из бесчисленных других: Европа нуждается в действительной Аристократии, в действительном Священстве, или она не может продолжать существовать. Громадная Французская Революция, Наполеонизм, затем Бурбонизм с его "тремя днями" в заключение, заканчивающийся в весьма неокончателном Луи-Филиппизме\*, — все это должно было бы быть поучительно! Все это могло бы научить нас, что Ложные Аристократии невыносимы; что Не-аристократии, Свобода и Равенство, невозможны; что истинные Аристократии одновременно неизбежны и нелегко достижимы.

Аристократия и Священство, Правящий Класс и Учащий Класс, оба они, иногда отдельные и стремящиеся согласоваться один с другим, иногда соединенные в одно, так что Король является Первосвященником-Королем: ни одно Общество не существовало без этих двух жизненных элементов; ни одно не будет существовать. Это лежит в самой природе человека: вы не найдете ни одной самой отдаленной деревни в самой республиканской стране мира, где бы вы не встретили, в воз-

возможности или в действительности, работу этих двух сил. Человек, сколь мало бы он это ни предполагал, необходимо должен повиноваться высшим. Он — общественное существо в силу этой необходимости; иначе он не мог бы быть даже стадным существом. Он повинуетя тем, кого почитает лучшими, чем он сам, более мудрыми, более мужественными; и он всегда будет им повиноваться; и даже будет всегда готов и счастлив это делать.

Более Мудрые, более Мужественные: они — всегда и везде Возможная Аристократия — во всех Обществах, достигших какого-нибудь определенного устройства, развиваются в правящий класс, в Действительную Аристократию, с установленными приемами действия, — то, что мы называем законами и даже *частными законами*, или привилегиями, и так далее; явление, весьма достойное замечания в нашем мире. — Аристократия и Священство, говорим мы, бывают иногда соединены. Ибо поистине, самые Мудрые и самые Мужественные составляют собственно только один класс; нет мудрого мужа, которому не надо было бы быть прежде всего мужественным мужем; без этого он никогда не был бы и мудрым. Благородный Священник всегда был прежде всего благородным Aristos\*, а в заключение — кое-чем и большим. Лютер, Нокс, Ансельм, Бекет, Аббат Самсон, Сэмюэл Джонсон, если бы они не были достаточно мужественны, каким образом могли бы они быть когда-нибудь мудры? — Если, случайно или преднамеренно, эта Действительная Аристократия разделится на Два Класса, то нет сомнения, что Священнический Класс будет более почетным; высшим над другим, как правящая голова выше действующей руки. Но вот на практике более вероятным оказывается обратное устройство — знак, что в нем уже есть изъян; что в него уже проникла трещина, которая будет расширяться и расширяться, пока не рухнет все.

В Англии, да и вообще в Европе, следует сказать, что эти две Возможности раскрылись в Действительность гораздо более разнообразным образом, чем можно было видеть когда-нибудь где-либо на земном шаре. Духовное Руководство, практическое Управление, плод великих сознательных забот или, лучше сказать, неизмеримых бессознательных инстинктов и потребностей людских, прочно утвердились здесь и представляют собой очень странное зрелище. Везде, в то время как столь многое было забыто, найдете вы Дворец Короля или Замок Вице-Короля, Палаты, Господские дома, — так что от моря до моря нет ни пяди земли, которая не имела бы своего Короля, или Вице-Короля, длинных соответствующих рядов Вице-Королей, своего Помещика, Графа, Герцога или какой там у него ни будь титул, — которому вы передали землю, чтобы он мог править вами на ней.

И, что еще более трогательно, нет ни одной деревушки, где собраны бедные крестьяне, в которой, тем или другим способом, не было бы устроено все нужное для Прихода: крытое здание, с доходами и колокольнями; кафедра, аналой, с Книгами и Уставами; словом, возможность и строгое предписание: чтобы здесь стоял человек и говорил людям о духовных вещах. Это великолепно; даже при большом помрачении и падении это принадлежит к числу великолепнейшего и наиболее трогательного, что только можно видеть на Земле. Правда, этот Говорящий

Человек в настоящую минуту страшно удалился в сторону; он, увы, так сказать, совершенно потерял из вида настоящую точку; и тем не менее кого можно было бы в конце концов сравнить с ним? Изю всех общественных чиновников, получающих от Промышленности Современной Европы стол и квартиру, есть ли хоть один, более достойный стола, который он получает? Человек, который берется и даже делает кое-какие, хотя бы самые слабые, усилия спасти души людей: сопоставьте его с человеком, который не берет на себя почти ничего, кроме как стрелять принадлежащих людям куропаatok! Мне хотелось бы, чтобы он снова мог найти настоящую точку, этот Говорящий Человек, и держаться за нее с упорством, с энергией не на живот, а на смерть; ибо мы все еще нуждаемся в нем. Задачи Речи, то есть Истины, доходящей до нас в живом голосе, даже в живом виде и как конкретный, практический пример; эти задачи, несмотря на все наши задачи Письма и Печатания, имеют вечное значение. Если б только он мог снова найти настоящую точку; снять с носа старые очки и, взглянув, увидеть, почти непосредственно около себя, что такое теперь *действительный* Сатана и пожирающий душу, пожирающий мир *Дьявол!* Первородный Грех и тому подобное очень дурно, я в этом не сомневаюсь; но очищенный Джин, мрачное Невежество, Глупость, мрачный Хлебный закон, Бастилия и компания, — что это такое? Узнает ли он нового действительного Сатану, с которым должен бороться, или же он будет по-старому брюзжать сквозь свои старые очки, на старых, исчезнувших Дьяволов, — и не увидит настоящего, пока не *почувствует* его у своего собственного горла и у нашего? Вот вопрос для Вселенной! Но не будем с ним здесь возиться.

Сколь ни печально, сколь ни призрачно выглядит теперь эта самая Двойная Аристократия Учителей и Правителей, — всем людям надо знать, что задача ее есть и всегда будет благородна и в высшей степени действительна. Драйасдест, смотря только поверхностно, находится в большом заблуждении относительно этих древних Королей. Вильгельм Завоеватель, Вильгельм Руфус, или Рыжая Борода, сам Стефан Кертоз, а еще более — Генрих Боклерк и наш мужественный Генрих Плантагенет, — жизнь этих людей не была хищной Борьбой; она была доблестным Правлением, к которому лишь случайно присоединялась Борьба и должна, увы, присоединиться и теперь, хотя гораздо реже, как некоторое добавление, печальная, мешающая прибавка. Борьба была также необходима, чтобы убедиться, кто над кем имеет власть, над кем право. Посредством долгой, упорной борьбы, как мы некогда сказали, "не-действительность, разбитая в прах, постепенно разлетелась" и оставила чистую действительность и факт: "Ты — сильнее меня; ты — мудрее меня; ты — король, а подданный — я" в несколько более ясном виде.

Поистине, мы не можем достаточно налюбоваться, в эти времена Аббата Самсона и Вильгельма Завоевателя, как они устроили свои Правящие Классы. В высшей степени интересно наблюдать, как искреннее с их стороны внимание к тому, что должно было быть исполнено в силу первой необходимости, привело их к способу его исполнения и с течением времени к достижению его! Никакая выдуманная Аристократия не могла бы сослужить им здесь службы; и вследствие этого они

добились настоящей. Самые Мужественные люди, которые, — это надо всегда повторять и напоминать, — в общем суть также самые Мудрые, самые Сильные, во всех отношениях Лучшие, были ими выбраны с значительной степенью точности; посажены каждый на своем клочке земли, который был сперва ему предоставлен, а потом постепенно и совсем отдан, чтобы он мог править им. Эти Вице-Короли, каждый на своем участке общей земли Англии, с Верховным Королем над всеми, были "Возможностью, развившейся в Действительность", поистине в удивительной степени.

Ибо то были грубые, сильные века; полные значительности, суровой Божьей правды; — и, во всяком случае, *оболочка* у них была несравненно *тоньше*, чем у нас; факт быстро действовал на них, если им когда-нибудь случалось подчиниться Призраку! "Холопы и Трусы" должны были быть, до некоторой степени, "заключаемы под стражу"; или иначе мир нашел бы, что не может существовать в течение какого-нибудь года. В соответствии с этим Холопы и Трусы и были заключаемы под стражу. Трусы даже на самом троне должны были быть заклучены под стражу и низведены с трона — теми способами, которые тогда существовали; самым грубым способом, если случайно не попадалось более мягкого. Несомненно, тогда было много жестокости в приемах, много суровости; как и вообще правление и хирургия часто бывают суровы. Гурт, прирожденный раб Седрика, кажется, получал удары так же часто, как и свиные объедки, если нехорошо себя вел; но Гурт принадлежал Седрику; тогда не было ни одного человеческого существа, которое не было бы с кем-нибудь связано; которому было бы предоставлено идти своей дорогой в Бастилию или куда-нибудь еще хуже, по системе *Laissez faire*; которое было бы вынуждено доказывать свое родство смертью от тифа! — Приходят дни, когда не будет Царя во Израиле, но когда каждый человек будет сам себе царь и будет делать, что праведно в очах его; и когда зажгутся смоляные бочки в честь "Свободы", "Десятифунтового Избирательного права" и тому подобного, — с значительным, в разных отношениях, эффектом! —

Эта Феодальная Аристократия, говорю я, не была воображаемой. В значительной степени ее *Jarls*, то, что мы теперь называем *Earls*, Графы, были *Сильными* в действительности столько же, сколько и в этимологии; ее *Duces*, Герцоги, — *Вождями*; ее *Lords*, Лорды, — *Law-wards*, *Хранителями Закона*. Они исполняли все военные и полицейские обязанности в стране, все обязанности Суда, Законодательства, даже Расширения Церкви; словом, все, что могло быть сделано в области Правления, Руководства и Покровительства. Это была Земельная Аристократия; она распоряжалась Управлением Английского Народа и получала в обмен плоды от Земли Англии. Это, во многих отношениях, Закон Природы, этот самый Закон Феодализма; — нет истинной Аристократии, кроме Земельной. Любопытствующие приглашаются поразмыслить об этом в наши дни. Военная служба, Полиция и Суд, Расширение Церкви, вообще всякое истинное Управление и Руководство — все это было действительно *исполняемо* Держателями Земли в обмен за их землю. Сколь многое из этого исполняется ими теперь, исполняется кем бы то ни было? Благие Небеса, "*Laissez faire*, Не делайте ничего, проедайте

ваше вознаграждение и спите” — это повсюду страстный, полуразумный крик нашего времени; и они не ограничиваются желанием ничего не делать, они хотят еще издавать Хлебные законы! Мы собираем Пятьдесят два миллиона со всех нас, чтобы иметь Управление, — или, увы, чтобы убедить себя, что мы его имеем; и ”специальный налог на Землю” должен оплатить не все это, но оплатить, как я узнал, одну двадцать четвертую часть всего этого. Наш первый Чартистский Парламент, или Оливер Redivivus\*, скажете вы, будет знать, на кого возложить новые налоги Англии! — Увы, налоги! Если вы заставите Держателей Земли оплачивать до последнего шиллинга расходы по Управлению Землей, — что из этого? Земля не может быть управляема одними только наемными Правителями. Нельзя нанять людей, чтобы управлять Землей: не по полномочию, обусловленному Биржевым Контрактом, а по полномочию, небесное происхождение которого сознается в собственном сердце, могут люди управлять Землей. Полномочие Земельной Аристократии *священно*, в обоих смыслах этого старинного слова. Основание, на котором оно стоит в настоящее время, может вызвать мысли, иные, чем о Хлебных законах! —

Но поистине, ”Сияние Божие”, как в грубой клятве Вильгельма Завоевателя, сияло в эти старые, грубые, искренние века; оно все более и более озаряло небесным благородством все отрасли их труда и жизни. Призраки не могли еще тогда разгуливать в одних только Портновских Нарядах; они были, по меньшей мере, Призраками ”на краю небосклона”, начертанными на нем вечным Светом, сияющим изнутри. В высшей степени ”практическое” Почитание Героев, бессознательно или полусознательно, было распространено повсюду. Какой-нибудь Монах Самсон, тахітис с двумя шиллингами в кармане, мог, без баллотировочного ящика, быть сделан Вице-Королем, раз увидели, что он того достоин. Тогда сознавали еще, что разница между хорошим человеком и дурным человеком, — какова она всегда и есть: неизмерима. Кто *осмелился бы* в те дни избрать Пандаруса Догдраута\* на какую-нибудь должность, в Карлтонский клуб\*, в Сенат или вообще куда-нибудь? Тогда сознавали, что Архисатана, и никто другой, имеет право собственности на Пандаруса; что лучше было бы не иметь никакого дела с Пандарусом, избегать соседства Пандаруса! Это и до настоящего часа — очевидный факт, хотя в настоящее время, увы, забытый факт! И я думаю, что это были сравнительно благословенные времена в своем роде! ”Насилие”, ”война”, ”неустройство”; однако, что такое война и сама смерть в сравнении с такою постоянной жизнью в смерти и с ”миром, миром там, где нет мира”! Если только не может снова возникнуть какое-нибудь Почитание Героев в новой, соответствующей форме, то этот мир не очень-то обещает быть долго обитаемым!

Старый Ансельм, изгнанный Архиепископ Кентерберийский, один из наиболее чистых умом ”гениальных людей”, отправился, чтобы принести в Рим жалобу на короля Руфуса, — человека с грубыми приемами, в котором ”внутренний Свет” сиял весьма тускло. Прекрасно читать, у Монаха Идмера, как народы Материка приветствовали и почитали этого Ансельма, как нигде во Франции народ не почитает теперь Жан-Жака или убийственного Вольтера; как даже Американское население не

почитает теперь Шнюспеля\*, выдающегося Романиста! С помощью воображения и истинной проницательности они получили самое твердое убеждение, что Благословение Божье почиет на этом Ансельме, — как-во также и мое убеждение. Они теснились вокруг него, коленапреклоненные и с горящими сердцами, дабы получить его благословение, услышать его голос, увидеть свет лица его. Мое благословение да будет над ними и над ним! — Но наиболее замечателен был некий нуждающийся или жадный Герцог Бургундский, находившийся, будем надеяться, в стесненных обстоятельствах. Он сообразил, что, по всей вероятности, этот Английский Архиепископ, отправляясь в Рим для жалобы, должен был взять с собою некоторый запас денег, чтобы подкупать Кардиналов. Вследствие чего этот Бургундец, со своей стороны, решился лечь в засаду и ограбить его. "На одном открытом месте в лесу", — в каком-нибудь "лесу", который зеленел и рос восемь веков тому назад в Бургундской земле, — этот свирепый Герцог, со свирепыми вооруженными спутниками, волосатый, дикий, как Русский медведь, бросается на слабого, старого Ансельма, который едет себе на своей маленькой, спокойно идущей лошадке, сопровождаемый только Идмером и другим бедным монахом на лошадках, — не имея с собою ни одной золотой монеты, кроме небольшого количества денег на дорогу. Закованный в железо Русский медведь выскакивает с молниеносным взглядом; а старик с седой бородой не останавливается, — едет себе спокойно дальше и смотрит на него своими ясными, старыми, серьезными глазами, со своим почтенным, озабоченным, изборожденным от времени лицом; никто и ничто не должно его бояться, и он также никого и ничего сотворенного не боится. Огненные глаза Его Бургундской Светлости встречают этот ясный взор, и он быстро проникает ему в сердце; он соображает, что, может быть, в этом слабом, бесстрашном, старом Облике есть нечто от Господа Всевышнего; что, вероятно, он будет осужден, если тронет его; — что вообще ему лучше этого не делать. Он, этот грубый дикарь, опускается со своего боевого коня на колени; обнимает ноги старого Ансельма: и он также просит его благословения, приказывает своим людям сопровождать его, охранять его от нападения разбойников и, под страхом ужасных наказаний, смотреть, чтобы он был безопасен на своем пути. *Per os Dei\**, как обыкновенно восклицал Его Величество!

Ссоры Руфуса с Ансельмом, Генриха с Бекетом не лишены назидательности и для нас. В сущности, это были великие ссоры. Ибо, если допустить, что Ансельм был полон божественного благословения, он никоим образом не совмещал в себе всех форм божественного благословения; — существовали совершенно иные формы, о которых он даже и не грезил, и Вильгельм Рыжая Борода бессознательно был их представителем и глашатаем. По правде, если бы этот божественный Ансельм, этот божественный Папа Григорий были свободны в своих поступках, то последствия этого были бы весьма замечательны. Наш Западный мир обратился бы в Европейский Тибет с одним Великим Ламой, восседающим в Риме, и нашей единственной почетной обязанностью было бы служить обедни по целым дням и целым ночам, — что ни малейшим образом не подходило бы для нас. Высшие Силы соизволили иначе.

Это было, как если бы Король Рыжая Борода бессознательно сказал, обращаясь к Ансельму, Бекету и другим: "Ваше Высокопреподобие, ваша Теория Вселенной не может быть оспариваема ни человеком, ни дьяволом. До глубины сердца чувствуем мы, что то божественное, что вы называете Матерью-Церковью, наполняет весь доселе известный мир, и в ней есть, и должно быть, все наше спасение и все наше желание. И тем не менее Посмотрите: хотя это еще — невысказанная тайна, тем не менее — мир *обширнее*, чем кто-нибудь из нас думает, Ваше Высокопреподобие! Посмотрите: есть еще много неизмеримо священного в том, что вы называете Язычеством, Мирским! Вообще я смутно, но очень твердо чувствую, что не могу согласиться с вами. Западный Тибет и постоянное служение обеден, — Нет! Я, так сказать, в ожидании; я чреват, не знаю чем, но — несомненно чем-то весьма отличным от этого! Я, *per os Dei*, я ношу в себе Манчестерскую Хлопчатобумажную торговлю, Бирмингемскую торговлю Железом, Американскую Республику, Индийскую Империю, Паровые Машины и Шекспировы Драмы; и я не могу разрешиться, Ваше Высокопреподобие!" — И соответственно с этим и было постановлено; и Саксонец Бекет потерял свою жизнь в Кентерберийском Соборе, подобно тому как Шотландец Уоллес на Тауэр-Хилле\*, и, как вообще должен это делать всякий благородный муж и мученик, — не понапрасну, нет; но из-за чего-то божественного, иного, чем *он* сам рассчитывал. Мы расстанемся теперь с этими жестокими органическими, но ограниченными Феодалными Веками и робко взглянем в необъятные Промышленные Века, до сих пор совершенно неорганические и в совершенном состоянии слизи, отчаянно стремящиеся отвердеть в какой-нибудь организм!

Так как наш Эпос теперь есть *Орудие и Человек*, то более, чем когда-либо, невозможно предсказывать Будущее. Безграничное Будущее предустановлено и даже уже существует, хотя и невидимо, тая в своих Хранилищах Тьмы "радость и горе"; но и высочайший человеческий ум не может заранее изобразить многое из грядущего; — соединенный ум и усилия Всех Людей во всех будущих поколениях, только они постепенно изобразят его и очертят и оформят в видимый факт! И как бы мы ни напрягали сюда наше зрение, наивысшее усилие ума открывает только брезжущий свет, лишь малую тропу в его темные, необъятные Глубины: лишь крупные очертания неясно светятся перед взором, и луч пророчества потухает уже на коротком расстоянии. Но не должны ли мы сказать, здесь, как и всегда: Довлеет дневи злоба его!\* Упорядочить все Будущее не наша задача, а только упорядочить добросовестно малую часть его, согласно правилам, уже известным. Вероятно, можно каждому из нас, если только он спросит с подобающей серьезностью, вполне уяснить себе, что он, со своей стороны, должен делать; и пусть он это от всего сердца и делает и продолжает делать. Окончательный вывод предоставим, как это в действительности всегда и происходило, Уму более Высокому, чем наш.

Одно большое "очертание", или даже два, сумеют, может быть, в настоящем положении дела представить себе заранее многие серьезные читатели — и извлечь отсюда некоторое руководство. Одно предсказание, или даже два, уже возможны. Ибо Древо жизни Игтдрасиль, во всех



его новых проявлений, есть то же самое, древнее, как мир, Древо жизни; найдя в нем элемент или элементы, текущие от самых корней его в Царстве Хели, в источнике Мимира\* и Трех Норм, или Времен, вплоть до настоящего часа, в наши собственные сердца, — мы заключаем, что так это будет продолжаться и впредь. В собственной душе человека сокрыто Вечное: он может прочесть там кое-что о вечном, если захочет посмотреть! Он уже знает то, что будет продолжаться, и то, чего никакими средствами и приемами нельзя побудить продолжаться.

Одно обширное и обширнейшее "очертание" могло, во всяком случае, сделаться для нас действительно ясным, именно следующее: что "Сияние Божье", в той или другой форме, должно раскрыться также и в сердце нашего Промышленного Века; иначе он никогда не сделается "организованным", но по-прежнему будет хаотичным, несчастным, все более расстроенным, — и должен будет погибнуть в безумном, самоубийственном распаде. Второе "очертание", или пророчество, более узкое, но также достаточно обширное, представляется не менее достоверным: что *будет* снова Царь в Израиле; система Порядка и Управления; и что каждый человек увидит себя, до некоторой степени, принужденным делать то, что праведно в очах Царевых. И это также можно назвать твердым элементом Будущего; ибо это также от Вечного; но это также и от Настоящего, хотя и скрыто от большинства; и без этого не существовала никогда ни одна частица Прошлого. Действительная новая Власть, Промышленная Аристократия, подлинная, не воображаемая Аристократия, для нас необходима и беспорна.

Но какая Аристократия! На каких новых, гораздо более сложных и более искусно выработанных условиях, чем эта старая, Феодальная, воюющая Аристократия! Ибо мы должны помнить, что наш Эпос теперь действительно уже не *Оружие и Человек*, а *Орудие и Человек*, бесконечно более обширный род Эпоса. И кроме того, мы должны помнить, что теперь люди не могут быть привязаны к людям *медными ошейниками*, — ни малейшим образом; что эта система медных ошейников, во всех ее формах, навсегда исчезла из Европы! Громадная Демократия, толпящаяся повсюду на улицах в своем Платье-Мешке, утвердила это нерушимо, не допуская никаких возражений! Безусловно верно, что человек *есть* всегда "прирожденный раб" некоторых людей, природный хозяин некоторых других людей, равный по рождению некоторым третьим, признает ли он этот факт или нет. Не является благом для него, если он не может признать этого факта; он в хаотическом состоянии, на краю гибели, покуда он не признает этого факта. Но ни один человек, отныне и впредь, не может быть рабом другого человека с помощью медного ошейника: его надо привязывать иными, гораздо более благородными и тонкими способами. Раз навсегда он должен быть освобожден от медного ошейника; его свобода должна быть *настолько же* обширна, *насколько* обширны теперь его способности; и не будет ли он для вас гораздо более полезен в этом новом состоянии? Отпустите его с доверием как свободного; и он вернется к вам к ночи с богатой жатвой! Гурт мог только стеречь свиней; а этот построит города, покорит обширные области. — Каким образом в соединении с неизбежной Демократией может существовать необходимая

Власть, это несомненно величайший вопрос, когда-либо предложенный Человечеству! Разрешение его — дело долгих годов и веков. Года и века, кто знает, сколь сложные, — благословенные или неблагословенные, сообразно с тем, будут ли они с серьезным, мужественным усилием двигаться в этом отношении вперед или, в ленивой неискренности и дилетантизме, только говорить о том, чтобы двигаться вперед. Ибо отныне необходимо или такое движение вперед, или быстрое, и все более быстрое, движение к распаду.

Важно, чтобы эта великая реформа началась; чтобы Прения о Хлебном законе и всякая иная болтовня, немного меньше чем безумные в настоящее время, чтобы они далеко отлетели и предоставили бы нам свободу начать! Ибо зло уже перешло в практику, стало в высшей степени очевидно; если оно не будет замечено и предупреждено, то самый слепой глупец почувствует его в скором времени. Много есть такого, что может ждать; но есть также нечто, что не может ждать. Когда миллионы бодрых Рабочих Людей заключены в "Невозможность" и в Бастилии по Закону о бедных, то наступило время постараться сделать "возможными" какие-нибудь средства поладить с ними. Правительству Англии, всем членораздельно говорящим чиновникам, действительной и воображаемой Аристократии, мне и тебе, — повелительно предлагается вопрос: "Как думаете вы распорядиться этими людьми? Где найдут они сносное существование? Что станется с ними, — и с вами!"

### **Вожди промышленности**

Если бы я думал, что Маммонизм с его приспешниками должен и впредь быть единственным серьезным принципом нашего существования, я бы признал совершенно праздным искать у какого-нибудь Правительства целительных средств, так как болезнь эта не поддается лекарствам. Правительство может сделать многое, но оно отнюдь не может сделать всего. Правительство как наиболее видная часть Общества призвано указывать на то, что должно быть сделано, и, во многих отношениях, председательствовать, способствовать и распоряжаться самим исполнением. Но Правительство, несмотря на все свои указания и распоряжения, не может сделать того, чего Общество коренным образом не расположено делать. В конечном выводе, всякое Правительство есть точный символ своего Народа, с его мудростью и безумием; мы можем сказать: каков Народ, таково Правительство. — Весь громадный вопрос об Организации Труда и, прежде всего, об Управлении Трудящимися Классами должен быть, что весьма ясно, в его главной сути разрешен теми, кто практически стоит в его центре; теми, кто сам работает и стоит во главе работы. Зародыши всего, что может постановить в этом отношении какой бы то ни было Парламент, должны уже потенциально существовать в этих двух Классах, ибо они должны и повиноваться такому постановлению. Напрасно было бы стараться осветить Человеческий Хаос, в котором нет света, светом, падающим на него извне; порядок тут никогда не возникнет.

Но вот в чем я твердо убежден: это, что "Ад Англии" *перестанет* заключаться в "ненаживании денег"; что у нас будет более благородный Ад и более благородное Небо! Я предвижу свет в Человеческом Хаосе, мерцающий, сияющий все более и более, вследствие многообразных верных сигналов изнутри, повелевающих, чтобы Этот свет воссиял. И когда наше Божество не будет более Маммоной, — О Небеса, всякий скажет тогда себе: "К чему такая смертельная поспешность в наживании денег? Я не попаду в Ад, даже если не наживу денег! Существует другой Ад, я это знаю!" Тогда ослабеет соревнование на всех парах, во всех отраслях торговли и труда; тогда окажется возможным найти хорошие во всех отношениях касторовые шляпы для головы, вместо семифутовых шляп из драни и глины, на колесах! Периоды дутых дел, с их паникой и торговыми кризисами, снова сделаются несчастными; неустанный скромный труд займет место спекулятивной игры. Быть благородным Хозяином среди благородных Работников сделается снова главным честолюбием некоторых; быть богатым Хозяином — отойдет на второй план. И как сумеет Изобретательный гений Англии, отодвинув в уме шум катушек и прядильных валов более или менее на задний план, как сумеет он заняться не тем, чтобы только производить как можно дешевле, а тем, чтобы справедливо распределять продукты при их теперешней дешевизне! Мало-помалу у нас снова возникнет Общество с чем-то вроде Героизма в себе, с чем-то вроде Благословения Неба над собою; и у нас снова будет, как уверяет наш Германский друг, "вместо Феодализма Маммоны с ее непроданными бумажными рубашками и Охраной Охоты, благородный, истинный Индустриализм и Правительство Мудрейших!"

И вот, в надежде, что удастся разбудить того или другого Британца, дабы он познал в себе человека и божественную душу, — мы можем теперь обратиться с несколькими словами прощального наставления ко всем лицам, которым Небесные Силы передали власть какого бы то ни было рода в нашей стране. И прежде всего — к этим самым Хозяевам-Работникам, Руководителям Промышленности, ибо они стоят ближе всего к ней и действительно пользуются наибольшей властью, хотя и не более других на виду, так как до сих пор во многих отношениях представляют скорее Возможность, чем Действительность\*...

...Глубоко скрытая под гнуснейшим, забывающим Бога Ханжеством, Эпикуреизмом, Обезьянством с Мертвого Моря; забытая как бы под самым гнилым илом и тиной мутной Леты, — все-таки во всех сердцах, рожденных в Божьем Мире, дремлет искра Божественного. Проснитесь, о полунощные сонливцы! Проснитесь, встаньте или оставайтесь навсегда повергнутыми! Это — не поэзия театральных подмостков; это — трезвый факт. Англия, мир не могут жить такими, каковы они теперь. Они снова соединятся с Богом или низринутся вниз, к Дьяволам, с неописуемыми муками и огненной гибелью. Ты, который чувствуешь, как в тебе шевелится нечто из этого Божественного, некое слабейшее напоминание о нем, как бы сквозь тяжкие сновидения, — последуй *за ним*, заклинаю тебя. Встань, спаси себя, будь одним из тех, которые спасают твою страну.

Буканьеры, Индейцы Чактау\*, высшая цель которых в борьбе — получить скальпы и деньги, набрать кучи скальпов и денег, — из них не вышло никакого Рыцарства, и никогда не выйдет! Из них вышли только кровь и разрушение, адское бешенство и бедствия; отчаяние, потухшее в уничтожении. Посмотри на это, прошу тебя, посмотри и обдумай! Что тебе из того, что у тебя есть сотня тысячефунтовых билетов, сложенных в твоём несгораемом шкафу, сотня скальпов, повешенных в твоём вигваме? Я не наделяю ценой ни тебя, ни их. Твои скальпы и твои тысячефунтовые билеты пока ещё ничто, если их не освещает внутреннее благородство; если в них нет рыцарства, всегда борющегося, в действии или в зачатках рождения и действия.

Любовь людей не может быть куплена наличным платежом; а без любви люди не могут выносить совместной жизни. Нельзя руководить Воюющим Миром, не разбив его на полки, не сделав его рыцарским; с первого же дня это окажется невозможным; все в нём, сперва высшие, под конец самые низшие, понимают, сознательно или при помощи благородного инстинкта, эту необходимость. Но нельзя ли руководить Работающим Миром, не распределив его на полки, оставляя его в анархии? Я отвечаю, и Небеса и Земля отвечают ныне: нет! Правда, это оказывается невозможным не "с первого же дня", но это окажется таковым через каких-нибудь два поколения. Да, если отцы и матери, в Стокпортских голодных подвалах, начинают есть своих детей, а Ирландские вдовы вынуждены доказывать свое родство смертью от тифа; и при Управлении "Класса Лучших и Достойнейших", занятого охранением своей охоты и запущением лесов, темные миллионы сотворенных Господом людей восстают в безумном Чартизме, в неисполнимых Священных Месяцах\* и Манчестерских Восстаниях, — и возможная Промышленная Аристократия все еще лишь наполовину жива, зачарована среди денежных мешков и гроссбухов; а действительная Праздная Аристократия, по-видимому, близка к смерти в сонных фантазиях, нарушениях права охоты и двустольных ружьях; и "скользит" как бы по наклонной плоскости, которую она ежегодно, среди Божьего мира, *намыливает* новой Хенсардовской болтовней\* и таким образом "скользит" все быстрее и быстрее к тарифу" и чаше весов, на которых написано: *Ты была найдена очень легкой\**: в такие дни, через поколение или два, говорю я, это оказывается, даже для простых и низких, вполне ощутимо невозможным! Трудящийся Мир, столько же, сколько и Воюющий Мир, не может быть руководим без благородного Рыцарства Труда, и законов и определенных правил, из него вытекающих, — гораздо более благородного, чем всякое Рыцарство Войны. Если мы — только находящаяся в анархии толпа, основанная лишь на Спросе и предложении, тогда в страшных, самоубийственных конвульсиях и самоистязаниях мы неизбежно опустимся — ужасно для воображения! — до Рабочих-Чактау. С вигвамами и скальпами, — с дворцами и тысячефунтовыми билетами; с дикостью, уменьшением населения, хаотическим отчаянием. Благие Небеса, неужели нам недостаточно одной Французской Революции и Господства Террора, а нужно их две? Их будет две, если понадобится; их будет двадцать, если понадобится; их будет ровно столько, сколько понадобится. Законы Природы будут исполнены. Для меня это — бесспорно.

Ты должен добиться искренней преданности твоих доблестных военных армий и рабочих армий, как это было и с другими; они должны быть, и будут, упорядочены; за ними должна быть закономерно укреплена справедливая доля в победах, одержанных под твоим водительством; — они должны быть соединены с тобою истинным братством, сыновством, совершенно иными и более глубокими узами, чем временные узы поденной платы! Как стали бы простые полки в красных мундирах, не говоря уже ничего о рыцарстве, сражаться за тебя, если бы ты мог рассчитывать с ними в самый вечер битвы уплатой условленных шиллингов, — и если бы они могли рассчитывать с тобою в день битвы утром! Челсийские инвалидные дома, пенсии, повышения по службе, строго соблюдаемый и продолжительный договор с той и с другой стороны необходимы даже для наемного солдата. Тем более Феодалный Барон, как мог бы он существовать, окруженный только одними временными наемниками по шести пенсов в день, готовыми перейти на другую сторону, если будут предложены семь пенсов? Он не мог бы существовать, — и его благородный инстинкт спас его от необходимости даже испробовать это! Феодалный Барон обладал Душой Мужа, для которой анархия, смута и другие плоды временного наемничества были бы невыносимы: иначе он никогда бы не был Бароном, а оставался бы Чактау и Буканьером. Быть окруженным людьми, которые от всего сердца любили его, за чьей жизнью он наблюдал со строгостью и любовью, которые были готовы отдать за него свою жизнь, если бы это понадобилось; все это он сперва высоко ценил, а потом это сделалось для него обычным и вошло в его плодотворно расширившееся существование как необходимое условие. Это было великолепно; это было человечно! Нигде и никогда человек, при других условиях, не жил и не мог жить удовлетворенным. Обособленность есть сумма всех видов несчастья для человека. Быть отрезанным, быть покинутым в одиночестве; быть окруженным миром чуждым, не твоим миром; все для тебя — вражеский лагерь; нет у тебя дома, нет сердец и лиц, которые бы тебе принадлежали, которым бы ты принадлежал! Это — самые страшные чары; истинно — дело Дьявола. Не иметь ни высшего, ни низшего, ни равного, который был бы мужественно соединен с тобой. Без отца, без сына, без брата. Человек не знает более печальной судьбы. "Как одинок каждый из нас, — восклицает Жан Поль, — на обширном лоне Всего!" Каждый заключен как бы в своем прозрачном "ледяном дворце"; мы видим, как наш брат в своем дворце делает нам знаки и жесты; мы его видим, но никогда не будем в состоянии прикоснуться к нему; ни мы никогда не будем покоиться на его груди, ни он на нашей. Не Бог создал это, нет!

Проснитесь вы, благородные Работники, воины единой истинной войны: все это должно быть исправлено. Ведь вы уже наполовину ожили, и я готов благословить вас в жизнь; я готов заклинать вас, во имя Бога, чтобы вы стряхнули ваш заколдованный сон и жили полной жизнью! Перестаньте считать скальпы, кошельки с золотом; не в них заключается ваше и наше спасение. Даже и они, если вы будете считать только их, не надолго вам будут оставлены. Отгоните далеко прочь от себя буканьерство; измените, отмените немедленно все законы буканьеров, если вы

хотите одержать какую-нибудь победу, которая была бы прочна. Пусть Божественная справедливость, пусть жалость, благородство и мужественная доблесть, с большим или меньшим количеством кошельков золота, засвидетельствуют о себе в этот краткий миг вашего Жизненного перехода к Вечности, к Богу и Молчанию. К вам я взываю; ибо вы не мертвы, но уже почти наполовину живы: в вас есть недремлющая, непокоримая энергия, первооснова всякого благородства в человеке. Честь вам и слава в вашем призвании! К вам я взываю; вы знаете, по крайней мере, что повеление Бога к созданному им человеку было: Трудись! Будущий Эпос Мира останавливается не на тех, кто почти мертв, но на тех, кто жив и кто должен войти в жизнь.

Взгляните вокруг себя! Ваши мировые армии все в восстании, в смятении, в распадении; они накануне огненной гибели и безумия! Они не пойдут далее для вас за шесть пенсов в день, по принципу Спроса и предложения; они не пойдут, они не смеют, они не могут. Вы должны привести их в порядок, начать упорядочивать их. Приводить в порядок, в справедливое подчинение; благородная верность в возмездие за благородное руководство. Их души почти доведены до безумия; пусть ваша будет здорова, все здоровее. Не как озверевшая, озверяющая толпа, но как сильное, устроенное войско, с истинными вождями во главе, будут впредь выступать эти люди. Все человеческие интересы, соединенные человеческие стремления и общественный рост в этом мире, на известной ступени своего развития, требовали организации; и Труд, величайший из человеческих интересов, требует ее теперь.

Богу известно, задача будет тяжела; но ни одна благородная задача никогда не была легка. Эта задача измучит вашу жизнь и жизнь ваших сыновей и внуков; но с какою же целью, если не для задач, подобных этой, дана жизнь людям? Вы должны перестать считать ваши десятифунтовые скальпы; благородные среди вас должны перестать считать их! Да и самые скальпы, как я уже сказал, не надолго будут вам оставлены, если вы будете считать только их. Вы совершенно должны перестать быть варварскими, кровожадными Чактау и должны сделаться благородными Европейцами XIX столетия. Вы должны знать, что Маммона, сколько бы у него ни было карет и какою бы дворней он ни был окружен, — не есть единственный Бог; что сам по себе он — только Дьявол и даже Животно-бог.

Трудно? Да, это будет трудно. Хлопок с короткими волокнами, это тоже было трудно. Большой куст хлопчатника, долго бесполезный, непокорный, как чертополох при дороге, — разве вы не покорили его; разве вы не превратили его в великолепную бумажную ткань, в белые тканые рубашки для людей, в ярко воздушные одежды, в которых порхают богини? Вы взорвали горы, вы твердое железо сделали послушным себе, как мягкую глину; Исполины Лесов, Ётуны Болот приносят золотые снопы хлеба; сам Эгир, Демон моря, подставляет вам спину, как гладкую большую дорогу, — и на Конях огня, и на Конях ветра носитесь вы. Вы — самые сильные. Тор рыжебородый, со своими голубыми солнечными очами, с веселым сердцем и тяжелым молотом грома, вы и он одержали верх. Вы — самые сильные, вы, сыны ледяного Севера, дальнего Востока, шествующие издали, из ваших суровых Во-

сточных Пустынь, от бледной Зари Времени и доньне! Вы сыны Ётуна земли, земли Победенных Трудностей. Трудно? Вы должны попытаться сделать это. Попытаться когда-нибудь с сознанием, что это должно и будет сделано. Попытайтесь сделать это, как вы пытаетесь сделать нечто, гораздо более жалкое: наживать деньги! Я еще раз буду биться за вас об заклад против всех Ётунов, Портновских богов, двуствольных Лордов и каких бы то ни было Обитателей Хаоса!

### Владеющие землею

Человек с пятьюдесятью, с пятьюстами, с тысячею фунтов в день, данными ему свободно, без всякого условия, на условии, как это теперь обыкновенно бывает, чтобы он сидел спокойно, засунув руки в карманы, и не делал никакого зла, не проводил Хлебных законов и тому подобно-го, — и он также, можно сказать, является или может быть чрезвычайно сильным Работником! Он — Работник, употребляющий такие орудия, каких никогда еще не имел ни один человек в этом мире. Но на практике, что весьма удивительно и имеет весьма зловещий вид, он не оказывается сильным Работником. Большое счастье, если он оказывается только Не-работником, если он ничего не делает и не является Зло-работником.

Вы спрашиваете его в конце года: "Где твои триста тысяч фунтов? Что осуществил ты, с помощью их, для нас?" Он отвечает с негодующим удивлением: "Что я с их помощью сделал? Кто вы, что спрашиваете меня? Я проел их; я, и мои холопы, и прихлебатели, и рабы, двуногие и четвероногие, — очень изящным образом; и вот я, благодаря этому, жив; благодаря этому, я осуществлен для вас!" — Это, как мы неоднократно говорили, такой ответ, какого никогда доселе не было дано под этим Солнцем. Ответ, который наполняет меня пророческим страхом, предчувствием отчаяния. О глупые Нравы и Обычаи атеистического Полувека, о Игнавия, Божество Портных, убивающее душу Ханжество, к каким крайностям ведешь ты нас! — Из-за громко завывающего вихря, совершенно внятно для того, кто имеет уши, Бог Всевышний опять возвещает в наши дни: "Да не будет праздности!" Бог изрек это; человек не может этому противоречить.

О, какое бы это было счастье, если бы этот Аристократ-Работник подобным же образом увидел *свое* дело и исполнил его! Ужасно искать другого, который бы делал за него его дело! Гильотины, Медонские Кожевни и полмиллиона умерщвленных людей уже явились результатом этих поисков, и все-таки они далеко еще не окончены. Этот человек также есть нечто; он даже — нечто великое. Вот, посмотрите на него: человек мужественного вида; что-то вроде "веселья гордости" еще светится в нем. Свободный вид изящного стоицизма, непринужденного молчаливого достоинства, чрезвычайно идет к нему; в его сердце, если бы мы только могли заглянуть в него, заложены элементы великодушия, самоотверженной справедливости, истинного человеческого достоинства. Зачем ему при таких условиях быть помехой в Настоящем, горестно погибать для Будущего! Ни для какой эпохи Будущего не желали бы мы утратить эту благородную вежливость, неосязаемую, но все направ-

ляющую; эту достойную сдержанность, эту царственную простоту — утратить что-нибудь из того, признаки чего, напоминание о чем еще видны в этом человеке как наследие плодотворного Прошлого. Не можем ли мы спасти его? Не может ли он помочь нам спасти его? Он — также достойный человек; в нем нет небожественной Игнавии, Сплетен; Разговоров без мыслей; в нем нет Ханжества, тысячеобразного Ханжества, ни в нем самом, ни вокруг него, облекающего его, подобно удушливому газу, подобно непроницаемой тьме Египетской, приведшей его душу к асфиксии, так сказать, угасившей его душу, так что он не видит, не слышит, и Моисей, и все Пророки напрасно к нему обращаются.

Проснется ли он, оживет ли он снова и будет ли у него душа, или этот смертельный припадок есть действительная смерть? Это — вопрос вопросов для него самого и для всех нас! Увы, неужели и для этого человека нет благородного труда? Разве у него нет крепколобых, невежественных крестьян, ленивых, поработанных фермеров, загложших земель? Земель! Разве у него нет утомленных, отягощенных пахарей земли, бессмертных душ человеческих, пашущих, копающих, поденно работающих; с голыми спинами, с пустыми желудками, почти с отчаянием в сердце, — и никого на земле, кроме него, кто мог бы помочь им мирным путем? Разве он не находит со своими тремястами тысячами фунтов ничего благородного, затоптанного на перепутьях, чему было бы божественно помочь подняться? Разве он ничего не может сделать для своего Бёрнса, кроме как поставить его акцизным чиновником? Ухаживать за ним, кормить его обедами на одно безумное мгновение и затем выгнать его на все четыре стороны, к отчаянию и горькой смерти? — Его труд также тяжел в наш современный развинченный век. Но он может быть исполнен; надо попытаться его исполнить; он должен быть исполнен.

Некий Герцог Веймарский, наш современник, вовсе не бог, но человек, получал, как я считаю, процентами, налогами и всякими доходами, менее, чем получает иной из наших Английских герцогов одними процентами. Герцог Веймарский должен был, с помощью этих доходов, управлять, судить, защищать и во всех отношениях заведовать своим герцогством. Он делает это так, как мало кто; и, кроме всего этого, он улучшает земли, исправляет берега рек, содержит не только солдат, но и Университеты, и различные учреждения; и при его дворе жили следующие четыре человека: Виланд, Гердер, Шиллер, Гёте. Не как прихлебатели, что было невозможно; не как застольные остряки и поэтические Катерфельто; но как благородные Мужы Духа, действующие под покровительством благородного Мужа Практики; защищаемые им от многих невзгод; может быть, от многих ошибок, губельных уклонений. Небо послало, еще раз, Небесный Свет в мир, и честь этого мужа была в том, что он приветствовал его. Новый благородный вид Духовенства, под покровительством старинного, но все еще благородного вида Короля! Я считаю, что один этот Герцог Веймарский сделал для Просвещения своего Народа больше, чем сделали для своих все Английские Герцоги, Дюки и Ducés, ныне существующие или которые существовали с тех пор,



как Генрих VIII дал им на съедение Церковные Земли! — Я стыжусь, я в тревоге за моих Английских герцогов: что могу я сказать?

Если наша Действительная Аристократия, признанные "Лучшие и Мужественнейшие", захочет быть мудрой, какое это будет невыразимое счастье для нас! Если нет, — голос Бога из вихря весьма внятен для меня. Да, я буду благодарить всемогущего Бога за то, что Он сказал, наиболее ужасным образом и в справедливом гневе против нас: "Да не будет более Праздности!" Праздность? Пробужденная душа человека, всякая, кроме омертвелой души человека, отвращается от нее, как от чего-то худшего, чем смерть. Это — "Жизнь в смерти" поэта Колриджа. Басня об Обезьянах Мертвого Моря перестает быть басней. Бедный Работник, умерший с голоду, не есть самое печальное зрелище. Вот он лежит, мертвый, на щите своем, упавший на лоно своей древней Матери; с изможденным, бледным лицом, измученным заботой, но просветленным ныне, обращенным в божественный мир, и молчаливо зовет к Вечному Богу и ко всей Вселенной, — наиболее молчаливый, наиболее красноречивый из людей.

Исключения, — о да, благодарение Небу, мы знаем, что есть исключения. Наше положение было бы слишком тяжело, если бы не было исключений, и немало частных исключений, о которых мы знаем и о которых мы не знаем. Честь и слава имени Эшли, честь и слава ему и другому доблестному Авдиилу\*, которые доселе оказались верными, которые были бы счастливы, делом и словом, убедить свое Сословие не стремиться к разрушению! Вот кто если не спасет свое Сословие, то отсрочит его гибель; благодаря кому, при благословении Высших Сил, для многого могла бы быть достигнута "спокойная эвтаназия, разлитая над поколениями, вместо мучительной смерти, стесненной в немногие годы". Честь им, слава, и всяческого им успеха. Благородный муж еще может благородно стремиться к тому, чтобы служить и спасать свое Сословие; по меньшей мере, он может помнить наставление Пророка: "Выходи из среды его, народ мой, выходи из среды его!"\*

Праздно сидеть наверху, подобно живым статуям, подобно бессмысленным богам Эпикура, в пресыщенном уединении, в отчуждении от славных, роковых битв Божьего мира; это — жалкая жизнь для человека, хотя бы все Обойщики и все Французские повара сделали для нее со своей стороны все возможное! И что это за легкомысленное заблуждение, в которое мы все попали, — будто какой-нибудь человек должен или может обособляться от людей, не иметь с ними "никакого дела", кроме "дела" расчета по платежам! Это — самая глупая сказка, которую какое-либо несчастное поколение людей когда-либо рассказывало друг другу. Люди не могут жить обособленными; мы все связаны друг с другом для взаимного добра или даже для взаимных огорчений, как живые нервы одного и того же тела. Ни один наиболее высоко стоящий человек не может разъединить себя ни с одним, стоящим наиболее низко. Обдумайте это. Несчастный "Вертер, кончающий самоубийством свое бессмысленное существование потому, что Шарлотта не захотела о нем позаботиться": это вовсе не особенное состояние; это — просто наивысшее выражение состояния, наблюдаемого везде, где только одно челове-

ческое существо встречается с другим! Стоит ничтожнейшему горбатуму Терситу объявить высочайшему Агамемнону, что он его в действительности не уважает, — и глаза высочайшего Агамемнона мечут ответный огонь, действительное страдание и частичное безумие охватывают Агамемнона. Удивительно странно: многоопытный Улисс приведен в волнение тупоумным негодяем; начинает играть, как шарманка, при прикосновении тупоумного негодяя — вынужден схватить свой скипетр и исполосовать горбатую спину ударами и колотушками! Пусть вожди людей хорошенько подумают об этом. Не в том, чтобы "не иметь никакого дела" с людьми, но в том, чтобы не иметь с ними несправедливого дела, а, наоборот, *иметь* с ними всякое хорошее и справедливое дело, — только в этом и может быть признано достижимым его и их счастье, и только в таком случае этот обширный мир и может сделаться для обеих сторон домом и населенным садом.

Люди уважают людей. Люди почитают в этом "единственном храме мира", как его называет Новалис, Присутствие Человека! Почитание Героев, истинное и благословенное, или даже ошибочное, ложное и проклятое, имеет место всегда и везде. В этом мире есть только одно божественное, сущность всего, что было и когда-нибудь будет божественным в этом мире: уважение, оказываемое Человеческому Достоинству сердцами людей. Почитание Героев, в душах героических, ясных и мудрых людей, — это постоянное присутствие Неба на нашей бедной Земле: если его здесь нет, Небо закрыто от нас; и все тогда под Небесным запрещением и отлучением, и нет тогда более ни почитания, ни достойного, ни достоинства, ни счастья на Земле!

Независимость, "владыка с львиным сердцем и орлиным взором!" — увы, да! Мы познакомились с ним за последнее время; он совершенно необходим, чтобы подшпоривать с должной энергией бесчисленные лжевласти, созданные Портными: честь ему и слава, и да будет ему полный успех! Полный успех обеспечен за ним. Но он не должен останавливаться здесь, на этом малом успехе, со своим орлиным взором. Он должен достигнуть теперь следующего, гораздо большего успеха: он должен разыскать действительные власти, которых не Портные поставили выше него, а Всемогущий Бог, — и посмотреть, что он с ними сделает? Восстать также против них? Пройти, когда они появятся, мимо них с угрожающим орлиным взглядом, спокойно фыркающей насмешкой или даже без всякой насмешки и фыркания? Обладающему львиным сердцем никогда и во сне не приснится чего-нибудь подобного. Да будет это всегда далеко от него! Его угрожающий орлиный взор окутается мягкостью голубки; его львиное сердце делается сердцем ягненка; все его справедливое негодование сменится справедливым почтением, растворится в благословенных потоках благородной, смиренной любви, насколько более небесной, чем всякая гордость, и даже, если хотите, насколько более гордой! Я знаю его, с львиным сердцем, с орлиным взором; я встречал его, когда он мчался "с обнаженной грудью", расстерянный, с всклокоченными волосами, ибо времена были тяжкие; — и я могу сказать и ручаться своей жизнью, что в нем нет духа восстания; что в нем — противоположное восстанию, должная готов-

ность к повиновению. Ибо если вы предполагаете повиноваться поставленным от Бога властям, то ваш первый шаг есть — низвергнуть власти, созданные Портными; повелеть им, под страхом наказания, исчезнуть, готовиться к исчезновению!

Более того, и это лучше всего, он не может восстать, если бы и захотел. Властям, которых дал нам Бог, мы не можем повелеть удалиться! Никоем образом. Сам Великий Могол, наиболее богато расшитый, созданный портным Брат Солнца и Луны, не может сделать этого; но Аравийский Муж, в одежде, собственноручно заштопанной, с черными горящими глазами, с пылающим сердцем повелителя прямо из центра Вселенной, а равно, как говорят, с грозной "подковообразной жилой" вздымающегося гнева на челе, с вспышками молнии (если вы хотите принять это за свет), которая бьется в каждой его жиле, — он восстает; говорит властно: "Богато расшитый Великий Могол, созданный портным Брат Солнца и Луны, Нет: — Я не удаляюсь; ты должен повиноваться мне или удалиться!" И так это и происходит: богато расшитые Великие Моголы и все их потомство, до настоящего часа, повинуются этому мужу самым удивительным образом; и предпочитают не удаляться.

О брат, бесконечным утешением для меня в этом неорганическом мире, который до сих пор столь сильно гнетут шарлатаны и, так сказать, гнетут кошмары, гнетет ад, является то, что непослушание Небесам, когда они направляют какого бы то ни было посланника, было и остается невозможным. Этого нельзя сделать; никакой Могол, великий или малый, не может этого сделать. "Покажите самому глупому комку земли, — говорит мой неоцененный Германский друг, — покажите самой тщеславной голове в перьях, что здесь — душа, более высокая, чем его; если даже его колени отвердели, как лед, он должен сдаться и почитать".

### Поучительная глава

Несомненно, было бы безумной фантазией ожидать, чтобы какая бы то ни было моя проповедь могла уничтожить Маммонизм; чтобы Бобус из Хаундсдича, вследствие каких бы то ни было моих проповедей, стал менее любить свои гинеи и более — свою несчастную душу! Но есть один Проповедник, проповедь которого действительна и постепенно всех убеждает; его имя — Судьба, Божественное Провидение, и его Проповедь — непоколебимый Ход Вещей. Опыт взимает страшно высокую плату за учение; но он учит, как никто!\*

Я возвращаюсь к отказу доброго Квакера, Друга Прюденса, от "семи тысяч фунтов в придачу"\*. Практическое заключение Друга Прюденса делается постепенно заключением всех разумных людей практики. По теперешнему плану и принципу Работа не может продолжаться. Рабочие Стачки, Рабочие Союзы, Чартизм; смута, грязь, ярость и отчаянное возмущение, становящееся все более отчаянным, будут идти своим путем. По мере того как мрачная нужда укореняется среди нас и все наши прибежища лжи одно за другим распадаются в клочки, сердца

людей, ставшие теперь наконец серьезными, обращаются к прибежищам правды. Вечные звезды снова начинают светить, коль скоро становится *достаточно* темно.

Мало-помалу можно будет слышать, как многие Промышленные Хранители законов, не позаботившиеся, однако, о том, чтобы составлять законы и хранить их, окруженные отчаянным Тред-юнионизмом и анархическими Бунтами, станут говорить сами себе: "К чему скопил я пятьсот тысяч фунтов? Я рано вставал и поздно ложился; я мори́л себя работой и в поте лица моего и души моей стремился нажить эти деньги, для того чтобы стать у всех на виду и пользоваться каким-нибудь почетом среди моих людей-братьев. Мне надо было, чтобы они почитали меня, любили меня. И вот — деньги, собранные всей кровью моей жизни; а почет? Я окружен грязью, голодом, яростью и закоптелым отчаянием. Меня никто не почитает; мне даже едва завидуют; лишь безумцы да холопская порода самое большее, что завидуют мне. Я у всех на виду, — как мишень для проклятий и камней. Благо ли это? Пятьсот скальпов висят у меня в вигваме. О, если бы Небу было угодно, чтобы я искал чего-нибудь другого, а не скальпов; о, если бы Небу было угодно, чтобы я был Борцом Христианским, а не Чактауским! О, если бы я правил и боролся не в духе Маммоны, а в духе Божьем; если бы я был окружен сердцами народа, которые бы благожелали меня, как истинного правителя и вождя моего народа; если бы я чувствовал, что мое собственное сердце благословляет меня и что меня благословил Господь горé вместо Маммоны низу́, — вот это действительно было бы что-нибудь. Прочь с глаз моих, вы, нищенские пятьсот скальпов в тысячных банковских билетах: я хочу заботиться о чем-нибудь другом, — или признать мою жизнь трагическим ничтожеством!"

"Скалистый уступ" Друга Прюденса, как мы это назвали, постепенно откроется для многих людей, для всех людей. Постепенно, теснимый снизу и сверху, Стигийский грязный потоп *Laissez faire*, Спроса и предложения, Наличного платежа, как единственной Обязанности, будет убывать со всех сторон; и вечные горные вершины, и безопасные скалистые основания, которые достигают центра мира и покоятся на самой сущности Природы, снова выступают из воды, дабы люди могли основываться на них и строить на них. Когда поклонники Маммоны начнут, мало-помалу, делаться поклонниками Бога, а двуногие хищники — делаться людьми и Душа вновь ощутится в сильно бьющемся слоновом механическом Анимализме нашей Земли, это будет снова благословенная Земля\*...

Но поистине прекрасно видеть, как грубое царство Маммоны трещит со всех сторон; как оно дает верное обещание умереть или быть измененным. Странная, холодная, почти призрачная заря занимается даже в самой стране Янки; мои Трансцендентальные друзья\* возвещают внятным, хотя несколько длинноволосым, неуклюжим образом, что Демург-Доллар низвергнут с престола; что новые, неслыханные Демирурства, Священства, Аристократии, Возникновения и Разрушения уже видятся в заре наступающего Времени. Кронос низвергнут с престола Юпитером; Один — святым Олафом; Доллар не может вечно править на Небе. Да, я считаю, что не может. Социнианские Проповедники\*

покидают свои кафедры в стране Янки, говоря: "Друзья, все это обратилось в разноцветную паутину, должны мы, к сожалению, сказать!" — и удаляются в поле, чтобы возделывать гряды лука и жить воздержанно растительной пищей. Это весьма замечательно. Старый божественный Кальвинизм заявляет, что его старое тело распалось ныне в лохмотья и умерло, и его печальный призрак, лишенный тела, ищет новых воплощений, снова завывает в ветре — все еще призрак и дух, но предвещающий новый Духовный мир и лучшие Династии, чем Династия Доллара\*.

Да, Свет местами проникает в мир; люди любят не тьму; они любят свет. Глубокое чувство вечной природы Справедливости проглядывает всюду среди нас, — даже сквозь мрачные глаза Эксетер-Холла\*, невысказанная религиозность борется, хотя и очень беспомощно, чтобы высказаться в Пюезизме и тому подобном. В нашем Ханжестве, которое в целом достойно осуждения, сколь многое не может быть осуждено без сострадания; мы едва не сказали: без уважения! Нечленораздельное достоинство и истина, которые заключаются в Англии, все еще простираются вниз, до Оснований\*...

...Эту благородную упавшую или еще не рожденную "Невозможность", — ты можешь воздвигнуть ее; ты можешь, трудом души твоей, возвести ее в светлое бытие. Эта крикливая пустая Действительность, с миллионами в карманах; слишком "возможная", несущаяся мимо с расшитыми трубами, трубящими вокруг нее, и со всем миром, сопровождающим ее в качестве немых или громогласных холопов, — ты не сопровождай ее; или не говори ей ничего, или скажи глубоко в своем сердце: "Громкотрубящее Небытие! Никакая сила труб, платежей, Лонгакрского искусства или всего человеческого холопства не сделают тебя Бытием; ты — Небытие и обманчивый Призрак, проклятый более, чем это кажется. Проходи, во имя Дьявола, непочитаемое по крайней мере одним человеком, и оставь путь свободным!"

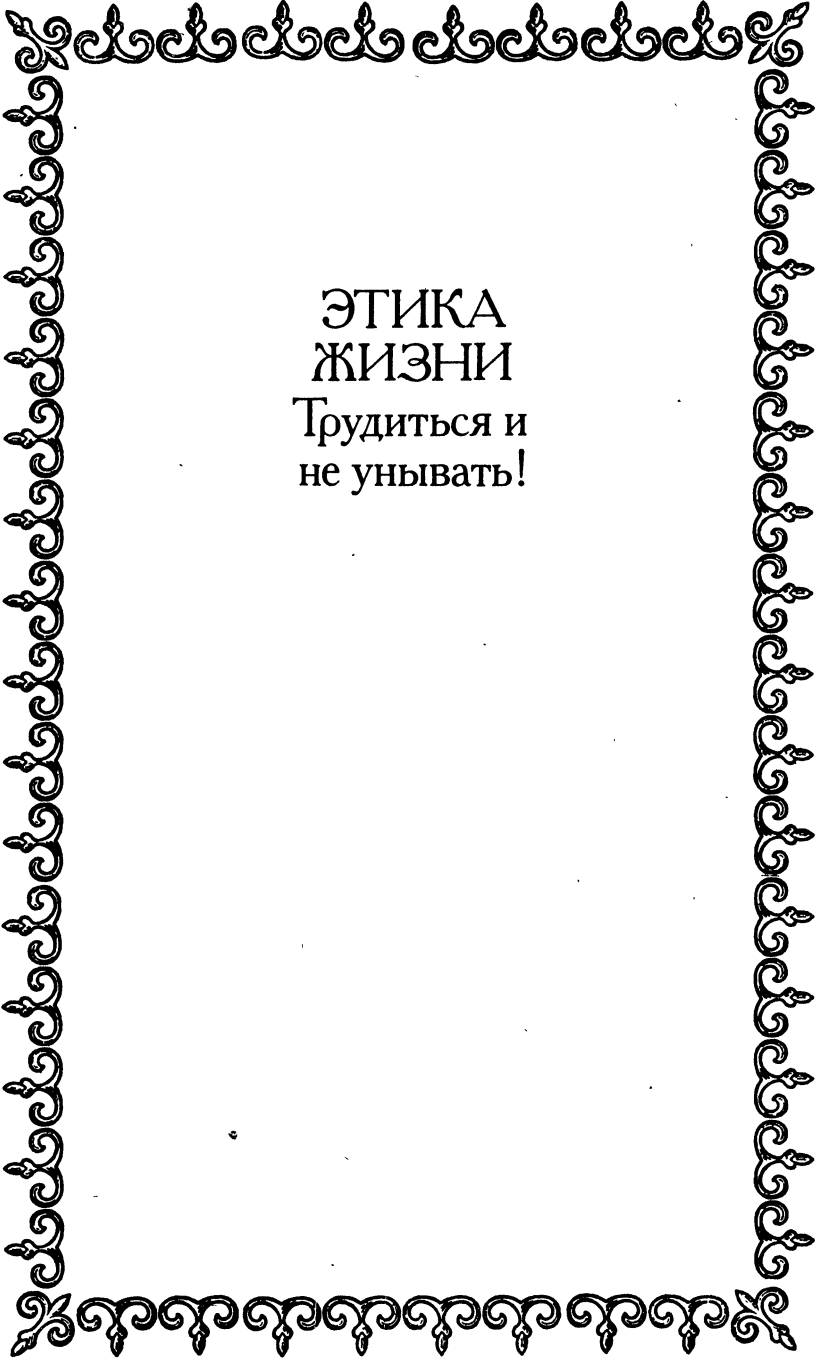
Не на равнинах Илиона или Лациума; на совершенно иных равнинах или местах могут отныне быть совершаемы благородные дела. Не на равнинах Илиона; насколько менее — в гостиных Мейфера!\* Не в победе над несчастным братом-Французом или над Фригийцами; но в победе над ётунами Мороза, над Исполинами Болот, над Демонами Раздора, Праздности, Несправедливости, Неразумия и Хаоса, вновь воцарившимися. Ни один из древних Эпосов более невозможен. Эпос Французов или Фригийцев был сравнительно невысоким Эпосом; ну, — а эпос Ухаживания и Кокетства, что это такое? Нечто, что исчезает при пении петуха; что уже начинает чутя утренний воздух! Охраняющая охоту Аристократия, как бы успешно она ни "запускала свои леса", не может уберечься от Искусного Ловчего. Охота может быть хороша; затем она может быть безразлична, и, мало-помалу, ее совсем не будет. Последняя Куропатка Англии, Англии, где миллионы людей не могут добыть хлеба на пропитание, будет застрелена и прикончена. Аристократы с обросшими подбородками найдут себе иную работу, чем забавляться игрой в серсо.

Но к вам, Труженики, к тем, которые уже трудятся и стали как бы взрослыми мужами, благородными и почтенными в своем роде, вот

к кому взывает весь мир о новом труде и благородстве! Победите смуту, раздор, широко распространившееся отчаяние мужеством, справедливостью, милосердием и мудростью. Хаос темен, глубок, как Ад; дайте свет, — и вот вместо Ада — зеленый, цветущий Мир. О, это величественно, и нет иного величия. Сделать какой-нибудь уголок Божьего Творения немного плодороднее, лучше, более достойным Бога; сделать несколько человеческих сердец немного мудрее, мужественнее, счастливее, — более благословенными, менее проклятыми! Это — труд ради Господа. Законтельный Ад смуты, и дикости, и отчаяния может, при помощи человеческой энергии, быть сделан некоторого рода Небом; может быть очищен от копоги, от смуты, от потребности в смуте. И над ним также раскинется вечный свод Небесной Лазури; и его хитрые машины и высокие трубы станут как бы созданием Неба; и Бог, и все люди будут взирать на них с удовольствием\*.

Неоскверненный гибельными отклонениями, пролитыми слезами или кровью человеческого сердца, или какими-нибудь искажениями Преисподней, благородный производительный Труд будет, становясь все благороднее, идти вперед, — великое единственное чудо Человека, с помощью которого Человек поднялся с низин Земли, совершенно без преувеличения, до божественных Небес. Пахари, Ткачи, Строители; Пророки, Поэты, Короли, Бриндлеи и Гёте, Одины и Аркрайты; все мученики, и благородные мужи, и боги, все они — одного великого Воинства; неизмеримого, шествующего непрестанно вперед, с самого начала Мира. Громадное, всепобеждающее, венчанное пламенем Воинство; всякий воин в нем благороден. Пусть скроется тот, кто не от него; пусть он трепещет за себя. Звезды на каждой пуговице не могут сделать его благородным; этого не сделают ни целые груды орденов Бани и Подвязки, ни целые бушели Георгов\*, никакие иные уловки, а лишь мужественное вступление в него, отважное пребывание в нем и шествие в его рядах. О Небеса, неужели он не одумается! Ведь и он столь необходим в этом Воинстве! Это было бы таким благословением для него и для всех нас! В надежде на Последнюю Куропатку и на какого-нибудь Веймарского Герцога среди наших Английских Герцогов, мы будем еще некоторое время терпеливо ожидать.

И Радость, и Горе  
В Грядущем, таятся;  
И люди стремятся  
Вперед, не бояся  
Того, что в нем скрыто.



ЭТИКА  
ЖИЗНИ  
Трудиться и  
не унывать!

## І. ТРУДИТЬСЯ

1. *Надо жить, а не прозябать.* Да, подумай о том, что надо жить! Жизнь твоя, хотя бы ты был самый жалкий из смертных, — не праздная греза, а действительность, полная высокого смысла! Твоя жизнь — твое достоинство; это все, с чем ты можешь пойти навстречу вечности. Действуй поэтому подобно звездам, "не торопясь, но и не зная отдыха".

2. Сколько возвышенного, торжественного, почти страшного заключается для каждого человека в мысли, что его земное влияние, — влияние, имевшее начало, — никогда, во веки веков не прекратится, хотя бы человек этот был ничтожнейший из нас. Что сделано, того не воротить, то слилось уже с безграничным, вечно живущим, вечно деятельным миром, то вместе с ним приносит людям пользу или вред, явно либо тайно, на вечные времена.

Жизнь всякого человека можно сравнить с рекой, начало коей ощутимо для всех; дальнейший же бег ее и ее назначение, когда она змеей извивается по широким плоскостям, может различить один только Всевидящий. Сольется ли она с соседними реками, увеличивая их объем, или примет их в себя? Останется ли она безымянной речкой; будет ли она питать своими мелкими водами вместе с миллионами других речек и рек какую-нибудь великую реку? Или из нее образуется новый Дунай или Рейн и потоки вод ее явятся вечной пограничной линией на земном шаре, оплотом и водным путем для целых государств и материков? Мы этого не знаем; нам известно лишь одно, что путь ее лежит в Великий Океан и что воды ее, хотя бы их было не более горсточки, *существуют* и не могут быть уничтожены, не могут быть и надолго задержаны.

3. Тебе дано *время испытания.* Никогда не получишь ты другой возможности. Вечность пронесется, но тебе не будет дано другого такого времени.

4. Ясные звезды и вечные солнца сияют и поныне для тех, кто способен это узреть. И в наши дни, как и в дни минувшие, раздаются голоса богов вокруг и внутри всякого человека, голоса — всем повелевающие, если даже никто их не слышит, — голоса, внятно произносящие слова: "Встань, сын Адама, сын времени, позаботься о том, чтобы то-то и то-то стало чище, лучше, и ты сам раньше всего! Трудись и не дремли, потому что настанет ночь, когда никто не сумеет работать". У кого уши есть, чтобы слышать, тот может услышать эти слова и ныне.

5. Есть что-то облагораживающее и даже священное в труде. Как бы ни был человек погружен в мрак ночи, как бы мало ни думал он о своем высоком призвании, на него все еще следует возлагать надежды, покуда



он действительно серьезно трудится; лишь в праздности — вечное отчаяние. Труд, как бы он ни был низок или корыстен, всегда тесно связан с природой. Уже одно желание трудиться ведет все ближе и ближе к истине, к тем законам и предписаниям природы, которые суть истина.

Новейшее Евангелие нашего времени: Познай свое дело и исполни его. "Познай самого себя!" — твое бедное я долгие годы промучило тебя, но ты, по-моему, никогда не сумеешь "познать" его. Не считай же своей задачей познание самого себя, потому что ты представляешь собою существо, которого тебе никогда не познать. Познай же, над чем ты можешь трудиться, и работай, как Геркулес! Ничего лучшего не может быть для тебя.

Говорят: "Значение труда не поддается учету". Человек совершенствуется при помощи труда! Пространства, заросшие сорной травой, расчищаются, на их месте появляются чудные нивы, воздвигаются дивные города, и сам человек перестает быть пашней, заросшей плевелами, или бесплодной, чахлой пустыней. Вспомните, что даже самый низменный труд в известной степени приводит душу в состояние истинной гармонии. Сомнения, страсти, заботы, раскаяние, разочарование, даже уныние — все эти исчадия ада мучительно осаждают душу бедного поденщика точно так же, как и всякого другого человека. Но стоит лишь человеку свободно и бодро приняться за труд, как все они умолкают и, ворча, прячутся по своим конурам. Человек становится воистину *человеком*. Священный жар труда похож на очистительный огонь, истребляющий любой яд, сквозь самый густой дым дающий светлое, чистое пламя!

У судьбы нет, в сущности, других средств, чтобы сделать людей культурными. Бесформенная хаотическая масса от вращения становится все круглее и круглее, и вследствие одной только силы тяжести располагается сферическими слоями. Это уж более не хаос, а круглая, компактная земля. Что случилось бы с землей, если бы она перестала вращаться? По бедной старой земле рассеяны всякие неровности и шероховатости, но все неправильное на ней беспрестанно становится правильным.

Видели ли вы когда-нибудь, как вертится гончарный станок, предмет почтенный, времен пророка Иезекииля и даже древнее того? Бесформенные комья глины одним только быстрым вращением превращаются в красивые, круглые сосуды. Представьте же себе самого прилежного в мире горшечника, но без станка, поставленного в необходимость изготовлять посуду или, вернее, безобразный брак, формуя глину руками и затем обжигая ее! Таким горшечником явилась бы судьба по отношению к душе человека, если бы та захотела отдыхать, расположиться поудобнее, не работать и не кружиться. Из ленивого, неподвижного человека самая благосклонная судьба, подобно самому старательному горшечнику без станка, не создаст ничего, кроме брака. Сколько бы судьба ни потратила на него дорогих красок и позолоты, он навеки останется лишь браком. Из него никогда не получится сосуд, а выйдет только неустойчивый, безобразный, кривой, косоугольный, бесформенный брак; раскрашенный и позолоченный сосуд бесчестья! Пусть подумают об этом ленивые.

Благословен тот, кто нашел себе дело. Да не пожелает он иного благословенья. Раз он обрел его, он последует за ним. Подобно свободно протекающему каналу, с благородной настойчивостью проведенному через гнилое болото человеческого существования, подобно все более и более глубоко пролагающему себе путь потоку, труд мало-помалу уносит с собой даже из отдаленнейших корней мелкой травки кислую, сгнившую воду и превращает вредоносное болото в зеленый, цветущий луг, с прозрачным ручьем. Благоотворно влияет река на луг, *как бы* она ни была алая, как бы ни была незначительна.

Труд есть жизнь. Из сокровеннейшей глубины сердца работника подымается Богом дарованная сила, святая, небесная жизненная эссенция, которую всемогущий Бог вдохнул в человека. Всей душой пробуждается человек, чутко воспринимая все благородное, — и всякое знание, и "самопознание", и многое другое, как только он правильно примется за труд. Знание? Крепко держитесь того знания, которое в труде доказывает на деле свое значение, потому что сама природа оправдывает такое знание, подтверждает истинность его. В сущности, у человека и нет других знаний, кроме тех, что приобретены трудом, все остальное лишь гипотезы; гипотезы, о которых спорят в школах, гипотезы, несущиеся в облаках и кружащиеся в бесконечном логическом водовороте, пока мы не проверим их на опыте. "Сомнению, какого бы рода оно ни было, может положить предел одна только деятельность".

Известно ли вам, далее, значение терпения, мужества, выдержки, готовности осознать свою ошибку и постараться в другой раз лучше исполнить свою работу? Всем этим добродетелям нигде нельзя научиться, как только в борьбе с суровыми силами действительности, помогая своим братьям в этой борьбе, здесь и нигде больше. Поместите какого-нибудь достойного сэра Кристофера\* среди развалившейся кучи почернелых камней, глупых, не сочувствующих архитектуре епископов, педантов-чиновников и вялых поборников веры и посмотрите, создаст ли он когда-нибудь при таких условиях собор святого Павла! Грубыми, неотесанными, неподатливыми оказываются и вещи и люди, начиная с мятежных каменщиков и ирландцев-подносчиков, кончая инертными поборниками веры, педантичными чиновниками, глупыми, не сочувствующими архитектуре епископами. Все это существует на свете не ради сэра Кристофера, а для себя самого. Кристоферу нужно всех победить, всех пересилить, если только он на это способен. Все эти условия против него. Даже всегда справедливая природа и та лишь отчасти за него и грозит стать и вовсе против него, если ему не удастся ее покорить! Даже денег достать неоткуда! Благочестивая щедрость Англии рассеяна по стране, далека, неспособна заговорить и сказать: "Я тут", ее надо прежде окликнуть, и тогда только она отзовется. Благочестивая щедрость и вялая готовность помочь так тиха и невидима, как боги; а затруднения и многочисленные препятствия говорят так громко и стоят так близко! О, мужественный сэр Кристофер, надейся тем не менее на первых и выступи против всех остальных. Покори и победи их трудом, терпением, умением, выдержкой и силой и поставь, наконец, победоносно последний (замковый кирпич) в своде купола собора святого Павла, твоего памятника на многие столетия!..

Да, помощь всякого рода и благочестивый отклик людей и природы всегда безмолвны и не могут заговорить или выйти на свет Божий, пока их не увидят и с ними не заговорят. Всякое благородное дело вначале "невозможно". На самом деле возможность осуществить такое дело всегда есть, но ее нужно отыскать в неизмеримом пространстве, а это доступно одной только вере. Подобно Гедеону\*, ты должен разложить свое руно у входа в свой шатер, чтоб узнать, не найдется ли под обширным небесным сводом немного благодатной росы. Твое сердце и твоя жизненная цель должны быть подобны чудесному руно Гедеона, расprostертому с безмолвной мольбой к небу, и из бесконечности на тебя низойдет благословенная, удовлетворяющая тебя роса!

Труд, по самой природе своей религиозен, труд по существу своему *мужествен*, ибо в мужестве цель всякой религии. Любой труд человека похож на работу пловца. Необозримый океан грозит поглотить его, и, если пловец не будет мужественно бороться, океан сдержит свое слово. Но человек непрерывно и разумно противится волнам, мужественно борется с ними, и послушно несет его море и победителем доставляет к цели. "Точно так же, — говорит Гёте, — обстоит дело со всем, за что берется человек в этом мире".

Отважный мореплаватель, северный морской властелин, — Колумб, мой герой, самый царственный из повелителей моря! Не радостная окружает тебя обстановка здесь, на чудовищных, глубоких волнах. Вокруг тебя мятежные, малодушные люди, позади тебя гибель и позор, перед тобой, по-видимому, непроницаемый мрак ночи. Брат, эти дикие водные горы, вздымающиеся из своих неведомых глубин, не ради тебя одного очутились здесь. На мой взгляд, у *них* много своего дела, и не заботятся они о том, чтоб нести тебя вперед; а ревущие ветры, прорывающиеся в гигантском танце сквозь царство хаоса и бесконечности, не думают о том, как надувают они маленькие паруса твоего корабля, не больше ореховой скорлупы в их глазах; ты не стоишь среди членораздельно разговаривающих друзей, брат мой; ты окружен неизмеримыми, безмолвными, дикими, ревущими, обгоняющими друг друга чудовищами. Глубоко в недрах их скрыта одному твоему сердцу лишь видимая помощь тебе; постарайся добыть ее. Терпеливо будешь ты выжидать, пока пронесется безумный юго-западный шторм, ловко пользуясь своими знаниями, ты спасешься и смело, решительно пустишься вперед, когда подует благоприятный восточный ветер — олицетворение возможности. Ты сумеешь строго обуздать мятеж экипажа, ты весело ободришь малодушных, впавших в уныние; но жалобы, неразумные речи, утомление, слабость и других и свою собственную ты спокойно оставишь без внимания. В тебе должна найтись, в тебе найдется сила молчания, глубокого, как море, — молчания безграничного, известного одному только Богу. Ты станешь великим человеком. Да, мой мирный боец, плывущий в море, ты должен стать *выше* этого шумного, бесконечного мира, окружающего тебя. Сильной душой, как руками борца, охватишь ты мир и заставишь его нести тебя дальше — к новым Америкам — или куда еще захочет Бог!\*

6. В сущности говоря, всякий истинный труд — религия, и всякая религия, которая не является трудом, может нравиться браминам, пля-

шущим дервишам, кому угодно, только не мне. Я преклоняюсь перед изречением древних монахов: Laborare est orare — трудиться значит молиться.

Старше всех проповедуемых Евангелий было Евангелие непроповедуемое, невысказанное и тем не менее неискоренимое, вечно живущее, гласящее: трудись и в труде находи благоденствие. Человек, сын земли и неба, разве в глубине твоего сердца не скрыт дух бодрящей деятельности, сила, призывающая к труду, воспевающая тлеющий огонь, не дающая тебе покоя, пока ты не развернешься, пока ты не дашь силе той воплотиться в добрых делах! То, что несистематично и неясно, ты приведешь в порядок, сделаешь правильным, заставишь повиноваться тебе и нести плоды. Всюду, где царит беспорядок, ты должен выступить в качестве непримиримого его врага. Подави беспорядок; водвори порядок, покорный не хаосу, а разуму, Божеству! Если на пути твоём растёт репейник, выкопай его, чтоб на его месте могла вырасти полезная травка. Попадётся тебе неупотребленный доселе кусок хлопчатника, собери его белый пух, начни прясть и ткать его, чтобы вместо бесполезной соломы получить хорошую ткань и прикрыть ею нагое тело человека.

Но прежде всего, как только столкнешься ты с невежеством, глупостью и грубостью, нападай на них обдуманно, неустанно, не знай отдыха, пока ты жив, и, благословясь, наноси им удар за ударом... Всевышний Бог явственно повелевает тебе так поступать, если у тебя есть уши, чтоб слышать. Но то же самое повелевает он тебе и своим неизреченным голосом, более внушительным, чем гром Синая или рев бури; разве ничего не говорит тебе *молчание* глубокой вечности, миров, более далеких, чем утренняя звезда? Еще не родившиеся столетия, старые гробницы с истлевшим в них прахом, даже давно засохшие слезы, когда-то орошавшие его, — разве не говорят они тебе того, чего не слышало еще ни одно ухо? Глубокое царство смерти, звезды, никогда не останавливающиеся на своем пути, и пространство, и время — все возвещает тебе непрестанно и безмолвно: трудись, как и всякий другой человек, ты должен трудиться, пока длится день, потому что настанет ночь, когда никто не сумеет работать.

Всякий истинный труд священен; в каждой истинной работе, хотя бы то было просто рукоделие, есть что-то божественное. Труд обширный, как земля, опирается вершиною в небо. Труд в поте лица, в котором принимают участие и мозг, и сердце, труд, породивший вычисления Кеплера, рассуждения Ньютона, все знания, все героические поэмы, все совершенные на деле подвиги, все страдания мучеников, до "кровавого пота смертных мук", признанных всеми божественными, о братья! если это не — молитва, тогда молитву надо пожалеть, потому что это — самое высокое, что до сих пор известно нам под Божьим небом.

Что ты такое, что жалуешься на избыток труда и работы в жизни? Не жалуйся. Взгляни вверх, усталый брат мой. Ты увидишь там, в Божьей вечности, своих сотрудников. Они еще живы, они одни еще продолжают жить, — священный сонм бессмертных, небесные телохранители царства человечества. Даже в слабой людской памяти долго живут они, как святые, как герои, как боги! Одни они живут, одни они населяют

неизмеримую пустыню времен! Небо хоть и сурово, но не без милости по отношению к тебе. Небо благосклонно к тебе, как благородная мать, как та спартанка, что говорила сыну, подавая ему щит: "С ним, сын мой, или на нем!" Так и ты должен с честью вернуться *домой*; так и ты — не сомневайся в том — с честью появишься в своей далекой отчизне, если ты в бою сохранишь свой щит! В вечности, в глубоком царстве смертных ты не будешь чужим, ты всюду явишься полноправным гражданином! Не жалуйся; даже спартанцы *не жаловались*...

Ах, кто из нас *может* сказать: "Я поработал"? Прилежнейшие из нас лишь бесполезные слуги, и чем они прилежней, тем больше сознают это. Самые старательные люди вправе сказать вместе с печальным и искренним старым Сэмюэлом\*: "Значительную часть жизни своей потратил я зря". Тот же, кто, за исключением "официальных случаев", не имеет другого дела, как только изящным или не изящным образом предаваться безделью и порождать сыновей, столь же праздных, что должен такой человек сказать о себе, если он хочет быть справедливым!..

Что касается вознаграждения за труд, то можно бы многое сказать по этому поводу, и многое еще скажут, многое еще напишут об этом... "Справедливая поденная плата за честный поденный труд" — вот минимальное требование людей! Денежное вознаграждение "в размере, достаточном, чтобы работник мог жить и дальше работать", также необходимо для благороднейшего из тружеников, как и для ничтожнейшего, если вы считаете, что он должен остаться в живых!

Мне хочется сделать только одно замечание по отношению к первому классу, благородному и самому благородному, бросающему свет и на другие классы, и на решение этого затруднительного вопроса о вознаграждении: награда за всякое благородное дело дается на небе либо нигде. Ни в каком банке на свете тебе, героическая душа, не учтут твоего векселя. Людьями созданные банки не знают тебя или узнают, лишь когда пройдут века и поколения и тебя уже не сумеет достичь людская награда...

Но нужна ли тебе, собственно говоря, награда? Разве ты стремишься к тому, чтоб за свой героизм набить себе брюхо лакомыми кусками, вести пышную, комфортабельную жизнь и получить в сем мире или в ином то, что люди называют "счастьем"? Я за тебя отвечаю с уверенностью: нет. Вся духовная тайна новой эпохи в том и заключается, что ты со спокойной головой от всего сердца можешь за себя решительно ответить: нет!

Брат мой, мужественный человек должен подарить свою жизнь. Подари ее, советую тебе; или ты ждешь случая приличным образом ее *продать*? Какая же цена, примерно, удовлетворила бы тебя? Все творения в Божьем мире, все пространство во вселенной, вся вечность времен и все, что в них есть, — вот что ты бы потребовал, и на меньшее ты бы не согласился, в этом ты должен сознаться, если хочешь быть правдивым. Твоя жизнь — *все* для тебя, — и взамен ее ты пожелал бы себе — все. Ты — неразумный смертный, или вернее, ты — бедный смертный, и в тесной темнице мира ты *кажешься* столь неразумным. Никогда ты жизнь свою или хоть часть своей жизни не продашь за надлежащую цену. Подари же ее по-царски; пусть ценой ее будет ничто. Тогда

окажется, что ты в известном смысле получил за нее все! Человек с героической душой — а разве, благодарение Богу, не всякий человек — дремлющий герой? — должен так поступить в любое время и при всяких обстоятельствах. В самые героические времена, как и в самые негероические, человек должен сказать, как сказал Бёрнс о своих маленьких шотландских песнях, крошечных капельках небесной мелодии в такое время, когда было столько немелодичного на свете, гордо и в то же время смиренно: "Клянусь небом, либо они бесценны, либо ничего не стоят; мне ваших денег за них не нужно!" Вот отношение, которое должно повлиять на все договоры о плате за труд. Иначе они никогда не будут "удовлетворять" нас, о евангелие маммоны, никогда и никоим образом!..

В сущности говоря, мы совершенно согласны со старинными монахами: *laborare est orare*. Во многих отношениях истинный труд на деле оказывается настоящей молитвой. Тот, кто работает, в чем бы ни состояла работа его, придает форму невидимым вещам, воплощает их, и каждый работник — маленький поэт. Его идея, хотя бы то была только идея изготовления глиняной тарелки, не говоря уже об идее создания эпического стихотворения, видима пока только ему одному, и то лишь наполовину. Для всех других она — нечто невидимое и невозможное; даже для самой природы это — нечто доселе невиданное, вещь, которой до сих пор еще не было, — по всей вероятности, вещь "невозможная", потому что до сего времени она была ничто! Невидимые силы имели повод охранять такого человека, потому что он творит в невидимом и для невидимого. Да, если взоры человека будут направлены лишь на видимые силы, тогда уже лучше ему отказаться от исполнения своей задачи. Из того ничто, над которым он работал, никогда не выйдет ничего хорошего, ничего, кроме обмана, кроме чего-то ложного, чего лучше и не создавать.

Если ты намерен написать стихотворение, поэт, и при этом ничего не имеешь в виду, кроме рецензентов, гонорара, книгоиздателя и популярности, то у тебя ничего не выйдет, потому что в твоём творении нет правды! Хотя бы оно было напечатано, прошло через массу рецензий, заслужило похвалу, продано в двадцати изданиях, — что с того? Твое произведение, на философском и на коммерческом языке, все еще ничто, чаще всего лишь призрак, обман зрения; благодетельное забвение безостановочно грызет его и не успокоится до тех пор, пока хаос, создавший его, не поглотит его снова.

Тот, кто не сдружился с невидимым и с молчанием, никогда не создаст видимого и способного говорить. Ты должен спуститься к *матерям*, к *теням усопших* и, как *Геркулес*, терпеть и трудиться, если ты хочешь победоносно вернуться к солнечному сиянию. Как в бою, в сражении — потому что это действительно бой — должен ты презреть и страданья, и смерть; радостные голоса из утопических стран изобилия, как и рев жадного Ахерона, должны умолкнуть под твоими победоносными шагами. Твоя работа должна, как труд Данте, "заставить тебя похудеть на многие годы". Мир и его награда, его приговор, советы, поддержка, препятствия должны быть как дикий морской прилив, хаос, сквозь который тебе приходится пробираться и плыть. Не дикие волны и их смешанные с морской травой течения должны указывать тебе путь,

а одна лишь звезда твоя должна руководить тобой — *Se tu segui tua stella!* Одной лишь звезде своей, то ярко сияющей над хаосом, то на миг угасающей или зловеще темнеющей, одной ей должен ты постараться следовать. Нелегкая, я думаю, задача таким образом прокладывать себе путь сквозь хаос и адскую тьму! Зеленоглазые драконы подстерегают тебя, трехглавые Церберы — не без своего рода сочувствия! "*Essovi l'uom ch'è stato all'Inferno*"\*. Ведь, в сущности, как сказал поэт Драйден, ты действительно идешь всю дорогу рука об руку с чистейшим безумием, которого никак нельзя назвать приятным спутником! Пристально взглядываешься ты в безумие, в его неисследованное, безграничное, бездонное, мраком ночи окутанное царство, и стараешься извлечь из него новую премудрость, как Эвридика из преисподней. Чем выше премудрость, тем теснее ее близость, ее родство с чистым безумием. Это верно в буквальном смысле слова; в немом удивлении и страхе придешь ты к заключению, что высшая премудрость, пробираясь на свет Божий, часто приносит с собой приставшие к ней остатки безумия.

Все творения, каждое в своем роде — превращение безумия в нечто осмысленное; это, несомненно, религиозное дело, невысказанное без участия религии. Иначе ты не создал ничего настоящего, а лишь заботился о том, что приятно для глаз, лишь жадно гонялся за наградой, за быстрейшим изготовлением мнимых ценностей, с целью получить вознаграждение. Вместо хороших фетровых шляп, которыми можно было бы прикрыть голову, ты создал лишь большие из дерева и гипса изготовленные шляпы для рекламы, как те, что развоят по улицам на колесах. Вместо земного и небесного руководства душами людей ты занимаешься прениями о черных или белых стихарях; перед тобой набитые волосом кожаные чучела пап, земные законодатели, "организующие труд", разрабатывая законы о хлебе. Увы, наша измученная земля полна таких явлений до того, что готова взорваться. Все это показное, все гладко, чтобы не оскорбить ни чувства, ни зрения, но тем не менее все это достойно проклятия, губительно для тела и души. Видимости, будь то скверно вытканное сукно или дилетантское законодательство, нельзя считать действительной шерстью или сущностью, а лишь ничтожной пылью, проклятой Богом и людьми! Ни один человек никогда не творил иначе как религиозно, ни один, не исключая бедного ремесленника, ткача, соткавшего твое платье, сапожника, тачавшего твои сапоги. Все люди, если они работают не так, как на глазах у Великого наблюдателя, работают неправильно и на свое собственное и чужое несчастье\*.

7. "Трудиться значит молиться"; в этих словах скрыт высокий смысл, при теперешнем положении молитвы и всякого поклонения понятный лишь немногим; но кто понимает их истинное значение, тому понятно *пророчество* относительно всего будущего; последнее Евангелие, заключающее в себе все остальные. Его собор — купол неизмеримого, — видел ли ты его? Его кровля — млечный путь; под ногами у него — зеленая мозаика лугов и морей; алтарем ему служит звездный трон Вечного! Его молебны и псалмы — великие дела, героические поступки и муки и искренние, от всего сердца идущие речи смелых сынов человеческих. Хоровые песни поют старые ветры и океаны и низкие, неясные, но красноречивые голоса судьбы и истории.

8. Труд — призвание человека на земле. Обстоятельства так складываются, что настанет день, когда человеку, не имеющему работы, нельзя будет показаться в пределах нашей солнечной системы и ему придется искать другую, ленивую планету.

9. Задача человека на земле, назначение всякого отдельного человека — быть попеременно то учеником, то работником, или, вернее, быть одновременно учеником, учителем и исследователем. От природы одарен человек силой не только учить и подражать, но и действовать и познавать себя. Разве мир, в котором мы живем, не бесконечен, и разве мы не видим, что самые близкие, друг от друга зависящие отношения постоянно изменяются последними открытиями связей между предметами? Если бы когда-нибудь удалось превратить человека в простого ученика, так что ему ничего не оставалось бы исследовать и исправлять; если бы когда-нибудь можно было установить теорию мироздания, окончательную и совершенную, которую оставалось бы только выучить наизусть, тогда человек был бы духовно мертвым, тогда род людской перестал бы существовать.

10. Сколько правды в старинной басне о сфинксе, что лежал на большой дороге, задавал путникам загадку и разрывал их на части, если они не могли ее решить. Таким сфинксом является наша жизнь для всех людей, для всех обществ людских. Природа как сфинкс, божественна, мила и нежна. У нее лицо и грудь богини, но в то же время когти и тело львицы. В ней что-то небесно-прекрасное — порядок и мудрость — и темная роковая жестокость — порождение ада. Она — богиня, но богиня, лишь наполовину освобожденная из темницы, наполовину еще заточенная в тюрьме, — отчетливое, милое переплетено еще с невысказанным, хаотическим.

Как это верно! И разве не предлагает нам жизнь загадок? Каждого человека она ежедневно вопрошает ласковым тоном, но страшно многозначительно: "Знаешь ли ты назначение сегодняшнего дня? Стараешься ли ты разумно сделать то, что ты в состоянии сделать сегодня?"

Природа, вселенная, судьба, существование или как вы там называете великую неизъяснимую действительность, среди которой мы живем и боремся, разве не представляется она как божественная невеста или как клад человеку мудрому и храброму, способному понять и исполнить ее законы, и как губительный демон для тех, кто на это не способен? Разреши ее загадку — и будет благо тебе. Не разрешишь ее, пройдешь мимо, оставив ее без внимания, и она сама ответит тебе на свой вопрос, но ответит зубами и когтями, потому что природа — немая львица и яростно растерзает тебя, не внемля твоим мольбам. Ты уже не победоносный жених ее, а изуродованная низвергнутая в пропасть жертва, как это неминуемо и должно случиться с уличенным в измене рабом.

С народами дело обстоит точно так же, как с отдельными лицами. Сумеют ли они разрешить предложенную им загадку или нет?..

В этом, в сущности, тайна всех несчастных людей, всех несчастных народов: Они забыли настоящую, внутреннюю правду, променяли ее на внешний блеск. Они неверно отвечают на вопрос сфинкса. Неразумные люди не могут правильно решить его вопроса! Неразумные люди принимают внешний, преходящий успех за вечную суть и запутываются все больше и больше.



Глупые люди полагают, что раз наказание за злое дело не последовало тотчас же, то здесь на свете нет справедливости, а если есть, то лишь случайная. Наказание за злое дело задерживается иногда на несколько дней, иногда на несколько столетий, но оно так же верно, как жизнь, так же неминуемо, как смерть! В центре мирового водоворота все еще живет и говорит Бог, Бог истинный, как в древние времена. Великая душа мира *справедлива\**.

11. В произнесенном слове; в написанном стихотворении сказывается, говорят, квинтэссенция человека; но насколько больше в сделанной работе? Вся нравственность человека, его ум, терпение, выдержка, порядочность, верность, проницательность, изобретательность, энергия — одним словом, все силы, которыми обладает человек, все начертано в выполненной им работе. Трудиться значит испытать свои силы в борьбе с природой и ее никогда не обманывающими законами; они-то вынесут человеку правильный приговор. Столько-то добродетелей и способностей нашли *мы* в нем, столько-то — и больше ни одной! Столько-то способности было у него прийти в согласие со *мною* и с моими неизменными, вечно истинными законами, прилагать усилия и трудиться сообразно с ними, как *я* ему приказывала, и ему это удалось, или не удалось, как вы видите!

Трудиться, как повелела великая природа, разве это не добродетель во всех отношениях? Хлопчатую бумагу можно пряхть и продавать; можно достать рабочих, чтобы пряхть ее, и, наконец, можно продавать сотканную материю, следуя в этом деле предписаниям природы. Если не будете следовать предписаниям природы, вы ее не получите; если же вы ее не получите, если не будет *я* в продаже хлопчатобумажных тканей, то природа уличит вас в бессилии, сила ваша — не сила, ваш труд — бесплоден! Уважай способность до тех пор, пока она делает честь человеку. Я всегда уважаю человека, которому удастся его труд.

12. Воистину, в сем мире нет ничего мертвого; то, что мы называем мертвым, на самом деле лишь изменено, силы его действуют лишь иным образом. "Лист, гниющий на сыром ветру, — как выразился кто-то, — имеет еще силу: иначе как мог бы он *гнить*?" Весь наш мир — бесконечно сложное, запутанное соединение сил, разнообразнейших сил, начиная с силы тяготения и кончая мыслью и волей; в свободе человека, в непреложности законов природы, во всем мире ничто не дремлет ни на одно мгновение; все бодрствует и деятельно творит. Нигде ты не увидишь предмета в одиночном бездействии, начиная с медленно распадающихся со времен сотворения мира гранитных гор вплоть до рассеивающегося дыма, до живого человека; вплоть до поступка, до слова человека. Мы знаем, что сказанного не вернешь; тем более не вернешь сделанного. "Сами боги, — говорит Пиндар, — не могут уничтожить содеянного поступка". Да, что случилось однажды, то случилось навек, ввергнуто в бесконечное время и независимо от того, остается ли оно надолго видимым для нас или быстро исчезает, вечно действует и растет, как неразрушимый, новый элемент в беспредельности вещей. Да и что такое представляет собою эта беспредельность вещей, которую мы называем вселенной, если не деяние, совокупность поступков и действий? Живая, готовая сумма, которой никто не в состоянии вычислить, состо-

ит из трех слагаемых, явных для всех: все, что случилось, все, что случается, и все, что случится в будущем. Пойми это как следует: все, что ты видишь, результат поступка, следствие и выражение напряжения силы; совокупность вещей — это бесконечное спряжение глагола "творить". Безбрежное море сил, власти творческой, где силы трепещут и кружатся, подымаясь дружными течениями, широкими, как неизмеримость, глубокими, как вечность, прекрасными и страшными и непонятными, — вот что человек называет жизнью и миром. Это окрашенная в тысячу цветов огненная картина, одновременно скрывающая от глаз наших явления и обнаруживающая их отражение, едва уловимое жалким мозгом и сердцем человека, неизреченного, живущего в свете, когда кругом царит тьма, сквозь которую никто не может к нему пробраться. Выше блестящего звездного пути, раньше начала времен трепещут творческие силы *вокруг тебя*, да и ты принадлежишь к числу их на том месте, на котором сейчас стоишь, в тот самый момент, который ты сейчас видишь на часах своих.

13. Сильный человек всегда найдет себе *дело*, то есть трудности, страдания в той мере, какая только ему по силам.

14. Талантливый человек, в какой бы период истории он ни родился, всегда найдет довольно работы; никогда не может он вступить в жизнь при таких обстоятельствах, чтобы не было противоречий, нуждающихся в примирении, чтобы не было трудностей, на преодоление коих потребуются его силы, если только сил этих вообще достаточно. Везде душа человеческая находится между полушарием мрака, на границе двух враждующих царств: необходимости и свободной воли.

15. Положение, не имеющее своего идеала, своей обязанности, никогда еще не было занято ни одним человеком. Да, в этой бедной, жалкой, презренной действительности, в которой ты сейчас живешь, заключен идеал твой, здесь или нигде. Отсюда стремись к нему, надейся, живи и будь свободен. Глупец! Идеал твой лежит в тебе самом, препятствия к нему скрыты тоже в тебе самом. Твое состояние лишь материал, из которого ты должен образовать, сформировать этот идеал.

16. А вы, работники, уже состоящие на работе, взрослые люди, благородные, достойные уважения, вас призывает свет к новому труду, к новым благородным поступкам. Победите бунт, раскол, широко распространенное отчаяние своим мужеством, справедливостью, мягкостью и мудростью. Хаос темен и глубок, как ад; заставьте воссиять свет, и мы увидим вместо ада зеленый цветущий мир. Нет ничего более великого, как заставить какой-нибудь уголок Божьих созданий стать плодороднее, лучше, достойнее Бога, заставить сердца человеческие стать немного умнее, мужественнее, счастливее, благосклоннее. Эта задача достойна какого-нибудь бога. Черный ад мятежа, варварства, отчаяния может быть превращен людскими усилиями в своего рода небо, очищенное от копоты, от мятежа и от потребности в бунте. Вечная дуга небесной лазури подымается и над ними, и над их хитрыми машинами, как порождение неба, и Бог, и люди, довольные, смотрят на это.

17. Я уважаю людей двух категорий, и только двух. Во-первых, трудящегося работника, созданными из земли орудиями покоряющего

землю, превращая ее в собственность человека. Достояна уважения грубая, сведенная, мозолистая рука, в которой тем не менее есть нечто царственно-величественное, потому что она держит скипетр нашей планеты. Почтенным нахожу я грубое, загорелое лицо работника с бесхитростным умом, потому что это лицо человека, живущего так, как человек должен жить. Да, я тебя еще больше уважаю за грубость твою, именно потому, что нам приходится и пожалеть, а не только любить тебя! Тяжело обремененный брат! Из-за нас так гнулась спина твоя, из-за нас твои прямые члены так изуродованы. Ты был нашим рекрутом, тебе выпал жребий, и в то время, как ты за нас воевал, ты сделался калекой. И в тебе заключался созданный Богом образ, но ему не суждено было развернуться. Труд крепкой пеленою окутал тебя и лишил тело твое и душу твою свободы. И все же продолжай работать, трудись! Ты исполняешь долг свой, хотя бы другие его и не исполняли; ты трудишься ради необходимого, ради насущного хлеба.

Другого человека уважаю я гораздо больше — того, который трудится ради необходимого душе человеческой, не ради хлеба насущного. И он исполняет свой долг, стремясь к внутренней гармонии и содействуя ей словом и делом. Всего выше стоит такой человек, когда его внешние и внутренние стремления составляют *одно*, когда мы можем назвать его артистом, не простым рабочим, а воодушевленным мыслителем, небом созданными орудиями завоевывающим небо! Если бедный скромный труженик работает, чтобы добыть нам пищу, то разве одаренный умом и гением человек не должен трудиться в свою очередь для него, чтобы дать ему свет, руководство, свободу и бессмертие! Этих двух людей на различных ступенях их развития уважаю я. Все другое лишь дым и прах, и дуновения ветра достаточно, чтобы его не стало.

Но несказанно трогательным нахожу я соединение этих двух типов в одном лице, когда тот, кто внешне должен трудиться для удовлетворения самых низменных человеческих потребностей, внутренне работает для самых высоких из них. Я не знаю ничего в мире выше святого, обрабатывающего землю, если такой человек в наше время еще может встретиться. Такой человек вернет тебя к временам Назарета. Сияние неба подымется перед тобой из глубочайших недр земли, подобно свету, блестящему во мгле.

18. Не за тяжелый труд жалею я бедняка. Все мы должны либо трудиться, либо красть (каким бы названием мы ни прикрывали своей кражи), что гораздо хуже; ни один честно трудящийся человек не находит, что его задача — одно лишь препровождение времени. Бедняк голоден, ему хочется пить, но и для него найдутся пища и питье; он тяжело обременен и устал, но небо посылает ему сон, и даже глубокий. В его закоптелой избе на него нисходит благодатный отдых, сновидения пестрой чередой проносятся перед ним. — Но я жалею его за то, что светильник духа его угасает, что ни один луч небесного или хоть земного знания не доходит до него; и лишь в густой мгле, как два призрака, живут страх да дерзость. Неужели в то время, как тело так сильно, душа должна быть ослеплена, искалечена, погружена в оцепенение? Неужели и это также дар Божий, уделенный человеку еще на небе, которому не суждено было развиваться в мире? Что человек должен умереть в неведе-

нии, хотя он был одарен способностью к познанию, это я называю трагедией, хотя бы явление это и повторялось до двадцати раз в минуту, как оно и выходит по известным вычислениям. Та жалкая частичка знания, которой добилось соединенное человечество, среди целого моря неведения, почему бы ей не сделаться достоянием всех людей?

19. Разве сильная правая рука, прилежная и ловкая, недостойна названия "скипетра нашей планеты"? Кто может работать, тот прирожденный король, тот в тесной связи с природой, властелин, повелитель вещей и в своей сфере жрец и царь природы. Кто не может работать, тот лишь присваивает себе царское достоинство; в каком бы он наряде ни выступал, он прирожденный раб всех вещей. Человек, чти свое ремесло!

20. Современный эпос нужно назвать не "оружие и человек", а "орудие и человек". Что такое наши орудия, начиная с молотка и лота и кончая пером, если не оружие, которым мы боремся снаружи и изнутри с *безрассудством* и с *глупостью*, которым мы сокрушаем не своих же собратьев, а нашего непримиримого врага, заставляющего всех нас страдать; это отныне единственная законная война.

21. Что касается отдельного человека, то его борьба с духом противоречия, живущим и внутри и вне его, продолжается непрестанно; мы говорим о злом духе, который можно назвать и слабым, и жалким духом, живущим и в других, и в нас самих. Его движение вперед, как и всякая ходьба, по определению физиков, продолжительное падение.

22. Жизнь никогда не была для людей веселым праздником. Во все времена тяжелая доля миллионов бессловесных людей, рожденных для тяжких трудов, была искалечена страданиями, несправедливостью, тяжким бременем, неминуемым и подчас произволом навязанным. Не забава, а горькая работа наносила раны и мышцам, и сердцу.

23. Никогда жизнь человеческая не была что люди называют "счастливой"; никогда и не может этого быть. Беспреданно предавались люди мечтаниям о рае, о какой-нибудь земле изобилия, где в ручьях течет вино, а к деревьям привешена колбаса да жаркое; но то был лишь сон, неисполнимый сон. Страдания, противоречия и заблуждения поселились надолго, а быть может, и навсегда на нашей земле. Разве труд — не удел человека? И какая работа в настоящее время бывает радостна и не сопряжена со страданием? Труд и забота являются перерывом в состоянии покоя и комфорта, неразумно представляющимся людям как счастье, и тем не менее без работы никакой отдых, никакой комфорт не были бы даже мыслимы.

Таким образом, зло, или то, что мы называем злом, должно существовать вечно, пока жив человек. Зло, в самом широком смысле, какое мы можем ему приписать, является тем темным, запутанным материалом, из коего свободная воля человека должна построить здание порядка и добра. Вечно должна боль понукать нас к работе, и только в свободном стремлении к деятельности мы можем добиться счастья.

24. Нет, творчество не может даваться легко. Юпитер испытывает сильную боль и чувствует, как огнем охвачена голова его, из которой силится выйти вооруженная Афина-Паллада. Что касается производства, то это, конечно, дело иного рода и оно может быть легким или трудным, в зависимости от точки зрения. Но и тут наблюдается общая

истина, что ценность производства состоит в прямой зависимости от степени труда, потраченного на него.

25. Так было с самого начала, так оно и останется до конца. Поколение за поколением принимает форму тела и выходит на свет Божий из темной ночи со своей небесной миссией. Всю силу и весь огонь, скрытый в каждом из нас, берет себе жизнь. Один отдает все свои силы промышленности, другой знанию, третий погибает в борьбе с братом-человеком, и тогда его, посланца неба, отзывают обратно. Его земная оболочка отпадает и превращается в прах. Как неистово грохочущая, неистово открывающая огонь небесная артиллерия, гремит и пылает таинственный род людской, проходя длинным рядом отдельных, быстро следующих друг за другом возвышенных личностей сквозь неизведанную глубину. Подобно созданной Богом огнедышащей толпе духов мы, вынырнув из моря вечности, бурно проносимся над удивленной землей и снова погружаемся в вечность. Горные хребты мы сравниваем с землей на пути своем и высушиваем моря. Может ли земля, мертвая земля-призрак, противостоять духам, одаренным жизнью, духам действительно сущим? Самый твердый алмаз носит на себе след наших шагов, и последний арьергард наших полчищ найдет следы первого авангарда. Но откуда мы? О Боже, куда мы? Ум не знает того, вера не знает, одно лишь известно, что через тайны проходит человечество от Бога к Богу.

26. Известное "рыцарство труда", определенная благородная гуманность и практическая божественность труда может быть осуществлена еще в этом мире. Но почему же *не сейчас*? Почему мы возносим молитвы к небу, вместо того чтоб самим приняться за дело? Надо начинать в настоящее время, если хотят, чтоб в будущем что-нибудь удалось. Ты, пророчествующий, верующий, начни же сам и исполнять свое пророчество... Протяни руку, прося Божьим именем; знай, что слово "невозможно" там, где приказывают истина, милосердие и вечный голос природы, должно быть вычеркнуто из словаря мужественного человека; что, если все ответят тебе "невозможно" и шумную толпой бросятся в другую сторону и ты останешься один? Тогда настанет твой час, тогда наступит возможность для тебя. Тогда очередь за тобой. Тогда примись за дело и ни у кого не спрашивай совета; слушайся лишь себя да Бога. Брат, в тебе заключена возможность создать многое, возможность написать историю героической жизни на скрижалях вечного неба\*.

27. Человек рожден, чтобы бороться, и всего лучше, пожалуй, можно его определить, как прирожденного борца; жизнь его — сражение и марш под предводительством истинного полководца. Человеку вечно приходится бороться, то с необходимостью, бесплодием, нуждой, болотистыми пространствами, непроходимыми лесами, нечесаным льном или хлопчатой бумагой, то с ослеплением бедных его современников. Обманчивые видения проносятся перед взором моего бедного собрата и заставляют его предъявлять ко мне требования, не подходящие ему. Всякая борьба сводится к столкновению *сил*, из коих каждая считает себя сильнее, и, как это постоянно происходит в нашей справедливой вселенной, означает столкновение *прав*. Во время борьбы преходящая часть бойца рассыпается в прах после достаточного числа поражений, и лишь

когда этот процесс закончен, тогда выступает наружу вечное, истинное, правильное.

Теперь мы можем заметить, как при этих обстоятельствах поступит благородный, благочестивый рыцарь и как выкажет себя неблагородный, забывший Бога вандал. Победа — цель обоих, но в глубине сердца благородного человека ясно начертано, что так же верно, как то, что сотворил его Бог, Божья справедливость, и она одна, будь она даже совершенно невидима при всех предприятиях и во всех боях, одержит в конце концов победу, должна ее одержать.

28. Поле битвы тоже бывает велико. Если правильно взглянуть на дело, то это своего рода квинтэссенция труда, труда до крайности сконцентрированного; значение нескольких годов, собранное в единичный час. И тут ты должен быть силен, и силен не одними лишь мышцами, если ты хочешь одержать победу. Тут тебе придется еще быть сильным сердцем и благородным душой; ты не должен бояться ни страдания, ни смерти; ты не должен любить ни покоя, ни жизни; во гневе должен ты не забывать милосердия и справедливости — ты должен быть рыцарем, а не диким индейцем, если ты хочешь, чтобы победа была за тобой! Это — закон всякой борьбы, как против ослепленных людей, так и с несчастным льном и с чем бы иным ни приходилось бороться человеку на веку своем.

29. Чем бы человек ни занимался, его работа будет тогда лишь хороша, если он знает, *когда нужно остановиться*. Иной человек напрасно изнемогает от беспокойства; он не может приобрести надлежащей сноровки; это не мастер своего дела, а лишь несчастный кропатель, не знающий, когда он готов. Абсолютное совершенство недостижимо. Ни одному плотнику не удавалось получить математически правильный угол; и тем не менее все плотники знают, когда угол готов, и не теряют времени над дальнейшим исправлением его, не стараются сделать угол слишком правильным. Кто слишком старается, тот так же болен духом, как тот, кто вовсе не старается. Ловкий человек, здоровый духом, прилагает ко всякому делу ровно столько стараний, сколько оно заслуживает, и потом без угрызений совести оставляет работу в покое.

30. Разве мы не вправе сказать и тут, как везде: довольно, если каждый день приносит с собой свою собственную муку! Наша задача не в том, чтоб преобразовать все будущее; достаточно, если мы преобразуем лишь небольшую часть его в соответствии с уже известными правилами. Быть может, каждый из нас, если отнесется достаточно серьезно к своей задаче, сумеет узнать, какая часть общей работы приходится на его долю. Пусть он свою работу делает от всего сердца и не останавливаясь. Общий исход работы зависит, как это и было всегда, от разума более высокого, нежели ум человека.

31. Повторим слова бедного француза, сказанные им членам Конвента: "Je demande l'arrestation des coquins et des lâches"\*; но только не на час, а на всю жизнь. Арестовать всех плутов и трусов — задача нелегкая, и немало пройдет времени, пока всех их целиком или хоть частью удастся переловить; но если хоть один попадется вам, арестуйте его, Бога ради; все же хоть одним меньше останется на свободе.

32. Если ты сталкиваешься с ложью, истребляй ее. Ложь для того только и существует, чтоб ее истребляли; неправда искренне ждет и требует того, чтобы ее преследовали. Но проверь себя хорошенько, чтобы знать, в каком духе ты так поступаешь: не из ненависти, не из себялюбивой, торопливой горячности, а с чистым сердцем, со священным рвением, мягко, почти сострадательно должен ты уничтожать зло. Не правда ли, ведь ты не хочешь уличенную тобою ложь *заменить* другой, неправду заменить несправедливостью, исходящей от тебя и подающей повод к новой неправде? Тогда конец был бы хуже начала.

33. Каждый может и должен быть настоящим человеком: то есть чем-то высоким, творцом великих дел, все равно как один желудь мог бы покрыть всю землю дубами! Каждый может что-нибудь сделать. Только бы он честно трудился, а исход можно со спокойным сердцем предоставить Высшей Силе.

34. Во всяком случае, тот, кто хочет честно *трудиться*, должен *глубоко верить*. Кто на каждом шагу ждет одобрения света, кто не может обойтись без сочувствия толпы и собственное убеждение приравнивает к мнению людей, тот жалкий слуга видимости; какую работу ни дайте ему, он любую плохо исполнит. Всякий такой человек ежедневно содействует общему падению. Всякая работа, исполненная, таким образом, с точки зрения внешнего блеска, только злит людей и порождает новые беды.

35. Послушание — наш общий долг и наше назначение; кто не может покориться и сгибаться, тот будет сломлен. Мы должны вовремя освоиться с мыслью, что в сем мире *хотение* равно нулю по сравнению с *долгом* и составляет лишь небольшую дробь того, что *случается* на деле.

36. Самое неприятное чувство — это чувство собственного бессилия, или, как говорит Мильтон: быть слабым — вот настоящее несчастье. И все же сила ни в чем ином не может себя проявить, как лишь в счастливо доведенной до конца работе. Что за разница между колеблющейся способностью и твердым, лишенным сомнений исполнением задуманного! Известное, смутно выраженное самосознание живет в нас, и только дела наши могут отчетливо и решительно показать нам нас самих. Наши дела — зеркало, в коем дух впервые видит свои очертания. Отсюда и неразумность невозможного требования: "Познай самого себя", если не перевести его в хотя бы отчасти возможное требование: "Познай, что ты способен сделать".

37. Человек, которому хотелось бы работать и который не находит себе дела, — самое грустное зрелище, доставляемое нам неравномерным распределением счастья на земле.

38. Во всех детских играх, хотя бы при своевольной ломке и порче вещей, видно стремление к творчеству. Мальчик чувствует, что он рожден быть человеком, что его призвание — труд. Ему нельзя сделать лучшего подарка, как дать орудие в руки. Будь то нож или ружье, средство строить или разрушать — и то и другое есть работа и ведет к изменению вещей. Играми, требующими ловкости и силы, мальчик, состязаясь с другими, учится совместной деятельности, мирной или воинственной, готовится быть правителем либо управляемым.

## II. НЕ УНЫВАТЬ

1. Маленькая спасательная лодка, называемая Землей, с ее шумным экипажем — родом человеческим, со всей ее спокойной историей исчезнет в один прекрасный день, как исчезает облачко с небесной лазури! Но что такое человек? Он существует лишь час, и раздавить его не труднее, чем моль. И все же в жизни и деятельности верующего человека лежит нечто — нам в том порукой вера, — нечто такое, что неподвластно разрушительной силе времени, что одерживает победу над временем, что есть и будет даже тогда, когда уже не станет времени.

2. Человек в собственном сердце своем носит вечное. Стоит ему заглянуть в свое сердце, и он прочтет в нем о вечности. Он знает сам, что будет долговечным и что ни в каком случае на долговечность рассчитывать не может!

3. Причина несчастья человека лежит, как мне кажется, в его величии. В нем есть что-то бесконечное, чего он при всей своей хитрости не может похоронить под конечным. Могут ли соединенные усилия всех министров финансов современной Европы сделать хоть одного сапожника *счастливым*? Они не могут этого сделать, а если и могут, то только пару часов, потому что и у сапожника есть душа, и требования ее совсем иные, нежели требования его желудка, душа, для продолжительного удовлетворения и насыщения коей потребовался бы не больше и не меньше как *бесконечный Божий мир, отданный ей в исключительную собственность*, дабы в нем бесконечно наслаждаться и удовлетворять всякое свое желание, как только оно появится. Не говорите поэтому о целых океанах дорогого вина; для сапожника с вечной душой это все равно что ничего! Не успеет океан наполниться, как человек станет роптать, что вино могло бы быть еще лучше. Попробуйте подарить человеку полмира, и вы увидите, что он затеет ссору с владельцем второй половины и будет утверждать, что его обидели.

4. Все видимые предметы суть эмблемы. То, что ты видишь, не существует само для себя, да и, строго говоря, оно вовсе и не существует, потому что материя существует лишь в зависимости от духа и для того, чтобы представить идею, *воплотить* ее. С этой точки зрения сам человек и все его земное существование не более как эмблема, одеяние или видимая драпировка для божественного *Я*, как искра с неба, брошенная вниз на землю. Поэтому и про человека говорят, что тело его лишь служит ему оболочкой.

5. Человек, "символ вечности, скованный временем", не дела твои, которые все смертны и бесконечно малы, из коих величайшее стоит не больше самого мелкого, а лишь дух, в котором ты работаешь, имеет некоторую ценность и продолжительность.

6. С душой человека происходит то же, что было с природой: начало творчества ее — свет. Пока глаз не видит, все члены томятся в неволе. Божественный миг, когда над бурно мечущейся душой, как некогда над диким хаосом, раздаются слова: "Да будет свет!" Разве для величайшего из людей этот момент не столь же чудесен и божествен, как для простейшего из смертных, почуствовавших его.

7. Люди с созерцательным направлением ума переживают времена — задумчивые, сладкие и в то же время полные ужаса часы, когда они



с любопытством и страхом ставят себе неразрешенный вопрос: "Кто я; то существо, которое называет себя я?" Мир с его громким шумом, с его делами отступает на задний план, и сквозь бумажные обои и каменные стены, сквозь густую ткань всевозможных отношений, политики, живых и безжизненных препятствий (общества и тела), какими окружено существование отдельной личности, — взор проникает в глубокую бездну, и человек остается один во вселенной и молча знакомится с ней, как одно таинственное создание с другим.

"Кто я; что такое мое я?" Голос, движение, явление; воплощенная, принявшая видимый образ идея вечного мирового духа? Cogito ergo sum\*. Ах, жалкий мыслитель! С этим ты далеко не уедешь. Правда, я есть, и недавно еще меня не было, но откуда я? Каким образом появился? Куда иду? Ответ скрыт в окружающем, написан во всех движениях, во всех красках, высказан во всех звуках радости и криках скорби, в разнообразной, тысячеголосой гармоничной природе. Но где тот мудрый взор, где тот слух, который уловит значение Богом написанного откровения? Мы живем точно в безграничном, фантастичном гроте и видим дивные сны: грот безграничен, потому что самая тусклая звезда, самое отдаленное столетие не приближается к его окружности. Звуки и пестрые видения проносятся перед нами, но Его, никогда не дремлющего, создавшего и грезы, и того, кто грезит, мы не видим, мы даже не догадываемся о том, каков он, за исключением редких мгновений полусознательного состояния. Творение лежит перед нами, как сияющая радуга, но солнце, создавшее ее, лежит за нами, скрыто от нас. В этих необычайных снах мы гонимся за тенью, точно это существа, и спим глубочайшим сном тогда, когда думаем, что окончательно пробудились. Которая из наших философских систем представляет собою что-нибудь иное, чем теория сна, уверенно сказанное частное, причем делимое и делитель оба неизвестны. Что такое все народные войны, отступление из Москвы, все кровавые, исполненные вражды революции, если не сомнамбулизм беспокойно спящих людей? Этот сон, это хождение во сне, это то, что мы называем жизнью; большинство людей проживают ее, не зная сомнения, как будто они в состоянии отличить правую руку от левой, а между тем лишь те мудры, которые знают, что они ничего не знают.

Как жаль, что всякая метафизика до сих пор всегда оставалась столь непродуктивна! Тайна существования человека на земле по сегодняшней день еще не разгадана, как загадка сфинкса, которой человек никогда не может правильно решить, почему он и должен умереть самой ужасной смертью, смертью духовной. Что такое всевозможные аксиомы и категории, системы и афоризмы? Слова, слова! Высокие воздушные замки хитро воздвигаются из слов, сами слова крепко цементируются логикой, но знания мы так и не добиваемся. *Целое больше части* — что за необыкновенная истина! *Природа не терпит пустоты* — как это необыкновенно лживо и что за клевета! Далее, *ничто не может влиять иначе, чем оно влияет там, где находится*, — я охотно с этим соглашусь, но позволю себе только вопрос: где же оно находится?

*Не будь рабом слов.* Разве далекое, мертвое, если я к нему стремлюсь, люблю его, скорблю о нем, не находится тут же, в истинном значении

этого слова? Оно так же верно, как та земля, на которой я стою. Вот это-то *где* со своим братом *когда* всегда были основным цветом нашего грота грез, вернее, полотном, на котором все наши сны, все видения наши были изображены.

И тем не менее зрелое размышление убеждает нас, что столь таинственно связанные с нашим мышлением понятия *где* и *когда* — лишь поверхностные, земные придатки мысли, что пророки видели вещим оком, поскольку они исходили из небесных *везде* и *всегда*. Разве не все нации признали своего Бога вездесущим и вечным, существующим во всемирном *здесь*, в вечном *теперь*? Обдумай это хорошенько, и ты тоже найдешь, что пространство лишь условное понятие нашего человеческого разума, точно так же как время. Мы сами не знаем, что мы — искры, плывущие в эфире Божества.

Быть может, эта столь массивная на вид земля на самом деле лишь воздушная картина, быть может, наше *я* — единственное, действительно сущее, а природа с ее различными произведениями и разрушениями лишь отражение нашей собственной внутренней силы, фантастическая греза или, как называет это Дух земли в "Фаусте", "живое одяние Божества"\*.

8. Будет ли человек времен Адама Смита прясть хлопок или строить города и рыть колодцы или, как это было при пророке Самуиле или во времена Давида, обрабатывать Ханаанскую землю, он всегда останется человеком, посланником невидимых сил, великим и победоносным, пока верно служит своему призванию; низким, жалким, обманутым и, наконец, пропащим, исчезнувшим с глаз долой, забытым людьми, если он окажется нечестным тружеником. Брат мой, ты, я думаю, человек; ты не простой, строящий бобер или двуногий бумагопрядильщик; ты действительно обладаешь душой, хотя бы она сейчас и находилась в состоянии смертельного обморока! Закоптелый Манчестер и тот построен над бесконечной пропастью; и над ним простирается твердь небесная; и в нем царит рождение и смерть; и он во всех отношениях так же таинствен и непостижим, как древнейшие города времен пророков. Ходи или стой, в какое время, на каком месте тебе будет угодно, везде ты найдешь неизмеримости. Вечности над нами, вокруг нас, в нас самих.

...Тихо  
Покоятся звезды вверх,  
А снизу могилы.

Между этими двумя видами безмолвия раздается грохот наших ткацких станков, торговых обществ, союзов и клубов. Сама глупость должна была бы здесь задержать свой бег и обдумать это. Истинно говорю тебе: сквозь все твои кассовые книги и философствование относительно спроса и предложения, все современные грустные дела и хитрые модные речи светит присутствие первобытного, неизреченного, и ты был бы мудр, если бы признал это не одними устами.

9. Каждый человек вмещает в себе целое духовное царство, отражение вселенной, и, хотя незначительная фигура едва достигает шести футов в высоту, он доходит вверх и вниз бесконечно далеко, расплыва-

ясь в сферах неизмеримости и вечности. Жизнь, сотканная на чудесном "ткацком станке времени", состоит, так сказать, из нитей света, перемешанного с таинственным мраком ночи, — только Тот, кто создал жизнь, может это понять.

10. У кого есть глаза и сердце, тот и в настоящее время может сказать: "Чего мне страшиться?" Свет доходит до тех, кто любит свет, как его следует любить, с самопожертвованием, с готовностью все переносить. К тому же напрасное старание познать тайну бесконечности следует прекратить раз навсегда. Тайну эту нам никогда не удастся узнать иначе, как читая ее отдельными строками то тут, то там. Разве нам не известно уже, что имя бесконечного — *доброта, Бог?* Здесь, на земле, мы похожи на воинов, воюющих в чужой стране; мы не понимаем плана кампании, да нам и не нужно его понимать. Мы и так знаем, что нам надлежит делать. Будем же исполнять каждый свою работу, как воины, послушно, мужественно, с героической радостью. "Если есть у тебя работа, исполни ее по мере твоих сил". За нами, за каждым из нас лежат шесть столетий людских усилий и побед; перед нами безграничное время с его еще не созданными и не завоеванными странами и счастливыми царствами, которые *мы*, да, *мы сами* должны создать и завоевать; и над нами светят небесные, руководящие звезды вечности.

Вот мое наследство, прекрасное, нетленное.  
Время — мое владение, моя пашня — время.

11. Не думаешь ли ты, что в этом мире с его дико кружащимся водоворотом и неистово пенящимися океанами, где люди и народы погибают, точно нет на свете закона, где суд над неправедными часто надолго откладывается, не остается никакого правосудия? Так в сердце своем считает безумец. Мудрецы всех времен тем и были мудры, что отрицали этот вывод и знали, что этого быть не может. Я снова повторяю, что на свете нет ничего, кроме справедливости, и одно только сильно в сем мире — то, что справедливо, то, что истинно.

12. Дождись исхода. Во всех боях, если дождаться исхода, видно, что каждый воин добился того, что по праву ему принадлежало. Его право и его сила, в конце концов, одно и то же. Он воевал, напрягая всю свою силу, и защищался в точном соответствии со своим правом. Даже смерть его не означает победы над ним. Правда, сам он умирает, но дело его живо и воистину будет продолжать жить.

13. Обыщи весь мир, и, если у тебя глаза не такие, как у совы, ты не найдешь в нем ничего живущего, что не имело бы права на пищу и на жизнь. Остальное, если только твое зрение хорошее, представится тебе отживающим, все равно что мертвым! Справедливость учреждена с самого сотворения мира и будет существовать, покуда существует мир и долее того.

Из этого я заключаю, что внутренняя сущность события значительно отличается от внешней его стороны; что временное, преходящее в этом, как и во многом другом, слишком часто ставится на первый план в ущерб вечному; что тот, кто живет, руководствуясь внешней стороной

преходящих явлений, не углубляясь в вечную суть их, не разрешит загадки, заданной ему сфинксом. Потому что одна только сущность действительна; это закон всего происходящего: если ты этого не понимаешь, то само происходящее, знающее эту истину, познакомит тебя с ней!

Что такое справедливость? В общем, в этом и заключается вопрос, предложенный нам сфинксом. Закон действительности состоит в том, что справедливое должно случиться и непременно случится. Чем раньше, тем лучше; потому что время строго и ужасно требовательно! "Что такое справедливость?" — вопрошают многие, которым одна суровая действительность могла бы дать удовлетворительный ответ. Так вопрошал Пилат, преступно шутя: "Что такое истина?" Шутивший Пилат не имел ни малейших шансов отыскать истину. Он не был бы в состоянии узнать ее. Даже если бы Бог показал ему ее. Слепота скрывала истину от его смеющихся глаз; *внутренняя* сетчатая оболочка его глаз онемела и омертвела. Он смотрел на истину и не узнал ее. "Что такое справедливость?"

Воплощенное правосудие, заседающее в судах, с наказаниями, документами, полицейскими и т. п., действительно, видимо. Но *невоплощенное* правосудие, бледной копией, а иногда лишь искажением коей является земное правосудие, — меньше бросается в глаза! Потому что невоплощенное правосудие исходит от неба; оно незримо для всех, кроме тех, у кого благородное, чистое сердце. Нечистые, неблагородные глядят во все глаза и не видят его. Они доказывают вам его отсутствие с помощью логики, путем бесконечных споров, красноречивых тирад. Неутешительно присутствовать при этом!\*

14. Счастье человека не зависит от того, чем он обладает, и не от того, что ему недостает, бывает он несчастен. Нищета, голод, нужда во всех ее видах, даже смерть переносились с радостью, когда сердце бывало верно направлено. Нестерпимо для людей чувство *несправедливости* того, что с ними случается. Самый простой негр не переносит, когда с ним поступают несправедливо. Ни один человек не может этого перенести или, по крайней мере, не должен был бы этого переносить. Закон, глубже всякого другого, записанного на пергаменте, закон, Божьей рукой непосредственно *вписанный в душу человека*, находится в непримиримом противоречии с несправедливостью. Что такое несправедливость? Лишь иное название беспорядка, неправды; нечто такое, что правдиво созданная природа, именно потому, что она не хаос, не призрак, отрицает и отталкивает. Внешняя боль от несправедливости, — хотя бы то была боль от ударов плетей, раздирающих в клочья живое мясо, или от топора, отсекающего голову, — ничто по сравнению со страданиями души, с тем позором, который она переносит, тем вредом, который причиняет ей личная жизнь. Самый грубый пентюх оказывает сопротивление, борется до смерти, если ему предстоит бесчестье. Так жить он не может. Громким голосом заявляет ему об этом душа, тихим кивком подтверждает вселенная. Этого быть не должно. Он должен отомстить, должен восстановить свое достоинство — чтобы каждому досталось свое, чтобы все стояло твердо на своем месте, чтобы порядок нигде не был нарушен. В этом есть что-то достойное внимания и, смею сказать, всеми уважаемое. Это — печать мужественности, защищаемой

всеми нами, основание всего того, что есть в нас достойного, что, несмотря на поверхностное различие между людьми, одинаково встречается у всех.

Подобно тому, как вредный по своей природе *беспорядок* ненавистен человеку, для которого здоровье и порядок являются главными условиями существования, так и несправедливость кажется наихудшим злом, для многих даже единственным злом на земле. Все люди с трудом мирятся с разочарованиями и с несчастьем; таков их удел в нашем мире; но лишь к этому их удел не сводится, во всех сердцах говорит тихий голос, которого не заглушить ни логике, ни горю, насилию или отчаянию, и говорит он, что на этом жизнь не окончится; что как бы ни казалась жизнь дика, беспорядочна и несообразна, Бог послал ее; что это не может быть несправедливо и что, напротив, так оно и быть должно. Власть, против которой безнадежно всякое сопротивление, имеет, несомненно, успокоительное влияние. Тем не менее продолжительная несправедливость, хотя бы она даже и исходила от бесконечной власти, оказалась бы нестерпимой для людей. Если бы они потеряли веру в Бога, то единственным их спасением от слепого не-Бога неизбежности и механизма, охватывающего их, как чудовищная мировая машина, было бы *возмущение*, независимо от того, была ли бы надежда на успех или нет. Они могли бы, как говорит Новалис, одновременно, всеобщим самоубийством ускользнуть от мировой машины и если не победоносно, то хоть с неукротимым, неусмиримым протестом против такой машины покончить с собой.

15. Благословенная надежда, утеха человечества, ты рисуешь на стенах тесной тюрьмы человека прекрасные, далеко простирающиеся ландшафты и проливаешь священный мягкий свет даже в глубокую ночь смерти. Ты в сем мире — всеобщее достояние: для мудреца ты — священное знамя, начертанное на вечном небе, под которым он *победит*, потому что самая борьба уже означает победу; для глупца ты — временная фата-моргана, тень от тихой воды, нарисованная на засохшей земле, облегчающая усталому путнику его странствие по пескам даже тогда, когда она оказывается призраком.

16. Несмотря на тяжкий труд, несмотря на то что нам предстоит переправа через далекие моря и ревущие пучины, разве это ничто, если перед нами внезапно возникает Полярная звезда на небе, если вечный свет сияет сквозь грозные тучи и бушующие волны, если вдали виден маяк, к которому в течение всей жизни мы неуклонно стремились? Разве это ничто; о Боже, разве это не все для нас?

17. Чего ты, собственно, боишься? Почему ты, крадучись, пробираешься, дрожа и пугаясь, как трус? Презренное двуногое создание! В чем состоит в общем итоге худшее, чего ты можешь опасаться? Смерть? Допустим, смерть, и, скажем, муки ада, и все, что дьявол и человек может или хочет против тебя предпринять! Разве нет у тебя мужества, разве ты не можешь перетерпеть что бы то ни было и, как дитя свободы, хотя и изгнанное дитя, топтать ногами даже самый адский огонь, в то время как он пожирает тебя? Пусть же совершится то, что может совершиться. Я пойду навстречу всему и бросаю судьбе вызов.

18. Редко случается, чтобы жизнь человеческая вела к нравственной гибели без того, чтоб главная вина заключалась в неудачном внутрен-

нем устройстве, в отсутствии не столько счастья, сколько хорошего руководства. Природа не создает ни одного творения, не наделив его в то же время силой, нужной для его деятельности и дальнейшего существования; всего меньше она забывает о своем шедевре, о своей любимице, о поэтической душе. Поэтому мы и не можем поверить, чтобы *какие бы то ни было* внешние условия смогли вконец загубить душу человеческую и даже сколько-нибудь существенно повредить его здоровью или обезобразить его внешней красотой, если только человеку дарован надлежащий ум. Величайшая сумма несчастий — смерть; хуже этого ничего не может вместить чаша бытия и горестей человеческих, и все же многие люди всех времен победили даже смерть и взяли ее в плен, превратив ее физическую победу в нравственную победу человека, в печать и бессмертное освящение всего того, что человек совершил в своей жизни.

19. Мужественный человек, если он храбро борется, одерживает время от времени маленькие победы, дающие ему бодрость для продолжения борьбы.

20. Здоровая душа, будь она даже заточена как угодно: в грязной мансарде, в истертом платье, в больном теле или в чем-либо еще, всегда сумеет защитить свою неотъемлемую свободу, свое право побеждать трудности, работать и даже радоваться.

21. Свободен тот человек, кто подчиняется мировым законам и в глубине души убежден, что, несмотря на все противоречия, ничего несправедливого с ним *не может* случиться, что вообще лишь лень да трусливая неверность делают зло возможным. Первой отличительной чертой такого человека является то, что он не противится необходимости и, не возмущаясь, покоряется ей. Как давно уже писал бедный Анри Мартен:

Есть слово, часто повторяемое и мудрости полное:

Благо тому, кто радостно работает и страдает, сколько должен.

*Радостно!* кто радостно принимает на себя и свой труд, и свои страдания, лишь тому небесные силы благоприятствуют и нива времени приносит ему плоды. Слово это было много раз сказано, все благородные души на свете знали его и на многих языках старались и нас познакомить с ним. Внутренняя сущность всякой "религии", как бывшей, так и будущей, в том, чтобы сделать человека *свободным*. Тот, кто в своем жизненном странствии отважится поставить все на карту, посвящая жизнь послушанию Богу и слугам Божьим, отрекаясь от дьявола и слуг его, такой свободный человек пройдет с благочестивым мужеством, несмотря на бурю и грозы, по намеченному пути. Через пустыню Сахару, через мрачные, населенные гальванизированными труппами и горестными созданиями пустыни ведет его путеводная звезда, его тропа, куда бы ни сворачивали другие, идет по направлению к вечному. У такого человека стоит спросить совета, стоит узнать мнение его о мирских делах. Такие люди, собственно, единственные люди, достойные этого названия, всегда были редки, но прежде их хорошо знали. Теперь они стали много реже, но еще не вымерли; они станут снова многочисленнее, если Бог еще долго сохранит нашу планету в обитаемом виде.

22. Борись все больше и больше, мужественное, верное сердце, и не уклоняйся от цели ни в несчастье, ни в счастливой судьбе. Делу, за

которое ты борешься, насколько оно истинно и не больше, обеспечена победа. Только то, что в нем ложно, будет побеждено и отстранено, как оно и должно быть.

23. Бодрость, которую мы желаем себе, заключается не в том, чтоб прилично умереть, а чтобы мужественно жизнь прожить. Эта бодрость, если она однажды дана Богом, глубоко запрятана в душе; благодетельным ласковым теплом питает она другие добродетели и дарования, которые без нее жить не могут. Несмотря на все бесчисленные победы под Ватерлоо и тому подобное, мужественный дух стал слабее в людях теперь, чем он был когда бы то ни было. Но совершенно вымереть он не может, иначе род человеческий больше бы никуда не годился; но тут и там, в различные времена и в разном образе посылаются с неба в мир нам люди, выказывающие необычайную бодрость духа и доказывающие, что и в наше время она еще встречается, она еще возможна и применима.

24. В тесном соотношении с бодростью духа и с мужеством, отчасти исходя из этих качеств, отчасти защищаясь ими, находятся легче познаваемые качества правдивости в речах и мыслях и честности в поступках. Тут налицо взаимовлияние, потому что насколько проведение в жизнь правдивости и честности является конечной целью, путеводным огнем душевного мужества, настолько, с другой стороны, они без мужества не могут быть осуществлены никаким способом.

25. Нельзя назвать удачным слово "невозможно"; от тех, кто часто его употребляет, нельзя ожидать ничего хорошего. Ты жалуешься: "лев стоит на дороге?" Ленивец, так убей его; дорога должна быть пройдена. На поприще искусств, практической жизни многочисленные критики доказывают, что отныне, собственно, все дальнейшее невозможно; что мы раз навсегда вступили в предел постоянных общих мест и должны с этим примириться. Пусть эти критики продолжают доказывать свое; это уж их манера такая, что за беда? Уже было доказано, что стихотворное искусство невозможно, тогда появился Бёрнс, появился Гёте. Будничная, серая жизнь казалась единственно отныне возможной, появился Наполеон и завоевал весь мир. Точным вычислением течений было установлено, что пароходам никогда не удастся проехать кратчайшим путем из Ирландии в Ньюфаундленд: двигательная сила, сила сопротивления, максимум здесь, минимум там, — законы природы и геометрические доказательства: что могло тут произойти? И тем не менее "Грейт Вестерн" осветил якори в Бристольской гавани и, смело проехав через Гудзонову пучину, бросил якорь в Нью-Йорке, прежде чем чернила наших рукописей успели высохнуть. "Невозможно?" — воскликнул Мирабо, отвечая своему секретарю: "Ne me dites jamais ce bête de moi"\*.

26. Если человек говорит действительно то, что думает, то всегда найдутся слушатели, какие бы ни существовали препятствия.

27. Настоящий юмор исходит из сердца точно так же, как из головы; внутренняя сущность его не презрение, а любовь; он не раздражается смехом, а вызывает тихую улыбку, что лежит много глубже. Это своего рода величие наизнанку. Юмор — цветок, аромат, чистейшая форма, в какую выливается глубокая, прекрасная, любящая натура, натура, гармонирующая сама с собой, примиренная с миром, с его бедностью,

с его противоречиями, черпающая в самых этих противоречиях новые элементы красоты и доброты.

28. Пусть все люди, если это хоть сколько-нибудь возможно, стараются быть здоровыми! Пусть тот, кто почему бы то ни было погрузился в страдания и болезнь, подумает об этом; пусть он знает, что ничего хорошего он до сих пор не достиг, а зла достиг несомненно, — что он может быть на пути к добродетели, но может также легко и сойти с него.

29. Здоровье — весьма важная вещь как для ее обладателя, так и для посторонних. В сущности говоря, не так уже не прав был тот юморист, который решил выказывать почтение одному лишь здоровью: вместо того чтобы унижаться перед высокопоставленными, богатыми и нарядными людьми — снимать шапку лишь перед здоровыми. Экипажи дворян с бледными лицами не удостоивались его внимания; зато стоило проехать телеге с краснощеким силачом, как он принимался радостно и почтительно кланяться. И, действительно, разве здоровье не служит признаком гармонии, разве, в известном смысле, как показывает опыт, оно не является итогом всего ценного, что есть в человеке?

Здоровый человек весьма достойный продукт природы, поскольку он является таковым. Хорошо иметь здоровое тело, но здоровая душа — вот самое главное, что человек должен выпросить себе у неба, вот самое прекрасное, чем небо может осчастливить бедных смертных. Здоровая душа сразу — без помощи искусственных философских лекарств, без всегда сомнительных символов веры — сама узнает, что есть благо, принимает его и твердо придерживается; она узнает также, что худо, и добровольно отталкивает это от себя.

30. Как возможна дружба? Путем всесторонней привязанности ко всему, что хорошо и истинно. Без этого она немыслима, раз это не вооруженный нейтралитет или пустой торговый договор. Человек, слава Богу, всегда может довольствоваться самим собой, но тем не менее десять человек, связанных любовью, могут сделать больше, чем десять тысяч человек, действующих раздельно. Бесконечна помощь, которую люди могут оказать друг другу.

31. Очень часто бывает, что у нашего друга самое честное намерение нас поддержать, что он всеми силами старается это сделать и тем не менее не в состоянии понять, чего именно нам не хватает и что нам нужно, чтобы идти вперед на избранном нами пути, настаивает на том, чтобы мы шли *его* дорогой, и бранит нас, называя неисправимыми, за то, что мы не хотим или не можем следовать его совету. Таким образом и выходит, что люди одиноки даже среди друзей; никто не хочет поддержать ближнего, и каждому приходится даже встать в оборонительную позу, чтобы сосед не явился ему помехой!

32. Как верно сказал Новалис: "Одно несомненно, мое убеждение становится *бесконечно* сильнее с того момента, когда другой человек признает его!" Взгляни в лицо своему брату, в глаза, сияющие мягким огнем доброты или пылающие гневом, и ты почувствуешь, как твоя дотоле спокойная душа моментально помимо твоей воли загорается таким же огнем, так что от ваших взаимных взоров получится одно безграничное пламя (всеобъемлющей любви или смертельно разящей ненависти), и тогда скажи, как чудесная сила переходит от человека



к человеку. Если это верно в различных случаях нашего земного существования, то тем более это случается, когда мы говорим о божественной жизни и внутренне наше я приходит в соприкосновение с чужим я.

33. Все людские дела во что бы то ни стало хотят иметь идеал, как мы говорили "душу", хотя бы только ради того, чтобы предохранить тело от гниения. И удивительно, как идеал или душа, — перенесите вы его в самое уродливое тело на свете, — передает телу собственное благородство, изменяет его и преобразует и делает его в конце концов прекрасным и до известной степени божественным!

34. К сожалению, давно известно, что идеальные состояния никогда не могут быть вполне реализованы. Идеалы всегда остаются в известном отдалении, и мы должны быть довольны, если хоть несколько приблизимся к ним. Никто, как сказал Шиллер, не должен слишком точно сравнивать жалкий результат действительности с масштабом совершенства. Такого человека, который все сравнивал бы с совершенством, мы не стали бы считать мудрецом, мы назвали бы его глупым, недовольным созданием. С другой стороны, никогда не следует забывать, что идеалы должны существовать; если люди перестанут стараться приблизиться к идеалу, тогда всему настанет конец. Неминуемо. Ни один каменщик никогда еще не возводил *совершенно* перпендикулярной (вертикальной) стены; это математически невозможно; достаточно, если стена в известной степени перпендикулярна; тогда каменщик не поправляет ее больше, как хороший работник, который должен закончить свою работу. Но горе ему, если он слишком уклонился от отвесной линии, если он отбросил совсем и лот и ватерпас, а просто сложил камень на камень! Такой каменщик свернул на плохую дорогу; он забылся, но закон равновесия не забывается и мстит ему; и каменщик и стена его рухнут, рассыпаясь в прах!

35. Мы знаем, что все человеческое несовершенно; далек от нас по большей части идеал; очень далек! Но пока идеал (внутренняя правда) как бы то ни было еще смутно живет и действует в жизни, это несовершенство можно переносить. Невыносимым оно становится тогда, когда идеал целиком исчезает и действительность оказывается лишенной всякой идеи, всякой правды; в такой степени несовершенства людские положения не могут оставаться, они должны измениться или погибнуть, если дело до того дошло. Оспа и т. п. болезни могут уродовать кожу, если сердце осталось здоровым; но совсем иначе бывает, когда сердце само заболевает, если самого сердца вовсе нет и на его месте водворилась противоестественная головешка.

В общем, читатель, ты всюду найдешь доказательства тому, что все проложившее себе путь в человеческой жизни с самого начала должно было быть истинно и ценно, не призрак, а действительность. То, что не является действительно ценностью, не находит себе надолго убежища среди людей. Возьмите мусульманство! Даже ламаизм, да, ламаизм — мы с радостью устанавливаем этот факт, — достоин жить на свете; не фраза это, а искреннее мнение. Тот, кто верит, что обман, насилие, несправедливость, вообще какая-нибудь неправда, как бы она ни была прикрыта или прикрашена, может лечь в основу людских сношений и сообщества людей, тот жестоко заблуждается. Это заблуждение

— плод неверия, в котором отсутствует правда. Заблуждение, приводящее лишь к новым заблуждениям и к новому бедствию, заблуждение роковое, достойное сожаления, от которого все люди должны были бы отказаться.

36. Можно считать истинным, что все вещи имеют две стороны: одну освещенную, другую темную. Не один идеал, переходя, насколько возможно, в практику, превращается в совершенно неожиданную действительность, и мы с удивлением спрашиваем: неужели это действительно ваш идеал? К сожалению, идеал всегда должен переходить в область действительности и в ней искать себе очень скудной иногда пищи и приюта.

37. Согласно законам природы, идеалы всех родов имеют свои определенные границы, свой период юности, зрелости или совершенства, увядания и, наконец, смерти или исчезновения. Ничто не рождается, что не должно было бы рано или поздно умереть.

38. Испытания в пустыне — разве всем нам не пришлось пройти через подобного рода испытания? Вкоренившийся в нас от рождения ветхий Адам не может так легко быть изгнан из своих владений. Мы в жизни постоянно наталкиваемся на необходимость, и тем не менее значение всей нашей жизни не что иное, как свобода, свободная сила. Таким образом, постоянно происходит борьба, и, в особенности вначале, жестокая борьба. Потому что данное нам Богом приказание: "*Действуй, творя добро*", таинственно пророческими знаками начертано в наших сердцах и ни днем, ни ночью не дает нам покоя, пока мы не раскроем и не исполним его, пока оно, как видимое, деятельное Евангелие свободы, не будет просвечивать во всех наших поступках. А так как данный прахом приказ: "Ешь и набивай себе брюхо" одновременно с убедительной силой проходит сквозь все наши нервы, — то ясно, что должно наступить замешательство, что должен произойти бой, прежде чем лучшее влияние одержит верх.

39. Мы, люди, идем по удивительным дорогам; различно ведет нас Бог к цели. Поэтому мы должны были бы к каждому относиться с терпением, с надеждой на его исправление, должны были бы дать всякому возможность испытать, что еще может из него выйти. Пока жизнь не кончена, для всякого есть надежда.

40. Долгая, бурная весна, дождливый апрель, зимний холод еще в мае; наконец наступает все-таки лето. До сих пор дерево стояло голым; сухие, голые сучья жалобно стонали и трещали от ветра. Хочется сказать: сруби его, что оно напрасно занимает место на земле! Но нет, мы должны ждать. Всему свое время. — Вот дыхание июня коснулось голого обнаженного дерева, и оно покрылось листьями и стоит в цвету. Что за листья и что за цвет! Прошедшее долгое время наготы и зимнего брожения сделало свое дело, хотя и казалось, что оно ничего не делает. Прошлое молчание получило голос и говорит тем многозначительнее, чем дольше оно продолжалось. У всех деревьев, у всех людей, во всех учреждениях, верованиях, народах, у всего растущего и развивающегося, что встречается во вселенной, мы наблюдаем такую перемену и такое время расцвета.

41. Подумаем о том, что за судья природа, какое величие, какое глубокое спокойствие и долготерпение присуще ей. Ты берешь пшеницу и сыплешь ее в недра земли: твоя пшеница, быть может, перемешана

с высевами, с сечкой, с сором, пылью и всяким мусором; это не беда: ты отдал ее доброй матери-земле: пшенице она дает расти, весь же мусор она молча уберет, прикроет его и не станет даже о нем говорить. Золотистая пшеница вырастает; мать-земля молчит об остальном, молча и не жалуясь давно уже извлекла пользу из остального. Так и всегда поступает природа. Она правдива, без фальши и притом велика и справедлива и матерински нежна в своей правдивости. Она требует лишь одного: чтобы вещь была *подлинной*, тогда она бережет ее, но только тогда. Правда — душа всего того, что природа когда-либо брала под свое покровительство. Ах, разве одна и та же история не повторяется со всякой возвышенной истиной, которая когда-либо появилась на свет или которой еще предстоит появиться? *Тело* ее несовершенно; она свет в темноте; нам она представляется воплощенной в логике, облеченной в чисто *научные* теоремы относительно вселенной, теоремы, которые *не могут* быть совершенными, которые в один прекрасный день признаются несовершенными и ошибочными и должны умереть и исчезнуть. Тело всякой истины должно умереть, и все же в каждом таком теле живет душа, никогда не умирающая, бессмертно живущая, облекаясь то в одну, то в другую форму, вечная, как душа человека. Так поступает природа. Внутренняя сущность какой-нибудь истины никогда не умирает. Природе нужно только, чтобы она отличалась подлинностью, чтобы истина была голосом, исходящим из глубины природы. То, что мы называем чистым или нечистым, не является перед судом природы решающим вопросом. Не то важно, сколько в тебе соломы, а то, сколько в тебе пшеницы. Чистота? Иному человеку мне хочется сказать: Да, ты чист, ты достаточно чист, но ты — солома, бесчестная гипотеза, слух, мнимая ценность. Ты никогда не слышал великого сердца вселенной; ты не можешь быть назван ни чистым, ни нечистым; ты — ничто; с тобой природа не имеет ничего общего.

42. Ни один человек не живет, никого не задевая и никем не задетый; он должен обязательно проложить себе путь, толкаясь локтями. Жизнь его — борьба. Даже устрицы, кажется, приходят в столкновение с другими устрицами. Несомненно, что они должны наталкиваться на необходимость и на трудности и что они пробиваются не как совершенные, идеальные устрицы, а как несовершенные, действительно живые существа. Устрица должна быть знакома с известной степенью раскаяния, с известной степенью ненависти, с некоторой долей малодушия.

43. Бедная природа человеческая! Разве движение человека вперед по пути истины не представляет собой падения за падением? Иначе и быть не может. В дикой жизненной стихии борется он, пробиваясь вперед; он падает, и падает глубоко, — все снова и снова должен он со слезами и раскаянием, с обливающимся кровью сердцем вставать на ноги и продолжать борьбу. Лишь бы борьба его велась с верностью и несокрушимым упорством: в этом вся суть.

44. Есть много почтенных, беспорочных людей, которые все же немногого стоят. Невелика заслуга человека, сохранившего руки в чистоте, если он всю работу исполнял не иначе как в перчатках.

45. В живых существах изменения обычно происходят лишь постепенно, так что, пока змея сбрасывает с себя старую кожу, под ней уже

успевает образоваться новая. Немного ты знаешь про сожжение мирового Феникса, если думаешь, что он должен весь сгореть и предстать в виде кучи пепла, из которой чудом выбьется живая молодая птичка и полетит к небу. Ошибаешься! В огненном вихре вселенной творение и уничтожение идут рядом, и в то время, как пепел старого разносится ветром, уже таинственно ткуются органические нити нового, и среди шума и вихря бушующей стихии раздаются звуки мелодичной предсмертной песни, заканчивающиеся звуками еще более мелодичного гимна воскресения. Да, взгляни собственными глазами в огненную вьюгу, и ты увидишь, что это так и есть.

46. Великая истина или по крайней мере одна сторона великой истины заключается в том, что человек сам создает условия своего существования и духовно, как и материально, сам своего счастья кузнец. Но эта же истина имеет и другую сторону, а именно: что окружающие обстоятельства — тот элемент, где человеку приходится жить и действовать, что человек в силу необходимости заимствует у них свою окраску, свою одежду, свой внешний вид и что во всех практических случаях жизни человек почти до бесконечности изменяется обстоятельствами, так что в ином, не менее верном смысле можно сказать, что обстоятельства делают человека.

Если нам поэтому следует настаивать на первой истине по отношению к нам самим, то, с другой стороны, нам необходимо помнить последнюю, когда мы судим о других людях.

47. На мирное житье в этом водовороте человеческого существования дитя времени не должно претендовать, тем менее, когда призрак отгоняет его от прошлого, а будущее представляется не чем иным, как тьмой, наполненной привидениями. С полным правом мог бы странник воскликнуть про себя: разве ворота счастья в сем мире не закрыты неумолимо перед тобой, разве есть у тебя надежды, которые не были бы неосновательными? И все-таки можно громко сказать или, если это лучше, подобно древнему греку, прошептать про себя: Кто может глядеть в глаза смерти, тот не испугается теней.

48. Разве мера страданий не является в то же время мерилom сострадания, на которое способен человек, и мерилom его силы и той победы, которая предстоит ему? Наша печаль — обратная сторона нашего благородства. Как велико наше отчаяние, так велики и наши способности, настолько мы и можем предъявлять свои требования. Черный дым, застилающий перед тобой мир, точно подымаясь из ада, может истинной силой воли превратиться в пламя, в небесное сияние, поэтому не унывай!

49. Неимоверное количество сделанной и забытой работы, молча лежащей у ног моих, одевающей, поддерживающей меня и сохраняющей мою жизнь, куда бы я ни пошел и что бы я ни делал, дает богатый материал для размышлений! Во всяком случае, то, что называется известностью для мудреца, теряет свое значение. Для глупцов и людей легкомысленных эта известность стоит того, чтоб подымать из-за нее шум; она сулит им "бессмертие" и т. п. Но если правильно взглянуть на вещи, что она собою представляет, эта известность?

50. Хорошо понимать и сознавать, что ни одна мысль никогда не умирала, что точно так же, как ты, создатель ее, почерпнул ее из

прошлого, точно так же ты и передашь ее будущему. Таким образом, героическое сердце, видящее око первых времен, живет еще в нас, хотя мы принадлежим настоящему времени. Так, мудрец постоянно бывает окружен толпой свидетелей и братьев, простирающих к нему руки, и на свете существует живая *община святых*, в буквальном смысле слова пространная, как земля, и древняя, как история.

51. Скажи мне, например, кто научил тебя *говорить*? С того времени, как две обросшие волосами, нагие или покрытые листьями фигового дерева человеческие фигуры почувствовали желание не быть более немymi, а делиться мыслями, старались объяснить с помощью всевозможных звуков, жестов, мучительной пантомимы и неловких телодвижений, до того времени, когда, скажем, написана была вот эта книга, прошло немало времени и совершена значительная работа, которую *кто-нибудь* да совершил. Думаешь ли ты, что до Чосера не было поэта, не было сердца, горящего мыслью, которую оно не могло не высказать и для которой не было слова, так что слово это пришлось ему создать и выковать? Для каждого слова нашего языка был такой человек, или такой поэт, который придумал его.

52. Первый человек, с открытой душой взглянувший на небо и на землю, на все прекрасное и страшное, что мы называем природой, вселенной и т. п. и сущность чего навсегда останется без соответствующего названия, первый человек, говорим мы, который впервые увидел все это сознательно, торжественно и, по всей вероятности, молча опустился на колени, совершил под влиянием внутренней потребности "нечто оригинальное", что другим, мыслящим людям показалось весьма выразительным и достойным подражания! И с того дня стали молиться преклонив колена. Эта безмолвная молитва старше всех словесных молитв, молебнов и литургий; она — начало всякого богослужения, которое нуждалось в одном лишь начале, так оно было разумно. Что за поэт был этот первый молящийся!

53. Не падай духом! Ты не одинок, если ты веруешь. Разве мы не говорили о сонме святых, невидимом, но действительно существующем, сопровождающем тебя и окружающем своими объятиями, куда ты достоин того? Героические страдания святых возносятся из всех стран и из всех времен, как свящённое "Misereere"\* и их великодушные дела, их подвиги звучат как безграничный, вечный мелодичный гимн, подымающийся к небу. И не говори, что в настоящее время нет символа божественного. Разве Божий мир не символ божественного? Разве неизмеримость не храм? Разве история человека и человечества не бесконечное Евангелие? Прислушайся только, и вместо органа ты услышишь, как и в древние времена, пение утренних звезд.

54. Какие полки и толпы и поколения таких людей уже поглотило забвение! Их прах образует ту почву, на которой жизнь наша продолжает давать плоды.

55. Человек не должен жаловаться на времена; из этого ничего не выходит. Время дурное: ну что же, на то и человек, чтоб улучшить его.

56. "Настанет время, — говорил Лихтенберг с горькой иронией, — когда вера в Бога будет подобна вере в детские сказки" или, как выражается Жан Поль, "когда сделают из мира — мировую машину, из

эфира — газ, из Бога силу, из загробной жизни — могилу”. Мы же думаем, что такого дня *не будет*. Во всяком случае, пока борьба еще ведется — и философия газа и могилы еще не вылилась в форму устава с выработанными положениями, — нужно предоставить свободу действия мистицизму и всему тому, что честно выступает против этой философии. Побольше беспартийности и свободы, и правда одержит верх!

57. Если время наше — время неверия, почему мы должны на это роптать? Разве не настанет лучшее время? Да и не настало ли оно уже? Период веры чередуется с периодом неверия, как сжимание сердца чередуется с расширением сердца. Весенний рост, летнее изобилие всяких мнений и творений должны сопровождаться смертельным увяданием осени и земной развязкой, а за ними снова наступает весна. Человек живет во времени; все его земное существование, его стремления и судьба — продукт времени, и лишь в преходящих символах времени обнаруживается всегда неподвижная вечность, в которой мы живем. И все же в такое зимнее время отрицания для людей, одаренных благородной душой, сравнительно тяжело, что они родились, должны в такое время бодрствовать и трудиться; а для людей с притупленной чувствительностью даже приятно, что они могут, погрузясь в лень, грезить и спать и проснуться лишь тогда, когда гремящие бури с градом пронесутся, совершив свою работу, и нашим молитвам, нашему мученичеству наконец будет дарована новая весна.

58. Еще неосновательнее кажется нам страх, что вместе с суеверием исчезнет и религиозность. Религиозность не может исчезнуть. Маленький дымный огонь от горящей соломы может скрыть от наших глаз звезды на небе, но звезды тем не менее остались на небе и снова покажутся нам.

В общем, мы должны повторить известное изречение, что недостойно верующего человека смотреть на неверующего со страхом, или с отвращением, или с каким бы то ни было другим чувством, кроме сожаления, надежды на его исправление и братского сочувствия. Если он ищет истины, разве он нам не брат и недостойн сожаления? А если он не ищет истины, разве он все же не наш брат и тем более достоин сожаления?

59. Не можем ли мы посмотреть на то ужасное горе, которое теперь со всех сторон окружает нас, как на голос из немых недр природы, зывающий: ”Взгляните! Спрос и предложение — не единственный закон природы; уплата наличными деньгами — не единственная обязанность людей по отношению друг к другу. Глубоко, много глубже спроса и предложения лежат законы и обязательства, священные, как сама жизнь человеческая. Если вы будете действовать дальше, вы познакомитесь с ними и должны будете покориться им. Кто познает их и научится повиноваться им, тот будет иметь природу на своей стороне. Он будет работать, и высокая награда достанется ему в удел. Кто же не узнает этих законов, против того будет сама природа, и он не в состоянии окажется работать в пределах природы. Мятежи, ссоры, ненависть, одиночество и проклятия будут следовать за ним по пятам, пока все люди не познают, что то, чего он добился, как бы оно ни казалось блестящим, не успех, а полнейшая неудача”.

60. Будем же радоваться, что по крайней мере одно признается всеми и повторяется на всех языках: человек все еще человек. Гений механизма не всегда будет давить на нашу душу, как кошмар, и в конце концов, когда волшебным словом старые чары будут разрушены, станет нашим послушным рабом и будет исполнять все, что мы потребуем. "Мы близки к пробуждению, когда видим во сне, что нам снится сон". У кого есть глаза и сердце, тот и теперь может сказать: "Зачем мне колебаться? Свет светит в мире для тех, кто любит свет, так как любить его следует безграничной, самоотверженной, все выносящей любовью".

61. Дайте знать людям, что они люди, созданные Богом и в кратчайший промежуток времени способные создать такое, что будет жить на веки вечные. Это действительно великая задача. Не машинами для обработки земли и не машинами для переваривания пищи, а также и не рабами других людей или собственных страстей должны они быть, а прежде всего им следует быть людьми.

62. Одно, собственно говоря, следовало бы нам уяснить, "в общих чертах", а именно, что "сияние Божье" так или иначе, в той или иной форме должно развиваться из глубины даже этого нашего промышленного века.

63. Да, всюду свет проникает в мир. Люди не любят тьмы, они стремятся к свету. Глубокое чувство вечной природы, справедливости проглядывает везде и видно на каждом шагу.

64. Человек, в сущности говоря, всегда был борцом и тружеником и, не смотря на широко распространенную клевету, утверждающую противное, всегда любил истину.

65. Всякая душа человеческая, как бы она ни была погружена во мрак, любит свет; стоит лишь раз зажечь свет, чтобы лучи его разошлись во все стороны.

66. Слишком легкомысленно пришли люди к заключению, что *голод*, великий фундамент нашей жизни, является и венцом ее, и последней степенью совершенства; что так как "жадность и неумеренное честолюбие" составляют отличительные признаки большинства людей, то нет человека, который поступал бы или думал бы поступать на основании иных принципов. Чего нельзя подвести под категории бедности, то подводят под рубрику честолюбия, не входя в дальнейшие рассуждения.

67. Совершенно неверно, что люди, с тех пор как они населяют землю, живут с помощью бреда, лицемерия, несправедливости или какой-либо иной формы безрассудства. Неправда, что они когда-либо жили чем-нибудь иным, чем противоположностью всего перечисленного.

68. Известное одобрение совести необходимо даже для физического существования и составляет тонкую, всюду проникающую замазку, которою держатся составные части нашего я. Поэтому, если человек не сидит в сумасшедшем доме и еще не застрелился и не повесился, то мы должны утешаться и заключить, что он одно из двух: либо злая *собака* в образе человека, которой нужно надеть намордник, пожалеть и подивиться; либо это настоящий человек, следовательно, создание, не лишенное нравственной ценности, которое надо просветить и до некоторой степени одобрить. Но для того чтоб правильно судить о его характере, мы должны научиться смотреть на него не только своими, но и его глазами; мы должны пожалеть его, должны видеть в нем брата, одним

словом, должны научиться *любить* его, иначе настоящая, духовная сторона его природы никогда не будет правильно понята нами.

69. Прежде всего не следует забывать, что людьми и их поступками управляют не материальные, а нравственные силы. Как бесшумна бывает мысль! Ни барабанный бой, ни стук копыт целого эскадрона, ни бесконечный шум обозов с амуницией и багажом не сопровождают ее движений. В каких безвестных, отдаленных уголках земного шара работает иногда мысль в голове, которая в один прекрасный день будет увенчана властью, какой не дает и царская корона, потому что короли и цари будут в числе слуг ее. Не над головами, а внутри их будет властвовать мыслитель и своими комбинациями идей, придуманными в одиночестве, как магическим заклинанием, подчинит весь мир своей воле.

70. Интересно наблюдать, как распространена и вечна среди людей любовь к мудрости; как самый знатный и самый незначительный человек, гордые князья и грубые мужики и все люди, один за другим, уважают мудрость или то, что они принимают за мудрость, как они, в сущности говоря, ничего иного и не могут почитать. Потому что все полчища какого-нибудь Ксеркса со всей их несокрушимой силой не в состоянии смирить ни одной мысли нашего гордого сердца. Только перед нравственным достоинством преклоняется дух человеческий, только в такой душе, которая глубже и лучше нашей, можем мы увидеть небесную тайну, и, смиряясь перед ней, мы чувствуем, что возвышаемся.

71. Люди редко и почти никогда надолго не возмущаются тем, что не заслуживает возмущения. С готовностью и ревностно оказывают они послушание и преданность всему великому, истинно высокому, склоняясь к ногам его со всем, что у них есть, отдаваясь душой, телом, сердцем и духом тому, кто действительно выше их.

72. Страна, в которой народ до глубины души охвачен какой-нибудь религиозной идеей, завладевшей всеми жителями ее, такая страна сделала шаг вперед, после которого уже нет возврата к прошлому. Мысль, сознание того, что человек — гражданин мира, создание вечности, проникло в отдаленнейшую хижину, в самое бесхитростное сердце. Вся жизнь становится прекрасной, достойной уважения, когда ее осеняет чувство небесного призвания, Богом возложенной обязанности. В таком народе живет воодушевление, и в тесном смысле можно про него сказать: "Дыхание Всемогущего дает этим людям разумение".

73. Утешительной является истина, что великие люди существуют во множестве, хотя они и пребывают в безвестности. Да, величайшие люди наши, именно потому, что они по природе *тишайшие*, вероятно, те, что навсегда остаются безвестными. Философ Фихте утешался этой мыслью, когда с кафедр и из соборов он ничего не слышал, кроме бесконечной болтовни и трескотни честолюбивых вещателей общих мест; когда от всестороннего движения и грохота, заменившего тишину и молчание, все сбилось в бурную пену, так что серьезный Фихте чуть ли не жалел, что познания нельзя обложить налогом, чтоб немного утомонить их; тогда, как мы уже сказали, он утешался несокрушимым убеждением, что мышление в Германии еще существует, что мыслящие люди, каждый в своем углу, действительно исполняют свое дело, хотя и молчаливо, тайным образом, укрывшись от взоров.



74. Большой шаг вперед, по нашему мнению, заключается в настоящее время в ясном убеждении, что мы стоим на пути к прогрессу. О том, как управляет нами Провидение, какие у него конечные цели, мы ничего или почти ничего не знаем; человек начинает работу во тьме и кончает ее во тьме; тайна повсюду вокруг нас и внутри нас. Под нашими ногами и в наших руках. Несмотря на это, каждому хоть то ясно, что это удивительное человечество движется в каком-то направлении, что все дела человеческие находятся в движении и подвержены беспрестанным изменениям, как были и будут им подвержены вечно; действительно, существа, живущие во времени и в силу времени и созданные из времени, давно уже могли бы это понять.

### III. ЛЮДИ И ГЕРОИ

1. Искреннюю радость доставляет человеку возможность восхищаться кем-нибудь; ничто так не возвышает его — хотя бы на короткое время — над всеми мелочными условностями, как искреннее восхищение. В этом смысле было сказано: "Все люди, в особенности женщины, склонны к преклонению" — и преклоняются перед тем, что хоть сколько-нибудь того достойно. Можно обожать нечто, хотя бы оно было весьма незначительно; но невозможно обожать чистейшее, ноющее ничтожество.

2. Я думаю, что уважение к героям, в различные эпохи проявляющееся различным способом, является душой общественных отношений между людьми и что способ выражения этого уважения служит истинным масштабом для оценки степени нормальности или ненормальности господствующих в мире отношений.

3. Богатство мира состоит именно в оригинальных людях. Благодаря им и их творениям мир есть мир, а не пустыня. Воспоминание о людях и история их жизни — выражение его силы, его священная собственность на вечные времена, поддерживающая его и, насколько возможно, помогающая ему пробиваться вперед сквозь неизведанную еще глубину.

4. Можно возразить, что я проповедую "поклонение героям". Если хотите, да, — друзья, но поклонение прежде всего должно выразиться в том, что сами мы будем героически настроены. Мир, полный героев, вместо целого мира глупцов, в котором ни один доблестный король не может царствовать, — вот чего мы добиваемся! Со своей стороны мы отбросим все низкое и лживое; тогда только сможем надеяться, что нами будет управлять благородство и правда, но не раньше.

5. Сказано: "Если сами мы холопы, для нас не может быть героев". Мы не узнаем героя, даже если увидим его, — мы примем шарлатана за героя.

6. Ты и я, мой друг, мы можем в этом отменном холопском мире создать из себя каждый из нас по одному, не холопу, герою, если мы захотим. Таким образом, получились бы для начала два героя. Мужайся! Так можно создать целый мир героев или хоть по мере возможности содействовать их появлению.

7. Я предсказываю, что мир снова станет искренним, станет миром верующих людей, будет полон героических деяний, будет полон геро-

ического духа. Тогда, и только тогда, он сделается победоносным миром.

Но что нам до мира и его побед? Мы, люди, слишком много говорим о нем. Пусть каждый из нас предоставит мир самому себе; разве каждому из нас не дана личная жизнь? Жизнь — короткое, очень короткое время между двумя вечностями; другой возможности у нас нет. Благо *нам*, если мы не как глупцы и лицемеры проживаем свой век, а как мудрые, настоящие, истинные люди. Оттого что мир будет спасен, мы не спасемся; мы не погибнем, если погибнет мир. Обратим поэтому внимание на самих себя. Наша заслуга и наш долг состоят в выполнении той работы, которая у нас под рукой. К тому же, по правде говоря, я никогда не слышал, чтоб "мир" можно было "спасти" иным путем. Страсть спасать миры перешла к нам от XVIII века с его поверхностной сентиментальностью. Не следует увлекаться слишком сильно этой задачей! Спасение *мира* я охотно доверяю его Создателю; сам же лучше позабочусь, насколько возможно, о собственном спасении, на что я имею гораздо больше права.

8. Великий закон культуры гласит: дайте каждому возможность сделаться тем, чем он способен быть, дабы он мог развернуться во весь свой рост, преодолеть все препятствия, оттолкнуть от себя все чуждое, особенно всякие вредные наносные явления и, наконец, предстать в своем собственном образе, во всем своем величии, каковы бы они ни были. Не бывает единообразия превосходства ни в физическом, ни в духовном мире — все *настоящие* вещи таковы, какими они должны быть. Северный олень очень добр и красив, точно так же и слон.

9. Первая обязанность человека — подавить чувство страха. Мы должны быть свободны от него, иначе мы не можем действовать. Иначе поступки наши — поступки рабов; не искренние, а лишь для глаза, даже мысли наши фальшивы: мы мыслим, как рабы и трусы, пока не научились попирать страх ногами. Мы должны быть мужественны, идти вперед, храбро завоевать свободу — в спокойной уверенности, что мы призваны и избраны высшей силой, — и не должны бояться. Насколько человек побеждает страх, настолько он — человек.

10. В этом мире даже бодрый человек может быть не уверен в столь многом относительно того, *как* он живет, ему необходимо быть хотя бы *уверенным в себе*.

Ни один человек, желающий сделать что-нибудь значительное, не может надеяться на успех иначе как при условии, что он решит: "я хочу совершить это или умереть". Потому что мир всегда представлялся здравому смыслу каждого отдельного человека в большей или меньшей степени домом сумасшедших.

11. Велик тот миг, когда до нас доходит весть о свободе, когда долго закрепощенная душа освобождается от своих пут и пробуждается от печального стояния на одном месте, хотя бы слепо и в замешательстве и именем Создателя клянется, что она *хочет быть свободной*. Свободной? Поймите это хорошенько, то ясно, то смутно все существо наше глубоко проникнуто законом: будь свободен. Свобода — единственная цель, к которой, разумно или нет, стремится вся борьба, все старания людей на земле. Да, это высокий миг (знаком ли он тебе?): первый

взгляд на охваченный пламенем Синай в пустыне нашей жизни — нашего паломничества, которому отныне столб дыма днем и огненный столб ночью будут указывать дорогу.

12. Люди привыкли всем лицам и всем вещам, начиная с ничтожнейших книг и кончая церковными епископами и государственными деятелями, предлагать вопрос, в каком парике и в какой черной треуголке гуляют они по свету, вместо того чтоб спросить у них, кто призвал их к деятельности? О Боже! Мне отлично знакома твоя треуголка, отлично известно и то, кто призвал тебя. Но во имя Бога спрашиваю я тебя: кто ты? Что ты собою представляешь? Не ничто, отвечаешь ты! Ну, так скажи, насколько же, и что же ты, наконец, — это именно то, чего мне хотелось бы знать и что я должен знать и поскорее!

13. Настоящий не стоящий на месте человек, если он только не манекен, какую бы сущность вы ему ни вложили в душу, сумеет ее более или менее двинуть вперед. Самое нескладное, бестолковое в мире он сумеет сделать несколько *менее* нескладным. Негибкое он сделает более подвижным — вот польза от его существования в мире.

14. Прежде всего отыщите человека; тогда вы уже всего достигли. Он может научиться всему — быть сапожником, произносить приговоры, управлять государствами, и все это делает так, как можно ожидать от человека. Возьмите с другой стороны не-человека, и у вас в руках будет ужаснейший "татарин" в мире, который быть может тем страшней, чем он с виду тише и мягче. Беды, какие способна наделать одна только глупая голова, какие способна наделать всякая глупая голова в мире, кишащем таким бесконечным множеством последствий, не поддаются подсчету. Уже не понимающий своего дела шарлатан-сапожник может причинить немало зла, о чём свидетельствуют мозольные операторы и люди, доведенные до необходимости носить с отчаяния одну лишь войлочную обувь. Подумайте же о том, сколько зла может сделать шарлатан-священник, шарлатан-король!

15. Гений, поэт, — знаем ли мы, что означают эти слова? Подаренная нам вдохновенная душа, непосредственно из великого горнила природы присланная, чтобы видеть правду, вещать ее и совершать. Это — священный голос природы, раздающийся снова сквозь бесплодную, бесконечную чащу слухов, болтовни и трусости, в которой заблудился доведенный до края погибели мир.

16. Гений, о котором известная дама сказала, что он не имеет пола, ни в коем случае не принадлежит к какому-нибудь сословию; поэтому образование не должно гордиться своим искусственным светом, часто лишь тлеющим или фосфорическим, там, где мы имеем дело с загоревшей искрой Божьей. Мы начинаем сознавать, что аристократическая снисходительность, с учтивой улыбкой с высоты трона, воздвигнутого из книг в дорогих переплетах, признающая, что "для человека из народа" это очень мило, совершенно неуместна теперь. Настало несчастное время в истории человечества, когда наименее образованный — прежде всего и наименее исковерканный и при обилии выпуклых, вогнутых, зеленых и желтых очков не потерял способности видеть собственными глазами. В наше время человек, владеющий пером точно так же, как и молотком, не должен возбуждать удивления.

Тем не менее снисходительно-доброжелательное отношение так широко распространено, что нам кажется полезным взглянуть на обратную сторону дела. Я полагаю, что для способного от природы человека, имеющего в себе зародыши сильного характера — особенно, если его склонности указывают на поприще литературы и предназначают его быть мыслителем и писателем, — для такого человека, говорю я, в наше странное время не было бы большим несчастьем вырасти среди народа, а не среди образованных людей, — быть может, это и вовсе бы не было несчастьем?

Все люди наталкиваются на избыток препятствий, потому что духовный рост должен быть задержан и остановлен и должен пробиваться сквозь затруднения, иначе он совершенно остановится. Мы сознаем, что посредственным личностям беспрестанное воспитание и обучение языкам, танцам, правилам приличия, как это практикуется во всех странах у людей высокопоставленных, дает известное превосходство, в худшем случае кажущееся превосходство над средними людьми низшего класса: так что обыкновенно праздный человек по сравнению с человеком трудящимся почти всегда оказывается более милым; у него кругозор шире, яснее. Во многих отношениях, если даже взглянуть на дело глубже, он имеет преимущество над тружеником. Противоположное верно лишь для необыкновенных личностей, одаренных зародышем неукротимой силы, которая во что бы то ни стало *достигнет* развития. Для таких зародышей всего лучше та почва, на которой он свободнее будет расти. Там, где есть охота, должен найтись и путь. Одновременно с гением человек бывает одарен и возможностью развития, даже уверенностью в развитии. Часто случается, что неумелое окапывание и удобрение вреднее, чем отсутствие ухода, и убивает то, что слепой жестокий случай шадит. Редко бывает, чтобы какой-нибудь Фридрих или Наполеон воспитывались с целью подготовить их к последующей деятельности, чаще всего даже их подготовка осуществляется совсем иным путем, в одиночестве и страдании, в нужде и при неблагоприятных обстоятельствах. В наше время мы видим двух гениальных людей: Байрона и Бёрнса. Оба они по велению природы должны были стремиться к зрелому мужеству и бороться, преодолевая бурю и натиск тридцать шесть лет; и все же один только даровитый земледелец добивается частичной победы; гениальный же дворянин борется, не жалея труда, и умирает, когда лишь в отдалении слышится обещание успеха его деятельности. Правда, как сказано где-то: только артишок не может расти вне сада; жёлудь бросают куда попало, а он питается на невспаханной почве и вырастает в виде дуба. Каждый лесовод подтвердит, что жирная земля губительна для желудей. Чем легче почва, тем крепче и плотнее дерево, но тем оно и ниже. То же самое происходит и с духом человеческим: он будет чист, лишится своих недостатков, если станет страдать за них. Кто боролся хотя бы только с бедностью и тяжким трудом, тот оказывается сильнее и более сведущим, чем тот, кто удалился с поля битвы и осторожно спрятался между обозами с провиантом. В этом смысле один опытный наблюдатель нашего времени сказал: если мне нужно было отыскать человека с определенно развитым характером (развитым определенно и искренно, в рамках своих границ), человека с умом проника-

тельным, мужественного, сильного духом и сердцем — а не с исковерканным характером, с надменностью, заменяющей мужество, со спекулятивным мышлением и призраком силы вместо пронизательности и мощи, я обратился бы скорее к низшим, а не к высшим сословиям и там стал бы его искать.

Другое резкое мнение состоит в том, что тот, чьи потребности определены наперед, чьим способностям предстоит только одна задача — развиться как можно лучше, достигает меньшей степени истинной образованности, чем другой человек, задача и долг коего состоит не в достижении образования, а в добывании хлеба насущного тяжелым трудом. Что за печальная превратность судьбы выражается в том, что столько многообещающих начинаний задерживаются и искусство, при всем богатстве своих средств, ничего не в состоянии совершить даже там, где природа сама дает материал. Но жизнь полна зла, точно так же как и добра, и богатство средств и путей может дойти до опасных размеров, может укрепить дурные склонности, вместо того чтобы направить их по верной колее. Но что значит *необразованность* с тех пор, как у нас есть книги, с тех пор, как книги составляют часть домашней утвари в каждой квартире цивилизованных стран? В беднейшей хижине вы найдете книги, во всяком случае, *одну* книгу, из которой дух человеческий веками черпает свет и пищу и ответ на глубочайшие свои запросы; в которой и по сей час для зрячего глаза заметно отражение тайны бытия, если и непоясненной, то хоть открытой и представленной в виде пророческих символов; если и не удовлетворяющей разум, то хоть доступной внутреннему пониманию, что гораздо важнее. "В книгах скрыт творческий пепел Феникса всего нашего прошлого". Все, что люди думали, открыли, перечувствовали и придумали, записано в книгах; и кто научился секрету чтения, может все это найти и усвоить.

Но что из этого следует? Разве образование человека, то, что мы называем образованием, бывает закончено в университетах, библиотеках и аудиториях; разве живая сила нового человека пробуждается исключительно или главным образом мертвой буквой и повествованием о силе других людей, разве иначе она не может загореться, и очиститься, и дойти до побеждающей ясности? Ты, неразумный педант, с сожалением распространяющийся о неведении Шекспира! Шекспир проник глубоко в бесчисленное множество вещей, в природу с ее божественной красотой и ужасами ада, ее хорами светлых ангелов и таинственными жалобными стонами; глубоко проник он в дела людские, в искусство и в уловки искусства. Шекспир *знал* многое (знал [kenned] в его время было почти тождественным с *мог* [canned]) о людях и мире и о том, к чему люди стремятся, чего добивались они веками в различных странах света; обо всем было у него ясное представление и умение передать все понятое в новых образах. В этом и состояло его знание; что же знаешь ты? Ничего из того, что мы только что назвали, быть может, вообще ничего. Ты знаешь только собственные дипломы, документы, академические почести; только слова да буквы алфавита и то не все. Ясный взгляд на вещи и свежая сила для деятельности — вот величайший успех обучения; упражнение — лучший учитель.

В наше время "знать" и "мочь" стали совершенно различными терминами; а ведь в этом первая причина всей человеческой культуры, краеугольный камень подлинного образования; то, что человек прежде всего должен быть подготовлен к труду, ряд поколений совсем не затронуло, и мы видим последствия этого! Подумайте, какое преимущество имеют необразованные трудящиеся классы над образованными и нетрудящимися только вследствие того, что они должны *работать*. Работа! Что это за неизмеримый источник образования! Как захватывает работа всего человека, не только его спокойное теоретическое мышление, но всего деятельного, действующего, решительного и терпеливого человека; как шаг за шагом пробуждает она дремлющую силу, как искореняет старое заблуждение! Кто ничего не делал, тот ничего не знает. Сидеть, строить планы и умно говорить ни к чему не ведет: встань и действуй! Если знания твои верны, то применяй их, борись с живой природой, испытай свои теории и посмотри, как они выдержат искуc. *Сделай* что-нибудь, в первый раз в жизни сделай что-нибудь! Тогда ты сразу станешь лучше понимать всякую деятельность вообще. Работа имеет неограниченное значение; при ее помощи скромнейший ремесленник добывается великого и необходимого, чего не может сделать высокопоставленный человек, не умеющий трудиться. Примись за практику, и заблуждение с истиной перестанут идти рука об руку: успех заблуждения заставляет тебя запутаться в квадратном корне отрицательной величины; постарайся извлечь его, добыть из него какое-нибудь земное содержание и жизненную поддержку. Почтенный член парламента может открыть, что "существует реакция", может верить этому и утомительно доказывать это наперекор всему миру, сколько ему угодно; он не будет испытывать от этого недостатка в пище; но если медник откроет, что медь — зеленый сыр, то он должен действовать сообразно со своим открытием и потому должен прийти к заключению, что, как это ни странно, медь нельзя жевать, а из зеленого сыра никак нельзя получить огнеупорной посуды; что его открытие поэтому не имеет под собой твердой почвы и что о нем надо забыть. Проведите эту основную разницу через всю жизнь обоих людей и постарайтесь уяснить себе ее последствия. Необходимость, нужда, которая в данном случае является матерью точности, давно уже известна как мать изобретательности. Тот, кому многого недостает, кто во многом нуждается, должен много знать; много трудиться, чтобы только чего-нибудь достигнуть, в противоположность тому, кому необходимо только знать, что для того, чтобы позвонить, нужно пальцем нажать на кнопку звонка.

Мы приходим к заключению, что жизнь человеческая — школа, в которой глупые от природы — хоть бы ты стал толочь их в ступе — останутся при своей глупости, а умные от природы, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, становятся все умнее. Однако же каково должно быть состояние эры, когда величайшие преимущества превращаются во вред! Это знаменательно; вот двое гениальных людей, один из них ведет плуг, другой катается на четверке с гербами в карете; они развиваются — из одного вырастает Бёрнс, из другого — Байрон; вот двое талантливых людей, один стоит в типографии, вымазан в саже, живет в тяжелых условиях, исполняя трудную работу; другой работает

в Оксфордском университете среди словарей и библиотек, наемных толкователей и прекрасных условий труда: первый известен миру как доктор Франклин, второй — как доктор Парр.

17. Гении — наши настоящие люди, наши великие люди, вожди тупоумной толпы, следующей за ними, точно повинаясь велениям судьбы. Они — избранники света. Они обладали редкой способностью не только "догадываться" и "думать", но *знать и верить*. По натуре они склонны были жить, не полагаясь на слухи, а опираясь на определенные воззрения. В то время как другие, ослепленные одной наружной стороной вещей, бесцельно неслись по великой ярмарке жизни, они рассматривали сущность вещей и шли вперед, как люди, имеющие перед глазами путеводную звезду и ступающие по надежным тропам.

18. Сколько есть в народе людей, которые *могут* вообще видеть незримую справедливость неба и знают, что она всемогуща на земле, — столько людей стоит между народом и его падением. Столько, и не больше. Всемогущая небесная Сила посылает нам все новых и новых людей, имеющих сердце из плоти, не из камня — а тяжелое несчастье, и так уже довольно тяжелое, — окажется учителем людей!

19. Жизнь великого человека, сказал кто-то, похожа на Библию, на Евангелие свободы, проповедуемое всем людям, посредством которого мы узнаем, что среди стольких неверующих душ возвышенный дух еще не сделался невозможным; это служит признаком того, что, хотя мы окружены пошлостью и презренными делами, природа человеческая неуязвимо божественна; поэтому мы должны придерживаться самой главной веры, веры в нас самих.

20. Подобно тому как величайшее Евангелие было биографией, так и история жизни всякого хорошего человека несомненно является Евангелием и проповедует глазу и сердцу и всему человеку, так что сами дьяволы должны дрожать от этих слов: "Человек рожден божественным, не рабом условий и нужды, а победоносным их покорителем. Смотри, как он сознает собственное достоинство и свою свободу и, как сказал один мыслитель, является "мессией природы".

21. Начинают понимать, что настоящая сила, которой должно подчиняться все на свете, это — пронизательность, духовное созерцание и решительность. Мысль — мать деятельности, она — живая душа ее, не только зачинщица ее, но и охранительница. Мысль поэтому служит основанием, началом и сокровеннейшей сущностью всей человеческой жизни на земле. В этом смысле было сказано, что слово человека, высказанная мысль — магическое изречение, благодаря которому он покоряет мир. Разве не покорны ему ветры и волны и все бушующие силы, безжизненные точно так же, как и живые? Жалкий, совершенно механически действующий волшебник говорит, и по его слову окрыленные огнем суда пересекают океан. Народы разделены раздорами и несогласиями, погружены в отчаяние и мрачную хаотическую злобу, но раздастся тихий голос древнееврейского мученика и освободителя, и он успокаивает и мирит людей. Земля становится приветливой и прекрасной, ужасающая жестокость заменяется миролюбивым отношением людей друг к другу. Настоящий властитель мира, по своему желанию преобразующий свет, как мягкий воск, это тот, кто с любовью взирает

на мир, это вдохновенный мыслитель, в наше время называемый по-этом.

22. То, что Гёте был великим учителем человечества, уже одно это доказывает, что он был также и хорошим человеком, что сам он учился, боролся в школе опыта и наконец победил. Для скольких сердец, томившихся в тесной тюрьме неверия — настоящем ничто, пустом пространстве — и близких к смерти, уверение, что такой человек существовал, что такой человек оказался возможным, было радостной вестью! Тот, кто хочет научиться привести в единство благоговение и ясность мысли, отрицать то, что ложно, бороться с неправдой и в то же время верить в правду и поклоняться ей; среди бушующих партий, думающих лишь о том, что либо совершенно пусто, либо может продержаться всего один день, вызывающих конвульсии распадающегося, умирающего общественного строя, дергая его во все стороны, среди партий этих оставаться на верном пути и, работая для мира, оставаться чистым перед миром — кто этому хочет научиться, пусть взглянет сюда. Этот человек был нравственно велик, потому что он в свое время был тем, чем в иные времена могли быть многие люди, — настоящим человеком. Его величайшее преимущество перед другими состояло в его неподдельности. Точно так же как главными качествами его ума были мудрость, глубина и сила мировоззрения, основным нравственным качеством его была справедливость, мужество быть справедливым. Мы восхищались в нем силой великана, но силой, благородно превращенной в кроткую мягкость, подобно безмолвной, опоясанной скалами силе мира, из недр коего вырастают цветы, а почва покоится на алмазах. Величайшее из всех сердец было и храбрейшее, бесстрашное, неутомимое, миролюбивое, несокрушимое. Он был законченным человеком: трепещущая чувствительность, неистовый энтузиазм Миньоны уживается с язвительной иронией Мефистофеля, и каждая сторона его многосторонней жизни получает от него то, что ей надлежит получить.

23. Что он был справедливый, сердцем понимающий человек, это предполагается как основание всякого истинного таланта. Как может человек без ясного взгляда в сердце своем иметь ясный взгляд в голове?

24. Умные и мужественные люди составляют, собственно говоря, лишь *один* класс. Не бывает мудрого или умного человека, который прежде всего не должен был бы быть бодрым и мужественным, иначе он никогда не стал бы мудрым. Благородный пастырь всегда был вначале благородным борцом, а потом уже чем-то бóльшим. Если бы Лютер, Нокс, Ансельм, Бекет, Сэмюэл Джонсон не были с самого начала достаточно сильны и храбры, каким образом могли бы они когда-нибудь сделаться мудрыми и умными?

25. Как бы часто нам ни внушали, что более близкое и подробное ознакомление с людьми и венцами уменьшит наше восхищение ими, что только темное и наполовину незнакомое может казаться возвышенным, мы все-таки не должны этому безусловно верить. И здесь, как и во многом другом, не знание, а лишь немного знания заставляет гордиться и на место восхищения узанным предметом ставит восхищение самим узнавшим. Для поверхностно образованного человека усыпанное звездами, механически вращающееся небо не представляет собою, быть



может, ничего удивительного; оно кажется ему менее удивительным, чем видение Иакова. Для Ньютона же оно удивительнее этого видения, потому что тут, на небе, царит еще все тот же Бог, и священные влияния и посейчас еще, как ангелы, поднимаются вверх и спускаются вниз, и это ясное созерцание делает остальную тайну еще глубже, еще божественнее. То же самое происходит и с истинным душевным величием, в общем, теория "нет великого человека для его камердинера" нам мало помогает в освещении истинной природы этого случая. Кроме довольно ясной поверхностности этого утверждения оно еще может быть применено лишь к поддельным, ненастоящим героям или к слишком настоящим лакеям. Для доброго Элвуда Мильтон всегда оставался героем.

26. Во всяком случае гораздо легче и гораздо менее благородно находить ошибки, чем раскрывать красоты. Критикующая муха, садясь на колонну или карниз великолепного здания, будет в состоянии указать тут на пятно, там на шероховатость, одним словом, несмотря на то что взор ее простирается не далее полдюйма, она сумеет найти, что тот или иной отдельный камень совсем не такой, каким он быть должен. В этом критикующая муха будет права. Но для того, чтоб понимать красивые пропорции целого, чтобы видеть все здание как единый предмет, чтоб оценить его целесообразность, устройство различных частей и их гармоничное совместное служение требуемой цели, нужно иметь глаз и понимание знатока.

27. Существенно заблуждаются те, кто считает вспыльчивость и упрямство признаками силы. Кто подвержен припадкам судороги, тот несилен, хотя требуется шесть человек, чтобы сдержать его. Тот силен, кто может тащить, не спотыкаясь, самый тяжелый груз. Это мы должны помнить всегда, в особенности в теперешние крикливые дни. Кто не умеет *молчать*, пока не настает пора говорить и действовать, тот не настоящий человек.

28. Разве мысли, истинный труд, всякая высокая добродетель — не дети страдания? Словно рожденные из черного вихря. — Истинное напряжение, подобное усилиям узника вырваться на свободу, — вот что такое мысль. Мы совершенствуемся путем страданий.

29. При каких обстоятельствах приходится иногда мудрости бороться с глупостью и убеждать глупость, чтобы она согласилась на защиту мудрости!

30. Жизнь великого человека — не веселый праздник, а битва и поход, борьба с властелинами и целыми княжествами. Его жизнь — не праздная прогулка по душистым апельсиновым рощам и зеленым цветущим лугам в сопровождении поющих муз и румяных гор\*, а суровое паломничество через знойные пустыни, через страны, покрытые снегом и льдом. Он странствует среди людей; он любит их неизъяснимой, нежной любовью, смешанной с состраданием, любовью, какой они ему *не могут* ответить, но душа его живет в одиночестве, в далеких областях мироздания. В зеленых оазисах, в тени пальмовых деревьев у ручья отдыхает он на мгновение, но долго оставаться там не может, гонимый страхом и блеском, дьяволами и архангелами. Все небо сопровождает его. Весело сияющие звезды посылают ему вести из неизмеримости; могилы, молчаливые, как скрытые в них покойники, — говорят ему

о вечности. О мир, как тебе застраховать себя от этого человека? Ты не можешь нанять его за деньги и не можешь также обуздать его виселицей и законами. Он ускользает от тебя, подобно духу... Его место среди звезд на небе. Тебе это может казаться важным, тебе это может представляться вопросом жизни и смерти, но ему безразлично, дашь ли ты ему место в низкой хижине на то время, пока он живет на земле, или отведешь ему помещение в своей, столь громадной для тебя башне. Земные радости, те, которые действительно ценны, не зависят от тебя или от твоего содействия. Пища, одежда и вокруг уютного очага души, любимые им, — вот его достояние. Он не ищет твоих наград. Заметь, он и не боится ни одного из твоих наказаний. Даже убивая его, ты ничего не добьешься. О, если бы этот человек, из глаз которого сверкает небесная молния, не был насквозь пропитан Божьей справедливостью, человеческим благородством, правдивостью и добротой, — тогда я дрожал бы за судьбу мира. Но сила его, на наше счастье, состоит из суммы справедливости, храбрости и сострадания, живущей в нем. При виде лицемеров и выраженных стараниями портного высокопоставленных шарлатанов глаза его сверкают молнией; но они смягчаются милосердием и нежностью при виде униженных и придавленных. Его сердце, его мысли — святилище для всех несчастных. Прогресс обеспечен навсегда.

Но имеешь ли ты представление о том, что такое гениальный человек? Гений — "вдохновенный дар Божий". Это — бытие Бога, ясно выраженное в человеке. Более или менее скрытое в других людях, оно в этом человеке заметнее, чем в остальных. Так говорит Мильтон, а он должен был в этом что-нибудь понимать; так говорят ему в ответ голоса всех времен и всех стран. Тебе хотелось бы общаться с таким человеком? Так будь, действительно, подобен ему. В твоей ли это власти? Познай себя и свое настоящее, а также и кажущееся место и познай его и его настоящее и кажущееся место и действуй сообразно со всем этим\*.

31. Голод и нищета, опасности и поношения, тюрьма, крест и кубок с ядом — вот что почти во все времена и во всех странах было рыночной ценой, предлагаемой миром за мудрость, — тот доброжелательный прием, который он оказывал тому, кто приходил, чтобы просветить или очистить его. Гомер и Сократ и апостолы христианства принадлежат к древним временам, но мартирология мира на них не остановилась. Роджер Бэкон и Галилей изнывают в тюрьмах духовенства, Тассо грустит в келье в сумасшедшем доме, Камознс умирает нищим на улицах Лиссабона. Так небрежно относились к пророкам, так преследовали их не только в Иудее, но и везде, где только жили люди.

32. Это естественный ход вещей, это история божественного во всех странах, во все времена. Какой бог мог когда-нибудь пробиться в открытые церковные собрания или в какой-нибудь сколько-нибудь влиятельный синагон? Когда какое-либо божество было "приятно" людям? Обыкновенный порядок вещей состоит в том, что люди вешают своих богов, убивают, распинают на кресте и в течение нескольких столетий попирают их ногами, пока они вдруг открывают, что то были боги, когда они опять-таки на очень глупый манер начинают блеять и кричать.

Так говорит саркастический наблюдатель, и слова его, к сожалению, глубоко истинны.

33. В сущности говоря, гениальному человеку стыдно жаловаться. Разве в его груди не горит небесный свет, по сравнению с которым сияние всех тронов земных лишь ночь и тьма? Как же голова, украшенная такой короной, может роптать на то, что корона неудобно сидит на ней? Современный жрец мудрости должен либо терпеливо переносить постигающие его мелкие неприятности и искушения, к числу которых следует отнести и болезнь, либо он должен сознаться, что фанатики и безумцы древности были лучшими служителями Бога, чем он.

34. "Неужели мне может казаться тяжелым, — говорил Кеплер в злато одиночестве и в гнетущей нужде, — что люди ничего не хотят знать о моем открытии? Если всемогущий Бог шесть тысяч лет ждал человека, который увидел бы то, что он сотворил, то и я могу подождать лет двести, пока найдется кто-нибудь, кто поймет то, что я увидел!"

35. Мы вовсе не думаем, что непоколебимая серьезность составляет существенное условие величия и что великий человек никогда не должен показываться иначе, как с пристальным взором и укуснокислой миной, никогда не должен смеяться и радоваться! На свете есть вещи, над которыми нужно посмеяться, как есть и такие, которые достойны восхищения, и никто не может хвастаться всеобъемлющим умом, если он не умеет воздать каждой вещи должное.

Тем не менее презрение — опасный элемент, если мы хотим на нем играть, и смертельный, если мы привыкаем с ним жить. Как, в самом деле, может человек предпринять нечто большое, взять на себя труд и усталость и противиться искушению, если он не любит горячо преследуемую цель? Способность к любви, к восхищению можно рассматривать как отличительный признак и мерило возвышенных душ. Неразумно направленная, она ведет к немалому количеству бед, но без нее не может быть ничего хорошего.

36. В современном обществе, точно так же как и в древнем и во всяком другом, аристократы или те, что присвоили себе функции аристократов, независимо от того, выполняют ли они их или нет, заняли почетный пост, который является одновременно и постом затруднений, постом опасности — даже постом смерти, если затруднения не удастся преодолеть. *Il faut payer de sa vie\**.

Это и есть настоящий, истинный закон. Всюду, постоянно должен человек "расплачиваться ценою жизни", он должен, как солдат, исполнять свое дело за счет своей жизни.

37. Тот, кто не может быть слугою многих, никогда и не может быть господином и истинным вождем и освободителем многих; в этом значении настоящего совершенства.

38. Знатный класс, не имеющий никаких обязанностей, похож на посаженное над обрывом дерево, с корней которого осыпалась вся земля. Природа ни одного человека не признает своим, если он не является мучеником в каком-нибудь отношении. Неужели, действительно, существует на свете человек, который роскошно живет, застрахованный от какой бы то ни было работы, от нужды, опасности и забот, победа над коими и считается работой, так что ему только остается нежиться на мягком ложе, а всю нужную для него работу и борьбу он заставляет исполнять других?

39. В чем, собственно говоря, состоит благородство? В том, чтобы храбро страдать за других, а никак не в том, чтобы лениво заставлять других страдать за себя. Вождем людей бывает тот, кто стоит впереди других людей, кто пренебрегает опасностью, перед которой другие отступают в страхе, опасностью, грозящей погубить других, если ее не одолеют. Всякий благородный венец — венец терновый.

40. Трудящийся мир, точно так же как и воинственный мир, не может функционировать без благородного рыцарства поступков и без соответствующих законов и правил.

41. Руководители промышленности, если только промышленность должна быть руководима, будут, в сущности, вождями мира. Если в них нет благородства, то на свете никогда больше не будет аристократии. Но руководителям промышленности надлежит принять к сведению, что они созданы из другого материала, чем прежние начальники кровавой резни. Руководители промышленного труда — истинные борцы и отныне должны быть признаны единственными истинными борцами. Они борются с хаосом, с беспорядком, с чертями и вовлекают человечество в единственную великую и праведную всеобщую войну. Звезды на небе борются за них, и вся земля внятно говорит: "Так, хорошо!" Пусть же предводители труда исследуют собственное сердце и торжественно спросят себя, нет ли в них чего-нибудь другого, кроме жажды тонких вин и зависти к раззолоченным экипажам? О сердцах, сотворенных всемогущим Богом, — мне не хотелось бы этого думать, да я этому никогда и не поверю.

42. Храбрые полки работников должны законным образом стать вашими, их следует систематически удерживать в вашей среде путем справедливого участия в общих завоеваниях, они должны быть связаны с вами совершенно иными и более крепкими узами, нежели временной поденной платой, и сделаться вашими истинными братьями и сыновьями.

43. Уважай немногочисленное меньшинство, если оно окажется искренним. Его борьба иногда трудна, но всегда оканчивается победой, как борьба богов. Сыновья Танкреда д'Отвилля приблизительно восемьсот лет тому назад завоевали всю Италию\*, соединили ее в органические массы, своего рода живое расчленение; они основали троны и княжества. Этих норманнов было четыре тысячи человек. В Италии, покоренной ими в открытом бою и разделенной по их усмотрению на части, насчитывалось до восьми миллионов населения, состоящего из таких же высоких ростом, чернобородых людей, как и те. Как же случилось, что немногочисленное меньшинство норманнов победило в этой, по-видимому, безнадежной борьбе? По существу, несомненно, победа потому осталась за ними, что на их стороне была правда, что они смутно, инстинктивно следовали повелению неба и небо решило, что они должны победить. К тому же присоединялось то обстоятельство — я это ясно вижу, — что норманны не боялись и готовы были в случае надобности умереть за свое дело. Обдумайте это: *один* такой человек против тысячи других! Пусть незначительное меньшинство не унывает! Вся вселенная стоит за него, и туча невидимых свидетелей глядит на него с высоты.

44. Что касается власти "общественного мнения", то всем нам она хорошо знакома. Ее признают необходимо нужной и полезной и уважа-

ют ее соответственно, но ее никоим образом не считают решающей или божественной силой. Нам хочется спросить: какое божественное, какое действительно великое дело было когда-либо совершено силой общественного мнения? Эта ли сила побудила Колумба отправиться в Америку или заставила Иоганна Кеплера променять пышное житье в толпе астрологов и скоморохов Рудольфа на нужду и голод, терпя которые он открыл истинную звездную систему?

45. Уже много раз было сказано и снова необходимо подчеркнуть, что все реформы, за исключением нравственных реформ, оказываются бесполезными. Политические реформы, довольно страстно желаемые, могут действительно вырвать с корнем сорную траву (ядовитый болиголов, обильно растущий ненужный горéц), но после этого почва остается голой, и еще вопрос, что будет на ней произрастать, благородные ли плоды или новая сорная трава. Нравственную реформу мы можем ожидать лишь таким образом, что появится все больше и больше добрых людей, присланных всеблагим Провидением, чтобы сеять добрые семена; *сеять* в буквальном смысле слова, как падают крупинки семян с живых деревьев. В этом всегда и везде состоит натура хорошего человека; он таинственный творческий центр добра: его влияние не поддается вычислению, потому что дела его не умирают; они берут начало в вечности и продолжают вечно; в новых превращениях, распространяясь все шире и шире, живут они на свете и раздают жизнь. Тот, кто приходит в отчаяние от гнусности и низости настоящего времени, кто считает, что теперь Диогену\* нужны были бы *два* фонаря среди бела дня, должны обдумать следующее: над своим временем человек не имеет власти; ему не дано спасти падший мир; только над отдельным человеком мы имеем полную, неограниченную, несокрушимую власть. Так употреби же эту власть, спаси человека, сделай его честным, и тогда можешь считать, что ты кое-что сделал, что ты многое сделал и что жизнь твоя и деятельность были не напрасны.

#### IV. ЛОЖНЫЕ ПУТИ И ЦЕЛИ

1. Это действительно так. "Мы забыли Бога", выражаясь старинным слогом, или, говоря новейшим языком и исходя из сущности самого предмета, мы восприняли действительность *не такой, какова она есть*. Мы спокойно закрыли глаза на вечную суть вещей и открыли их только на видимость вещей. Мы спокойно верим в то, что вселенная, по внутренней сущности, есть одно большое, непонятное "может быть", а внешне она представляется несомненно достаточно большим, вместительным хлебом и работным домом, с огромной кухней и длинными обеденными столами, — и только тот оказывается умным, кто может найти здесь место. Всякая правда этой вселенной сомнительна, и для практического человека остаются очень ясными только прибыль и убыток, пудинг и внешнее одобрение.

2. Дело, в сущности, обстоит не иначе и с народами, которые становятся несчастными и беспомощными. Древние руководители народов, пророки, священники или как бы их ни называли иначе, очень

хорошо знали это и самым убедительным образом проводили свое учение до новых времен, чтобы запечатлеть по возможности глубже. Современные руководители народов, у которых также много названий, как, например, журналисты, политэкономы, политики и т. д., совершенно забыли об этом обстоятельстве и готовы его отрицать.

Но тем не менее оно вечно останется неотрицаемым, и точно так же нет сомнения в том, что нас всех учат этому, дабы мы все это снова познали. Нас всех бичуют и наказывают до тех пор, пока мы этому не научимся и в конце концов мы научимся или нас будут бичевать до смерти, потому что это неотрицаемо!

Если народ несчастен, то древний пророк был прав и не неправ, когда он говорил ему: "Вы забыли Бога, вы оставили пути Божьи, иначе вы не стали бы несчастными. Вы жили и вели себя не по законам истины, а по законам лжи и обмана и умышленно или неумышленно не признавали истины".

3. В мире ночь, и много времени еще пройдет, пока наступит день. Мы странствуем среди тления дымящихся развалин, и солнце и звезды небесные на время как бы совершенно уничтожены и два неизмеримых фантома: *ханжество* и *атеизм*, вместе с прожорливым чудовищем *чувственностью* гордо шествуют по земле и называют ее своею собственностью. Лучше всех чувствуют себя спящие, для которых существование представляет собой обманчивый сон.

4. Такие поколения, как наше, играют замечательную роль во всемирной истории. Точно обезьяны, сидят они вокруг костра в лесу и не умеют даже поддерживать его и двинуться дальше, вероятно в хаос, в страну, гора Сион коей Бедлам. Выходит, что мир состоит не только из еды и напитков, из газетных реклам, раззолоченных экипажей, суеты и мишуры; нет, из совершенно другого материала. Древние римляне, какими их изображает Светоний, огрубелые, болтливые греки времен вырождения Римской империи; у нас есть еще много других примеров. Помните их, учитесь на них, не увеличивайте еще их числа. Без геройства, не подражательного и переданного, без выраженного или молчаливого чувства, что в человеческой жизни есть подобие Божества, что движущаяся во времени человеческая история есть, в сущности, символ вечного, не было бы Рима; вот то, что создало Древний Рим, Древнюю Грецию и Иудею. Обезьяны со сверкающими глазами сидят на корточках вокруг костра, который они даже не умеют поддерживать свежим запасом дров; они говорят, что он и так будет дальше гореть, без дров, или, улы, говорят они, он вечно гаснет; это печальное явление.

5. Многие люди умерли; все люди должны умереть; наш самый последний уход происходит в огненной колеснице боли. Но печально и жалко, когда человеку приходится существовать, не зная для чего, усиленно работать и ничего при этом не наживать, с усталою душой и с тяжелым сердцем стоять одиноким и окруженным всеобщим, холодным *laissez faire*; быть принужденным медленно умирать в течение всей своей жизни и быть заключенным в глухую, мертвую, бесконечную справедливость, как в проклятом железном чреве Молоха! Это является и всегда останется невыносимым для всех людей, созданных Богом.

6. Нельзя бродить ни по какой большой дороге и даже по самой глухой тропинке современной жизни без того, чтобы не встретить чело-

века или какого-нибудь человеческого интереса, который потерял бы надежду на вечное и на истину и направил бы свою надежду на нечто временное, наполовину или совсем обманчивое. Достопочтенные члены парламента жалуются на то, что йоркширские суконщики фальсифицируют свой товар. Господи! Даже бумага, на которой я пишу, и та, кажется, отчасти изготовлена из хорошо полированной извести и затрудняет мое писание. Ведь это счастье, если можно теперь получить действительно хорошую бумагу — и вообще какую-нибудь хорошо выполненную работу, где бы ее ни искать, начиная с высочайших вершин фантазии и кончая самым низким заколдованным основанием.

Возьмем для примера огромную шляпу, вышиною в семь футов, которая разгуливает теперь по улицам Лондона и которую мой друг Зауэртейг\* справедливо считает одной из наших английских достопримечательностей. "Дал бы Бог, — говорил он, — чтобы это был кульминационный пункт, которого уже достигло английское шарлатанство и чтобы можно было от него вернуться обратно". Шляпочник на лондонской Стрэнд, — вместо того чтобы делать лучшие фетровые шляпы, — сажает громадную шляпу из папье-маше, в семь футов вышиною, на колеса, заставляет человека катать ее по городу и надеется *таким образом* найти свое благо. Он не пробовал *делать* лучших шляп, к чему, собственно, и был предназначен этим миром и что, вероятно, мог бы осуществить при своих способностях, но сосредоточивает все свое усердие на том, чтобы *убедить* нас, что он сделал такие шляпы! Он сам знает, что шарлатан стал богом. Не смейся над ним, читатель, только не смейся! Он перестал быть смешным; он скорее становится трагичным.

Вот в чем, собственно, заключается беда; это центр всеобщей социальной язвы, которая угрожает всему современному строю страшною смертью.

7. В человеческой общественной жизни циркулирует теперь не здоровая кровь, а как будто диаметрально противоположные ей купоросные чернила, — все стало острым и едким и угрожает распадом, и ужасная, шумная общественная жизнь стала нагальванизированной и как бы в самом деле объята дьяволом. Одним словом, маммона отнюдь не Бог, а дьявол, и притом весьма достойный презрения. Слушайте в точности дьявола, и вы можете быть уверены в том, что пойдете к черту — куда же вам еще идти?

8. Может быть, немного рассказов из истории или мифологии имеют больше значения, чем мусульманский рассказ о Моисее и соседних жителях Мертвого моря. Некоторое племя людей жило на берегах этого Асфальтового моря, и поскольку они, как и все мы склонны это делать, забыли внутреннюю сущность природы и привыкли лишь к обманчивой наружности лжи, то впали в печальное состояние. Тогда милостивому небу угодно было послать к ним пророка Моисея с поучительным словом предостережения, из которого они могли бы почерпнуть немало полезных правил. Но не тут-то было; люди у Мертвого моря не нашли ничего привлекательного в Моисее, что и следовало ожидать от рабского народа по отношению к герою или пророку. Поэтому они слушали его неохотно или с пошлыми насмешками и издевательствами; они даже зевали и давали понять, что считают его хвостуном и лишь скучным

болтуном. И так, люди с Асфальтового моря откровенно решили, что он, очевидно, шарлатан и во всяком случае, пустой болтун.

Моисей ушел, а природа и ее строгие истины все же остались. В следующий раз, когда он посетил жителей Мертвого моря, "все они превратились в обезьян". Они сидели на деревьях, скалили зубы самым естественным образом, болтали сухую ерунду, и вся вселенная представлялась им одним сплошным призраком. И действительно, вселенная стала призраком для обезьян, которые так смотрели на нее. Так сидят они и болтают поныне, и только каждую субботу в них как будто пробуждается смутное, полусознательное воспоминание и они с высохшими, почерневшими лицами и своими слабыми глазами глядят на дивные, смутные очертания предметов. Впечатления, которые производят на них эти явления, они по временам выражают лишь в форме неблагозвучных, резких звуков и мяуканья; это самый настоящий и трагический призрак, который может представиться уму человека или обезьяны! Они не делали никакого употребления из своих душ, и поэтому они потеряли их. Субботняя молитва их заключается лишь в том, что они сидят на деревьях, неприятно кричат и как бы стараются вспомнить, что у них когда-то были души.

Разве тебе, путник, не приходилось никогда сталкиваться с группами таких созданий? Насколько мне кажется, — они в наше время стали достаточно многочисленными\*.

9. Когда исчезли идеалы, истина и благородство, которые были в людях, и не осталось ничего, кроме одного только эгоизма и жадности, то жизнь становится бессмыслимой и самая древняя судьба, мать вселенной, беспощадно приговаривает их к смерти. Изредка лишь избирают они себе какую-нибудь легкую и удобную философию еды и питья и говорят во время жевания и пережевывания, которое они называют часами размышления: "Душа, радуйся; это очень *хорошо*, что ты стала душой дьявола", и очень часто, раньше чем они успеют очнуться, начинается их предсмертная агония.

10. А все же жаль, что наши души пропадают. Мы, конечно, должны будем их снова отыскать, иначе нам во всех отношениях станет хуже. Известная степень души необходима, чтобы предохранить тело от самого страшного разрушения, чтобы избавить себя от расхода на соль. Известны случаи, когда у людей было достаточно души для того, чтобы охранить тело и все пять чувств от порчи, и для того, чтобы не иметь расхода на соль; были такие люди и даже народы.

11. И так, требуют *доказательства* существования Бога? Бог, которого можно *доказать*! Самое маленькое из конечных существ старается доказать существование наивысшего бесконечного, иными словами, если посмотреть на это правильно, оно составляет некий рисунок и пытается втиснуть его в себя — это наивысшее бесконечное, в *котором* оно *живет*, движется и является тем, что оно есть!

12. Ты не хочешь иметь никакой тайны и никакого мистицизма; ты хочешь бродить по миру при солнечном освещении того, что ты называешь правдой, или при помощи фонаря, того, что я называю адвокатской логикой; ты все хочешь "объяснить" себе, "отдавать себе во всем отчет" или ни во что не верить? Да, ты даже хочешь пробовать смеяться?



Каждый, кто признает всепроникающую область тайны, которая находится всюду под нашими ногами и между наших рук, — для кого вселенная представляется оракулом и храмом, так же как кухней и хлевом, — будет в твоих глазах сумасшедшим мистиком; с насмешливым участием предлагаешь ты ему свой фонарь, и обижаешься и кричишь как ужаленный, если он оттолкнет его ногой. — Бедный дьявол! Разве сам ты не родился и не умрешь? "Объясни" все это или сделай одно из двух: отойди в сторону со своей дурацкой болтовней или, что еще лучше, брось ее и плачь, — не потому что прошло господство удивления и Божий свет сбросил с себя красоту и стал прозаичным, а оттого, что ты до сих пор был дилетантом и близоруким педантом.

13. Методизм\*, постоянно сосредоточивающий взгляд на собственном своем пупе, все время спрашивает себя с мучительной боязнью надежды и страха: "На правильном ли я пути? Виновен я или нет? Стану ли я праведником или буду обречен на вечные муки?" Что это, в сущности, как не простертый в бесконечность вид эгоизма, который при всей своей бесконечности тем не менее не является блаженным. Брат, по возможности скорей, постарайся стать выше всего. "Ты на неправильном пути; ты, вероятно, попадешь в ад". Смотри на это как на действительность, привыкни к этой мысли, если ты человек. Тогда только всепоглощающая вселенная будет тобою побеждена и из мрака полночи, из суety алчного Ахерона, выплывет рассвет вечного утра и осветит твою крутую тропу высоко, выше всех надежд и всей боязни, и пробудит в твоём сердце небесную музыку Мемнона\*.

14. Увы, самый бесполезный из всех смертных — это сентиментальный человек. Даже допуская, что он искренен и не обманывал нас постоянно, — что же в нем хорошего? Не служит ли он нам вечным уроком сомнения и образчиком болезненного бессилия? Его добродетель преимущественно такая, которая каждой фиброй познает самое себя. Она совершенно больна; ей кажется, что она из стекла, что ее нельзя тронуть; она сама не решается позволить кому-нибудь тронуть себя. Она ничего не может делать, и может, в крайнем случае, при самом тщательном уходе лишь остаться в живых.

15. Самонаблюдение — несомненный признак болезни, независимо от того, является ли оно предвестником выздоровления или нет. Нездорова та добродетель, которая изводит себя раскаянием и страхом или, что еще хуже, тщетно и хвастливо надувается. В обоих случаях в основании лежит самолюбие или бесполезное оглядывание назад для измерения пройденного расстояния, — между тем единственная наша задача — безостановочно продвигаться вперед и идти дальше.

Если в какой-нибудь сфере человеческой жизни уместны целостность и бессознательность, то это во внутренней и самой интимной жизни его, — в жизни нравственной, так как они служат доказательством ее. Свободная, разумная воля, которая живет в нас и в наших Святах святых, может на деле быть свободной и искать повинования, как Божество; это составляет ее право и стремление. Полное повинование всегда будет немым.

16. Человек ниспослан сюда не для сомнения, а для работы. Цель человека — так уже давно написано — проявляется в поступках, а не

в мыслях. В состоянии совершенства все мышление было лишь образом и вдохновляющим символом деятельности, а философия существовала в форме поэзии и религии. И тем не менее как может она оставаться в этом несовершенном состоянии, как можно обойтись без нее? Человек также постоянно находится в центре природы; время его окружено вечностью, — пространство его окружено бесконечностью. Как он может воздержаться, чтобы не спросить себя. "Кто я? Откуда я пришел? Куда я когда-нибудь пойду?" Какой иной ответ может он получить на эти вопросы, кроме поверхностных, частичных указаний и дружеских уверений и успокоений, в виде тех, какие мы, бывало, слышали от матери, когда она пробовала успокоить своего любопытного, невинного ребенка?

Сообразно с этим, болезнь метафизики продолжительна. Во все века должны опять возникать, в новых формах, эти вопросы о смерти и бессмертии, о происхождении зла, свободы и необходимости, и постоянно, время от времени, — будет повторяться попытка построить теорему вселенной. Но она, к сожалению, останется всегда безуспешной, ибо какую теорему бесконечности могло бы создать конечное существо в достаточной и совершенной форме?

17. Тебе не нужно никакой "новой религии", и ты, по всей вероятности, ее не получишь. У тебя и то больше "религии", чем ты используешь. Сегодня, взамен *одной* обязанности, которую ты *исполняешь*, тебе известны *десять* обязанностей, которые тебе приказано помнить, ты видишь в своем уме десять правил, которым *нужно* подчиняться! *Исполни* хоть одно из них; оно само укажет тебе еще десять других, которые должны и могли бы исполняться. "А моя будущая судьба?" Ах, вот как, твоя будущая судьба! Твоя будущая судьба кажется мне, — в то время как это для тебя составляет главный вопрос, — весьма загадочной! Я не думаю, чтобы она могла быть хороша. Разве не учил нас норвежец Один, — с незапамятных времен, еще на рассвете веков, хотя он был лишь бедным язычником, — тому, что для труса не может быть и не бывает счастливой судьбы, что для него нет нигде пристани, за исключением преисподней у Хели, во мраке ночи. Но трусы и мальчишки — те, кто жаждал удовольствия и дрожал перед болью. Для сего мира и для иного трусы составляют класс людей, созданных для того, чтобы быть "изолированными". Они ни на что больше не годны и не могут ожидать другой участи. Тут был больший, нежели Один. Больший, нежели Один, учил нас, — не большей трусости, надеюсь. Брат, ты должен молить о *душе*; ты должен бороться энергично, — не на жизнь, а на смерть, — за то, чтобы снова вернуть себе душу! Знай, что "религия" не пилюля снаружи, а новое пробуждение твоего собственного "я" изнутри — и прежде всего оставь меня в покое с твоими "новыми религиями" здесь или где бы то ни было в другом месте.

18. Очень правильную теорию проповедует нам мудрец, а именно: "Сомнения какого бы то ни было рода нельзя удалить иначе как поступком". На этом основании советую человеку, который с трудом пробирается в темноте или при плохом освещении и внутренне молится о скорейшем наступлении дня, строго придерживаться другого, неопценного дорогого для меня правила: "*Исполни долг, который тебе ближе*

всего, о котором ты знаешь, что это обязанность. Вторая обязанность покажется тебе тогда уже гораздо более ясной”.

19. Обрат, мы должны по возможности пробудить в себе душу и совесть, мы должны променять дилетантизм на честные стремления, а свои мертвые, каменные сердца — на живые сердца из плоти. Тогда мы познаем не одну только вещь, а бесконечный ряд вещей, в более или менее ясной очереди, которые смогут быть сделаны. *Исполни первую из них, — попробуй, — и вторая покажется тебе яснее и более удобоисполнимою; вторая, третья и трехтысячная сделается тогда возможной для нас.*

20. Набожности по отношению к Богу, благородству мысли, которая вдохновляет человеческую душу и заставляет ее стремиться к небу, нельзя “научить” ни самыми избранными катехизисами, ни самой усердной проповедью или муштровкой. Ах, нет! совершенно иными методами это священное влияние может переходить от одной души к другой: особенно благодаря спокойному, постоянному примеру, спокойному выжиданию благоприятного настроения и надлежащего момента, к которому должно присоединиться своего рода чудо, которое правильнее назвать “Божьим милосердием”. Но не красноречивее и не убедительнее ли целых библиотек ортодоксальной теологии бывает иногда “молчаливое деяние”, бессознательный взгляд отца или матери, которые обладали “набожным благородством мысли”?

Действительно, надо удивляться тому количеству разнородных остальных идей, которых и сейчас придерживается, хотя бы в ущерб себе, бедный человеческий и детский ум. Массами стучатся они с шумом к ним, как будто бы это были вполне живые идеи.

21. Прежде всего, невозможно достаточно быстро согнать со света тот “усталый, возможный деизм”, составляющий теперь нашу обыкновенную английскую веру. Какова, собственно, сущность человека, теоретически защищающего, с судорожной горячностью, Бога, — может быть, лишь неоспоримый символ и культ Бога, в остальном же, в мыслях, в словах и поступках, видно, что он живет, как будто его теория была только вежливой формой речи, а теоретический Бог его лишь отдаленный кумир, с которым он решительно ничего общего не имеет.

Глупец! *Вечное* не есть ограниченный образ в известном пространстве; Бог не только там, но и здесь, или нигде, — в твоем жизненном дыхании, в твоих помыслах и поступках, — и умно было бы с твоей стороны, если бы ты это запомнил. Если нет Бога, как считал глупец в своем сердце, то продолжай жить с чувством внешней порядочности и с похвалой лишь на словах, с внутренней жадностью и фальшью и со всей пустой, хитро придуманной неосновательностью, которая связывает тебя с маммоной сего мира; но повторяем мы, если Бог *есть*, то берегись! И все же, как в том, так и в другом случае, — что ты? Атеист бродит по ложному пути, и тем не менее в нем есть доля истины. Это правда, в сравнении с тобой, потому что ты, несчастный смертный, живешь в одной сплошной лжи и сам *представляешь собою* олицетворенную ложь.

22. Представь себе человека, который советует своим собратьям верить в Бога для того, чтобы чартизм попал в арьергард и чтобы

рабочие в Манчестере могли спокойно остаться за своими станками. Трудно себе представить более дикую идею! Друг мой, если тебе когда-нибудь удастся уверовать в Бога, то ты убедишься в том, что весь чартизм, манчестерские бесчинства, парламентская некомпетентность, ветреные министерства, самые дикие социальные вопросы и сожжение всей этой планеты — ничто в сравнении с этим.

23. С человеком, который, будучи честен по отношению к самому себе, приступает к делу и всю душу вкладывает как в разговор, так и в поступки, — всегда можно что-нибудь сделать. Сам сатана был, по Данте, предметом достойным похвал по сравнению с теми ангелами *juste milieu\**, которыми избилует наше время, которые не были ни мятежными, ни верными и только думали о своем собственном маленьком я — представители умеренности и аккуратности, которые были приговорены к ужасным мучениям в Дантовом аду и лишены были надежды умереть (*non han speranza di morte*), а должны были застыть без смерти и без жизни, в грязи, мучимые мухами, спать беспрестанно и терпеть, — "Бога ненавидят так же, как врага Божьего".

24. Собственно говоря, ничто не может внушать такого презрения и нет ничего более достойного отвращения и забвения, чем полумошенник, который не правдив и не лжив, который никогда в жизни не сказал правды и не совершил честного поступка — ведь дух его живет в сумерках с кошачьими глазами, которые не в состоянии узнать правду, — и у которого, само собой разумеется, не хватает мужества совершить или сказать полную ложь, вследствие чего вся жизнь его проходит в склеивании правды с неправдой с целью создать из этого нечто правдоподобное.

25. Несомненно, что наступит день, когда снова узнают, какая сила лежит в чистоте и воздержании жизни, как божествен стыдливый румянец на щеках молодых, как высока и целебна это обязанность, возложенная не только на одних женщин, а на все создания вообще. Если бы такой день никогда не настал, тогда я полагаю, что и многое другое никогда не вернется. Великодушие и глубокомыслие никогда не вернуться; героическая чистота сердца и глаз, благородная, благочестивая храбрость, окружающая нас, — и образцовый век, как могут они когда-либо вернуться?

26. Но, во всяком случае, ясно, что не школа, пройденная в служении дьяволу, а только наше решение бросить эту службу направляет нас к правильным, мужественным поступкам. Мы становимся людьми не тогда, когда отступили, разочарованные в погоне за ложными удовольствиями, а после того, как мы почему-либо поняли, какие непреодолимые препятствия окружали нас в течение всей жизни, как безрассудно нашей "смертной" душе ожидать удовлетворения от подарков этого бесконечно суетного мира, поняли, что человек не должен довольствоваться самим собою и что для страдания и терпения нет иногда средства, кроме стремления и поступков. Мужественность начинается, когда мы, каким бы то ни было образом, заключаем перемирие с необходимостью; она даже начинается, когда мы, как это делает большинство, покоряемся необходимости; но весело и полна надежд начинается она лишь тогда, когда мы примиримся с необходимостью; тогда мы действительно торествуем и чувствуем, что стали свободными.

27. К чему эта смертельная спешка заработать деньги? Я не попаду в ад, даже если я не заработаю денег. Мне говорили, что есть еще другой ад.

28. Читатель, — даже читатель христианин, как ты себя называешь, — имеешь ли ты представление о рае и об аде? Я думаю, что нет. Хотя слова эти часто у нас на языке, они тем не менее представляют для большинства из нас нечто сказочное или полусказочное, точно преходящий образ или малозначающий звук.

И тем не менее следует раз навсегда знать, что это не образ, не мысль, не полусказка, а вечная, высшая действительность. "Никакое море из сицилианской или иной серы уже нигде не горит в наше время", — говоришь ты? Ну так что же, что не горит, — верь или не верь этому, как хочешь, и твердо придержишься этого, как настоящей выгоды, как способа подняться в высшие стадии, к дальним горизонтам и странам. Исчезло ли все это или нет, — думай как хочешь. Но ты не должен верить, что исчезло или может исчезнуть из человеческой жизни *бесконечное*, имеющее практическое значение, выражаясь строго арифметически! О брат! разве не было момента, когда бесконечное страха, надежды, сострадания ежеминутно обнаруживалось перед тобой, несомненным и незаванным. Не явилось ли оно тебе никогда как сияние *сверхъестественного*, вечного Океана, как голос глубокой вечности, звучащей где-то до самой глубины твоего сердца? Никогда? В таком случае, к сожалению, причина не в твоём либерализме, а в твоём анимализме. Бесконечное вернее, нежели какая-либо другая действительность. Однако только *люди* могут это различить; бобры, пауки и хищные животные из породы коршунов и лисиц не различают этого! —

Слово "ад" еще очень употребительно в английском народе, но мне трудно определить, что оно должно означать. Обыкновенно ад обозначает бесконечный страх, то, чего страшно боятся и перед чем дрожит человек, который он старается избежать всеми силами своей души. Поэтому есть ад, если как следует об этом подумать, который сопровождает человека по всем ступеням его истории и религиозного или иного развития, но ад весьма различен у разных людей и народов.

У христиан существует бесконечный страх перед тем, что справедливый Судья может найти их виновными. У древних римлян был, как я себе это представляю, страх не перед Плутоном, который их, вероятно, очень мало пугал, а страх перед недостойными, недобродетельными или что в основном означало у них — *неумужественными* поступками. А теперь, если проникнуть сквозь ханжество и посмотреть на суть вещей, чего же современная душа бесконечно боится на деле и поистине? На что смотрит она с полнейшим отчаянием? Что составляет ее ад? Не торопясь и с удивлением выговариваю я это: Ее ад — это страх перед недостатком успеха; боясь, что не удастся приобрести денег, славы или иных земных благ, особенно же денег. Разве это не своеобразный ад?

Да, он *очень* своеобразен. Если у нас нет "успеха", на что мы нужны? Тогда было бы лучше, если бы мы вовсе и не появлялись на свет Божий...

В действительности же этот ад принадлежит, конечно, евангелию маммонизма, который имеет и соответствующий рай. Ведь, в сущности, действительность представляется в виде различных призраков; на *одну*

вещь мы смотрим вполне серьезно, а именно на наживание денег. Трудящийся маммонизм делит мир с праздным дилетантизмом, который со свойственным ему аристократизмом пользуется своими правами свободной охоты; слава Богу, что есть хоть маммонизм или что-либо иное, к чему мы относимся серьезно. Лень, — самое скверное, — только одна лень живет без надежды; работай серьезно над чем бы то ни было, и ты постепенно привыкнешь ко всякому труду. В работе лежит бесконечная надежда, даже если эта работа делается ради наживания денег.

Действительно, надо сознаться, что в настоящее время с нашим евангелием маммонизма мы пришли к странному выводу. Мы называем это обществом и вместе с тем открыто признаемся в совершеннейшей разобщенности и изолированности. Наша жизнь не взаимная помощь, а скорее, под прикрытием военных законов, которые называются "свободной конкуренцией" и т. д., — взаимная вражда. Мы совершенно и повсеместно забыли, что "наличный расчет" не составляет единственной связи между человеческими существами, и мы твердо уверены в том, что все обязательства человека *этим* исчерпываются. "Мои голодающие рабочие? — отвечает богатый фабрикант. — Разве я их не честно нанимал на рынке? Разве я не уплатил им всей условленной суммы до последней копейки? Что же мне еще с ними делать?"

Правда, поклонение маммоне очень скучная религия. Когда Каин для собственной выгоды убил Авеля и его спросили: "Где брат твой?" — он также ответил: "Разве я сторож брату моему? Разве я не уплатил брату своему того, что он от меня заслужил?"

О, любящий роскошь богатый купец, сиятельный, занимающийся охотой герцог, разве нет другого средства для уничтожения твоего брата, кроме грубого способа Каина? "Хороший человек уже обещает кое-что своею наружностью, своим присутствием в качестве спутника в жизненном странствии". Беда ему, если он забудет все такие обещания, если он никогда не поймет, что они были даны. Для омертвевшей души, которая преисполнена лишь немим идолопоклонством чувств, для которой ад и недостаток в деньгах имеют одинаковое значение, все обещания и нравственные обязанности, неисполнение коих не подлежит судебному преследованию, как бы не существуют. Ей можно приказать уплатить деньги, — но больше ничего. Во всей прошлой истории я не слышал о таком обществе где бы то ни было на Божьем свете, которое основывалось бы на такой философии; и, надеюсь, во всей будущей истории не найти ничего подобного. Не так создана вселенная; она создана иначе. Человек или нация людей, думающих, что они так созданы, простосердечно продвигаются дальше, шаг за шагом, но мы знаем, конечно, куда. В последние два века атеистического правления — теперь почти двести лет прошло с благословенного водворения священной особы его величества и защитника веры Карла II — мы, по моему мнению, в достаточной мере исчерпали ту прочную почву, по которой могли еще ходить, а теперь мы стоим на краю пропасти в страхе и опьянении и надеясь отступить назад!

Дело в том, что из того, что мы называем атеизмом, вытекает еще такая масса других "измов" и ошибок, каждого из коих преследует соответствующее несчастье! — Душа не ветер, заключенный в капсулу.

Всемогущий Создатель не часовщик, который когда-то, в доисторические времена, сделал часы из вселенной и сидит с тех пор перед ними и следит, что с ними творится! Вовсе нет. Отсюда происходит атеизм, отсюда являются, как мы говорим, многие другие "измы", и итогом всего является рабство, *противоположность* героизму, печальный корень всех страданий, какими бы именами они ни назывались. И действительно, точно так же как ни один человек никогда не видел вышеупомянутого ветра, заключенного в капсулу, и считает это, строго говоря, более ложным, нежели понятным, — он одинаково находит, что всемогущий часовщик представляет собой весьма сомнительный предмет и в соответствии с этим отрицает его и вместе с ним еще многое другое. К сожалению, неизвестно, что именно и сколько другого! Ведь вера в невидимое, безымянное и божественное, присутствующее во всем, что мы видим, делаем и переживаем, составляет сущность всякой веры, как бы она ни называлась, и, если еще это отрицать или, что еще хуже, признавать это только на словах или в переплетенных молитвенниках, что же вообще останется тогда достойное веры?

Один из фактов, приведенных доктором Элисоном в сочинении его о призрении бедных в Шотландии, произвел на нас глубокое впечатление. Бедная ирландская вдова, муж которой умер на одной из маленьких улиц Эдинбурга, лишенная всяких средств к существованию, покинула свою квартиру с тремя детьми, для того чтобы просить помощи в благотворительных учреждениях этого города. Ее стали направлять из одного учреждения в другое, ни в одном из них ей не пришли на помощь, пока наконец силы окончательно не оставили ее. Она заболела тифом, умерла и заразила всю улицу, на которой жила, своей болезнью, так что еще семнадцать человек умерло от тифа. Человеколюбивый врач спрашивает по этому поводу, как будто сердце его слишком переполнено для того, чтобы как следует высказаться: "Не следовало ли бы помочь этой бедной вдове, хотя бы ввиду экономии?" Она заболела тифом и убила семнадцать человек из вас! — Очень странно! Покинутая ирландская вдова обращается к своим братьям, как бы говоря: "Смотрите, я ваюсь с ног из-за отсутствия помощи; вы должны помочь мне! Я ваша сестра, кость от костей ваших, нас сотворил *один* Господь; вы должны помочь мне!" Они отвечали: "Нет, это невозможно; ты нам не сестра". Но она доказывает свое родство: ее тиф убивает тех. Они действительно были ей братья, хотя и отрицали это! Нужно ли было когда-либо человеческому существу искать еще более глубокие доказательства?

В этом случае, как и в других, оказалось вполне естественным, что управление бедных богатыми предоставлено уже давно теории спроса и предложения, *laissez faire* и т. д., и везде считается "невозможным". "Ты не сестра нам: где была бы хоть тень доказательства этому? Вот наши пергаменты, наши замки, которые неоспоримо доказывают, что наши денежные ящики действительно *наши* и что они тебя совершенно не касаются. Иди своей дорогой! Это невозможно!" — "Но, что же нам, собственно, делать?" — слышу я возглас многих рассерженных читателей. Ничего, друзья мои, до тех пор, пока вы себе снова не приобретете душу. До тех пор все будет "невозможным". До тех пор я даже не могу предложить вам купить на два пенса пороха и свинца, как бы сделали

древние спартанцы, чтобы убить эту бедную ирландскую вдову без рассуждения. Ей ничего больше не оставалось, как умереть, заразить вас своим тифом и доказать этим свое родство с вами. Семнадцать из вас, лежащих мертвыми, уж не будут отрицать, что она была плотью от плоти вашей, и, может быть, кое-кто из живых также примет это к сердцу.

”Невозможно”. Об одном пернатом, двуногом животном говорят, что если вокруг него отчетливо обвести кольцо мелом, то оно сидит заключенным, как бы окруженным железным кольцом судьбы и умирает, хотя уже и видит пищу, или дает себя откормить до смерти. Имя этого бедного двуногого существа — гусь, и когда он хорошо откормлен, то из него делают паштет, который многими очень ценится\*.

29. Какие мы дураки! К чему мы израниваем себе колени и ударяем себя озабоченно в грудь и молимся день и ночь маммоне, которая, даже, если уже и согласилась бы услышать нас, не может нам, однако, ничего дать. Если даже допустить, что глухой бог услышал бы нашу мольбу, что он превратил бы нашу медь в массивное золото и всех нас, голодных обезьян богатства и важности, превратил бы завтра в настоящих Ротшильдов и Говардов, что бы мы от этого еще имели? Разве мы и так не граждане этой чудной вселенной с ее млечными путями и вечностями и с ее невыразимым блеском, что мы так мучаемся, и трудимся, и рвем друг друга на куски, чтобы как-то выиграть еще клочок земли, а чаще еще лишь призрак его, в то время как самого большого из этих владений не видать уже и с луны.

Как мы глупы, что копаемся и возимся, подобно дождевым червям, в этих наших владениях, даже если у нас таковые имеются, и издали наблюдаем небесные светила и радуемся им, зная о них только по непроверенным и недостоверным легендам! Должны ли те фунты стерлингов, которые у нас, может быть, хранятся в Английском банке, — или фантомы этих фунтов, владение коими мы себе воображаем, скрыть от нас сокровища, для которых все мы в этом ”Божьем граде” родились?

30. Как многое у нас могло бы сравниться с окрашенным гробом — снаружи одно великолепие и крепость, а внутри полно ужаса отчаяния и мертвых костей! Железные военные дороги соединяют между собою своими огненными колесницами все концы суши, набережные и молы с их несметными флотами, подчиняют океан и делают его нашим покорным носильщиком; работа неумоимо двигает миллионом рук из мускулов или железа, начиная с горных вершин и кончая глубиною шахт и морскими гротами, и ставя все на службы людям, и тем не менее это человеку ничем не помогает. Он завоевал эту планету, свое местопребывание и свое наследство и не имеет от этой победы никакой пользы.

Печальная картина! На высочайшей ступени цивилизации девять десятых человечества должно вести самую низкую борьбу дикого или даже животного человека, борьбу с голодом! Страны богаты, и рост и процветание их достигают еще никогда небывалой высоты; но люди этих стран бедны — беднее, чем когда-либо, всеми внешними и внутренними средствами к существованию, верой, знанием, деньгами, хлебом.

31. Эта преуспевающая промышленность с ее полнокровным богатством еще никого не обогатила. Это заколдованное богатство, и оно до



сих пор еще никому не принадлежит. Мы спросили бы: кого из нас оно обогатило? Мы можем потратить тысячи там, где в былое время тратили сотни, но мы не можем на них купить ничего хорошего. У богатого и бедного мы видим, вместо благородного трудолюбия и избытка, лишь ленивую, пустую роскошь наряду с низкой нуждой и недостатком. У нас великолепные рамки для жизни, но мы забыли *жить* в них. Это заколдованное богатство, и никто из нас не мог до сих пор дотронуться до него. Если есть люди, которые чувствуют, что они действительно этим приобрели благополучие, пусть назовут себя!

Многие люди едят более тонкие блюда и пьют более дорогие вина. С какою пользою, об этом могут сказать нам они и их врачи. Но в каком отношении, не говоря о диспепсии их желудка, улучшилось их существование? Стали они лучше, красивее, сильнее, честнее? Стали ли они даже, как они называют, "счастливее"? Смотрят ли они с удовольствием на большее количество вещей и на человеческие лица в Божьем мире? Смотрят ли на них с удовольствием больше вещей и человеческих лиц? Конечно нет. Человеческие лица смотрят друг на друга грустно и недоверчиво. Вещи, кроме тех, которые состоят из хлопка и железа, не подчиняются человеку. На хозяине лежит теперь такое же проклятие, как и на его работнике.

32. Следует обратить внимание еще и на нечто другое, что часто приходится слышать современному человеку: общество "существует для защиты собственности". Еще прибавляют, что и у бедного человека есть имущество, а именно его "работа" и тот шиллинг или те три шиллинга, которые он ежедневно на ней зарабатывает. Довольно верно, друзья мои, что "для защиты собственности", очень верно: если вы только желали вполне подтвердить восьмую заповедь, то все "права человека" были бы обеспечены. "*Ты не должен красть, тебя не должны обкрадывать*": какое это было бы общество! Республика Платона и утопия Мора только бледные его изображения. Дай каждому человеку точную цену того, что он сделал и кем был; тогда никто не будет больше жаловаться и страдание будет удалено со света. Для защиты собственности, действительно только для этого!

Что же, собственно, твое имущество? Эти грамоты, этот денежный кошелек, который ты носишь в кармане? Это ли составляет твою ценную собственность? Несчастный брат, ты беднейший, несостоятельный брат; у меня совсем нет одежды; кошелек мой тощ и легок, — и тем не менее у меня совсем другое богатство. Во мне есть чудное, живое дыхание, которое вдохнул в меня всемогущий Бог. Во мне есть чувства, мысли, Богом данная *способность* быть и действовать, и поэтому у меня есть права, например право на твою любовь, если я тебя люблю, на твое руководство, если я слушаюсь тебя: самые необыкновенные права, о которых еще иногда говорят с кафедры, хотя и в почти непонятной форме, которые простираются в бесконечность, в вечность! Шиллинг в день, три шиллинга в день, тысячу шиллингов в день — это ты называешь моею собственностью? Я мало ценю ее; ничтожно все, что я могу на это приобрести. Как уже было сказано, что же в этом заключено? В рваных ли сапогах, или в легких рессорных экипажах, запряженных четверкой лошадей, — все равно человек одинаково доходит до конца путешествия.

вия. Сократ ходил босиком или в деревянных туфлях, а тем не менее прибыл благополучно. Его не спросили ни о туфлях его, ни о доходе, а только о его работе. — Собственность, брат мой? Даже само тело мое и то принадлежит мне лишь на время жизни. А мой тощий кошелек, это "ничто" и это "ничего", был рабом у карманных воров, ростовщиков и маклеров: он принадлежал им, он мой, а теперь твой, если ты захочешь украсть его. Но душа, которую Бог в меня вдохнул, — мое я и его силы принадлежат мне, и я не позволю их украсть. Я называю их моими, а не твоими; я хочу сохранить их и действовать с их помощью, насколько возможно: Бог их дал мне, и черт их у меня не отнимет. О друзья мои! Общество существует для очень многих целей, которые не так легко перечислить.

Верно то, что общество ни в какое время не препятствовало человеку стать тем, чем он может стать. Черный как смоль негр может стать Туссенем-Лувертюром\*, убийцей, трехпалым человеком, что бы ни говорила об этом желтая Западная Индия. Шотландский поэт, "гордящийся своим именем и своею страной", может ревностно обратиться к "господам календонской охоты" или стать измерителем пивных бочек или же трагичным, бессмертным певцом с разбитым сердцем; смягченное эхо его мелодии слышно в течение многих столетий и звучит в святом "Miserere", которое во все века и из всех стран подымалось к небу. Ты, несомненно, не помешаешь мне стать тем, чем я *могу* стать. Даже по поводу того, чем я мог бы стать, я предъявляю тебе удивительные требования, — кажется, неудобно теперь сводить счеты. Защита собственности? Какие приемы усвоило бедное общество, которое хочет еще оправдать свое существование в такое время, когда только денежные дела связывают людей? Мы вообще не советуем обществу говорить о том, для чего оно существует, а употребить все усилия на то, чтобы существовать, стараться удержаться в жизни. Это самое лучшее, что оно может сделать. Оно может положиться на то, что, если бы оно только существовало для защиты собственности, оно тотчас потеряло бы способность к этому.

33. Первый плод богатства, особенно для человека, рожденного в богатстве, — это внушить ему веру в него и при этом скрыть от него, что есть еще и другая вера. Таким образом, он воспитывается в жалкой видимости того, что называется честью и приличием.

34. Я тоже знаю маммону, английские банки, кредитные системы, возможность международного труда и сообщения и нахожу их достойными сочувствия и удивления. Маммона, как огонь, — самый полезный из всех слуг, но и самый ужасный из всех повелителей. Клиффорды, Фиц-Адельмы\* и борцы рыцарства "желали одержать победу" — это не подлежит сомнению. Но победа, — если она не достигалась в известном духе, — не была победой, и поражение, перенесенное в известном духе, в сущности, было победой. Я повторяю, если бы они только считали скальпы, то остались бы дикарями, и не могло бы никогда быть речи о рыцарстве или о продолжительной победе. А разве нельзя найти благородства мысли в промышленных борцах и вождах? Разве для них одних, среди людей, никогда не будет никакого другого блаженства, кроме наполненных касс? Видеть вокруг себя красоту, порядок, благо-

дарности, преданные человеческие сердца и не усматривать в этом никакого значения; неужели лучше видеть в обществе искалеченность, возмущение, ненависть и отчаяние от полмиллиона гиней? Разве проклятие ада и полмиллиона кусочков металла могут заменить благословение Божье? Разве нет никакой пользы в разрастании благодати Божьей, и она только в денежной наживе? Если это так, то я предвещаю, что фабрикант и миллионер должен быть готов к тому, чтобы исчезнуть; что и он не рожден быть одним из властелинов сего мира; что и его нужно каким-нибудь способом низвергнуть, связать и поставить наряду с прирожденными рабами сего мира! Нам не нужны дикари, которые не могут постепенно превращаться в благородных рыцарей. Наша благородная планета не хочет ничего знать о них и в конце концов не терпит их более!

Неутомимое в своем милосердии небо ниспосылает в этот мир еще другие души, для которых, равно как и для их предшественников в древнеримские, древнееврейские и в иные благородные времена, всеильная гиней, по существу, оказывается бессильной гинеей... И таких душ не одна, а много; они существуют и будут существовать, если только боги не осудили этот мир на скорую, ужасную гибель. Все они избранники мира, прирожденные борцы, сильные мужи и Самсоны — освободители этого бедного мира, так что бедному миру — Далиле не всегда удастся лишать их силы и зрения и заставляя в полной тьме вертеть жалкий мельничный жернов! В наши дни такие души не будут в ладу с миром. Даже Байрон в конечном счете был доведен до сумасшествия и решительно отказывался подчиниться миру. Мир с его несправедливостями, основанными на золоте жестокостями и надоедливыми желтыми гинейями вызывает отвращение у таких душ\*.

35. Деньги есть нечто чудодейственное. Какие удивительные преимущества предоставили и еще предоставят они нам, но вместе с тем какую невообразимую путаницу и темноту внесли они в наши представления вплоть до полного исчезновения нравственных чувств у больших масс людей. "Защита собственности", того, что является "моим", для большинства людей означает защиту денег — вещи, которая, даже если бы я мог держать ее под тысячу замками, меньше всего *моя* и в известной степени едва ли заслуживает того, чтобы я назвал ее своей! Символ считается священным и защищается с помощью розг, веревок и виселиц, а собственно предмет, который он обозначает, просто-напросто отдается на поругание\*.

36. "Люди перестают ценить деньги? В таком случае, к чему же иному все они стремятся? Даже епископ поведал мне, что христианство перестанет существовать, если он не будет иметь в кармане по меньшей мере четыре с половиной тысячи фунтов в год. Люди перестают уважать деньги? Это случится не раньше чем в день Страшного суда пополудни!" О нет, мое мнение несколько иное. Мне представляется, что Высшие Силы еще не вынесли решения уничтожить этот наш мир. Достойное уважения, все увеличивающееся меньшинство, которое действительно стремится к чему-то высшему, чем деньги, — я с надеждой ожидаю его. Оно будет все возрастать до тех пор, пока, подобно соли земли, не проникнет во все части мира. Христианство, которое не может существовать без минимума в четыреста с половиной тысячи фунтов, уступит

место лучшему, не имеющему надобности в этой сумме. Ты не хочешь присоединиться к нашему небольшому меньшинству? Не ранее как в день Страшного суда пополудни? Хорошо; тогда, по крайней мере, ты присоедишься к нему, ты и большинство в массе своей!

Приятно видеть, как грубое владычество маммоны везде становится шатким и дает верное обещание умереть или измениться\*.

37. Конечно, было бы безумной фантазией ожидать, что какая бы то ни была проповедь с моей стороны может уничтожить маммонизм, что меньше стану любить гиней и больше свою бедную душу, сколько бы я ни проповедовал! Есть, однако, *один* проповедник, который делает это с успехом и постепенно убеждает всех людей. Имя его — судьба, божественное Провидение, а проповедь его — непреклонный ход вещей. Опыт, несомненно, берет большую плату за учение, но и учит он лучше всех учителей.

38. Человеку *работающему*, старающемуся хотя бы и самым грубым образом продвинуть какое-нибудь дело, ты поспешишь навстречу с помощью и одобрением и скажешь ему: "Добро пожаловать; ты наш; мы будем о тебе заботиться". Лентяю же, наоборот, если он даже самым грациозным образом будет лентяйничать и если он подойдет к тебе с целой массой свидетельств, ты не пойдешь навстречу. Ты будешь спокойно сидеть и даже не пожелаешь встать. Ты ему скажешь: "Я тебя не приветствую, о сложная аномалия, лучше бы ты не приходил сюда, потому что кто из смертных знает, что с тобой делать? Твои свидетельства, конечно, стары, достойны почтения и желты; мы чтим пергаменты, старые установления и достойные уважения обычаи и происхождение. Действительно, твои пергаменты стары и, однако, — рассмотренные при свете, если ты обратишь на это внимание, — они новы, если сравнить их с гранитными скалами и со всей вселенной! Советуем тебе уложить свои пергаменты, уйти домой и зря не шуметь.

Наше сердечное желание — помочь тебе; но пока ты представляешь собою лишь несчастную аномалию и у тебя нет ничего, кроме желтых пергаментов, шумной, пустой суеты, ягдташа и лисьих хвостов, — до тех пор никакой Бог и ни один человек не может отвратить от тебя угрожающей опасности. Слушайся советов и присматривайся, не найдется ли на Божьем свете для тебя другого занятия, кроме грациозного лентяйничанья, не лежат ли на тебе какие-нибудь обязанности? Спроси, ищи серьезно и со страстной настойчивостью, так как ответ для тебя означает: быть или не быть. Мы обращаем свое внимание на то, что старо как мир и что теперь снова раскрывается со всей суровостью: тот, кто не может работать в этом мире, не может продолжать существовать в нем"\*.

39. Маммонизм захватил по крайней мере одну часть того поручения, которое природа дала человеку, и после того, как он ее захватил и исполняет, поручения природы все более и более захватят человека и приноруют его к себе. Лень, однако, *совершенно* не признает природы. Делать деньги, в сущности, значит *работать* для того, чтобы получать деньги. Но что это значит, когда в аристократической части Лондона лентяйничают?

40. Кто ты, что позволяешь себе хвастаться своей праздной жизнью и самодовольно выставляешь напоказ блестящие, раззолоченные экипа-

жи с мягкими подушками, где сидишь, сложа руки, словно собираясь уснуть? Взгляни наверх, вниз, вокруг, впереди и позади себя, не увидишь ли ты где-нибудь хоть единого *праздного* героя, святого, Бога или хотя бы черта? Ничего этого ты не увидишь! На небе, на земле, в воде и под землей нет похожего на тебя. Ты единственный в своем роде из всех творений и принадлежишь ты нынешнему странному веку или пятидесятилетию! На свете существует лишь одно чудовище, и это — праздный человек. В чем его "религия"? Что природа — призрак; что хитрый попрошайка и вор может иногда хорошо прокормиться; что Бог — ложь и что человек и жизнь человеческая тоже лишь ложь.

41. Овцы по трем причинам ходят вместе: во-первых, оттого что у них общительная натура и они *охотно* бегут вместе; во-вторых, из-за своей трусости, потому что они боятся оставаться одни; в-третьих, потому что большинство из них, по пословице, близоруки и не умеют сами выбирать дорогу. Действительно, овцы почти ничего не видят и не заметили бы в небесном свете и в луженой жестяной посуде ничего, кроме невероятного ослепительного блеска.

Как похожи на них во всех этих отношениях существа, принадлежащие к человеческой породе! И люди тоже общительны и охотно ходят стадами; во-вторых, и они трусливы и неохотно остаются одни; в-третьих и прежде всего, они близоруки почти до слепоты.

42. Но разве так мало людей-мыслителей? Да, милый читатель, очень мало думающих; в том-то и дело! Один из тысячи имеет, может быть, склонность к мышлению; а остальные занимаются лишь пассивным мечтанием, повторением слышанного и активным фразерством. Глазами, которыми люди озираются вокруг себя, *видеть* могут только немногие. Таким образом, мир стал ужасной сумятицей и задача каждого человека переплелась с задачей его соседа и выбивает его из колеи, а дух слепоты, фальши и разрозненности, который правильно называют дьяволом, постоянно является среди нас и даже надеется (если бы не было противодействия, которое благодаря Богу также присутствует) взять верх.

43. Как мало человек знает самого себя! Эзоповская муха сидела на колесе экипажа и кричала: "Какую я пыль поднимаю!" Одетые в пурпур властелины со скипетрами и роскошными регалиями часто управляются своими камердинерами, капризами своих жен и детей; или, в конституционных странах, — статьями редакторов газет. Не говори: я то или другое, я делаю то или другое. *Этого* ты не знаешь; ты только знаешь название, под которым оно теперь идет.

44. Неисчислимы обманы и фокусы привычки. Самый же ловкий из всех, может быть, тот, который убеждает нас, что чудо перестает быть чудом, если только повторяется. Это способ, которым мы живем, так как человек должен работать так же, как и удивляться, и в этом отношении привычка служит ему хорошей няней, которая ведет его к его же настоящей пользе. Но эта нежная, глупая няня, или скорее — мы фальшивые, глупые питомцы, если в часы покоя и размышлений продолжаем обманывать себя на этот счет. Должен ли я смотреть с тупым хладнокровием на вещь, достойную удивления, потому, что я ее видел два раза, или двести раз, или два миллиона раз? Ни в природе, ни

в искусстве нет основания, по которому это следовало бы сделать, если я в действительности не рабочая машина, для которой Божий дар мысли подобен земному дару пара для паровой машины, — силе, при помощи которой можно ткать бумажные изделия и зарабатывать деньги и денежную стоимость.

45. Удивительно, как существа, принадлежащие к человеческому роду, закрывают глаза на самую ясную действительность и вследствие вялости забвения и тупоумия живут очень уютно среди чудес и страшилищ. На деле же человек был и является всегда глупым и ленивым и гораздо более склонен чувствовать и варить пищу, нежели думать и размышлять. Предубеждение, которое он будто бы ненавидит, — его абсолютный законодатель. Привычка и лень водят его всюду за нос. Пусть *два раза* повторится восход солнца, сотворение мира — и это перестанет быть чудом или замечательным явлением.

46. Может ли быть нечто удивительнее настоящего подлинного духа? Англичанин Джонсон всю жизнь мечтал о том, чтобы таковой увидеть, и не мог, несмотря на то что ходил в Кок-Лэн и оттуда в церковные склепы, где стучал по гробам. Безумный доктор! Разве он никогда не смотрел духовным оком, точно так же как и телесным, вокруг себя на полнокровный поток человеческой жизни, которую он так любил; смотрел ли он когда-нибудь и на то, что было внутри его самого? Славный доктор ведь сам был духом, такой настоящий, действительный дух, какого только могло желать его сердце, и почти миллион других духов бродило возле него по улицам. Еще раз повторяю: исключите иллюзию времени, скомкайте эти шестьдесят лет в шесть минут — чем иным был он, чем иным являемся мы сами? Не духи ли мы, заключенные в одно тело, в одно явление, не исчезающие в воздухе и не становящиеся невидимыми? Это не метафора, а обыкновенная, научная действительность. Мы исходим из ничего, принимаем известный образ и становимся явлениями.

47. Причудливое представление, которое мы имеем о счастье, приблизительно следующее. Благодаря известным оценкам и по расчетам, составленным в соответствии с собственным масштабом, мы приходим к определенному среднему земному жребию, о котором мы думаем, что он принадлежит нам по праву от природы. Это как бы простая оценка нашего вознаграждения, наших заслуг и не требует ни благодарности, ни жалоб. Только случайный плюс мы принимаем за счастье, — любой недостаток — за горе. Представим себе, что мы сами станем производить оценку своих заслуг и какая масса самолюбия в каждом из нас. Тогда надо только удивляться, как часто чаша весов наклоняется в противоположную сторону, и иной дурак восклицает: "Посмотри-ка, какая плата; случалось ли когда-нибудь такому достойному человеку, как я, видеть что-либо подобное?" Я говорю тебе, дурак, причина лежит исключительно в твоей пустоте, в заслугах, которые ты только *воображаешь*, что имеешь. Представь себе, что ты заслуживаешь, чтобы тебя повесили (что, вернее всего, правда), а ты считаешь за счастье, если тебя лишь расстреляют. Представь себе, что ты заслуживаешь быть повешенным на заволоке и для тебя будет блаженством умереть на конопле.

Поэтому претензии, какие ты предъявляешь к счастью, должны равняться нулю: мир под твоими ногами. Правильно писал умнейший человек нашего времени: "Жизнь начинается только отречением"\*.

48. Счастье, в котором ищут цель своего бытия, и вся эта очень неблагородная мелкая теория, в сущности говоря, если хорошенько сосчитать, существует на свете еще неполных двести лет.

Единственное счастье, просьбами о котором утруждал себя достойный человек, было счастье от выполнения своей работы. Не "я не могу есть", а "я не могу работать" было наиболее частой жалобой среди мудрых людей. В сущности говоря, все-таки это единственное несчастье человека, когда он не может работать, когда он не может исполнить своего назначения, как человек. Смотрите, день быстро проходит, наша жизнь скоро проходит и наступает ночь, когда никто не может трудиться.

49. В человеке есть нечто выше любви к счастью. Он может обойтись без счастья и взамен него найти блаженство. Для того чтобы проповедовать это самое *высшее*, разве ученые, мученики, поэты и священники не говорили и не страдали во все века и разве они не представляли доказательства — в жизни и смерти — в божественном, которое есть в человеке, и в том, что он только в божественном обладает силою и свободой? И это Богом вдохновенное учение тебе также проповедуется и тебя также преследуют различные милосердные соблазны, пока ты не почувствуешь и не научишься их сокрушению! Благодарю судьбу свою за это и переноси с благодарностью остальное — оно тебе нужно; "самость" должна была быть уничтожена в тебе. Благодаря благотворным пароксизмам лихорадки жизнь прекращает глубоко лежащую хроническую болезнь и торжествует над смертью. Бушующие волны времени не поглощают тебя, а поднимают в лазурь вечности. Не люби удовольствия, а люби Бога. Вот вечное *да*, в котором разрешаются все противоречия, и каждому, кто по этому пути идет и действует, — становится хорошо.

50. Всякая работа, даже пряжа хлопка, благородна; только работа благородна, повторяю и утверждаю это еще раз. И, таким образом, всякое достижение — трудно. Легкой жизни нет ни для одного человека, ни для одного бога. Жизнь всех богов представляется нам возвышенною грустью — напряжением бесконечной борьбы с бесконечным трудом. Наша наивысшая религия называется "поклонение страданию". Для сына человеческого не существует заслуженно или даже незаслуженно носимой короны, которая не была бы терновым венцом. Все это было когда-то очень хорошо известно, будучи высказано словами или, еще лучше, прочувствовано инстинктивно каждым сердцем.

Разве вся низость, весь *атеизм*, как я это называю, человеческих поступков и деяний настоящего поколения в той невыразимой жизненной философии, — не кажется претензией быть, как люди это называют, "счастливыми". Самый жалкий из тех, кто бродит в образе человека, преисполнен мыслью, что он, согласно всем человеческим и божеским законам, имеет право быть "счастливым". Его желания, — желания несчастнейшего бедняка, — должны быть исполнены. Его дни, — дни несчастнейшего бедняка, — должны протекать в мягком течении наслаждения, что невозможно даже для самих богов. Фальшивые пророки

проповедуют нам: "Ты должен быть счастлив; ты должен любить приятные вещи и найти их". И вот народ кричит: "Отчего мы не нашли приятных вещей?"

51. Какая разница в том, счастлив ли ты или нет? "Сегодня" так скоро становится "вчера". Все "завтра" становятся "вчера", и тогда нет вопроса о "счастье", а возникает совсем иной вопрос. Да, в тебе остается такое священное сострадание к самому себе, по крайней мере, что даже твои печали, раз они перешли во "вчера", становятся для тебя радостью. Сверх того, ты не знаешь, какое Божье благословение и какая необходимая целебная сила заключалась в них. Ты узнаешь об этом лишь спустя много дней, когда ты станешь умнее!

52. Если благородная душа становится в десять раз прекраснее от беды и счастья, потому что попадает в собственную лучезарную и пристойную ей стихию, то неблагородная, напротив, становится в десять раз и в сто раз более некрасивой и жалкой. Все пороки и слабости, которыми обладал человек-выскочка, представляются нам теперь, точно в солнечном микроскопе, увеличенными до страшного искажения.

53. Да, человеческая природа настолько превратна, что уже издавна нашли, насколько превышающее обыкновенную меру счастье опаснее, нежели меньшее, — и на сто человек, способных перенести несчастье, едва ли найдется один, способный перенести счастье.

54. Для умов, подобных Новалису, — земные блага отнюдь не бывают сладкими и полными, и они со временем проповедуют большую необходимость отречения, благодаря чему только, как заметил мудрый человек, и можно считать, что человек действительно вступает в жизнь. Облагораживающие влияния несбывшихся надежд и любви, которая в этом мире всегда останется безродной, — не зависят также от достоинства и от расположенности своих предметов, но от качества сердца, лелеявшего их и умевшего приобрести тихую мудрость из-за такого мучительного разочарования.

55. Когда человек несчастен, что он должен делать? Должен ли он жаловаться на того или иного человека, на ту или иную вещь? Должен ли он наполнять мир и улицы жалобами?

Безусловно нет; и даже наоборот. Все моралисты советуют ему не жаловаться на какого-либо человека или предмет, а только на себя самого. Он должен узнать правду, что когда он несчастен, то, безусловно, раньше был неумным. Если бы он верно следовал природе и ее законам, то всегда верная своим законам природа предоставила бы ему плоды, рост и блаженство. Но он следовал другим законам — не законам природы, — и природа оставляет его беспомощным, так как терпение ее уже исчерпано, и отвечает ему с очень убедительной важностью: "нет". Не на этом пути, сын мой, а на ином найдешь ты здоровье; это же, как ты сам замечаешь, путь к болезни. Оставь его!

56. Политические теории существовали всегда и будут всегда существовать и во времена упадка. Пусть они составляют своего рода явления природы, которая не делает ничего напрасного; да будут они шагами на ее пути. Нет теории надежнее той, которая считает, что все теории, как бы они ни были серьезно и тщательно разработаны, должны быть, по своим свойствам, несовершенны, сомнительны и даже неверны.



Ты должен знать, что вселенная, само собой разумеется, *бесконечна*. Не пробуй проглотить ее ради твоего логического желудка; радуйся, если ты — тем, что прислан сюда, и тем, что ты там в хаосе строишь опору, мешаешь ему проглотить *тебя*. Многозначительный успех в том, что новое молодое поколение заменило страстную веру в Евангелие по Руссо исповеданием скептицизма: "Во что я должен верить?"

Благословенна надежда; с самого начала предсказывалось тысячелетнее царство, священное царство; но что достойно удивления: до этой новой эры нет царства полного удовольствия и большого излишка. Не верьте этому обетованному царству лентяев, полного счастья, благоденствия и порока, избавленного от его уродства, друзья мои. Человек не то, что называют счастливым животным, его стремление к благоденствию ненасытно. Как мог бы бедный человек в этой дикой вселенной, которая бросается на него, бесконечная, угрожающая, — я не говорю найти счастье, — как мог бы он *жить*, иметь твердую почву под ногами, если бы он не запасся терпением для постоянного труда и страданий! Сохрани Бог, если в его сердце нет набожной веры, если для него не имеет значения слово "обязанность"! Что касается этих ожиданий, то они происходят от чувствительности, годной лишь для того, чтобы быть тронутым романами и торжественными случаями и больше ни на что не нужной. Здоровое сердце, говорящее себе: "Как я здорово!" — обыкновенно подвергается самым опасным заболеваниям. Разве сентиментальность не близнец лицемерной фразы, если не совсем одно и то же? Разве лицемерная фраза дьявола не "materia prima"\*, из которой может сформироваться вся фальшь, слабость и ужас, но не может получиться ничего существенного? Лицемерная фраза, в сущности, двойная дистиллированная ложь, наивысшее могущество лжи.

Если бы целый народ предался ей? Тогда, говорю я, он бы, несомненно, оттуда вернулся. Жизнь не хитро придуманный обман или самообман: это великая истина, что ты живешь, что у тебя есть желания и потребности; никакой обман не может соответствовать им и удовлетворить их, а только действительность. Положись на это: мы возвращаемся к действительности, к благословенной или проклятой, смотря по тому, насколько мы мудры.

57. Велико существующее; вещь, спасшаяся от неосновательной глубины теорий и предположений, и представляется определенной, неоспоримой действительностью, которой придерживается жизнь и работа человека, причем придерживается раз навсегда. Мы хорошо поступаем, если держимся за нее, пока она существует, и с сожалением покидаем ее, когда она под нами рушится. Берегись слишком скоро желать перемены! Хорошо ли ты обдумал, что значит в нашей жизни привычка, как все знания и все поступки чудесно витают над бесконечными пропастями неизвестного и невозможного, как все наше существо представляет собою бесконечную пропасть, покрытую, точно тонкой земной корой, — привычкой?

58. Свобода? Настоящая свобода человека, следует признать, состоит в том, чтобы найти правильный путь или быть принужденным найти его и идти по нему; учиться или быть наученным тому, к какой работе он действительно годен, и потом приняться за нее, благодаря разреше-

нию, уговариванию и даже насилию. Это его настоящее блаженство, честь, свобода и высшее благоденствие, и если это не свобода, то я лично больше о ней не спрашиваю. Ты не разрешаешь явно безумному прыгать через пропасти. Ты стесняешь его свободу, ты умный и удерживаешь его, хотя бы с помощью смирительной рубахи, вдали от пропасти. Каждый глупый, трусливый и взбалмошный человек лишь менее очевидный безумец, и его истинной свободой было бы то, чтобы всякий человек, умнее его, видя, что он идет неправильным путем, схватил его и заставил его идти немного вернее. Если ты действительно старший надо мной или мой пастырь, если ты действительно *умнее* меня, — да заставит тебя благодетельный инстинкт "покорить" меня, приказывать мне! Если ты лучше меня знаешь, что хорошо и правильно, то, умоляю тебя во имя Бога, заставь меня это сделать, даже если тебе придется пустить в ход целую массу кнутов и ручные кандалы; не дай мне ходить над пропастями! Мне мало поможет, если все газеты назовут меня "свободным человеком", когда мое странствие кончится смертью и крушением. Пусть газеты назовут меня рабом, трусом, дураком или как им будет угодно и моей долей пусть будет жизнь, а не смерть! — "свобода" требует нового определения.

59. Твоя "слава", несчастный смертный, где будет она и ты сам вместе с ней через каких-нибудь пятьдесят лет? Самого Шекспира хватило всего на двести лет; Гомера (отчасти случайно) — на три тысячи, и не окружает ли *вечность* уже каждое *я* и каждое *ты*? Перестань поэтому лихорадочно высиживать свою славу, хлопать крыльями и яростно шипеть, как утка-наседка на своем последнем яйце, когда человек позволяет себе подойти к ней близко! Не ссорься со мной, не ненавидь меня, брат мой; сделай что можешь из своего яйца и сохрани его. Бог знает, что я не хочу его украсть у тебя, так как я думаю, что это жировое яйцо.

60. Есть люди, которым боги в своем милосердии дают славу; чаще всего дают они ее в гневе, как проклятие и как яд, потому что она расстраивает все внутреннее здоровье человека и ведет его шумно, дикими прыжками, как будто его ужалил тарантул, — не к святому венцу. Действительно, если бы не вмешалась смерть или, что счастливее, если бы жизнь и публика не были бы глупыми и неожиданное несправедливое забвение не следовало бы за этим неожиданным, несправедливым блеском и не подавляло бы его благодетельным, хотя и весьма болезненным образом, то нельзя сказать, чем кончал бы иной человек, достигший славы, или, еще более, бедная, достигшая славы женщина.

61. Друг мой, все разговоры и вся слава имеют лишь короткую жизнь; они глупы и ложны. Одно только настоящее *дело*, которое ты добросовестно исполняешь, — вот что действительно вечно, как сам всемогущий Основатель и Создатель мира.

62. Твоя "победа"? Бедный черт, в чем состоит твоя победа? Если дело это несправедливое, то ты непобедим, даже если бы горели костры на севере и юге, и звонили бы в колокола, и редакторы газет писали бы передовые статьи: справедливое дело было бы навсегда отстранено и уничтожено и лежало бы попраным на земле. Победа? Через несколько лет ты умрешь и станешь мрачным, — холодным, ооченелым, безглазым, глухим; никакого огня от костров, никакого колокольного

звона или газетных статей не будешь ты слышать или видеть в будущем. Какая же это победа!

63. Боже, "наши потомки". — "Эти бедные преследуемые шотландские ковенантеры\*", — говорил я французу таким французским языком, какой был в моем распоряжении, — "ils s'en appelaient à..." — "À la Postérité!", — перебил он меня, чтобы прийти мне на помощь. — "Ah, Monsieur, non, mille fois non! Они взывали к вечному Богу; вовсе не к потомству! C'était différent!"\*

## V. МОЛЧАНИЕ

1. *Молчание и молчаливость!* Если бы в наше время строили алтари, то им были бы воздвигнуты алтари для всеобщего поклонения. Молчание — стихия, в которой формируются великие вещи для того, чтобы в готовом виде и величественно предстать в дневном свете жизни, над которым они сразу должны господствовать. Не только Вильгельм Молчаливый, но и все выдающиеся люди, которых я знал, — даже самые недипломатичные из них и самые нестратегичные избегали болтать о том, что они творили и проектировали. Да, в твоих собственных обыкновенных затруднениях, молчи только один день, и насколько яснее покажутся тебе на следующее утро твои намерения и обязанности — какие остатки и какую дрянь выметают эти немые работники, если отстраняется назойливый шум! Речь часто, как французы это определяют, есть искусство не скрыть мысли, но окончательно останавливать и подавлять их, так что уже нечего больше скрывать. И речь велика, но это не самое большое. Как гласит швейцарская надпись: "Разговор — серебро, а молчание — золото"; или, как я это охотнее определил бы: "Разговор принадлежит времени, молчание — вечности".

Пчелы работают не иначе как в темноте; мысли работают не иначе как в молчании, и добродетель точно так же действует не иначе как втайне. Да не узнает твоя правая рука того, что делает левая! Даже собственному своему сердцу ты не должен выболтать тех тайн, которые известны всем. Разве стыдливость не почва для всех добродетелей, для всех хороших нравов и для всей нравственности. Как и другие растения, добродетель не растет там, где корень ее не спрятан от солнца. Пусть светит на него солнце, или ты сам на него посмотри тайком, и корень завянет и никакой цветок не обрадует тебя. О друзья мои, если мы станем разглядывать прекрасные цветы, украшающие, например, беседку супружеской жизни и окружающие человеческую жизнь ароматами и небесными красками, — какая рука не поразит позорного грабителя, вырывающего их с корнями и показывающего с противной радостью навоз, на котором они произрастают!

2. Так глубоко в нашем существовании значение тайны. Справедливо поэтому древние считали молчание божественным, так как это основа всякого божества, бесконечности или трансцендентальной величины и одновременно источник и океан, в которых все они начинаются и кончаются.

В том же смысле и пели поэты "гимны но́чи", как будто ночь благороднее дня, как будто день только маленькая, пестрая вуаль, которую мимоходом набросили на бесконечное лоно ночи, и искажает ее чистую, прозрачную вечную глубину, скрывая ее от наших взоров. Так говорили они и пели, как будто молчание — это сердцевина и полная сумма всех гармоний, а смерть — то, что смертные называют смертью, — собственно, и есть начало жизни.

С помощью таких картин, так как о невидимом можно говорить только картинами, люди постарались выразить великую истину — истину, которую забыли, насколько это только возможно, мастера нашего времени, но которая тем не менее остается вечно верной и вечно важной и когда-нибудь, в виде новых картин, снова запечатлится в наших сердцах.

3. Всмотрись, если у тебя есть глаза или душа, в это великое безбрежное непостижимое: в сердце его бушующих явлений, в его беспорядке и бешеном водовороте времени не скрывается ли тем не менее молчаливо и вечно единое всесправедливое, всепрекрасное, единственная действительность и конечная руководящая сила целого? Это не слова, а факт. Известный всем животным факт силы тяготения не более верен, нежели эта внутренняя сущность, которая может быть известна всем людям. Знающему это молчаливо, благоговейно невыразимо западет в сердце. Вместе с Фаустом он скажет: "Кто смеет назвать его?"; большинство обрядов или названий, на которые он теперь наталкивается, вероятно, "названия того, что должно оставаться неназванным". Пусть он молится ему в молчании, в храме вечности, если нет для него подходящего слова. Это знание, венец всего его духовного бытия, жизнь его жизни, пусть сохранит он и после этого пусть свято живет. У него есть религия. Ежечасно и ежедневно, для него самого и для всего мира, воздается полная веры, невысказанная, но и не безразличная молитва: "Да будет воля Твоя".

4. Для человека, имеющего верное об этом представление, праздная болтовня именно и есть начало всей пустоты, всей неосновательности и всякого неверия; благоприятная атмосфера, в которой всевозможные сорные травы преобладают над более благородными плодами человеческой жизни, угнетают и подавляют их, — одна из наиболее кричащих болезней нашего времени, с которой нужно всякими способами бороться. Самым мудрым из всех правил была старая мудрость, простирающаяся далеко за нашу мелкую глубину: "Береги свой язык, так как от него происходит течение жизни!" В сущности говоря, человек — воплощенное слово; слово, которое он говорит, сам человек. Глаза, вероятно, вставлены в наши головы для того, чтобы мы *видели*, а не для того только, чтобы мы воображали и уверяли правоподобным образом, будто бы видели. Был ли язык подвешен в наш рот для того, чтобы он говорил правду о том, что человек видит, и чтобы он делал человека братом по духу другого человека, или для того только, чтобы издавать пустые звуки и смущающую душу болтовню и препятствовать этим, как заколдованною стеною мрака, соединению человека с человеком? Ты, владеющий тем осмысленным, созданным небом органом — языком, подумай об этом хорошенько. Поэтому, очень тебя прошу, говори не раньше, чем

мысль твоя молчаливо созреет, не раньше, чем ты не издашь ничего другого, кроме безумного или делающего безумным — звука; пусть отдыхает твой язык, пока не явится разумная мысль и не приведет его в движение. Обдумай значение *молчания*; оно безгранично, никогда не исчерпается обдумыванием и невыразимо выигрышно для тебя! Прекрати ту хаотическую болтовню, из-за которой собственная твоя душа подвергается неясному, самоубийственному искажению и одурманиванию; в молчании — твоя сила. Слова — серебро, молчание — золото; речь человечна, молчание божественно. Глупец! думаешь ли ты, что оттого, что нет никого под рукой, чтобы записывать твою болтовню, она умирает и становится безвредной? Ничто не умирает, ничто не может умереть. Праздное слово, сказанное тобой, — это брошенное во время семя, которое растет вечно!

5. Что касается меня, то, в дни громкой болтовни, я уважаю еще более молчаливость. Велико было молчание римлян, — да, величайшее из всех, потому что это не было молчанием богов! Даже тривиальность и ограниченность, умеющие держаться спокойно и молчаливо, приобретают относительно приличный вид!

6. Молчание велико: должны были бы быть и великие молчаливые люди. Хорошо сознавать и понимать, что никакое достоинство, известное или нет, *не может умереть*. Деятельность неизвестного, хорошего человека подобна водяной силе, которая течет спрятанная под землей и тайно окрашивает зеленью почву, она течет и течет и соединяется с другими струями; наступит день, когда она забьет видимым, непобедимым ключом.

7. Литературный талант, есть ли у тебя литературный талант? Не верь этому; не верь! Природа предназначила тебя не для речи и писания, а для работы. Знай: никогда не существовало таланта для настоящей литературы, — нечего и говорить обо всем том таланте, который расточали и тратили на мнимую литературу, — что первоначально не был склонностью, к чему-то бесконечно большему — "молчаливому". Лучше отнесись к литературе немного скептически. Где бы ты ни был, работай; то, что твоя рука может делать, делай рукой человека, не тени. Да будет это твоим тайным блаженством, твоей большой наградой. Пусть будет мало у тебя слов. Лучше молчать, нежели говорить в эти злые дни, когда из-за сплошного разговора одного человека голос его становится неясным другому, когда посреди всей болтовни сердца остаются темными и немymi по отношению друг к другу. Остроумие — прежде всего не старайся быть остроумным; ни одному из нас не предлагается быть остроумным под страхом наказания; но заслуживает самого сурового наказания, если все мы не считаем себя обязанными быть мудрыми и правдивыми.

Молодой друг, которого я люблю и известным образом *знаю*, хотя никогда не видел и не увижу тебя, ты можешь то, чего мне не дано, — учиться, *быть* чем-нибудь и *делать* что-нибудь вместо того, чтобы красноречиво говорить о том, что было и будет сделано. Мы, старые, останемся, кем были, и не изменимся; вы — наша надежда. Надежда вашего отечества и мира заключается в том, чтобы когда-нибудь снова миллионы стали бы такими, какие теперь встречаются в единичных

случаях. "Слава тебе; иди счастливой стопой". Да узнают лучше нашего будущие поколения молчание и все благородное, верное и божественное, и да оглянутся они на нас с недоверчивым удивлением и состраданием.

8. На поприще литературы дойдут еще до того, чтобы платить писателям за то, что они *не* писали. Серьезно, не подходит ли, действительно, это правило ко всему писанию и тем более ко всякой речи и ко всякому поступку? Не то, что находится над землей, то невидимое, что лежит под нею, в виде корня и основного элемента, определяет ценность. За всякими речами, стоящими чего-нибудь, лежит гораздо лучшее молчание. Молчание глубоко, как вечность, речь течет, как время. Не кажется ли это странным? Скверно веку, скверно людям, если эта старая, как мир, истина стала совершенно чуждой.

9. Тысячу лет молчаливо растет в лесу дуб, только на тысячном году, когда дровосек приходит с топором, раздается эхо в тишине и дуб дает знать о себе, когда он *падает* с оглушительным шумом. Как тихо был посажен желудь, снесенный случайным ветром! Когда цвел дуб и украшался листьями, то эти радостные для него события не возвещались радостными криками. Изредка лишь слышалось слово признания со стороны спокойного наблюдателя. Все это не было *событием*, — это спокойно *свершалось*; не в один час, а в течение многих дней; что можно было об этом сказать? Этот час казался похожим на последний, похожим на последующий.

Так происходит всюду; безрассудная молва болтает не о том, что было сделано, а о неудачах и об опозданиях; и безрассудная история (более или менее сокращенный, письменный обзор молвы) знает мало достойного изучения. Нашествие Аттилы, крестовый поход Вальтера Голяка, Сицилийская вечерня, Тридцатилетняя война: один только грех и беда; никакой работы, только помехи и задержка всякой работы. Однако все же земля ежегодно зеленела и урожай ее созрел; рука работающего, ум мыслителя не отдыхали: благодаря этому у нас, несмотря на все, остался великолепный, прославленный, цветущий мир. Бедная история может спросить себя с удивлением: "Откуда *он* происходит?" Мало знает она о нем, много о том, что задержало его и хотело уничтожить. Это ее обычай и правило, благодаря ли необходимости или безрассудному выбору, и странная фраза справедлива: "Счастлив народ, коего календари остаются пустыми".

10. Так же обстоит со всеми видами интеллигентности, направлена ли она на поиски правды или на соответствующие сообщения о ней, на поэзию, на красноречие или на глубину пронизательности, которая служит основанием для этих двух последних. Характерный признак труда — некоторая постоянная произвольность и бессознательность. "Здоровые не знают о состоянии своего здоровья; знают о нем лишь больные".

11. Мудрость — божественный вестник, который приносит с собой в этот мир каждая человеческая душа, божественное предсказание новой и присущей ему способности действовать, которую новый человек получил, — по своему существу молчалива. Ее нельзя сразу и целиком прочесть словами; потому что она написана в непонятной действительности таланта, положения, желаний и возможности, которыми снабжен

человек, она кроется в предчувствии, в неизвестной борьбе, страстном старании и может быть вполне прочитана лишь тогда, когда *исполнена* его работа. Не благородные движения природы, а низкие вводят человека в искушение, чтобы обнаружить тайну его души в словах. Если у него есть тайна, слова всегда остаются недостаточными. Слова только задерживают настоящее обнаружение поступка, мешают ему и сделают его, наконец, невозможным. Никто из тех, кто совершает важное на свете, не станет говорить об этом подробно. Вильгельм Молчаливый лучше всего говорил освобожденной страной; Оливер Кромвель не блистал красноречием; Гёте находил, что когда он собирался писать книгу, то не хотел об этом говорить; только тогда она удавалась.

12. Человек и его работа не оцениваются по тому, что называется их влиянием на мир, по тому, благодаря чему мы можем судить об их влиянии. Влияние, действие, польза? Дайте нам *делать* нашу работу; забота об ее плодах принадлежит другим. Ее собственные плоды созреют; воплотятся ли они в тронах халифов или арабских завоеваниях и наполнят собой "все утренние и вечерние газеты" и все исторические сочинения (своего рода дистиллированные газеты) или не воплотятся в таком виде, — какое это имеет значение? Это неподлинный ее результат! Арабский халиф имел ценность и значение, лишь поскольку он мог что-то делать. Если бы великое дело человечества, человеческая работа на Божьем свете не поощрялась халифом, то не имело бы никакого значения, сколько раз он обнажал свои сабли и какая добыча ему доставалась, сколько золотых монет он вкладывал в карман, какой шум и тревогу подымал он на свете, — *он* был лишь шумным ничтожеством; в сущности, его и вовсе *не было*. Будем уважать великое царство *молчания!* Неизмеримый клад, которого мы не можем хвастливо пересчитать и показать людям! Это каждому из нас больше всего нужно в наши громкие времена.

13. Если смотреть на дело исходя из высокого масштаба, то мы заметим, что века геройства не века нравственной философии. Если можно философствовать о добродетели, то она познала самое себя, она стала больной и становится все дряхлее.

14. В нашем внутреннем, как и в нашем внешнем, мире нам открыто лишь "механическое", но отнюдь не динамическое и имеющее в себе жизненную силу. Говоря о нашем мышлении, мы хотели бы заметить: то, что мы формулируем в виде высказываемых нами мыслей, есть лишь внешняя, поверхностная сторона, под областью логического доказательства и сознательного выражения мыслей лежит область размышления. Здесь, в ее спокойной, таинственной глубине, живет жизненная сила, которая есть в нас, и здесь, если нужно что-нибудь создать, а не только изготовить и сообщить, должна происходить работа. Изготовление понятно, но тривиально; создание велико и не может быть понято. Поэтому, если спорящий или демонстрирующий, которых мы можем считать наиболее пронизательными среди настоящих мыслителей, — знает, *что* он сделал и *как* он это сделал, то, наоборот, художник, которого мы ставим на самую высокую ступень, — не знает этого; он должен говорить о вдохновении и тем или иным способом назвать свое произведение подарком Божества.

В общем же "гений остается всегда тайной для самого себя"; мы всюду ежедневно видим доказательства этой старой истины.

15. Как верно, что всякое деяние, которое совершает человек или народ, *сознательно* намереваясь сделать нечто великое, — не велико, а мало.

16. Поэтому повторяем еще раз: великое, творящее и продолжительное всегда остается для себя тайной, — и лишь малое, неплодотворное и преходящее есть нечто другое.

17. Мы, и даже строжайшие из нас, смотрим как на нечто естественное, что все люди, сделавшие что-нибудь, имеют право объявлять об этом по возможности громче и приглашать публику их за это вознаградить. Каждый свой собственный глашатай — это правило доведено до весьма тревожной стадии. Рекламируй, как можно громче, свою шляпу. Сначала придерживайся правдивой рекламы, если это достигает цели; если нет, то ухватись за ложную, насколько нужно для твоей цели, и не в такой степени ложную, чтобы ей нельзя было поверить. В действительности, утверждаю я, это не так. Ни от одного человека природа не требует, чтобы он рекламировал свои действия и деяния и изготовление своих шляп, — природа даже запрещает людям делать это. На всем свете нет человека или шляпника, который не чувствовал или не чувствовал бы, что он унижает себя разговорами о своих достоинствах и умениях и о своем превосходстве в ремесле. В глубине своего сердца он слышит "предоставь своим друзьям, если возможно, — своим врагам говорить об этом!". Он чувствует, что он уже жалкий хвостун, быстрыми шагами идущий навстречу лжи и неправде.

Повторяю, законы природы вечны, и их тихий голос, говорящий из глубины нашего сердца, не должен остаться неслышанным под страхом сильного наказания. Ни один человек не может отдалиться от истины без вреда для самого себя; то же самое относится и к одному миллиону или к двадцати семи миллионам людей. Покажите мне народ, который повсюду ведет себя таким образом, что каждый ожидает этого и позволяет это себе и другим, и я укажу вам народ, единодушно идущий по широкой дороге, ведущей к гибели\*.

18. Блаженны смиренные, блаженны неизвестные. Написано: "Ты желаешь себе великих вещей? Не желай этого". Живи, где ты есть, но живи мудро, деятельно.



Валентин Яковенко

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМАСЕ КАРЛЕЙЛЕ

Томас Карлейль один из наиболее читаемых и почитаемых авторов в Англии. Тэн говорит: спросите любого англичанина, кого у них больше всего читают, и всякий ответит вам — Карлейля... Если бы Карлейль примыкал к какой-нибудь общеизвестной школе в сфере мысли или партии в сфере общественных дел, то мы считали бы совершенно излишним всякие с нашей стороны пояснения: в таком случае книга\* говорила бы сама за себя, а то, что в ней осталось недосказанным, уяснилось бы благодаря общему знакомству с мировоззрением, к которому примыкает ее автор. Но все это совершенно неприменимо к Карлейлю; он *единственный* в своем роде мыслитель; у него нет да и, собственно, не может быть ни подражателей, ни продолжателей. Он излагает свои мысли вовсе не путем логических выкладок. Попробуйте отыскать у него большую посылку, малую посылку и заключение. Он мыслит образами. Он вовсе не заботится обставить свою мысль правильно построенными индукциями и дедукциями. Это смущает многих, и академические логики находят, что Карлейль беден по части *мысли*. Впрочем, они готовы снисходительно допустить, что Карлейль возбуждает много мыслей. Но не противоречат ли они, таким образом, сами себе? Разве *маломысле*, с какой бы горячностью оно ни заявляло о себе, может вообще возбуждать мысль? Затем, самые эти мысли. Они также поражают в первый момент читателя. Вначале они казались дикими и странными также и англичанам. С большим трудом и после долгих поисков Карлейль нашел издателя для первого своего капитального произведения "Sartor Resartus". Но истинная мысль, по верному замечанию самого Карлейля, рано или поздно всегда найдет себе доступ к *искреннему* сердцу человека. И "Sartor Resartus", а затем длинный ряд других его произведений проложили ему дорогу, и его сочинения стали обычным чтением англичан. Пусть русский читатель не теряет из виду этого факта. Почему мысли Карлейля кажутся странными, почему они поражают и мы готовы признать их анахронизмами? Потому, во-первых, что они принадлежат к иному складу мировоззрения, нежели господствующий ныне; и потому, во-вторых и главнейшим образом, что мы прикидываем к нему свои излюбленные шаблоны. Но так как эти шаблоны обыкновенно слишком малы и далеко не могут покрыть собою всего поля мысли Карлейля, то мы прилаживаем их к отдельным отрывочным положениям и утверждениям, и, конечно, получается нечто,

на наш взгляд, несообразное. Карлейль высмеивает "свободу и равенство"; он презрительно относится к "баллотировочным ящикам", то есть избирательным урнам, "всеобщему голосованию"; он высокомерно смотрит на "толпу" и т. д. Но оставьте шаблоны и идите вместе с Карлейлем от его высмеивания "свобод и равенств", как эти последние обнаруживаются при *данных* условиях и в *данном* случае, от его презрения к "баллотировочному ящику", как он действует опять-таки *при данных* условиях, от его высокомерия к "толпе", не как к синониму *человечества*, а как выражению серединой пошлости, да постарайтесь подняться вместе с ним по восходящей линии его положительного верования, тогда перед вами раскроются беспредельные горизонты истинной "свободы и равенства", и вы убедитесь, что Карлейль отважно и поистине героически ведет вас в обетованную страну "Царства Божьего" на земле. Вы убедитесь, что Карлейль питал глубокое недовольство существовавшим порядком вещей, что по силе и глубине своего протеста он примыкает к самым передовым людям и что при этом он представляет собою протестанта, отвергающего всякие сделки и временные переходящие решения больных вопросов.

В Карлейле невозможно отделить человека от писателя и мыслителя. Он весь, со всей его "дикой" страстью, отдался своему призванию. Такие цельные натуры встречаются крайне редко, и обыкновенно это бывают люди глубоко религиозные. Цельность и есть прямое последствие религиозности. Мы говорим, конечно, не о догматике. Замечателен внутренний перелом, пережитый Карлейлем в этом отношении. Он имел большое значение для всей его последующей литературной деятельности, и потому мы скажем здесь о нем несколько слов.

Честная и серьезная религиозность, не имеющая ничего общего с обычным пошлым святошеством, окружала Карлейля с первых дней его жизни.

Отец Карлейля, простой каменщик, и мать его принадлежали к одной из многочисленных в Англии диссидентских сект и желали, чтобы сын их был священником. Но он утерял веру "отцов своих" и отказался от мысли быть священником. С каким трогательным беспокойством следила бедная мать за внутренним переломом, совершившимся в душе ее сына! Сам Карлейль описал свои муки, свою борьбу и свою победу в "Sartor Resartus", который во многих отношениях имеет биографическое значение. "Он переживал лихорадочные пароксизмы сомнения. Его окружала громадная мрачная пустыня, населенная дикими чудовищами". Бывают ли чудеса? — допрашивал он себя. На какой такой несомненной очевидности держится религиозная вера и т. п.? И часто, в молчаливые бессонные ночи, когда сердце погружалось в еще больший мрак, чем небо и земля, он распростирался перед Всевидящим и громко, страстно молил о ниспослании света. Но после долгих лет, после длинной несказанной агонии верующее сердце сдалось в конце концов; оно погрузилось в какой-то заколдованный сон, в страшный кошмар, оно впало в *неверие*. И под влиянием этого дьявольского наваждения он стал смотреть на прекрасный, живой Божий мир как на потускнелую пустопорожнюю обитель смерти... Но таков удел человека. Искупительное страдание необходимо. Мертвенная вера в букву должна окончательно

замереть, рассыпаться в прах и развеяться на все четыре стороны, и тогда, высвобожденное из своего гроба, воспрянет живое чувство веры... Чистая и в высшей степени глубокая нравственная природа Карлейля нуждалась именно в религиозной вере, так как он не разделял философских теорий "прибылей и потерь" ни в отвлеченном, ни в практическом отношении. А между тем душевный мрак сгустился все больше и больше, сомнение становилось все мучительнее и мучительнее. И он допрашивал себя: итак, никакого Бога не существует? Или, в лучшем случае, это — Бог отсутствующий, Бог, опочивший в первый субботний день, отстранившийся от дел вселенной и лишь взирающий на нее со стороны? А "долг" — это слово также не имеет никакого значения? Это не небесный вестник, не руководящий принцип, а лживый земной фантом, создание желания и страха? А героическое вдохновение, называемое нами добродетелью, отвагой, всего лишь какая-то страсть, волнение крови, *выгодное* для других людей? Как ни были мучительны все эти сомнения и терзания, Карлейль не шел ни на какие сделки и не примирился с тем, что он признал ложью. В сущности, он страстно искал истины, и долг, под который подкапывалось сомнение, руководил им. Самое мучительное чувство, говорит он дальше, есть сознание собственной немощности. Чувствовать себя всегда бессильным — истинное несчастье. И, однако, мы не можем иметь ясного представления о своей силе, пока не станем действовать, *делать*. Какая громадная разница между смутной колеблющейся способностью и определенным, решительным действием! Наши поступки служат зеркалом, в котором впервые отражаются действительные очертания нашего духа. Известное предписание: "познай самого себя", невозможное само по себе, получает смысл и значение, если высказать его в несколько более частном виде: "познай, что ты можешь делать". Таким образом, *бесплодное созерцание*, порождающее сомнение и муки, должно замениться *живым делом*, на какое способен человек. Эта мысль послужила поворотным пунктом во внутренней жизни Карлейля; она же наложила печать на всю его философию и на все его общественное мировоззрение. Действительно, во всех своих произведениях он выступает непримиримым врагом *бездейственного созерцания* и *пассивного* подчинения существующему порядку вещей. Я не говорю — подчинения *действительности*, так как, заметим здесь кстати, действительность, реальность в устах Карлейля означает вовсе не внешний облик и ход вещей, бросающийся в глаза каждому, а истину, глубоко сокрытую обыкновенно под внешней оболочкой.

Существует сомнение и сомнение. Одно — болезненное, худосочное, самодовлеющее; другое — здоровое, хотя и мучительное, полное жизни, так как оно расчищает путь к истине. Такое сомнение всегда заканчивается верой. Когда унаследованные Карлейлем представления о Боге, долге и т. д. были очищены критической работой мысли, сомнение обратилось на самого человека: он стал мучиться своею немощностью. Он — ничтожный атом среди грозной бесконечности; у него есть глаза, но для того только, чтобы видеть собственное свое злополучие; какая-то непроницаемая волнистая стена отделяет его от всего живого; он наложил печать молчания на свои уста: к чему он станет говорить с так называемыми друзьями, когда они считают дружбу отжившею традици-

ею, когда разговоры с ними неизбежно вращаются около одних только горестных новостей. Мужчины и женщины, с которыми он встречается и даже говорит, кажутся ему безжизненными, автоматическими фигурами. Вся вселенная представляется лишенной жизни и смысла; ни цели, ни хотений, ни даже вражды не ищите в ней; она — чудовищная, неизмеримо громадная мертвая паровая машина, безучастно вращающая свои колеса, перемалывающая в порошок все, что попадает к ней. "О, беспредельная, мрачная, пустынная Голгофа! О, бесчувственная мельница смерти!" — восклицает он. Но дальше сомнению некуда уже было идти, и оно завершается такою мыслью: "Чего ты страшишься? Почему ты, подобно тусу, должен вечно ползком подвигаться вперед, трепетать, охать и говорить шепотом? Презренное двуногое! В чем же заключается, собственно, твое злополучие — в страхе смерти? Хорошо, смерть; скажи еще: все то, что могут причинить тебе дьявол и люди. Но разве у тебя нет сердца, разве ты не можешь перенести все это и, как дитя свободы, хотя и покинутое, попирать ногами даже самую пучину смерти, когда она поглотит тебя? Пусть же она идет; я встречу ее как подобает; я не усташусь ее". И эти мысли, эта решимость воспламенили душу ярким пламенем. Страх исчез навсегда. Карлейль почувствовал в себе силу, неведомую ему до тех пор, и на слова вечного отрицания: "посмотри, ты без роду и племени, покинут всеми, а вселенная принадлежит мне", — он со всей силой своей пылкой души мог теперь ответить: "я не принадлежу тебе, я свободен и навеки ненавижу тебя". Таково было, как выражается Карлейль, его крещение *огнем*.

Я остановился так долго на этом моменте внутренней жизни Карлейля, так как он имел решительное, определяющее значение для всей его литературной деятельности. Карлейль вступил на литературное поприще, когда критическая работа мысли завершилась положительным верованием. Он вступил не с тем, чтобы развивать в людях скептицизм, а, наоборот, с тем, чтобы противодействовать ему и насадить новую веру или, по крайней мере, указать на возможность таковой. Поэтому он постоянно говорит о Боге и религии; в каком смысле мы должны понимать то и другое, можно судить по сказанному мною выше. Конечно, тут и речи не может быть об англиканском и т. п. исповеданиях. Лесли Стивен определяет так религиозные воззрения Карлейля: это — шотландский кальвинизм минус догма. Кальвинизм очистил католичество от всяких наслоений и бессмысленных традиций и в этом отношении был поворотом к здравому смыслу. Шотландский кальвинизм, в лице пуритан, пошел еще дальше, а Карлейль идет еще дальше в деле освобождения мысли из-под ига отживших традиционных форм. И чем дальше он уходит в своем отрицательном отношении к католическим традициям, тем напряженнее и глубже становится его религиозное чувство. Так это, собственно, и должно быть: сила, не растрчиваемая на внешнюю обрядовую сторону, всецело концентрируется на *деле*. Поэтому-то дело, труд, работа составляют, так сказать, материальное выражение его религиозной мысли. Но взятая сама по себе, эта мысль уносит человека в недостижимые сферы идеала. "О, серьезный читатель, передовой либерал и всякий иной, — говорит Карлейль, — поразмысли, что единственная цель, сущность и значение всякой религии, настоящей,

прошедшей и будущей, состоит исключительно в том, чтобы питать и оживлять наше нравственное сознание и внутренний свет нашей жизни!" Таким образом, по справедливому замечанию Тэна, "Бог Карлейля есть тайна, которую можно назвать только одним именем идеала".

Глубокая религиозность Карлейля, находившаяся постоянно в общении с тайной жизни и мира, не могла, конечно, мириться с пустопорожними измышлениями и хитросплетениями метафизики, и он беспощадно относится к ней. Он говорит, что все метафизические системы, какие только существовали до сих пор, не дали ничего, что они отличаются "несказанным бесплодием". Какой смысл имеют все эти аксиомы, категории, системы и афоризмы, спрашивает он? Одни слова и слова; воздушные замки, построенные из слов, замки, в которых, однако, знание вовсе не желает расположиться.

Даже глава позитивистов, Конт, не нападает так жестоко на метафизику, как Карлейль. Вопрос о смерти и бессмертии, говорит он, о происхождении зла, о свободе и необходимости — вопросы вечные; но всякая попытка метафизики разрешить их оканчивается всегда неудачно; ибо теорему о бесконечном невозможно исчерпать конечным разумом. Метафизическое умозрение ведет свои спекулятивные выкладки из пустоты, из ничего, и оно неизбежно должно заканчиваться также пустотой; оно обречено вечно вращаться среди бесконечных вихрей... творить, чтобы затем поглотить свое собственное детище... Но вместе с тем Карлейль не щадит также и узких позитивистов... Никто, говорит Джон Морлей, не указывал так образно на безусловную относительность человеческих знаний, как Карлейль. Между фантастическими бреднями мистиков и не менее фантастическими измышлениями узких позитивистов лежит маленькая полоска разумной достоверности, полоска относительного, условного опытного знания, стоя на котором мы можем созерцать беспредельную область невидимого; быть может, эта область и навеки останется для нас невидимой, но она наполняет людей воодушевлением и придает интересам и обязанностям их крошечной жизни какую-то особенную возвышенность. Карлейль не отрывает нас от действительного мира и жизни и не заставляет всецело погружаться в созерцание бесконечного и неведомого, что обыкновенно превращается в пустое толчение воды. Но, с другой стороны, он ни на одно мгновение не принижает наших мыслей и чувств, не заставляет их ползать, подобно пресмыкающимся, по земле... Философия Карлейля, по словам Джона Морлея, наполняет нас тем возвышенным чувством бесконечных, незримых возможностей и сокрытых, неопределенных движений света и тени, без которых человеческая душа — высохший, бесплодный пустырь. Карлейль приводит в движение самые глубокие чувства и вместе с тем неизменно, постоянно указывает на обязанность каждого делать ближайшее дело. Он совмещает в себе пылкого идеалиста с здравомыслящим реалистом. Такое настроение, объединяющее горячий идеализм с практическим реализмом, Карлейль называет *верой*; отсутствие же подобного настроения, неспособность проникнуться им приводят к *безверью*, на которое он нападает самым жестоким образом.

Чтобы понять и надлежащим образом оценить эти беспощадные нападки Карлейля на скептицизм, безверие и, в частности, XVIII век, следует принять во внимание исторический момент его появления. Он

родился (1795 г.), когда Великая французская революция, совершив свое разрушительное дело и как бы истощив все свои силы в попытках создать положительные учреждения, потерпела, в свою очередь, крушение. Для нового порядка, с его девизом "свобода, равенство и братство", нужны были и новые общественные элементы, но их не оказалось. Правда, старый порядок со всем его мишурным блеском не мог уже возвратиться, но не мог наступить и действительно новый, тот новый, который среди ужасов и крови возвестила собственно Французская революция. Наступил такой порядок, какой мог наступить по совокупности всех условий общественной жизни, наступило господство буржуазии. Конечно, буржуазия не могла симпатизировать принципам Великой французской революции, и потому первая четверть XIX века носит печать всеобщей реакции. В эту-то именно эпоху и складывалось мировоззрение Карлейля. Реакция задела и его. Но каким образом? Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с Карлейлем, согласится, что трудно указать более пылкого, более непримиримого, более неподкупного врага всего плоского, пошлого, шаблонного, всего мещанского, буржуазного в любой сфере мысли и жизни. Реакция задела его, но это был гений, а гений не может работать на пользу пошлого и шаблонного. Реакция заставила его глубже заглянуть в причины краха и превратила его в горячего обличителя, в своего рода ветхозаветного пророка на арене современной жизни. Разрушительная работа совершена; ложные боги повержены и разбиты; но для того чтобы создавать, надо располагать известным положительным содержанием. Вместо же него Карлейль нашел неограниченное господство скептицизма в области мысли и пессимизма — в области общественной нравственности. Скептицизм и пессимизм людям буржуазного склада не мешал, конечно, да и никогда не мешает, предаваться радостям жизни, но для людей искренних — это поистине проклятие, убивающее здоровье, жизненное чувство и извращающее мысль. И Карлейль восстал против скептицизма и пессимизма и т. д., против всего, что можно назвать одним словом "безверие" во всяких формах и во всяких сферах мысли и жизни. Затем он уже одинаково беспощадно преследует это безверие, все равно, встречается ли он с ним в лагере, скажем вообще, прогрессистов или ретроградов, и, наоборот, приветствует *веру*, лишь бы она была искренней, повсюду, отодвигая на второй план формы.

Обратите при этом внимание на громадное значение, какое Карлейль придает *молчанию*. Людям, которым по разным обстоятельствам поневоле приходится больше молчать, как-то даже странно читать это прославление великого царства молчания. Но в устах Карлейля оно получает глубокий смысл. Да, молчание — великое дело, но не молчание вынужденное, когда душа человека пылает гневом и негодование просится наружу, а молчание перед тем, чего никакое слово не может передать надлежащим образом. Такое молчание избавляет человека от бесплодных попыток выразить невыразимое, от построения разных догматических утверждений, от пустой игры словами и т. д.; оно приподымает настроение, расширяет поле умственной свободы и делает человека более независимым. Молчание составляет также один из основных элементов Карлейлевой религии.

Еще два слова о мистицизме Карлейля. Всякая вообще религиозность близко соприкасается с мистическим, с тем, что лежит за пределами точного знания. И до известной степени в нем повинен всякий, кто решается переступить через грань, отделяющую познаваемое от непознаваемого. Суть в том, чтобы мистицизм не становился чем-то самодовлеющим, или, быть может, вернее сказать, самозабавляющимся. По меткому выражению Тэна, мистицизм Карлейля — это дым от пылающего огня. Поэтому подойдите к нему с подветренной стороны, и он не причинит вам никакого беспокойства.

Политические и общественные воззрения Карлейля могут вызвать у недостаточно внимательного читателя массу недоразумений. Конечно, и при внимательном чтении с ними можно не соглашаться, но только невежество и явное нежелание понять станут доказывать, что Карлейль — приверженец старых форм жизни, ретроград и т. д. Чтобы бросить некоторый свет на общественные взгляды великого мыслителя-поэта, иногда действительно радикальным образом расходящиеся с установившимся шаблоном прогрессивного и регрессивного, мы приведем ниже следующее весьма характерное его описание современного положения человечества.

Все человечество, говорит он, распалось в настоящее время на две секты: *щеголей* (*dandies*) и *каторжников* труда, называемых также белыми неграми, лохмотниками и т. д. Какого верования придерживаются первые, определить довольно трудно; но, несомненно, они причастны к монотеизму и разделяют суеверие афонских монахов, которые, благодаря продолжительным постам и упорному созерцанию своего пути, начинают смотреть на него как на истинное откровение природы и отверстые небеса. В сущности, секта щеголей придерживается первоначального культа самообожания, измененного и приспособленного соответственно требованиям новейших времен. Они тщательно охраняют свою обособленность и чистоту; носят особый костюм, говорят на особом языке и вообще всеми мерами стараются поддержать свое положение и свою непорочность. У них есть свои храмы, поклонение в которых совершается главным образом по ночам, но все ритуалы держатся при этом в величайшем секрете; по всей видимости, они имеют много общего с элевсинскими\*. Священные книги, которых имеется вообще достаточно, называются у них "*Модными новостями*". Главные пункты их верования: панталоны на бедрах должны сидеть, насколько возможно, в обтяжку; при некоторых исключительных обстоятельствах разрешается носить белые жилеты; человек хорошего тона ни под каким видом не должен отличаться излишней плодовитостью, приличествующей лишь готтентоту, и т. д. Удивительную противоположность щеголям представляет другая секта, главный центр которой находится в Ирландии. Секта несчастных рабов, или каторжников труда, до сих пор еще не издала своих канонических книг, и потому довольно затруднительно говорить об ее верованиях. Она придерживается до некоторой степени монашеского устава; так, все рабы связаны двумя обетами: обетом бедности и повиновения, которые они блюдут с великой строгостью; мало того, они дают свои обеты даже до появления еще своего на свет Божий. Их можно считать поклонниками Герты\*, богини земли, так как

они вечно роятся в ней и с любовью обрабатывают ее; или же, запираясь в частных молельнях, размышляют и производят разные манипуляции над продуктами, извлеченными из недр ее; иногда они поднимают свои взоры и смотрят на небесные светила, но, по-видимому, довольно безучастно. Подобно друидам, они живут в мрачных помещениях, причем нередко нарочно разбивают стекла в окнах (там, где таковые водятся) и затыкают дырья тряпьем и всякой всячиной, не пропускающей света. Все они — ризофаги, т. е. питаются кореньями; некоторые же ихтиофаги, употребляющие, впрочем, только селедку; от всякой же другой животной пищи они воздерживаются, кроме падали, что, быть может, представляет странный остаток браминского учения. Всеобщим и главным предметом их потребления служит корень, называемый картофелем, который они варят на огне. Напиток виски, содержащий в себе концентрированный алкоголь вместе с разными едкими маслами, составляет, как говорят, необходимую принадлежность всех их религиозных церемоний и потребляется в большом количестве. Одежда их представляет целый ворох разных лоскутов всевозможных форм и цветов; все это соединяется посредством пуговиц, узлов и спиц, а поясом служит кусок кожи или даже просто соломенная веревка.

Таковы два лагеря, на которые разбилось современное человечество, по мнению Карлейля. В каких же отношениях находятся они между собою? Они преисполнены, говорит он, взаимной ненависти и несогласия. До сих пор нам приходилось быть свидетелями лишь отдаленных и, во всяком случае, незначительных последствий их вражды. Но основные принципы этих сект, с одной стороны, принцип щегольского самообожания, а с другой — трудового поклонения земле, коренятся в жизни человечества и рано или поздно приведут к жестокому столкновению. Я назвал бы, говорит Карлейль, обе эти секты двумя громадными, не имеющими себе ничего подобного электрическими батареями, из которых одна заряжена отрицательным электричеством — это секта каторжного труда, а другая — положительным — это щеголи; первая притягивает к себе все отрицательные элементы, обретающиеся в народе (голод); вторая — положительные (деньги). До сих пор мы видели только слабые искорки и слышали глухое потрескивание. Но подождем, пока не наэлектризуется все человечество, пока вся существующая электрическая сила, выйдя из нейтрального состояния, не распределится между двумя крайними полюсами: отрицательным и положительным. Когда две чудовищные батареи, две половины мира будут таким образом заряжены, то достаточно будет малютке прикоснуться пальцем, чтобы... Что произойдет тогда?

Карлейль, проникавший в самую глубину социальной дисгармонии, не мог, конечно, успокоиться на внешних паллиативах и полурешениях. С той точки зрения, на которой он стоит, политические вопросы получают второстепенное значение. Он и отодвигает их и затем критикует парламентаризм со своей *абсолютной* точки зрения. Этого не следует забывать. Парламентаризм бессилен разрешить основную общественную проблему, проблему установления, как он выражается, Царства Божьего на земле; ее может разрешить, по его мнению, только герой, самый *способный* человек, и только при одном условии: если масса



людей, так сказать, *героически* настроена. Затем Карлейль сопоставляет своего всесильного героя — воображаемого или действительного — с бессильным парламентом; но нигде вы не встретите, чтобы он отдавал преимущество обыденному, негероическому правителю перед заурядным же парламентом. Можно, конечно, не соглашаться с Карлейлевой критикой парламентаризма и его выводами, но следует прежде всего понять, о чем, собственно, он говорит, во имя чего критикует и отрицает. "Свобода", по мнению Карлейля, воплощенная в надлежащие общественные формы, не может иметь ничего общего со свободой умирать от голодной смерти, "свобода" же, которая примиряется с этим фактом, немного стоит. Читатель, следящий за современными европейскими событиями, я думаю, хорошо знаком с подобными теориями, хотя бы они и были основаны на совершенно иных принципах.

Аристократия и демократия у Карлейля также имеют свое особенное значение. Аристократия — это все лучшее, благороднейшее, все отважное; то же, что мы обыкновенно считаем аристократией, он представляет нам в виде секты щеголей; это люди, которые берут от мира заработную плату, но не делают дела, возлагаемого на них. Демократия воплощает в себе, так сказать, все отрицательные элементы, ниспровергающие рутину и отжившие порядки; но на этом она не может остановиться; в дальнейшем своем развитии она должна выдвинуть положительные, созидательные принципы, должна найти своего героя или своих героев, которые и образуют настоящую аристократию.

Мы уже выше заметили, что *труду* Карлейль придает религиозное значение: труд человека и есть его религия, его образ поклонения — "laborare est orare"\* . Поэтому вопрос об "организации труда" он считает величайшим вопросом, и вся задача будущего сводится, собственно, к правильному разрешению этого вопроса. Он восстает против теории "laissez faire"\* и говорит, что если она имела значение в свое время, то теперь, напротив, повсюду чувствуется необходимость упорядочить и урегулировать экономические отношения, зреет мысль о необходимости *настоящего* (т. е. прежде всего, справедливого) правительства. Он высказывается также против мальтузианства с его "нравственным" воздержанием и со своей стороны, как на временном разрешении вопроса, останавливается на широком распространении народного образования и эмиграции. Несмотря на все нападки на парламентаризм, он приветствовал агитацию в пользу Билля об избирательной реформе как первый шаг к ниспровержению старого порядка вещей. Незадолго до смерти он (по свидетельству нашей соотечественницы из лагеря аксаковской "Руси") сильно издевался над королевой Викторией за ее "турко-биконсфильдство"\* . Значит, не над одной парламентской говорильней он издевался... Да и как он, человек, с религиозной серьезностью относившийся к жизни, мог бы симпатизировать парламентам, в которых первую роль разыгрывают гг. Биконсфильды!..

"Наш мир, — говорит Карлейль, — есть лепет горького труда и бесконечной борьбы с житейской неправдой; одни дураки и корыстные слуги своего чрева пытаются представить его в виде какой-то арены тихого предстояния и земных радостей, хотя бы для предстоящих и будущих поколений... Человек силится уверить себя и других, что разум

его необыкновенно ясен, что деятельность его плодотворна, подобно солнцу, что родники чего-то великого ключом бьют в груди человеческой, что его цель в жизни — работать весьма немного, болтать чрезвычайно много и пожинать всякого рода радости. Такое самообольщение — чистый вздор. Разум человека неясен и шаток; на одного плодотворного деятеля в среде людей приходится тысячи, миллионы служителей мрака... Родники великих помыслов в груди человека — одно самообольщение; радости, к которым предназначен смертный, — яблочки с берегов Мертвого моря"... Однако есть в человеке "и лучшее начало, есть для него идея, которой он неукоснительно служит даже в самые тяжкие эпохи своего неразумия. Идея эта — бессознательное поклонение силе правды... Как утопающий простирает свои измученные руки ко всякому подобию опоры, так человеческое общество судорожно тянется ко всему, что обещает ему спасение!" Истинный герой и является таким спасителем.

Не следует думать, однако, говорит Карлейль, что "жизнь всякого истинного вождя человечества должна заключаться в полной свободе ломать мир по произволу и совершать свой благотворный путь посреди рабелепных изъятий восторга со стороны покорного человечества"... "Горе ему (герою), если он обратит повиновение людей в оружие своих корыстных целей; горе ему, если он отступит от необходимости принять мученический венец за свои убеждения; горе ему, если он посмотрит на жизнь, как на источник радостей или на поле для своего возвышения! Настоящий герой — всегда труженик... Его высшее звание — слуга людей. Он — первый рабочий на поденном труде своих сограждан, первый мститель за неправду, первый восторженный ценитель всего благого. Если герой — царь, то ему нет покоя, пока хоть один из его подданных голодает; если он мыслитель — ему нет отдыха, пока хоть одна ложь считается неложью. Из этого ясно, что деятельность его не терпит остановок, что он вечно стремится к недостижимому идеалу. Если он хотя бы раз уклонился от избранного пути, он уже согрешил, если он хотя бы раз поставил свое личное я выше интересов общих, он уже не герой, а служитель мрака".

Но о взглядах Карлейля на "героев" мы не станем здесь распространяться. Обратимся к его книге "Герои, почитание героев и героическое в истории", она — одно из лучших его произведений и в свое время наделала в Англии немало шума. Дело в том, что Карлейль, как истый англичанин, не только является сторонником индивидуализма, но и доводит его до крайних логических выводов. Он выступил со своим протестом во имя личности в то время, когда *массам*, в смысле общественного фактора, стали придавать первенствующее значение, когда роль великих людей в истории была доведена до нуля, когда, одним словом, культ "героев" стал, по-видимому, вытесняться культом "массы". Такое или иное отношение к "героям" и "массе" имеет существенное значение не только при истолковании исторических явлений, но и для внутренней жизни всякого отдельного человека. Бывают времена, когда "все" становится до известной степени героями, когда вся "масса" нравственно приподнята, когда она подхватывает даже людей совсем отсталых и трусливых и увлекает их за собой; такой "массой" можно

мотивировать свои поступки, не рискуя впасть в противоречие с вечными идеалами правды и истины и дойти до мечтания о пошлом мещанском благополучии. Но гораздо чаще бывают иные времена, когда серенькая будничная масса, всецело погруженная в житейские заботы, не только не может воодушевлять человека своим примером, своими желаниями и стремлениями, а, напротив, отымает у него "пыл души", расхолаживает стремление к идеалу и принижает до себя. Такую "массу" человек не может поставить во главе дела и своего нравственного идеала, и он ищет иной опоры. Карлейль указывает ее: это — *личность*, это — *герой*. Оставляя в стороне спорный вопрос "о героях и массе", как двух противоположных исторических теориях, всякий согласится, что Карлейль влияет самым благотворным образом в смысле подъема нравственного самочувствия тем, что, проникая в самое сердце человека, заставляет его стряхнуть с себя апатию, отрешиться от жалкого прозябания и, *вопреки* всему, устраивать свою жизнь сообразно своим убеждениям. Если он не сумеет убедить вас в правильности своих воззрений, то во всяком случае он заронит в ваше сердце искру божественного огня, искру нелицемерного стремления к правде в своей жизни.

Мы думаем, что для нас, русских, особенно в настоящую пору, Карлейль может иметь такое же значение, какое он имел для англичан в свое время. Впрочем, нельзя сказать — "имел"; влияние его в Англии не уменьшается и ныне; по крайней мере, остается еще открытым вопросом: следует ли его считать *пророком* новейших времен или же безжалостная волна забвения унесет и его? Что же Карлейль сделал для Англии? Послушайте, как относится к нему Джон Стюарт Милль, человек совершенно противоположного склада ума и совершенно иного характера и преследовавший иные общественные задачи. Миллю, как известно, также пришлось переживать мучительный процесс внутреннего разлада, когда опора всей жизни колеблется и человек чувствует себя потерянным среди мира. В это время он усвоил себе теорию жизни, которая далеко не походила на его прежнюю и имела много общего с неизвестной ему еще в то время антирационалистической теорией Карлейля. "Первоначальные произведения Карлейля, — говорит он, — были одними из проводников тех влияний, которые расширили мои прежние узкие мнения". "Но, — продолжает он, — я не только сразу не научился ничему у Карлейля, но стал понимать его сочинения только по мере того, как некоторые из проповедуемых им истин начали уясняться мне через другие источники, более соответствовавшие внутреннему строю моего ума. Тогда действительно необыкновенная сила, с которой он высказывал эти истины, произвела на меня глубокое впечатление, и я в продолжение долгого времени был одним из самых пламенных его поклонников"... "Однако я не чувствовал себя компетентным судьей Карлейля. Я сознавал, что он поэт и созерцательный мыслитель, а я нет и что, в качестве того и другого, он видел раньше меня не только предметы, которые я лишь по чужому указанию мог определить опытным путем, но, вероятно, и еще многое другое, что для меня было невидимо даже при указании. Я чувствовал, что не мог вполне объять его, а тем менее быть уверенным, что вижу далее его, а потому я никогда не осмеливался судить его вполне". Карлейлеву. "Историю французской

революции” Милль приветствовал в своем журнале “как гениальное произведение, стоявшее выше всех общепринятых, рутинных мнений”. “Sartor Resartus” он считает лучшим и величайшим произведением Карлейля и читает его “с восторженным энтузиазмом и пламенным наслаждением”. А между тем Милль, безусловно, расходился с Карлейлем по капитальнейшим вопросам: по вопросам о религиозном скептицизме, утилитаризме, демократии, теории образования характера обстоятельствами, важном значении логики, политической экономии и т. д.

Карлейль воспитал в Англии целое поколение энергичных общественных деятелей, бодро делающих свое дело на различных поприщах общественной жизни. Он совершил для Англии, можно сказать, гигантскую работу; он вызвал на бой пессимизм, байронизм и тому подобные расслабляющие человеческую энергию учения и ниспроверг их. Один из выдающихся современных английских деятелей в области литературы и общественной жизни, Джон Морлей, говорит, что он положил конец увлечению байронизмом и призвал англичан к деятельной жизни. Заслуга немалая.

Одним словом, Карлейль — английский Руссо по силе своих чувств и страстей, а по глубине своей мысли он выше Руссо\*. Но своеобразная манера писать и его язык долго служили камнем преткновения для широкого распространения его сочинений. Всякому, кто в первый раз читает его, приходится делать над собой некоторое насилие, пока он не освоится с этим языком и не научится ценить его особенностей.

Великий английский мыслитель-художник становится нужен нам не просто ради своеобразной красоты, своего исторического значения и т. п., а ради тех мыслей, которые выдвигает и защищает он, ради того ориентирования в ходе современной жизни, которое он дает... Когда происходит крушение самих материальных основ общественной жизни, выражающееся в массовой безработице, голодовке, ужасающем количестве ежедневных самоубийств, тогда опору для жизни и деятельности приходится искать в самых глубоких глубинах человеческого сердца. Мысль Т. Карлейля работает всегда в этой сфере. Вы можете быть с ним или против него, но вы всегда чувствуете, что находитесь в атмосфере, где исследуются и решаются вопросы жизни.

Отметим наиболее капитальные из произведений Карлейля: “Sartor Resartus” (написан в 1831 году), “Французская революция” (1837), “О героях, почитании героев и героическом в истории” (1840), “Чартизм” (1846), “Прошлое и настоящее” (1843), “Письма и речи Оливера Кромвеля” (1845), “Памфлеты” (1850), “История Фридриха Великого” (1854—1864) и целый ряд неподражаемых биографий: Шиллера, Новалиса, Бёрнса и т. д.

ИЗ КНИГИ ДЖ. САЙМОНСА  
"ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ. ЖИЗНЬ И ИДЕИ ПРОРОКА"

(Лондон, 1952). Пер с англ. Е. Сквайрс

*"Людам будущего трудно будет объяснить себе, по одним книгам, личным симпатиям и антипатиям, почему этот мыслитель обрел такую власть над нашей эпохой, каким образом он придал свой особый колорит и нашим идеям, и нашему стилю мышления. Во всяком случае, я не берусь определить его влияние на меня. Но невозможно нарисовать хотя бы и неполной картины середины и конца девятнадцатого столетия без того, чтобы Томас Карлейль не занял в ней заметного места" (Уолт Уитмен)*

Ценность сочинений пророка-моралиста, каким был Карлейль, зависит прежде всего от того, насколько он способен постигать происходящие вокруг него события. Чистый визионер, такой, как Бёме или Блейк, может позволить себе прятаться в коконе своего видения: у него нет никакой активной идеи, которую он хотел бы донести, он лишь сообщает свое мистическое переживание. Однако писатель, который, подобно Карлейлю, стремится заложить общие принципы человеческого поведения и даже предлагает социальные преобразования, должен исходить из реальности, приемлемой для всех нас... Как гранитный монумент, стоял он, олицетворенный упрек, с презрением и гневом указуя пальцем на современное общество, спутавшее душевное здоровье с материальным благополучием. Такому обществу он служил своего рода компенсацией, грозным, но и утешительным напоминанием, что существует шкала моральных ценностей, которые можно было хотя бы уважать на словах, даже если на деле их игнорировали. Эмерсон метко заметил, что общество держит пророка в качестве "своего рода переносного церковного колокола, который оно любит показывать тем, кто о нем не знает, и звонить в него". Когда колокол, оглушая слушателей, призывал их забыть своих фальшивых торгашеских кумиров и поклониться могиле истинного героя, те, кто звонил в этот колокол, приходили в восторг. Лишь немногие серьезно внимали его звону, но те, кто останавливался его послушать, были рады убедиться в его существовании... Карлейль был пророком, почитаемым всей Англией...

Влияние XIX столетия на Карлейля было, несомненно, велико, хотя правда также и то, что между ними существовало взаимодействие, то есть что и Карлейль оказал влияние на современное ему общество. Карлейль говорил о "гнете дурной эпохи" на Свифта, и, разумеется, в какой-то степени общество всегда влияет на своих художников. Но только с началом второй трети XIX века искусство в Англии начинает все менее выражать чувства народа, а все более превращается в продукт, специально выработанный для массового употребления, в то время как

собственно "искусство" становится кастовой привилегией. Переход этот был в викторианской Англии медленным, но тем не менее он совершался. И внутренний и общественный гнет заставил Карлейля избрать столь необычный стиль, который символизировал одновременно его внутреннюю смятенность и раскол общества. Под этим гнетом человек, веривший, что он должен сообщить пророческую истину, прибег к форме выражения, которая иногда напоминала Ирвинговых прорицателей\*, вещавших на непонятных языках...

Язык Карлейля — единственный в своем роде во всей английской прозе. Он одновременно обескураживает простотой и разговорностью и поражает обилием изощренных метафор; слова-связки пропущены, чем достигается большая сила и выразительность; слова переставлены в предложении на первый взгляд без всякого смысла, но это неизменно служит усилению выразительности и делает язык более сжатым, напористым; части речи теряют свои обычные функции и образуют новые, фантастические сочетания. Это язык, не имеющий ничего общего с тем, что во времена Карлейля считалось правильной английской прозой: он необуздан, как само беспорядочное многообразие жизни, в то время как в моде был классицизм; в одном абзаце, даже часто в одном предложении неожиданно оказываются рядом неологизмы и сложные слова, необычные прозвища... и фантастические метафоры; все это пронизано юмором — изысканным и шутовским одновременно, бьющим через край. Этот стиль оказал огромное влияние на всю литературу XIX столетия. Так же как Вордсворт и Колридж покончили с классицистским штампом в поэзии, так Карлейль уничтожил его в прозе. Он придал небывалую до того свободу и гибкость историографии, а романистам показал, что можно о самых сложных и серьезных вещах писать метафорически. В особенности Диккенс, Мередит, Браунинг и Рёскин обязаны Карлейлю, да не найдется, пожалуй, такого писателя во второй половине прошлого века, который в той или иной степени не испытал бы его влияния...

Причина, по которой Карлейля читают сегодня, состоит, помимо чисто биографического интереса, в его общественном призыве. Однако этот призыв интересен не как боговдохновенное пророчество (как представлял себе сам Карлейль), но как объяснение происходивших тогда общественных процессов, более близкое к их сути, чем у большинства его современников. Понятый буквально, подход Карлейля к проблемам общества выглядит весьма странным. Он и сам приходил в негодование, когда ему говорили, что по нему выходит, будто сильный всегда прав: его мысль, отвечал он сердито, заключается в том, что правда — "вечный символ силы". Таков был принцип, на котором, согласно Карлейлю, держался смысл истории.

Никому так и не удалось ответить на вопрос, заданный Эразмом Дарвином: "В конце концов, что за религия такая у Карлейля? — да есть ли она у него вообще?" Карлейль неоднократно повторял до самого конца жизни, что Гиббон открыл ему ложность ортодоксального христианства; он не верил в воскресение души; за исключением минутного колебания перед самой своей смертью, он всегда считал большим благом отрицание ада. За много лет он ни разу не вошел в церковь. И все же: "Я чувствую глубоко в себе слабую, но неистребимую искру веры в то, что есть "особое Провидение". Я верю в это, и как будто искренне — к собственному своему удивлению".

Его выводы относительно природы и праведного устройства общества были таковы, что вполне могли быть сделаны атеистом. Но найдя

верный ответ, он немедленно ставил на нем печать божественного одобрения. Его интеллект трудно постигал новое, но поражал широтой осмысления и глубиной познаний. Благодаря этому, а также обстоятельствам своих ранних лет он приобрел такую глубину проникновения в природу общества, с которой его религиозные представления или упования никак не были связаны. В эпоху, когда политэкономы думали, что промышленная революция автоматически приведет к благоденствию, он понял, что она влечет за собой свержение устоев общества. В эпоху бесконечных отвлеченных споров о том, какая степень свободы допустима для индивидуальной личности, он увидел, что свобода достигается одним социальным классом за счет другого и что она не отвлеченная идея, а конкретная реальность.

Таковы истины о природе общества, которые добыл Томас Карлейль, добыл путем умственного постижения и логических рассуждений. Этими истинами можно воспользоваться по-разному. Карлейль повернул их от уважения к народным массам к неверию в них, от ненависти к проводящей время в забавах аристократии — к надежде, что в ее недрах когда-нибудь вырастут спасители Англии. Все это с грустью приходится отмечать, и все же это не умаляет открытых им истин. Он потер не ту лампу, но волшебник он был настоящий...

Известие о его смерти вызвало отклики во всем цивилизованном мире. То была дань почтения мыслителю, нравственному учителю, провидцу; но также это была и дань человеку, чья жизнь, по мнению многих, воплощала основные моральные ценности XIX века — трудолюбие, мужество и, главное, — непогрешимую честность, — которые, по тогдашнему убеждению, были залогом душевного покоя и чистой совести.

В книгу включены важнейшие произведения Томаса Карлейля (1795—1881), благодаря которым он вошел в историю человеческой мысли как яркий и своеобразный писатель-моралист, чьи идеи высоко ценили или находились под их влиянием такие его современники, как Диккенс и Рёскин, Уитмен и Эмерсон, Герцен и Толстой. О чем бы ни писал Карлейль и в каком бы качестве он ни выступал — историка или остросовременного памфлетиста, ученого-литературоведа или эссеиста, — главным для него было нравственное измерение рассматриваемых им проблем. Эту направленность его творчества пронизательно подметил Гёте еще в 1827 г., когда Карлейля мало кто знал на его родине и он занимался переводами и пропагандой видных немецких писателей того времени: "Больше всего меня удивляет и восхищает в Карлейле то, что, судя о немецких писателях, он во главу угла неизменно ставит наиболее важное — нравственное зерно. Перед ним открывается большое будущее, и сейчас даже трудно предвидеть, что он совершит и каково будет его воздействие в дальнейшем" (*Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни.* М., 1981. С. 538). Гёте не ошибся. Не прошло и десяти лет, как о Карлейле широко заговорили в Англии, а затем и в других странах. В России главнейшие произведения Карлейля были переведены в конце прошлого — начале нынешнего века и до сих пор (за исключением книги "Французская революция. История") не были переизданы. В настоящем издании эти переводы уточнены, сверены с оригиналом, восстановлены не включенные по тем или иным причинам места. Книга снабжена послесловием, в которое вошли материалы, написанные нашим лучшим дореволюционным знатоком и переводчиком Карлейля Валентином Ивановичем Яковенко, автором вышедшей в знаменитой серии Ф. Ф. Павленко о жизни замечательных людей книги "Т. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность" (Спб., 1891), и современным английским биографом Карлейля Джулианом Саймонсом.

## ГЕРОИ, ПОЧИТАНИЕ ГЕРОЕВ И ГЕРОИЧЕСКОЕ В ИСТОРИИ

В конце 1830-х гг. Карлейль прочитал несколько циклов публичных лекций, вызвавших большой интерес у аудитории. Последний из этих циклов, состоящий из 6 лекций (в русском переводе "бесед"), прочитанных им 5, 8, 12, 15, 19 и 22 мая 1840 г., был записан сразу после прочтения и издан отдельной книгой в 1841 г. под названием "О героях, почитании героев и героическом в истории" ("On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History"). И хотя, по свидетельству очевидцев, лекции в записи несколько проигрывали (Карлейль был прекрасным импровизатором), именно после этой книги он стал широко известен как оригинальный нравственный проповедник и даже пророк. На русском языке вышли три издания книги: в 1891, 1898 и 1908 гг. (все три в переводе В. И. Яковенко), причем первые два под названием "Герои и героическое в истории". Вокруг книги развернулась полемика и у нас, и на Западе. Вот, например, как оценивал ее основную идею известный французский философ и историк И. Тэн с его трезвым ("типологическим") подходом к историческим, прежде всего духовным, явлениям, который зачастую оставался в рамках позитивистской социологии ("Тэн — вообще реалист", — высказался однажды о нем В. В. Розанов): "И ангелы, и скоты — создание одного творца, и идеальный героизм, как и всякая крайность, разрешается столбняком. Человеческой природе свойственны порывы, но с пере-



рвами: мистицизм хорош, когда он непродолжителен. Только потрясающие события вызывают крайнее возбуждение. Нужны великие бедствия, чтобы явились великие люди, и, если вы жадете узреть спасителей, ищите кораблекрушений. Если энтузиазм прекрасен, то причины и результаты его печальны, он только кризис, а здоровье дороже" (*Тэн И. История английской литературы. М., 1904. Т. 5. С. 236*). Напротив, некоторые представители русской интеллигенции пытались протянуть нить от романтической историографии Карлейля с ее "героями духа" к идеям обновления России на основе духовности (выявления и развития в личности ее духовных глубин, связанных с моралью, религией, искусством). Вот что писал о книге Карлейля в письме к брату будущий организатор сборника "Вехи" М. О. Гершензон: "Я думаю, что единственная необходимая строка во главе моего письма была бы та, которая заключала бы в себе название книги, которую я отодвинул от себя для того, чтобы писать письмо. В таком случае вместо слов: "Москва. 28 февр. 1892. Пятница. 9 часов вечера" — я должен написать: "Карлейль. Герои"... В особенности же я должен это сделать сегодня, когда пишу под впечатлением лучшей книги, которая мне была нужна теперь и которая будет моим Евангелием, моей доброй вестью. Каждая книга на каждого из нас влияет тем сильнее, чем больше опорных точек она находит в запасе наших собственных мыслей" (*Гершензон М. О. Письма к брату. М., 1927. С. 13*). В одной из своих ранних работ Н. А. Бердяев выступил против попыток истолковать книгу Карлейля о героях в духе субъективно-социологических идей русского народника Н. К. Михайловского. "Это увлекательное в художественном и этическом отношении произведение, — писал он, — но его нельзя сравнивать не только с социологическими воззрениями г. Михайловского, который прямо высказывается против Карлейля и культа героев, но и с какими бы то ни было социологическими теориями, так как Карлейль... принадлежит к тому же типу писателей, что и Лев Толстой, Фр. Ницше, Дж. Рёскин и т. п. ... Мы... должны признать его одним из крупнейших художников-мыслителей, пожалуй, даже религиозных проповедников нашего века. Нужно обладать большим узкообразием, чтобы отбросить Карлейля как никуда не годного писателя на том только основании, что он не выдерживает критики "экономического материализма" (*Бердяев Н. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. Спб., 1901. С. 205*). И на склоне лет в философской автобиографии Бердяев писал о том потрясении, которое он испытал при чтении этой книги Карлейля, повлиявшей на его духовное развитие (см.: *Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 88—89*).

Текст книги публикуется по изданию: *Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. 3-е изд. Спб., 1908*. В нем в соответствии с английским оригиналом восстановлены фрагменты, опущенные или переформулированные переводчиком явно по цензурным соображениям. Все они отмечены в примечаниях.

С. 9\* Речь идет о вышедшей в Лондоне в 1800 г. книге "An Account of an Embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet, containing a Narrative of a Journey through Bootan and Part of Tibet" ("Отчет о посольстве в Тибет ко двору Тешоо-ламы, содержащий повествование о путешествии через Бутан и часть Тибета"). Ее автор — капитан Сэмюэл Тернер, состоявший на службе в Ост-Индской компании. Книга сразу после ее выхода была переведена на французский и немецкий языки.

С. 10\* В своей повести "Путешествие пилигрима" (или "Путь паломника") (1678) английский писатель Джон Беньян в аллегорической форме, исходя из пуританских представлений, изображает человеческую жизнь как поиски некоего "небесного града" (высшей правды) через преодоление разного рода искушений, соблазнов, опасностей. Под впечатлением от повести Беньяна А. С. Пушкин написал стихотворение "Странник" (1835), в котором в поэтической форме изложил ее начало.

С. 12\* *Канопус* — звезда первой величины (видна в Южном полушарии), по степени блеска вторая после Сириуса.

С. 13\* *Скинния завета* (скинния откровения) — в Ветхом завете святилище (в виде шатра), которое соорудил Моисей во время странствования по пустыне по требованию Бога как место его постоянного "присутствия" ("святые святых");

в иудаизме "шехина" (пробывание) обозначает одно из имен Бога, олицетворяющее его присутствие в мире.

С. 14\* *Könnig, Canning* — человек, который может или знает (ср. немецкое *können* и английское *can* — мочь). Древненорвежское *konung* (конунг) означает "военачальник".

С. 16\* Имеется в виду биография известного английского писателя и ученого-лексикографа Сэмюэла Джонсона ("Жизнь Сэмюэла Джонсона", 1791), написанная Джеймсом Босуэллом.

\* Речь идет о деле тулузского коммерсанта Жана Каласа, гугенота (протестанта), обвиненного в убийстве одного из своих сыновей из религиозных соображений (за якобы переход в католичество). Калас был казнен в 1762 г., его жена и другие сыновья посланы, дочери заточены в монастырь. За дело Каласов горячо взялся Вольтер и добился признания их невиновности (в 1765 г.). Он опубликовал ряд брошюр в защиту Каласов. Известен его памфлет "Трактат о веротерпимости в связи с гибелью Жана Каласа".

С. 17\* *Один* — верховный бог (или главный ас) в скандинавской мифологии (в германской ему соответствует Водан, или Вотан). Первоначально это бог — покровитель воинских союзов (дружин) и бог-колдун. Изображался как хозяин вальхаллы — царства мертвых для павших в бою смелых воинов.

С. 19\* *Асгард* (букв. "ограда асов") — в скандинавской мифологии небесное селение, крепость, где живут боги (асы). *Этунхейм* (или Утгард) — холодная каменная страна на окраине земли, где живут этуны (великаны), древние исполины, появившиеся раньше богов и людей и представляющие стихийные, демонические природные силы.

\* *Локи* — в скандинавской мифологии бог (ас), проявляющий хитрость и коварство, он принимает разные обличья, насмехается над другими богами, строит козни, выступает посредником между богами (асами) и великанами (этунами).

\* *Инеистые великаны* (хримтурсы) — прямые потомки первого великана и первого антропоморфного существа Имира, из тела которого затем произошел весь мир, участники космогонического процесса, как он изображен в скандинавской мифологии.

\* *Донар* (ср. немецкое *Donner* — гром) — в германской мифологии бог-громовник, в скандинавской ему соответствует Тор.

\* *Бальдр* — любимый сын Одина, образ страдающего божества. Ему предсказана смерть, и его всячески ограждают от всего, что может стать орудием убийства. Тем не менее он погибает от рук слепого великана Хёда, и его смерть изображается эсхатологически — как предвестие гибели богов и всего мира (Рагнарёк).

С. 21\* Это слово образовано от названия страны исполинов Бробдингег (Бробдинья), в которую попадает Гулливер во второй части сатирического романа Дж. Свифта "Путешествия Гулливера" (1726).

\* *Иггдрасиль* (букв. "конь Игта", или "конь Одина") — образ, выражающий универсальную концепцию мироустройства (пространственную модель мира) в скандинавской мифологии. Это гигантский ясень, пронизывающий все части мира — небо, землю, преисподнюю — и соединяющий их, выступает как основа мира, древо жизни, судьбы.

\* *Хель* (Гела) — в скандинавской мифологии название подземного царства мертвых, расположенного под одним из корней дерева Иггдрасиль, и имя хозяйки этого царства. Оно противопоставлено небесному царству мертвых (вальхалле), предназначенному для избранных.

С. 23\* "*Хеймскрингль*" (или "Круг земной") (ок. 1225—1230) автора "Младшей Эдды" Снорри Стурлусона — это свод саг о норвежских королях, начиная с легендарных времен и кончая 1177 г.

С. 24\* Имеются в виду, по всей вероятности, изыскания основателя германской филологии Якоба Гримма (см. также с. 19), нашедшие отражение в его обобщающем труде "Германская мифология" (1835). Этими же проблемами занимался его брат германист Вильгельм Гримм, автор книг "О германских рунах" (1821), "Германская героическая сага" (1829).

\* "*Опыт о языке*" (точнее, "О происхождении языков" — "Essay on the Origin of Languages") Адама Смита представляет собой дополнение к 2-му

изданию его книги "Теория нравственных чувств" ("Theory of Moral Sentiments") (1759).

С. 26\* *Пояс Венеры* — в греческой мифологии предназначенный для Зевса и переданный Венерой Гере пояс обольщения, в котором заключены любовь, желания, все, что способствует соблазну.

\* *Атагуальпа* (Атауальпа) (1500—1533) — последний правитель инков (верховный инка). Государство инков (Тауантинсуйу) занимало территорию современных Перу, Боливии, Эквадора, Северного Чили и Северо-Западной Аргентины и было завоевано испанцами в 1532—1536 гг. Атагуальпа был казнен, хотя и уплатил завоевателям огромный установленный ими выкуп.

\* *Dios* — Бог (*исп.*).

С. 30\* Эта мысль в несколько сокращенном виде передана в "Этике жизни", разд. III, 9 (с. 330).

\* *Роллон*, или Роберт (Рольф) (ок. 860 — ок. 933) — глава отряда скандинавов (норманнов), завоевавших северо-западную часть Франции, получившую затем название Нормандии. Он стал первым нормандским герцогом (с 911). Отсюда норманны осуществляли вторжение (набег) на Англию. Все эти события явились началом нормандского завоевания Англии, официально завершившегося во 2-й пол. XI в. воцарением Вильгельма Завоевателя.

С. 31\* *Аудумла* — в скандинавской мифологии корова, возникшая из заполнившего мировую бездну инея и выкормившая великана Имира, от которого затем произошел весь мир.

С. 32\* "*Прорицание вёльвы*" — так называется первая песнь "Старшей Эдды", в которой вёльва (провидица) вспоминает о происхождении мира, о событиях прошлого и предсказывает гибель богов и всего мира, а также его возрождение, возникновение обновленного мира.

С. 33\* Речь идет о герое английских народных сказок Джеке — Победителе великанов, действовавшем в эпоху короля Артура. Его "орудия" — сапоги-скороходы, шапка-невидимка, шапка мудрости и богатырский меч.

\* *Этин* (*Этин*) из *Ирландии*. Возможно, в данном случае речь идет о сниженном образе (или его варианте) героя ирландского эпоса Кухулина (его первоначальное имя Сетанта, или Сетинта).

С. 34\* Слова ученого мудреца Просперо из "Бури" У. Шекспира (1611—1612). В другом переводе: "Мы сотканы из той же ткани, что и сны, и наша маленькая жизнь окружена сном" (английское dream обозначает и сон, и мечту).

С. 35\* *Змей Мидгарда* — в скандинавской мифологии хтоническое чудовище, змей Ермунганд, живущий в мировом океане, окружающем населенную людьми землю Мидгард.

\* *Рагнарёк* — в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, которая последует за битвой богов и вырвавшихся на свободу хтонических чудовищ.

С. 37\* *Гёте И. В.* Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся. Кн. 2, гл. 1 // Собр. соч.: В 10 т. М., 1979. Т. 8. С. 139—140.

С. 41\* См. Иов 33:4; Прем. 15:11; Исх. 35:31.

С. 44\* Ср. этот образ с тем, как он дан в русском переводе Библии: Иов 39:19, 22.

\* *Кааба* — главная святыня мусульман в Мекке, четырехугольный храм, в одном из углов которого замурован черный камень, представляющий собой большого размера метеорит.

С. 54\* См. этот отрывок в другом переводе в "Этике жизни", разд. II, 41 (с. 322—323).

\* Карлейль имеет в виду проблему единосущия (греч. homoousion) или подобия (греч. homoiouision) природы Христа природе Бога-Отца (явно считая ее схоластической), которая активно обсуждалась в раннем христианстве. О различии позиций сторонников единосущия ("омоусиан") и сторонников преимущественного (или сущностного) подобия ("омниусиан") см: *Флоровский Г. В.* Восточные отцы IV века. Из чтений в Православном богословском институте в Париже. Париж, 1931. С. 13—22 (репринтное переиздание. М., 1992).

С. 56\* bona fide — чистосердечно, искренне, добросовестно (*лат.*).

С. 58\* *Гад* — в Ветхом завете пророк-ясновидец при царе Давиде (1 Парал. 21:9 сл.; 1 Цар. 22:5; 2 Цар. 24:13—14).

С. 61\* Речь идет о походе в 630 г. Магомета (Мухаммеда) (походе, не вызвавшем большого энтузиазма у многих его сторонников) с целью отразить

предполагаемое наступление войск византийского императора Ираклия на Медину. Однако слухи о приближении византийцев оказались ложными, и Магомет ограничился тем, что взял арабийский город Табук, жители которого не оказали ему никакого сопротивления.

С. 64\* *Гёте И. В.* Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся. Кн. 1, гл. 4 // Собр. соч.: В 10 т. М., 1979. Т. 8. С. 32—34.

\* Имеется в виду главный принцип предложенной английским философом И. Бентамом этики утилитаризма — принцип полезности. Критерий морали, по Бентаму, — это прежде всего "достижение пользы, выгоды, удовольствия".

С. 67\* *Уайтчепел* — во времена Карлейля один из беднейших районов в Ист-Энде в Лондоне (к востоку от Сити), где расположены промышленность, портовое хозяйство.

\* *vates* — пророк (прорицатель), поэт (*лат.*).

С. 68\* Мф: 6:28—29.

С. 72\* Портрет, приписываемый Джотто, это фреска в Палаццо дель Подеста (ныне Национальный музей Барджело) во Флоренции, на ней Данте изображен рядом с флорентийским писателем и ученым Брунетто Латини, которого он считал своим учителем. О встрече Данте с Латини как персонажем его "Божественной комедии" см. далее у Карлейля.

С. 73\* *chiaroscuro* — светотень (*итал.*).

С. 74\* Данте был одним из семи приоров Флоренции (членов органа городского управления — приора, или синьории) с 15 июня по 15 августа 1300 г. (до этого он также участвовал в административно-политической деятельности: состоял членом "Совета ста", ведавшего финансовыми и другими проблемами города-республики).

\* Речь идет о Кан Гранде (Кангранде I) делла Скала, правителе Вероны (1312—1329). О нем Данте говорит, не называя его по имени, в "Божественной комедии" ("Рай", XVII, 76—91).

С. 75\* *Злые Щели* (*Malebolge*) — глубокие рвы, расположенные в восьмом круге Ада у Данте, где находятся сводники и обольстители, льстецы, прорицатели, алхимики, мздоимцы, лицемеры, воры, зачинщики раздора, лжецы, клеветники и т. п.

\* *alti guai* — горестные вздохи (стенания) (*итал.*).

С. 76\* *canto fermo* — главная мелодия в контрапункте (*итал.*).

\* *terza rima* — третья рифма (*итал.*). Известно, что "Божественная комедия" Данте написана терцинами, трехстрочными строфами с перекрещивающимися рифмами: средняя строка каждой терцины рифмуется с двумя крайними строками следующей.

С. 77\* *Дит* — город, расположенный в пятом круге Ада у Данте. О железном и огненном городе демонов Дите писал в своей поэме "Энеида" Вергилий.

С. 78\* Речь идет о сцене встречи Данте в шестом круге Ада с Кавальканте Кавальканти, когда на вопросы последнего о сыне Данте отвечает в прошедшем времени, из чего Кавальканте заключает, правда, неверно, что того уже нет в живых ("был").

\* Эти слова из пятой песни "Ада" (100—102) могут быть правильно поняты лишь в контексте: "Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, // Prese costui della bella persona, // Che mi fu tolta; e il modo ancor m'offende" (*Dante Alighieri. La Divina commedia. Milano, 1914. P. 47—48*); в русском переводе М. Л. Лозинского: "Любовь сжигает нежные сердца, // И он пленился телом несравнимым, // Погубленным так страшно в час конца" (*Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. С. 29*).

С. 79\* *aere bruno* — черный воздух (*итал.*).

С. 80\* Возможно, следующая оборванная фраза из двадцатой песни "Чистилица" (127—129): "...Tremar lo monte; onde mi prese un gelo..." (*Dante Alighieri. La Divina commedia. P. 555*); в русском переводе: "...Гора, как будто пасть хотела, // Затрепетала; стужа обдала // Мне... все тело" (*Данте Алигьери. Божественная комедия. С. 246*).

С. 84\* См. этот отрывок в другом переводе в "Этике жизни", разд. V, 12 (с. 367).

\* Томас Льюси (Льюси), согласно рассказам, передаваемым первыми биографами У. Шекспира, тот человек, из-за которого последний вынужден был (ок. 1586) покинуть Стратфорд. Шекспир вызвал негодование Льюси тем, что браконьерствовал (охотился на дичь) в его лесных угодьях, а затем в ответ на нападки

написал на него ёдкую сатирическую песенку. Современнѣе исследователи доказали, что хотя Льюис действительно существовал, но никакого лесного парка близ Стратфорда (в Чалкоте) у него в те годы не было.

С. 87\* В этом же духе следующее высказывание Гёте о Шекспире: "Шекспировский театр — это чудесный ящик редкостей, здесь мировая история, как бы по невидимой нити времени, шествует перед нашими глазами... Все его пьесы вращаются вокруг скрытой точки... где вся своеобразность нашего Я и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого. Но наш испорченный вкус так затуманил нам глаза, что мы нуждаемся чуть ли не во втором рождении, чтобы выбраться из этих потемок" (Гёте И. В. Ко дню Шекспира // Собр. соч.: В 10 т. М., 1980. Т. 10. С. 263).

С. 90\* Персонажи комедии У. Шекспира "Много шума из ничего" (1598).

\* Гёте И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Кн. 4 // Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 170—264.

С. 91\* *Битва при Азенкуре* — сражение времен Столетней войны, происшедшее около селения Азенкур (Северная Франция) между французами и англичанами, одержавшими победу. Изображено в исторической хронике У. Шекспира "Генрих V" (1598—1599).

\* *disjecta membra* — разъятые члены (разъятые части) (лат.).

С. 92\* *Тофет* — согласно Библии, культовое место в долине Еннома (иногда ее называют долиной Тофета), где в доизраильские времена, а некоторыми вероотступниками и в израильские приносились в жертву богу Молоху дети. В писаниях израильских пророков эта долина стала рассматриваться как преисподняя (отсюда слово "геенна") или место последнего, карающего суда.

С. 94\* *Новая Голландия* — прежнее название Австралии.

\* Видимо, по требованию цензуры это место было переформулировано переводчиком так: "И поставьте вы рядом с нею какую-нибудь Персию, Татарию, представьте себе, одним словом, восточного деспота. Несомненно, располагая несметным войском, он силен; он удерживает громадную массу народа в политическом единении и таким образом делает, быть может, даже великое дело".

\* Еще одно подобное место: "Все его войска и все его оружие превратятся в прах, в то время как голос Данте все еще будет громко раздаваться в нашем мире. Народ, у которого есть Данте, объединен лучше и крепче, чем многие другие безгласные народы, хотя бы они жили во внешнем политическом единстве". Карлейль высказывал и другую точку зрения о России и русских (см. его книгу "Прошлое и настоящее", наст. изд., с. 249—251, см. также с. 403).

С. 98\* См. этот отрывок в другом переводе в "Этике жизни", разд. I, 34 (с. 311).

С. 99\* Описываемый Карлейлем эпизод относится ко времени Семилетней войны (1756—1763), когда прусская крепость Швайдниц (Швейдниц) в Силезии в 1761 г. была приступом взята австрийскими и главным образом русскими войсками.

С. 104\* *Санкюлотизм* — от французского *sans-culotte*; букв.: длинные штаны. Санкюлотами в отличие от аристократии и других обеспеченных слоев общества называли себя во времена Французской революции представители низших слоев, пролетарии. Карлейль употребляет этот термин в отрицательном смысле, поскольку осуждает всякое люмпенское движение, ведущее к разрушению духовных традиций и моральных ценностей.

С. 114\* *in quarto* — в четвертую долю бумажного листа, т. е. большого формата (лат.).

С. 115\* Английский поэт Уильям Каупер (1731—1800) — человек со сложной личной и творческой судьбой. Еще в ранние годы, получив юридическое образование, он не смог заниматься служебной деятельностью из-за приступов меланхолии, душевного помрачения. Как поэт он проявился в зрелые годы. Его лучшие стихотворения, сатиры, в которых он воспевае природу, уединенный образ жизни и обличает роскошь, распущенность, жажду богатства, почестей и славы, были написаны в 1780—1784 гг. и сделали его имя известным лишь на склоне лет, отмеченных тяжким душевным заболеванием.

\* *Патмос* — остров в Эгейском море, место ссылки во времена римских императоров. Согласно евангельской традиции, именно здесь Иоанн Богослов писал свой "Апокалипсис" ("Откровение") (Откр. 1:9).

С. 117\* "*Мэйфлаур*" — название судна, на борту которого в 1620 г. на американское побережье прибыла одна из первых групп английских колонистов.

С. 118\* *Neel D. History of the Puritans. London, 1755*; написана в 1732—38 гг.

\* Имеются в виду государства, основанные в Западном полушарии испанцами после открытия его Х. Колумбом.

С. 119\* "*Вестминстерское вероисповедание*" — утвержденные в 1648 г. Вестминстерской ассамблеей по церковным вопросам, созванной по распоряжению Долгого парламента, основные принципы учения пресвитериан, изложенные в виде полного и краткого катехизиса. Все они выдержаны в духе кальвинизма: вера во всеобщую греховность и абсолютное предопределение жизни и поведения людей, республиканско-олигархическое устройство церкви, отмена епископата, упрощение культа. Пресвитерианская церковь, основанная учеником Ж. Кальвина Дж. Ноксом, и выдвинутые ею принципы, направленные против англиканской церкви, сыграли большую роль в революции XVII в. в Англии.

\* *Habeas Corpus* (*Habeas Corpus Act*) — закон о неприкосновенности личности ("*Habeas Corpus*" — его начальные слова), принятый английским парламентом в 1679 г. В нем устанавливались правила ареста обвиняемых и привлечения их к суду.

\* *Ковенантеры* — приверженцы ковенанта (союза или договора) для защиты пресвитерианства. Первый такой союз был заключен в 1557 г., чтобы укрепить позиции пресвитериан в Шотландии. Известны также ковенанты: от 1638 г., направленный против абсолютистской политики Стюартов, которая создавала угрозу независимости шотландской кальвинистской (пресвитерианской) церкви, и от 1643 г. Последний представлял собой договор (его полное название "Торжественная лига и ковенант"), заключенный между английским парламентом и шотландскими пресвитерианами. Согласно ему в Англии официально разрешалась уже господствующая в Шотландии пресвитерианская церковь. Договор имел своей целью объединение сил (в том числе и военных) для борьбы с роялистами.

\* Речь идет о событиях 1688 г. (т. наз. "славная революция"), когда из-за политики, ущемлявшей интересы буржуазии и "нового дворянства", оппозицией был смещен английский король Яков II Стюарт и власть была передана его зятю штатгальтеру Голландии Вильгельму III Оранскому.

С. 123\* Имеется в виду книга "История религиозной реформы в Шотландии" Дж. Нокса, вышедшая после его смерти (*Knox J. History of the Reformation in Scotland. London, 1587*); полностью она вышла в Лондоне в 1664 г.

С. 127\* *Fichte I. G. Über das Wesen des Gelehrten, 1794*; в русском переводе эти лекции Фихте вышли под названием: *О назначении ученого. М., 1935*.

С. 131\* Согласно Библии, первое явление Бога Моисею произошло в Мадямской земле (земле мадианитян), куда он вынужден был бежать от преследования египтян и откуда направился выполнять возложенную на него Богом миссию.

С. 133\* Совет знати в VI—XI вв.

С. 134\* Эта фраза в дореволюционном издании отсутствовала.

\* Этот отрывок (начиная со слова "Нация") был снят в прежнем издании и вместо него оставлено лишь следующее: "Да, только это и требуется, больше ничего. Примите еще только во внимание, что всякая сила, раз она действительно существует, становится со временем организованной силой".

С. 136\* Р. Бёрнс служил акцизным чиновником, об этом Карлейль говорит в других местах.

С. 137\* *punctum saliens* — решающий пункт, отправная точка (*лат.*).

\* *de facto* — фактически, в силу факта (*лат.*).

С. 141\* *caput mortuum* — мертвая голова (в переносном смысле: лишенное смысла и содержания) (*лат.*).

\* Речь идет об орудии казни, изобретенном тираном Агригента (в Сицилии) Фаларисом (VI в. до н. э.). Это медный бык, под которым разводили костер, а внутрь его помещали жертву. Стоны и крики истязаемых достигали ушей тирана в виде спокойного и благозвучного мычания быка.

С. 143\* См. этот отрывок в "Этике жизни", разд. III, 7 (с. 329—330).

С. 144\* См. "Этику жизни", разд. I, 13 (с. 306).

С. 145\* См. "Этику жизни", разд. II, 55 (с. 325).

\* Согласно мифу, Геркулес умер, надев окровавленный хитон кентавра Несса.

С. 149\* Это выражение восходит к следующим словам из "Опытов" французского философа М. Монтеня: "Мир считал чудом иных людей, в которых их жена или слуга ничего замечательного не видели".

\* *ultimus Romanorum* — последний римлянин (*лат.*).

С. 150\* См. "Этику жизни", разд. III, 27 (с. 337).

С. 154\* *fond gaillard* — здоровая сущность, основа (*фр.*).

С. 155\* Карлейль упоминает это имя в связи с событиями, ознаменовавшими начало Французской революции. На заседании Генеральных штатов 23 июня 1789 г., когда королевский церемониймейстер Де Брезе (вернее, Дрѐ-Брезе) приказал очистить зал, О. Мирабо произнес свою знаменитую речь, убедив присутствующих продолжить заседание и заявить о неприкосновенности членов парламента.

С. 160\* См. "Этику жизни", разд. II, 34 (с. 321).

С. 162\* "Aux armes!" — "К оружию!" ("В ружье!") (*фр.*).

С. 163\* Этот отрывок (со слов "Среди солидных кругов") и начало следующего были сняты в прежнем издании.

С. 167\* Этот текст, описывающий упрощенный церковный ритуал пуритан, отсутствовал в прежнем издании.

С. 169\* "*Монархия человека*" ("The Monarchie of Man") — политический трактат Джона Элиота, который он написал в тюрьме перед смертью (1632).

С. 172\* *Вустерская битва* (битва при Вустере) произошла в 1651 г.; здесь были разгромлены О. Кромвелем шотландские войска Карла II, пытавшиеся восстановить монархию.

С. 173\* Речь идет о болотах, которые в 1634 г. пытался осушить граф Бедфорд, в результате чего крестьяне лишились общинных выгонов. Возникшие при этом распри попытался урегулировать О. Кромвель. Здесь впервые проявились его организаторские способности и общественный авторитет.

\* *Битва при Данбаре* произошла в 1650 г. и завершилась разгромом армией О. Кромвеля численно превосходящей ее шотландской армии под командованием Д. Лесли.

\* *Кавалеры* — так назывались роялисты, сторонники короля Карла I в период революционных событий в Англии в сер. XVII в.

С. 174\* Эти слова О. Кромвеля были опущены в прежнем издании.

\* "*Железобокше*" — так называлась конница О. Кромвеля.

С. 175\* Этот текст (со слов "Мы не можем также") отсутствовал в прежнем издании.

С. 181\* *Уайтхолл* — с первой половины XVI в. до 1688 г. (когда он почти весь сгорел) — главный королевский дворец в центральной части Лондона, от названия которого получила наименование улица, где расположены важнейшие правительственные учреждения.

С. 182\* Еккл. 3:7.

С. 185\* Персонаж средневекового французского романа "Валентин и его лесной брат Орсон", похищенный в детстве, он долго жил в лесу среди медведей.

С. 187\* *Долгий парламент* — парламент периода Английской революции XVII в. Он был созван Карлом I в 1640 г., затем стал законодательным органом революционных сил, учредивших после казни короля (1649) республику, в 1648—1653 гг. после т. наз. Прайдовой чистки существовал в уменьшенном виде — "охвостья" Долгого парламента, в 1653 г. разогнан О. Кромвелем, установившим затем (после роспуска Малого парламента) протекторат (режим личной власти). Был вновь созван в 1659 г. и в следующем (1660 г.) после реставрации Стюартов году распущен.

\* *Прайдова чистка* — изгнание из Долгого парламента по приказу командования парламентской армии пресвитерианских депутатов. Оно было осуществлено 6 декабря 1648 г. полковником Т. Прайдом и означало политический переворот, так как у власти оказалось левое течение внутри пуритан — индепенденты, выступавшие за дальнейшее развитие революционных событий и за крайние меры в отношении короля.

С. 188\* *Конвокация нотаблей* (от лат. *convocatio* — созыв и *notables* — значительные, заметные) — в общем плане созыв представителей социальных верхов для обсуждения тех или иных вопросов. Во Франции в XIV—XVIII вв. короли регулярно

созывали собрание нотаблей. В данном случае речь идет о приглашении персонально Кромвелем 6 июня 1653 г. после разгона Долгого парламента 128 человек из Англии, Ирландии и Шотландии для осуществления законодательных функций. Этот новый, весьма умеренный орган стали называть Бэрбонским парламентом.

\* *Бэрбонский парламент* (или Малый парламент) существовал в июле—декабре 1653 г., назван по одному из активных его членов — П. Бэрбону (Barbon), прозванному Бэрбонзом (Barebones — букв. кожа да кости), и это прозвище перешло на название парламента (по-английски оно пишется так: Barebones Parliament). Был распущен О. Кромвелем, после чего и установлен его протекторат.

С. 191\* *ultra vires* — вне чьей-либо компетенции (*лат.*).

С. 195\* *la carrière ouverte aux talents* — дорога, открытая талантам (*фр.*).

\* *Леобенский мир* — договор, заключенный 18 апреля 1797 г. между Наполеоном Бонапартом и австрийской стороной, в соответствии с которым австрийцы уступали французам некоторые итальянские и другие территории. Условия договора были существенно пересмотрены в Кампоформии 17 октября 1797 г.

С. 196\* *Конкордат* — соглашение между Ватиканом (папа Пий VII) и Наполеоном Бонапартом, подписанное в 1801 г. Подобно конкордатам папского престола с другими государствами, он касался прав и привилегий католической церкви в них, назначения епископов, дипломатических отношений с Ватиканом. Особое внимание было уделено проблемам, связанным с галликанизмом — движением среди французских католиков, выступающих за ограничение власти папы и большую самостоятельность французского епископата в церковном управлении.

\* *la vaccine de la religion* — религиозная прививка (*фр.*).

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Вышедшая в 1843 г. в Лондоне книга "Прошлое и настоящее" ("Past and Present") принадлежит к наиболее значительным и впечатляющим произведениям Карлейля, вызвавшим после публикации самое противоречивое отношение: от доброжелательного одобрения и удивления до горячего негодования. Разработав в предыдущих трудах свой критерий нравственной оценки явлений, он обращается к современному ему обществу, выступая как его острый, непримиримый критик. Общество, где отношения между людьми измеряются куплей и продажей, денежными расчетами, где подавляются и искажаются высшие духовные устремления человека, где, наконец, ускоренная капитализация приводит к обнищанию значительных социальных слоев, — такое общество решительно не нравится ему, особенно когда он сравнивает его с далекой историей. Не выступая здесь как историк в строгом смысле слова, он проявляет своеобразное историческое чутье, рисуя выразительные картины прошедшей жизни. Даже И. Тэн не мог отказать ему в умении воссоздавать атмосферу прошлого, взяв в качестве примера историческую (вторую) часть книги "Прошлое и настоящее": "Миллионы мыслей и дел, миллионы существ исчезли, и никакая сила не заставит их снова явиться на свет. Эти несколько светлых точек горят одинокие, словно вершины высочайших утесов на материке, погружившиеся в море. С каким жаром, с какой глубокой любовью к погибшим мирам, о которых свидетельствовали эти вершины, хватается за них историк своими сильными руками, чтобы по их природе и структуре возродить хоть отчасти потонувшие огромные пространства, которых не увидеть уже ни одному глазу". Отсюда "его отличительная черта, как и всякого историка, обладающего чувством реального, заключается в том, чтобы понять, что пергаменты, стены, одежды, даже тела являются только оболочкой, документами, что настоящий факт — это внутреннее чувство людей, которые жили, что единственный важный факт — это состояние и структура их души, что прежде всего необходимо приблизиться к ней, что от нее зависит все остальное... Нужно сказать себе и повторять следующую мысль: история есть только история сердца, нам следует изучать чувства прошедших поколений, нам незачем изучать что-нибудь помимо этих чувств. Вот что ищет Карлейль... Он угадывает характеры, улавливает дух погасших веков" (Тэн И. История английской литературы. М., 1904. Т. 5. С. 186—189). Что касается социально-критической стороны произведе-



ния, то здесь не помешает привести свидетельство человека, который тоже стоит на позиции критики, хотя и не сугубо нравственной. Это молодой Ф. Энгельс, на которого книга произвела сильное впечатление, о чем можно заключить по написанной им в 1844 г. статье-рецензии на нее, в которой он подробно пересказывает содержание произведения Карлейля и приводит большие цитаты из него. Из всей массы вышедших книг, пишет Энгельс, книга Карлейля "единственная, которая затрагивает человеческие струны, изображает человеческие отношения и носит на себе отпечаток человеческого образа мыслей... Он, единственный из всего "респектабельного" класса, по крайней мере не закрывал глаза на факты, он по крайней мере правильно понял непосредственную современность, а это понятие бесконечно много для "образованного англичанина". Энгельс осуждает автора книги за то, что он не делает непосредственных социальных выводов, и за критику атеизма, хотя и отмечает, что его религия далека от официальной, ибо культ этой религии — труд, пантеистический культ героев (*Энгельс Ф.* Положение в Англии. Томас Карлейль. "Прошлое и настоящее" // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 1. С. 572—597).

Книга Карлейля своеобразна не только по содержанию, но и по языку, стилю, способам выражения. Она хорошо передает свойственное Карлейлю как писателю сочетание глубокой эмоциональности, искренности и пафоса, приподнятости. Поэтому в данной публикации в соответствии с английским оригиналом сохранен, в частности, такой прием, к которому прибегает Карлейль, как использование прописных (заглавных) букв там, где это не требуется правилами грамматики.

В настоящем издании это произведение Карлейля воспроизводится не полностью. И не только из-за своего большого объема. Значительное число отрывков из него (иногда даже в объеме почти целых глав) использовано в сборнике "Этика жизни", публикуемом в настоящей книге. Тем не менее труд Карлейля представлен здесь ключевыми разделами, позволяющими составить о нем возможно более полное мнение.

Публикуемый текст книги взят из издания: *Карлейль Т.* Теперь и прежде. Перев. Н. Горбова. М., 1906.

С. 200\* *Закон о бедных* — принятый в Англии в 1834 г. закон, который был призван упорядочить систему помощи бедным и сиротам. В соответствии с этим законом бедняки, обращавшиеся за помощью, направлялись в дома призрения — рабочие дома, где царил жестокий, полутюремный режим. Предусматривалась обязательная работа в пользу благотворительных обществ, приходов, в ведении которых находились эти дома.

С. 202\* *Потопи* — месторождение серебра в Боливии, в XVII—XVIII вв. на него приходилось около половины мировой добычи серебра.

\* *Башня голода Уголино*. Граф Уголино делла Герардеска, родом из знатной феодальной семьи, в 1284—1285 гг. стал правителем Пизы. В 1288 г. он был свергнут своими политическими противниками во главе с архиепископом Руджери делья Убальдини и вместе с двумя сыновьями и двумя внуками замурован в башне, где все они умерли от голода в начале 1289 г. Этот исторический факт был использован Данте. В тридцать второй и тридцать третьей песнях "Ада" Уголино изображен голодущим затылок заточившего его Руджери. Гаддо — малолетний сын Уголино.

\* Плач Иеремии 4:10.

С. 203\* Далее в книге расположен отрывок, включенный в "Этику жизни", разд. IV, 31 (с. 352—353).

\* *Хлебные законы* — законы, принятые в Англии в XV—XIX вв. с целью регулировать ввоз и вывоз зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Действовали они в интересах землевладельцев и усугубляли бедственное положение масс. Особенно сильно это сказалось в "голодные сороковые годы" XIX в., когда усилился экономический кризис, выросла безработица, произошли массовые выступления (чартизм). В 1846 г. законы были отменены. Их отмена считалась крупной победой промышленной буржуазии над земельной аристократией.

\* *Мидас* — в греческой мифологии славившийся своим богатством царь Фригии, попросивший у богов превращать в золото все, к чему он ни прикасался, но в золото стала превращаться и пища, что грозило ему голодной смертью. За проступок перед Аполлоном он был наделен ослиными ушами, о которых, как ни старался он их прятать, знали все.

С. 204\* Здесь и далее Карлейль обыгрывает практику рекламирования сильнейших лекарств, чреватых нередко смертельным исходом, что нашло отражение в печати.

С. 205\* *Даунинг-стрит* — улица в центральной части Лондона, где находятся резиденции премьер-министра и канцлера казначейства (в переносном смысле это название означает английское правительство).

\* *Билль о реформе* был принят в 1832 г. и означал первую реформу английского парламента (вторая парламентская реформа — в 1867 г., третья — в 1884 г.). Он внес изменения в систему парламентского представительства, предоставил право голоса средней и мелкой торгово-промышленной буржуазии. Это право получили новые промышленные центры, и вместе с тем были упразднены некоторые т. наз. "гнилые местечки" (безлюдные избирательные округа в небольших населенных пунктах, где депутатами фактически назначались угодные местным лендлордам люди). Был снижен также имущественный ценз, в результате чего число избирателей увеличилось вдвое и достигло 30% населения.

С. 206\* *Вопрос Сфинкса*. О нем Карлейль говорит в гл. "Сфинкс" первой части книги. Он сравнивает со сфинксом природу, в которой проявляется мудрость и наряду с этим нечто темное, хаотическое. Отсюда и вопросы, которые она задает человеку: "Понимаешь ли ты смысл нынешнего дня? Что можешь ты сегодня сделать? Что можешь ты попытаться сделать, проявив благоразумие?" Сфинкс — природа ставит свои вопросы как перед человеком, так и перед каждой эпохой, каждым народом. Человек, неверно отвечающий на них, попадает в его звериные лапы (см. отрывок из этой главы в "Этике жизни", разд. I, 10, с. 304—305).

С. 208\* *Зауэртейг* — персонаж, придуманный Карлейлем, что характерно для его писательской манеры. На немецком языке это слово означает "кислое тесто, закваска, зануда". На протяжении книги Зауэртейг выступает в основном как персонаж-резонер и критик.

\* Так называли хартию чартистов.

\* *Расширение церкви* — возможно, речь идет о тех процессах, которые происходили в церковной жизни в первой половине XIX в. Это прежде всего более либеральное отношение к *диссентерам* — представителям религиозных направлений, не придерживающихся догматов официальной англиканской церкви (например, т. наз. "эмансипация католиков" — отмена парламентом в 1829 г. ограничений их прав: права занимать государственные должности, быть избранным и т. д.). Все это увеличивало ту часть верующих в самой церкви, которая не связывала себя строгим исполнением догматов англиканства. В узком смысле слова (и, по всей вероятности, Карлейль и имеет его в виду) — это произведенное перераспределение приходов, с тем чтобы в связи с указанными процессами не снижались, а, напротив, повышались доходы англиканского духовенства.

\* *Хаундсвич* — во времена Карлейля район бедноты, местопребывание старьевщиков. Здесь родился основоположник утилитаристской этики или, как пишет Карлейль, евангелия "просвещенного эгоизма" Иеремия Бентам.

С. 209\* *пес plus ultra* — самый лучший, непревзойденный (*лат.*).

С. 210\* *Радамант, Эак и Минос* — в греческой мифологии (согласно версии, восходящей к Платону) судьи в подземном царстве мертвых (Аиде).

С. 211\* *laissez faire, laissez passer* — позволяйте делать, позволяйте идти (*фр.*) (лозунг свободы экономической деятельности, невмешательства в нее государства).

\* Этим эпитетом Карлейль характеризует праздную (занимающуюся охотой) аристократию, намекая также на двойные аристократические фамилии.

С. 213\* *Араге, Satanas* — Прочь, Сатана! (Отойди, Сатана!) (*лат.*) (см. Мф. 4:10; Лк. 4:8).

\* Карлейль имеет в виду кровавые события 1819 г., когда был разогнан митинг (в нем участвовали в основном рабочие-ткачи) в поддержку избирательной реформы, происходивший на Питерсфельде в Манчестере (т. наз. Манчестерская резня, другое название этих событий — Питерлоо, поскольку в разгоне принимали участие войска, сражавшиеся под Ватерлоо).

С. 214\* *Трисмегист* ("Триждывеличайший") — в греческой мифологии эпитет бога Гермеса.

С. 216\* В основе этой части книги лежит изданная в Лондоне в 1840 г. "Хроника" Джоселина Бражелондского (XII в.), монаха монастыря Св. Эдмунда (Сент-Эдмундсберийского монастыря (аббатства)).

\* *Методизм* — течение в англиканской церкви, зародившееся в XVIII в. Чтобы как можно более эмоционально воздействовать на слушателей, методистские проповедники главное внимание уделяли описанию будущего Страшного суда и адских мук, претерпеваемых нераскаявшимися грешниками. Для структуры методистской церкви характерен авторитаризм, строгая централизация и дисциплина.

С. 217\* *Pitanceria* — зд. приют, убежище (*лат.*).

\* *tacenda* — то, о чем не говорят, умалчивают (*лат.*).

\* Перевод этой фразы см. далее в конце с. 220.

\* Здесь Карлейль ссылается на труд английского хрониста (историка) и теолога Идмера (кон. XI — нач. XII в.) "Historiae Novorum", в котором излагается история Англии с 1066 по 1122 г.

С. 218\* *Filimi* — сын мой (*лат.*).

\* *Каюс*, врач-француз — персонаж комедии У. Шекспира "Виндзорские проказницы" (или "Виндзорские насмешницы") (1602), которому так и не удается обвенчаться с красавицей Анной Педж.

С. 219\* *Джон Рокеуд* — лондонский издатель "Хроники" Джоселина. *Драйас-дэст* — сухой и педантичный человек, ученый педант и сухарь, вымышленное лицо, которому Вальтер Скотт посвятил ряд своих романов, в результате имя стало нарицательным.

С. 220\* *Акра* — крепость в Иерусалиме, которая вместе с городом находилась в руках крестоносцев в XI—XII вв. Однако не исключено, что здесь речь идет не об иерусалимской Акре, а о сирийской крепости Акка (Акко), расположенной на побережье Средиземного моря, которая дольше удерживалась крестоносцами (1104—1187 и 1191—1291), служила местопребыванием членов ордена святого Иоанна (отсюда ее название: Сен-Жан д'Акр — Saint-Jean d'Acree), поэтому сюда съезжались паломники из западных стран.

\* *...monachus poster* — нашего монаха (*лат.*).

С. 221\* Карлейль здесь сравнивает Джоселина с Дж. Босуэллом ("Боззи"), автором жизнеописания С. Джонсона (см. примечание к с. 16), который слыл образцовым, дотошным биографом.

\* *Дионисово ухо* — это выражение связано с именем сиракузского тирана Дионисия Старшего (432—367 до н. э.), который отличался крайней подозрительностью и, согласно легенде, соорудил в своем дворце специальное устройство для подслушивания.

\* *Роговая дверь снов* — образ, взятый из "Энеиды" Вергилия (кн. 6, 893—896): "Двое ворот открыты для снов: одни роговые, //Из них вылетают легко правдивые только виденья; //Белые створы других изукрашены костью слоновой, //Маня, однако, из них только лживые сны высылают" (*Вергилий*. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979. С. 264).

\* *Frater* — брат (*лат.*).

\* *homo literatus* — ученый человек (*лат.*).

С. 222\* *Велиар* (Велиал) — в Библии обозначение сатаны. Выражение "сыны Велиара" означает "низкие, подлые, нечестивые люди" — так оно передано, например, в русском переводе Библии (см. Втор. 13:13).

\* *Sochetanni* (сокмены) — категория крестьян в средневековой Англии. Оставаясь свободными собственниками своих наделов, они вместе с тем несли некоторые повинности в пользу лордов, занимая тем самым промежуточное положение между вилланами (крепостными) и фригольдерами (свободными держателями наделов). В XV—XVI вв. они постепенно присоединились к последней категории крестьян.

С. 223\* *Dominus Rex* — Государь, Его величество король (*лат.*).

\* *Sacrosancta* — букв. священное, неприкосновенное (святой престол) (*лат.*).

С. 226\* *Deus est cum eis* — Господь с ними (*лат.*).

С. 228\* *Te Deum laudamus* — Тебя, Боже, хвалим (*лат.*) (начальные слова католического благодарственного гимна, автором которого считается Амвросий Миланский (340—397)).

\* *Dominus Abbas* — господин (владыка) аббат (*лат.*).

\* Имеется в виду Ричард Гренвиль, герцог Бекингемский, маркиз Чандос, который защищал в парламенте хлебные законы, выступая против их отмены, был активным глашатаям интересов крупных землевладельцев.

\* Далее идет отрывок, включенный в "Этику жизни", разд. IV, 52 (с. 360).

С. 229\* *gaudeamus* — возрадуемся (*лат.*).

С. 230\* *vadium, plegium* — пени, обязательства, залого, проценты (*лат.*).

\* *disputator est* — толкователь (*лат.*).

С. 231\* *Герцог Логвуд* — вымышленное имя (от англ. *log* — бревно, чурбан и *wood* — дерево).

\* Далее идет отрывок, начинающийся словами: "Вследствие этого мы, во всяком случае, согласны с рассудительной миссис Глесс [автором вышедшей в 1747 г. поваренной книги]: "Прежде всего поймайте зайца!" и включенный в "Этику жизни", разд. III, 14 (с. 331).

С. 233\* Карлейль имеет в виду произведенную в 1828 г. эксгумацию останков Дж. Гемпдена, с тем чтобы выяснить обстоятельство его смерти (по официальной версии, Гемпден скончался от смертельной раны, полученной в сражении с королевскими войсками).

С. 234\* *Completorium* — заключительная молитва после вечерни (*лат.*).

С. 236\* *caput* — глава (*лат.*).

\* *Подглядывающий, или Любопытный, Том*. Речь идет о событии, происшедшем в г. Ковентри в 1040 г. и известном из рассказа английского хрониста XIII в. Роджера Уиндоуэра. Леофрик, граф Честер (ум. 1057), наложил на жителей Ковентри тяжкие повинности. Откликаясь на их мольбу, жена графа леди Годива согласилась выполнить его условие — проехать обнаженной на коне через весь город. Она это сделала, причем жители города закрыли все ставни, за исключением портного Тома, решившего посмотреть на это зрелище и тут же ослепшего. Повинности были сняты, и с тех пор это событие ежегодно отмечается в Ковентри процессией, а Годива считается покровительницей города. Прозвище Любопытный Том из Ковентри (*Peeping Tom of Coventry*) стало обозначением человека с нездоровым любопытством.

С. 237\* *Ubi homines sunt modi sunt* — где люди, там правила (*лат.*).

С. 239\* *Лонгакр* — квартал в Лондоне, где изготовлялись экипажи.

С. 240\* См. далее отрывок, включенный в "Этику жизни", разд. II, 51 (с. 325).

\* *Вестминстер-Холл* (Дворцовый холл) — единственный зал, сохранившийся от старого Вестминстерского дворца, ныне входит в парламентский комплекс, размещенный в новом Вестминстерском дворце (построен в XIX в.). Ранее в Вестминстер-Холле проходили заседания различных судов.

\* См. этот отрывок в другом переводе в "Этике жизни", разд. II, 52 (с. 325).

С. 241\* *Пюезизм* (ритуалистское, или Оксфордское, движение) — религиозное течение, основанное английским теологом фламандского происхождения Эдвардом Бувери (псевдоним Пьюзи, 1800—1882), пытавшимся ввести в англиканство некоторые положения и обряды католицизма.

\* *Вертящиеся калабашки* (в другом случае Карлейль упоминает калмыцкие калабашки), иначе говоря, вращающиеся тыквы. Вот как комментирует это место у Карлейля И. Тэн: Для него "это обозначение внешней и механической религии... Потому что калмыки кладут свои молитвы в тыкву, которую ветер заставляя вертеться, что производит, по их мнению, непрерывное моление. Таковы же и молитвенные мельницы в Тибете" (*Тэн И. История английской литературы*. М., 1904. Т. 5. С. 173).

\* Имеется в виду случай, когда епископ Кентерберийский У. Лод, исповедуя англиканство, совершил пышный ритуал в 1631 г. при освящении церкви святой Екатерины (см. также с. 167).

\* *Уилл Скарлет* — ближайший друг и сподвижник героя английских баллад Робина Гуда. *Вэксфильдский Пиндар* — имеются в виду безымянные певцы из Вэксфильда в графстве Йоркшир.

\* *Statutum de tallagio non concedendo* (Статут о неналожении податей — *лат.*) был принят королем Эдуардом I в 1297 г. Он подтверждал Великую хартию вольностей (*Magna Carta*, или *Magna Charta*), 1215 (с дополнительными статьями, выдвинутыми баронами). Согласно этому статуту, никакой налог не мог взиматься королем без согласия парламента.

\* *Четыре Суда*. Карлейль, по всей вероятности, имеет в виду структуру английских судебных инстанций, связанную с двойной системой правосудия (правосудие по закону, опирающееся на нормы обычного права и судебные прецеденты, и правосудие по справедливости). В соответствии с этой системой существовали три высших Суда общего права (Суд королевской скамьи, Суд общих тяжб и Суд государственного казначейства) и верховный Суд справед-

ливости — Канцлерский суд, возглавляемый лордом-канцлером, формально не связанным парламентскими законами, обычаями или прецедентами. "Кок о Литтлтоне" — такое название получил один из томов 4-х томного труда известного английского юриста и политического деятеля Э. Кока "Основы английского права" ("Institutes of the Laus of England") (1628). В этом томе он комментирует труд английского юриста XV в. Т. Литтльтона о землевладении ("On Tenures").

\* *Три парламентских сословия*: духовные лорды (высшие иерархи англиканской церкви), светские лорды (те и другие — члены палаты лордов) и члены палаты общин.

\* В произведении Дж. Свифта "Битва книг" (полное ее название "Полное и правдивое известие о разразившейся в прошлую пятницу битве древних и новых книг в Сент-Джеймской библиотеке" (изд. 1704) описывается сатирическая сценка встречи на ристалище Джона Драйдена, известного английского поэта и переводчика античных классиков (в том числе Вергилия), с самим Вергилием. Вергилий в сверкающих доспехах на сером в яблоках коне встречается с Драйденом, едущим на старой и тощей лошади. На нем был шлем, в девять раз превышавший размеры головы, которая "терялась в глубине задней его части, подобно мышке под пышным балдахинном или отошалоу шеголю под навесом модного парика; и глас соответствовал лику, он звучал слабо и отдаленно" (*Свифт Дж.* Избранное. Л., 1987. С. 289).

\* *Нора* — мыс у устья Темзы.

С. 242\* *Сатаническая школа* — по всей вероятности, речь идет о байронизме. *Кокнишкая школа* объединяла группу критиков и поэтов, живших в Лондоне, — лондонских романтиков (в том числе П. Б. Шелли, Дж. Китса и др.). Название это было дано критиками-пуристами (защитниками "чистоты языка"), упрекавшими членов группы в использовании "простонародных" рифм и выражений; англ. "кокни" обозначает как лондонское просторечие, так и уроженца Лондона (коренного лондонца).

\* *Арахна* — в греческой мифологии искусная вышивальщица и ткачиха, из-за соперничества с Афиной была превращена последней в паука.

\* *Джабеш Виндбэг* — вымышленное имя, в переводе с английского означает болтун, пустозвон.

\* *Тейт* (Тевтат) — в кельтской мифологии бог племенного коллектива, покровитель его военной и мирной деятельности.

\* *Хенгст* (Хенгист, Генгст) — предводитель германского племени ютов, высадившегося ок. 449 г. на острове Тэнет, к востоку от современного Кента. Эта дата традиционно считается началом завоевания Британии англосаксами. Ок. 445—479 гг. в бассейне реки Темзы было основано первое англосаксонское королевство Кент.

С. 243\* Цитируется стихотворение И. В. Гёте "Символ" из цикла "Ложа", оно приводится полностью на с. 271—272.

С. 244\* Далее следует отрывок, включенный в "Этику жизни", разд. IV, 1 (с. 341).

С. 245\* "Триста лет она в бурлении (кипении сил), вот почему я ее почитаю" (*фр.*).

\* *Corpus Christi* — Тело Христово (Тело Господне) (*лат.*). Католический праздник Тела Господня отмечается в первый четверг после Троицына дня, установлен папой Урбаном IV в 1264 г.

С. 246\* Этот образ связан с бытушками в христианской теологии и иконографии представлениями о черепе Адама (якобы похороненного на Голгофе), который пробуждается к жизни при пролитии крови распятого Христа.

\* *Оркус* (Орк) — в римской мифологии божество смерти, а также само царство мертвых.

\* Приводятся слова хозяина гостиницы, обращенные к Джини Динс, героине романа В. Скотта "Эдинбургская темница" (подлинное название романа "Сердце Мидлотиана", или "Сердце Средних земель"): "Не встретятся ли мне дурные люди, сэр? — спросила Джини. — Да чтобы от них избавиться, я согласился бы выместить оладьями всю Гроубинскую лужу. Но все же их теперь не так много, как раньше..." (*Скотт В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1990. Т. 5. С. 249).

\* *Друри-Лейн* — театр в Лондоне, расположенный на улице того же названия, был открыт в 1663 г., время его наибольшего расцвета — середина и конец XVIII

в., когда в нем играл и был его руководителем английский актер, драматург, реформатор сцены Дэвид Гаррик (1717—1779).

С. 247\* Далее следует отрывок, включенный в "Этику жизни", разд. IV, 6 (с. 342—343).

\* Об этом шляпнике, изготовившем шляпу в семь футов в качестве рекламы, см. в отрывке, включенном в "Этику жизни", о котором говорилось выше.

\* См. далее "Этику жизни", разд. V, 17 (с. 368).

С. 250\* См. далее "Этику жизни", разд. I, 11 (с. 305).

С. 251\* *Мистер Буль* (Джон Буль) — простоватый фермер, персонаж сатиры Джона Арбетнота (1667—1735) "История Джона Булля". Это имя стало нарицательным для обозначения типичного английского англичанина.

\* *vis inertiae* — сила инерции (*лат.*).

С. 252\* См. прим. к с. 208.

С. 253\* *Бэконовская индукция* — разработанный английским философом Ф. Бэконом метод логического доказательства (умозаключения) от частных фактов к общим выводам.

\* *Солецизм* (от Сол — древняя афинская колония, утратившая чистоту греческого языка) — неправильный языковой оборот, синтаксическая ошибка.

\* *Берсеркер* (берсеркеры) — так назывались древнескандинавские вятизи, отличавшиеся особой неустрашимостью и одержимостью в бою, в переносном смысле — неистовый человек.

С. 255\* *Голконда* — государство, существовавшее в Индии в XVI—XVII вв., славилось добычей алмазов. О Потоси см. в прим. к с. 202.

С. 256\* Клич Хенгста (см. прим. к с. 242) перед схваткой.

\* *Трехдневное восстание* — речь идет об июльской революции 1830 г. во Франции (массовое восстание произошло 27—29 июля). Революция свергла монархию Бурбонов.

С. 257\* Персонажи романа В. Скотта "Айвенго". На шею у свинопаса Гурта было наглухо запаяно нечто вроде собачьего ошейника с начертанными на нем саксонскими буквами словами: "Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Ротервудского".

\* См. далее "Этику жизни", разд. IV, 58 (с. 361—362).

С. 258\* Речь идет о событиях, связанных с нормандским завоеванием Англии. Гируорд — один из руководителей англосаксов, оказавшись в болотистой местности на севере графства Кембриджшир, безуспешно сопротивлялся нормандцам во главе с Вильгельмом Завоевателем. Граф Вальтеф — представитель англосаксов, которого Вильгельм Завоеватель сначала помиловал, а потом приказал казнить. Йоркшир и северные графства были жестоко опустошены нормандцами.

\* *par la splendeur de Dieu* — Божественным сиянием (*фр.*).

С. 259\* *et cetera* — и так далее (*лат.*).

\* Это выражение, состоящее из немецких слов "Wahngasse" и "Weissnichtwo", означает "воображаемый переулочек, расположенный неизвестно где".

\* *Тейфельсдрек* (в переводе с немецкого — "чертово дерьмо") — главный персонаж романа Карлейля "Sartor Resartus" ("Заштопанный портной") (*Карлейль Т. Sartor Resartus. Жизнь и мысли гегра Тейфельсдрекка. М., 1902; 1904.*)

\* *mein Lieber* — мой милый (*нем.*).

\* Вымышленное имя.

С. 260\* *Седан* и *Геддерсфильд* — города, где были расположены суконные фабрики. На фабрике в Геддерсфильде изготовлялись дорожие сукна.

С. 262\* *Бобрумелизм* — термин образован от имени известного английского франта (денди), законодателя мод Джорджа Брумеля (1778—1840), прозванного красавцем Брумелем (*фр. Beau Brummel*).

\* Карлейль имеет в виду мусульманский рассказ о превратившихся в обезьян жителях Мертвого моря, который он взял из предисловия Дж. Сэла (Сэля) к переведенному им Корану. Этот рассказ помещен в гл. III "Евангелие дилетантизма" ч. III книги "Прошлое и настоящее" (см. в "Этике жизни", разд. IV, 8, с. 343—344).

С. 263\* По всей вероятности, это выражение связано с английской пословицей "Nine tailors make a man" ("Девять портных составляют одного человека"). В романе "Sartor Resartus" приводится рассказ о том, как английская королева Елизавета, принимая депутацию из восемнадцати портных, обратилась к ним со словами: "Здравствуйте, два джентльмена". "Повсюду распространилась и утвер-

дилась, как широко разветвляющееся, укоренившееся заблуждение, идея, что портные суть особый физиологический вид, не люди, а дробная часть человека” (*Карлейль Т. Sartor Resartus*. М., 1904. С. 320—321).

\* *Анимализм* — здесь в смысле: животное состояние (от *лат.* *animans* — животное).

С. 264\* *Тридцать девять пунктов* (39 статей) — символ веры англиканской церкви, принятый английским парламентом в 1571 г.

\* *Fanum* — святилище, священное место, храм (*лат.*).

\* См. прим. к с. 242.

С. 265\* *Кирхеровские зрительные образы*. Немецкий иезуит, востоковед, ученый Атанасиус Кирхер (1601—1680) изучал световое излучение, используя принцип *laterna magica* (волшебного фонаря).

\* См. далее “Этику жизни”, разд. II, 8 (с. 314).

\* См. далее “Этику жизни”, разд. V, 3 (с. 364).

С. 266\* *Иез.* 8:13—14.

С. 267\* *FleBILE ludibrium* — жалкая насмешка (*лат.*).

\* См. этот отрывок в “Этике жизни”, разд. IV, 17 (с. 346).

С. 268\* “*Aestetische Springwurzeln*” — “Эстетические источники” (*нем.*).

С. 269\* Возможно, речь идет о немецком теологе и философе Давиде Фридрихе Штраусе (1808—1874), историке христианства.

С. 270\* *Талаитоны* — буддийские монахи или священники.

С. 273\* Цитируется стихотворение О. Голдсмита “Элегия на смерть бешеной собаки”, которое он опубликовал в своем романе “Векфильдский священник” (1766): “Собака и природы царь // Дружили поначалу, // Но вот беда: взбесилась тварь // И друга покусала... // Над раной лили реки слез, // Сердца терзала драма, // И ясно всем: взбесился пес, // Погибнет сын Адама. // Но опровергла бред слов // Чудесная картина: // Наш добротворец жив-здоров, // А околела псина” (*Голдсмит О. Избранное*. М., 1978. С. 65—66).

С. 274\* *Александрийская библиотека* — крупнейшее собрание рукописей древности. Основана в нач. III в. до н. э. при Александрийском мусейоне. Ее остатки были уничтожены в VII—VIII вв.

\* Луи-Филиппизм — режим французского короля Луи Филиппа (1773—1850), установленный после июльской революции 1830 г. во Франции. Существовал до 1848 г.

С. 275\* *Aristos* — лучший, достойный (*греч.*).

С. 278\* *Redivivus* — воскресший, оживший (*лат.*). Речь идет о Кромвеле.

\* *Пандарус Догдраут*. Пандарус (Пандар) — персонаж пьесы У. Шекспира “Троил и Крессида” (1609), дядя Крессиды, сводник. Догдраут — словосочетание, образованное от английских слов “dog” — собака и “draught” (“draft”) — черновик, набросок.

\* “*Карлтон-клуб*” — главный клуб английских консерваторов в Лондоне. Основан в 1832 г. герцогом Веллингтоном.

С. 279\* Это ироническое замечание относится к Ч. Диккенсу.

\* *per os Dei* — через Бога (благодаря Богу) (*лат.*).

С. 280\* Томас Бекет, архиепископ Кентерберийский, был убит в Кентерберийском соборе в 1170 г. по приказу короля Генриха II. Впоследствии он был причислен к лику святых. В средние века совершались массовые паломничества к его гробнице в соборе. Уильям Уоллес, национальный герой шотландского народа, разгромив (в 1297 г.) английскую армию Эдуарда I, был предательски захвачен в плен англичанами в 1305 г. и казнен на площади около крепости Тауэр.

\* Мф. 6:34.

С. 281\* *Источник Мимира* — в скандинавской мифологии источник мудрости, расположенный у корней мирового древа Иггдрасиль.

С. 283\* См. далее “Этику жизни”, разд. III, 41 (с. 340).

С. 284\* *Буканьеры* — флибустьеры, морские разбойники. В XVII в. на острове Сан-Доминго (ныне Гаити) они образовали свое государство. *Чактау* — искаженное написание одного из индейских племен. Возможно, речь идет о чоктаусах — индейцах группы куна.

\* Священные месяцы — речь идет о чартистском плане всеобщей стачки.

\* “*Хенсард*” (“*Hansard*”) — официальный стенографический отчет о заседании обеих палат английского парламента.

\* См. Дан. 5:27.

С. 289\* *Авдил* — библейское имя, означающее "раб Божий". Имеется в виду лорд Джеймс Грэхем, проявлявший заботу об образовании и улучшении условий труда детей на фабриках.

\* Ис. 52:11.

С. 291\* См. этот отрывок в другом переводе в "Этике жизни", разд. IV, 37 (с. 356).

\* В гл. V "Постоянство", ч. IV книги "Прошлое и настоящее" Карлейль рассказывает о том, что в "Отчете об обучении бедных детей" за 1841 г. он прочитал анонимные заметки одного фабриканта (он назвал его Прюденс, от англ. *prudence*, что значит "благоразумие, предусмотрительность"), в которых тот пишет, какую заботу он проявляет о своих рабочих, об их досуге, времяпрепровождении, поняв, что такая забота — "превосходное вложение капитала". Он сравнивает своих рабочих с рабочими других фабрикантов, которые только получают жалованье, не чувствуя к себе человеческого отношения, и поэтому устраивают забастовки, воруют и бездельничают. Я не взял бы за этих рабочих в обмен на своих, заявляет он, и "семи тысячи фунтов в придачу".

С. 292\* Далее см. "Этику жизни", разд. IV, 36 (с. 355—356).

\* Речь идет о представителях американской радикальной и романтической настроенной интеллигенции, участниках литературного и философского течения 30—50-х гг. XIX в., объединившихся вокруг основанного в Бостоне "Трансцендентального клуба". *Трансценденталисты* (прежде всего Р. У. Эмерсон) поддерживали постоянные связи с Карлейлем.

\* *Социциане* — протестантская рационалистическая секта, отвергавшая догмат о Троице, Откровение и божественную природу Христа.

С. 293\* Нетрудно видеть, что Карлейль, опираясь на своих "трансцендентальных друзей", слишком оптимистически оценивал те процессы, которые происходили тогда в США. Вот что писал в 1837 г. более трезво настроенный Р. Шатобриан о своих впечатлениях от американской действительности: "Барышнический дух начинает овладевать ими, денежные выгоды становятся у них национальным пороком. Денежные обороты банков в разных штатах уже задерживаются, и банкротство начинает пугать всех. ...Мы воображаем себе, что в Соединенных Штатах царствует равенство: это заблуждение, пустая мечта... В городах царствует холодный, упрямый эгоизм; пиастры и доллары, банковские билеты и денежное возвышение и понижение фондов — вот все предметы разговора" (*Шатобриан*. Замогильные записки. Спб., 1851. Т. 2. С. 76—77).

\* *Эксетер-Холл* — большой зал в Лондоне, предназначенный для проведения религиозных, политических, благотворительных и т. п. собраний. Построен в 1831 г.

\* См. далее "Этику жизни", разд. I, 26 (с. 309).

\* *Мейфер* — фешенебельный район в Уэст-Энде в Лондоне.

С. 294\* См. этот отрывок в "Этике жизни", разд. I, 16 (с. 306).

\* *Святой Георгий* (Георг Английский) — христианский мученик (кон. III в.). Считается главным покровителем Англии. Орден святого Георгия — орден Подвязки является высшим английским орденом. Учрежден в 1350 г. королем Эдуардом III для награждения узкого круга приближенных.

## ЭТИКА ЖИЗНИ

Трудиться и не унывать!

Книга представляет собой сборник наиболее выразительных для характеристики взглядов Карлейля отрывков из самых различных его сочинений, созданных в Германии в конце XIX в. и вышедший там несколькими изданиями под названием "Трудиться и не унывать" ("*Arbeiten und nicht verzweifeln*"). См., например: *Carlyle Th. Arbeiten und nicht verzweifeln. Auszüge aus seinen Werken*. Deutsch von Maria Kühn und A. Kretzschmar. Düsseldorf und Leipzig, 1902.

Насколько широко "задействованы" в сборнике произведения Карлейля, можно судить по следующему списку источников и подобранных из них отрывков:

"Sartor Resartus": I. 15, 17, 18, 25, 35, 36, 38; II. 3, 4, 6, 7, 17, 30, 32, 38, 45, 47, 50, 53, 57; IV. 3, 12, 18, 44, 45, 46, 47, 49; V. 1.

"Французская революция. История": I. 12, 32; II. 5, 15; III. 11; IV. 43, 56, 57; V. 9, 15.

"Герои, почитание героев и героическое в истории": I. 13, 34; II. 34, 39, 41, 43, 44, 45, 55; III. 7, 9, 27, 28; V. 12.



"Письма и речи Оливера Кромвеля": II. 48.

"Современные памфлеты": I. 4; II. 21; IV. 4; V. 7, 11.

"Критические и разнообразны опыты": I. 20; II. 10; III. 16, 45; V. 6, 8, 18.

"Характеристики": I. 9, 23; II. 60, 74; IV. 14, 15, 16, 30; V. 10, 13, 14, 16.

"Гёте": I. 1, 14; II. 1, 71; III. 21, 22, 26; IV. 33, 53. "Вольтер": I. 2; II. 58, 68, 69, 70; III. 34, 35, 44. "Скотт": I. 21, 24, 29; II. 28, 29, 42, 61, 72, 73; V. 2. "Дидро": II. 9, 46; IV. 11, 21. "Бёрнс": II. 18; III. 31; IV. 26. "Жан Поль": II. 27; III. 18, 19; IV. 29. "Шиллер": II. 31, 33. "Новалис": II. 56; IV. 54. "Мирабо": III. 3; IV. 23, 60. "Джонсон": II. 20, 23, 24, 66; III. 17, 20; IV. 41, 59; V. 4. "Калиостро": IV. 24, 42.

Все остальное — из "Прошлого и настоящего" (ниже в примечаниях будут отмечены наиболее существенные отрывки из этой работы. См. также выше примечания к "Прошлому и настоящему").

Отрывки в книге расположены таким образом, что это позволяет получить некоторое систематизированное представление о взглядах Карлейля. Карлейль не дал целостного изложения своих мыслей (и не пытался это сделать). Но такую попытку осуществил в "Этюде о Карлейле" (1839) его друг Джон Стерлинг (1806—1844). Вот как резюмировал взгляды Карлейля Стерлинг (причем сам Карлейль признал истинность такого воспроизведения): "1. Мир, с человеком как его главным предметом, весь есть область чуда и тайны; но чтобы быть понятыми, они гребут прежде всего благоговения к себе. 2. Тот, кто исключает из области своей мысли все, что требует благоговения, никогда не будет в состоянии размышлять о первоначальных фактах бытия. Но что же составляет жизненную сущность каждой вещи, как не самое ее бытие? Все остальное в предмете, все его качества и свойства, рассматриваемые без отношения к его бытию, не могут, собственно говоря, быть поняты, хотя могут быть сосчитаны, измерены и ощупаны. 3. Религия поэтому есть высочайшая форма отношения человека к миру. И когда человек отказывается признать ту неопишущую, священную глубину, к которой и он сам, и мир принадлежат, то его удел — незнание. 4. Впрочем, в конце концов мы неизмеримо невежественны. Вокруг нас полнота жизни, то слышная в звуках, то видимая в формах; но мы не можем измерить ее объема или исчислить и исследовать ее бесконечные силы. 5. Но для того, кто смотрит прямо, бесцельная субстанция всего иногда открывает себя, и притом как в малейших, так и в величайших вещах, ибо бытие само божественно и будит в том, кто его созерцает, чувство божественного. 6. Это чувство божественного, охватывающее всю природу человека, облекающее в образы то, что прорывается сквозь тьму повседневной практической жизни, настраивающее на высокий лад его речь, — это есть поэзия. Она — высочайшая форма божественного в человеческом существовании, свободнейшее признание божественного во всем. 7. Как во всех вещах дремлет поэтический свет, которому музыка наших чувств может дать знак к пробуждению, так особенно верно это относительно человека. 8. Таким образом, Провидение находит в людях всех времен и стран образы самые поразительные и ужасающие, но и самые высокие, прелестные, многозначительные. И ничто другое не дает ему их. 9. Но познать и понять человека не есть еще для человека главнейшая задача. Мы сотворены силой природы или Того, чьим созданием является сама природа, лишь для того, чтобы быть самим творцами. Творить, работать — вот наше призвание, ради которого нам дана жизнь. 10. Знание и сила, в их высочайшем и наиболее гармоничном проявлении, даются в награду лишь за наиболее благородные усилия. Однако и всякий, кто работает над чем-нибудь, хотя бы малым, но достойным работы, трудится достойно. 11. Посему следить за людьми и их жизнью сквозь темный лабиринт прошлого и сквозь всю путаницу настоящего, видеть все, что они делают, и как, и почему, — само по себе есть уже дело, достойное мыслящего и любящего человека, и не останется без плода ни для них, ни для него. 12. Однако при этом обозрении всех вещей вокруг нас и в познании нас самих, которое мы приобретаем, если достигнем способности такого благоговейного и любвеобильного наблюдения, наш ум и наше сердце непременно будут угнетаемы огорчением, ужасом, стыдом, безумием, ошибками, всякого рода слабостями. И потому обычное настроение духа лучших людей всегда будет скорее мрачное и суровое, чем ясное и радостное. 13. Тот, кто взвешивает должным образом положение мира, никогда не будет в состоянии освободиться от чувства

острой печали и тяжкого негодования. Но в труде, ни перед чем не отступающем для достижения высоких целей, в мужестве и простоте, в правдивости перед самим собой и перед людьми он найдет силу, поддерживающую его. И он сохранит ненарушимой веру в добро даже здесь, среди сынов человеческих, хотя и обливаясь кровью, и в одежде печали. И если он будет тверд до конца, то жизнь его пройдет достойно и хорошо, хотя и без вахических триумфов". (Цит. по: *Карлейль Т. Sartor Resartus*. Жизнь и мысли герра Тейфельсдрекка. М., 1904. С. X—XIII.)

Настоящий сборник отрывков и извлечений из сочинений Карлейля публикуется по изданию: *Карлейль Т. Этика жизни. Трудиться и не унывать!* Перев. Е. Синерукой. Спб., 1906. Оно было подготовлено журналом "Вестник знания". При его переиздании было сверено с оригиналом перевода, исправлены неточности и восстановлены опущенные при печатании книги места.

С. 298\* Речь идет об английском архитекторе Кристофере Рене, создателе собора Святого Павла в Лондоне. Его строительство было начато в 1675 и закончено в 1710 г.

С. 299\* *Геден* — в Библии израильский судья (правитель) в доцарское время. О Геденовом руне см. в книге Судей (6:36—40).

\* Этот отрывок взят из гл. XI "Труд" ч. III книги "Прошлое и настоящее".

С. 301\* Речь идет об английском ученом — лексикографе Сэмюэле Джонсоне.

С. 303\* "Вот человек, который был в Аду" (*итал.*).

\* Этот отрывок взят из гл. XII "Вознаграждение" ч. III книги "Прошлое и настоящее".

С. 305\* Этот отрывок взят из гл. II "Сфинкс" ч. I книги "Прошлое и настоящее".

С. 309\* Этот отрывок взят из заключительной ("Поучительной") главы книги "Прошлое и настоящее" (см. ссылку на него в прим. к с. 293).

С. 310\* "Я требую арестовать мошенников и трусов" (*фр.*).

С. 313\* *Cogito ergo sum* — мыслю, следовательно, существую (*лат.*) (выражение французского философа Р. Декарта).

С. 314\* "Живую одежду я тку Божеству" (*Гёте И. В. Фауст. Ч. I // Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 2. С. 25*).

С. 316\* Отрывки 11, 12, 13 взяты из гл. II "Сфинкс" ч. I книги "Прошлое и настоящее".

С. 319\* "Никогда не говорите мне этого глупого слова" (*фр.*).

С. 325\* "Miserere" — "Помилуй" ("Сжался") (*лат.*). (Католическое песнопение на слова 50-го (покаянного) псалма, начинающегося словами: *Miserere mei Domine (Deus)* — "Помилуй меня, Боже" (см. с. 227).

С. 337\* *Горы* (оры) — в греческой мифологии богини времен года, дочери Зевса и богини справедливости Фемиды.

С. 338\* Этот отрывок взят из гл. VII "Одаренные" ч. IV книги "Прошлое и настоящее".

С. 339\* "Нужно платить своею жизнью" (*фр.*).

С. 340\* Сыновья рыцаря из Нормандии Танкреда д'Отвилля (прежде всего Роберт Гвискар и Рожер I Сицилийский) завоевали в XI в. не всю Италию, а Южную Италию и Сицилию, установив здесь господство нормандской династии д'Отвиллей.

С. 341\* Речь идет о Диогене Синопском, древнегреческом философе-моралисте, главе киников. О нем дошли многочисленные рассказы (анекдоты). По преданию, жил в бочке (пифосе) и искал днем с фонарем человека.

С. 343\* См. прим. к с. 208.

С. 344\* Этот отрывок взят из гл. III "Евангелие дилетантизма" ч. III книги "Прошлое и настоящее".

С. 345\* См. прим. к с. 216.

\* *Мемнон* — в греческой мифологии царь Эфиопии, сын богини утренней зари Эос. Родиной его считался Египет. В одной из статуй храма в египетских Фивах греки усматривали изображение Мемнона. Статуя, поврежденная землетрясением, на рассвете издавала звуки, которые воспринимались как приветствие Мемнона своей матери Эос.

С. 348\* *juste milieu* — "золотая середина" (*фр.*).

С. 352\* Этот отрывок взят из гл. II "Евангелие маммонизма" ч. III книги "Прошлое и настоящее".

С. 354\* *Туссен-Лувертюр*, сын раба, с 1791 г. стал руководителем борьбы народа острова Гаити против английских интервентов и французских колонизаторов. Был арестован и вывезен во Францию, где и умер в 1803 г.

\* *Клиффорды*, *Фиц-Адельмы* — старинные английские рыцарские роды.

С. 355\* Этот отрывок взят из гл. VII "Одаренные" ч. IV книги "Прошлое и настоящее".

\* Этот отрывок (35) взят из гл. X "Плэгсон из Ундершота" ч. III книги "Прошлое и настоящее".

С. 356\* Этот отрывок взят из заключительной ("Поучительной") главы книги "Прошлое и настоящее" (см. ссылку на него в прим. к с. 292).

\* Этот отрывок взят из гл. VII "Перепроизводство" ч. III книги "Прошлое и настоящее".

С. 359\* Речь идет о И. В. Гёте.

С. 361\* *materia prima* — первичная материя (лат.).

С. 363\* См. прим. к с. 119.

\* "ils s'en appelaient à..." — "они зывали к..." (фр.).

\* "A la Postérité" — "К потомству" (фр.).

\* "Ah, Monsieur, non, mille fois non!" — "Ах, месье, нет, тысячу раз нет!" (фр.)

\* "C'était different" — "Это было совсем другое дело!" (фр.) (Отрывок взят из гл. XIV "Сэр Джабеш Виндбэг" ч. III книги "Прошлое и настоящее".)

С. 368\* Этот отрывок взят из гл. I "Призраки" ч. III книги "Прошлое и настоящее" (см. прим. к с. 247).

### В. Яковенко. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О Т. КАРЛЕЙЛЕ

Печатается по изданию: *Карлейль Т.* Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб., 1908. С. 1—18.

С. 369\* Речь идет о книге "Герои, почитание героев и героическое в истории".

С. 375\* *Элевсинские мистерии* (тайнства) проводились в Древней Греции в Элевсине, близ Афин. Они были связаны с культом богини земледелия Деметры и ее похищенной владыкой царства мертвых Аидом дочерью Персефоной и как бы символизировали таинственную связь между живым и мертвым миром. В священнодействии участвовали лишь посвященные.

\* *Герта* (Ерд) — в скандинавской мифологии обожествленная земля.

С. 377\* См. перевод этой латинской фразы на с. 300.

\* См. прим. к с. 211.

\* В помещенных в славянофильской газете "Русь" (издававшейся И. С. Аксаковым) воспоминаниях г-жа О. К., встречавшаяся с Карлейлем незадолго до его смерти, рассказывала: "Он особенно любил бранить английскую конституцию и жестоко смеялся над теми, кто ей верит. "Россия совершила много великого. У нее и будущее велико. Пусть только развивается по-своему, на своих собственных ногах. Я люблю и всегда любил русских". Он восхищался Александром II за его реформы, а королеву Викторию критиковал за "турко-биконсфильдство" (см. *Булаков Ф. И.* Томас Карлейль // Исторический вестник, 1881. № 3. С. 633, 636). "Турко-биконсфильдство" — политика английского премьер-министра Б. Дизраэли, графа Биконсфильда, пытавшегося "защитить" интересы Турции от России.

С. 380\* См. оценку Карлейлем Руссо (наст. изд., с. 149—152).

Из книги Дж. Саймонса "ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ. ЖИЗНЬ И ИДЕИ ПРОРОКА" (Лондон, 1952).

Печатается по изданию: *Саймонс Дж.* Карлейль. М., 1981. С. 22, 225, 236—237, 272, 138, 271—273.

С. 382\* *Ирвинговы прорицатели* — члены секты ирвингитов (ирвингиан), сочетающей католический ритуал и элементы раннего христианства, которые верят в возможность чудес типа евангельских и в наши дни. Основана в нач. 1830-х гг. шотландским пастором, другом Карлейля Эдвардом Ирвингом. Ныне существует под названием "святая католическая и апостольская церковь".

- Абдаллах* (ум. ок. 570), отец Магомета (Мухаммеда) — 45
- Абеляр* Пьер (1079—1142), французский философ, теолог, поэт — 131
- Абу-Талеп* (ум. 620), дядя Магомета (Мухаммеда) — 45, 46, 50—52
- Агриппа* (ок. 63—12 до н.э.), римский полководец — 253
- Аддисон* Джозеф (1672—1719), английский писатель, издатель просветительских журналов — 67
- Айша* (ум. 650-е гг.), жена Магомета (Мухаммеда) — 50
- Александр III* (Роландо Бандинелли) (ум. 1181), папа римский (с 1159) — 219
- Алексис*, друг М. Лютера — 106
- Али ибн Абу-Талеп* (602—661), двоюродный брат, зять и сподвижник Магомета (Мухаммеда) — 50, 51
- Ансельм Кентерберийский* (1033—1109), английский церковный деятель, архиепископ (с 1093), теолог, философ, боролся за независимость церкви от светской власти — 275, 278—280, 336
- Антуанетта* (Мария Антуанетта) (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI (с 1770), казнена — 16
- Аргайль* Арчибальд Кэмпбелл (1598—1661), шотландский генерал — 186
- Аркрайт* Ричард (1732—1792), английский инженер-механик, внедрил в производство усовершенствованную прядильную машину "Дженни" — 216, 294
- Атагуальпа* (Атауальпа) (1500—1533), правитель государства инков, казнен испанцами — 26
- Аттила* (ум. 453), предводитель гуннов (с 434), совершавших опустошительные походы в Восточную и Западную Римские империи — 366
- Афанасий Великий* (ок. 295—373), христианский теолог, епископ Александрийский — 23
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт-романтик, член палаты лордов (с 1809) — 133, 136, 212, 332, 334, 355
- Бекет* Томас (1118—1170), архиепископ Кентерберийский (с 1162), канцлер Англии (с 1155), противник подчинения церкви светской власти, убит по приказу Генриха II — 273, 275, 279, 280, 336
- Беллармин* Роберт (Роберто Беллармино) (1542—1621), итальянский теолог, кардинал, иезуит, канонизирован — 102
- Бёме* Якоб (1575—1624), немецкий философ-мистик — 381
- Бентам* Иеремия (1748—1832), английский философ, социолог, юрист, родоначальник этики утилитаризма — 64, 140, 208
- Беньян* Джон (1628—1688), английский писатель, сторонник и проповедник пуританизма — 10
- Бёрк* Эдмунд (1729—1797), английский философ и публицист, автор памфлетов, направленных против Французской революции — 134, 159

\* В указатель не включены мифологические, библейские имена, а также имена литературных персонажей.

- Бёрнс* Гильберт, шотландский фермер, брат Р. Бёрнса — 154
- Бёрнс* Роберт (1759—1796), шотландский поэт, в своем творчестве тесно связан с национальным фольклором — 38—40, 67, 71, 119, 126, 127, 129, 133, 136, 137, 152—158, 212, 230, 288, 302, 319, 332, 334, 380
- Биконсфильд* — см. Дизраэли
- Бишоп* Генри Роули (1786—1855), английский композитор и дирижер — 249
- Блейк* Уильям (1757—1827), английский поэт и художник — 30, 381
- Боккаччо* Джованни (1313—1375), итальянский писатель, гуманист — 67
- Босуэлл* Джеймс (1740—1795), английский писатель, автор биографии Сэмюэла Джонсона — 16, 149, 156, 181
- Браунинг* Роберт (1812—1889), английский поэт — 382
- Брезе де* — см. Дрё-Брезе
- Бриндлей* (Бриндли) Джеймс (1716—1772), английский инженер — 250, 294
- Брэдшоу* (Брэдшау) Джон (1602—1659), английский политический деятель, лорд-президент чрезвычайного суда над Карлом I — 253
- Бурьени* Луи Антуан Фовеле де (1769—1834), французский политический деятель, друг и секретарь Наполеона I, министр при Людовике XVIII — 194, 195
- Бэкон* Роджер (ок. 1214—1292), английский философ и естествоиспытатель, монах — 338
- Бэкон* Фрэнсис (1561—1626), английский философ и политический деятель — 86, 87, 253
- Бэрбон* Презгод (ок. 1596—1679), кожевник, анабаптист из Лондона, член созванного О. Кромвелем Малого парламента, который был прозван "Бэрбонским" — 188
- Вальтер Голяк* (ум. 1097), французский рыцарь, предводитель состоявшего в основном из крестьян неорганизованного ополчения, отправившегося в 1095 г. освободить Иерусалим — 366
- Вальтеф* (ум. 1076), англосаксонский аристократ, граф Нортумберийский, муж племянницы Вильгельма I Завоевателя, который впоследствии казнил его — 258
- Вашингтон* Джордж (1732—1799), американский политический и военный деятель, первый президент США (1789—1797) — 168, 186
- Вергилий* Марон Публий (70—19 до н. э.), римский поэт — 77
- Виктория* (1819—1901), английская королева (с 1837) из Ганноверской династии — 377
- Виланд* Кристоф Мартин (1733—1813), немецкий писатель эпохи Просвещения — 288
- Вильгельм I Завоеватель* (ок. 1027—1087), английский король (с 1066) из Нормандской династии — 257, 258, 276, 278
- Вильгельм Молчаливый* (Вильгельм I Оранский) (1533—1584), принц, деятель Нидерландской революции, лидер антииспанской оппозиции — 363, 367
- Вильгельм II Руфус* (Красный, или Рыжебородый) (ок. 1056—1100), английский король (с 1087) из Нормандской династии, сын Вильгельма I Завоевателя — 276, 278—280
- Вольтер* (наст. имя и фам. Мари Франсуа Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ-просветитель — 16, 146, 278
- Вордсворт* Уильям (1770—1850), английский поэт-романтик — 382
- Вэн* Генри (1613—1662), английский политический деятель, в парламенте один из лидеров оппозиции Карлу I — 168

*Галилей* Галилео (1564—1642), итальянский физик, математик, астроном, мыслитель — 338

*Гемпден* Джон (1594—1643), английский политический деятель, один из лидеров парламентской оппозиции накануне Английской революции — 168, 169, 171, 233, 235, 253

*Генрих I Боклерк* (1068—1135), английский король (с 1100) из Нормандской династии, сын Вильгельма I Завоевателя — 276

*Генрих II Плантагенет* (Генрих Анжуйский) (1133—1189), английский король (с 1154) из династии Плантагенетов — 225, 239, 276, 279

*Генрих VIII* (1491—1547), английский король (с 1509) из династии Тюдоров — 288

*Георг III* (1738—1820), английский король (с 1760) из Ганноверской династии — 230

*Георг* герцог Саксонский (1471—1539), ярый противник лютеранства — 114, 115

*Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803), немецкий философ, критик, эстетик — 288

*Гершель* Уильям (Фридрих Вильгельм) (1738—1822), английский астроном, основоположник звездной астрономии — 244

*Гёте* Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель — 21, 33, 49, 63, 67, 69, 87, 112, 128, 129, 133, 152, 243, 249, 270, 271, 288, 294, 299, 319, 336, 367

*Гиббон* Эдуард (1737—1794), английский историк — 183, 382

*Гизы*, французский аристократический род, боковая ветвь герцогов Лотарингских — 122

*Гильдебранд* — см. Григорий VII

*Гируорд* (Хируорд), один из предводителей англосаксов, безуспешно сражавшихся в 1070—1071 гг. против нормандских завоевателей — 258

*Говарды*, знатный английский род — 352

*Гогстратен* (Гоогстратен) Якоб (ок. 1460—1527), немецкий католический деятель, по происхождению фламандец, инквизитор, противник М. Лютера — 102

*Годвин* Уильям (1756—1836), английский писатель и историк — 187

*Гомер*, полубогославный древнегреческий эпический поэт — 30, 32, 69, 76, 82—84, 93, 338, 362

*Гренвилль* Ричард, герцог Бекингемский, маркиз Чандос (1797—1861), английский политический деятель — 228

*Грей* Томас (1716—1771), английский писатель и историк литературы — 32

*Григорий VII Гильдебранд* (1015/1020—1085), папа римский (с 1073) — 125, 279

*Гримм* Якоб (1785—1863), немецкий филолог, основоположник германистики, один из создателей мифологической школы в фольклористике — 19, 24

*Гроциус* (Гроций, Гуго де Гроот) (1583—1645), голландский юрист, социолог, политический деятель — 39, 171

*Губерт* (XII в.), архиепископ Кентерберийский — 236

*Гуго* (XII в.), аббат монастыря Сент-Эдмундсбери — 218, 220

*Гус* Ян (1371—1415), чешский религиозный реформатор, ректор Пражского (Карлова) университета, осужден церковным собором в Констанце и сожжен — 109, 110

*Густав II Адольф* (1594—1632), шведский король (с 1611) из династии Ваза, полководец — 117

*Данте Алигьери* (1265—1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка — 23, 33, 66, 69, 72—85, 89, 90, 92, 94, 96—99, 102, 112, 201, 302, 348

*Дарвин* Эразм (1804—1881), английский публицист, друг Карлейля — 382

*Демулен* Камиль (1760—1794), деятель Французской революции, журналист; казнен — 162

*Джефффри* (ум. 1186), канцлер при Генрихе II — 225, 226

*Джонсон Бенджамин* (Бен) (1573—1637), английский драматург — 35, 217, 244  
*Джонсон Сэмюэл* (1709—1784), английский писатель, ученый-лексикограф, создатель "Словаря английского языка" (1755) — 16, 17, 38, 58, 67, 90, 126, 127, 129, 136, 143—149, 152, 156, 176, 181—183, 275, 301, 336, 358

*Джоселин Бракелондский* (Брэклондский) (кон. XII—нач. XIII в.), монах монастыря Сент-Эдмундсбери, хронист — 218, 220, 221, 224, 230, 231, 233, 236, 237

*Джотто ди Бондоне* (1266/1267—1337), итальянский живописец, представитель Проторенессанса — 72

*Дизраэли Бенджамин*, граф Биконсфильд (1804—1881), английский политический деятель, премьер-министр (1868, 1874—1880) — 377

*Диккенс Чарлз* (1812—1870), английский писатель — 382

*Диоген Синопский* (ок. 400—ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник, вел крайне аскетический образ жизни — 341

*Диодор Сицилийский* (ок. 90—21 до н. э.), древнегреческий историк — 44

*Диоклетиан* (243—313/316), римский император (284—305) — 186

*Доминик* (Доминго де Гусман) (1170—1221), испанский проповедник, основатель монашеского ордена доминиканцев — 96

*Драйден Джон* (1631—1700), английский поэт, драматург, переводчик, один из основоположников классицизма в английской литературе — 241, 303

*Дрё-Брезе Анри Эввар*, маркиз де (1762—1820), обер-церемониймейстер при французском королевском дворе — 155

*Елизавета I Тюдор* (1533—1603), английская королева (с 1558) — 84, 85

*Жан Поль* — см. Рихтер

*Жанлис Стефания Фелисита де Крес де Сент-Обен*, графиня де (1746—1830), французская писательница — 150

*Жоффруа Теодор Симон* (1796—1842), французский философ — 245

*Идмер* (ок. 1060—1124), английский историк-хронист, теолог, соратник Ансельма Кентерберийского — 217, 278, 279

*Иероним Пражский* (ок. 1380—1416), чешский религиозный реформатор, ученый, сподвижник Яна Гуса, осужден церковным собором в Констанце и сожжен — 109

*Иоанн Златоуст* (344/354—407), византийский церковный деятель, епископ Константинопольский (398—404), проповедник — 13

*Ираклий* (575—641), византийский император (с 610) — 48

*Ирвинг Эдвард* (ум. 1834), шотландский проповедник и теолог, основатель секты, названной его именем — 382

*Кавальканте деи Кавальканти* (XIII в.), флорентийский политический деятель, отец друга Данте поэта Гвидо Кавальканти — 78

*Каласы* (XVIII в.), семья тулузского коммерсанта Жана Каласа, ставшая жертвой религиозного преследования — 16

*Калиостро Джузеппе Бальзамо* (псевд. Александр), граф де (1743—1795), итальянский авантюрист, использовал свой талант целителя и оккультную практику — 40, 142

*Камознс* (Камоинш) Луиш ди (1524/1525—1580), португальский поэт — 338

*Кан делла Скалла* (Кангранде I делла Скала) (1291—1329), правитель Вероны (с 1312) — 74, 75

*Карл I* (1600—1649), английский король (с 1625) из династии Стюартов, казнен — 173, 174

*Карл II* (1630—1685), английский король (с 1660) из династии Стюартов, сын Карла I — 168, 350

*Карл V* (1500—1558), император Священной Римской империи (1519—1556), испанский король под именем Карлоса I (1516—1556) — 110

*Карл Великий* (742—814), франкский король (с 768), император (с 800), основатель империи Каролингов — 53

*Карлейль* Томас (1795—1881) — 159, 369—383

*Катерфельто* (XVIII в.), фокусник — 288

*Катон Старший* (234—149 до н. э.), римский политический деятель, консул (195 до н. э.), писатель — 182

*Каупер* (Купер) Уильям (1731—1800), английский поэт-сентименталист — 115

*Кеплер* Иоганн (1571—1630), немецкий астроном, один из создателей астрономии нового времени — 300, 339, 341

*Кларендон* Эдуард Хайд, граф (1609—1674), английский политический деятель, лорд-канцлер Англии (1660—1667), один из лидеров роялистов — 176, 191

*Кок* Эдуард, граф (1552—1634), английский юрист и политический деятель — 241

*Коккер* Эдуард (1631—1675), английский математик, автор учебника арифметики — 248

*Колридж* Сэмюэл Тейлор (1772—1834), английский поэт и литературный критик — 75, 76, 101, 183, 289, 382

*Колумб* Христофор (1451—1506), мореплаватель — 98, 299, 341

*Конт* Огюст (1798—1857), французский философ и социолог-позитивист — 373

*Кранах* Лукас Старший (1472—1553), немецкий живописец и график — 116

*Кранмер* Томас (1489—1556), деятель английской Реформации, архиепископ Кентерберийский (с 1533), сожжен как еретик после восстановления католицизма — 96

*Кромвель* Оливер (1599—1658), деятель Английской революции, опираясь на армию, способствовал провозглашению республики, с 1653 г. установил протекторат — единоличную военную диктатуру — 40, 117, 119, 125, 147, 159, 165, 168, 169; 171—181, 183—193, 196, 253, 278, 367, 380

*Ланфранк* (ум. 1089), архиепископ Кентерберийский — 217

*Латини* Брунето (1220—1294), флорентийский писатель и ученый — 77

*Лев X* (Джованни Медичи) (1475—1521), папа римский (с 1513) — 108

*Литтлтон* Томас (ум. 1481), английский юрист — 241

*Лихтенберг* Георг Христоф (1742—1799), немецкий писатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик — 325

*Лод* Уильям (1573—1645), архиепископ Кентерберийский (с 1633), ближайший советник Карла I, казнен — 166—168, 241

*Лодло* Эдмунд (1617—1692), английский политический деятель, один из руководителей парламентской армии, член чрезвычайного суда над Карлом I — 168

*Локхарт* Джон Гибсон (1794—1854), английский писатель и историк литературы, зять Вальтера Скотта — 154

*Лопе де Вега* (Вега Карпью Лопе Феликс де) (1562—1635), испанский драматург — 24

*Льюси* (Люси) Томас, современник У. Шекспира, землевладелец, мировой судья в округе, куда входил и Стратфорд — 84, 93

*Людвиг XIV* (1638—1715), французский король (с 1643) из династии Бурбонов — 67, 149, 163

*Лютер* Ганс, отец М. Лютера, рудокоп, родом из крестьянской семьи — 105, 110

*Лютер* Маргарет, мать М. Лютера — 105

*Лютер* Мартин (1483—1546), немецкий религиозный реформатор, основатель крупнейшего направления в протестантизме — лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык — 15, 23, 30, 38, 95—99, 101, 104—111, 113—117, 121, 143, 162, 192, 275, 336



*Магдалина*, младшая дочь М. Лютера — 115

*Магомет* (Мухаммед) (ок. 570—632), основатель ислама, в котором почитается как пророк, глава первого мусульманского государства (с 630) — 30, 38—43, 45—47, 49—58, 60—65, 83, 92, 93, 99, 101, 103, 110, 125, 126, 128, 140, 144, 147, 148, 171, 185, 193, 212

*Мальборо* Джон Черчилль, герцог (1650—1722), английский полководец и политический деятель, генерал-фельдцейхмейстер (с 1702) — 91

*Мантон* Джо, модный оружейник — 216

*Мария Стюарт* (1542—1587), шотландская королева (1542, фактически 1561—1567), претендовала на английский престол, казнена — 122

*Мартен* Анри (1793—?), французский дрессировщик животных и писатель, чьи произведения проникнуты в основном пессимистическими мотивами — 318

*Меридит* Джордж (1828—1909), английский писатель — 382

*Мёррей* Джеймс Стюарт, граф (ок. 1531—1570), внебрачный сын шотландского короля Якова V, сводный брат Марии Стюарт, регент после ее отречения от престола — 124, 125

*Милль* Джон Стюарт (1806—1873), английский философ, экономист и общественный деятель — 379, 380

*Мильтон* Джон (1608—1674), английский поэт и политический деятель — 133, 139, 188, 251, 311, 337, 338

*Мирабо* Оноре Габриель Рикети, граф (1749—1791), французский политический деятель, депутат Генеральных штатов в 1789, стал известен как обличитель абсолютизма — 40, 66, 67, 147, 154, 155, 183, 319

*Монтроз* Джеймс Грэм, маркиз (1612—1658), глава роялистов в Шотландии, боролся с пресвитерианами-ковенантерами — 186

*Монфор* Симон де, граф Лестерский (ок. 1208—1265), глава оппозиции баронов королю Генриху III, в 1265 диктатор (лорд-протектор) Англии, погиб в сражении — 166

*Мор* Томас (1478—1535), английский политический деятель и писатель, автор "Утопии" (1516), описывающей идеальный общественный строй, казнен по религиозным причинам, канонизирован католической церковью — 353

*Морлей* (Морли) Джон (1838—1923), английский ученый, литературовед и политический деятель — 373, 380

*Мортон* Джеймс Дуглас, граф (1525—1581), шотландский регент после отречения Марии Стюарт — 121, 122

*Моцарт* Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор — 249

*Наполеон I Бонапарт* (1769—1821), французский император (1804—1814, март—июнь 1815), основатель династии Бонапартов — 30, 40, 67, 71, 82, 104, 112, 147, 157, 159, 165, 193—197, 228, 259, 319, 332

*Неккер* Жак (1732—1804), французский политический деятель, министр финансов (1777—1781, 1788—1790) — 183

*Нельсон* Горацио (1758—1805), английский флотоводец, вице-адмирал — 30

*Нибур* Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк — 163

*Нил* Даниель (Дэниел) (1678—1743), английский священник и историк — 118

*Новалис* (наст. имя и фам. Фридрих фон Харденберг) (1772—1801), немецкий поэт-романтик и философ — 13, 50, 89, 165, 236, 290, 317, 320, 360, 380

*Нокс* Джон (1505/1514—1572), шотландский кальвинистский проповедник, основатель шотландской пресвитерианской церкви — 95, 96, 117—125, 175, 184, 275, 336

*Ньютон* Исаак (1643—1727), английский математик, астроном, физик, создатель классической механики — 300, 337

*Ожеро* Пьер Франсуа Шарль (1757—1816), французский военный деятель, маршал (1804) — 196

*Октавиан* (Оттавиано Монтичелло) (1095—1164), антипапа (с 1159), боролся за папский престол под именем Виктора IV (или V) с папой римским Александром III — 219

*Олаф II Святой* (ок. 995—1030), норвежский король (1015/1016—1028), завершил введение христианства в Норвегии — 36, 292

*Ординг*, аббат монастыря Сент-Эдмундсбери (1146—1156) — 221

*Осберт* (XII в.), королевский сановник — 230

*Осборн* (XVIII в.), книгопродавец — 144

*Отвилль* Танкред д' (Танкред из Готвилля) (кон. X—нач. XI в.), нормандский рыцарь, сыновья которого завоевали в XI в. Сицилию и Южную Италию, основав здесь нормандскую династию д'Отвиллей — 257, 340

*Пальм* Иоганн Филипп (1766—1806), немецкий книгопродавец из Нюрнберга, напечатал анонимную листовку "Германия в глубоком унижении", по приказу Наполеона I расстрелян — 197

*Парк* Мунго (1771—1806), шотландский путешественник и хирург — 256

*Парр* Сэмюэл (1747—1825), английский ученый и педагог-латинист, отличался педантичностью и догматизмом — 335

*Перикл* (ок. 490—429 до н. э.), афинский стратег (политический и военный деятель) — 130

*Петрарка* Франческо (1304—1374), итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения — 67, 74

*Пим* Джон (1583/1584—1643), английский политический деятель, один из лидеров оппозиции Карлу I — 168, 169, 171, 253

*Пиндар* (ок. 518—ок. 438 до н. э.), древнегреческий поэт-лирик — 36, 241, 305

*Питт* Уильям Старший, граф Чатам (1708—1778), английский политический деятель, премьер-министр (1766—1768) — 142, 191

*Питт* Уильям Младший (1759—1806), английский политический деятель, премьер-министр (1783—1801, 1804—1806), сын Питта Уильяма Старшего — 137

*Платон* (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 11, 353

*Пококк* Эдуард (1604—1691), английский востоковед, исследователь ислама — 39, 171

*Помбаль* Себастьян Хосе де Карвальо-и-Мело, маркиз (1699—1782), португальский политический деятель, премьер-министр (1755—1777) — 191

*Поп* Александр (1688—1744), английский поэт — 32

*Портинари* Беатриче (1265/1267—1290), флорентийка, идеальная возлюбленная Данте — 73, 79

*Прайд* Томас (ум. 1658), английский военный деятель, полковник парламентской армии, им было осуществлено изгнание депутатов-пресвитериан из парламента — 187

*Придо* Хемфри (1648—1724), английский востоковед — 56

*Расин* Жан (1639—1699), французский драматург, поэт, представитель классицизма — 163

*Рафаэль Санти* (1483—1520), итальянский живописец и архитектор, представитель Высокого Возрождения — 78, 249

*Рейнольдс* Джошуа (1723—1792), английский живописец и теоретик искусства — 249

*Рен* Кристофер (1632—1723), английский архитектор, математик и астроном — 242, 298

*Рёскин* Джон (1819—1900), английский писатель и теоретик искусства — 382

*Рихтер* Иоганн Пауль Фридрих (псевд. Жан Поль) (1763—1825), немецкий писатель — 12, 114, 158, 285, 325

*Ричард I Львиное Сердце* (1157—1199), английский король (с 1189) из династии Плантагенетов, большую часть жизни находился за пределами Англии — 236, 237

*Розамунда* ("прекрасная Розамунда") из рода Клиффордов (ум. ок. 1176/1180), фаворитка Генриха II — 225

*Роквуд* Джон Гэг (XIX в.), лондонский издатель "Хроники" Джоселина Бракелондского — 219

*Роллон* (Рольф, Роберт) (ок. 860—ок. 933), предводитель норманнов, завоевавших территорию, которую стали называть Нормандией, первый герцог Нормандский (с 911) — 30

*Ротшильды* — европейская финансовая группа, выходцы из банкирского дома во Франкфурте — 352

*Рочестер* Джон Вильмот, граф (1647—1680) английский аристократ, придворный Карла II и поэт — 168

*Рудольф II* (1552—1612), император Священной Римской империи (с 1576), австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов — 341

*Руссо* Жан Жак (1712—1778), французский писатель и философ — 126, 127, 129, 136, 149—152, 156, 278, 361, 380

*Рэли* Уолтер (ок. 1552—1618), английский мореплавателю, поэт, историк, фаворит Елизаветы I — 96

*Саксон Грамматик* (1140—ок. 1208), датский летописец-хронист — 23, 33, 69

*Самсон*, монах, затем аббат (1182—1211) монастыря Сент-Эдмундсбери — 216, 218—221, 223—228, 230—234, 236, 237, 239, 242, 243, 275, 276, 278

*Саутгемптон* Генри, лорд (1573—1624), английский аристократ, меценат, покровитель поэтов — 93

*Саути* Роберт (1774—1843), английский поэт — 137

*Светоний* Гай Транквилл (ок. 70—ок. 140), римский историк и писатель — 342

*Свифт* Джонатан (1667—1745), английский писатель и политический деятель — 381

*Сеид* (Зайд) (ум. 629), раб Магомета (Мухаммеда), которого последний затем освободил и усыновил — 50, 61

*Семунд* (ок. 1056—1133), исландский священник и ученый — 18

*Сен-Пьер* Бернарден де (1737—1814), французский писатель, автор сентиментального романа "Поль и Виргиния" — 152

*Сильвестр де Саси* Антуан Изаак (1758—1838), французский востоковед, арабист — 44

*Сквалаччи*, итальянский композитор — 246

*Скотт* Вальтер (1771—1832), английский писатель — 47, 119, 152

*Смит* Адам (1723—1790), шотландский экономист и философ — 24, 314

*Снорри Стурлусон* (1178—1241), исландский поэт-скальд, автор "Младшей Эдды" (после 1222) — 18, 23, 26, 30

*Сократ* (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ — 338, 354

*Сток* Анна Луиза Жермена де (1766—1817), французская писательница — 152

*Стельц* Джордж, английский модный портной в 1-й пол. XIX в., владелец фирмы — 260

*Стефан Кертоз* (Стефан Блуазский) (ок. 1097—1154), английский король (с 1135) из Нормандской династии, внук Вильгельма I Завоевателя — 276

*Стивен* Лесли (1832—1904), английский литературный критик и историк литературы — 372

*Стюарт* Дёгалд (1753—1828), шотландский философ — 154

*Стюарты*, королевская династия в Шотландии (1371—1714), в Англии (1603—1649, 1660—1714) — 191

*Сэл* (Сэль) Джордж (ок. 1697—1736), английский востоковед, арабист, переводчик Корана (1734) — 43, 56, 59, 229

*Тассо* Торквато (1544—1595), итальянский поэт — 338

- Тацит* (ок. 58—ок. 117), римский историк — 77
- Теннисон* Алфред, лорд (1809—1892), английский поэт — 214
- Тернер* Сэмюэл, английский капитан, служащий Ост-Индской компании, автор книги о путешествии в Тибет (1800) — 9
- Тецель* (наст. фам. Дитц) Иоганн (ок. 1455—1519), немецкий (саксонский) монах-доминиканец, агент по продаже индульгенций (свидетельств об отпущении грехов) — 101, 102, 108, 109
- Тик* Людвиг (1773—1853), немецкий писатель-романтик — 75
- Торфеус* Тормод (1636—1719), исландский историк — 23
- Туссен-Лувртур* Франсуа Доминик (1743—1803), один из руководителей освободительной борьбы народа Гаити (с 1791), правитель острова (с 1801), арестован французскими колонизаторами, умер во Франции — 354
- Тэн* Ипполит (1828—1893), французский литературовед, философ и историк — 369, 373, 375
- Тюрени* Анри де Ла Тур-д'Овернь (1611—1675), французский военный деятель, маршал (1660) — 67
- Уатт* Джеймс (1736—1819), английский изобретатель, создатель универсального теплового двигателя — 119
- Уголино делла Герардеска* (нач. XIII в. — 1288/1289), итальянский политический деятель, правитель Пизы (с 1284/1285), был свергнут политическими противниками и замурован в башне, где умер от голода — 202
- Уитмен* Уолт (1819—1892), американский поэт и публицист — 381
- Уланд* Людвиг (1787—1862), немецкий поэт-романтик и историк литературы — 33
- Ульфила Готский* (ок. 311—ок. 383), епископ готов, первый распространитель христианства среди германских племен — 21, 96
- Уоллес* Уильям (ок. 1270—1305), шотландский политический деятель, руководитель восстания шотландцев против английского владычества (1297—1298), был захвачен англичанами и казнен — 280
- Уорвик* Филип, лорд (1608—1683), английский политический деятель, член парламента, где выступал на стороне роялистов — 172
- Фаларис*, тиран (правитель) Агригента в Сицилии (565—549 до н. э.) — 141, 256
- Фарината дельи Уберти* (наст. имя Маненте) (ум. 1264), итальянский политический деятель, глава флорентийских гибеллинов, был посмертно обвинен инквизицией в ереси — 78
- Фихте* Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ и общественный деятель — 68, 127, 128, 133, 328
- Фолькленд* Луций Кэри, виконт (1610—1643), английский политический деятель и писатель — 176
- Фонтенель* Бернар Ле Бовье де (1657—1757), французский писатель и ученый-популяризатор — 179
- Франклин* Бенджамин (1706—1790), американский политический деятель, просветитель, естествоиспытатель — 335
- Франческа да Римини* (ум. 1283/1286), дочь правителя Равенны, жена правителя Римини Джанчотто Малатесты — 78, 79
- Фридрих II Великий* (1712—1786), прусский король (с 1740) из династии Гогенцоллернов — 380
- Фридрих II Мудрый* (1463—1525), курфюрст Саксонский, поддерживал М. Лютера — 107
- Хадиджа* (ум. 620), первая жена Магомета (Мухаммеда) — 47, 49, 50, 52, 61

*Хатчинсон* (Хетчинсон) Джон (1615—1664), английский политический деятель, пуританин, член чрезвычайного суда над Карлом I — 168, 192

*Хенгст* (Хенгист) (ум. 488), предводитель германского племени ютов, высадившихся в Британии и основавших здесь первое англосаксонское королевство Кент (ок. 455—479) — 242

*Хосров II Парвиз* (ум. 628), шах Ирана (с 591) из династии Сасанидов — 48

*Чандос* — см. Гренвиль

*Чатам* — см. Питт Уильям Старший

*Чиллингвортс* Уильям (1602—1643), английский теолог, автор книги "Протестантская религия — верный путь к спасению" (1637) — 176

*Чосер* Джеффри (ок. 1340—1400), английский поэт, автор книги "Кентерберийские рассказы" (изд. ок. 1478) — 325

*Шекспир* Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 21, 33, 34, 66, 67, 69, 72, 84—94, 96, 98, 133, 139, 152, 180, 242, 249, 251, 333, 362

*Шефтсбери* Антони Эшли Кулер, граф (1801—1885), английский политический деятель, член парламента, проявлял интерес к проблемам улучшения социальных условий трудящихся классов — 289

*Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства — 26, 160, 288, 321, 380

*Шлегель* Август Вильгельм (1767—1845), немецкий историк литературы, критик, поэт, переводчик, теоретик романтизма — 90, 91

*Шауээль* Этьен Франсуа, герцог де (1719—1785), французский политический деятель, дипломат, в 1758—1770 гг. фактически руководил всей политикой Франции — 191

*Эдмунд* (святой) (ок. 841—870), король (правитель) Восточной Англии (с 855), погиб мученической смертью (привязан к дереву и расстрелян стрелами) при нападении датчан, в 903 г. его останки были перевезены в названный его именем монастырь (аббатство) Сент-Эдмундсбери — 218—221, 224, 231—237, 244, 264

*Экк* (наст. фам. Майер) Иоганн (1486—1543), немецкий теолог, противник М. Лютера — 102

*Элвуд* Томас, молодой английский квакер, друг Дж. Мильтона, помогавшего ему в изучении латыни — 337

*Элиот* Джон (1592—1632), английский политический деятель, член парламента, один из лидеров оппозиции Карлу I, заключен в тюрьму, где умер от чахотки — 168, 169

*Элисон* Уильям Палтни (1790—1859), шотландский ученый, профессор медицины Эдинбургского университета — 201, 351

*Эмерсон* Ралф Уолдо (1803—1882), американский философ, эссеист, поэт, друг Т. Карлейля — 381

*Эпикур* (341—270 до н. э.), древнегреческий философ — 289

*Эссекс* Генрих, граф (XII в.), английский аристократ, одно время приверженец Генриха II, в конце жизни монах — 264

*Эсхил* (ок. 525—456 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург, известен как "отец трагедии" — 93

*Эшли* — см. Шефтсбери

*Юлий II* (Джулиано делла Ровере) (1443—1513), папа римский (с 1503) — 107

*Юм Дэвид* (1711—1776), английский философ, историк, экономист — 119, 185, 193

Составитель В. М. Персонов

# СОДЕРЖАНИЕ

## ГЕРОИ, ПОЧИТАНИЕ ГЕРОЕВ И ГЕРОИЧЕСКОЕ В ИСТОРИИ

Беседа первая. ГЕРОЙ КАК БОЖЕСТВО. ОДИН: ЯЗЫЧЕСТВО, СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ .....	6
Беседа вторая. ГЕРОЙ КАК ПРОРОК. МАГОМЕТ: ИСЛАМ .....	38
Беседа третья. ГЕРОЙ КАК ПОЭТ. ДАНТЕ. ШЕКСПИР .....	66
Беседа четвертая. ГЕРОЙ КАК ПАСТЫРЬ. ЛЮТЕР: РЕФОРМАЦИЯ. НОКС: ПУРИТАНИЗМ .....	95
Беседа пятая. ГЕРОЙ КАК ПИСАТЕЛЬ. ДЖОНСОН. РУССО. БЁРНС.....	126
Беседа шестая. ГЕРОЙ КАК ВОЖДЬ. КРОМВЕЛЬ. НАПОЛЕОН: СОВРЕМЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОНАРИЗМ .....	159

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

### I. ВСТУПЛЕНИЕ

Мидас .....	200
Моррисоновы пиллоли .....	204
Аристократия Таланта .....	207
Почитание Героев .....	211

### II. СТАРИННЫЙ МОНАХ

Монах Самсон .....	216
Избирательная борьба .....	221
Выборы .....	222
Аббат Самсон .....	228
Св. Эдмунд .....	232
Начала .....	237

### III. СОВРЕМЕННЫЙ РАБОТНИК

Призраки .....	244
Англичане .....	249
Демократия .....	255
Снова Моррисон .....	263

#### IV. ГОРОСКОП

Аристократии .....	273
Вожди промышленности .....	282
Владеющие землю .....	287
Поучительная глава .....	291

#### ЭТИКА ЖИЗНИ

Трудиться и не унывать!

I. ТРУДИТЬСЯ .....	296
II. НЕ УНЫВАТЬ .....	312
III. ЛЮДИ И ГЕРОИ .....	329
IV. ЛОЖНЫЕ ПУТИ И ЦЕЛИ .....	341
V. МОЛЧАНИЕ .....	363
<i>Приложение</i> .....	369
<i>В. Яковенко. Несколько слов о Томасе Карлейле</i> .....	—
Из книги Дж. Саймонса "Томас Карлейль. Жизнь и идеи пророка" ....	381
<i>Примечания</i> .....	384
<i>Указатель имен</i> .....	404

Томас Карлейль  
ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ

На переплете репродукция с картины английского художника  
Уолтера Крэна (1845—1915) "Кони Нептуна"

Заведующий редакцией *В. Г. Голобоков*  
Редактор *П. П. Апрышко*  
Младший редактор *Ж. П. Крючкова*  
Художник *Г. А. Куликова*  
Художественный редактор *О. Н. Зайцева*  
Технический редактор *Е. В. Сельдева*

ИБ № 9808

ЛР № 010273 от 10.12.92 г.

Сдано в набор 26.05.94. Подписано в печать 01.08.94. Формат 60 × 90<sup>1/16</sup>.  
Бумага офсетная № 2. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 26,0. Уч.-изд. л. 32,44. Тираж 20 000 экз. Заказ № 4797. С 080.

Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.

Российский государственный информационно-издательский Центр "Республика"  
Комитета Российской Федерации по печати.

Издательство "Республика".  
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма "**Красный пролетарий**".  
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.





Труд есть лучшее лекарство  
от всех болезней и страданий,  
когда-либо удручавших  
человечество, — честный труд  
для достижения поставленной  
перед собой цели.

*Томас Карлейль*

Издательство  
«РЕСПУБЛИКА»